

ГАБРИЭЛЬ ТАРД



СОЦИАЛЬНАЯ  
ЛОГИКА



**БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ**

---

**ГАБРИЭЛЬ ТАРД**

**СОЦИАЛЬНАЯ  
ЛОГИКА**



**СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

**1996**

**ISBN 5-89121-001-0**

Настоящая книга открывает серию из более чем 20 трудов по практической психологии (психологии социальных групп, технике социально-психологического эксперимента, методам транзактного анализа и т.п.) как основоположников психологической науки, так и современных исследователей

Библиотека подобрана таким образом, чтобы используя приведенный материал, специалист мог успешно работать в областях: социальной, школьной (возрастной и дифференциальной) и политической психологии.

ТАРД Габриель (1843—1904 г.г.). Французский социолог и криминолог, один из основателей психологического направления в западной социологии.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга представляет собой продолжение и дополнение того очерка общей социологии, который я выпустил в свет несколько лет тому назад под названием «Законы подражания». Одна из глав этого очерка, озаглавленная «Логические законы подражания», помещена там как бы для того, чтобы служить связующим звеном между этим очерком и настоящей книгой — несколько объемистой, за что я и прошу извинения у читателей. Этот очерк больше занимался образованием социального вещества, нежели образованием социальных тел, тем, как выделяется социальная ткань, а не тем, как шьется национальная одежда; настоящая книга займется тем, каким способом это вещество организуется, каким образом эта ткань скроена и сшита, — я хочу сказать, — выкраивается и сшивается сама собой.

Я чувствую, что здесь было бы вполне уместно повести речь о месте, занимаемом социологией среди наук, о ее настоящем состоянии и будущем значении. Но кто потрудится прочитать мою книгу, тот легко догадается, что я об этом думаю. Вместо того, чтобы рассуждать о достоинствах этого младенца, которого мы ухитрились окрестить раньше, чем он родился, заставим его лучше родиться окончательно, если это возможно.

Прежде всего надлежит установить истинный, отличительный характер социальных явлений. Мне кажется, что я показал недостаточность тех определений, какие даются обыкновенно под влиянием юридических и экономических предубеждений. Неверно, что всякая социальная связь основана на идее договора или на идее услуги. Можно на деле составлять общество без всякого договора, даже хоть только подразумеваемого, и часто люди бывают членами одного и того же общества, не только не оказывая друг другу никакой услуги, но даже

взаимно вредя один другому; таково положение сотоварищей по занятию, почти всегда конкурирующих между собою. Напротив, разнородные касты, точно так же, как и различные животные, могут взаимно оказывать друг другу самые явственные и постоянные услуги, не составляя, однако, общества. Еще более узкой и удаленной от истины является попытка определения, произведенная недавно одним выдающимся социологом, которая устанавливает характерной особенностью социальных актов то обстоятельство, что они навязаны извне принуждением. Это значит не признавать других социальных связей, кроме отношений между господином и подчиненным, учителем и учеником, родителями и детьми, не обращая никакого внимания на свободные отношения равных между собой. Это значит также закрывать глаза на то, что даже в училищах обучение, какое дают дети сами себе, подражая один другому, так сказать, впитывая в себя взаимно представляемые примеры или даже примеры своих учителей, которые они сами усваивают, далеко превосходит по своей важности обучение, какое они получают и какое им дают насильно.

Такое заблуждение возможно объяснить только в связи с тем другим заблуждением, что социальный факт, поскольку он социальный, существует вне всех своих индивидуальных проявлений. Но, к несчастью, идя таким образом до конца и делая объективным различие или, лучше сказать, чисто субъективное отделение коллективного явления от составляющих его частных актов, Дюркгейм возвращает нас в самую глубину схоластики. Социология не то же самое, что онтология.

Признаюсь, мне очень трудно понять, как может случиться, что, «отбросив индивидуумов, получим в остатке общество». Если отбросить профессоров, не представляю себе ясно, что остается от университета, кроме одного названия, которое не выражает ничего, если оно никому не известно со всей совокупностью традиций, с ним связанных. Уж не возвращаемся ли мы к реализму средних веков? Я спрашиваю себя, какую пользу находят в том, чтобы под предлогом очищения социологии лишить ее всего ее психологического, живого содержания. По-видимому, ищется специально для вновь создаваемой науки социальное начало, в

которое психология совсем не входила бы и которое мне кажется еще гораздо более химеричным, нежели старое жизненное начало.

Но будут ли это договоры, услуги или принуждение, всегда имеются налицо факты подражания. Говорит ли человек или молится, борется или работает, лепит, рисует, слагает стихи, — он только производит новые экземпляры словесных знаков, обрядов, сабельных ударов или ружейных выстрелов, промышленных или художественных приемов, поэтических форм, — одним словом, образцы, продукты подражания, добровольного или обязательного, сознательного или бессознательного, преднамеренного или невольного, разумного или бессмысленного, симпатизирующего или ненавидящего, удивляющегося или завидующего, но во всяком случае подражания. Это наиболее верный пробный камень для того, чтобы отличить социальное от того, что только физиологически жизненно.

Все, что человек умеет делать, не учась на чужом примере, как например, ходить, кричать, есть, даже любить, в наиболее грубом смысле слова, — все это жизненно чисто физиологически, тогда как ходить известным образом, гимнастическим шагом, вальсировать, петь арию, предпочитать некоторые блюда, употребительные на его родине, держать себя прилично за столом, ухаживать, согласно моде данной эпохи, за светской женщиной, — все это социально. Изобретатель, который дает начало новому виду деятельности, как, например, ткать при помощи пара, сообщаться по телефону, приводить в движение экипаж при помощи электричества, также работает над социальным производением только в той степени, поскольку он сам пользовался примером предшественника и поскольку его собственные комбинации предназначены служить примером в будущем.

Заметим, что тот же критерий прилагается и к обществам животных. О них уже наверное нельзя сказать, что их существенной характерной чертой является договор; им чужда не только идея договора, представляющая собой обоюдную форму командования, но даже и сама идея командования, которая естественно должна предшествовать идее договора, не проявляется в них. И если мы исследуем, как происходит командование, что мы увидим? В стае обезьян, лошадей, собак, даже

пчел и муравьев, начальник показывает пример действия, которое он приказывает *in petto*, и остальные ему подражают. Постепенно мы видим, что намерение приказывать, смешанное вначале с инициативой приказываемого действия, отделяется от последней. Начальник ограничивается только тем, что начинает этот акт, а позже переходит только к указывающему на него жесту. От жеста переходят к знаку; этот знак представляет собой крик, телодвижение, взгляд и, наконец, членораздельный звук. Но всегда слово возбуждает представление действия, долженствующего быть выполненным, — действия известного, само собою разумеется, потому что не делают по заказу изобретения, не вызывают по приказу гениальность, и это представление и есть эквивалент примера, первоначально подаваемого начальником.

Но я не намерен останавливаться еще дольше на разъяснении этой точки зрения, для обоснования которой мною, кажется, приведено довольно много доказательств. Я с удовольствием видел, что она принята многими авторитетными философами, и в особенности мне было приятно заметить, что другие, не желавшие ее признать, были принуждены соглашаться с нею помимо их ведома<sup>1</sup>. Ошибались только иногда относительно характера и степени той важности, какую я приписываю подражанию. Оно, по моим взглядам, есть только социальная память, а если память — фундамент ума, то это не будет еще его здание. Продолжим теперь наши исследования по общественной психологии, покажем суждение и волю в процессе их работы внутри общества: это и составляет, собственно, предмет нашей книги.

Нет ничего яснее и вместе с тем глубже нашего сознания — это нечто вроде желудка с окнами, освещенного и прозрачного улья, где нам открываются тайны самых интимных деяний жизни, которые удивили бы нас бесконечно, если бы мы могли видеть только внешние результаты, т. е. поведение сознательных существ. Отсюда проистекает выгода или даже обязательность обращения к психологии, а не к биологии за ключом к социологии.

Есть, однако, нечто глубоко верное в метафорическом понятии о социальном организме — понятии, столь вышедшем из моды в настоящее время. Мы увидим, что общество, если его и нельзя сравни-

вать с организмом, может быть сравниваемо с одним привилегированным органом — мозгом. Общественная жизнь в конце концов представляет собой необычайную экзальтацию жизни мозга. Но вообще социальное существо отличается от просто живого существа во многих отношениях и прежде всего — различие, которое слишком мало замечалось, — в том, что первое гораздо менее явственно ограничено во времени и пространстве, нежели второе.

Отдельные живые индивиды, животные или растения, ясно определены, каждый в отдельности, и они рождаются и умирают в точно определенный момент. Но что такое существо социальное? Если бы это была только политическая группа, то можно было бы сказать, что так как границы между народами обыкновенно бывают проведены с достаточной точностью, то и эти социальные существа отделяются достаточно явственно одни от других. Но, к несчастью, национальности не всегда совпадают с государствами.

Лингвистическая группа составляется из частей народов, взятых у различных государств; точно так же составляются группа религиозная и группа юридическая, а следовательно, и группа национальная, которая, будучи очень трудно определимой и отделимой, предполагает оригинальную комбинацию религии, языка, права, совокупности нравов и обычаев — все это заключенное, если это возможно, в определенном участке земли с природными естественными границами. Это похоже на то, как если бы у нескольких индивидов, родившихся и живущих связанными, внутренне соединенными между собой всеми частями тела и представляющих нечто вроде множественного уродца, о котором некоторое смутное понятие могут дать наши уроды — двойни, функции кровообращения, дыхания, пищеварения и все остальные отправлялись бы сообща у нескольких разом, тогда как голова каждого функционировала бы отдельно.

Кроме того, как следствие из предыдущего, социальная смерть, так же как и социальное рождение, не происходит в сколько-нибудь определенный срок. Они растягиваются на длинные периоды времени, в течение которых мы видим, как последовательно, а не почти мгновенно, как для живых существ, рождаются или умирают различные общест-

венные функции: язык, религия, политическое устройство, законодательство, промышленность и искусство.

В этом заключается важное и существенное различие. Но представляет ли оно признак низшего положения социального тела сравнительно с живым индивидом? Нет, думаю, что наоборот. В слишком явственном разделении живых индивидов заключается источник глубокой иллюзии, заставляющей их изощрять свой эгоизм, преувеличивать свою независимость, забывать свою солидарность и реальность их общей сущности. Отсутствие такого перерыва между существующими или следующими друг за другом обществами избавляет их в некоторой мере от аналогичной ошибки. Неопределенность их действительных границ и взаимное постоянное смешение помогает им помнить, сколько искусственного и маловажного в их «принципе индивидуализации» и стремится внушить им мысль об общей цели и общей сущности.

По мере того, как поднимаешься от низших ступеней жизни к высшим, видишь, что индивидуальность усиливается все более резким разделением, все более явственно выраженной автономией; наоборот, по мере того, как общества поднимаются в цивилизации, их собственные индивидуальности, оставаясь столь же реальными, становятся менее и менее определенными и ограниченными, все более расплывающимися, так сказать, интернационализированными. Эта противоположная прогрессия весьма замечательна. Отец (или крестный отец) социологии мог представлять себе человечество как одно единое и даже великое существо, но никогда бы у него не зародилась мысль олицетворить подобным образом совокупность всех созданий жизни.

Что бы ни думали об этом высокорелигиозном представлении, все же из указанного различия вытекает довольно интересное следствие, а именно, что для социологии изучение того, что интернационально, — социального вещества или социальной ткани, как мы выразились раньше, — имеет гораздо высшее относительное значение, нежели изучение живой ткани для биологии.

Нации кажутся разделившимися только для того, чтобы успешнее сотрудничать в увеличении их великого, нераздельного родового

богатства — религиозного, научного, промышленного, художественного и морального. Я сказал «нации», но это не единственное название, которое дают социальным группам, и уже самая многочисленность этих названий указывает на отчасти искусственный характер их разделения. Если указать только главные из этих названий, то между ними различают нации или отчества, государства или церкви. Таковы четыре ясных и не совпадающих разграничения, исходящих из различных точек зрения, — первые два из происхождения социальной связи, два последних из характера этой связи. Распадается ли наше или какое-нибудь другое человечество на племена или общины, на народы или империи и федерации, всегда под этими четырьмя внешними формами можно рассмотреть социальную действительность. В идее нации господствует мысль о единокровности, соединяющей индивидов одного и того же народа не меньше, чем членов одного и того же племени, а, может быть, даже еще и больше, потому что большинство племен разнородно еще более наших новейших народов и пропорция чужестранцев, натурализованных усыновлением или порабощением, у них гораздо больше пропорции эмигрантов в наших странах. В идее отчества проявляется связь, порождаемая сожитием в одной и той же местности; это интенсивное впечатление дает себя чувствовать даже первобытным общинам и племенам еще раньше, нежели они становятся оседлыми, потому что кочевания номадов представляют собой полный цикл, круговое путешествие всегда в одних и тех же местностях. Идея государства почерпнута главным образом в общности интересов и общей решимости защищать и расширять эти интересы; с этой точки зрения первобытный клан представляет маленькое государство. Идея церкви рассматривает социальную группу, — все равно, малую или большую, — в дополнительном отношении к предыдущему, а именно как союз общих одинаковых верований; потому-то и противопоставляют государство церкви, тогда как никто не подумает противопоставить государство или церковь отчеству или нации.

Но где же видели, чтобы область национальности или отчества точно соответствовала владениям государства или церкви, а владения церкви — владениям государства? Однако это было бы необходимо

для того, чтобы общество — синтез этих четырех идей — представляло собой нечто столько же индивидуализированное, как животное или даже растение. Точного соответствия в этом не только никогда не видели, но даже оно наблюдается все в меньшей и меньшей степени, и цивилизация ведет за собой возрастание владений всех этих четырех идей вместе, но такими неравными шагами, что можно видеть теперь европейцев, как, например, бельгийцы и швейцарцы, имеющих религиозных и научных единомышленников во всей Европе и в большей части всего остального мира, тогда как область их соотечественников или сограждан сводится к нескольким десяткам лье в окрестности.

Я останавливаюсь из боязни дойти до лести модному ныне социализму. В этой книге найдется много страниц, внушенных мучительными проблемами настоящей эпохи, но в ней, надеюсь, не отыщут ни одной строки, которая не дышала бы полной независимостью ума, не была лишена всякой предвзятости по отношению к господствующим мнениям.

Мои идеи о подражательности представляют, по крайней мере, то хорошее, что они научили меня держаться настороже против обаяния успеха, какова бы ни была его продолжительность или его размер, потому что в этих двух отношениях триумф означает рутину и бездействие мысли. Я прекрасно знаю, что большая часть людей предпочитает заблуждаться вместе со всеми, чем быть правыми в одиночестве; но философ, как мореплаватель, должен остерегаться течений, и чем они сильнее, тем дальше от них он должен держаться.

Но столько же, сколько этих преходящих увлечений, он должен остерегаться и другого, гораздо сильнее укоренившегося стремления, не менее призрачного и представляющего в наших глазах один из главных источников заблуждений в социологии. Несколько объяснительных слов по этому предмету не будут бесполезным уклонением в сторону. При самом начале социальной эволюции почти всюду видим, что всякое место, всякий день считаются приносящими счастье или несчастье.

Суеверная идея благоприятного или неблагоприятного предзнаменования связывается тогда с тем, что какое-нибудь происшествие случилось направо или налево от нас, на востоке или на западе, в тот



или другой день недели или года, утром или вечером. Как заметил Эспинас, понадобились все труды греческих геометров для того, чтобы постепенно уничтожить первое из этих двух суеверий и поднять ученых, а затем и толпу «до общей идеи пространства и до понятия о месте как о совокупности морально безграничных соотношений<sup>2</sup>, индифферентных к человеческому счастью или несчастью». Нужны были также работы всех ученых вместе, и в особенности естествоиспытателей и историков, чтобы лишить почвы суеверие, относящееся ко времени, и показать нам, что момент, в который происходит явление, сам по себе безразличен для его счастливого или несчастного исхода.

Но заметим, что это второе суеверие исчезало гораздо медленнее первого и оставило следы многочисленные и, главное, важные. Теперь никто не подумает повернуть свой дом фасадом к востоку или к северу, чтобы увеличить свое благосостояние; его обращают к стороне наиболее веселой или наиболее оживленной, ему дают положение наиболее здоровое. Даже могилам уже веками перестали придавать определенное расположение и теперь более не думают, что, помещая голову мертвого на восток и заставляя его смотреть на запад — предполагаемое направление душ при их переселении в грядущее отечество, — облегчают ему и самое переселение. Теперь более не заботятся о том, летит ли птица, которую видят, направо или налево, ступили ли первый шаг левой ногой (как все египетские надгробные статуи) или правой. Никто не подумает, что принесет несчастье своим собеседникам, заставляя обносить бутылку или блюдо в одном направлении вокруг стола, а не в другом.

Напротив, многие все еще продолжают бояться дурного влияния пятницы, хотя и не сознаются в этом; хорошо известным доказательством этого служит то, что в этот день, точно так же, как и тринадцатого числа каждого месяца, выручка омнибусов и железных дорог чувствительно понижается. Почти никто не увидит вечером паука без того, чтобы не сказать, улыбаясь, пословицы: «*Araignée du soir, espoir*» (паук вечером — надежда). Нет и одного крестьянина на тысячу (во Франции), который бы осмелился сеять что бы то ни было в последнюю четверть луны; у меня был парикмахер, который никогда

не соглашался стричь мне волосы иначе, как при новой луне, убежденный, что они отрастут скорее; хотя здесь главным образом имеет значение особое могущество, приписываемое этому магическому светилу, но, конечно, к этому присоединяется и впечатление, вытекающее из древней теории счастливых и несчастливых времен. Наконец, замечательно, что престиж отдаленности в пространстве исчез совершенно, тогда как отдаленность по времени — все равно, идет ли речь о глубоком прошлом или о далеком будущем — сохранила свое возбуждающее влияние на воображение и даже на разум. Вера в бесконечный прогресс представляет его видимое проявление, точно так же как и античная противоположная вера в бесконечное грядущее падение.

Когда астроном сообщает нам, что вся наша солнечная система несется по направлению к созвездию Геркулеса, нам все равно, каков бы ни был конечный пункт этого гигантского перемещения; мы не думаем, чтобы оно предвещало что-нибудь хорошее или дурное для нас. Мы не воображаем также, что, смотря по направлению, это путешествие приведет нас в Эдем наших грез или в Ад наших кошмаров. Но мы еще не успели отрешиться от другой, не менее ребяческой идеи, что в очень глубоком прошлом, по мнению одних, или в очень далеком будущем, по мнению других, скрывается эра божественного счастья, небесной гармонии и чистоты или, наоборот, ужасный хаос, сумбур всех жестокостей и всех грубостей, какие только можно себе представить. Многие ученые, считающие себя позитивистами, бессознательно увлекаются этой старой суеверной склонностью к тому, чтобы видеть а priori в людях доисторического времени диких зверей, отвратительных чудовищ и уверять себя, что, несмотря на прогресс нашей преступности и нашей болезненности, мы быстродвигаемся к эпохе сверхчеловеческого счастья.

Как много людей, даже образованных, убеждены в том, что мы находимся накануне настоящего социального возрождения, накануне коллективной *vita nuova*! К сожалению, нет ни одной революции, которая не льстила бы себя надеждой начать собой новую эру. Революционный календарь наших предков в 1792 году не новость в истории. После Сицилийской вечерни в 1282 году убийцы помечали свои акты «первым

годом господства Святой Церкви и счастливой Республики». Риензи в следующем веке, во время своей диктатуры, начал вести летоисчисление также от «первого года освобожденной Республики».

Спенсеровская мысль об относительной однородности в прошедшем связана с этим древним предрассудком. В настоящее время, вообще говоря, нисколько не трудно согласиться с мыслью о том, что планеты так же обитаемы, как Земля, что вокруг самых отдаленных и даже невидимых звезд обращаются земли, составленные из таких же элементов, как наша, столь же географически живописные и разнообразные, как и наше жилище, населенные живыми существами, как наша земля, и существами, настолько же различными между собой, хотя и иным образом различными. Мы поверили всему этому сразу, при самых первичных зачатках новейшей астрономии, даже еще до открытий спектрального анализа.

Но какие успехи должна еще сделать наука, чтобы убедить нас, что во времени, как и в пространстве, все идет, шло или будет идти постоянно к дифференциации и что если последняя идет изменяясь, изменяя свой характер и объект, то она, в сумме, все же идет, не уменьшаясь! Наш ум относится с сильнейшим отвращением к мысли, — очень правдоподобной, однако, — что и в прошедшем люди так же различались одни от других характером, умом, наклонностями, как в настоящее время, что среди них всегда существовали изобретатели или смелые инициаторы с грандиозными мечтами, с необыкновенным честолюбием и стремлениями. Мы слишком склонны видеть в социальном творчестве доисторических времен продукт бессознательной работы. Нам кажется парадоксальной мысль, что люди того времени так же знали, что они делают и чего хотят, как и мы. И этот предрассудок представляет, по моему мнению, одну из тех иллюзий, которые замедляют установление истинной социальной науки. Он мешает нам понять образование языков, религий, правительств, промышленности и искусств.

Можно было бы думать, что массовое распространение эволюционизма помогло бы рассеянию этого заблуждения. В самом деле, теория эволюции утверждает, что всемирная жизнь состоит из

бесконечной цепи повышений, сопровождаемых понижениями, с иезначительными вариантами. Прогресс и упадок имеют в ней только относительный смысл, ограничиваемый восходящей или нисходящей фазой каждой из волн бесконечного колебания. Но эволюционисты-социологи беспрестанно забывают это, и я думал, что, быть может, будет не лишне напомнить об этом в начале настоящего труда.

# **ПЕРВАЯ ЧАСТЬ**



# **ПРИНЦИПЫ**



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Индивидуальная логика

Вернуться снова к обсуждению тех многочисленных вопросов логики, которые рассматривались за последние годы выдающимися английскими, немецкими и французскими мыслителями, было бы с моей стороны таким самомнением, которого я себе не позволю, и настолько скучно, что я считаю себя обязанным пощадить и читателя и самого себя. Но мне кажется, что некоторыми своими сторонами, на которые еще не было обращено должного внимания, логика связана гораздо теснее, чем это предполагалось до сих пор, и с психологией, и с социальной наукой, и что, рассматриваемая именно с этих своих сторон, она оказывается способной к новому дальнейшему росту. Таково то основное положение, которое я собираюсь не развить вполне, а обрисовать в общих чертах в настоящем труде. Свою исходную точку зрения я давно уже изложил в другом месте, и даже несколько раз мне случалось мимоходом прилагать ее к учению о нравственности и к политической экономии. Но прежде чем приступить к ее дальнейшему приложению, резюмируем в нескольких словах то, что для нас важно помнить в настоящем случае. 1) За исключением некоторых первичных и неразложимых элементов чистого ощущения, лежащих, согласно гипотезе, под переплетающимися слоями непосредственных и бессознательных чувственных суждений, которые мы называем почти безразлично ощущениями или чувствованиями, все душевные явления, а следовательно, и все социальные явления, составляющие их следствие, сводятся к верованиям и желаниям. 2) Верования и желания суть действительные величины, изменения которых в сторону увеличения и уменьшения, положительные или отрицательные, по своей сущности измеримы, если не практически, то или в их индивидуальных проявлениях или — лучше и с гораздо большей легкостью — в их проявлениях социальных. В самом деле, не только при различных состояниях одного и того же индивидуума, но даже у разных индивидов они

остаются по существу сходными между собою и, следовательно, вполне законно могут быть слагаемы при помощи различных приемов, например, психофизических в первом случае, статистических во втором. Заметим, наконец, что желание иметь всегда своим объектом какое-либо верование и не может явиться отдельно от него, тогда как последнее может быть рассматриваемо независимо от первого.

## I

Хорошо знаю, что далеко не все согласятся со мною во всем предыдущем, но не могу теперь исследовать это разногласие по существу, полагаясь более на последовательное развитие этих данных, нежели на их прямое доказательство для того, чтобы привести читателя к признанию их истинности. Однако с самого начала я должен устранить некоторые неблагоприятные предубеждения, противопоставляемые мне по этому предмету мыслителями экспериментальной школы. Им редко приходилось изучать верование и желание, хотя бы только мимоходом, и когда они говорят об этих явлениях, они делают это довольно презрительно. Для них это простые свойства ощущений и образов и притом точно такие же свойства, как и все остальные. Это и понятно: они делают психологию чисто физиологической, чисто индивидуальной; они изолируют индивидуума, и так как для того, чтобы хорошо понять, необходимо сначала хорошо проанализировать, то их юная наука считает возможным действительное движение психологии вперед только по мере того, как она различает в изолированном «я» новые оттенки чувства и воспоминания. Точно так же, как химик, анализируя одно тело отдельно от всех остальных, определяя его цвет, вкус, температуру и т. д., мог бы прийти к тому, чтобы считать его вес и подвижность такими же свойствами, как и все другие его свойства. Таким образом, ощущения и образы — прибавьте к этому еще сходства и смежности между ними — вот и все, по мнению наших психологов, и надо в самом деле удивляться богатству их научных модуляций на эту тему. Ощущения и образы представляют собой дифференциальную сторону ума, словарь его языка, а изучение словаря всегда должно несколько предшествовать изучению грамматики.<sup>3</sup>



Что составляет ту связь между образами, при помощи которой строится всякое познание, как не утвердительная или отрицательная уверенность и определенная степень этой уверенности, всегда по существу одной и той же, — результат предварительно составленного суждения. Ассоциация представлений — вот, например, слово поистине смутное, почти столько же смутное, как и слово «эволюция», если его не объяснить; но что же получится, если даже его объяснить? Будут ли то только сходства и смежности? Что касается сходства, о нем у меня будет случай поговорить позже, но всякая смежность, когда она сопровождается связностью, предполагает действие силы притяжения. Может также случиться, что два смежных предмета отталкиваются, но их смежности также недостаточно для того, чтобы объяснить это действие. Психологи вообще, по-видимому, убеждены, что, когда являются два связанных друг с другом образа, эта связь всегда утвердительная (я употребляю не их способ выражения, но на своем языке передаю их мысль). Но ведь не трудно показать, сколько отрицательных элементов включает в себе самое простое восприятие. Если, как утверждают Бэн и Спенсер, распознавание есть первый акт ума — отрицание есть начало умственной жизни. Когда я воспринимаю перпендикулярность стены, образ ее падения направо и образ ее падения налево в связи с ее видом, соединенные в два суждения (предшествующих), отрицающих принадлежность этих образов к зрительному впечатлению стены, образуют это восприятие. Когда воспоминание о вчерашнем возникает посреди впечатлений, образующих мое настоящее состояние, оно смежно с этими впечатлениями, оно даже сходно с некоторыми из них, но именно поэтому, для того чтобы оно не смешалось с ними, а соединилось бы с прочими, относящимися к тому же времени воспоминаниями, необходимо, чтобы его связь с теперешними впечатлениями отрицалась, а отсюда следует, что его связь с остальными воспоминаниями о вчерашнем должна быть утверждена, а это значит, что слова: связь, соединение, ассоциация — представляют собой фонарь, в котором слова: утверждение и отрицание, т. е. слово «верование» являются источником света<sup>4</sup>.

Мы наблюдаем иногда постепенный переход от утвердительной связи между двумя образами или между образом и ощущением, которых

ум все время не теряет из виду, к связи отрицательной или обратно. Проезжая через незнакомую страну, я просыпаюсь на заре в вагоне и замечаю над горизонтом белую зубчатую полосу на синем небе; я узнаю цепь гор. Это значит, что я утверждаю принадлежность к этому зрительному впечатлению тех различных смутных образов, — зрительных, осязательных, мускульных, — которые остались у меня после моих горных экскурсий. Но затем мне кажется, что я заметил небольшое изменение в очертаниях этого силуэта, и у меня появляется мысль, что это, может быть, облако: другое суждение о принадлежности, постепенно растущее рядом с первым, которому оно противоречит. Попеременно я обращаюсь то к одному, то к другому; я колеблюсь между ними, но второе продолжает расти, а первое в конце концов лишается заключавшегося в нем утвердительного верования и затем наполняется все растущим верованием отрицательным и наконец отрицается совершенно. Однако в течение всей этой внутренней эволюции зрительное впечатление белой зубчатой полосы оставалось ассоциированным в моем уме с другими образами, о которых я говорил, и последние не ослаблялись и не усиливались<sup>5</sup>, в то время как их связь сначала ослаблялась, а затем, переменив знак плюс на минус, снова усиливалась. Их смежность оставалась все время одна и та же, не исключая и момента равновесия, когда ум, еще не отрицая и уже не утверждая, не устанавливал, собственно говоря, никакой связи между смежными положениями.

Из фактов более возвышенной умственной сферы я напомним, что общее убеждение ученых относительно реальности гипнотических (если не телепатических) явлений за довольно короткое время перешло от самого решительного отрицания к самому энергичному утверждению. Я прибавлю еще, что большая часть тех, кто сегодня уверен положительно, после того, как вчера они были уверены отрицательно, не очень-то много увеличили свои познания по этому предмету; они представляют себе все то же, что и раньше, когда думают о нем; их теперешняя положительная вера во внушение была внушена им авторитетом точно так же, как была им внушена их отрицательная вера, и это, мимоходом сказать, прекрасный пример социального внушения в состоянии бодрствования<sup>6</sup>.

Утверждение и отрицание, присвоение и отчуждение — таковы те состояния, между которыми постоянно колеблется ум, и они настолько же противоположны, как только могут быть противоположны два полюса магнита или электрической батареи. Но всякая достаточно ясно выраженная противоположность предполагает основное тождество силы, два противоположных проявления которой она представляет. Два полюса магнита предполагают один и тот же магнетизм. Но что именно тождественное можно найти в глубине утверждения и отрицания, как не верование?<sup>7</sup> Точно так же наслаждение и страдание или, лучше сказать, приятная сторона ощущений и их неприятная сторона как таковые представляют собой другую основную ритмическую, душевную противоположность; а что же тождественное находится в глубине наслаждения и страдания, как не желание? В чувствованиях, как в представлениях и понятиях, которым они соответствуют (потому что чувствования суть в некотором роде моральные представления или понятия, а представления и понятия — интеллектуальные чувствования), мы всегда замечаем положительную или отрицательную полярность, т. е. радостный или печальный характер, который разделяет их на два больших отдела, смотря по тому, что одержало верх при их возникновении: привлекательные стороны над отталкивающими, любовь над ненавистью, или наоборот.

Верование и желание проявляют по отношению к ощущениям и образам независимость, которая может простирается почти до полного отделения. Я вижу эту колокольню, воспринимаю ее высоту, понимаю ее древность. Правда ли, что это восприятие или это понятие состоит по существу из образов, связанных между собой или с моим зрительным впечатлением? Это так мало справедливо, что, несмотря на то, что мое восприятие вышины или мое сознание древности очень ярко, я все-таки несколько не думаю ни о мускульных, ни о других ощущениях, из которых считается построенной идея вышины, ни об исторических воспоминаниях, синтез которых, как говорят, представляет собою идея древности. Неужели же должно поверить психологам, что призрак представлений, из которых получило начало понятие, проносится перед умом в тот момент, когда это понятие возникает в нем? Каким

образом могут они получить право видеть в этом явлении, бесконечно слабом и почти всегда бессознательном, активный элемент того часто настолько могущественного состояния, которое они называют восприятием или сознанием. Заметили ли они когда-нибудь, чтобы интенсивность восприятия плотности, продолжительности, расстояния сообразовалась с ясностью образов, которые, по их словам, вызываются имеющимся налицо ощущением?<sup>8</sup> Признать противоположное этому было бы точнее, потому что, когда путем психологического анализа точно определяем, что именно называем плотностью тела, находящегося перед нами, наше восприятие его плотности ослабляется, растворившись в идеалистическом сомнении. Однако ясно, что, когда мы воспринимаем знакомый нам предмет, в нашем уме, кроме настоящего ощущения, есть что-то еще. Что же это такое? Это именно то, что Льюису и Бинэ угодно называть положением моего «я», но что на обыденном языке называется убеждением, уверенностью, пережившей породившие ее причины. Подобным образом нам часто приходится наблюдать, что мы испытываем определенное впечатление, горестное или радостное, мотивы которого мы совершенно забыли, — впечатление любви или ненависти к человеку, о котором мы вовсе теперь не думаем, а иногда, останавливаясь внимательно на характерном оттенке этого ощущения, мы отыскиваем его причину, сначала причину родовую, так как легко отличить, вызвано ли неприятное чувство, о котором идет речь, дурным отзывом или столкновением денежных интересов, а затем и специальную причину данного случая. Тогда вдруг истинный мотив, образ предмета, вызывающего огорчение или удовольствие, человека, которого любишь или ненавидишь, ярко вырисовывается и чувство становится цельным. Часто мы находим в себе определенные, очень сильные и настолько слепые убеждения, специальный оттенок которых помогает нам вновь отыскать то суждение, неизгладимый след которого они представляют. Я вижу проходящего человека и чувствую себя уверенным в том, что я его уже видел, но не могу сказать, где и когда. Я допускаю без труда, что это впечатление уже виденного порождается тем, что настоящее ощущение накладывается на физиологический, уже несознаваемый след предыдущего ощущения, но как бы то ни было, то впечатление есть

некоторое убеждение и, следовательно, неправда, что убеждение представляет собой простое сближение двух образов или образа и ощущения, потому что здесь в сознании нет образа; он появляется только тогда, когда, обдумав форму моей уверенности, легкое чувство некоторого рода досады или удовольствия, которым окрашено мое верование<sup>9</sup>, я говорю себе, что, должно быть, я видел этого человека во время скучного визита или на веселом пиру, искомое воспоминание, определенное сначала по своему роду, не замедлит появиться со всеми условиями времени и места. Но мое верование не станет другим, не станет даже сильнее оттого, что я точно определил его объект.

Мы очень редко принимаемся за подобного рода анализ впечатлений печали и радости, беспокойства или довольства, из которых складывается наше настроение, мы редко восходим к их источникам. Счастливый человек редко думает о своем здоровье, о своей молодости, о своих доходах, но он постоянно наслаждается надеждой и уверенностью, которую все это дает ему, и его удовлетворенные желания покоятся, не вызывая даже мысли о том, что их удовлетворяло или будет удовлетворять. Все улыбается ему даже тогда, когда ничто в особенности не рисует ему никакого смеющегося образа. А тут же, рядом с ним, несчастный может совсем не думать о своих несчастьях, но он все-таки непрерывно страдает от них. Подобным же образом мы очень редко обращаем внимание на впечатление уже виденного. Вообще говоря, это впечатление проходит незамеченным, несмотря на то, что оно составляет основу нашей обыденной жизни; я говорю не только о правильно-однообразной жизни большинства, но и о жизни людей беспорядочных, о туристах, которым на одну замеченную ими новость приходится видеть тысячу вещей, близко сходных между собою. Таким образом, мы видим много и не смотрим вовсе, а в особенности по мере того, как наша жизнь становится правильнее или увеличивается наш возраст, мы все легче, так сказать, скользим через мир, почти всюду представляющий нашим взорам хорошо знакомый образ. Среди звуков, зрелищ и существ, совершенно схожих между собою, мы никогда не спрашиваем себя: где, когда видел я это или то? Но из этих множественных ощущений, проходящих в нас одно за другим, замечаемых лишь

уголком глаза, вырастает уверенность, так сказать, массивная и глубокая, успокаивающая и укрепляющая, заключающая в себе прелесть существования и основания мышления. Когда мы лишаемся этого общего впечатления — в первые моменты изгнания, в начале совершенно обыкновенной жизни, — мы чувствуем себя лишенными нашего самого драгоценного достояния, потому что каждый наш взгляд становится вопросом, на который нет ответа, вместо того, чтобы быть ответом на забытый вопрос, и наша умственная жизнь из постоянного *credo* превращается в допрос<sup>10</sup>. Нет ничего более вызывающего уверенность, ничего более успокаивающего, нежели привычка; отсюда-то и проистекает необходимость, какую мы в ней ощущаем. Отсюда проистекает этот мизонеизм, свойственный не только животным, но ощущаемый также человеком с самым богатым воображением. Овидий в изгнании страдал тоской по Риму. Его можно было бы назвать мизонеистом.

Наша вера в реальность внешних предметов — вера, заключающаяся в каждом восприятии, — вообще говоря, сводится к впечатлению уже виденного. Правда, если спросим себя, какая идея является объектом этой веры, то ответим вместе со Стюартом Миллем: возможность ощущений. Прибавлю еще, что если всмотримся в смысл слова «возможность», то должны будем определить его так: обусловленная необходимость. Это значит, что при виде, например, апельсина, я уверен и в кисловатом и сладком вкусе, какой я буду ощущать, если начну его есть. Обусловленная необходимость не означает ничего, или же означает уверенность, — уверенность не обусловленную, но уже реализованную. Если вдуматься в прогрессию трех терминов: возможность, вероятность, необходимость, в которой так видимо отражается последовательность степеней верования от сомнения до полного убеждения, то станет понятным, что необходимость есть просто объективирование (призрачное или нет) высочайшей степени нашей уверенности, что она — тень, отбрасываемая этой уверенностью, и в то же время ее объект. Но это еще не все: нужна ли для существования нашей веры в реальность самая наличность обусловленной необходимости, о которой идет речь, и, следовательно, наличность образа ощущений, признаваемых обусловленно необходимыми? Нисколько. У

нас имеются такие-то зрительные ощущения, мы тотчас же уверены. Уверены в чем? Мы об этом не думаем. Но эта вера энергична несколько не менее оттого, что она лишена объекта, и детский реализм, никогда не вдумывающийся в себя, без сомнения, самый сильный из всех реализмов.

Мы сказали, что всякое восприятие включает в себе некоторое условие, некоторое *если*, и я хотел бы, чтобы какой-нибудь психолог-ассоционист объяснил мне хоть немного это двухсложное слово. С нашей точки зрения, это очень просто. Когда при возникновении двух представлений или двух идей мы испытываем два противоположных стремления: одно — утверждать, что они известным образом связаны, другое — отрицать эту связь, и если при этом мы хотим отрешиться от сомнения, производимого этими взаимно нейтрализующимися стремлениями или нашим колебанием между двумя противоположными полюсами, то мы выражаем наше сомнение и вместе наше желание не сомневаться при помощи гипотезы, догадки, вопроса. Слово «*если*» — это вопрос, скрытый в форме союза.

Как в физической, так и в умственной деятельности, или, иначе говоря, как в суждениях ума и его хотениях, так и в его понятиях и чувствованиях, мы можем видеть только превращения или укрепления верования и желания. Все, что нам теперь знакомо, вначале было ново; все, что нам теперь пассивно приятно или неприятно, вначале привлекало или отталкивало нас активно. То, что я теперь понимаю при первом взгляде, при первом звуке, я должен был вначале рассматривать и выслушивать. То, что меня теперь волнует, я должен был узнать на опыте. И мы видим, как постепенно и в высшей степени свободно и легко суждение или деяние перерождается в понятие или чувствование, и обратно, как понятие разлагается под взглядом аналитика в суждение или чувствование в деяние. Это служит доказательством того, что под этими, по-видимому, столь несходными формами, в действительности есть нечто постоянное и тождественное.

Ощущение, точно так же, как и его образ, изменяется не только от одного индивида к другому, но и от одного его состояния к другому состоянию и, конечно, от одного возраста к другому в одном и том же

мозгу. Однако разве верить — не значит всегда одно и то же и желать не значит ли всегда желать, а разве верование или желание Петра не одинаково всегда с верованием или желанием Павла или Ивана, как бы различны ни были объекты их верования или желания. Молод ли я или стар, во сне, как и в состоянии бодрствования, больной или здоровый, в состоянии гипноза или наяву, — я всегда утверждаю или отрицаю, хочу или отталкиваю. Только такое сходство и существует в психологии, только это и может, строго говоря, сообщаться от одного к другому.

Если я захочу гипнотически внушить ощущение цвета слепому от рождения или музыкальный мотив глухонемому, это мне не удастся; если я внушаю дальтонику ощущение красного цвета, он увидит зеленый, но я могу в высшей степени легко внушить им мои принципы или мои страсти, или принципы и страсти кого мне вздумается. Если я, принадлежа сам к тому типу, который наши психологи называют зрительным типом, буду внушать какое-либо восприятие гипнотизированному, принадлежащему к слуховому типу, он будет представлять себе не так, как я бы представлял себе на его месте, но он будет верить точно таким же образом, как и я. Да и что такое, в сущности говоря, самое внушение, как не постоянное экспериментирование над верованием и желанием? Разве гипнотизер в своих повторяющихся опытах не видит, как по его воле, подобно тому, как повышается или понижается уровень реки, возрастает или уменьшается вера в галлюцинации, им вызванные, желание выполнить действия, им внушенные? Разве ему не случается противопоставлять одну галлюцинацию другой, одно стремление другому и отмечать момент, когда одна из этих величин становится равной другой или начинает превосходить ее? Не кажется ли, что загипнотизированный заключает в себе как бы больший или меньший запас веры, желаний в скрытом, неопределенном состоянии, которому магнетизер может дать только то или другое направление и распределение? Как же могло случиться, что первостепенный гипнотизер сам мог отказать этим смутным и плохо определенным явлениям в чести сделать их предметом методического изучения? Когда прочитаем у Хэк Тьюка («Тело и дух») или в



сочинениях о Лурде о чудесах, которые творит вера, об излечениях, которые она производит, о горах, которыми она двигает, приходится увериться в реальности такой силы. Без сомнения, в низшем животном мире существуют бесчисленные специализации ощущения, которые нам совершенно неизвестны. Умственное состояние пчелы в ее улье, голубя-путешественника в воздухе, мигрирующей сельди, даже собаки с ее чутьем складываются в значительной степени из таких впечатлений зрения, слуха, обоняния, быть может, электрического чувства (или чувства ориентирования), которые для нас навсегда останутся тайной. Насколько мы можем быть уверены, что не ошибаемся при нашей попытке проникнуть в тайны их психологии? Только насколько мы обладаем ключом к ним, имеющимся в нас самих, а этим ключом могут быть только некоторые первичные элементы сознания, тождественные у нас и у них среди стольких различий. В самом деле, собака может принадлежать к самому чуждому для нас из познавательных типов, к типу обонятельному, и у нас может не быть ни малейшего понятия о той богатой клавиатуре обоняния, которая позволяет ей различать по запаху каждую породу животных, каждую человеческую расу, каждого человека и идти по следу не только вообще зайца, но именно по следу такого-то определенного зайца, и мы все-таки уверены, что, идя по этому следу, она верит, что приближается к зайцу и что она желает его догнать. Затем, когда видим, как колеблется собака, сбивая со следа, как она начинает искать в другой стороне, мы знаем, что после того как она в своем уме утверждала, что приближается к зайцу по первому пути, она стала это отрицать и что в промежутке между этими бессвязными, но интенсивными утверждением и отрицанием она сомневалась совершенно так же, как сомневались бы мы сами в аналогичном случае.

Сэр Джон Леббок доказал, что муравьи видят ультрафиолетовые лучи, которых мы не видим и которые для нас не соответствуют никакому световому ощущению; стало быть, весьма возможно, что их гамма ощущений совершенно не такая, как у нас<sup>11</sup>, но когда мы видим, что муравьи идут, приходят, возвращаются обратно, работают, дерутся, у нас является очень ясное понятие о суждениях, которые они

составляют, о желаниях, которые их одушевляют, и таким образом мы удовлетворительно отдаем себе отчет в их психологии. Мы не знаем, какого рода удовольствие находит птица в высиживании яиц или даже в своем пении, но мы знаем, что она чего-то желает, а когда мы видим ее испуганно убегающей, мы знаем, что она боится чего-нибудь или кого-нибудь. Я не хочу сказать, что утверждение и отрицание, желание и отвращение представляют собой нечто другое, нежели соотношение между ощущениями или образами; но это такое соотношение, которое не изменяется в то время, как изменяются его члены, почти так же, как движущая сила — другой пример соотношения — остается одною и тою же, какова бы ни была химическая природа движимой материи.

Таким образом, если бы даже верование и желание не имели никакого другого специфического характера, кроме их всеобщности и единообразия от начала и до конца животной лестницы, от начала до конца психологической жизни, то не говоря даже об их изменениях по величине и об их переменях знака, указывающих на них как на настоящие количества души, этого было бы достаточно, чтобы вполне оправдать важность, какую они имеют в моих глазах. Во всяком случае, избрание таких явлений за точку отправления социологической психологии не нуждается в других оправданиях даже в том случае, если бы на них не могла обосноваться психология физиологическая, весьма ясно отличающаяся от первой, хотя и служащая ей дополнением. Шопенгауэр целую жизнь изучал одно из этих явлений — желание — под несвойственным ему названием воли и если бы вместо того, чтобы доказывать, что воля есть основная сущность всякого одушевленного или неодушевленного существа, он ограничился только доказательством того, что желание есть одна из существенных сторон всякой животной или человеческой души, он наверное ни в ком не встретил бы противоречия. В этом и заключается то, скрытое в глубине его великой гипотезы, зерно неоспоримой истины, которое сделало ее правдоподобной для стольких умов. Но заметим, что если бы ему вздумалось, у него были бы те же самые резоны объективировать до бесконечности суждение — читайте, верование, — какие имелись у него, чтобы бесконечно объективировать волю — читайте, желание. Еще целую

систему можно выстроить на этом базисе — дело только за строителями. Но мы здесь проектируем не такую претенциозную постройку. Прежде всего мы стремились восстановить в предыдущем изложении настоящий характер и истинное значение тех двух терминов, из которых мы исходим, чтобы основывать на этом наше дальнейшее изложение.

## II

Таким образом, психология, а также социология, представляющая собою, так сказать, солнечный микроскоп души, чрезвычайное увеличение и разъяснение физиологических фактов, распадаются на две большие отрасли, из которых одна трактует о веровании, другая о желании. В первой из этих двух наук, беря ее такую, какою она обыкновенно понимается, этому различению смутно, в общих чертах, соответствует допускаемое в ней отделение изучения ума от изучения воли, а во второй — само собою происходящее распадение между одной группой исследований, относящихся к образованию и преобразованию языка, мифов, философских учений и наук, и другой группой исследований, относящихся к образованию и преобразованию законов, обычаев, искусств, учреждений и промыслов. Но было бы гораздо точнее сказать, что нет ни одной из этих отраслей социологии, которая не представлялась бы нам двойственно, в зависимости от того, рассматривается ли ее предмет со стороны, предполагающей желание, или со стороны, предполагающей верование.

Для примера возьмем лингвистику именно потому, что в ней эта двойственность, на первый взгляд, заметна меньше, чем где-либо. Слова, которыми занимается лингвист, представляют собою не одни только звуковые сочетания, которые появились где-нибудь, переходят потом путем подражания от предков к потомкам, от завоевателей к покоренным; прежде всего они представляют собой настоящие понятия, которые, раз присоединившись к этим звуковым сочетаниям, так и передаются тем же способом. Эти понятия сделались таковыми, как, впрочем, и все понятия, через последовательное повторение и закрепление старых суждений, проявляющихся еще у дитяти, которое учится говорить. В основе слов лежат только суждения об обозначении, как

в основе идей пространства и протяжения находятся только суждения об относительном размещении. Каждое произносимое ребенком слово равносильно для него целой фразе; произнося его, он сознательно судит о том, что это слово обозначает такую-то вещь. Это суждение, становящееся все более и более скорым и неопределенным по мере того, как он повторяет это слово, вызывает веру, которая не только не уменьшается, но, наоборот, усиливается с каждым повторением, так что в конце концов бывает столь же уверен в истинном значении слова, сколь можно быть уверенным в цвете предмета, который видишь, или в температуре предмета, который осязаешь. Итак, язык, рассматриваемый в своей жизненной эволюции, есть не что иное, как сумма актов веры, которая идет, возрастая, или, прибавим также, уменьшаясь.

Эти акты веры обладают различной интенсивностью. Бываешь гораздо больше уверен в словах обыденных, нежели в словах редких и технических. Когда у слова три или четыре смысла, даже не представляющих ничего противоречивого, оно никогда не употребляется с той же невозмутимой уверенностью, с какой пользуются словом только с одним значением. С другой стороны, когда слово находится в процессе потери прежнего значения и приобретения нового, оно все с большей и большей степенью сомнения употребляется в своем первом значении и с все возрастающей уверенностью во втором. Тут существуют постоянные движения, повышения и понижения, которых никто не трудится заметить, по-видимому, потому, что они очевидны, но которые от этого не менее важны.

С каждым новым образующимся словом эта сумма верования возрастает, а с каждым старым, выходящим из употребления словом она уменьшается. Она, впрочем, неодинакова даже у различных людей, говорящих на одном и том же языке; по мере того как обогащается или беднеет обычный словарь каждого из них, количество его, так сказать, лингвистической веры повышается или понижается. С совокупность всех этих индивидуальных количеств представляет социальную энергию первостепенной важности; с ней приходится считаться даже в политике, когда, например, гений языка покоренного народа противодействует проникновению идей, законов, религиозных верований,

литературы, учреждений, которые намереваются ему навязать и которые он принял бы, вероятно, без психологического отпора, порождаемого его наречием. Нижнебретонское наречие гораздо больше сделало для того, чтобы воспрепятствовать слиянию Бретани с Францией, нежели христианство для того, чтобы этому помочь; точно так же и арабский язык представляет собой препятствие на пути к офранцузению Алжира далеко не меньше самого исламизма. Филологам надлежит изучить эту социальную силу, ее происхождение, развитие, направление и многочисленные формы ее распространения. Изменения в звуке или смысле слов, законы которых, или, лучше сказать, привычные направления, присущие каждому наречию специально или вообще свойственные человеческому уму, они стараются формулировать, в конце концов представляют собой только замену старых суждений об обозначении новыми через изменение ли подлежащего в этих суждениях (когда сказуемое, т. е. словесный звук, остается неизменным), или путем изменения их сказуемого (когда остается неизменным подлежащее, т. е. обозначаемый предмет). Но в то же время акт веры, связанный со старыми суждениями, отделяется от них, чтобы постепенно присоединиться к новым. Таким образом, и лингвисты, быть может, сами того не зная, изучают разные течения веры совершенно так же, как мифологи. Что же касается последних, то дело так ясно, что я ограничиваюсь указанием на него. Разве не возрастающее или убывающее количество веры, переходящее в процесс религиозной эволюции от мифа к мифу, от легенды к легенде, представляет собой скрытую душу и жизнь этой непрерывной цепи явлений? Вера перемещается так же, как и сила, но, как и сила, она не уничтожается. Таким образом, в среде религиозного народа, в Соединенных Штатах в особенности, такие системы философии, как позитивизм Канта, идеализм Конта, эволюционизм Спенсера, заменяя собой установленную религию, сами становятся новыми религиями, проповедуемыми в новых храмах Бостона, Нью-Йорка и т. д., — религиями в самом деле, по глубине и количеству веры, которую они отвратили от догматов.

Таковы языки, таковы религии, рассматриваемые как верования. Но хотя это и есть их преобладающая черта, их можно также

рассматривать как желания. Если словесные и религиозные понятия какого-либо народа представляют собою всегда значительную часть его познаний (ошибочных или нет), то услуги, какие ему оказывает его более или менее богатый и совершенный язык, его более или менее возвышенная и чистая религия, составляют значительную часть его богатства, отвечая в различной мере всякого рода потребностям и прежде всего потребностям литературным, обязанным своим развитием гению его языка, и потребностям моральным, развитым характером его религии. Во всяком случае, в его обычаях и политических учреждениях, в его промышленности и искусстве надо искать главные течения его желания, которое от намерения к намерению, от страсти к страсти, от потребности к потребности проходит через все века.

Обобщая предыдущее, можно сказать, что какая-либо нация в данный момент для поддержания своей религии или своей промышленности, своего языка или своего законодательства, своей науки или своих политических учреждений располагает определенным бюджетом верования и желания, в котором ни одна статья не может возрасти на счет других, по крайней мере до тех пор, пока новые источники веры и желания, т. е. новые капитальные открытия или изобретения, не прибавятся к старым. Поэтому мы и видим, что от одного возраста нации до другого пропорция различных издержек этого рода чрезвычайно меняется; здесь, например, большая часть верования приходит в неподвижное состояние в традициях и догматах, там она постоянно расходится на теории или опытные знания; здесь большая часть желания застывает в обычаях и учреждениях, там разливается в законодательстве и промышленности. Нет ли у нас некоторых оснований думать, что пропорциональное количество веры, вложенной в слова и словесные формы, много уменьшилось с первобытных времен, когда каждое слово казалось существом, всякая сущность действительностью, когда силы речи, притом мифологической в самой своей основе, было достаточно для того, чтобы создавать богов (*numina* и *potina*), когда не только безошибочность слова, сделавшегося идолом, но даже всемогущество речи, названной молитвой, не встречала ни в ком недоверия? Зато, с другой стороны, разве нет основания думать, что

количество верования, расходуемое под именем науки в разного рода исследованиях, по отношению к которым язык есть только орудие, и под именем доверия — в договорах, делах, многочисленных сношениях социальной жизни, пропорционально сильно возросло? Заметим мимоходом, что с этой точки зрения может быть прекрасно объяснен рост скептицизма в обществах, находящихся на пути к цивилизации. Если нам дано определенное количество верования на то, чтобы распределить его между нашими идеями, то доля каждой из них тем больше, чем оно малочисленнее. Следовательно, увеличение числа идей должно идти вообще наряду с ослаблением верований.

Политическая экономия до некоторой степени выучила нас суммировать подобным образом желание, которое она, правда, изучает не прямо, не непосредственно, но — что сводится почти к тому же — в богатствах, способных удовлетворять его. В ее глазах все может быть оценено, от съестных припасов до шедевров искусства, от более или менее прочной защиты, доставляемой частным интересам обычаями или учреждениями страны, до удовлетворения, доставляемого уму научными истинами или религиозной уверенностью. Все представляется ей равноценным определенной сумме денег. Что же это означает, если не то, что под своими многочисленными формами, среди разнообразия своих объектов, человеческое желание остается тождественным, способным к увеличению и уменьшению, как и всякая однородная величина? Политическая экономия, заметим это, трактует богатства подобно тому, как механика трактует силы: она занимается их производством, сохранением, распределением, употреблением и превращением. Если написать желания вместо богатства, то увидим, что ее настоящий предмет — второй из двух видов социальной науки, как я их определил выше. Заметим, однако, что она не охватывает его вполне и она должна быть пополнена политикой, моралью и правом, совокупность которых образует вместе с ней социальную телеологию; но общей основой всех этих наук является идея ценности и политическая экономия, которая некоторым образом присвоила ее себе, может претендовать на то, чтобы поглотить их в этом отношении.

Но что касается до первого вида социальной науки, то, по-видимому, ни одна из существующих наук не обращает на него внимания.

В самом деле, ни одна из них не охватывает с одной общей точки зрения различные отрасли человеческой мысли с такой широтой, с какой политическая экономия соединяет в своей разнообразные направления человеческой деятельности. Деньги — общая мера для всякого имущества, но какое общее мерило имеется для различных идей, для различных истин? Однако все сознают, что источник, из которого, хотя и в неодинаковой мере, черпают свою силу постоянно борющиеся и оспаривающие его друг у друга доктрины и теории, один и тот же; все сознают, что через все наши разнородные положения, составляющие все интеллектуальное богатство данной эпохи, через все догматы, теоремы, политические убеждения, а точно так же через все предвидения и надежды, составляющие основу всех наших договоров, предприятий, войн, революций, протекает река веры, многообразная и непрерывная, тождественная и многоцветная, и что, может быть, было бы уместно спросить себя, не подчинено ли законам появление этой реки, распределение ее вод и их общее направление.

### III

Можно ли сказать, что задача логики заключается в точном выполнении этой обширной программы? Да, но только при условии настолько расширить значение слова «логика», чтобы оно охватывало даже то, что нелогично; подобным же образом следовало бы, чтобы и телеология для выполнения аналогичной задачи изучала не только соответствие между средствами и целями, но также и несоответствие различных целей между собою. Прежде всего начнем с того, что поставим вне этих двух наук процесс получения тех количеств верования и желания, которыми они заведомо или бессознательно управляют; только распределением этих количеств между различными суждениями или намерениями должна заниматься каждая из этих наук. Эти психологические силы (верование и желание) напоминают собою реку с многочисленными притоками, истоки которых, однако, совершенно неизвестны. Поток веры, из которого почерпаются все наши идеи, широко разливается утром при пробуждении, особенно когда солнце светит, когда чувствуешь себя здоровым или совершаешь поучительное



путешествие; его уровень понижается к вечеру, падает все ниже и ниже, и поток совершенно высыхает в момент усыпления. Кроме своих органических условий, он зависит еще и от тех случайных восприятий, которые встречают и возбуждают нас на нашем пути; он зависит также и от обширности и ясности нашей памяти, собирающей и сохраняющей наши впечатления. Точно так же и наш поток желания берет начало не только в изменчивом состоянии наших органов, но также и в наших случайных столкновениях с окружающим — в образе женщины, например, которую мы видели на улице, и в живости нашего воображения, сообщающего продолжительность действию этого толчка. Вот то, что относится к индивидууму. Что же касается не менее изменчивого потока веры и желания, орошающего общество, то поскольку он является продуктом социального взаимодействия между индивидами, а не только соединением отдельных маленьких индивидуальных ручейков, постольку и этот поток находится в зависимости от подобных же причин, но только носящих другие названия. Независимо от расы и климата<sup>12</sup> его питает постоянный прилив открытий (род трудных общественных восприятий, точно так же как восприятия — род легких открытий для индивида) и изобретений (нечто вроде счастливой встречи), которые рождаются в среде нации или вносятся туда извне с весьма неодинаковой в разные эпохи быстротой или медленностью и распространяются в ней путем более или менее интенсивного, более или менее эпидемически-лихорадочного подражания (род социальной памяти).

Эти приступы воодушевления и оцепенения, фанатизма и скептицизма, высоко поднимающие или принижающие целые народы в ходе их истории, не могут быть объяснены иначе.

Но оставим теперь изучение этих причин. Оно относится к области элементарной психологии и элементарной социологии, а именно к первой путем здоровой теории восприятия и воспоминания,<sup>13</sup> а ко второй — путем объяснения изобретения или открытия законов подражания. Соберем теперь в одну кучу все существующие в данный момент верования и желания, рассеянные в тысячах суждений, между тысячами формулированных или только подразумеваемых намерений, и поставим во всей

ее общности проблему, какая представляется логике, с одной стороны, и теологии — с другой. Скажем прежде всего, что все эти суждения и намерения могут быть сгруппированы в одном и том же уме или в пределах одной и той же нации. В первом случае они составят предмет индивидуальной логики и индивидуальной телеологии, во втором социальной логики и социальной телеологии. Впрочем, как увидим дальше, обе ветви каждой из этих наук связаны между собою так же тесно, как два вида одного и того же рода.

Конечно, очень важно отличать присущи ли одному и тому же или, наоборот, разным лицам те идеи, которые ведут борьбу или поддерживают друг друга, те наклонности, которые мешают или помогают одна другой, но результаты этих столкновений или взаимопомощи и в том и в другом случае до странности схожи между собой, а так как мы выше уже констатировали тождественный характер впечатлений, называемых нами верованием и желанием, в самых несходных умах, среди самых разнородных ощущений, то не следует видеть никакого препятствия для превращения в науки социальные двух наук, которые до сих пор ограничивались (по крайней мере первая из них) областью изолированного и, стало быть, отвлеченного и искусственного индивидуума.

Какова теперь, после всего сказанного, задача индивидуальной или социальной логики, стоящей перед кучей сгруппированных разнообразных суждений, поделивших между собой всю сумму имеющейся у человека или у народа веры? Между этими суждениями есть такие, которые друг другу противоречат или друг друга подтверждают, или же наконец ни противоречат, ни подтверждают одно другое.

Логика должна указать, каким изменениям должно было подвергнуться распределение утвердительного или отрицательного верования и его различных степеней между положениями, из которых состоят эти суждения, для того чтобы избежать противоречия и достичь согласия или не разногласия, т. е. для того чтобы количества верования, вложенные в разные суждения, могли суммироваться без вычета, без убыли.

Какова равным образом задача телеологии, индивидуальной или социальной, поставленной перед хаосом проявляемых человеком или

народом стремлений и хотений, частью противоречащих одно другому, частью сходящихся, частью, наконец, индифферентно идущих рядом.<sup>2</sup> Она должна указать, как надлежит распределить желание между различными объектами стремлений и хотений, о которых идет речь, пользуясь его изменением в знаке (из желания в собственном смысле, превратив его в отвращение и обратно) или изменяя его напряженность, для того, чтобы соответствие социальных желаний достигло своей наибольшей величины, а их противоречие наименьшей, т. е. так, чтобы их алгебраическая сумма давала наибольшую величину.

Предположим, что у нас является намерение составить инвентарь национальных богатств и национальных познаний. Очень часто пытались, правда довольно плохо, составлять хотя бы только частичный инвентарь национальных богатств; Бурдо, например, показал нам, что стоимость продуктов, получаемых во Франции за год от домашних животных, равняется 7 миллиардам франков. Но никто еще не помышлял сделать подсчет национальным познаниям, несмотря на то, что эти две вещи в совершенстве соответствуют одна другой и даже специальное различие между капиталом и трудом приложимо как к одной, так и к другой. В самом деле, если понимать это знаменитое подразделение, на которое экономисты бесполезно потратили столько чернил, именно так, как следует его понимать, если оставить название капитала за суммой изобретений, какими располагает нация, какими она имеет желание и возможность пользоваться, и если присвоить название труда совокупности продуктов, полученных путем эксплуатации этого капитала, путем воспроизведения в миллионах экземпляров первого предмета, произведенного каждым изобретателем, то увидим, что аналогичное подразделение проявляется и в деле познания. Не следует ли различать, с одной стороны, сумму открытий, принципов, начертанных в заголовке катехизисов, грамматик, законов и наук какого-нибудь общества, и, с другой стороны, воспроизведение в миллионах экземпляров этих действительно капитальных познаний в семинариях и проповедях, в училищах или пансионах, в юридических или медицинских факультетах, в судилищах и т. д.<sup>3</sup> Больше того, даже способ возрастания капитала один и тот же и тут и там. Между бесчисленными

патентованными и непатентованными изобретениями, какие появляются за год и все стремятся к распространению, только небольшое число распространяется действительно; эти-то и прибавляются к промышленному, артистическому и военному родовому богатству нации. Точно так же и в потоках различных сведений, всякого рода известий из всех стран, одним словом, мелких или крупных открытий, приносимых ежедневной и периодической прессой, которые все равно стремятся увековечиться в человеческой памяти, большая часть забывается, теряется и только остаток частью экономизируется и прибавляется к научному, юридическому и историческому интеллектуальному богатству общества. Кроме того, порядочная часть новых изобретений, увеличивающих собою таким образом капитал социальной деятельности, заключается в улучшениях, в усовершенствованиях, указанных практическим применением предшествовавших изобретений; точно так же значительная часть новых открытий, увеличивающих капитал социального разума, заключается в развитии старых открытий, вызванном их изучением или их применением; таким образом инженеры заставляют прогрессировать промышленность, а законоведы заставляют двигаться вперед правоведение и профессора — ту или другую науку.

Все это показывает, что с познаниями нации можно обращаться, как с богатствами, и суммировать их тем же способом, И вот если кто-нибудь попытается составить этот двойной инвентарь, то относительно каждого из них он заметит два обстоятельства. Во-первых, при равномерности желаний, превращенного в национальные богатства, их инвентарь должен быть совершенно различным, смотря по тому, распадается ли это общее желание на такие отдельные специальные желания, одни из которых служат для производства предметов, требуемых другими, т. е. одни желания являются средствами, а другие целью и обратно, так что продукты этих желаний могут обмениваться путем торговли, или же, наоборот, это общее желание распадается на такие специальные желания, которые имеют целью мешать, уничтожать предметы других желаний, т. е. являются препятствием для последних. В феодальную эпоху последний случай проявлялся, например, в затратах на укрепление и вооружение замков; еще и в наши дни он проявляется

в выборной борьбе, в судебных процессах и даже в коммерческой конкуренции, поскольку промышленные соперники тратятся не на одно только расхваливание своего товара, но и употребляют все усилия, чтобы очернить товар конкурента.<sup>14</sup> Итак, не очевидно ли, что в нашем гипотетическом социальном инвентаре продукты желаний, помогающих друг другу, должны складываться между собою, тогда как продукты желаний, взаимно друг другу мешающих, должны вычитаться одни из других. Точно так же, суммируя общее национальное верование, должны различать, разделяется ли оно на такие специальные верования, которые друг другу не противоречат, которые часто даже взаимно подтверждаются и могут служить аргументами одни для других, обмениваться одни на другие путем взаимного обучения и осведомления, или, наоборот, это общее верование раздробляется на противоречивые убеждения, на учения, друг друга опровергающие, поддерживаемые религиями, предающими друг друга анафеме, враждебными и соперничающими школами и судилищами, борющимися между собою политическими сектами, полемизирующими друг с другом книгами и журналами. В первом случае придется складывать, во втором вычитать заносимые в инвентарь познания. Отсюда следует, что при равных количествах верования и желания итоги обоих счетов дадут величины, пропорциональные степени систематической гармонии интересов и идей. Хотя противоречие является в значительной мере необходимым ферментом, точно так же, как конкуренция, как свобода обучения, печати и совести, как свобода торговли и промышленности, и хотя и сама логика и телеология признают эти аномалии необходимыми, так как каждая из этих двух наук скорее стремится не к равновесию удовлетворенного верования и желания, а к их максимуму и требует этого равновесия только для достижения максимума, тем не менее, однако, ясно, что социальный мир через свои волнения и колебания подвигается к тому отдаленному состоянию, когда солидарность интересов прекратит почти всякие раздоры, а единомыслие умов уничтожит почти все разногласия. В ожидании этого видим, что государственный социализм подвигается по этому пути шагами гиганта, но гиганта одноглазого, который в своем нетерпении часто сам сбивает себя с пути и приходит к результатам,

противоположным его цели, потому что те верования, какие он насильственно уничтожает, очень часто представляют собою бес-сознательное сотрудничество, заслуживающее предпочтения гораздо более того вынужденного содействия, какое он доставляет.

Вот то, что относится к первому из указанных обстоятельств. Допустим теперь, что все желания, противные желаниям самым могущественным, что все верования, противоречащие самым могущественным верованиям, были бы уничтожены путем естественного подбора. Было ли бы этого достаточно? Нет. За этим стоит еще вопрос, пропорциональна ли интенсивность желаний, служащих средством, интенсивности желаний, удовлетворение которых является целью, т. е. достаточны или не достаточны размеры деятельности каждого производства для удовлетворения нужд, вызываемых соответственной потребностью, — трудная проблема, которую социалисты надеются разрешить в будущем, основываясь на указаниях статистики. Подобным же образом может в будущем и мог бы даже и теперь уже возникнуть вопрос о том, находится ли в соответствии с теоретическим значением отдельных отраслей науки та степень интеллектуального усердия, с какой каждая из них разрабатывается в обширной всемирной мастерской всеобщей науки, где все ученые взаимно освещают себе путь чистыми лучами без сумрачной интерференции и сотрудничают для одного и того же будущего синтеза; не существует ли, например, в настоящий момент некоторого перепроизводства исторических и археологических сведений.

Мне кажется, что после всего сказанного, данные выше определения логики и телеологии должны сделаться яснее. Вернемся к ним еще раз. Мы видим, что первое положение этих определений состоит в том, что логика и телеология исходят из некоторых данных, происхождение которых представляет для них мало значения, из данных, находимых ими совершенно готовыми в уме человека или народа, количество которых этим наукам не приходится ни увеличивать, ни уменьшать; эти данные суть, с одной стороны, понятия, способные служить положительными или отрицательными подлежащими и сказуемыми в логических посылах или заключениях, и, с другой стороны, способы

деятельности или удовлетворения, которых надо избегать или, наоборот, к которым надо стремиться и которые могут служить средством или целью. Каким образом появились в уме логика сопоставляемые им в известном классическом силлогизме понятия: Сократ, человек, смертный? Он сам нам этого не скажет. Точно так же и социальной логике нет надобности с самого начала спрашивать себя, откуда появились те мифологические или лингвистические, научные или юридические понятия, которые в данный момент стремятся завладеть общественным мнением. По той же самой причине и мораль совершенно чужда появлению продуктов производства, предметов искусства, специальных полезностей, привлекающих к себе вождения потребителей в данном фазисе цивилизации. Мораль ограничивается советом отвергать предложения одних, пользоваться предложениями других и притом отвергать или пользоваться ими с определенной, переменной степенью энергии — все это для получения возможно более крепкой организации всех национальных хотений под властью того из них, которое временно или постоянно является преобладающим. Социальная логика в своей сфере дает совершенно такие же указания, имея в виду организовать систему национальных убеждений путем их сплочения и подчинения одному из этих убеждений, одному основному догмату или принципу, главенство которого признано всеми.

Отсюда следует, что предметом логики и телеологии являются исключительно способы обращения с верованием и желанием и управление ими. Но, кроме того, из наших объяснений видно, что это управление бывает двоякого рода, и очень жаль, что это подразделение совершенно ускользнуло от внимания логиков, хотя, может быть, и не ускользнуло от моралистов (которых, вообще говоря, можно было бы называть телеологистами так же, как и экономистов, хотя они сами того не сознают). В самом деле, с одной стороны, логика говорит нам, что следует отрицать именно такое-то утверждаемое нами положение или утверждать такое-то другое, нами отрицаемое, если мы не хотим очутиться в противоречии с самыми священными принципами, лично ли нашими (логика индивидуальная) или принадлежащими целому обществу (логика социальная); точно так же и мораль говорит нам,

что следует стремиться к таким-то занятиям и привязанностям, тогда как мы их избегаем, и избегать тех, которые нас привлекают, если мы не хотим уклоняться от достижения нашей основной цели, христианского спасения, славы, богатства (мораль индивидуальная) или главной цели нашего отечества (мораль социальная). Для того, чтобы мы могли проверять, утверждаем ли мы и отрицаем тогда, когда это следует, логика дает нам превосходный пробный камень — силлогизм, и мы увидим дальше, что аналогичным же пробным камнем — силлогизмом телеологическим — может пользоваться и мораль. С другой стороны, логика должна, по моему мнению, указать нам также, насколько энергично следует утверждать и отрицать то, что она советует нам утверждать или отрицать, если не хотим стать в противоречие с самим собою, в смысле, отличном от предыдущего; точно так же и мораль поучит нас, с какой силой мы должны предаваться такому-то одобряемому ею удовольствию или насколько должны мы лишать себя такого-то другого удовольствия, ею порицаемого, если хотим быть совершенно последовательными, хотим соразмерять напряженность наших усилий, затрачиваемых на получение средства, с силой хотения, воплощенного в цели.

До сих пор логики совершенно пренебрегали этой второй частью своей задачи; они останавливались только на первой, но даже и ее выполнили далеко не полно. Вся их теория силлогизма опирается на подразделение предложений на четыре типа: общее утвердительное, общее отрицательное, частное утвердительное и частное отрицательное. Это значит, что логики различают только утверждение и отрицание и подразделяют каждое из них сообразно тому, представляет ли собой утверждаемое или отрицаемое частное или общее положение. Но если мы проанализируем это последнее подразделение, то увидим, что его термины представляют собою сложные понятия, полученные путем комбинации терминов первого различения. В самом деле, что представляет собой эта идея суммарности, всеобщности, о которой столько спорили?

Общее суждение может образоваться у нас двумя способами: во-первых, путем только одного отдельного констатирования факта, когда



это констатирование является указанием на то, что подлежащее и сказуемое представляют собой один и тот же предмет, но рассматриваемый с различных сторон (всякая прямая линия есть кратчайшее расстояние), или же, во-вторых, путем большого числа констатирований, сходных между собой (все тела весомы). Но каким бы путем ни образовалось общее суждение, поскольку оно общее, оно означает собою следующее: 1) мы думаем о действительном или возможном в настоящем, прошедшем и будущем повторении такого же констатирования подлежащего и сказуемого нами же или кем-либо другим; 2) мы утверждаем, что указанная между подлежащим и сказуемым связь будет или может быть таким же образом констатирована некоторое, притом, по существу дела, неопределенное число раз наблюдателями, не подверженными галлюцинациям, в разум которых мы верим, верили или будем верить; 3) мы отрицаем, что отсутствие этой связи было, или будет, или может быть констатировано хотя бы только один раз<sup>15</sup>. Когда я говорю, что все тела весомы, то: 1) думая об этом все, я думаю о многих телах, которые были, или будут, или могли бы быть взвешены не только мною, но и учеными, существующими или воображаемыми, которых я или другие считают достаточно компетентными (сколько актов веры, столько обусловленной уверенности заключается во всех этих мыслимых нами возможностях<sup>16</sup>); 2) я хочу сказать, что вспоминаю о том, как я, подвергая тела взвешиванию, всегда находил их весомыми, и думаю, что все существующие или воображаемые ученые наблюдали, будут наблюдать или могли бы наблюдать то же явление при условии, что они достаточно способны для этого; 3) хочу сказать, наконец, — и это самый существенный пункт, — что я отрицаю, чтобы когда-либо, хоть однажды, я наблюдал невесомое тело и что мне неизвестно ни одно такое отрицательное наблюдение, сделанное учеными, к способности которых я питаю доверие. Мы видим, что из этих трех элементов первый не что иное, как приложение идеи количества, по предположению, заранее существующей в уме, к подлежащему и сказуемому, мыслимым и, следовательно, утверждаемым как множественные; об этом нам придется еще говорить дальше. Что касается двух последних элементов, то они представляют собой утверждение многочисленности

сходных наблюдений и отрицание наличности хотя бы единичных несходных — комбинация, из которой проистекает то, что мы называем суммарностью. Вот все, что заключается в идее всеобщности, от которой идея частичности отличается только тем, что в этой последней нет отрицания наличности единичных несходных наблюдений, и это отрицание заменяется утверждением их множественности, противопоставляемых утверждению множественности наблюдений сходных. В самом деле, каждое частное суждение заключает в себе действительное или кажущееся противоречие, которое хотя и остается более или менее незамеченным, все-таки стесняет мысль. Поэтому-то рассуждающий всегда старается изгнать эту форму предложения и заменить ее предложением общим. «Некоторые позвоночные суть млекопитающие». Такой малонаучный способ выражения предполагает в уме некоторое количество наблюдений, показывающих, что утверждение связи между свойствами позвоночного и млекопитающего стоит в противоречии с некоторыми другими наблюдениями, обнаруживающими, что свойства первого не связаны со свойствами второго. В таком изложении замечается свойственная плохо выработанным и малоразвитым умам сбивчивость, которая в сущности есть противоречие (я говорю «противоречие» потому, что при этом не позаботились ни сказать, ни заметить, что свойства позвоночного не совершенно одни и те же или не находятся при одних и тех же условиях в том случае, когда они связаны со свойствами млекопитающего и в том, когда они с последним не связаны); чтобы избежать этой сбивчивости, ученый скажет: «Все позвоночные, у которых есть сосцы, суть животные млекопитающие». И нам известно, какие усилия делали, хотя и бесплодно, логики настоящего столетия с Морганом и Гамильтоном во главе для того, чтобы исправлять чувствуемое всеми несовершенство частного суждения. Действительно, только общее суждение, включая сюда и суждение индивидуальное, которое для восприятия является эквивалентом общего, представляет собою суждение, свободное от всякой примеси противоречия. Для истинно философского ума не могло бы существовать схоластического разделения предложения на четыре типа. Достаточно было бы различать только предложения утвердительные и отрица-

тельные, и те и другие всегда общие или индивидуальные, что сводилось бы к одному и тому же. Притом же, поскольку частное предложение действительно служит размышлению и доказательству, оно само принимает легко замечаемый характер всеобщности. Предложение: «Некоторые лебеди черны» означает, что все наблюдатели, без всякого исключения, согласны и не могут не согласиться в констатировании черного цвета некоторых лебедей. Беда в том, что тут не обозначено точно, какие это именно лебеди, тогда как, наоборот, индивидуальное предложение в этом отношении столь же точно, сколько и предложение общее.

Когда я говорю, что Павел белокур или что битва при Аустерлице произошла 2 декабря 1805 года, я разумею, что все без исключения должны быть с этим согласны, и я точно обозначаю, на какой почве происходит это соглашение. Я сказал, что индивидуальное предложение является для восприятия эквивалентом общего; в самом деле, когда я, сообразно форме восприятия, свойственной человеческому уму, воспринимаю белокурый цвет волос Павла, то я разумею или подразумеваю, что все люди воспринимают, будут или должны воспринимать этот белокурый цвет каждый раз, когда цвет его волос был или будет замечен, точно так же, как, приходя к познанию смертности людей, я хочу сказать, что все познают, будут или должны познавать ту же самую идею, но никогда не идею противоположную (должны познавать, т. е. познают, если будут выполнены условия рассуждения и понимания, которые я считаю для этого нужными). Поэтому-то мы и рассуждаем очень свободно о восприятиях<sup>17</sup> и исторических фактах, по существу представляющих собою индивидуальные суждения<sup>18</sup>.

Что только не выводится в истории из точно установленного времени того или другого события! Но частное предложение прежних логиков является с первого же взгляда как предложение не общее, и в силу этого отрицательного характера оно окончательно доказывает, что старая логика, как я только что пытался выяснить, построила все свое здание на простом различии между утверждением и отрицанием.

Повторяю еще раз — это значит, что логика, хотя и совершенно непреднамеренно, занималась единственно верованием, но рассматривая

при этом только одну его сторону и совершенно забывая обо всех остальных. Степень уверенности, с которой устанавливаются умом утверждения и отрицания, о которых идет речь, по-видимому, нисколько не интересует логика; он, по-видимому, даже не подозревает, что значение общего суждения пропорционально степени доверия, какое мы чувствуем к правильности наших личных воспоминаний или к точности или искренности третьего лица, основываясь на сведениях которого, мы утверждаем или отрицаем то или другое наблюдение. Анализ, доставляющий данные для нашего суждения, вызывает далеко не всегда одинаковую степень уверенности даже в тех случаях, когда он исходит из чисто рациональной абстракции, а не из эмпирической ассоциации, из разделения двух идей, действительно или только по-видимому одна в другой заключающихся, а не из соединения двух идей, действительно или по-видимому не связанных между собой, и, следовательно, мы далеко не всегда одинаково уверены, утверждая возможное или действительное воспроизведение неограниченное число раз факта, считающегося необходимым, и отрицая реальность или возможность хотя бы одного исключения из этого положения. Даже математик, самое занятие которого, по словам Тэна, заключается в создании априорных истин, все-таки совсем не так твердо уверен в недавно открытой теореме по высшей математике, как в аксиоме Евклида о параллельных линиях. По правде говоря, он будет окончательно убежден в истинности этого открытия только тогда, когда он увидит его единодушно или почти единодушно (потому что даже в геометрии единодушие устанавливается очень медленно) принятым его собратьями или научными авторитетами, если даже он и сам такой авторитет.

Действительно, когда мы хотим объяснить какое бы то ни было обобщение, всегда необходимо считаться с социальной передачей верований, и я удивляюсь, что считались возможными попытки такого объяснения при помощи ресурсов одной только психологии, без всякого обращения к явлениям социологическим. Есть ли общие идеи в уме ребенка, который еще не начал говорить? Или, во всяком случае, были бы они у него без наследственного предрасположения, проистекающего

из употребления речи его родителями и прародителями? Это очень невероятно. Конечно, зрительная, слуховая и осязательная память сохраняет в себе следы прошедших ощущений, следы, которые для нас лично являются знаками; но пока эти знаки, в свою очередь, не обозначены и, так сказать, не освещены словами, до тех пор они остаются таковыми только для нас; прибавлю даже, что эти знаки очень сильно заинтересовывают животное в тот момент, когда они ему представляются, так как дают ему возможность в известной степени классифицировать то ощущение, которое вызывает их появление, и при помощи некоторого рода рефлекса, очень отдаленно напоминающего собою рассуждение, предвидеть близкое воспроизведение ощущения, сопровождаемого наслаждением или страданием. Но это смутное классифицирование должно остаться неопределенно бессознательным и неполным, а образы-знаки, псевдороды, псевдовиды которых являются ощущения, не могут ни превратиться в настоящие роды, независимые от своих видов, точно определенных как таковые, ни быть классифицированными в свою очередь, как виды высших родов. Почему же это? Потому что пока ум не помышляет о передаче другим имеющихся в нем образов, ему нет надобности останавливать на них одних свое внимание, когда нет налицо соответствующих им ощущений, и если бы даже мысль случайно остановилась на этих образах, она не нашла бы в своей чувственной памяти тех высших родов, о которых идет речь, не нашла бы тех изображений образов, тех обозначений знаков, которые могут доставить только слова, а без них эти чувственные заметки ни в каком случае не могут организоваться в систему. В уме сформированном, т. е. умеющем говорить, ощущение присоединяется к вызываемому им образу (сходному или отличному от него) точно так же, как образ сам присоединяется к вызываемому им названию, а это последнее присоединяется к названию более общему, при помощи которого его и определяют. Зрительный или осязательный образ моего ножа является в некоторых отношениях как бы словом, значение или одно из значений которого заключается в акте осязания или видения моего ножа, точно так же, как самый этот образ представляет собою значение или одно из значений слова «нож», а это последнее значение

или одно из значений слова «орудие». Постепенно между ощущением и образом установилось такое же отношение, как между образом и словом. Следовательно, только потребность передавать другим свои собственные образы, потребность, созданная и поддерживаемая, развиваемая и попутно удовлетворяемая прогрессирующей речью, сделала возможным точное определение этих образов, их явственное обособление как таковых, в чем уже кроются некоторые зачатки обобщения; та же потребность вызвала затем дальнейшее обобщение этих образов в идеи, способные самостоятельно появляться как таковые, непременно в форме слов того или другого языка. Но когда мысль становится таким образом вполне словесной и, стало быть, вполне социальной, в силу приобретенной ею привычки думать для других, как бы постоянно обращаясь к другим, в свою очередь обращающимся к третьим, тогда, очевидно, общее суждение никак не может ограничиться выражением личных индивидуальных наблюдений или анализов и внушенных этими наблюдениями и анализами предвидений; по существу дела оно неизбежно должно выражать и ту подразумеваемую или даже ясно указываемую идею, которая проявляется в наблюдениях или анализах и предвидениях других индивидов. Это значит, что общее суждение строится главным образом не на достоверностях, не на высочайшей степени уверенности, которой некоторые мыслители несправедливо отказывают в названии верования, но на верованиях спорных и часто чрезвычайно слабых. Следовательно, не придавать никакого значения рассмотрению различных степеней веры — значит допустить очень крупный пробел в изучении предмета.

Прежде, нежели рассмотреть последствия этой небрежности, я отклонюсь несколько в сторону, чтобы ответить на вопрос, откуда является потребность обобщения и классификации, которая удовлетворяется общей идеей и общим суждением, но существование которой должно предшествовать их появлению. Почему при виде или при мысли о каком-либо предмете, как бы нов он ни был для нас, мы всегда стремимся отыскать в нем сходства с другими предметами, разложить его на элементарные черты подобия и считать его а priori способным повторяться во всей своей целости неопределенное число раз. Это

потому, что мы живем, в сущности, в мире творений, в мире, где даже то, что само, в виде исключения, не повторяется, что является беглым индивидуальным оттенком, проявляет, однако, явственную склонность к повторению, потому что мы сами в жизни нашего мозга, также «органа-повторителя в сущности», проявляем ту же единодушную и глубокую тенденцию, мы всегда думаем только о том, чтобы на тысячу ладов повторять самих себя или других как в наших машинальных привычках, так и путем самого неосмысленного подражания, из которого, в сущности, складываются наши самые странные капризы и наши самые смелые нововведения. Это, быть может, и служит объяснением логической плодотворности отношений сходства, так как эти последние предполагают повторение, т. е. последовательное сцепление и причинность<sup>19</sup>. Почему, кроме того, испытываем мы потребность путем научной классификации, путем последовательного наслоения все более и более общих родов и видов расположить в определенном порядке возможные или реально существующие экземпляры всякого рода предметов, представляющихся нам моделями для копирования? Потому, что природа представляет собою не просто только повторение, но повторение варьирующееся, а наш ум сформирован по ее образцу. Если бы все в ней было повторением, то существовали бы только роды без видов, т. е. существовали бы только сходства без различий; если бы все в природе было различно, то существовали бы только виды без родов. Итак, наша мысленная классификация родов и видов, на которую опирается вся наша способность к рассуждению, делается возможной точно так же, как и самая эта способность, только вследствие свойственного Вселенной, где мы живем, характера варьированного повторения. Освоившись с этим объяснением, мы без труда увидим, сколько искусственного и ошибочного заключалось в реформе Моргана и Гамильтона или в значительной ее части, по крайней мере. Их попытка исходит из того основного положения, что следует иметь возможность численно устанавливать пропорцию, в которой подлежащее содержится в сказуемом, или, по крайней мере, что эта пропорция всегда существует. Вместо того, чтобы, например, сказать «млекопитающие суть позвоночные», следовало бы говорить «млекопитающие представляют собою одну десятую часть

позвоночных». Но если допустить даже, что эта пропорция может быть известна и точна в данный момент, то она все же не может иметь никакого значения в наших глазах, являясь отрицанием возможности бесконечного и численно-неопределенного повторения, признанной нами сущностью всякой не обусловленной реальности. Знаем ли мы и можем ли знать те новые виды, которым тип позвоночных вообще и тип млекопитающих в частности могут дать начало при известных обстоятельствах? Разве эти возможные неопределенные виды не участвуют в образовании обоих типов столько же, и даже более, нежели живые или вымершие реальные виды? Но пора уже закончить это отклонение от нашего предмета, как бы ни была интересна эта побочная гипотеза.

Исследуем теперь, какие преобразования вызовет та точка зрения, из которой мы исходим, прежде всего в теории силлогизма, а затем и во всей системе, как логики, так и телеологии.

#### IV

Деятельность человека может оказаться сама себе противоречащей или вследствие того, что употребляемые им средства не могут привести к цели, или потому, что, употребляя действительные, ведущие к цели средства, он привязывается к ним с силой, не соразмеренной с его желанием достичь цели, т. е. с силой, большей или меньшей этого желания, тогда как она должна была бы представлять собою нечто иное, как проявление того же желания в другой форме. Если, например, чиновник, желая подвинуться вперед, ищет покровительства у врагов министра, то можно сказать, что он совершенно лишен сообразительности; но он не менее лишен ее и в том случае, если не останавливается перед самыми тяжелыми и неприятными ему попытками добиться покровительства лиц, действительно влиятельных, для того чтобы получить маленькое повышение, к которому он даже и не особенно стремится. Не особенно разумно ведут себя и рабочие, желающие увеличить свое благосостояние, когда устраивают для этого стачку с целью добиться чрезмерно большой платы, которая в конце концов поведет к окончательному подавлению данной отрасли промышленности иностранной конкуренцией; точно так же, когда промышленная нация



предпринимает требующую громадных жертв людьми и деньгами далекую экспедицию, в которую влагает всю силу своего патриотического энтузиазма только для того, чтобы добиться желаемого, но не особенно сильно, однако, желаемого расширения своего колониального вывоза, — а это случалось действительно со многими другими народами, кроме французского, — то можно сказать, что такой образ действия представляется не особенно последовательным, даже если он и окажется не совершенно безуспешным. Столь же часто случается и прямо противоположное. Как часто, даже в виду величайших национальных интересов, правительство действует правильно, но вяло и не энергично, хотя и само горячо желает их удовлетворения, подобно христианину, страстно желающему попасть в рай, но все-таки рассеянню читающему свои молитвы.

Возможно, следовательно, двумя способами погрешить против телеологии. Существуют также два аналогичных способа погрешить против логики, приложение которой к практической жизни только и представляет собой телеология с моралью включительно. Вывести из двух посылок заключение, которое из них не вытекает, — значит быть нелогичным, и до настоящего времени логики занимались только неправильным рассуждением подобного рода. Но, с другой стороны, можно быть непоследовательным даже при выводе совершенно правильного заключения, если из двух посылок, установленных с некоторым сомнением, выводится заключение, утверждаемое с полной уверенностью или обратно<sup>20</sup>. Почему же этот второй род непоследовательности проходит незамеченным, хотя и встречается так часто?

Я этого не знаю. Конечно, очень важно заметить, как это делает обыкновенная логика, что из двух отрицательных посылок нельзя вывести никакого заключения (что, однако, не всегда верно) или что две утвердительные посылки не могут привести к отрицанию. Но нужно быть поистине слишком рассеянным для того, чтобы нарушить такие правила мышления, по крайней мере, поскольку они точны. Наоборот, не случается ли почти всегда, что правильно выведенные заключения подтверждаются с большею или с меньшею уверенностью, чем следовало бы. Вот, например, два противоположных факта, которые можно

заметить довольно часто. Когда молодой геометр производит в первый раз измерение площади участка земли, или высоты башни, или вместимости чана, он строит силлогизм, большой посылкой которого являются некоторые геометрические или тригонометрические теоремы, а малая посылка доставляется полученными им линейными измерениями. Однако, несмотря на то, что он абсолютно уверен в истинности этих теорий и в точности своих измерений, он не без сомнения относится к точности механически полученного им результата. Вероятно, даже многие астрономы только с трудом могут заставить себя поверить, что земля действительно вращается вокруг своей оси с той головокружительной, невообразимой быстротой, относительно которой их собственные наблюдения и вычисления не позволяют, однако, сомневаться. Вообще в математических и физико-химических дедукциях всегда только с трудом можно заставить веру идти по следам рассуждения, и первая всегда остается позади второй. С другой стороны, при обсуждении философских или политических вопросов обыкновенно начинают с самых умеренных положений и из них уже постепенно выводятся самые решительные утверждения или отрицания. Здесь из вероятного получается несомненное, подобно тому, как выше из несомненного получалось только вероятное, и верование движется тут слишком быстро, тогда как раньше оно двигалось слишком медленно. Депутат всходит на трибуну. Сначала он спокойно излагает доводы и доказательства за и против своего предложения, он признается, что предлагаемая им реформа, быть может, не требуется большинством и даже не очень энергично поддерживается меньшинством; он соглашается даже, что восхваляемое им средство ее осуществления является не безошибочным и не без недостатков; но мало-помалу он воодушевляется, вызывает всеобщие рукоплескания и заключает отсюда, что полезность, необходимость принятия предлагаемой меры является неоспоримой. Такова логика парламентской трибуны; не всегда лучше ее и логика судоговорений. Быть может, не бесполезно было бы указать таким резонерам, что у верования существуют свои степени, установленные логикой.

Изучение обширного поля обычной деятельности живой, реальной логики, где каждый день составляются тысячи силлогизмов, безусловно

необходимо для философа. Несмотря на это, трактаты по логике, по-видимому, совершенно чужды тому, что происходит в разных аудиториях или в законодательных собраниях! Возможно ли было бы без такого забвения действительности, чтобы знаменитые основатели науки утверждали, что именно вопрос о веровании безразличен для логики? Почему он безразличен? Потому ли, что чистая логика, как утверждает один из них, трактует понятия, не задаваясь вопросом о том, соответствуют ли они действительности или нет, и «рассматривает их в мысли, а не вне мысли»? Но разве именно верование не является тем, что есть в мысли наиболее субъективного, наиболее присущего ей как таковой? Оно несомненно представляет собою то, что есть наиболее формального в так называемой формальной логике. Скажите-ка, например, адвокату, что для него не особенно важно, насколько сильно он убедит судью в невинности или правоте своего клиента!

Заметим еще, что в судебном заседании заключение силлогизма всегда бывает известно прежде его посылок. Оно формулируется в самом начале речи. То же бывает и в парламентских прениях, где положение, которое надлежит доказать, устанавливается заранее как проект закона, поправка к закону, как порядок дел и т. д. Тут, при обсуждении, дело идет не о том, чтобы извлечь заключение из посылок, как это предполагается в школах. Тут приходится только вызвать или увеличить веру в это заключение. На деле полезность реального, практического рассуждения заключается не в получении путем индукции или дедукции новых предложений (которые неизвестно каким образом всегда представляются помимо логики), но только в изменении нашего убеждения, — или, прибавлю еще, убеждения других главным образом — т. е. в повышении или понижении уровня нашей веры или веры других в эти предположения или даже в перемене ее знака, чтобы вера из утвердительной сделалась отрицательной или наоборот. В сущности, силлогизмом гораздо больше пользуются в обсуждениях, нежели в мышлении; он больше относится к процессам логики социальной, нежели к функциям логики индивидуальной. Но ведь спорят для того, чтобы убедить, а следовательно, трактовать о логике, не обращая никакого внимания на верование, значит лишать эту науку ее *raison d'être*.

Это поистине столь громадный пробел, что всегда существовало смутное, даже несознаваемое стремление заполнить его. Отсюда и явилась воображаемая необходимость придумать новую логику, названную индуктивной, чтобы дополнить старую, столь явственно недостаточную. Сложный и искусственный механизм этой новой логики так же, как и неясность ее связи со старой, не может служить к ее рекомендации. Проще всего было бы видеть в основе этого разделения двух логик и как единственное оправдание такого разделения только две неотделимые друг от друга стороны единой логики. Признают, что в дедуктивной логике приходится иметь дело только с достоверностью (пишите, с интенсивной уверенностью и в конце концов всегда с уверенностью, только более или менее интенсивной). Относительно логики индуктивной соглашаются, что в ней речь идет только о вероятностях, степень которых стремятся повысить. Почти такова же и наша точка зрения. Но под вероятностью разумеют нечто вроде объективного свойства вместо того, чтобы признавать химерический характер такого объектирования и называть степени вероятности их настоящим именем — степенями верования. Разве врач, желающий подтвердить свои предположения относительно характера болезни, или судебный следователь, старающийся немного выяснить темное дело, или историк, роющийся в архивах, чтобы косвенным путем проверить свои догадки, — разве все они обращаются к Стюарту Миллю, чтобы узнать, как следует им поступать? Уставные правила индукции для них так же бесполезны, как бесполезны формы и фигуры силлогизма геометру. Но после того, как они инстинктивно построят рассуждения, считающиеся индуктивными и являющиеся в действительности строго дедуктивными, им часто бывает весьма трудно решить, имеют ли они право доверять результату своих исследований именно настолько, насколько они ему в действительности доверяют. В этом заключается единственный трудный пункт. Этим исследователям иногда бывает так трудно преобразовать простое сомнение в слабое предубеждение, что они на некоторое время останавливаются на этой нижней ступени лестницы верования, чтобы отдать себе отчет в размерах приобретенного; тогда мысль о том, что, возвысив гипотезу до степени

правдоподобия, они вместе с тем подняли до того же уровня и положения, логически связанные с этой гипотезой, — эта мысль является для них удовлетворением, как бы низок ни был этот уровень.

Пользуясь всем предыдущим, мы можем уже приступить к выводу нашего определения индивидуальной логики. Роль логики не сводится только к тому, чтоб говорить людям, желающим рассуждать правильно: «Если вы уверены в этом, то вы должны быть уверены и в том». Наша точка зрения включает это предписание как частный случай в следующую более общую формулу: «Если вы верите этому с такой-то определенной силой верования и если не желаете подвергнуться риску отдалиться от истины и не желаете ценою такого риска попытаться приблизиться к ней, то вы должны верить тому с той же самой или с настолько-то большей или меньшей силой верования». Законы логики, понимаемые таким образом во всей их общности, представляются нам как выражения равенства или, скорее, эквивалентности верований при установленных определенных условиях. Другими словами, задача логики состоит в том, чтобы указывать нам направление (положительное или отрицательное) и — по каждому из этих направлений — степень верования, какое мы должны перенести от старых предложений к новым, если хотим быть уверены в том, что последние обладают той же самой степенью истинности, какая свойственна первым. Не входя теперь в нескончаемые рассуждения о реальности внешнего мира, укажем, что должно разуметь под этой степенью истинности. Еще до опыта на Пьюи-де-Дом Паскаль уже немного верил в весомость воздуха, и он был бы гораздо ближе к истине, если бы верил в нее много. Именно это и произошло после его барометрического исследования (внушенного ему Декартом, как то доказал Фулье). Следовательно, степенью истинности какого-либо мнения является просто более или менее значительное расстояние, отделяющее его от той максимальной уверенности в том же направлении, до какой оно могло бы быть поднято путем опытной проверки. Если среди всех наших несомненных убеждений группа несомненных убеждений, относящихся к непосредственным чувственным суждениям, называется истинною, то это потому, что отличительным и специальным характером утверждений

или отрицаний этого класса является возможность бесконечного увеличения их числа без всяких проявлений противоречия между ними; это значит, что свойственные им количества верования могут всегда складываться между собой без всякого вычета, тогда как убеждения другого происхождения, например, догматические, могут накапливаться только до известного предела, а за этим пределом способны уже только заменять одно другое. В то время, как солидарность различных наук по мере их развития все более и более увеличивается, различные религии, наоборот, развиваясь, чаще и чаще приходят в столкновение друг с другом. Следовательно, если ум, как я старался доказать в другом месте, по существу необходимо стремиться к максимуму верования, то в конце концов он должен будет бесповоротно обратиться к первым.

Необходимо сделать одно существенное замечание. Эта свойственная всем нашим чувственным суждениям в нормальном состоянии черта никогда не казаться противоречащими друг другу, быть может, не представляет еще достаточной гарантии их высшей истинности. Когда два различных ощущения, т. е. два таких ощущения, одно из которых не есть другое (так как всякое различие предполагает двойное отрицание), воспринимаются нами одновременно, то мы устраняем противоречие между ними путем размещения их в различных точках пространства, или же, когда мы помещаем два различных ощущения в одной и той же точке пространства, мы устраняем противоречие между ними, утверждая, что эти ощущения последовательны, а не одновременны. Возможно, что пространство и время суть в конце концов только субъективные фикции, весь *raison d'être* которых сводится к тому, чтобы скрыть от нас противоречивый характер именно самых сильных наших верований и дать нам возможность избежать тягостной необходимости пожертвовать одними из них для других. Именно таким образом, при помощи гипотезы так называемого духа закона, законовед прикрывает разноречие его статей. Нации, как и отдельные индивиды, очень богаты такого же рода остроумными, но бессознательными уловками, дающими возможность закрывать глаза на те непрерывные опровержения, какие они сами себе представляют в наиболее дорогих

им предрассудках, противоречащих или друг другу, или новым, с горячностью принимаемым правилам, в обычаях, противоречащих их принципам, в их религиях, противоречащих их понятию о чести. Они примиряют или пытаются примирить все это посредством всякого рода бесконечных подразделений. Наконец, не является ли самым блестящим доказательством могущества примирительного и синтезирующего воображения общественного человека самая идея, на которой зиждется общество, — идея Права? Перед нами группа людей с враждебными страстями, с противоречивыми стремлениями; задача заключается в том, чтобы осветить эти противоречия с согласующей их стороны. Нет ничего проще: этим борющимся между собою силам назначается определенное место в том моральном пространстве или времени, которое называется справедливостью и где предполагается, что различные права настолько же не могут отрицать друг друга, насколько тела, занимающие пространство геометрическое, не могут, согласно гипотезе, оказаться пронизываемыми одно для другого. Насколько это верно, видно из того, что когда происходит столкновение между двумя правами, — что, как известно, случается довольно часто, — то суды, разрешающие затруднение, никогда не признают наличие двух прав и попросту совершенно отрицают реальность одного из них приблизительно так же, как мы наперед бываем уверены, что при двух взаимнопротивоположных свидетельствах, относящихся к одному и тому же факту, всегда один из свидетелей лжет или ошибается.

Заметим также и то, что законовед или законодатель, формулируя какое-либо право, уверен, что оно открывает нечто, существовавшее и до этой формулировки, совершенно так же, как химик, открывший новый элемент, умозаключает о существовании этого элемента и во времена, предшествовавшие его открытию. Если, однако, считаем прозрачным это мистическое нечто, называемое справедливостью, которое законодатели и законоведы изобрели, думая, что открыли его, то какое же основание имеем считать более реальным то нечто, которое называется временем и пространством, и где ученые кичатся своими открытиями, а невежды своими восприятиями. Скажут ли нам, что взаимное подтверждение и отсутствие противоречий между свидетельствами

наших чувств в нормальном состоянии удостоверяет нас в реальности их объекта? Но права, считающиеся истинными, противоречат друг другу не более суждений чувств, считающихся здоровыми. Доказывать реальность внешних предметов согласием относящихся к ним правильных суждений и доказывать правильность этих суждений предполагаемой реальностью внешних предметов — это ложный круг, совершенно подобный тому, в какой мы попадем, если станем основывать реальность абсолютной справедливости на взаимном согласии истинных прав, а истинность этих прав на гипотезе реальности справедливости.

Здесь я хотел показать только, что вопрос о реальности должен быть оставлен за пределами логики, и целью этой науки должно поставить не исследование или открытие истины, а только направление верования. Припомним рассуждение Паскаля перед его опытом на Пюнде-Дом. Он сказал себе приблизительно следующее: «Если воздух весом, чему я несколько верю, то он должен весить в один и тот же момент тем меньше, чем тоньше его слой (зависимость, которую я считаю достоверной); следовательно, уровень барометра должен понижаться по мере того, как поднимаются на горы». Он рассуждал хорошо, но был ли бы он, однако, логически последовательным, если бы, веря только слабо в весомость воздуха, он верил бы сильно в падение уровня барометра при его поднятии на высоту? Нет, хотя тогда он был бы ближе к истине. Стало быть, в этом смысле логика представляет собой не искусство открывать истину, а только умение переходить от одной мысли к другой, сохраняя без изменения расстояние, отделяющее нас от истины или от заблуждения. В этом отношении задача, разрешаемая логикой, аналогична той, какую разрешает линия окружности: передвигаться, оставаясь все время на одном и том же расстоянии от данной точки. Эта точка, к которой тяготеет рассуждающий ум в своих умственных эволюциях, есть максимум верования, присущий так называемым непосредственным восприятиям.

Мне скажут на это, что если такова роль дедуктивной логики, то задача логики индуктивной состоит в том, чтобы направить нас прямо или по возможности прямо к этому пункту, а не заставлять нас кружиться вокруг него. Но заметим, что в индуктивной логике,



поскольку мы только рассуждаем, производим акты логики, мы ограничиваемся только основанным на дедукции указанием тех опытов, какие надлежит произвести, или, лучше сказать, — и это очень важно — тех открытий, какие надлежит сделать для того, чтобы возвести в степень уверенности или очень сильного верования простое предположение или полную невероятность, связанную с одним из положений, которые образуют это дедуктивное рассуждение, и для того, чтобы затем при помощи новой дедукции возвысить до той же степени другое положение, считаемое солидарным с первым. Потом, когда мы экспериментируем, мы уже не рассуждаем. Рассуждение — деятельность исключительно нервная, а экспериментирование или даже наблюдение — деятельность нервная и мускульная одновременно. Когда же мы производим самое открытие, мы точно так же уже не рассуждаем. Можно рассуждать, но нельзя делать открытий по произволу. Паскаль шел дедуктивно, производя указанное раньше рассуждение, часто, однако, приводимое как классический пример индукции. В сущности, он строил следующий силлогизм: «Воздух весом (суждение, представлявшееся ему как простое, едва только вероятное мнение), но чем больше утоняется весомая вещь, тем более облегчается при прочих равных условиях та чашка весов, на которой она находится (положение, с которым он соглашался совершенно); следовательно, ртуть барометра, представляющая собою чашку, на которой находится газ, должна показать тем меньшее давление, чем тоньше слой воздуха над нею» (положение, в которое он верил или должен был верить точно в такой же степени, в какой он верил в большую посылку). Мы видим тут, что Паскаль, рассуждая индуктивно таким образом, т. е. по существу дела дедуктивно, имел право перенести в свое заключение только меньшую из двух доз верования, присущих двум его посылкам. К этому правилу мы еще вернемся ниже. Но после этого он поднялся с барометром в руках на Пюи-де-Дом и видел сам своими глазами, что ртуть падала в длинном колене барометра по мере того, как он поднимался выше. После этого его слабая вера в только что приведенное заключение одним прыжком, но без всяких перерывов, однако, поднялась через все ступени верования и превратилась в то, что

называется полной уверенностью, вследствие такого нового и быстрого, оставшегося незамеченным, силлогизма: «Помещенная под более тонким слоем воздуха ртуть испытывала меньшее давление (положение, считаемое достоверным), но если чашка весов, на которой находится какая-нибудь вещь, оказывается облегченной соответственно тому, как эта вещь утоняется, то эта вещь весома (в сущности, та же малая посылка, как и раньше); следовательно, воздух весом» (положение, принимаемое теперь также с полным доверием). Этот новый силлогизм построен из тех же элементов, что и предыдущий. С точки зрения обыкновенной логики, нисколько не принимающей в расчет различных степеней верования, между этими двумя силлогизмами есть только незначительная разница в форме. Между тем мы видим, что в сущности они глубоко отличаются один от другого, но отличаются только размерами вложенного в них верования. Вот другой пример такого положения, где дело идет не об экспериментировании, а об открытиях. Ученый, нашедший в каком-нибудь пласте третичной формации кости *balenotus'a* (китообразное ископаемое), покрытые определенной формы насечками, рассуждает следующим образом: «Довольно вероятно, что эти насечки сделаны кремневым ножом; но весьма вероятно, что человек — единственное животное, когда-либо умевшее выделывать такие орудия и действовать ими; следовательно, довольно вероятно, но не достоверно, что человек существовал в третичный период». Позднейшее открытие на некоторое время превратило эту слабую вероятность почти в полную уверенность: в пластах, относящихся к тому периоду, о котором идет речь, рядом с покрытыми такими насечками костями были найдены и кремневые ножи. Зависит ли эта находка от правил индукции?

Итак, индукция в отношении рассуждения сводится к дедукции, и дедукция этого рода отличается от собственно дедукции, или от дедукции в общепринятом смысле, только тем, что первая применяется к низким и средним степеням верования, т. е. к неизмеримому большинству суждений обыденной жизни, вместо того чтобы произвольно ограничиваться случаями совершенной уверенности. Можно сказать, что в глазах логиков, полных презрения ко всякому положению, высказанному

с некоторым сомнением, достойно исследования только то, что является исключением, а не правилом. Совершенно исключительные условия, в какие они, сами того не замечая, ставят себя и какие одни только и считаются ими достойными установления в рамки закона, заключаются в строгой и достоверной солидарности между предложениями, которые и сами считаются таковыми же. Но в действительности мы во всякий момент встречаемся или с предложениями, в которые верим только слабо, но солидарность которых замечаем с большей или меньшей степенью уверенности, или с предложениями, считающимися достоверными или почти достоверными, но связь между которыми устанавливается только с более или менее ясно выраженным сомнением, или, наконец, с предложениями, считающимися сомнительными, связь которых также считается сомнительною. Но эти различные случаи, включая сюда и тот редкий случай, какой предвидят логики, различаются между собой только размерами верования, вложенного в данные предложения. Отсюда, с нашей точки зрения, вытекают, по крайней мере, четыре следующих типа рассуждений, которые, впрочем, можно разложить на столько же подразделений, сколько имеется степеней верования:

- 1) суждения достоверные, связь между которыми считается достоверной;
- 2) суждения вероятные, связь между которыми считается достоверной;
- 3) суждения достоверные, связь между которыми считается вероятной;
- 4) суждения вероятные, связь между которыми считается вероятной.

Мы увидим, что так называемые индуктивные рассуждения сводятся к трем последним типам. Возьмем примеры для каждого из них. Для первого это излишне. Второй тип реализован в силлогизме, приписанном выше Паскалю. Два предложения: *воздух весом и барометр понизится, когда я войду на гору*, представляются ему как простые мнения, но благодаря малой посылке (которая только мимолетно проходит в его уме и играет роль передаточного механизма) он с уверенностью считает их солидарными одна с другой. Точно так же палеонтолог,

рассматривая довольно сильно изуродованные остатки ископаемого животного, только с довольно большим сомнением скажет: это, должно быть, было плотоядное животное, и оно должно было иметь короткий пищеварительный канал. Но палеонтолог считает достоверно установленным, что первое из этих предложений непременно предполагает второе. Впрочем, это последнее убеждение является приобретенным и притом не без труда. Древние натуралисты, анатомировавшие животных, должны были вначале считать простою возможностью то, что потом превратилось в полную достоверность. Рассекая животное, они уверенно утверждали: это животное плотоядное и у этого животного пищеварительный канал короткий, и считали только возможным или вероятным, чтобы одно из этих суждений вело за собою другие. Это как раз представляет собою реализацию третьего из наших типов. Наконец, четвертый тип в изобилии встречается в археологических и антропологических рассуждениях, во всех науках, находящихся еще в зачаточном периоде существования. Большинство букв финикийской азбуки кажутся похожими (вероятно, похожи) на некоторые скорописные формы египетского иероглифического письма; с другой стороны, финикиянам, по-видимому, приходилось иметь торговые и военные сношения с Древним Египтом и очень вероятно, что сходство двух алфавитов объясняется этими вероятными сношениями обоих народов. Этим низко стоящим и тем не менее весьма утонченным типом рассуждения неизбежно начинается всякая наука, основывающаяся на наблюдении; она поднимается к высшим типам только путем накопления наблюдений и исследований, являющихся следствием громадного количества силлогизмов, не классифицированных логиками. Но почему же это накопление является таким образом? Потому, что ум чувствует неравенство или недостаточность верований, которыми он пользуется в своих рассуждениях, и стремится, с одной стороны, уравнивать их, а с другой — возвысить все в совокупности до возможно высокого уровня. Такими приемами пользуется самая элементарная интеллектуальная деятельность. Я вижу на очень большом расстоянии от себя двух детей. Мне кажется, что я смутно распознаю в одном из них моего сына Павла и также смутно распознаю в другом его товарища Ивана; но в чем я

почти уверен, так это в том, что если один из них Павел, то другой непременно Иван, потому что они оба неразлучны. Чтобы превратить мое слабое верование в более сильное, я приближаюсь к ним (что представляет собой простейшую форму опыта, сопровождаемого наблюдением) и с каждым шагом я чувствую себя все более и более уверенным в том, что узнаю Павла и Ивана.

До сих пор я всегда предполагал, что речь идет о двух суждениях, связанных между собой третьим; это не значит, чтобы большое число суждений не могло оказаться связанным в одну группу в результате логической деятельности мысли, но каждое из этих суждений последовательно присоединяется к уже раньше образованной группе, так что в процессе интеллектуальных выкладок всегда бывает просто только два термина, приводимые в некоторое соотношение. Следовательно, в настоящий момент мое предположение в этом отношении не нуждается в дальнейших оправданиях; но иначе обстоит дело с другим, на этот раз произвольным, предположением. В самом деле, я предполагал, что оба достоверные или только вероятные суждения достоверны или вероятны в одной и той же степени. Но это случай исключительный. Остается предусмотреть еще и тот гораздо более частый случай, когда два суждения, связанные между собою третьим достоверным или вероятным суждением, оба одушевлены различными степенями верования. Может случиться, что одно из них достоверно, тогда как другое только вероятно, или одно достовернее или вероятнее другого; возможно также и то, что вероятность или достоверность, одним словом, количество верования третьего связующего суждения стоит выше или ниже сравнительно с обоими связуемыми суждениями. Что же происходит тогда?

Рассмотрим последний случай. Египтолог, видя античную египетскую статую из черного гранита, твердо убежден, что эта статуя представляет собой весьма похожий и вполне реалистический слепок с существовавшего лица; кроме того, он считает со степенью верования, равной, например, 10, что это произведение искусства относится к периоду, носящему название Древнего царства; затем он вспоминает, что еще раньше пришел к мысли со степенью верования, равной 15,

что все египетские статуи с резко выраженным сходством и полные реализма относятся к периоду Древнего царства (суждение, пригодное служить связью для двух предыдущих). Он инстинктивно чувствует, что между этими тремя суждениями существует какое-то несогласие, хотя они и согласуются в совершенстве, если не принимать в расчет степеней верования. Непоследовательно верить с определенной силой в то, что все ясно реалистические статуи относятся ко времени Древнего царства, и в то же время верить слабее тому, что данная весьма реалистическая статуя относится также к этой отдаленной эпохе. Не верование ли, равное 15, должно понизиться до 10? Данные не позволяют разрешить этот вопрос именно потому, что ум чувствует неопределенность проблемы при наличии только этих данных; он делает новые усилия и новые исследования. Итак, если наш археолог констатирует существование специальных причин, позволяющих утверждать, что выделка данной статуи относится ко времени Древнего царства только с силой, равной 10, то он должен понизить до той же степени и свое доверие к своему общему, служащему связью предположению. Если же таких причин не существует и у него, напротив, есть серьезные доводы за то, чтобы верить общему положению с силой, равной 15, то оно должно поднять до своего уровня и другое суждение. Наконец, если наш египтолог отнес статую ко времени Древнего царства еще до того, как он заметил ее реалистический характер, в силу соображений, посторонних тем, которые позволили ему установить свое общее положение, то уровень веры поднимается (к этому мы еще вернемся ниже) в обоих положениях разом.

Итак, заслуга этой инстинктивно принимаемой точки зрения, сознательное выражение которой только и дает наше настоящее исследование, состоит в том, что она принуждает мысль идти вперед до тех пор, пока она не достигнет требуемого равенства верования и, главное, его возрастания. Верование постоянно стремится к своему уровню подобно воде, постоянно стремящейся к уровню моря, но то положение равновесия, к какому оно стремится, находится вверху, а не внизу. Эта-то настоящая потребность избавиться от мучений, причиняемых внутренним диссонансом верований, потребность превра-

тить их в одно гармоническое целое, и заставляет людей науки работать с таким рвением. Можно ли ограничивать области логики пределами полной достоверности как раз в то время, когда тысячи исследователей по мифологии, лингвистике, этнографии, антропологии и истории доходят в своих работах до крайних пределов вероятного? Это могло считаться хорошим во времена Людовика XIV, когда область науки ограничивалась главным образом или даже почти исключительно математикой и физикой, т. е. была освещена вполне. Крестьянин, который косит только днем, может относиться презрительно к свету ламп, но они совершенно необходимы современному рудокопу, работающему в полумраке или даже в полной темноте подземелий<sup>21</sup>.

С первого взгляда я был поражен тем обстоятельством, что заключение силлогизма всегда принимается со степенью верования, равной не большей, а именно меньшей из двух доз веры, вложенных в посылки. Это замечание совершенно справедливо; оно справедливо, по крайней мере, согласно с обычным предположением логиков, где считается, что предложение, содержащееся в заключении, представляется уму впервые, тотчас же после установления большой и малой посылок. В этом случае несомненно, что положение, содержащееся в заключении, не может влиять на посылки и изменять свойственное им количество верования, так как оно само представляется уму без предварительно приобретенного и связанного с его терминами доверия; оно может только от посылок приобрести свою утвердительную или отрицательную силу, получая в то же время от них и свои термины, т. е. свою душу одновременно с телом. Но в таком исключительном случае из двух посылок передает заключению свой уровень верования не та, в которую верят больше, но всегда та, в которую верят меньше. Доказательством может служить рассуждение, приписанное выше Паскалю. Вот еще пример этого. Эта страна ввозит более, нежели вывозит (верование равно 100); но страны, ввозящие более, нежели они вывозят, богаты<sup>22</sup> (верование равно 25); следовательно, эта страна богата (верование равно 25, а не 100). Изобретение пороха благоприятствовало осаждающему ко вреду осажденного, благоприятствовало завоевательной централизации ко вреду местной независимости

(верование равно 50); порох изобрели арабы (верование равно 100). Следовательно, арабы способствовали нашей современной цивилизации (верование равно 50, а не 100). Возьмите любой силлогизм в форме *barbara*, *darrii*, *baralip-ton* или в какой-либо другой, придайте меньшую дозу верования одной из посылок, малой или большой, — это безразлично, и указываемое мною правило всегда окажется применимым.

Это замечание должно быть сопоставлено с известным правилом логиков: *Pejorem sequitur semper conclusio partem*, что, как известно, означает, что из двух посылок, из которых одна представляет собою предложение общее, а другая частное, можно вывести только частное же заключение. У всех губоцветных растений стебель четырехгранный; некоторые из этих растений губоцветные; следовательно, у некоторых из этих растений стебель четырехгранный. Чтобы сделать более точным это неопределенное и не имеющее большого значения правило, можно было бы еще прибавить, что когда мы, в противность ошибочной поговорке *nil sequitur geminis ex particularibus unquam*, выводим заключение из двух частных, но численно определенных по способу Моргана положений, то оно получает характер частности в той же или даже в более сильной степени, нежели наиболее частное из этих двух положений, но всегда бывает при этом само по себе строго определенное. Например, из людей, заболевших оспой, умирают две трети; в таком-то городе четверть населения страдает этой болезнью; следовательно, две двенадцатых этого населения умрут от нее.

Мы видим, что дедуктивное умозаключение неизбежно влечет за собою некоторого рода падение в уме как по отношению к тому, что логики исключительно и неправильно называют величиной предложений, не допуская сомнений, что у последних может быть еще другая величина, так и по отношению к этой другой, гораздо более истинной и неотделимой от них величины, которую я называю верованием. Но следует ли, однако, спешить признать его за фатальное понижение, за *minutis capitis* мысли? Нет, не следует в силу нескольких причин. Прежде всего, повторяю, это неправда, что заключительное положение всегда в первый раз представляется уму тогда, когда оно



является как заключение силлогизма; чаще всего оно существует в памяти еще и до этого и, появляясь снова в уме, приносит с собой обычно свойственную ему дозу веры; если эта доза веры оказывается выше меньшего из количеств веры, вложенных в обе посылки, то эта последняя может повиситься до уровня первой точно так же, конечно, как и наоборот, первая может понизиться до уровня последней, и притом в силу умственной потребности в максимуме верования случается обыкновенно первое явление. Итак, здесь следствием силлогизма является не падение, а повышение. Но в окончательном результате силлогических выкладок никогда не происходит потери верования, даже по обычной гипотезе логиков; напротив, и тут происходит приобретение веры, ибо заключение не уничтожает посылок, а присоединяется к ним в сокровищнице мысли. Если, однако, размышляющий ум бесстрашно переходит от одного следствия к другому, всецело поглощенный в каждый момент только последним из них, забывая о своих посылках, что иногда случается, то он неминуемо придет к абсолютному сомнению как к окончательному результату своих последовательных приобретений. Но почему? Потому, что он сделал ошибку, доверясь обыкновенной неполной логике, заботясь о словах, а не о степенях верования, о теле, а не о душе своих идей. Доктрина, приводящая к взгляду на логику как на путь к неуверенности, ясно обнаруживает свою недостаточность.

Напротив, наша доктрина представляет собой полную реабилитацию дедуктивного рассуждения. Для доказательства этого обратимся снова к ее методическому рассмотрению и притом частью под новыми углами зрения. Важность предмета оправдывает такую нашу настойчивость. Предположим, что археолог в известной степени убежден, что все здания со стрельчатыми отверстиями, сделанными одновременно с их постройкой, относятся ко времени после XI века. С другой стороны, неподалеку от него находятся небольшие развалины, которые по некоторым основаниям следует отнести к X веку. Но вот, при более тщательном осмотре их, он находит следы стрельчатого свода, которых до того он совершенно не заметил. Тотчас же в нем обнаруживается столкновение между двумя противоречащими друг другу положениями, или, лучше сказать, между двумя силлогизмами, одновременно побуж-

дающими его принять их. С одной стороны, «Всякое сооружение со стрельчатыми сводами относится ко времени после XI века; это сооружение со стрельчатыми сводами, следовательно, оно относится ко времени после XI века»; с другой стороны, «Это сооружение относится к X веку; но оно имеет стрельчатые своды, следовательно, не верно, что всякое здание со стрельчатыми сводами относится ко времени после XI века»<sup>23</sup>.

Вот два силлогизма, у которых малая посылка одна и та же, но большая посылка первого отрицается заключением второго, а большая посылка второго отрицается заключением первого. Уму предстоит сделать выбор между ними обоими. Является ли этот случай исключительным? Нисколько. Он только обыкновенно остается подразумеваемым; в практической жизни силлогизмы всегда представляются попарно, и их последовательное сцепление есть не что иное, как ряд поединков между ними. Прибавим еще, что эти поединки происходят или в одном и том же уме, или же между двумя различными умами, стремящимися прийти к социальному равновесию веры, ибо одно дело — психологическое равновесие верований в каждом из них в отдельности и совсем другое дело — социальное равновесие между ними. Следовательно, вполне уместно установить ту долю значения — и долю довольно большую, — какую должна иметь логика, названная мною социальной. В нашем случае можно предположить, например, что происходил спор между двумя археологами, — явление, не особенно редкое.

Мы видим, что вся польза силлогизма сводится здесь к обнаружению того незамечаемого до сих пор факта, что два положения, которые оба утверждались прежде одним и тем же умом или двумя различными умами в одном и том же обществе, оказываются содержащими в себе взаимное противоречие, подобно тому, как два смертельных врага могут, не узнавая друг друга, находиться бок о бок в одном и том же городе до того момента, пока они не встретятся лицом к лицу. Что же происходит тогда? Этот вопрос никогда не представляется обыденной логике, исключающей самую возможность такой предполагаемой мною внутренней борьбы в силу той подразу-

меваемой гипотезы, которая гласит, что ее положения устанавливаются всегда с совершенной и, стало быть, всегда с одинаковой уверенностью, и если бы эта логика допустила возможность такой борьбы, то сделала бы ее безвыходной. Она учит нас, что никакая вещь не должна утверждаться и отрицаться одновременно; но если действительно окажется, что одновременно что-либо утверждается и отрицается и притом то и другое происходит с абсолютной уверенностью, то что может проистечь из такого столкновения, кроме взаимного и полного уничтожения обоих противников?

Не понимаю также, какое право имеем мы присоединять к знаменитому принципу противоречия принцип исключения середины, формулируемый таким образом: если что-либо утверждается, то оно не может отрицаться, и обратно. Это значит предполагать, что те самые утверждение и отрицание, о которых говорится, что одно из них должно изгонять другое, одновременно существовали в некоторый момент и, однако, не уничтожили друг друга. Но что одно из них пережило другое, может быть понятным, только если его количество веры превосходит количество веры другого. Без неравенства этих двух верований принцип исключения середины неприменим; следовательно, вопрос о степенях верования является вопросом существенно важным. Предположим, что в нашем примере нет этого различия в степенях; тогда наш археолог сразу станет в тупик<sup>24</sup>, за исключением разве только того случая, когда каждый из этой пары противоречивых силлогизмов явится исходным пунктом новых дедукций, способных, в свою очередь, быть продолженными до бесконечности в виде двух параллельных рядов, совершенно, однако, лишенных веры и напоминающих собою настоящую процессию призраков. Наоборот, если он уверен в одном из этих двух противоречивых предложений более, нежели в другом, то это последнее исчезнет, но не как предложение (ибо воспоминание о нем останется), но как верование. Заметим также, что победившее предложение уменьшится после триумфа. Представим себе, например, что наш антикварий отказывается отнести свою развалину к X веку и соглашается придвинуть ее происхождение к позднему времени; его основной принцип спасен, но, без всякого сомнения, будет несколько ослаблен

влиянием тех обстоятельств, которые привели его раньше к другой эпохе происхождения этого сооружения. Впредь он будет уже слабее убежден в том, что все здания со стрельчатыми сводами построены после XI века.

Составим еще гипотезу, отличную от предыдущей. Наш ученый, относительно которого мы все еще предполагаем, что он проникнут своим основным принципом, замечает старую церковь, времени происхождения которой он еще не пытался установить. Он находит в ней стрельчатый свод и тотчас же, без колебаний, устанавливает, сообразно своему общему правилу, что этот памятник построен после XI века. Этим положением приобретенная им раньше вера в его общее правило не увеличивается и не уменьшается. Это и есть тот единственный случай, который предвидят логики, и признаюсь, что если бы не существовало других случаев, то я допустил бы, что плодотворность силлогизма может быть подвергнута сомнению. В самом деле, новое положение: «Эта церковь относится ко времени после XI в.» составляет, если хотите, приобретение — приобретение идеи для нашего археолога; но если бы он заметил, что в нем самом существуют в форме идей основания верить сильнее в правильность его обобщения, то это приобретение было бы тем гораздо важнее, даже если бы он при этом не приобрел никакой новой идеи.

Сделаем еще замечание. В том случае, о котором только что шла речь, уму представлялся один силлогизм, а не два. Это зависит от того, что здесь силлогизм оказался в качестве исключения действительно таким, каким неосновательно считают его всегда, и породил такое заключение, какого раньше в уме не существовало. Или это зависит скорее оттого, что до силлогизма ум рассуждавшего относился совершенно индифферентно к утвердительной или отрицательной связи в какой бы то ни было степени между терминами, из которых составлено заключение, а именно: между старой церковью, о которой идет речь, и временем ее постройки позже XI века, независимо от того, случалось ли ему до того или нет сопоставлять эти идеи между собой. Но чрезвычайно редко случается, чтобы две идеи встретились подобным образом, не возбудив тотчас же в нас ли самих или в особенности в

другом, если мы ведем прение, расположения принять или отвергнуть их, причем это предрасположение существует еще до той силлогической деятельности, которая вызывает самое сопоставление этих идей. Предположим, что два археолога, оба согласные с сформированным выше основным принципом, посещают вместе старую церковь, о которой идет речь, исследуя время ее постройки. Один из них показывает другому стрельчатое отверстие и сообщает ему свое дедуктивное заключение: «Этот памятник относится ко времени позже XI века». Чаще всего второй, хоть и соглашается вполне с первым относительно посылок, будет все-таки противиться принятию этого заключения или примет его не так уверенно, как бы он должен был сделать это, чтобы быть совершенно последовательным и окончательно согласиться со своим собратом.

Нам остается рассмотреть еще одно предположение. Наш археолог, продолжающий оставаться верным своему основному принципу, изучает какую-нибудь старую колокольню и относит ее ко времени позже XI века в силу соображений, чуждых стрельчатому или какому-либо иному виду отверстий в ней, на которых его внимание еще совсем не останавливалось. Но, положим, его верование в это положение вдвое слабее его верования в основное положение. После этого он находит в одной из стен стрельчатое окно. Заметив тогда, что его суждение о времени постройки этой колокольни соответствует указанному выше его принципу, он поднимает до уровня последнего свою веру в первое, которое ему теперь кажется вдвое достовернее. Но это еще не все. Достоверность самого правила также повысится благодаря этому подтверждению, которое неожиданно доставлено ему суждением, составленным помимо этого правила и до того считавшимся не имеющим с ним ничего общего. Достоверность общего правила повысится в степени, равной достоверности этого суждения до открытия стрельчатого отверстия<sup>25</sup>. А так как необходимо, чтобы верование установилось на одном уровне в обоих положениях, то вера в это суждение в конце концов окажется более, нежели удвоенной. Тут произойдет не только сложение двух количеств веры, но еще и некоторого рода их умножение. То же будет и в том случае, если археологи посетят развалины каждый

отдельно и оба, независимо один от другого, определяют совершенно одинаково время постройки (на основании одних и тех же или совершенно различных соображений — это все равно), или в том случае, если каждый из них путем самостоятельного изучения придет к установлению одного и того же общего принципа; в тот момент, когда они сообщают один другому свои мнения, вера каждого из них в свое мнение должна возрасти пропорционально вере другого. Этот случай, относящийся к логике социальной, встречается очень часто в науке и является обыденным в жизни. Энтузиазм и вера ученых подкрепляются теми неожиданными и, по-видимому, мимолетными подтверждениями, какие они получают с разных сторон, а фанатизм толпы питается главным образом сходством их идей, которые кажутся взаимно подтверждающимися. Правда, эта внешность бывает обманчива, и это призрачное, т. е. имеющее чисто социальное происхождение, единодушие основано на общности традиции или на модном увлечении, на подражании одному и тому же древнему или новейшему образцу; но чаще всего никто не думает об этом источнике и все только удивляются результатам — тождественности верований, сходству мыслей. Отсюда и берет начало та напоминающая галлюцинацию стойкость бессознательных иллюзий, внушаемых обществу, однородному по своему составу, т. е., другими словами, внушаемых вообще всякому обществу. Буддист путешествует в буддистской же стране; чем больше видит он людей, убежденных, подобно ему, в истине воплощений Будды, тем сильнее становится и его собственная вера.

Вернемся опять к логике индивидуальной; нет сомнения, что силлогическое рассуждение в случаях, соответствующих нашей последней гипотезе, всегда является порождающим веру, а эти случаи встречаются в действительности довольно часто. Химик в своей лаборатории и врач у постели больного в каждое мгновение с радостью констатируют полное согласие между логическими выводами из их теоретических положений и фактами, установленными совершенно независимо от этих принципов, откуда и проистекает укрепление их веры в эти теоретические принципы. Но даже в том случае, когда силлогизм, подобно тому, как было указано выше, принуждает нас

уничтожить одно из двух положений, раскрывая его противоречие с другим, он все-таки не разрушает веру по той простой причине, по какой человек, уплативший свои долги, не становится беднее, чем был до того. Противоречивые верования, которые мы, сами того не зная, носим в себе, представляют собою оes alienum, не составляющую части нашего интеллектуального богатства, а только загромождающую собою наш умственный кошелёк. Кроме того, путем такой очистки, как и путем предшествовавших приобретений, укрепляется связь между нашими верованиями, что является важным не менее самого увеличения этих верований. Ведь для каменщика, например, не безразлично, находится ли определенная масса камня в форме одного куска или состоит из множества мелких обломков. Одно дело — количество верования и другое дело — сила верования. Но плодотворность силлогизма обнаружится перед нами дальше еще гораздо явственнее.

## V

До сих пор речь шла исключительно о логическом рассуждении, которое управляет передачей верования, совершенно свободного от желания; теперь надлежит определить значение того особенного вида рассуждения, который я назову теологическим и который относится к передаче верования и желания, соединенных вместе. Об этом силлогизме совсем не говорят те, кто его строит, хотя он предшествует всем деяниям нашей жизни и управляет ими. Если можно упрекать в бесплодности обыкновенный силлогизм, то этот упрек (как я показал в другом месте) ни в каком случае не может быть направлен против силлогизма теологического, где из сопоставления двух посылок, одна из которых выражает цель, а другая средство, вытекает обязанность — оригинальная комбинация, несколько не похожая на составляющие ее элементы. «Я хочу спасти свою душу; пост является средством для этого; следовательно, я должен поститься». Так бессознательно рассуждает всякий христианин каждый раз, когда он постится. Если он обыкновенно не трудится высказывать большую посылку, то это потому, что цель, о которой идет речь, живет в нем постоянно и неограниченно управляет всей его жизнью. Намерение, какое желаешь

выполнить, является несознаваемой большой посылкой во всех моральных рассуждениях, из которых как заключение выводится обязанность, и чем глубже и незаметнее эта большая посылка, тем повелительнее кажется выводимая обязанность.

С точки зрения нашей логической арифметики, рассматриваемый силлогизм вносит новое усложнение. В самом деле, в суждении-намерении: «я желаю этого» или «такой-то желает того», нужно принимать во внимание две различные величины: степень желания (положительного или отрицательного) и степень верования (утвердительного или отрицательного), объектом которого является это желание<sup>26</sup>. Разграничим тот случай, когда суждение-намерение имеет подлежащим я, и тот, когда его подлежащим является другой человек. В первом случае реальность желания не вызывает ни малейшего сомнения, и я всегда с полной уверенностью, утверждаю или отрицаю то или другое свое желание, как бы оно ни было слабо. Поэтому при одинаковой интенсивности желания являющаяся в заключении сила долга зависит просто от большей или меньшей степени доверия, питаемого мною к действительности средства, каким следует пользоваться. Но степень интенсивности желания, которому верят, может изменяться в чрезвычайно широких пределах. Возможны следующие предположения: слабое желание и большое доверие к действительности средства, или, наоборот, сильное желание и малое доверие, или же слабое желание и малое доверие, сильное желание и большое доверие. Следовало бы еще рассмотреть, как комбинируется утвердительное и отрицательное верование с отрицательным или утвердительным желанием, а попутно следовало бы также исправить довольно большое количество неправильно установленных логиками положений, но я не могу входить во все эти подробности, и мы ограничимся только рассмотрением того предположения, что мое верование в действительность средства понижается или повышается в то время, как мое утвердительное желание повышается или понижается. Возьмем, например, следующий моральный силлогизм, какой в наше время строится столькими отцами семейств: «Я желаю дать своим детям возможно лучшее образование, но достигнуть этой цели возможно,



только живя в большом городе; следовательно, я должен переселиться в большой город». Если мое желание, о котором говорится в большой посылке, возросло, то при одной и той же вере в малую посылку моя обязанность переселиться будет казаться мне увеличивающейся; то же будет и в том случае, если мое желание останется неизменным, в то время как моя вера в малую посылку возрастает, и наоборот, сила моей обязанности ослабевает, если уменьшится моя вера или мое желание. Но может случиться, что я все больше и больше буду заботиться дать своим детям полное образование, но в то же время я все меньше и меньше буду уверен в невозможности найти необходимые для этого средства вне большого города. Допустим, что, несмотря на эти противоположные друг другу изменения, обязанность переселиться в город дает себя чувствовать с прежней несколько не изменившейся силой. Не будет ли это доказывать, что величина, на какую возросло желание, является по отношению к интимной химической комбинации, называемой долгом, эквивалентной величиной, на какую уменьшилось верование? Это может показаться чересчур ухищренно, но в этом нет ничего невозможного. Полезность таких ухищрений могла бы обнаружиться при их приложении к социальным колебаниям долга, к главным изменениям его интенсивности и в особенности к изменениям, произошедшим в относительной интенсивности различных обязанностей под влиянием того или другого изобретения, возбудившего при своем распространении новое желание, или под влиянием той или другой доктрины, того или другого нового сведения, возбудивших также при своем распространении доверие к средству, еще недавно считавшемуся опасным или недействительным. Например, появление Магомета (которого я позволю себе уподобить изобретателю) возбудило в Аравии, неподвижно дремавшей в течение веков в одном и том же полуварварском состоянии, стремление к завоевательному прозелитизму, и в течение трех или четырех столетий обязанность религиозного покорения мира держалась в сердцах сынов пророка на одном уровне интенсивности, потому что если восторженный пыл первого мгновения и терял постепенно свою начальную горячность, то, с другой стороны, по мере того, как распространялись вести о прежних победах, росла вера в

вероятность новых успехов. Желание освободить гробницу Христа несколько не уменьшилось в сердцах христиан после Людовика Святого, но целый ряд поражений заставил значительно уменьшиться доверие к успеху нового крестового похода, а от этого ослабла и самая обязанность предпринять его. Желание увеличить свою заработную плату может в какой угодно мере возрастать в среде рабочего населения (вследствие промышленных изобретений, увеличивающих его потребности, как и у всех других людей), но если стачка все менее и менее кажется ему лучшим способом достигнуть этой цели (вследствие известного ему неуспеха прежних стачек), то может случиться, что обязанность устроить стачку чувствуется им не только не сильнее, а все слабее и слабее. Желание отомстить за поражение (желание, порождаемое счастливыми военными комбинациями, изобретенными полководцами-победителями) может в какой угодно мере остыть, но если нация узнает, что ее победитель сам потерпел страшное поражение вроде, например, нашего отступления из Москвы в 1812 г., то она тотчас же почувствует обязанность воспользоваться таким удобным случаем и объявить ему войну.

До сих пор я предполагал, что подлежащим было я или мы и, стало быть, не было ни малейшего сомнения в реальности утверждаемого или отрицаемого желания, какова бы ни была его интенсивность. Но совершенно иначе обстоит дело, когда, стараясь предвидеть решение другого, мы спрашиваем себя, чего он желает и что он думает, чтобы отсюда заключить, что хочет он делать. Всякий фабрикант прежде, чем приступить к производству, или всякий кандидат на выборную должность прежде, чем выставить свою кандидатуру, рассуждает приблизительно так: я имею основания верить (в такой-то мере), что эти потребители желают (с такой-то силой) покупать вино не фальсифицированное; я верю (id), что они доверяют (id) чистоте моих вин; следовательно, я верю (id), что они считают обязанностью купить у меня такое-то количество этих вин. Эти избиратели (у меня есть основание так думать) прежде всего хотят иметь депутата влиятельного; они все более или менее уверены (у меня имеются основания верить существованию этой их уверенности), что я обладаю большим влиянием; следовательно, они сочтут обязанностью подать голос за меня.

Многочисленность комбинирующихся между собою элементов достигает здесь таких размеров, что рассмотреть все возможные комбинации было бы совершенно невозможно. Достаточно будет показать — и это мне кажется очевидным, — что они осуществляются в действительной жизни на каждом шагу. Этого рода силлогизм, оказывающийся при его внимательном изучении логическим, а не телеологическим, является источником всякой промышленной, коммерческой или политической оценки; он представляет собою правильное истолкование понятия ценности — понятия, являющегося основным в политической экономии, которая в своем стремлении превратиться вполне в социальную телеологию прилагает его ко всем социальным явлениям без разбора. Идея ценности, как и понятие о праве, обязана своей ясностью и плодотворностью тому, что она представляет нам хотения, вожеления, стремления в виде чистых суждений, рисует связь между средством и целью в форме связи между принципом и его логическим последствием, а также тому, что она позволяет таким образом трактовать логически или даже математически проблемы, по существу телеологические. Обратимся снова к предыдущему случаю и рассмотрим значение того телеологического силлогизма, у которого подлежащим в большой посылке является не я, а мы. Мы или безличная форма означают одно и то же, когда речь идет о всех известных людях. Общее суждение-намерение, выраженное таким образом: «Мы хотим завоевать Карфаген; мы хотим попасть в Магометов рай; стремятся быть собственниками», вообще говоря, является только подразумеваемым, и чем более оно является таковым, тем сильнее его способность порождать обязанность в качестве логического заключения: «Нам надо быть мужественными; нам надо воздерживаться от употребления вина; мы должны делать сбережения».

Прежде чем покончить с этим, существенно важно указать, что телеологические силлогизмы, так же как силлогизмы только логические, обыкновенно, т. е. во всех тех случаях, когда мы не без колебания решаемся признать какую-либо обязанность, являются перед нами попарно. Когда я говорю: «Я желаю сделаться ученым; приобрести же знания можно только при помощи труда; следовательно, я должен

трудиться», и если принимаю это заключение с отвращением, то это значит, что я не люблю работать, т. е. желаю не работать, и противопоставляю этому первому силлогизму другой: «Я совсем не люблю работать; но приобрести знания можно только при помощи труда; следовательно, я должен отказаться от мысли быть ученым». В моем сознании поднимается борьба между этими двумя заключениями и если, например, мое отвращение к труду одерживает верх над моею любовью к знанию, то второе заключение оказывается торжествующим, но в то же время оно является ослабленным вследствие этой своей победы. Деловая жизнь представляет собою непрерывный ряд таких столкновений. Каждый раз, когда покупатель колеблется, заплатить ли ему за вещь, в которой он нуждается, цену, просимую продавцом, он думает о другой своей потребности, удовлетворению которой воспрепятствует слишком большой размер этой затраты. Из этих двух потребностей, взвешиваемых им по очереди, он выбирает наиболее сильную. Не бывает телеологических силлогизмов попарно единственно в том случае, когда средство, указываемое в малой посылке (общей для обоих силлогизмов, как и раньше), не требует сколько-нибудь напряженного или тягостного усилия: «Я хочу пить; вот источник; пойдем к нему». Когда это средство не только не тягостно, но само по себе приятно, то в этом случае заключение всегда является обязанностью, но имеющей, так сказать, противоположный характер: «Я желаю зарабатывать деньги; ничто не может быть для меня прибыльнее сочинения театральных пьес, притом же и занятие это мне очень нравится; следовательно, будем сочинять театральные пьесы». Сколько молодых литераторов рассуждают именно таким образом! «Я стремлюсь к почестям; к ним ведет избрание в депутаты, что мне и само по себе очень нравится; выступим поэтому с изложением своей политической программы!» Сколько политических деятелей действуют именно по такому расчету!<sup>27</sup> Заметим еще, что каждый из рассуждающих подобным образом относится к создаваемой им настоятельной обязанности писать комедии или сочинять избирательные программы со страстностью, превосходящей по своим размерам сумму двух существующих одновременно в нем желаний, одно из которых считается им вспомогательным по отношению к другому.

Подобно тому, как выше в совершенно аналогичном случае, относившемся к чисто логическому силлогизму, я сказал, что происходит не сложение, а перемножение верований, так и здесь я охотно сказал бы, что мы имеем перед собою не просто сложение, а перемножение желаний. Однако желание преобразовывается в обязанность не в силу этого возрастания его интенсивности, а вследствие его комбинации с верованием, вложенным в малую посылку. Я желаю полечить свой бронхит; я немного верю, что один сезон, проведенный мною в Коттрэ, пребывание в котором мне притом же очень нравится, излечил бы меня; отсюда заключение: «Поеду в Коттрэ» — представляется мне гораздо менее интенсивною обязанностью, нежели в том случае, когда при очень сильной вере в целебность этих вод пребывание на них кажется мне слабо привлекательным или даже прямо скучным и неприятным. Это заключение чувствуется как обязанность, совокупно пропорциональная желанию, содержащемуся в большой посылке, и верованию, содержащемуся в малой, без всякой зависимости от заключающегося в последней противоречивого или, наоборот, сходного с первым желания; но оно чувствуется как желание, совокупно пропорциональное этим обоим желаниям.

Эта комбинация верования с желанием не заключает в себе ничего таинственного. Она означает, что желая *A* и считая *B* пригодным для достижения *A*, я вследствие этого хочу ощутить желание желать *B*, или, другими словами, сожалею о том, что не ощущаю такого желания, если у меня его нет. Это желание пожелать *B*, заключающееся в желании *A*, явственно проявилось в моей вере и притом тем явственней, чем сильнее эта вера. При этом не важно, является ли это желание пожелать наперед удовлетворенным или нет, точно так же не важно и то, в какой мере оно удовлетворено или насколько трудно его удовлетворить. Оно является обязанностью постольку, поскольку оно есть желание ощутить желание, обязанностью в степени, пропорциональной своей собственной интенсивности, а не интенсивности желания, служащего ему объектом. Сила, с какой я не говорю «должно быть», но бывает желательно ощущать желание относительно средства (независимо от того, существовало ли раньше это желание или нет),

определяется степенью силы верования, с какой утверждают целесообразность этого средства. Когда я хочу пожелать *В*, к которому чувствую отвращение или которое мне неприятно пожелать, то тут имеется, собственно, обязанность, т. е. страдание в обыденном смысле этого слова. Когда я хочу пожелать такое *В*, к которому отношусь безразлично и пожелать которое в какой угодно степени для меня безразлично, то опять-таки тут налицо обязанность, но такая, которой я не чувствую вследствие отсутствия внутреннего сопротивления. Когда я желаю пожелать *В*, которого я уже немного желаю, но меньше, нежели не хочу его пожелать, то можно сказать, что тут скорее имеется зародыш удовольствия, а не обязанность, потому что простое констатирование этого согласия, при всей его неполноте, является удовлетворением. Когда *В* такое, что я желаю его в степени, равной или даже превосходящей желаемую степень, то удовлетворение становится полным или даже излишне большим. Но из-за того, что обязанность из тягостной, какой она была раньше, превратилась в приятную, она нисколько не изменила своего основного характера и осталась, по существу, тождественной самой себе.

До сих пор я предполагал, что то желание, которое я хочу ощутить, представляет собою желание делать что-либо и, следовательно, составляет обязанность — обязанность относительную, сознательно утилитарную, выражающуюся в слове «должно» людей-практиков, или же такую, которую можно назвать абсолютной, также утилитарной, но бессознательно, ибо ее большая посылка только подразумевается, и выражающейся словом «должно», когда его употребляют люди чести и самопожертвования. Но часто случается, что желание, которое желают ощутить, представляет собою желание обладать чем-нибудь, желание иметь, а не желание делать. Я желаю дышать свободно; думаю, что сухая и теплая погода действует благоприятно на мое затрудненное дыхание; следовательно, я чувствую потребность в теплой и сухой погоде. Я желаю получить хороший урожай сена для моих быков; я уверен, что несколько большее количество дождя помогло бы росту травы на моих лугах; итак, мне надо, чтобы еще пошел дождь. Как часто приходится нам испытывать желание, удовлетворение которого

зависит от обстоятельств, находящихся совсем не в нашей власти! Наша воля приводится здесь в состояние вынужденной бездеятельности, и обязанность не может явиться, но тогда начинается ощущаться потребность. В жизни мы часто переходим от первой ко второй. Молодой человек, желающий жениться на какой-нибудь девушке и думающий, что он получит ее руку, если будет избран в депутаты, чувствует вследствие этого сильное желание энергично агитировать во время выборов; затем, в тот момент, когда все записки находятся в избирательных ящиках, но результат выборов, повлиявший на который теперь он уже не в состоянии, еще не известен, он живо чувствует потребность быть избранным. Здесь обязанность преобразовалась в потребность, кажущуюся притом только непосредственным продолжением первой. Обратное происходит каждый раз, когда на глазах приведенного в восторг человека или целого народа рушится преграда, отделяющая его от того, к чему он раньше бесплодно стремился, и он видит возможность достигать впредь одними своими силами того, что он считал раньше возможным получить только в зависимости от счастливого случая. Открыт Новый Свет; тотчас же все честолюбцы или корыстолюбцы, чувствовавшие до того только потребность приобрести благосклонность знатного лица или получить крупное наследство, тотчас же чувствуют обязанность отправиться в Америку. Социальный строй начинает колебаться; тотчас же приходят в волнение все вожеления и все честолюбия, и революция представляет собою именно такое превращение потребностей, ощущаемых с внутренней болью, в новые обязанности, чувствуемые с неистовой страстностью. Можно сказать, что социальная жизнь приводится в движение попеременным действием этих двух великих дополняющих друг друга сил: обязанности и потребности. Все в этой жизни представляет собою или профессиональную, производительную деятельность или потребляющую алчность, скрыто лежащую под первой, которая, в свою очередь, работает для удовлетворения второй. Но необходимо заметить здесь, что ощущение потребности, как и чувство обязанности, представляет собою только заключение сознаваемого или несознаваемого телеологического силлогизма.

## VI

Приложение теории силлогизма к социальной логике, как мы ее определили выше, было в предыдущем только слегка затронуто попеременно с обыденным приложением этой теории к логике индивидуальной, между тем как оно заслуживает хотя и краткого, но отдельного исследования. Когда человек верит словам другого, то употребляемое здесь по отношению к первому слово «вера» принимает совершенно особый смысл; когда один человек действует по приказанию другого, то для особого обозначения одушевляющего его чувства служит слово «обязанность»; если я и мог до сих пор называть обязанностью заключение телеологического силлогизма, выводимого кем-либо из своего собственного хотения, взятого за большую посылку, то тем не менее справедливо и то, что в общепринятом смысле это заключение называется просто хотением. Хотеть — значит предполагать делать что-либо такое, что мы, вообще говоря, не желаем, но что необходимо для удовлетворения нашего желания. Хотение — это, так сказать, посредствующее желание. Обязанность в собственном смысле слова — это также хотение, но подчиненное другому хотению, — это посредственное хотение. Приказание представляет собою создание обязанности. Плантатор, занимающийся земледелием при помощи негров, рассуждает так: «Я хочу получить с своих плантаций хороший урожай, но для этого надо много потрудиться над их обработкой; поэтому мои рабы должны ревностно и усердно работать в полях, не жалея своих сил». Следовательно, приказание есть не что иное, как хотение появления некоторого хотения у другого лица, обязанность же представляет собою только противоположную сторону приказания. Замечательно при этом в действительности только то, что верный слуга или примирившийся со своим состоянием раб, подобно эху, внутренне откликаются на рассуждение своего господина: «Мой хозяин хочет этого-то, средство для достижения этого будет то-то; следовательно, я должен делать то-то». Таков первый род социального согласования хотений. Позже этого неограниченное распоряжение сменяется в демократическом обществе требованием и приказанием народным, хотя, конечно, такая замена происходит чаще только по виду, чем в действительности. «Публика



хочет путешествовать с удобствами; теперь холодно; следовательно, я должен отоплять вагоны», — говорит сам себе железнодорожный служащий. Подобным же образом выводятся все профессиональные обязанности. «Большинство избирателей через своих представителей приказывает делать это; средством для выполнения этого является то-то; следовательно, я должен поступать таким-то образом», — говорит себе современный гражданин. Таким образом, обязанность — это социальное хотение, и революционные перевороты, предшествующие зарождению новой власти, нового Идеала, являющегося источником новой системы обязанностей, совершенно сходны с умственным смятением, предшествующим принятию важного решения, постановке новой цели, из которой вытекает целый ряд новых поступков.

После всего сказанного перейдем к рассмотрению силлогизмов следующего вида, встречающихся так часто, что никакое общество не могло бы существовать ни одной минуты, не употребляя их. «Ученый уверен в том-то (что падение барометра предвещает бурю); я (или другой ученый) уверен в том-то другом (что барометр упал); следовательно, я уверен в такой-то перемене (что буря скоро разразится). Хозяин, король или общество хочет того-то; я знаю, что для достижения этого необходимо то-то; следовательно, я должен делать то-то». Представляют ли вышеприведенные примеры социальные силлогизмы в точном смысле слова? Могут возразить, что они не отличаются ничем существенным от обыкновенных силлогизмов, что фактически комбинирование составляющих их верований и желаний производится всегда в одном и том же уме и что, кроме того, то принадлежащее другому верование или хотение, о которых идет в них речь, действует не само по себе, а только путем его воспроизведения в уме или в сердце верующего или подчиненного, совершенно его усваивающего и извлекающего из него дальнейшие выводы. Возражение это весьма правдоподобно, но оно, однако, совершенно уничтожается, если обратим внимание на хорошо известный нам эффект гипнотического внушения, в котором ясно, как через увеличительное стекло, обрисовывается нам вся сила и значение социального внушения менее непосредственного, но более продолжительного, менее интенсивного, но более широкого,

менее быстрого, но глубже проникающего, потому что ничто не может помочь выяснению нормальных отклонений больше изучения некоторых аномалий. Известно, что загипнотизированный, которому внушено ложное восприятие или преступный поступок, полагает, что он думает и действует совершенно самостоятельно, хотя служит только игрушкой в руках гипнотизера. Предположите, однако, что последний вместо того, чтобы точно указать загипнотизированному каждую идею, каждый поступок, который он должен совершить, оставляет ему в известной мере не самостоятельность, а только сотрудничество гипнотизеру в осуществлении его целей и мыслей. Этот гипнотизер должен будет установить догматы и предписать законы, провозгласить основные принципы и общие правила, сообщить их подчиненному ему субъекту, представив так называемой свободной инициативе или, если угодно, подчиненной свободе последнего заботу о приложении к делу этих догматов, об исполнении этих законов. Именно таким образом во все времена поступали и теперь еще поступают все народные вожди (я, конечно, разумею истинных), основатели религий или могущественных государств, поэты, обновляющие народный язык или философы, изобретающие системы права, великие ученые или великие техники-изобретатели; при этом перечислении не следует совершенно забывать законодателей и государственных людей. Вот почему на нацию по всей справедливости можно смотреть как на сложный силлогизм, являющийся в одно и то же время логическим и телеологическим; его большие посылки вначале представляют собою всю совокупность сведений или приказаний, считающихся божественными, а позже совокупность истин или хотений, считающихся исходящими от верховной власти, одним словом, догматы или законы; малые посылки в каждое мгновение доставляются каждому отдельному лицу на каждый отдельный случай тем или другим зрелищем или обстоятельством его жизни, указывающим ему или требующим от него нового применения догмата или нового исполнения закона; заключениями является все, что обсуждается или решается, что говорится или делается сообразно с высшими принципами и правилами данного народа, т. е. неизмеримое большинство назревающих в среде нации мыслей и поступков. Древний грек слышит гром;

он говорит, что Юпитер разгневан; древний римлянин видит ворона, летящего по левую сторону от него, и предвидит, что с ним случится какое-нибудь несчастье; сообразуясь с обстоятельствами, он даже точно определяет это несчастье. Данный удар грома (малая посылка) приводит эллину на память мифологическое объяснение грома вообще (большая посылка), быть может, несколько стихов Гомера, в которых формулируется эта теория; данный полет ворона (малая посылка) заставляет римлянина вспомнить общий принцип книг авгуров о значении полета птиц (большая посылка). Заключение его совершенно логично. Араб или корсиканец встречает своего врага (малая посылка), он припоминает, что обычай требует мщения, и чувствует обязанность выстрелить в своего врага (заключение). Если же этот враг придет в его палатку как гость, он вспомнит, что гостеприимство заповедано пророком, и сочтет обязанностью предложить ему чашку кофе. Все эти большие послышки, подобно горным вершинам, высоко поднимающиеся над постоянно истекающими из них логическими следствиями, представляют собою тезисы или древние повеления, авторы которых чаще всего бывают совершенно забыты, но не всегда, однако, потому что очень редко случается, чтобы ревностный протестант не опирался формально на Евангелие или мусульманин не ссылался бы на Коран даже по поводу самых незначительных событий своей жизни; но во всяком случае эти положения отдаются под охрану избранников: духовенства или дворянства, сословия ученых или сословия властвующих, которые считают их своими и в глазах всей остальной части нации являются их воплощением. Таким образом в этой великой силлогической деятельности общества различные классы разделяют работу между собою: одни берут себе большие послышки, а другие — заключения.

Все, что мы говорили по поводу обыкновенного силлогизма, применимо и к этому высшему силлогизму. Опасность логической непоследовательности, социальной неустойчивости здесь также двоякая. С одной стороны, заключения могут быть неправильно извлечены; гений религии может быть омрачен народными суевериями, порожденными ею, дух закона может быть не понят судебной практикой, и мы видим в таком случае просвещенное духовенство, плохо понимаемое массами,

которые, однако, его внимательно слушают, разумную власть, которой население дурно повинует, хотя и уважает ее; подобные неудобства свойственны или такому режиму, при котором отдельные касты являются совершенно обособленными друг от друга, или же они являются следствием сильной раздробленности нецентрализованных провинций. С другой стороны, как бы правильна ни была дедукция, общество все-таки остается в противоречии само с собою, когда низшие классы с глубокой уверенностью и полнейшим самоотвержением исповедуют и проводят в действительной жизни религию или гражданские законы, охрана которых предоставлена высшим скептическим и индифферентным классам, или — что является более исключительным случаем, — когда происходит обратное. Такие неурядицы происходят довольно часто, но они всегда бывают скоро проходящими и в обоих случаях излечиваются действием постоянных потоков подражания, разрушающих в своем течении сверху вниз все кастовые и областные преграды, распространяющих среди народа веру или горячее рвение, сомнения или инертность его руководителей, переносящих в самые маленькие поселки примеры, подаваемые столицей. В этом случае роль подражания, как и во многих других отношениях, может быть сравниваема с деятельностью тех элементарных психологических функций, тех беспрестанно пробегающих в нас потоков, так сказать, нервного воспоминания, которые исправляют непоследовательности индивидуального умозаключения. Следовательно, каждый шаг вперед, облегчающий сношения между людьми и, стало быть, открывающий движению подражания новые пути или расширяющий прежние, способствует точности и скорости социальных дедукций, систематическому сплочению обществ и притом способствует этому с тем большей силой, что та же причина влечет за собою последовательное уничтожение противоречия между различными большими посылками и различными заключениями. Итак, догматы организуются в одну систему, законы объединяются в один кодекс и в то же время растут и становятся однороднее и религиозное или интеллектуальное правоверие, и обрядовая или трудовая дисциплина масс. Следовательно, этот вопрос прогрессивной ассимиляции, хотя он может и даже должен

привести к демократической нивелировке, ведет за собою также громадное возрастание значения руководящих мыслей и хотений, устраняя перед ними препятствия, расширяя, возбуждая и ускоряя их деятельность. Он приводит к тому, что не одни только идеи и стремления предков, пропагандируемые в продолжение веков, и даже главным образом не они теперь вызывают к себе доверие, являются законом; едва только успеет ученый открыть, а его собратья — признать правильной какую-нибудь новую истину, как тотчас же она делается достоянием всех; едва только обнародован закон, как все ему повинуются. Преобладающие большие посылы национального силлогизма меняются из года в год и влекут за собою в этих изменениях и все остальное — и весь народ продельывает эволюции подобно полку солдат.

Во всяком случае, против социального силлогизма не может быть направлено обыкновенное возражение против силлогической дедукции, состоящее в том, что такая дедукция будто бы ничему нас не научает, потому что из посылок можно вывести только то, что мы сами в них вложили. Никто, я полагаю, не скажет, что какой-либо народ мог бы обойтись без принципов и законов: они представляют собою посылы, подобные тем магическим бутылкам, из которых извлекается бесконечно много вещей, каких их обладатель никогда туда не вкладывал.

Я сказал, что нация представляет собою сложный силлогизм. Но что такое сложный силлогизм? Это — система или, с телеологической точки зрения, план. В самом деле, система представляет собою общее предложение или группу нескольких общих предложений, служащих большими посылами для очень большого числа силлогических дедукций, при помощи которых мы объясняем себе всякого рода представляющиеся нам факты. План представляет собою цель или ряд целей, связанных между собою (например, занять с боем столицу какого-либо государства и завоевать одну или две из его провинций), служащих основанием очень большого числа практических обязанностей, во всех случаях, силлогически выведенных из этого начального хотения. Когда, таким образом, у большого числа силлогизмов одна и та же большая посылка, тогда перед нами имеется система или план. Следовательно,

нация представляет собою истинный план и настоящую систему. Заметим, что это не значит, чтобы принципы и цели индивида всегда являлись принципами и целями государства. Иногда принципы и цели первого являются противоречащими последнему, и тогда индивидуум приходит к преступлению или к восстанию против государства, которое затем наказывает его исключением из общества в различных формах: заключением в тюрьму, штрафом, ссылкой, смертной казнью. Но гораздо чаще личные цели и стремления индивидуума не совпадают и не противоречат принципам и целям государства. Это область свободных убеждений и частных интересов. Эти интересы или убеждения могут бороться между собою или помогать друг другу под видом конкуренции или политики, судебных процессов или споров, или же под видом договоров и соглашений, компаний и товариществ; могут спешествовать или вредить одни другим, не помогая и не мешая в то же время великим интересам нации, не усиливая и не ослабляя ее великих принципов. Но все такие союзы или войны между отдельными индивидами или элементарными обществами, из которых состоит собственно общество, всегда происходят под сенью этих великих национальных принципов и великих национальных интересов, под покровительством истин законов, признаваемых всеми. Такое подчинение двойной общественной власти, хотя и требует жертвования многими идеями и многими желаниями, является, однако, условием, без которого невозможно было бы пользоваться преимуществами, связанными с известной степенью свободы мысли и действия, если даже и не принимать в расчет той полной уверенности, какая свойственна строю правоверной мысли, и того спокойствия, какое вызывается строго моральным образом действия. Следовательно, услуга, оказываемая индивидом государству при помощи своей веры и повиновения, является до известной степени взаимной, и эта взаимность растет или кажется растущей по мере того, как догмат и закон все больше становятся выражением народных идей и желаний вследствие постепенного распространения свободы мысли и политической власти в избирательных массах. Национальная система или план начинает тогда походить на один из великих философских синтезов, подобных, например, системам

Спенсера, Канта, Гегеля, к которым обращаются целые легионы ученых, стремящихся к совместной работе, каждый по своей маленькой специальности, заимствующих у этих систем объяснение известных фактов и приносящих им поддержку фактов новых, подчиняющихся их плодотворному общему направлению и заставляющих их подчиняться некоторым полезным видоизменениям в частностях. Во всяком случае, эта взаимность услуг, как можно видеть из нашего сравнения, всегда бывает более кажущаяся, нежели действительная. Философская система, стремясь привлечь к себе ученых, может скромно называть себя простым изложением открытых ими фактов, но хорошо известно, что прежде всего она представляет собою гипотезу, истинность которой не может быть строго доказана, и что раз принятая, она, давая только иллюзию свободного исследования, в действительности превращает науку в свою рабу, становясь *ancilla philosophiae*. Так, например, когда какая-нибудь политическая программа прочно овладевает властью, она подчиняет себе народ и ведет его прямо, логически последовательно, противореча самым важным его интересам. Вот почему, что бы там ни говорили, ни в наше время и ни в какой другой исторический момент нельзя с точностью признать за политической связью между гражданами, объединенными в монархию или республику, характер хотя бы даже молчаливого взаимно обязательного договора и свободного соглашения. Три четверти времени индивидуум появляется как существо физическое только для того, чтобы облачиться в анатомическую ливрею и получить физиологический пароль своего пола, а как существо социальное — только для того, чтобы засвидетельствовать непогрешимость своей церкви и отдать дань уважения величию своего государства. Там и сям появляются несколько мятежников, несколько людей самостоятельных, но они остаются чуждыми и иногда враждебными окружающей среде в такой же мере, в какой они иногда приносят ей пользу своими нововведениями. Не знаю, почему обыкновенно делали вид, что не принимают всерьез проклятий Руссо, направленных им против общества: когда хорошо узнаешь, чего оно стоит, можно действительно усомниться, следует ли его благословлять.

В среде каждой нации существуют судебные процессы и договоры, соперничества и соглашения между отдельными лицами; смысл этих

явлений выяснится для нас из сравнения их с парами силлогизмов, о которых мы говорили выше. Мы говорили, что часто в уме человека одновременно уживаются два различных силлогизма и эта двойственность, способная рельефно выставить противоречие или согласие между их посылками или заключениями, и представляет собою обычный способ мышления и хотения. Мы говорили также, что эти различные силлогизмы могут находиться и в двух различных умах. Такой именно случай и реализуется в области социальной логики, когда два промышленника или два кандидата соперничают между собою, причем каждый желает помешать успеху другого, когда два журналиста спорят, побивая друг друга противоположными аргументами, или когда два истца побивают друг друга в суде при помощи всяких постановлений и статей закона или, наоборот, когда два лица, заключающие между собой договор, — как продавец и покупатель, например, совокупно совершают одно и то же дело, причем каждый обещает исполнить желание другого, или когда два собрата по религии, узнав, что различными путями они пришли к одинаковому мнению, доставляют один другому новые подтверждения для их общего убеждения.

Как же кончаются эти столкновения между тезисами или намерениями? Поражением одного из противников; это фатально неизбежно; всякий процесс кончается решением или постановлением суда; всякая конкуренция приводит к монополии; всякая религиозная или философская борьба prepares правое верие. Но как же разрешаются самые согласия тезисов или намерений? Недовольством одного из договаривающихся, начинающего находить договор невыгодным для себя и бросающего дело, поссорившись с другим, или отщепенством одного из единоверцев, отделяющегося от остальных и создающего свою собственную религию; или же, наоборот, начинает чувствоваться потребность сильнее закрепить соединительную связь и преобразовать простой договор, взаимную помощь двух различных интересов в ассоциацию, в полное совпадение конечной цели, к которой стремятся различные интересы и которая вскоре приобретает характер верховного закона; или, наконец, это кончается появлением не менее сильной потребности сделать более тесным согласие умов, заменяя одинаковым



для всех, всеобобщающим освещением сверху, помощью единой великой философской системы те отдельные источники света, какие ученые находили один у другого. Результатом всего этого является и должно явиться не только уничтожение конкуренции и размножение монополий, но также уменьшение числа собственно договоров и единоличных предприятий, развитие ассоциаций в среде каждой прогрессирующей нации. Но, к счастью, в то же время и по той же причине, которая вызывает размножение ассоциаций, происходит, как мы видели выше, возрастание разногласия, и на смену старым являются новые случаи соперничества, составляющего необходимый стимул социальной жизни.

Это еще не все. Между великими национальными сложными силлогизмами могут происходить такие же столкновения и союзы, но совсем в других размерах; это происходит, когда непосредственно сталкиваются или совпадают их большие посылки, или, чаще всего, когда в борьбе или в согласии оказываются их заключения на короткое время, но единодушно выводимые из своих больших посылок и являющиеся обязанностями или патриотическими убеждениями, соответствующими данным обстоятельствам. «Мы хотим попасть в рай; мы туда попадем наверное, если падем в борьбе за Гроб Христов; следовательно, мы должны напасть на мусульман, владеющих Иерусалимом». — «Мы хотим попасть в рай Магомета; избиение христиан приведет нас туда; следовательно, мы должны защищать Иерусалим против крестоносцев». Крестовые походы представляют собою гигантскую искру, произведенную столкновением этих двух противоположных обязанностей, причем большие посылки этих силлогизмов ни в чем не противоречат одна другой. Что касается чисто логических силлогизмов, национальные заключения которых вступают друг с другом в борьбу с оружием в руках, то они всегда принимают религиозную или юридическую форму. Сколько раз обгалялись кровью улицы Александрии или Константинополя или поля битв в Европе только вследствие столкновения мнений среди христиан, выводивших в данный момент из одних и тех же принципов противоречивые заключения относительно слияния человеческой и божественной природы в Слове или относительно причащения под видом хлеба и вина сразу или только

одного хлеба! Сколько раз случалось в средние века, что война между двумя замками или между двумя государствами имела предлогом или поводом противоречивые права на наследование поместья или на обладание трон — права, которые каждый претендент выводил из принципа, часто признаваемого обоими! Притязания Вильгельма Завоевателя на трон Англии и сопротивление Гарольда, притязания Людовика XIV на испанский трон и сопротивление Европы представляют собою блестящие примеры этих юридических препирательств между государствами. Несомненно, что, вообще говоря, эти противоречия в теоретических тезисах скрывают столкновения интересов и честолюбий и что одних этих противоречий редко бывает достаточно, чтобы создать *casus belli*; но они сильно способствуют тому, чтобы доводить до ужасных размеров те народные столкновения, в которых они принимают участие. Они редко примешиваются к современным европейским войнам, потому что теперь, когда происходит сражение между нашими нациями-сестрами, становится все яснее и яснее и все меньше и меньше скрывается, что дело идет только о столкновении интересов без всякого несогласия в принципах, а отсюда происходит заметное смягчение воинственных наклонностей с XVI века. Если братоубийственная борьба в Соединенных Штатах имела характер какой-то исключительной дикости, то причиной этому явилось осложнение антагонизма интересов Севера и Юга диаметральной противоположностью убеждений относительно права на обращение негров в рабство.

Иногда происходят и столкновения между большими посылками национальных силлогизмов, хотя несколько реже столкновений между национальными заключениями. Кроме того, часто случается, что патриотическая обязанность или религиозное убеждение, порожденное каким-нибудь обстоятельством в форме заключения силлогизма, постепенно укореняется, прочно овладевает сердцем целого народа и занимает в нем место уже среди его хотений или основных верований, среди его больших посылок: такое значение долго имела для мусульман обязанность завоевать Константинополь, а для византийцев — обязанность отражать турок; ту же роль играла для многих итальянских

городов исключительная вера в чудотворную силу того или другого местного святого, что уже само по себе предполагало отрицание такой же силы, приписываемой соседним городом своему патрону. Борьба между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции или между Римом и Карфагеном, между Венецией и Турцией за господство на Средиземном море в конце концов превращалась в борьбу уже не только обязанностей, но и наследственных, вошедших в плоть и в кровь безусловных хотений. Борьба между протестантами и католиками за или против святости девы Марии в конце концов приняла размеры столкновения между основными догматами.

Теперь не покажется чрезмерным значение, придаваемое мною различению степеней верования или желания. В самом деле, когда одна нация говорит да, а другая — нет, когда одна говорит «я хочу», а другая говорит «я не хочу», тогда основной вопрос состоит в том, какая масса и какая сила национального убеждения, национальной страсти вложены в эти сталкивающиеся предложения и решения. Когда одна из этих наций добровольно, дипломатическим путем, без всякой борьбы отказывается от своих притязаний, то это значит, что она ими несколько не дорожит. Когда одной из двух религиозных партий удастся, даже не приступая к борьбе, путем собеседования достигнуть того, что другая добровольно отказывается от всего, что является противоречащим первой, то это значит, что вторая мало предана своим верованиям<sup>28</sup>. Следовательно, если вера и желание превосходят известную степень, то война становится неизбежной. Мы видим теперь, важно ли суметь определить эту степень и заслуживают ли рассмотрения все те смутные и приблизительные ее оценки, какие можно произвести, особенно при помощи искусного и разумного пользования статистикой. Но это не единственное ее употребление. К соображениям такого же порядка относится, например, вопрос о том, может ли быть уничтожена и когда именно смертная казнь. Не является ли она необходимой мерой в том случае, когда преступник оказывается неспособным добровольно отрешиться от своих преступных наклонностей, как это часто дает повод думать статистика рецидивизма?

Но если заключения или большие посылки национальных силлогизмов слишком часто противопоставляются друг другу, то можно

видеть, что они соглашаются между собою; если бывают войны, то бывают и союзы народа с народом, поводом к которым служит или общее двум народам традиционное и основное хотение (ниспровергнуть ислам, бороться с персидским царем и т. д.), или общий им господствующий принцип (Магомет — пророк Аллаха, Иисус Христос — сын Божий и т. д.), или же они вступают в союз потому, что, внутренне являясь носителями смутных и по существу противоречивых стремлений, они случайно оказываются в данный момент имеющими тождественные интересы, выведенные независимо один от другого из их противоположных хотений (составить коалицию против Людовика XIV или против Наполеона), или же потому, что, несмотря на разногласие их юридических и религиозных принципов, они, основываясь на различных мотивах, приходят к признанию одного и того же права, приобретают одни и те же надежды. Иногда одной общей двум народам надежды на то, что скоро произойдет то или другое событие, бывает достаточно для их союза, подобно тому, как видим, что два биржевых игрока на повышение или понижение вступают в компанию в силу общности их предвидений.

В конце концов по своим результатам все эти войны и союзы несколько не отличаются от судебных процессов и договоров между отдельными лицами. Каков бывает исход войны? Победа — подобно тому как монополия является исходом торговой конкуренции и судебное решение служит развязкой процесса. Правда, часто бывают сомнительные примирения и мировые сделки после тяжбы, очень напоминающие собою те эклектические комбинации, посредством которых нерешительный, колеблющийся между двумя противоречивыми мнениями ум воображает примирить последние. Но равновесие, полученное путем такого притворного или неполного подчинения одного из соперников другому, никогда не бывает устойчивым и очень скоро делает необходимым принятие более энергичных решений. Вообще из двух больших масс верования и желания, встречающихся лицом к лицу на поле сражения, та, которая сильнее или лучше организована, побеждает, разбивает и разрушает другую и монополизировать в свою пользу право хотеть или право утверждать. Войну, представляющую собой грозную

очную ставку между утверждением и отрицанием, между *да* и *нет*, воплощенными в двух армиях, можно сравнивать в области индивидуальной логики только с приступом безумия, где в одном и том же уме, на поле сражения между восприятием и противоречащей ему галлюцинацией, между двумя страстями царит самовластно нелепость, раздражается недоумением и тоской и фатально разрешается успокоением или смертью, возвратом к здоровью или уничтожением. Разве сражение не представляет собою социальную нелепость во всем ее великолепии? Когда такие кризисы следуют один за другим через короткие промежутки времени, как это было, например, во Франции во время Столетней войны или в Германии во время Тридцатилетней войны, тогда можно сказать, что наступает настоящее социальное хроническое безумие. Если народ не умирает от этого, как умерла Германия после Тридцатилетней войны, то он выходит из этой борьбы истощенным, но объединенным, какой вышла Франция из своей вековой борьбы с Англией. Всякая война представляет собой движение вперед по направлению к завоеванию и установлению всеобщего единодушия<sup>29</sup>.

Каков теперь исход союзов? Или полное нарушение трактатов, откуда проистекают новые войны, в свою очередь оканчивающиеся подобно предшествующим, или скрепление федеративных связей в мечтах и наконец установление полного единства. Французы не нуждаются в том, чтобы приводить им пример этого. Но разве единство не представляет собою слияние небольших, прежде федеративных, государств в одно большое Государство, причем их силы и стремления сосредоточиваются теперь в одной точке, путем посылки депутатов и солдат в столицу Империи\*, и направлены к приобретению славы и безопасности для всей этой Империи, тогда как раньше они ограничивались только случайной взаимной помощью или обменом товаров. В действительности, Империя — это один из членов федерации, превратившийся в начальника и превративший равных ему прежде сотоварищей в своих вассалов. Следовательно, федеративная связь снова

---

\* Это место, составленное во времена Наполеона III, оставлено автором без изменения. — *Примеч. перев.*

в конце концов превращается в то, чем она всегда почти бывает вначале, — в добровольно принятые или силой наложенные узы интернациональной вассальности. Такова она, как с логической, так и с телеологической точки зрения. Это объединение национальных умов в одной и той же доктрине общественного права или в одной и той же системе научных познаний, которое можно теперь наблюдать как в государствах Европы, так и Нового Света, что бы об этом ни говорили, не является результатом их взаимного обучения. Здесь мы далеки от взаимности. В самом деле, в Европе всегда имелась одна какая-нибудь страна — Франция, затем Италия, Испания, потом снова Франция, затем Англия или Германия, далее, можно сказать, группа, составленная из Англии, Германии и Франции, — а в каждой из этих стран всегда существовал один или несколько городов — Париж, Флоренция, Рим, Мадрид, Берлин, — которые являлись общими учителями всех других народов или городов. Этот город или эта страна были источниками, к которым направлялся весь мир, чтобы заимствовать у них общие принципы, оставляя себе самому только выводить их практические применения. Разве Америка до сих пор делала и теперь еще делает что-либо иное, кроме извлечения следствий из наших теоретических открытий в виде практических изобретений? В самое последнее время к европейской школе обратилась Япония, очарованная ею и подчинившаяся ее влиянию; всякое умственное объединение начинается подобными обращениями. Подобным же образом Древний Египет очаровал и совратил с прежнего пути Грецию или азиатскую Месопотамию, а Греция просветила и увлекла за собою Римскую империю. Могут возразить, что все это не союзы, потому что здесь был не обмен, а только принесение в дар. Но предлагаемое просвещение было принято, и это предложение вместе с сопровождающим его принятием, составляет подразумеваемый договор, самый прочный и выгодный из всех договоров. Слишком часто случалось, что одна нация отказывалась впустить к себе лучи света, распространяемые другим народом, или что народ завистливо охранял эти лучи и, как Египет, в течение долгого времени один пользовался их блеском.

Следовательно, в конечном результате войны и союза, столкновения и соглашения — все направляет отдельные общества к соединению в

больших размерах, к общей централизации, т. е. к построению тех величественных систем, размеры которых все растут и в которых социальная логика дивится сама себе, проявляясь в целых пирамидах силлогизмов выше и массивнее всех пирамид фараонов.

Мне кажется, что все вышеизложенное дает достаточно оснований для того, чтобы различать две логики и две телеологии. Но я сказал еще далеко не все. Будем продолжать и докажем прежде всего, что обе логики, как и обе телеологии взаимно друг друга дополняют. Предположу, как это делается обыкновенно, что существует только индивидуальная логика или она одна заслуживает исследования. Тогда задачи останутся отчасти неопределенными. В самом деле, даже если несколько осветить индивидуальную логику внесением в нее нашей точки зрения, то и тогда она только укажет гипотетически изолированному абстрактному индивидууму, каково должно быть направление и относительная интенсивность различных его утверждений и отрицаний при их взаимном сопоставлении, но мало заботится об определении их абсолютной интенсивности. Это просто дело темперамента. Индивидуальная логика говорит вам: «Если вы верите с определенной силой, равной, например, 10, что все животные виды происходят одни от других путем медленного развития и преобразования и если верите с двойной интенсивностью, равной 20, тому, что человек есть животное, то вы должны отрицать сотворение человека *ex abrupto* с силой убеждения, равной только 10! Но указывает ли она вам, на какой именно ступени, равной ли 10, 15, 20, 30 или какой-нибудь другой, должна остановиться ваша общая эволюционистская вера? Нет. Правда, она указывает вам эту степень, основываясь на других силлогизмах, основанных в конце концов на наблюдениях и опытах, которые могут быть вами проверены, на свидетельствах ваших чувств. Но вера в свидетельство чувств весьма неодинакова у различных индивидов и еще больше изменяется вера в принципы, управляющие применением органов чувств, в основные постулаты и понятия всякой науки. Следовательно, полное определение вашего верования остается неоконченным, пока действует только одна индивидуальная логика. Но очень счастливая с этой точки зрения необходимость постоянно находиться в социально

логическом согласии со своими соотечественниками и современниками или, если дело идет об ученом, то со своими собратьями по науке, являющимися для него его истинным обществом, требует от индивида некоторого определенного тона веры или доверия к себе или к другим и никогда не позволяет ему слишком далеко отклоняться от этого тона, не рискуя быть изгнанным из этой среды и подвергнутым суровому осуждению. После многих столкновений и споров ежедневное общение умов между собою приводит в результате к установлению некоторого приблизительного равновесия убеждений, напоминающего равновесие воды в морях, не исключающее ни волн, ни приливов и отливов. Быть в слишком большой степени независимым от влияния этой общей нивелировки — значит проявлять признаки действительного безумия. Социальный человек в совершенно здоровом состоянии ума должен в своих убеждениях подчиняться влиянию убеждений своих сограждан или сотоварищей. Существует, например, средняя или, скорее, нормальная степень доверия к себе, представляющая собою нормальное состояние морального здоровья и гармонии с окружающей социальной средой. При переходе за эту степень получается маньяк, а если не доходят до нее, то — меланхолик. Мания и меланхолия, как известно, представляют собою две общепризнанные категории, два противоположных полюса умопомешательства, один из которых — состояние чрезвычайного возбуждения, другой — угнетения.

Впрочем, при каждом изменении социального строя, при каждом крупном открытии, заставляющем общество принять новый тип устройства, повышается или понижается и нормальный размер законного доверия к себе. В некоторые эпохи только сумасшедший мог бы обладать такой гордостью, какой обладает большая часть самых благоразумных англичан или американцев в настоящее время. Приподнять чуть-чуть совместимый с социальным строем уровень гордости — это уже первостепенный прогресс. Потребность в свободе, из-за которой столько шумят, в сущности, есть не что иное, как стремление к этому повышению веры в самого себя, хотя бы даже в очень слабой степени. Заметим также, что при одном и том же социальном строе различные классы являются носителями весьма неравных степеней доверия к себе.



Самоуверенный вид, какой приличествовал знатному человеку при старом порядке и который даже и в наше время не слишком безобразит физиономию министра или богатого банкира, казался бы симптомом безумия в крестьянине прежних времен. Современный французский крестьянин, несмотря на всеобщее избирательное право, которое вызвало у него сознание его влияния, все еще отличается замечательной робостью и недоверчивостью в своих манерах.

Предположим, подобным же образом, что индивидуальная телеология — гигиена, например, — говорит нам: «Если вы хотите быстро бегать и хорошо боксировать, то вы должны строго придерживаться такого-то режима». Но в какой мере я должен хотеть обладать этой быстротой и силой этого рода? Ответить на этот вопрос — дело влияний и целей социальной среды. Это хотение в Афинах во время расцвета Олимпийских игр должно было быть совсем другой силы, нежели в наше время в Париже.

Таким образом, в этих двух отношениях индивидуальная точка зрения пополняется социальной. Кроме того, один и тот же факт может быть явственной непоследовательностью с первой точки зрения и строго правильной дедукцией со второй; отсюда следует, что каждая из них является в некотором роде эквивалентом другой.

По-видимому, ничто так не противоречит логике, как риторика. Не является ли последняя, по существу, искусством производить нелогические и нетелеологические повороты верования и желания? Да, в индивидуальном значении слова «логика». Но в социальном смысле она является орудием логики по преимуществу, самым удачным приемом подражательного распространения идей и установления поднимающегося уровня равновесия верований. Впрочем, те, кого убеждает риторика, под видом ли книги, журнала или устной речи, нуждаются в том, чтобы их убеждали, и почти всегда неспособны убеждаться самолично, неспособны сами управлять собою. Следующие слова Модслея по этому поводу очень хорошо могут нам показать недостаточность индивидуальной логики, принужденной довольствоваться исключительно своими ресурсами. «Существуют люди, — говорит он, — которые имеют обыкновение так тщательно взвешивать свои доводы (т. е., с нашей

точки зрения, так точно сообразоваться с правилами индивидуальной логики), что им очень трудно бывает прийти к решению, и им оказывают великую услугу, если примут это решение на свою ответственность или если просто повторяют его с видом полного доверия, который даст перевес в них доводам этого решения и заставит их склониться на одну какую-нибудь сторону. Эти люди чувствуют себя облегченными даже и тогда, если они, в сущности, не чувствуют никакого уважения к суждению того, кто подает им этот совет, и могли бы снова оказаться с ним в противоречии, если бы стали обсуждать доводы противоположные». Этот факт воздействия одного индивидуума на другого оказывается, как видим, нарушением всех законов индивидуальной, изолированной от окружающего, логики; но поскольку эти два индивида, о которых идет речь, образуют собою отдельную социальную группу, постольку беспричинное влияние одного из них на другого социально является эквивалентом того, что индивидуально кажется правильным силлогизмом, — непосредственным и нивелирующим перенесением верования. Если же оба рассматриваемые нами индивидуума принадлежат к более обширному обществу, то может случиться, что властное воздействие господствующего лица на другое окажется направленным в сторону, противоположную еще более могущественному давлению общественного мнения, которое, конечно, не замедлит одержать верх и покрыть собою это проявление социальной непоследовательности, как случайное, преходящее явление.

Личное влияние одного человека на другого, как мы знаем, представляет собою элементарное социальное явление и ничем, кроме своих размеров, не отличается от влияния гипнотизера на гипнотизируемого. По своей пассивности, доверчивости и послушности, столько же неисправимых, как и бессознательных, толпа подражателей представляет собой, в некотором роде, сомнамбулу, тогда как изобретатель, всякого рода инициатор, по своей невозмутимой, единственной вере в самого себя и в свою мысль — вере, на которую скептицизм окружающих не может подействовать, так как ее причины лежат вне общества, — является, согласно тому, что мы говорили выше, в некотором роде сумасшедшим. Безумцы, управляющие сомнам-

булами, — какая логика может получиться из такой комбинации, спросят нас? Однако и те и другие споспешествуют достижению логического идеала и, по-видимому, только разделяют труд между собою, так как баранья глупость одних служит для сохранения и приведения к одному уровню социальной веры, тогда как смелость других ведет к повышению этого уровня и увеличению ее количества.

В особенности в политике важно принимать в расчет то основное подразделение и уподобление, на котором покоится весь наш труд. Мне нет надобности распространяться о преимуществах широкой и либеральной политики, которая оставляет покоренным (как это делали римляне) ими колониям (как делают англичане) свободное пользование своими юридическими обычаями и своим культом, поддерживает их политические формы и остерегается высмеивать их манеры или их наивное удивление. Но недостаточно только ценить полезность этой искусной терпимости — необходимо смотреть на эту плодотворную бессвязность как на проявление логики прежде всего. Когда говорят, что стремление к логике во что бы то ни стало является фатальным для государственного человека, то имеют в виду логику индивидуальную, и в этом смысле это справедливо. Но несправедливо было бы сказать это в другом смысле. Критический и туристский ум, стремящийся прежде всего к тому, чтобы никогда не противоречить самому себе, является в индивидуальной логике тем, чем в логике социальной бывает дух деспотизма и преследования, который больше всего ненавидит разногласие с собою; систематическое же миролюбивое стремление не к тому, чтобы по возможности меньше противоречить самому себе, а к тому, чтобы привести к предыдущему соглашению между собой возможно большее число идей, соответствует политике примирения, больше стремящейся умиротворять, а не объединять.

Для понимания истории требуется различать также эти две точки зрения. Историк, например, часто приходится удивляться соединению нетерпимости с распущенностью в некоторые эпохи. Он замечает, например, что флорентийцы XIII века были настолько же снисходительны к величайшей беспорядочности личного поведения, насколько строги к малейшему подозрению в ереси. Он мог бы сопоставить этих

итальянцев с французами новейшего времени, которые иногда оказывались тем более склонными закрывать глаза на некоторые проявления личной безнравственности у некоторых представителей власти, как например у Дантона, чем требовательнее являлись они относительно политического правоверия. Но, с нашей точки зрения, в этом явлении нет ничего странного, ибо именно в силу этой самой потребности сообразования господствующий класс извиняет в своих представителях свои собственные пороки и требует согласия со своими идеями. Тот, кто оказывается разномыслящим с ним в силу ли неподкупности характера или оригинальности мысли, является для него вдвойне противником, которого строго правильная, но узкая логика приказывает изгнать. Для политики этой школы разномыслие представляет собою внешнее противоречие, столь же его шокирующее, сколько шокирует логика школы Стюарта Милля противоречие внутреннее. Тем не менее верно то, что у людей наиболее нетерпимых, наиболее скандализирующихся нелогичным зрелищем страны, в которой свободно сталкиваются противоречивые догматы и учреждения, как раз всегда бывает больше всего противоречащих одна другой идей. Наоборот, терпимость, как показывает пример только что названного мною знаменитого англичанина, в исключительно высокой степени встречается у логиков не только потому, что привычка к анализу истощает со временем силу их веры и горячность их стремления к пропаганде, но и потому, главным образом, что, привыкнув открывать неясности в самых, по-видимому, ясных своих идеях и противоречие между своими идеями, по-видимому, наиболее тесно связанными, они склонны относиться снисходительно к аналогичным, более очевидным, но не более реальным несогласиям, какие они замечают без удивления в обществе. Следовательно, поведение флорентийцев XIII века было логично по-своему.

Это не значит, чтобы я не считал противоречием соединение распущенности в личной жизни с провозглашением спиритуалистической и христианской морали. Но не будем забывать, что противоречия, которых не сознаешь, как бы не существуют и что прежде других стараются уничтожить те из них, которые сознаются наиболее ярко. Наиболее поражают не размышляющего и живущего внешним человека,

вероятно, не опровержения тех его идей, которые уживаются между собой, или тех его поступков, которые уживаются с его идеями. Их он едва замечает. Но что возмущает его столько же, сколько возмущает философа очевидный софизм или писателя грамматическая неправильность, так это то явственное опровержение, какое получают его идеи или его поступки со стороны поступков или идей другого лица. Так оно и должно быть, потому что глаза всегда заняты тем, что происходит вне, и никогда не обращаются на самого себя. Для него, стало быть, гражданское исправление в сущности обозначает логическое исправление. Но, прибавим, к счастью, когда он насильственно уничтожит мучительные для него внешние противоречия, тогда он начинает ощущать помеху и в своих собственных внутренних противоречиях и начинает делать попытки уничтожить и эти последние. Я говорю: к счастью, потому что эта запоздавшая потребность на деле представляет собой единственную действительную защиту всякого побежденного меньшинства против произвола господствующего большинства. Всякая секта или партия начинает с распространения, — если надо, то даже силою оружия, — своего евангелия или своей бессвязной программы и уже потом, по мере того, как она распространяется, является стремление исследовать ее критически, выделить запутанные места и привести ее в порядок. Великие теологи появлялись всегда только после великих апостолов. По той же причине объединение законодательства, администрации и армии предшествовало во Франции кодификации законов, созданию административной системы и военной организации; в современной Европе единообразие цивилизации уже почти вполне достигнуто, тогда как стремление к цивилизации более гармоничной едва начинает пробуждаться там и сям и проявляется только в трудах нескольких социалистов, заслуга которых, вперемежку со столькими опасными мечтаниями, состоит в том, что они первые обратили внимание на никем не замеченные противоречия. Все это сводится, в сущности, к тому, что, заставив других сообразоваться с собою, человек начинает стараться и сам быть последовательным и, стало быть, в противность тому, как это можно было бы думать, развитие социальной логики предшествует и влечет за собою развитие

логики индивидуальной. Если бы оба вида согласия, социальный и индивидуальный, могли одновременно достигнуть полного развития, то идеал был бы осуществлен. По крайней мере, мы к нему приближаемся и, таким образом, отделившись сначала одна от другой, обе логики, социальная и индивидуальная, стремятся затем к соединению, к согласованию между собою тех различных видов согласия, какие они устанавливают независимо одна от другой, пока, наконец, не настанет то далекое время, когда, как увидим дальше, первая будет представлять собою только внеиндивидуальное продолжение второй, а эта последняя — только сокращение первой.

Но вернемся к предыдущему. Если бывают состояния ума, когда преобладает потребность в идеях, не противоречащих одна другой, и когда этим удовлетворяются, то бывают и другие состояния, когда больше всего стремятся к тому, чтобы было много сходящихся и взаимно подтверждающихся идей, не слишком, впрочем, беспокоясь, если некоторые из них оказываются в противоречии между собою. Смотри по тому, какое из этих двух состояний ума бывает чаще у данного человека, его относят к критикам или к теоретикам, к любителям житейской прозы или к поэтам, к практическим дельцам или к изобретателям<sup>30</sup>. Подобным же образом существуют такие социальные состояния, когда больше стремятся избежать разногласия, а не увеличивать размеры общественного сотрудничества; и другие состояния, когда главным стремлением является сосредоточение возможно большего количества сил, хотя бы даже разногласящих между собою, на одном великом миролюбивом или воинственном предприятии, на расширении внешней торговли или на завоевании силой оружия. С этой точки зрения, народы различны между собою не менее отдельных индивидов. Сюда присоединяется еще и расовое различие. Негр, например, обладает богатым воображением, но он не последователен, он более комбинирует, нежели координирует свои мысли. Краснокожий обладает большей последовательностью в идеях, но у него их меньше. Полинезиец, стоящий выше их обоих, уже способен систематизировать и организовать идеи, придавать им догматическую форму. Из кавказских рас семит обладает умом более последовательным и практическим, но и более

узким, нежели ариец. Из арийцев немцы, как известно, имеют влечение к слишком смелым, если даже не рискованным обобщениям, получаемым ценою явственных несообразностей. Англичане уж слишком утрируют требование логичности и, если они устанавливают обобщение, то медленно и наверняка, не допуская даже и тени противоречия между фактами и их теорией, хотя легко переносят вопиющие противоречия в своих верованиях и законах. Как видно из последних примеров, народы, являющиеся в социальном отношении либеральными и синтетическими, могут в большинстве состоять из индивидов с умом аналитическим, негибким и исключительным и, обратно, по той же причине, нация, состоящая из отдельных систематических умов, владеющих широким синтезом, — нация немецких философов, например, — может в действительности отличаться узкой и нетерпимой политикой.

Существуют некоторые основания для того, чтобы даже с логической точки зрения отдать предпочтение обществам смешанным перед обществами вполне однородными. Прежде всего укажем на законодательство, подобное римскому праву, в котором свято хранящая железная маска древнего права квиритов составляет такой резкий контраст с прикрываемым ею, беспрестанно смягчающимся и гуманизирующимся лицом преторианского права; далее возьмем группу разнородных учреждений и нововведений, подобную английской конституции или английской цивилизации, где самые несходные между собою обычаи, законы, потребности и нравы собирались в одну грудку путем вековых наслоений, причем новые слои никогда целиком не покрывали собою старых, и спросим, менее ли подобные системы пригодны для получения наибольшей суммы веры, национального спокойствия и безопасности, нежели наши французские кодексы, конституции, цивилизации, столько раз почти целиком сменявшие друг друга и всегда составлявшие одно целое? Нет, не менее, ибо традиция является великим источником верования, и, стало быть, всегда важно не бросать резко и по произволу тот или другой укоренившийся обычай только потому, что он противоречит новой моде. Народ со слабыми традициями — всегда народ, слабо и не твердо верующий, народ, у

которого имеются мнения, играющие роль разрушителей, но нет твердых убеждений, подготовляющих непоколебимый фундамент для грядущего сооружения. Итак, для всякой страны, в ожидании будущего осуществления идеала, выгоднее пользоваться законодательством прочным, хотя бы и разнохарактерным, нежели обладать законодательством хотя и более рациональным, но беспрестанно переделываемым. Для всякой постройки неровная, но твердая почва пригоднее гладкого, но постоянно колеблющегося грунта, даже если эти колебания делают его постепенно все более и более гладким.

Кроме того, алгебраическая сумма национальной веры уменьшается не только в зависимости от количества и энергии людей, противоречащих общепринятой религиозной или политической доктрине; она зависит еще и от количества и важности тех более или менее скрытых противоречий, которые носит в себе сама эта доктрина, ибо даже скрытое, ясно не замечаемое, но действительно существующее противоречие между двумя догматами или между догматом и обычным свидетельством органов чувств не замедлит дать себя почувствовать ослаблением веры. Итак, если, с одной стороны, необходимо по возможности стремиться к национальному единодушию, то, с другой стороны, необходимо позаботиться и о том, чтобы национальное *credo* становилось все более связным и последовательным, т. е. истинным. Но это стремление к истине предполагает свободу исследования и критики, которая уничтожается всякого рода преследованиями. Таким образом, хотя стремление к истине и стремление к единомыслию равно направляются к одной и той же цели, к максимуму национальной веры, но способы и средства, употребляемые для достижения этих двух стремлений, сходящихся между собою по своей конечной цели, могут оказаться несовместимыми; так именно и бывает, когда единомыслие достигается при помощи насилия, инквизиции или преследований по подозрению в ереси. Но это указывает на то, что к нему должно стремиться другим путем, так же свободно, как и к истине.

Как видим, логика в двух своих смыслах существует в силу непоследовательностей, точно так же, как и телеология, и для объяснения этого разноречия нет надобности прибегать к гегелевским



фокусам. Нет ничего проще, если припомнить, что логика и телеология ограничиваются указанием, как должно распределять уже произведенные количества веры и желания между отдельными идеями для того, чтобы достигнуть требуемых максимума и равновесия. Если будем различать, как это делали раньше, это воспроизведение и распределение в отдельном индивиде или в обществе, то увидим, что полное разрешение задачи, преследуемой логикой и телеологией, должно было бы привести обе эти регулирующие силы к самоуничтожению, т. е. увидим, что исключение всякого противоречия между распределяемыми верованиями или желаниями повело бы к истощению самого их источника, так что в тот момент, когда распределение сделается совершенным, иссякнет производство. Это именно и было бы, кстати сказать, осуществлением некоторых социалистических программ, которые можно определить следующим образом: уничтожение социальных богатств с целью их лучшего распределения. В действительности раз пробужденная жизнь для того, чтобы остаться бодрствующей, требует беспрестанного возобновления восприятий, среди которых, конечно, не могут не оказаться налицо разнородные, и беспрестанного возобновления идей, между которыми, конечно, не могут не найтись противоречивые. Иначе, если между ними нет ни одной противоречивой, ни одной, которая вызвала бы удивление, ум засыпает; следовательно, даже наиболее склонный к систематическому координированию ум принужден всегда искать того, что его изумляло бы, или, что то же самое, противоречий, хотя бы только кажущихся. То же самое скажу я и об обществе. Даже наиболее склонное к социальному порядку, для того чтобы остаться сильным, должно терпеливо переносить и даже искать разногласий и оппозиций, ибо для того, чтобы остаться вдохновенным и верующим, оно нуждается в беспрестанном притоке новых открытий и начинаний, которые возбуждали бы его своей странностью. Подобным же образом, даже в более низкой сфере действительности, органическая жизнь, представляющая собою равновесие, нарушаемое стремлением к нему, постоянно нуждается в нарушающих равновесие возбуждениях для того, чтобы оказаться в силах снова восстанавливать его. Однако не должна ли быть в конце концов достигнута преследуемая цель и не неизбежно

ли, чтобы раньше или позже разум индивида израсходовался и снизошел бы до бессознательности, а его хотение до индифферентизма; чтобы раньше или позже самая блестящая, самая плодотворная цивилизация перешла в невежество и оцепенение, как неизбежно всякая жизнь оканчивается смертью? Это возможно, хотя мне кажется менее всего достоверным. Заметим тут только, что если бы мы ответили утвердительно, то нашли бы очень определенное социологическое объяснение проблемы, которая неразрешима в биологии. В самом деле, мы решительно не знаем, почему все живущее должно умирать, но ни психологическая, ни социальная смерть не должны представлять для нас тайны, если справедливо сделанное нами предположение, и, может быть, только путем сопоставления с ними возможно выявить проблему смерти физиологической. Противоречие представляет собою состояние неустойчивого равновесия, и невозможно допустить, чтобы противоречивые элементы, из которых частью составлено всякое состояние ума, всякое социальное состояние, вечно сохраняли свое положение наряду с гармоническими элементами, не подвигаясь вперед и не отступая, подобно двум враждебным войскам, которые, постоянно пополняясь рекрутами, борются между собою, никогда друг друга не побеждая и никогда не примиряясь между собою. Следовательно, возможно одно из двух: или более слабая из двух групп окажется в конце концов совершенно побежденной, несмотря на ее постоянное пополнение рекрутами, и исчезнет, или же, наоборот, постоянно усиливаясь, она кончит тем, что станет угрожать поражением другой и принудит ее к окончательному распадению; отсюда, если такие распадения повторяются, то происходит полное раздробление. В обоих случаях антагонизму приходит конец, но в первом этот конец является как для индивида, так и для общества естественною смертью мысли и хотения путем истощения, успокоения, самоуничтожения, а во втором смерть будет насильственной, носящею название безумия в индивидууме, раскола и разложения в обществе.

Но в то время, когда таким образом блистают и затем потухают умы и хотения, религии и цивилизации, в то время, как одни души следуют за другими, одни общества сменяют другие, причем те и другие

осуществляют, независимо друг от друга, внутреннее свойственное им согласие, в человеческой истории совершается великая работа, стремящаяся установить, если возможно, высшее согласие, которое представляло бы собою в будущем гармоническое единение этих двух отдельных гармоний. Различение и разделение двух логик и двух телеологий было фатально вызвано еще при зарождении общества несходством тех отдельных грубых стремлений и эгоизмов, ощущений и вожделений, которые надлежало подчинить одной общей мысли, надлежало заставить объединиться в одной общей деятельности; но это разделение стремится удержаться до конца, т. е. до своего собственного уничтожения, к которому оно тяготеет. Если мы примем во внимание это соображение, то поймем, почему, например, идея Бога и истины<sup>31</sup> долго представляла собою такую же могущественную потребность социальной логики, какую составляла идея материи и действительности для логики индивидуальной, и почему наступает момент, когда религия, представляющая развитие первой идеи, начинает рассеиваться перед наукой по мере того, как последняя соединяет обе эти идеи в одно целое — в идею истинной действительности, идею божественной сущности. Мы поймем также, почему приказание господина и противное собственному желанию повиновение подчиненного являлись вначале необходимыми условиями социальной целесообразности в такой же мере, в какой хотение и деяние являются условиями целесообразности индивидуальной, и почему абсолютизм должен был смягчаться, стать более либеральным, когда мораль порешила положить конец борьбе между обязанностью и хотением и заменить обязанность, вытекающую из повиновения, обязанностью, вытекающей из сознания, обязанностью желаемой, в которой цели, поставленные обществом, сливаются с целями самого индивида. Что бы ни случилось с этой надеждой, но мы видим, что благодаря ей обе логики и обе телеологии бесконечно приближаются друг к другу, хотя никогда, быть может, не придут в соприкосновение, подобно кривой линии и ее асимптоте.

Вопрос такой важности нельзя изложить в нескольких строках. Можно, однако, сказать, что согласие между обеими логиками и обеими

телеологиями, к установлению которого дело идет исторически, может быть выполнено двумя различными способами. Первый способ состоит в полном уничтожении индивидуальной логики и телеологии перед всемогуществом логики и телеологии социальной; это способ, свойственный древним теократиям Азии и Африки, где не только не существует разделения на священное и мирское, как указывает д-р Ле-Бон относительно Индии, но где даже не существует различия между религиозным догматом и простым сведением, так как там все священно, все является религиозным правилом, божество вмешивается там путем заповеди или догмата во все проявления жизни, во всякую попытку умственной деятельности; там нет телодвижения, которое не было бы религиозным обрядом, не являлось бы повиновением приказу, отданному свыше, нет восприятия, которое не было бы тесно связано с каким-нибудь религиозным воззрением, так что свободной воле и разуму индивида там не остается ни малейшего уголка личной деятельности или личной мысли. Этот уголок, без всякого сомнения, существовал вначале, но последовательный прогресс теократии заставил его постепенно уменьшаться до полного или почти полного исчезновения. Таким путем формируются терпеливые и миролюбивые народы, индусы, египтяне, даже китайцы, крайняя долговечность которых, симулирующая собою бессмертие, основывается на невозмутимой безропотности, поддерживаемой непоколебимой верой. Этот прием оказывался успешным несколько раз в истории мира, приводя к развитию безграничной доверчивости и мягкости.

Окажется ли столь же успешным и другой, чисто европейский, новейший способ? Таков великий вопрос настоящего времени. Здесь путь прямо противоположен предыдущему; происходит беспрестанное расширение области индивидуального, о которой я только что говорил, настолько, что, принуждаемая отступать перед этими постоянными захватами, граница господства догмата и власти, в свою очередь, исчезнет без всякой опасности для социального строя. Это и будет, как полагают, чудесным результатом науки и морали, законченных, совершенных и вошедших во всеобщее сознание, избавляя нас от необходимости в религии и правительстве. Я говорю, что если бы этот чисто позити-

вистский образ мысли и хотения мог когда-либо установиться, устранив всякие коллективные гипотезы и общие идеалы, то это было бы торжеством индивидуальной логики и целесообразности, так как, хотя позитивная наука и позитивная мораль представляют плод социального накопления опытов, но приводимые ими здесь доказательства все представляют собою ощущения, испытываемые научнообразованным индивидом, а указываемые здесь побуждения все являются интересами индивида, воспитанного морально; все заключения здесь выведены или могут быть выведены, как утверждают, из личного опыта или восприятия, а все обязанности установлены путем расчета; наконец, единственные основные понятия, которыми здесь пользуются, представляют собою врожденные или индивидуально познаваемые категории: о силе, материи, времени и пространстве, удовольствии и страдании, причем совершенно не употребляют других, имеющих социальное происхождение понятий и категорий, без которых не могло обойтись до сих пор ни одно общество: — идей о господстве, о Боге, о Добре и Зле<sup>32</sup>. Положительно мало вероятно, чтобы произошло когда-либо полное уничтожение этих последних идей без опасных для общества потрясений<sup>33</sup>. Но несомненно, что они падают и ослабляются с каждым днем; и если, как я полагаю, не науке, а философии, не утилитарной, а идеалистической морали доведется, ради вящего умиротворения людей, когда-нибудь в будущем заменить собою катехизисы и своды законов, то теперь можно, по крайней мере, предвидеть, что основным характером этой философии явится отсутствие противоречия между нею и каким бы то ни было ощущением, какой бы то ни было уверенностью, т. е. чьим бы то ни было высокоиндивидуальным верованием, и что эта мораль не станет прямо противиться удовлетворению какого бы то ни было основного интереса. Следовательно, основной чертой высшего умиротворения, какого достигнут наши западные цивилизации, явится подчинение социального индивидуальному в противность тому, что наблюдалось на земле до них. Эта смелая попытка представляет собой истинную новизну новейшего времени, и действительно стоит жить, чтобы помогать ее осуществлению или присутствовать при этом.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Социальный ум

#### I

Клеточки, группирующиеся в мозгу, приносят к той мозговой ассоциации, часть которой они сами составляют, не одни только ощущения или элементы ощущений, не одни только вождения или элементарные импульсы, — они приносят также кровь, которой они омываются, химические вещества, из которых они составлены, приносят свою температуру и другие физические свойства. Но психология, даже самая физиологическая, по необходимости пренебрегает всеми этими приношениями физического или жизненного характера или принимает их во внимание лишь постольку, поскольку они обуславливают собою приношения первого рода. Она прежде всего рассматривает ум как группу мелких клеточных ощущений или вождений, являющихся эхом одни для других. Так же должна поступать и социология, простая социальная психология, если она хочет, чтобы у нее была своя собственная область и достаточные основания для ее существования. Члены и органы общества, его внешний облик и взаимоотношения людей не могут быть безразличными для нее; она много должна заниматься ими, но истинно социальным приношением со стороны этих людей являются в ее глазах их идеи и интересы, их убеждения и их страсти. Она должна заниматься исключительно этим и не принимать в расчет ничего остального, хотя бы только в силу необходимости методического анализа. Упрощенная подобным образом социальная наука появляется перед нами в совершенно новом свете, не со строгой правильностью абстрактной схемы, но с силой и крепостью точной, сильной и глубоко жизненной системы. Тогда увидим, что эта психология обществ представляет самые поразительные аналогии с психологией личностей. Именно это мы и постараемся доказать в настоящей главе, в которой займемся специально условиями логического равновесия, т. е. статической стороной нашего предмета.

О том, что вырабатывает в умственном отношении каждая клеточка отдельно в продолжительный период предварительного питания, никто ничего не знает; личность, объект психологии, начинает свое существование лишь с того момента, когда в ней одновременно начинает обнаруживаться двойное явление верования и желания, сплетающихся обыкновенно в одно ощущение, а это, без всякого сомнения, происходит только после того, как личность, придя в сообщение с окружающим, пройдет через долгий период борьбы и неурядиц, более или менее сокращенный, благодаря наследственной тенденции и органическому предрасположению к личной группировке.

Надеюсь, мне позволено будет видеть в первом сознательном веровании и желании только признанное наконец преимущество, не скажу одной клеточки над другими, но ее умственного содержания над содержанием всех остальных, в которые оно проникло, вероятно, не без очень сильного сопротивления. Следовательно, верование и желание, о которых идет речь, представляют собой только остаток и, вероятно, очень малый, получившийся после внутренних вычитаний. Но под влиянием тех же причин, которые его породили, этот остаток стремится к возрастанию, и я подразумеваю под логикой тот путь, следуя которому, происходит это возрастание, часто приближающееся в своем апогее, но никогда окончательно не приходящее к тому идеальному пределу, который представляет собой гармонию без всяких диссонансов, сложение без всякого вычитания элементарных величин неизвестной природы, вырабатываемых всеми мозговыми клеточками.

Итак, скажем, что когда верование и желание появляются в сознании, то они уже представляют собой результат логической координации элементов ощущений и что эта координация прогрессивно возрастает до образования из нее двух великих умственных функций: суждения и хотения. Прибавим также, что хотя суждение и хотение часто бывают противоположны одно другому, но тем не менее первое бывает иерархически выше и стремится подчинить себе второе.

Все вышеизложенное относится и к миру социальному. Дикари или, если угодно, человекообразные обезьяны могут собираться на одной территории, драться и убивать там друг друга, даже соединяться там

попарно, но в этом нет ничего социологического. Мы должны сначала пройти через длинный ряд поколений немых и без связи между собой, где отдельные семьи встречались, не понимая друг друга, только для того, чтобы вступить в борьбу, где в среде каждой семьи, чисто животной, был известен только страх перед сильнейшим, без всякого словесного способа сообщения; не знали ни повиновения приказаниям отца, ни веры в получаемые от него сведения.

После этого дообщественного фазиса, длившегося неопределенно долго, наступает время, когда начинают сообщаться от родителей детям и обратно при помощи некоторых жестов, а затем и некоторых резких звуков ощущения и побуждения, суждения и хотения, до того времени изолированно зарождавшиеся и умиравшие в каждом отдельном мозгу; эти суждения и хотения начинают с этого времени сознать себя согласными или противоречащими, — быть может, чаще всего противоречащими — и работа борьбы и дисциплинирования в недрах семьи, не поддающаяся, впрочем, нашим исследованиям, приводит к первой логической координации идей и индивидуальных стремлений в первобытной семье — к семейной религии и семейному правительству<sup>34</sup>. Тогда-то и начинается свое существование общество — единственный предмет, изучаемый социологией (это совершенно ясно, но отсюда не следует, что об этом можно забывать).

Легко можно себе представить, каким хрупким и скромным должен был быть этот первый абрис религиозной веры и политической организации; следует остерегаться, чтобы не счесть его изображением того, что нам известно о древнем римском, греческом или индусском роде. Самые древние памятники показывают нам, действительно, древнюю семью уже созревшей и законченной, представляющей собою нечто вроде маленького государства и церкви, для которой должны были потребоваться миллионы лет, чтобы достигнуть свойственного ей совершенства и распространиться вэтом виде по всему земному шару путем примера и наследственности. Можно думать, что в то крайне древнее время, к которому не восходит даже период, называемый доисторическим, та часть их восприятий, их личных галлюцинаций, которая оказывалась взаимно подтверждающейся у различных членов



семьи, та часть проявлений их деятельности, которая служила для взаимного сотрудничества, были очень небольшими. Но те же самые причины, которые вызвали их существование, обуславливали собой и их стремление к возрастанию, и я называю социальной логикой направление социальных фактов, служащих к удовлетворению этого стремления. Конечным идеалом было бы здесь полное единодушие и взаимное сотрудничество между членами общества при отсутствии всяких разногласий; однако следует считать уже очень большим прогрессом, когда после того, как семьи разрослись в племена и затем соединились в общины, семейный фетишизм и семейный деспотизм постепенно превратились в две великие национальные функции: в религию и правительство, достойные такого названия. Прибавим еще, что если эти две функции часто вступают в борьбу между собой, то все же между ними постоянно стремится установиться гармония путем признания превосходства первой из них. Порядок существует только тогда, когда всякая власть представляет религиозный характер, а потому когда истинная религия превращается в то, что мы называем наукой, то всякая власть стремится придать себе научный характер.

Каким же образом сложились эти две великие способности социальной души, эти два внешних проявления социального я? Тем же путем, каким сформировались две соответствующие способности индивидуальной души, два проявления индивидуального я. Семейные сначала, а потом национальные, группы индивидуальных энергий, рассматриваемых с их интеллектуальной или волевой стороны, т. е. та группа сходным образом направляемых легковерий, которая получает название религии, и группа сходным образом направляемых послушаний, которая получает название правительства, предполагают, по крайней мере, две общие конечные точки, два общих фокуса, в которых сходятся отдельные лучи, но эти два фокуса составляют одну тесно соединенную пару и оба вместе связаны с одним и тем же Существом — условием, без которого социальное единство разрывается. Пусть это Существо воображаемое, но оно необходимо, оно является источником всех имеющихся сведений, всех полученных приказаний, является воплощением истины и добра, и это созданное и неизбежно утверждаемое

коллективной мыслью и волей нечто и есть божество данной семьи, племени или общины, огромное значение которого в далеком прошлом всех народов известно всем. Расколовшись на части или умножившись в числе вследствие присоединения чужеземных богов, оно может дать начало беспорядочному и недолговременному политеизму, но не без очевидной преобладающей тенденции к восстановлению первичного монотеизма. Идея о Боге, если не ошибаюсь, играет в первоначальном формировании общества как раз ту же роль, какую играла идея о материи в первоначальном формировании моего я. Этот объект, подтверждение существования которого имеется во всяком ощущении нашего я, это внешнее Реальное Нечто, которое наивный реализм всех людей, за исключением, быть может, нескольких философов, считает одновременно субстанцией и силой, телом и душой, на самом деле представляет собой, конечно, только результат той самой работы объективирования, причиной которой оно, по-видимому, является и которая представляет собой совокупную деятельность сил, заключенных в отдельных мозговых клеточках и рассматриваемых с их двух сторон: как указатели и как импульсы.

Но для того, чтобы ощущения и побуждения в уме человека могли, добровольно или принудительно, быть направлены в одну точку, для того, чтобы суждения и хотения в нации могли быть религиозным или правительственным путем соединены в одном фокусе, прежде всего необходимо привести в сообщение между собою эти ощущения и побуждения, эти идеи и хотения; заставить их вступить в обмен между собою и, следовательно, сообщить им и установить у них одну общую единицу меры их ценности. Этим средством обмена в индивидуальной психологии являются две замечательные сущности: пространство и время, которые я предпочел бы обозначить одним словом: Пространство-Время — настолько тесно связаны они между собой; в социальной психологии таким средством служит другая сущность, не менее странная и не менее плодovitая безумными увлечениями или реалистическими иллюзиями, — язык, который, как увидим, обладает двумя совершенно различными сторонами. Следует заметить, впрочем, теперь же, что эти сущности — Пространство-Время и Язык, хотя и представляют собой

условия развития этих двух реальностей — Мира и Бога, но должны были и сами развиваться параллельно с этими последними и даже, быть может, образовались из медленно скоплавшихся их обломков, так как всякое понятие вначале представляет собою суждение, а всякое средство — цель.

Таким образом и в личности, и в обществе мы старательно устанавливаем различие между отправлениями и их объектами, между лучами, сходящимися в фокусе, и самими фокусами, между деятельностями и произведениями, т. е. между умом и волей, между религиозной или политической жизнью, с одной стороны, и Пространством-Временем, Материей-Силой, Языком, Богом, с другой. Эти объекты, эти фокусы, когда речь идет о личностях, называются категориями; по терминологии Канта и его школы, с духом которой я, впрочем, не согласен, такое название дают Пространству и Времени, Материи и Силе (или субстанции и причине). Если сохранить за ними это название, то имеется столько же оснований рассматривать Язык и Божество как категории социальной логики. Но понятно, что столь краткого изложения тезисов, по виду столь парадоксальных или столь произвольных, было бы недостаточно — требуются объяснения.

## II

### Категории социальной логики

Под категориями я вовсе не понимаю твердых, от века существующих форм, в которые должна отливаться мысль, подчиняясь их природным непоколебимым очертаниям; форм, представляющих собою как бы специфические типы для логиков, созданные каждый отдельно, без всяких связующих переходов от одного к другому, подобно тем специфическим типам, какими пользовались натуралисты до Дарвина. Нет, категории, признаваемые мною, представляют просто только постоянные и необходимые условия более или менее устойчивого равновесия, от которого часто отклоняются, но к которому всегда тяготеют и возвращаются беспорядочные элементы как умственной, так и социальной жизни. Эти условия являются более или менее явственными фокусами — безразлично, мнимыми или действи-

тельными, — в которых должны сходиться эти элементы для установления согласия между ними; другими словами, они представляют собою объекты, воспринимаемые сознанием с различной степенью точности, но объекты общие, способные проявляться в чрезвычайном обилии вариаций. Вот почему я стараюсь не смешивать отправлений с категориями. Суждение и хотение, религия и политика суть отправления, но Материя-Сила, точно так же как Пространство-Время, Божество, как и Язык, суть категории. Это категории логические, т. е. связанные только с интеллектуальными отправлениями, с Суждением и Религией. Но существуют также категории или полукатегории телеологические, отвечающие практическим отправлениям хотения и управления. Воля первобытного индивидуума стремится к приятному и избегает болезненного, относясь к тому и другому, как к вещам, существующим вне его, и считая их воплощенными в материальных объектах своих восприятий; точно так же обязанностью первобытного социального человека является стремление к добру и уклонение от зла, причем добро и зло рассматриваются как умственные реальности или как реально существующие идеальности, которые он старается фиксировать и действительно фиксирует, воплощая их в божественных объектах своего поклонения. Итак, в сумме, для индивидуального ума существуют следующие логические или телеологические категории: Материя-Сила, Пространство-Время, Удовольствие и Страдание, а для ума социального: Божество, Язык, Добро и Зло. Попытаемся показать способ их образования, их аналогии и их роль<sup>35</sup>.

Предположите, что идея о материи отсутствует в уме дитяти, и представьте себе то неудержимое смятение, в какое повергает его ум весь этот хаос зрительных, осязательных, слуховых и обонятельных ощущений, разом осаждающих его со всех сторон. Принужденный приписывать их самому себе и только самому себе, по крайней мере после того, как отчетливое или смутное чувство своего я зародилось в нем под влиянием первого по времени сконцентрирования его энергий в одном фокусе, он должен в своих восприятиях формулировать сразу самые противоречивые предложения: «Я — это красное и я — это синее; я — этот шум и я — этот звук; я — этот холод и я — это

тепло», и т. д. Мне возразят, быть может, что ему можно связывать свои ощущения не с самим собою, а одни из них с другими и сказать, например, так: «Этот крик такого-то цвета (или есть такой-то цвет); этот запах есть или имеет такую-то температуру», и т. д. Но в этих суждениях выбор подлежащего является произвольным; кроме того, пока он не перестанет считать различные ощущения, являющиеся терминами этих суждений, тождественными с собою, до тех пор в них будет, в сущности, заключаться точно такое же противоречие, как и в предшествующих суждениях. Следовательно, потребность не противоречить, а, напротив, насколько это возможно, подтверждать самого себя, заставляет зарождающийся ум вообразить нечто вне себя и утверждать существование этого неизвестного и непознаваемого нечто для того, чтобы положить конец своим внутренним затруднениям. Это не я, полученное путем смелого и плодотворного отрицания, путем самопроизвольного устранения своего я и размножающееся вне самого себя, беспрестанно служит подлежащим для внутренних суждений, сказуемыми которых являются ощущения. Ум беспрестанно представляет себе тело, которому он приписывает не различные ощущения одного и того же органа чувств (белое и черное, тепло и холод, низкий и высокий звук, неровность и гладкость и т. д.), но ощущения различных органов чувств (белое, теплое, низкий звук, неровность и т. д.), ибо различные ощущения одного и того же органа чувств взаимно противоречат и исключают друг друга, тогда как ощущения, принадлежащие отдельно различным органам чувств, не только не противоречат, но даже, будучи отнесены к одному и тому же телу или частице, кажутся опирающимися одно на другое и подтверждающими друг друга. Ясно, что логика принуждает ум познавать неопределенное число такого рода тел или частиц, т. е. именно столько, сколько он распознает различных ощущений одного и того же рода. Таким образом объясняется многочисленность и раздельность атомов, точно так же, как и невозможность обойтись без этой столь же необходимой, сколько, быть может, и обманчивой гипотезы.

Но если понятие о материи должно таким путем развиваться в бесконечное число материй, то остается еще координировать эти последние так, чтобы их беспорядочное скопление в одной и той же

мысли не повело к таким же неприятным противоречиям, как и те нелепости, которые были устранены этим понятием. Ум достигает такого результата путем классификации, которую доставляет ему идея Пространства. Подобно тому, как ум стал приписывать свои впечатления телам, так и теперь он связывает тела с местоположением, хотя, по существу говоря, местоположение представляет собою только воспоминание об отсутствующем теле, бестелесный призрак тела, вызывающий, так сказать, предвидение будущих или возможных тел. В самом деле, понятие о пространстве образуется путем последовательного ряда осязательных, а потом зрительных опытов, т. е. при помощи суждений, относящихся к материальным объектам, существование которых утверждается после того, как их пожелают. Из хаоса собранных таким образом ощупью предметов рождается весь строй геометрических представлений. Уму не трудно предположить связанными вместе те местоположения, которые он считает однородными, хотя они различны, и расположить их в удивительную систему предположений, заключающихся одно в другом и никогда взаимно не противоречащих, но всегда подтверждающих друг друга.

Одновременно с этим другие подлежащие устранению противоречия принуждают ум пополнить понятие о Материи понятием о Силе, а понятие о Пространстве понятием о Времени. Всякое состояние ума строится не на одних ощущениях, а на ощущениях и воспоминаниях, и некоторые ощущения оказались бы в безысходном противоречии с образами других ощущений, если бы сюда не присоединялась идея о Силе. Я считаю этот плод золотистым, но я вспоминаю, что считал его раньше зеленым; эта река теперь красноватого цвета, и она сильно шумит, но я вспоминаю, что она была синей и тихо журчала. Тот ли это плод? Та ли это река? Почти подобным же вопросам дает начало и восприятие движения. Мы связываем такое-то тело с этим местом, но вспоминаем, что раньше связывали его с другими местами. Каким образом одно и то же тело может занимать различные места? Противоречие устраняется утверждением, что оно не занимало их в одно и то же мгновение. Но что такое мгновение? Мы создаем тела по нашему собственному внутреннему образу. Мы одушевляем их,

приписываем им душу, желание деятельности и изменения, силу. Мы охватываем в одном и том же состоянии ума различные независимые тела, одушевленные, каждое отдельно, самостоятельными силами, благодаря которым различные ощущения, даже исходящие от одного и того же органа чувств, могут быть приписываемы каждому из этих тел. Одновременность есть не что иное, как тождественность того состояния ума, при котором созданы независимые друг от друга изменения. Но одновременность представляет собою единственную существенную и характерную черту в идее мгновения, элемента времени, ибо одновременность вещей, изменяющихся отдельно друг от друга, предполагает в них нечто общее — продолжительность. Продолжительность — это воспоминание об исчезнувших действиях, неодушевленный призрак минувших сил, вызывающий гипотезу о силах, о действиях, которые также могли бы существовать и участвовать в том же самом состоянии ума.

Вообще наше я должно обратиться к внешним для него силам для того, чтобы предупредить или прекратить свою внутреннюю анархию; оно необходимо должно выйти за пределы самого себя для того, чтобы установить порядок внутри себя, причем дело не обходится без того, чтобы оно не отразилось в своем внешнем объекте; его вера во внешнюю Реальность, в Материю и Силу, в Пространство и Время, в эту пару двойственностей, столь явственно внушенных ему его собственной двойственностью, верованием и желанием, только потому так сильна и устойчива, что она является основным условием умственной жизни. Прибавим еще, чтобы дополнить категории, о которых только что говорили, что хотение подобным же образом создает для себя две телеологические категории Удовольствия и Страдания — соответствующая двойственность, двойственность желания с двумя полюсами, положительным и отрицательным, потому что и у желания есть два полюса, как и у верования, — утверждение и отрицание. Волнение, обусловливаемое расходящимися между собою побуждениями различных органов, продолжалось бы без конца, если бы после нескольких приятных или тягостных опытов органов вкуса, осязания и остальных чувств, удовольствие и страдание не начинали представляться как

внешние реальности, воплощенные в предшествующих объектах и созданные специально для того, чтобы дать исход деятельности.

В силу совершенно подобной же необходимости стремящаяся сформироваться социальная группа принуждена создавать для себя новые объекты, к которым должны направляться уже не ощущения и вожеления одного только индивидуума, а мысли и намерения различных индивидов, из которых каждый в отдельности, как только что было сказано, пришел к согласию лично с собою, но некоторые теперь сталкиваются и противоречат один другому. Ум новорожденного представляет собою хаос разнородных ощущений и побуждений, теснящихся и сталкивающихся между собою, и только сила притяжения названных выше великих объектов организует эту беспорядочную грудку в несколько групп путем некоторого рода систематической поляризации. Но когда это сделано, представляется новая задача. Первичная социальная группа рисуется нам как хаос борющихся идей и интересов различных, находящихся в сношениях между собою индивидов, и надо из этого хаоса сформировать могущественнейшую и крупнейшую группу взаимно подтверждающих и не противоречащих друг другу верований, взаимно поддерживающих и не мешающих одно другому желаний.

Конечно, категории, послужившие к установлению внутреннего согласия в индивидууме, в некоторой ограниченной мере могут помочь подготовить и этот новый вид согласия. Если бы нужно было согласовать в обществе только восприятие, то не было бы никакой надобности выдумывать новые категории — достаточно было бы одних предыдущих. В самом деле, суждения, составляемые различными людьми относительно числа, веса, твердости, цвета, расстояния, объема и скорости различных объектов, обыкновенно гармонируют и чудесно примиряются между собою<sup>36</sup>. Следовательно, в нации восприятия не представляют больше сопротивления своему согласованию. Они рождаются согласными, благодаря в особенности хронологическим и геометрическим суждениям, которые они в себе заключают, и когда они социально встречаются, сопоставляемые лицом к лицу при помощи языка (без которого, надо, впрочем, заметить, они совершенно не сознавали бы своего сходства у различных людей, т. е. своей истинности



в том единственном смысле этого слова, какой можно было бы придавать ему), им стоит только распознать друг друга для того, чтобы признать себя близко родственными между собою. Следует еще заметить, что язык, пробуждая в них сознание своей тождественности, развивает и устанавливает их более точно в силу их взаимного отражения друг в друге и удваивает веру, с какой каждое из них воспринимается. Пространство и Время в том виде, как мы их понимаем, в каком анализирует, раскрывает и исследует их наука, стремясь найти в них чисто механическое объяснение Вселенной, представляют собою точно так же, как Материя и Сила, плод долгой разработки, социальной, а не одной только психологической. Следовательно, для развития этих категорий, для того, чтобы сделать их пригодными к социальному употреблению, необходимо, чтобы уже явился и сформировался язык.

Но прежде всего необходимо было, чтобы явилось божество, и вот почему: кроме восприятий, в обществе должны быть согласованы мысли и хотения; но именно в силу того, что различные индивиды воспринимают одинаковым образом одни и те же материальные объекты, их мысли вступают в борьбу, так как эти объекты вызывают у них самые разнообразные ассоциации образов, а вначале и самые оригинальные галлюцинации; так как во многих случаях они видят воплощение удовольствия в одних и тех же физических объектах, то именно поэтому их хотения вступают в борьбу, ибо каждый хочет один обладать предметами, которых слишком мало для всех. Итак, индивидуальное согласие здесь влечет за собою несогласие социальное. Для устранения этой неурядицы представлялось только одно средство. Нужно было, чтобы из этих противоречивых галлюцинаций, какие в большом числе возбуждал у первобытных людей вид окружающей природы, выделились одна или несколько таких, которые были свойственны какому-нибудь замечательному человеку и которые оказались бы в конце концов признанными всеми. Это происходило вследствие личного влияния этого человека и подражательной доверчивости его близких. Предмет, которому видение этого человека дало некоторого рода душу, перестает быть таким же предметом, как всякий другой<sup>37</sup>; он становится фетишем, особым видом божества, в котором с самого начала легко распознать

две стороны: сверхъестественную личность и сверхъестественное могущество. Из установившегося таким образом единодушия в первый раз появляется идея истины. Индивидуальная мысль остановилась на анимизме, к которому привела ее идея силы, а социальная мысль начинает с анимизма, который ею преобразовывается и приводит ее к идее божества. В то же время из среды непостоянных и противоречивых хотений первобытных людей выделяется одно более сильное или более деспотическое хотение, хотение влиятельного человека, которому удалось заставить добровольно повиноваться себе даже тех, кто тяготится этим повиновением. Это объединение деятельностей впервые приводит к идее Добра и Зла. Эти объекты коллективного хотения, резко отличающиеся от удовольствия и страдания, предполагались существующими вне общества, подобно тому, как удовольствие и страдание вне личного я. Их помещают в посмертной жизни и воплощают в тех самых богах, которых приходится отыскивать или избегать в пространствах за пределами земли, куда все настойчивее и настойчивее относят их местопребывание, и которые распадаются на два больших класса: боги добрые и боги злые.

Объяснимся точнее. Как первый зародыш умственного порядка устанавливается в начинающем формироваться уме только действием появившегося сознания своего я, точно так же и первым зародышем социального строя в первобытном обществе служит появление начальника. Начальник — это социальное я, которому предстоит бесконечное развитие и бесконечные преобразования. Но суждения, сводящие все к субъективному я, являющиеся начальной основой ума, должны были неизбежно привести к суждениям объективирующим, ибо объект представляет собой гипотетическое умножение субъективного я, а субъективное я есть не что иное, как первичный и основной объект; подобным же образом возведение на трон одного человека и порабощение распростертой у его ног толпы фатально привели к обоготворению, так как боги представляют собой только возвеличение властелина в воображении, а самый властелин не что иное, как первый из богов. Объективирование производится по той же причине, по которой прежде производилось субъективирование; появление богов

так же необходимо, как и появление королей. Впрочем, если всматриваться внимательнее, то окажется, что идея божества уже заключается в идее господина, как в идее нашего я уже заключается идея внешних объектов. Король появляется вследствие того, что единственное средство установить согласие в группе не связанных между собой людей заключается в том, чтобы личность одного из них распространила свое влияние на всех остальных действием обаятельного внушения. Тому, чему верит начальник, верят все. Но чему может верить этот начальник, как не своим собственным видениям, которые показывают ему окружающую действительность заполненную душами, уже сделавшимися божественными? Чего может он хотеть, как не удовлетворения своих странных прихотей, вызванных этими видениями? Таким образом, самая сущность королевской власти заключается в указании бога. Но король умирает, тогда как его бог остается в живых, ибо нет никаких оснований для того, чтобы сам его бог был смертен. Сверх того, после его смерти возникала бы опасность социального разложения, если бы показалось уничтоженным то волшебное я, которое до сих пор одушевляло эту группу людей. Итак, оно должно считаться постоянным, бессмертным, и его прежние мысли и хотения принимают характер неизменности и священности, удваивающей их властительную силу. Ряд подобных обоготворений, вместе с рядом верховных галлюцинаций, обогащает мифологическое небо до такой степени, что это множество богов, порожденных с целью установить порядок, в свою очередь порождает хаос, сумбур противоречий, из которого медленно выходят при помощи монотеистической концентрации. Не таким ли же образом изменяющееся, преходящее я создает вне себя атомы, считающиеся неизменными и бессмертными? Разве объективирование не является обоготворением прошлого я, снова возникающего в памяти, сделавшегося бессмертным и беспорядочно размножающегося во внешнем мире до тех пор, пока разум — род монотеизма — не начинает разбираться в этом беспорядке и не вносить в него единство? Наконец, чем могла быть, как не каким-нибудь объективированием, эта элементарная идея или элементарное ощущение, которое, как я сказал, распространяется по всему мозгу и превращается в я? Следовательно, я и не я, король и бог, должны

были появиться в одно и то же время, несмотря на то что одно представляет отражение другого; развиваются они также параллельно.

Идея божества овладевает человеком с этого времени, и только при этом условии дисциплинированные мысли и хотения, находящиеся под властью общего внушения, продолжающегося и усложняющегося с течением времени, выходят из состояния анархии, начинают приходить в порядок и медленным шагом, но всей массой подвигаются вперед по пути к грядущему прогрессу. Вся совокупность истинных идей, положений, пользующихся привилегией единодушной веры, неизбежно представляется при начале жизни обществ как завет предков, передаваемый из уст в уста, от поколения к поколению, и исходящий от нескольких вдохновленных богами людей откровения. Откровение в форме ли гаданий и снов, предвещающих будущее, или в виде священных книг, рассказывающих прошлое и сотворение мира, считалось и должно было считаться тогда источником всякой истины, так что, раз существуют сокровища догматов, полученных откровением предсказаний и сведений, считающихся божественными, то вопрос об истинности какого бы то ни было положения сводится к вопросу, согласно ли оно с этими пророчествами или с этими догматами? Для греков правильное истолкование каждого ответа Пифии считалось делом чрезвычайно важным. Не только *omnis potestas*, но и *omnis veritas* считались исходящими а Deo. По той же причине первичный источник всякой власти должно отыскивать не в общей пользе, столь трудно поддающейся точному определению и столь спорной, не в общей воле, столь слепой, но в Приказании или Запрещении, установленном Богом, истолкователем воли которого становится человек, по предположению являющийся уполномоченным божественной Власти. Эти посланники богов являются таковыми или в силу божественной крови, текущей в их жилах, или, позже, в силу освящения избранием, которое, исходя от доброго бога, неуклонно передается из рода в род. Истина и власть вначале представляются такими вещами, которые могут передаваться от одного лица другому и сохраняться неизменно при всяких преобразованиях, но не могут зарождаться самопроизвольно. Еще в средние века человек считал, что не только известная сумма знаний, но и

известная сумма власти переходит из рук в руки, оставаясь всегда одинаковой и неизменной и двигаясь по указанному ей направлению, следуя традиционным, единственно законным способам передачи, и ее источником является Бог, враг которого — Дьявол, Добро, с которым враждует Зло.

Заметим, что воззрение на истину как на нечто полученное откровением, делает в конце концов необходимым существование духовенства, т. е. корпорации, поучающей по преимуществу и считающейся непогрешимой в лице ее главы или во всей своей совокупности, и что из понимания добра, как того, чего хочет Бог, вытекает необходимость династии или знати, сословия в основе своей господствующего, считающегося уполномоченным исполнителем божественных повелений.

Итак, все исходит от богов и все восходит к ним же; в них заключается обязательный и простой ответ на все проблемы физики и космогонии, на все упреки совести. Они поддерживают мир и управляют им; вот почему они являются подлежащими во всех сколько-нибудь возвышенных суждениях, тогда как материальные тела продолжают оставаться подлежащим всех суждений более низкого порядка. Действительно, понятие о божестве играет ту же роль в социальном уме, какую понятие о материи и силе играет в уме индивидуальном, и деизм так же существенно необходим для первого, как реализм для второго. С безусловной и наивной верой, внушаемой религиозными мифами отдаленных времен, ничего нельзя сравнить лучше глубокой веры зарождающейся мысли в реальность внешнего мира. Сомневаться в существовании богов, даже во времена Гомера, было бы равносильно тому, как если бы современный десятилетний ребенок попытался подвергнуть сомнению существование тел; такой вид скептицизма наступает очень медленно, встречается очень редко и очень мало заразителен. Если нерелигиозность и атеизм делают, по-видимому, с развитием цивилизации больше успехов, нежели субъективный идеализм с развитием индивидуальной мысли, то эта разница только кажущаяся; атеисты встречаются редко и всегда являются людьми, наиболее склонными к боготворению; они обожествляют то, что называют

материей и что превратилось в Олимп всех всемирно-действующих сил; иногда они обожествляют человеческий гений в наиболее блестящих формах его проявления. Только перейдя к научному догматизму, люди выходят из-под влияния религиозного догматизма, но и тогда сохраняют на себе его неизгладимый неизбежный отпечаток<sup>38</sup>. Самой непреодолимой потребностью умов, соединенных в одну группу, всегда является установление догматов, подобно тому как непреодолимой потребностью ума изолированного, поставленного лицом к лицу с природой, т. е. лицом к лицу с сумбуром своих собственных беспорядочных впечатлений, всегда является объективирование. За религией должно признать ту заслугу, что она в социальном отношении представляет или представляла такое же основное условие логического согласия, каким является объективирование по отношению к индивидууму. Только таким образом и можно объяснить себе признанную теперь самыми выдающимися мифологами<sup>39</sup> всеобщность существования религиозных верований у всех народов. Если бы религия была порождением страха, то ее присутствие у самых храбрых племен и общин было бы загадкой; если бы она была последствием обмана, то пришлось бы отрицать существование там и сям проницательных народов. Если бы она представляла собою плод деспотизма, то могли бы мы увидеть ее процветающей среди самых свободных народов? Но все затруднения рассеются, если предположим, что она является порождением разума, способности координировать и систематизировать, и притом одним из первых порождений этой способности точно так же, как и идея о существе и первопричине.

Все заставляет нас думать, что в первобытных обществах мифологическое творчество отличалось положительною невоздержанностью и породило чрезвычайное изобилие богов, из которых каждый в отдельности способствовал социальному согласию, но все вместе своим излишне большим числом, своей беспрестанной борьбою друг с другом вели обратно к анархии. Необходимо было провести дороги в этом лесу, расчистить эти кустарники. По счастью, одновременно с религиями нарождаются языки, и я даже думаю, рождаются из религий, хотя и оказывают впоследствии большие услуги развитию последних. Отвергая

уже, впрочем, устаревшее положение Макса Мюллера относительно мифологий, которые он считает как бы болезнями, сопровождающими рост языков, я охотно готов был бы думать, что слово представляет собою логическое последствие расцвета и наследственной передачи мифов. В самом деле, говорить — значит, в сущности, олицетворять, божественным образом одушевлять всякую вещь, свойство или действие, которые становятся существующими сами по себе и одаренными волшебным могуществом; мне кажется, что этот лингвистический анимизм, вместо того чтобы служить ему образцом, странным образом отражает в себе, особенно в наречиях только зарождающихся, анимизм мифологический, в котором берут начало самые благородные культы. Я могу понимать первобытное слово только как особого рода звуковой фетиш, самопроизвольно зародившийся под влиянием обожевления предметов природы и наиболее поразительных человеческих поступков, число которых увеличивалось по мере того, как религиозное изумление или смущение начинало относиться к новым предметам и новым деяниям, переставая быть связанным с прежними. Итак, всякий корень в языке есть не что иное, как идол, все еще употребляемый и сохраняемый<sup>40</sup>, а язык — не что иное, как вековой остаток доисторического фетишизма, наивных, последовательно угасавших религий, в некотором роде пепел древних священных огней. Язык первобытного времени должен был представлять собою осадок мифологии по той же причине, по какой язык позднейших времен представлял собою, как мы знаем, осадок нравов, законов, знаний, исторических событий. Нет сомнения, что очень редкой в первобытные времена привилегией иметь название могли обладать только явления, казавшиеся изумительными всем членам племени и притом считавшиеся таковыми вследствие того, что было направлено на них кем-нибудь внимание всех<sup>41</sup>. Отсюда вытекает ряд филологических обоготворений, объясняющих форму фразы, которая является существенно олицетворяющей во всех наречиях<sup>42</sup>.

Но каково бы ни было его происхождение, благодаря языку устанавливается порядок — и порядок относительно удивительно стройный — в том сумбуре противоречивых видений и галлюцинаций, которые смущают ум первобытного человека. Когда у каждого из этих

видений (явлений) есть соответствующее ему слово, тогда они все оказываются, так сказать, локализованными, поставленными на определенное место в основных отделах словаря и грамматики и, если они все еще противоречат одно другому, то по крайней мере их уже не смешивают друг с другом и их противоречие получает возможность проявиться и привести к уничтожению той или другой части из них. Кроме того, суждения об обозначении, заключающиеся в выражении каких бы то ни было идей, никогда не противоречат друг другу, по крайней мере, когда говорят правильно; часто, наоборот, они подтверждают друг друга подобно суждениям о геометрическом или хронологическом расположении, относящимся к каким-нибудь ощущениям. Язык представляет собой заранее данную социальному человеку логическую аранжировку, подобную тому, как пространство и время даны человеку, взятому индивидуально. Если новорожденный вступает в действительную психологическую жизнь только с того момента, когда его ощущения начинают отливаться в форму, образуемую пространством и временем, то дитя вступает в жизнь социальную только с того момента, когда оно начинает говорить. Наконец, в силу того, что они говорят одинаково, люди в конце концов начинают и думать почти одинаково. Каждое слово выражает понятие, т. е. произвольное перекраивание действительности, которое вызвано влиянием общества и само по себе никогда не возникло бы в уме ребенка, но, с другой стороны, последний, предоставленный самому себе, приобрел бы много таких понятий, зарождению которых мешает его переполнение зачатками социальных идей, — я хочу сказать, словами. У маленьких детей<sup>43</sup> ясно заметна эта склонность к образованию таких общих идей, которым не соответствует никакое слово. Таким образом форма преобразует сущность; единство греческого языка и презрительное невежество греков по отношению к чужеземным наречиям имело некоторое значение для гармоничности греческой мысли. Нет сомнения, что, как уже не раз замечали, метафизика греческих философов внушена им могущественным влиянием их языка гораздо больше, нежели наблюдениями над природой.

Итак, язык представляет собою, так сказать, социальное пространство идей. Сравнение это показалось бы более верным или более замечательным, если бы социальная эволюция, приведшая к образо-



ванию языков, уже имела бы время достигнуть своих пределов подобно тому, как достигла своих та умственная эволюция, которая произвела идею пространства. Это замечание приложимо также ко многим другим, сравниваемым между собою категориям. Социальные категории всегда менее точны, менее определены, менее абсолютны, нежели соответствующие умственные, индивидуальные категории по той простой причине, что общество еще очень молодо, а как умственный индивидуум — очень старо. Каков будет предел лингвистических преобразований? Конечно, через несколько веков установится единый всемирный язык, который будет отличаться своим в высшей степени рациональным характером. Ведь и пространство, как понимает его теперь человеческий разум, пространство — интеллектуальная категория, стоящая выше координируемых ею ощущений, без сомнения, также сформировалось только с течением времени; ему предшествовали в умственном сумраке низших животных многочисленные пространства, соответствовавшие различным ощущениям: пространство осязательное, пространство зрительное, пространство звуковое — все соединенные вместе, но еще не слитые воедино. Простое, чисто геометрическое пространство представляет собой всеобщий рациональный язык, подобно тому, как мы считали бы совершенно логичным все, что было бы грамматично, если бы существовал только один известный нам язык. Тем не менее верно то, что понятие о пространстве включает в себе необъяснимые странности, как, например, его три измерения, в которых сказывается его происхождение из ощущений.

Теперь будем продолжать нашу аналогию, обратив внимание на неограниченный характер тех комбинаций, для каких может быть пригоден язык. Подобно тому, как пространство неистощимо богато всегда новыми формами, т. е. бесконечным разнообразием накапливающихся суждений о местоположении, точно так же и язык неистощимо богат фразами и речами, т. е. суждениями об обозначении, комбинированными различным образом. Но отсюда происходит также и способность вызывать иллюзии, присущая, по-видимому, как языку, так и пространству, которая столь долго заставляла самых замечательных людей и еще теперь заставляет столь многих талантливых людей

приходить к убеждению, что сущностью и квинтэссенцией всякой вещи является способность быть выраженной в словах или способность быть разложенной на формы и на движения; эта двойная иллюзия древних, чтобы не сказать современников, предоставляет грамматике и геометрии честь заключать в себе целиком всю науку, вне которой ничто не заслуживает названия истины, кроме, разве, физики и теологии. Это значило бессознательно утверждать, что после божеств и тел — но еще более явственно, чем они, — язык и пространство представляют собой реальности по преимуществу. Можно заметить, что этот античный предрассудок пережил самого себя в афоризме Кондильяка, который в разгар XVIII века провозгласил, что «наука представляет собой только хорошо обработанный язык». В настоящее время мы несколько освободились от нашей первоначальной наивности по отношению к языку, но далеко не в такой степени, в какой думаем. Что же касается пространства, то, несмотря на наши недавние умозрения относительно пространства многих измерений, наши примитивные наивные понятия, кажется, неизлечимы<sup>44</sup>.

Но я сравнивал язык не только с пространством, но и со временем. Действительно, в каждом языке существует основная двойственность: двойственность знаков, выражающих сущности или свойства, и знаков, выражающих действия. Для образования фразы необходима комбинация этих обеих явственно различных, но нераздельных между собою сторон, точно так же, как для образования движения, из которого проистекает всякая норма, необходима комбинация пространства и времени, равным образом различных и нераздельных между собою. В психологии можно задавать себе вопрос, предшествовала ли идея времени и вызвала ли ее идея пространства или обратно; совершенно аналогичный вопрос рассматривается лингвистами, когда они спрашивают себя, названия или глаголы представляют собою корни, из которых, по их мнению, вырос весь богатый расцвет языков, принадлежащих к одному семейству. В семье индоевропейских языков этими корнями являются глаголы и такой их характер свидетельствует, по мнению Сайса<sup>45</sup>, о превосходстве арийских рас, об их духе «деятельном, сознательном, стремящемся подчинить себе внешнюю природу» и, стало быть, черпающим в

сознании своей собственной деятельности, проявляемой в данное время, объяснение предметов внешнего мира. Но, по словам этого выдающегося филолога, было бы заблуждением думать, что то же самое и во всех других языках. Полинезийские наречия, говорит он, как и семитские языки, «приводят нас к корням именным, точно так же ясно, как арийские языки приводят нас к корням глагольным. Семитский глагол предполагает в прошедшем название точно так же, как арийское название предполагает в прошедшем глагол. Там, следовательно, основу речи составляет понятие об объекте; это интуиция, в которой субъект игнорирует самого себя или, лучше сказать, растворяется в объекте; деятельность субъекта и проявление его воли упускаются из виду». Итак, лингвисты, ограничившиеся изучением индоевропейских языков, склонны неправильно думать, что корни всех языков глагольные, по той самой причине, быть может, по какой психологи, принужденные ограничиваться изучением только человеческой психологии и не имеющие возможности спуститься в психологию животных, по крайней мере проникнуть в нее глубоко, путем внутреннего наблюдения, склонны думать, что идея времени, как и идея силы, является у нас раньше других. Не представляется ли, наоборот, вероятным, что у животных (а у низших животных даже наверное) локализация в пространстве уже совершенно отчетлива тогда, когда локализация во времени едва только начинает обрисовываться, и не следует ли думать, что они материализуют объекты своих ощущений раньше, нежели начинают их одушевлять?

Другой вопрос сравнительной мифологии, близкий к двум предыдущим, заключается в том, какому из двух встречающихся у всех народов общих видов божеств — боги, взятые из окружающей природы или обоготворенные предки, — принадлежит первенство по времени появления. Я охотно назвал бы по аналогии с корнями филологическими, корнями мифологическими те, относящиеся к глубокой древности элементарные понятия о божестве, какие оказываются одинаковыми во всех группах религий под внешним разнообразием легендарных приставок и изменений, которыми снабдило их в обилии благочестивое воображение. Должно заметить, что по этому вопросу мифологи, по

примеру филологов, распадаются на два лагеря: одни, занимавшиеся главным образом или исключительно изучением религий высшего порядка, склонны видеть в самых натуралистических мифах как первичный элемент обожание духов предков, первобытный спиритуализм или анимизм, из которого позже берет начало великий фетишизм естественных сил, обоготворение солнца, ветров, рек. Другие, более занимавшиеся изучением религий низшего порядка, считают культ дикарей, относящийся к душам их предков, только следствием другого более раннего или даже еще существующего культа какого-нибудь маленького фетиша, не имеющего в себе ничего духовного: дерева, камня, источника. Необходимо строго различать солнечные мифы, смотря по тому, того или другого они происхождения. Для греков солнце являлось преобразованием человека-бога, Аполлона, а для древних перуанцев Инка представлял собою воплощение солнца, т. е. как раз наоборот.

Впрочем, тем или другим путем конечный результат всегда получается один и тот же: как всякий ум в конце концов приобретает идею пространства и идею времени, как во всякой религии в конце концов оказываются натуралистические мифы (или космогонические легенды) и люди, превращенные в богов, точно так же и всякий язык содержит в своем слове и названия, и глаголы.

Можно заметить очень большую аналогию между тем разрывом, какой, начиная с первого ощущения, вызвало отделение понятия Материи-Силы от понятия Пространства-Времени, и тем разрывом, какой, начиная с первобытного фетишизма или анимизма, вызвало отделение развития религий от развития языков. Пространство и Время представляют собою каталоги знаков, в которых нуждается индивидуум и которые он носит с собою, пользуясь ими, чтобы ориентироваться среди своих многочисленных ощущений и изменчивых состояний путем такого рода точного их обозначения.<sup>46</sup> Язык подобным же образом представляет собою каталог знаков, в которых нуждается индивидуум, чтобы заставить своих сотоварищей услышать себя, чтобы ориентироваться самому и позволить ориентироваться этим сотоварищам среди их не связанных между собою идей и хотений. В начале

умственной жизни, когда, согласно гипотезе, существовали только ощущения, конечно, необходимо было, чтобы ощущались самые местности; но эти ощущения, объективируемые притом же, как и все остальные, и также считаемые за нечто реально существующее, должны были приобретать все более и более исключительный характер признаков всякого рода других ощущений. Различная продолжительность, различные моменты могли точно так же в начале сознаться только, будучи воображаемы, как какое бы то ни было явление, но эти образы должны были приобретать все более и более специальное и наконец единственное свойство служить признаками для всяких других образов, для всяких других воспоминаний о деятельности. Подобным же образом и слова, как все внешние предметы, замечаемые в обществе и обоготворяемые, должны были вначале представлять собою идолов; но эти идолы кончили тем, что стали служить, как оно и должно быть, только для обозначения других идолов, превратившихся путем разномножения в простые идеи. Но что бы ни думали об этих последних предположениях, я полагаю, никто не станет оспаривать существования большой доли истины в указанных выше аналогиях между теми великими основными понятиями ума, которым логики дают имя категорий, и великими основными установлениями социального строя, которым я позволяю себе присвоить то же название.

### III

Существуют еще и другие аналогии между умственной и социальной жизнью, но уже не с точки зрения мысли главным образом, а с точки зрения деятельности. Я уже сказал, что первыми условиями телеологического индивидуального и социального согласия были Удовольствие и Страдание, Добро и Зло, понимаемые как особого рода реальности или полуреальности. Но, кроме того, новорожденный находит в себе как средство индивидуальной деятельности инстинкты, т. е. наследственные привычки, которые также можно считать постепенно сформировавшимися за все долгое прошлое племени или нации путем последовательного выполнения обязанностей, т. е. удовлетворения коллективных хотений с целью достигнуть Добра и уклониться от Зла.

Инстинкты и обычаи не представляют собою категорий, так как на них никогда не смотрят как на внешние реальности,<sup>47</sup> но подобно пространству или времени, подобно языку они представляют собою извлечения из древних экспериментов и их координации, откуда почерпаются ресурсы, необходимые для новых опытов. Подобно тому, как только пространство, представляющее собою систему понятий, в которые сложились первоначальные чувственные суждения, делает возможным получение новых суждений, инстинкт или привычка, представляющие собою систему средств, в которых резюмируются миллионы целей, преследовавшихся еще в древности, необходимы для возможности достижения новых целей. Подобно тому, как язык, представляющий собой систему понятий, представляющих забытые утверждения, необходим для составления новых предложений, обычай или закон — система поступков, из которых каждый отдельно являлся выполненным по обязанности приказанием господина, — необходим для исполнения новых приказаний начальника. Действительно, обычаи, нравы какого-либо народа являются медленно создаваемым творением следовавших друг за другом правительств; право в этом смысле является осадком политики. Первобытный народ, подчиняясь влиянию человека, провозглашающего себя орудием бога и указывающего новое Добро, к которому должно стремиться, или новое Зло, которого должно избегать, приобретает таким образом общие привычки деятельности, обычаи, которые изменяются только тогда, когда это влияние сменится другим.<sup>48</sup> Путем наслоения подобных старых привычек и переживаний образуется Обряд, столь блистательно исследованный Спенсером, но никогда не представлявший собою определенной формы правительства, несмотря на все его усилия доказать это странное положение. Достоверно лишь то, что Обряд всегда представлял собой убежище, в котором сохранялись остатки прошлого деспотизма. Это преобразование ясно заметно даже в течение тех нескольких веков, которые освещаются историей, вплоть до цивилизаций нашего времени; мы видим, что придворные обычаи, этикет и вежливость, иногда упрощаясь, но всегда распространяясь все шире, переживают породившие их монархии, точно так же, как кодекс Наполеона пережил его самого или римское право

пережило Римскую империю. Прибавим, однако, что если кодекс Наполеона или какого бы то ни было другого законодателя существует продолжительное время, то только потому, что в конце концов в нем было очень мало нововведений и он ограничивался лишь освящением традиционных элементов. Законодательная деятельность, выражающаяся в новых законах, прибавляемых ею под давлением политических нужд к системе установившихся обычаев, т. е. к своду истинного национального права, должна относиться к этой системе только как введение неологизмов относится к основным ресурсам языка. Бывают эпохи, когда чувство права омрачается по тем же причинам, по каким это происходит с гением языка; тогда начинают в изобилии появляться новые законы и новые слова. Проект закона следовало бы принимать только после некоторого периода его освоения со средой; так именно и поступает французская Академия, отнюдь не торопясь вносить в свой словарь неологизмы. Затем существенно важно, чтобы всякое юридическое нововведение, присоединяясь к общепризнанным принципам права, принимало бы их окраску, подобно тому как должно национализироваться всякое иностранное слово, вводимое в какой-либо язык.

Я должен сделать одно важное замечание относительно вышеизложенного. В наших глазах, как можно видеть, между Правом и Обязанностью нет того отношения симметричного взаимного расположения, какое в них хотели отыскать по образцу отношения между Должен и Имеет коммерсантов. Это противоположение можно поддерживать только в том случае, если встать на исключительную и ограниченную точку зрения, с которой слово «право» рассматривается в том далеко не самом широком его значении, в каком оно означает право требовать от кого-либо, обязанного сделать или дать вам какую-либо вещь. Но то действительное, жизненное право, каким понимает его человек первобытного периода, то право, которым он дорожил и не перестает дорожить вплоть до времени упадка, за которое народ или племя готово умереть, к которому он чувствует какую-то непреклонную любовь, напоминающую патриотизм или чувство чести, — это право представляет собой нечто совершенно другое. Оно заключается в совокупности привычек к деятельности, ограниченной известными

пределами, но эти пределы ощущаются уже не как преграды, а как опоры. Посмотрим, как рождается какое бы то ни было право. Нет ничего проще этого. Какой-нибудь закон, вызванный всегда политическими интересами, устанавливается правителем или вотируется собранием. Этот закон устанавливает, например, неотчуждаемость имущества, полученного женщиной в приданое. Сначала ему повинуются по обязанности, он ощущается как стеснительное запрещение или как запрещение, не требующееся и неожиданное; его можно почитать только в силу воспоминания о той власти, которая его установила. Итак, этот закон представляет двоякий характер: 1) он является более или менее тягостным или неожиданным и 2) он представляет собой хотение, внешнее для лиц, с ним сообразующихся. Но если он держится продолжительное время, то, по мере того как поколения следуют за поколениями, он теряет обе эти особенности: ему начинают повиноваться по привычке, по желанию, и в то же время тот, кто его выполняет, осваивается с ним, делает его своим, потому что получил его от своих предков как фамильное имущество, как национальное родовое имение; тогда-то этот закон начинает ощущаться как право, т. е. как гарантия, а не как приказание. Вот почему галло-романские и другие народы, привыкшие к законодательству Римской империи, которое было, однако, первоначально навязано им силой, видели в этом законодательстве после падения империи залог своих самых драгоценных вольностей, свою лучшую гарантию против произвола властителей-варваров, которым они повиновались только с ропотом; позже они опять освоились с новыми феодальными обычаями, сложившимися после этого вторичного их покорения, и начали считать их также за привилегии. Но для начальников-варваров, позволявших латинскому населению следовать законам времен империи (по крайней мере, поскольку эти законы не противоречили прямо новому порядку вещей), какое значение представляет *Corpus juris* или даже *Breviarium Alaricum* — вестготская компиляция римских текстов? Для них это были попросту средства управления. Каждый из этих законов во время его издания являлся выражением стремления к той или другой временной цели; теперь же, сделавшись



привычкой, он стал простым средством для того, чтобы сделать возможным достижение новых целей.

Итак, право представляет собою только старинную обязанность, сделавшуюся необходимой точкой опоры для новой обязанности, сначала стеснительное проявление внешней силы, постепенно делающейся силой внутренней и вспомогательной, — цель, превратившаяся в средство. Право представляет собою осадок обязанности; обязанность, какой ее понимали и выполняли на практике бесчисленные поколения, представляет собой реку, а право — осевший из нее ил. Поэтому мы и видим, например, что всякому прогрессу монархической власти во Франции (т. е. всякому расширению обязанности повиноваться королю) соответствует такой же прогресс монархического права и всякому расширению папской власти в средние века соответствует расширение канонического права.

Происхождение обязанности в обществе можно сравнить с происхождением хотения в сознании. Хотение заменяет антагонизм желаний их иерархической субординацией, направляя их к одной цели; обязанность уничтожает антагонизм хотений, направляя их к одному идеалу. Рибо описал нам болезни хотения; нельзя ли нам сравнить их с теми периодами дряхлости народов, которые характеризуются параличом или извращением способности к самопожертвованию? Разве глубокий эгоизм, полное отсутствие патриотизма не представляет собой настоящую социальную абулию?

Точно так же и то, что можно назвать болезнями привычки, т. е. двигательная атаксия, отсутствие координации в движениях мускулов, остановка в течении того потока машинальной деятельности, который приводит во вращение колесо хотения, — не является ли все это эквивалентом тех революционных кризисов, которые перевертывают вверх дном все народные нравы и обычаи, делают невозможной деятельность правительства и приводят к анархии?

Резюмируя сказанное, мы видим, что в своих вековых усилиях ощупью привести к равновесию заключающиеся в нем верования и желания общество оказалось пришедшим к фикциям или к созданию общих объектов, соответствующих объектам, уже созданным или

воображаемым индивидуальным умом для установления гармонии среди его бессвязных впечатлений и побуждений. Одна и та же задача привела к аналогичным решениям — в этом нет ничего удивительного. Но разве задача логики индивидуальной и логики социальной оканчивается на том, что каждая в отдельности осуществила условия своего внутреннего согласия? Нет, остается устранить еще одно основное несогласие, которое чувствуется с каждым днем все сильнее и сильнее, по мере того как прогрессирующая цивилизация все больше выдвигает на свет всякие противоречия. Остается еще, как мы сказали, сделать так, чтобы обе логики превратились в одну, чтобы между слившимися воедино категориями той и другой существовала не аналогия только, а полное тождество. В этом и состоит несознаваемая, но глубоко важная цель всех ученых, работающих над изгнанием из народных верований божественных существ и словесных сущностей, реализма теологического и реализма филологического (иначе говоря, метафизического)<sup>49</sup> над тем, чтобы распространить новый символ веры, в котором все объясняется при помощи химических субстанций и физических сил, при помощи форм или движений в пространстве и изменений времени. Такова также и никем не замечаемая цель утилитаристов, усиливающих свести идеи добра и зла к идее суммы удовольствий и страданий и уничтожить обязанность, сводя ее к личным интересам, к разумному хотению; к той же цели стремятся и революционеры, мечтая об обществе, которое, не обладая никакими национальными, чтимыми обычаями, подвигалось бы вперед только в силу взаимодействия свободно сложившихся индивидуальных привычек.

Но кто не видит химерического характера этих последних иллюзий? Национальная жизнь всегда будет требовать от индивидуума пожертвования самыми дорогими ему привычками в пользу общей дисциплины, жертвования его частными выгодами для интересов общественных. Стало быть, согласие обеих телеологий, индивидуальной и социальной, может установиться только путем взаимных уступок. То же следует сказать и о согласии обеих логик. Не трудно было показать, что эти материи и силы, которыми наши ученые объясняют все, представляют собой старых богов под новыми именами; от Магометова Аллаха не

так далеко до спенсеровского Непознаваемого. Непознаваемое есть Непознаваемое, и Спенсер его пророк. Точно так же не трудно заметить, что эти наши ученые объясняют Вселенную не при помощи одних только форм и движений, но прежде всего при помощи формул: их законы не были бы ничем, если бы не были фразами; эти законы нуждаются в каком-нибудь языке, чтобы быть установленными, чтобы быть чем-нибудь, а без языка они не были решительно ничем. Итак, невозможно уничтожить социальную логику в логике индивидуальной. Их двойственность неустранима, но они подобны кривой и ее асимптоте, которые идут бесконечно, приближаясь друг к другу.

#### IV

#### Социальное сознание

До сих пор мы видели, что общество в своих усилиях разрешить стоящую перед ним логическую задачу равновесия воспроизводит в увеличенном виде те же самые остроумные и оригинальные решения, какие придумали индивидуальным умом, занимавшимся разрешением аналогичной задачи. Но если всмотреться ближе, то нам начнет казаться, что мы замечаем важное различие в обеих сравниваемых между собою логиках. Оно, впрочем, только внешнее, как увидим это дальше. Но как бы то ни было, рассмотрим его. Установить отрицательное и положительное согласие между объективными суждениями о принадлежности и причинности или даже между суждениями-намерениями, надеждами, с одной стороны, и опасениями, с другой, которые теснятся и сталкиваются в людской сумятице, — не значит еще сделать все; остается еще или даже, лучше сказать, следовало бы начать с того, чтобы примирить между собою — что далеко не так легко — субъективные суждения самолюбий, тщеславий и гордостей; эта трудность, для которой, на первый взгляд, нет подобной ей в индивидуальной логике, составляет самый страшный подводный камень в логике социальной.

Естественно, что самолюбия находятся в столкновениях, в противоречиях между собой, так как каждый из нас уже рождается с очень сильной склонностью считать себя выше других. Как устранить это

противоречие? Как разместить соединившиеся в общество индивидуальности таким образом, чтобы их взаимные стремления пользоваться полной верой в свои достоинства и полным доверием к своим талантам получали возможно лучшее удовлетворение, т. е. чтобы эти количества веры и доверия, прочно объединенные, давали при сложении наибольшую алгебраическую сумму? Эта трудная проблема разрешается в новейшей исторической эпохе при помощи вежливости, но такое решение неполно и поверхностно. Вежливость представляет собой, по видимому, самое удобное средство для того, чтобы разместить самолюбия, по возможности смягчая их давление друг на друга или делая их столкновение по возможности менее сильным. Она прежде всего состоит в том, чтобы сделать гордости невидимыми или неосознаваемыми друг для друга, пуская в ход множество взаимно льстивых и лживых уверений.

Итак, вежливость имеет для самолюбий в известной мере и в известных отношениях то же значение, которое имеет право для интересов. Интересы рождаются враждебными, противоречивыми; право разграничивает их и, заменяя их собою, в силу этой замены делает их внешним образом примиримыми. Когда индивидуум начинает заботиться главным образом о своих правах, тогда мир становится возможным, потому что эти права заставляют его забыть о безграничности его природных желаний и притязаний; заботиться о своих правах — значит самому хлопотать об ограничении своих выгод. Точно так же, когда цивилизованный человек — или даже варвар или дикарь, так как и дикарь по-своему вежлив, — начинает гордиться тем, что кажется хорошо воспитанным, т. е. умеющим щадить гордость другого и скрывать свою, защищая ее таким путем, тогда становится возможной городская или даже, в сущности говоря, социальная жизнь; тогда же начинают и наслаждаться удовольствием, доставляемым обходительностью.

Но вежливость, позволяющая отдельным гордостям уживаться вместе, не заставляет их смешиваться; притом же она способна суммировать — даже наружно — только умеренные дозы веры и уверенности в себе. Если эти дозы становятся слишком велики, если

гордость и самомнение начинают быстро разрастаться в еще недавно скромных сердцах, тогда прощай изящные и приятные формы городской жизни! Гордость и самомнение в начале должны были иметь огромные размеры. Я не говорю, главным образом, об индивидуальной гордости, потому что первоначально индивиды мало рассчитывают на самих себя; но зато коллективные гордости членов каждой семьи, каждой деревни поразительно велики и в высшей степени противоречивы. Каждая социальная группа ценит себя до смехотворности высоко и относится с презрением к соседу. Это глубокое противоречие между суждениями местных самолюбий является во всякой первобытной стране, быть может, самым большим препятствием к установлению такого социального строя, который положил бы конец этому взаимному презрению и вытекающим из него бесконечным ссорам. Как устранить эту антиномию? Вежливости тут делать нечего. Стало быть, с самого начала потребовалось, а по правде говоря, и до сих пор не перестает быть необходимым другое решение, более глубокое и более полное, хотя бы даже только для того, чтобы сделать возможным первое решение. Это другое решение было доставлено явлением Славы. Слава — это непомерная гордость одного лица, усугубленная удивлением присваивающих ее себе других лиц, гордость которых в силу самого этого факта подымается или стремится подняться до уровня первой. Удивление представляет собою наслаждение или страдание; оно является наслаждением, т. е. увеличением веры в себя, когда его объекту может предшествовать притяжательное местоимение *мой*; в этом случае оно является распространением неизвестного *я* на некоторое *я*, пользующееся славой и присваиваемое себе первым; оно является уничтожением границ первого *я*. Таковы чудо и преимущество ассоциации. Славная, сильная и уважаемая власть, на которую обращены взоры всех, является единственным возможным средством примирить борющиеся между собою индивидуальные или коллективные самолюбия. В этом отношении, как и во всех других, феодальная раздробленность уступила место новейшей ассимиляции и слиянию только благодаря блеску королевской власти. Когда толпа любит своего вождем или когда армия восхищается своим генералом, она любит сама собою,

усваивает себе то высокое мнение, какое этот человек получает о самом себе и которое сияет в виде гордости своим происхождением или своим гением на лице Людовика XIV или Кромвеля, Александра или Сципиона, или даже какого-нибудь народного вождя. Это единодушное восхищение питает эту гордость, хотя последняя чаще всего является начальным источником этого восхищения. То и другое растут и ослабевают параллельно. Посмотрите, например, как одновременно все более и более разрастаются гордая самоуверенность Наполеона и энтузиазм его солдат в течение периода его торжества, вследствие чего расходуется могучая сила веры; затем, когда начинается ряд поражений, посмотрите, как все печальнее и печальнее становится Великая армия, как она теряет веру и как сам Наполеон начинает сомневаться в своей звезде<sup>50</sup>.

Можно видеть, что при Людовике XIV по счастливой случайности утонченная вежливость, которая показалась бы даже смешной в настоящее время, соединялась с самой блестящей монархической славой, вызывая замечательную интенсивность национальной гордости в то же самое время, как уровень потока веры и национального сознания поднялся выше всяких ожиданий под влиянием таких условий, как очищение вполне созревшего языка и урегулирование права, рост религиозного единства и королевской власти. Такие стечения обстоятельств совсем не представляют собою случайных исключений; они являются в большей или меньшей степени в каждую великую историческую эпоху, в эпоху Перикла, как и Августа, при Фердинанде и Изабелле, как и при Солимане. Заметим мимоходом, что эта тенденция основных условий логического согласования одновременно достигать своего наибольшего расцвета достаточно обнаруживает общность их происхождения и их тесное родство между собою. Но здесь я хочу главным образом указать то, что изощрение или расцвет вежливости обыкновенно наступает после того, как кто-либо приобретет прочно установившуюся громкую славу подобно тому, как появляется новая растительность у подножья горы, поднявшейся из недр земли. Вежливость представляет собою разменную монету удивления и лести; она является их обоюдной формой, в которой они входят во всеобщее

употребление, подобно тому, как слава является их источником и единоличной формой. Слава должна была предшествовать вежливости и только она одна еще поддерживает последнюю подобно тому, как рабство предшествовало промышленному труду и обмену услуг и как покровительство сильной власти необходимо для процветания промышленности. Но мы можем правильно понять капитальную важность социального явления славы, только сравнивая ее с ее истинным индивидуальным эквивалентом, с психологическим явлением сознания. В начале общественной жизни начальник представляет собой социальное я. Действительно, на заре социальной жизни начальник монополизирует всю славу в свою пользу. Но позже бывает уже иначе. Слава распространяется, распределяется между известным числом замечательных людей, которые, каждый в своей сфере, бывают постольку начальниками, поскольку они славны. Сознание представляет собою сияние, исходящее из моего я, — оно делает то, что всякое внутреннее состояние становится моим, а слава представляет собой сияние, исходящее от господина, — она именно и является тем, что дает человеку характер господства. Это сравнение, которое несправедливо может показаться странным или поверхностным, освещает особо каждый из этих двух терминов при помощи другого. Ум, как нам известно, представляет собрание маленьких душ, участвующих в одной и той же нервной системе и стремящихся каждая в отдельности к первенству, — совместную работу бесчисленного количества различных мелких нервных состояний, которые, зародившись, вероятно, каждое отдельно в каком-нибудь определенном элементе мозга, все стремятся очень быстро распространиться от элемента к элементу, стремятся взаимно задушить, подчинить или, скорее, убедить друг друга. Из этой сумятицы, вследствие самой этой борьбы, беспрестанно выделяется какая-нибудь более или менее узкая группа впечатлений, более или менее торжествующих, т. е. сознаваемых, а из этой группы с различной степенью явственности всегда выделяется одно из этих впечатлений, поочередно то зрительное, то слуховое, то осязательное, то мускульное, то продукт воображения, являющееся выдающим пунктом этого вечно волнующегося я. Это впечатление и в различной степени все остальные

впечатления, входящие в эту группу избранных, привлекают к участию в своем привилегированном положении и породившие их клеточки на все время, пока длится в мозгу их торжество; а так как ясное и светлое сознание является удовольствием, чувствуется как внутренняя гармония, то можно думать, что это высокое положение не столько завоевывается силой, сколько получается путем, так сказать, единогласного избрания: можно предположить, что я является в некотором роде полюсом, куда на мгновение направляются все честолюбия и все эгоизмы отдельных клеток, приблизительно наподобие того, как слава является социальной поляризацией в одном полюсе всех индивидуальных надежд и гордостей. Несомненно по крайней мере то, что все многочисленные и весьма разнородные состояния ума принимают вид единства, появляясь в сознании, присоединяясь в действительности или только по-видимому к я, к этому действительному или возможному фокусу ума; несомненно также, что заслуги самых разнородных родов у нации, достигнув знаменитости, кажутся перемешавшимися в одной общей реальности высшего порядка. Таким образом, сознание является, в сущности говоря, первой категорией индивидуальной логики, из которой проистекают все остальные категории, а слава, доводящая до галлюцинации, цель, к которой устремлены взоры всех, является первой категорией логики социальной, также служащей источником всех остальных категорий. Ничто, например, не было обожествлено, что не было бы славно; к обоготворению необходимо идти по пути славы; ничто не было объективировано, материализовано, что не было бы прочувствовано; только сознание ведет к восприятию.

Аналогия останется в силе, если мы будем рассматривать происхождение и роль этих двух великих факторов более детально. Сознание является двухсторонней реальностью. Что может быть сознаваемо? Или новое ясное верование или новое сильное желание, — другими словами, или восприятие или хотение. Слава подобным же образом присоединяется к двум соответствующим проявлениям социальной жизни. Что бывает славным в самом широком значении этого слова? Или теоретическое нововведение, новое знание, благоприятно принятое, или нововведение практическое, новое указание, которому послушно



повинуются, — другими словами, или открытие или изобретение, вызывающее подражание (если немного расширить, как это и следует с философской точки зрения, значение терминов «открытие» и «изобретение»). Можно было бы доказать, что восприятия в психологии являются эквивалентом открытий в социологии; точно так же можно было бы сказать, что хотения эквиваленты изобретениям. Хотение представляет собою не что иное, как очень легкое самосознание, тогда как изобретение представляет, вообще говоря, довольно трудное сознание средства, пригодного для достижения какой-либо цели, причем самую цель в первом случае очень легко вообразить, а во втором более или менее трудно. Вот и все различие между ними. Мальчик, любящий полакомиться, видит спелые виноградные кисти, свешивающиеся с дерева: у него немедленно же зарождается мысль поесть этих плодов и влезть для этого на дерево, и он тотчас же хочет лезть. Какой-нибудь путешественник первый в Европе приходит к мысли, что консервированное американское мясо составило бы прекрасный и экономически выгодный питательный продукт для рабочего класса, если бы его можно было перевозить без порчи: он изобретает холодильник и при помощи этого изобретения, сделанного им не без труда и имеющего временный успех, ему удастся, также не без затруднений, распространить в народе желание покупать американское мясо. Можно сказать, что каждый час деятельной жизни заставляет индивидуума для удовлетворения своих мельчайших потребностей или беспрестанно зарождающихся прихотей постоянно расходовать свою изобретательность в виде мелких, относящихся к самому себе декретов и постановлений, вызываемых никогда не повторяющимися затруднениями и напоминающих собою бесконечно накапливающиеся томы наших сборников законов или неистощимый ряд наших патентов на изобретения. В этом отношении, как видим, жизнь наций удивительно походит на жизнь индивидов; в обеих является необходимым ужасающий по своим размерам расход гения, счастливых патентованных или непатентованных идей, которые сегодня зарождаются на поле битвы или на конгрессе дипломатов, завтра на сцене, послезавтра на выставке, делают человека знаменитым и производят на свет Тюрення или Ришелье, Корнеля или Стефенсона,

а не то так Боссюэта или Ньютона, теолога или ученого. В самом деле, подобно тому, как неустойчивое я переходит от одной логической или телеологической категории к другой, останавливаясь на локализации в пространстве или на материализации, на локализации во времени или на суждении о причинности, или же на достижении какой бы то ни было цели, так и слава в своем прихотливом полете проходит через все логические или телеологические категории социального мира и останавливается попеременно то на великом реформаторе языка вроде Гомера, то на великом реформаторе нравов или законов вроде Ликурга, или на творце догматов вроде Лютера и на творце истин вроде Ньютона, на распространителе новых принципов управления и социальной организации вроде Руссо, — одним словом, на всяком, кто озарил новым светом человеческий разум или кто увеличил число новых полезностей, дал человеческому хотению новое могущество и поставил ему новые цели, кем бы он ни был — оратором, законоведом, художником, черпающим вдохновение в религии или в науке, государственным человеком или полководцем, колонизатором или дельцом,двигающим вперед промышленность. Однако в этом беспорядке есть некоторый порядок. Наибольшей славой, например, бывает прежде всего слава военная, стоящая далеко впереди славы художественной по той же причине, по какой интенсивное сознание избегнутой опасности или стремления к добыче предшествует сознанию любви.

Кроме того, пользуются славой всегда нововведения, потому что не следует смешивать со славой то глубокое уважение, какое внушают народам их древние учреждения или древние идеи, пользовавшиеся славой при своем зарождении и с течением времени сделавшиеся только величественными вместе с монархами или первосвященниками, в которых они воплощаются, если эти последние не выделяются никакими личными деяниями. Это уважение, эта привязанность, едва замечаемая теми, кто ее испытывает, родившаяся из подражания предкам, представляет для лучезарной знаменитости, порожденной подражанием современникам, то же самое, что твердая, но бессознательная вера, приверженность индивида к понятиям и правилам, уже издавна установившимся в нем, вначале очень сознательным, представляет для

замечаний и решений, принимаемых им в каждый момент. Между этим уважением и славой, между этой верой и сознанием существует та разница, что уважение и вера представляют собой медленно создававшиеся творения, орудиями создания которых служили слава и сознание, и что эта вера и это уважение не могут прекратиться внезапно без смертельной опасности для умственной и социальной жизни и остаются фактически непрерывными вплоть до наступления безумия или смерти, тогда как слава и сознание своего я подвержены затмению или временному исчезновению даже в состоянии бодрствования, даже в эпоху цивилизации<sup>51</sup>.

Как видим, было бы равно ошибочно думать, что неславное имеет меньшее социальное значение, нежели то, что пользуется славой, или что бессознательное играет психологически менее важную роль, нежели сознание. Это справедливо только по отношению к такому неславному, которое никогда не пользовалось славой, к такому бессознательному, которое никогда не попадало в область света, исходящего из сознания своего я. Но в таком случае самый незаметный человек, честно занимающийся своим скромным ремеслом, может быть спокойным и уважать самого себя, так как, начиная с воспитания, даваемого им своим детям, или с празднования дня своей свадьбы и кончая такими деяниями, как зажигание огня или работа плугом или за ткацким станком, во всей его жизни нет ни одного поступка, который не явился бы практическим приложением и выражением усвоенного им правила, формулы, приема, идеи, некогда со славой впервые открывшейся миру и которая исчезла бы из мира без него или без тех, кто поступает подобно ему. Слишком большое число одновременно возникающих знаменитостей, открытий и изобретений может потрясти спокойствие народа, подобно тому как слишком большое число одновременных впечатлений, зрелищ или волнений может свести человека с ума.

Но та скромная неизвестность, откуда появляется слава, составлена не из одних только чисто консервативных элементов, точно так же, как то бессознательное, из которого рождается сознание своего я, составлено не из одних только воспоминаний. Современные психологи знают, что, кроме этих элементов, ассоциация идей, поднимающихся

до сознания, подготавливается постоянным брожением в среде образов, следов, оставшихся в мозгу и беспрестанно осязая сопоставляемых друг с другом; подобно этой бессознательной работе мозга производится и безостановочная работа тех бесчисленных полуизобретателей, которые, оставаясь в неизвестности, подготавливают поле для деятельности гения. Прибавим к этому еще, что какое-нибудь состояние нервной системы, сделавшись сознательным, не меняет своего характера так же, как какое-нибудь изобретение не изменяется, сделавшись знаменитым, но это состояние приобретает совсем иную энергию, не созданную, конечно, заново, а только позаимствованную у тех нервных клеточек, на которые оно распространилось, так же как изобретение, ставшее знаменитым, делается могучей силой, образующейся из сложенных вместе сил тех индивидуумов, которые пользуются этим изобретением. В то же время состояние нервной системы, сделавшись сознательным, приобретает такую ценность, какой у него не было до того, в силу особенного возрастания его способности ассоциироваться с другими состояниями, подобно тому как изобретение, сделавшись знаменитым, приобретает такую социальную ценность, какой оно раньше не обладало, в силу необычайного возрастания для него возможности вступить в комбинацию с другими крупными идеями.

Разъясним новую аналогию, до сих пор только подразумевавшуюся. Без сознания нет памяти, а без памяти нет сознания. Эти два термина солидарны друг с другом. То, что сознается наиболее ясно, что наиболее поражает или волнует, то при всех других одинаковых условиях, конечно, и забывается менее всего; сознание не пробуждается без ясности воспоминания. Точно так же без славы (или без большей или меньшей известности) нет подражания, а без подражания нет славы. Одно не бывает без другого. Впечатление, производимое какой-либо доктриной, измеряется числом ее адептов; догмат или обряд, знание или научный прием тем менее подвержены риску быть забытыми или выйти из употребления, чем в большем числе экземпляров при всех прочих одинаковых условиях, конечно, они запечатлелись в народном мозгу. Наконец, обширная слава невозможна в стране, лишенной многочисленных и быстрых средств сообщения и сношения, где, другими

словами, подражание затруднено. Таким образом, подражание оказывается точно соответствующим памяти; в самом деле, оно представляет собою социальную память, настолько же существенно важную для всякого проявления деятельности, настолько же необходимую в каждое мгновение общественной жизни, насколько существенно важна и постоянна работа памяти в уме. Выскажемся еще точнее. Память так же двойственна, как и наше я. Поскольку она повторяет и удерживает в себе суждения, постольку она представляет собою собственно воспоминание, понятие; поскольку же она повторяет и удерживает в себе цели, решения, постольку она привычка, средство. Подобным же образом подражание, как и слава, бывает двух родов: когда оно заключается в повторении новой идеи, открытия, передаваемого из уст в уста, тогда оно называется предубеждением, представляющим собою социальное понятие; когда же оно заключается в повторении нового приема деятельности, нового изобретения, тогда оно получает название обычая. Но разве обычай не является социальной привычкой и разве предубеждение не играет роли социального закрепителя открытий (впрочем, более или менее истинных), подобно тому как воспоминание является умственным закрепителем восприятий? Разве не единственно только непрерывный ряд разнообразных знаменитостей всех степеней и всех родов всегда питает и увеличивает вековое богатство предубеждений и обычаев точно так же, как только последовательный ряд проявлений сознания снабжает и обогащает индивидуума привычками и воспоминаниями?<sup>52</sup>

## V

Или я сильно ошибаюсь, введенный в заблуждение — и притом в заблуждение очень глубокое, — призраком аналогии, или история и в самом деле понимается лучше благодаря указанной мною точке зрения. Беспорядочность ее событий тогда перестает вызывать в нас изумление, так как она только внешняя. До сих пор тщетно искали связь и закон исторических событий, причины, вызвавшие странный порядок их последовательности, в котором во что бы то ни стало хотели видеть некоторое развитие. В действительности события следуют друг за

другом, но при этом они не только не походят одно на другое, но и не вызывают или, по крайней мере, не обуславливают необходимо друг друга; они сталкиваются между собою гораздо в большей степени, нежели объясняют друг друга, и каждое из них связывается истинно логической связью не с предыдущим и не с последующим, а с целым рядом или даже скорее с несколькими рядами правильных жизненных или социальных повторений, верхней точкой пересечения которых является данное событие. Они накладываются одно на другое, подобно последовательным состояниям сознания в индивидуальном уме. Пусть кто-нибудь попробует отмечать со всею возможной точностью и подробностью последовательный ряд тех мелких зрительных, слуховых, обонятельных ощущений, мелких проявлений деятельности мускулов и пр., шаги, жесты, слова и т. д., из которых составляется какой-нибудь его день, и пусть он затем попытается отыскать формулу этого ряда, разгадать этот ребус! Ему это не удастся не лучше и не хуже, как не удастся историку установить законы истории, представляющей собою ряд состояний национального сознания. Что же удивительного после этого, что появление ощущений и внушений в хранилищах воспоминания и привычки или появление открытий и изобретений в хранилищах Традиции и Обычая оказывается случайным и беспорядочным! Важно лишь то, что они там появляются, а затем они распределяются и организуются в каждую из перечисленных выше отдельных категорий индивидуальной и коллективной логики. Тут именно и находится искомый исторический порядок — в собраниях того, что произведено историей, в грамматиках, в кодексах, в теологиях или научных системах, в способах управления, в промышленности или в искусствах, которыми обладает данная цивилизация, но не в самой истории; подобным же образом душевная гармония заключается во внутреннем, поистине удивительном распределении воспоминаний, а отнюдь не в самой деятельности нашего я, собиравшего их направо и налево.

Поскольку мала или слаба связь между теми научными открытиями или промышленными изобретениями, которые следуют непосредственно друг за другом в данное время, постольку же во всякую эпоху оказываются относительно связанными между собою группа старых

открытий, из которых состоит, например, геометрия или астрономия, или даже физика и биология этой эпохи, и группа тех старых изобретений, которые составляют ее военное искусство, ее архитектуру, ее музыку, так как время рассортировывает все те, пользовавшиеся в свое время известностью и бывшие в моде нововведения, которые эта мода присоединила к священному хору их предшественников; многие вычеркиваются из списка как заключающие в себе скрытое противоречие с большинством старых, и окончательное значение тех, которые остаются, бывает далеко не пропорционально тому блеску, каким сопровождалось их введение. Те, которые взаимно подтверждаются или помогают друг другу, с течением времени сближаются между собою, а чуждые друг другу расходятся и их истинная плодотворность, медленно проявляющаяся в виде знаний или сил, в форме истин или более или менее драгоценных гарантий спокойствия, устанавливает среди них известный иерархический порядок, временно неизменный, какой не было никакой возможности предвидеть по различным размерам их первоначального успеха.

Другими словами, логическое согласие проявляется не между различными, последовательно пользовавшимися знаменитостью нововведениями, а именно между различными продолжительными подражаниями, исходящими из каждого из этих нововведений, как из фокуса. Надо заметить, что в силу непрекращающейся логической разработки связь между ними становится теснее пропорционально их возрасту. Действительно, в процессе этого социального нагромождения открытия и изобретения, постепенно распространяясь и укореняясь, проходят через фазисы, подобные тем, через какие проходят восприятия и действия в аналогичном процессе их закрепления в глубине индивидуальной памяти; первые, как и последние, распадаются на несколько слоев, которые, как мне кажется, сводятся к трем. На поверхности находится довольно малооднородный слой идей и привычек, приобретенных более или менее недавно и образующих собою то, что называют мнениями или вкусами народа или человека. Под ним лежит собрание убеждений и страстей, разрабатывавшихся более продолжительное время и более тесно связанных между собою, хотя, впрочем, они могут быть в противоречии

с элементами верхнего слоя; это традиции и обычаи в обществе, ум и сердце в индивидууме. Еще глубже находится та плотная ткань, состоящая из почти несознаваемых и бесспорных принципов и побуждений, которая носит название духа и характера как по отношению к нации, так и по отношению к индивидууму.

Однако если последовательный ряд состояний сознания или исторических фактов не разворачивается в логическом порядке, то значит ли это, что и самая логика является им чуждой? Нет, ибо каждое состояние сознания, взятое в отдельности, уже представляет собой маленькую систему, является по меньшей мере подбором таких впечатлений, которые среди всех имеющихся налицо оказываются наиболее поучительными, наиболее соответствующими тому, что в этот момент занимает мысль, и тщательным устранением всех тех впечатлений, которые не соответствуют или противоречат первым, как это ясно показал Гельмгольц относительно впечатлений зрительных. В каждое мгновение нас осаждают и нам мешают зрительные ощущения, подобные ощущению летающих мух, и если бы мы их всегда замечали, если бы наше я включало их в число избранных, то они воспрепятствовали бы суждению систематической локализации или объективирования впечатлений рутины, которые одни только и замечаются нами. Поэтому-то они и остаются незамеченными так же, как остается незамеченным шум в ушах, который ввиду полной невозможности локализовать и объективировать его не может войти в ту систему внешних звуков, в какую мы всегда располагаем последние. Сколько еще других внутренних образов так же проходят перед нашим сознанием, не оставляя на нем даже заметной для нас тени! То же самое происходит и с социальным сознанием, с знаменитостью, когда из тысячи оставшихся неизвестными изобретений или открытий, среди которых имеются, быть может, и очень серьезные, но все-таки не имеющие успеха только потому, что они противоречат какому-нибудь установившемуся верованию или мешают удовлетворению какого-нибудь могущественного желания, делается знаменитым всегда только одно, наиболее способное в настоящий момент укрепить и увеличить сумму народной веры и спокойствия, — другими словами, лучше всех



удовлетворяющее любопытство публики и полнее всех осуществляющее ее надежды или наиболее соответствующее ее мнениям и вкусам.

Итак, в окончательном выводе, над несколькими толстыми слоями воспоминаний и привычек, прочно установившихся, классифицированных и расположенных в систему, — воспоминаний, т. е. прежних восприятий, превратившихся в понятия, и привычек, т. е. прежних целей, превратившихся в средства, — над этой грудой остатков суждений и хотений прошлого наше теперешнее я скитается туда и сюда подобно блуждающему огоньку — наше я, т. е. непрерывное присоединение новых восприятий, новых целей, которые вскоре подвергнутся аналогичным же превращениям. Такова умственная жизнь индивида. Совершенно подобна ей и жизнь социальная. Над громадными тысячелековыми скоплениями перемешанных, комбинированных, координированных традиций и обычаев — традиций, т. е. прежних открытий, распространившихся в массах, сделавшихся безымянными предубеждениями, соединившихся отдельными группами, образующими языки, религии, науки, — и обычаев, т. е. прежних изобретений, также сделавшихся общею принадлежностью, ставших всем известными приемами и способами деятельности, гармонически сгруппированных в форме нравов, промышленности, способов управления, искусств, — над всеми этими чудесными дарами, завещанными глубокой древностью, неустанно движется какая-то сверкающая, отливающая разными цветами точка, путь которой носит название истории; эта точка представляет собой успех или славу настоящего дня, так сказать, изменчивый фокус ретины социального глаза, последовательно останавливающегося на всех новых открытиях и изобретениях, — одним словом, на всех новых начинаниях, которым суждено распространиться подобным образом в массах.

Если я не ошибаюсь, то здесь представляется одна из самых полных и явственных аналогий, которая может с большим удобством заменить собою постоянно повторяемое, но столь искусственное и натянутое сравнение обществ с организмами. Общество походит и, по мере того, как оно цивилизуется, стремится все более и более походить не на организм, а скорее на тот своеобразный орган, который называется мозгом; вот почему социальная наука, как и психология, является только

прикладной логикой. Общество вообще представляет собой или с каждым днем приближается к тому, чтобы представлять только большой собирательный мозг, в котором отдельные маленькие индивидуальные мозги являются клеточками. Мы видим, как легко и сам собою обнаруживается с этой точки зрения социальный эквивалент нашего я, тщетно отыскиваемый современными социологами, слишком много занимающимися биологией и, может быть, слишком мало психологией. Мы видим также, что наше сопоставление позволяет приписать человеческому верованию свойственное ему первенствующее значение в обществах, тогда как уже вышедшее из моды сравнение Спенсера позволяет видеть здесь только комбинацию желаний и обнаруживает свою несостоятельность своим очевидным непониманием религиозной стороны народов. Мне, может быть, возразят, и я с этим соглашусь, что мозг предполагает тело, которым он питается. У всякого общества есть также в зависимости от него и к его услугам группа существ или предметов, которые оно присваивает себе и приспособляет к своим потребностям и которые, будучи раз выработаны им, становятся как бы его внутренностями и его членами. Эти предметы не составляют части самого общества или, пожалуй, они имеют в весьма слабой степени такой характер в среде рабовладельческих народов и наций, где раб вместе с коровой и собакой способствует пропитанию и защите свободного человека. В таких обществах каста рабов, а иногда и каста плебеев, может быть названа с некоторой справедливостью желудком патрициев. Но там, где рабство исчезло, теория общества-организма потеряла последнюю тень правдоподобности. Если там и есть какой-нибудь организм или нечто похожее на него, то это совсем не общество — это все то целое, которое складывается из общества, с одной стороны, и с другой — его обработанной территории с проходящими по ней дорогами и каналами, с ее подчиненной человеку флорой и фауной, с ее домашними животными и растениями, с ее подчиненными человеку физическими силами, которые питают, одевают, излечивают, перевозят и переносят, служат всюду и везде населению городов и полей без всякой, строго говоря, взаимности услуг, хотя и получают взамен скупые и корыстные заботы. Эти подчиненные человеку земля и природа

играют по отношению к культивирующей их нации точно такую же роль, какую играют органы тела относительно мозга существа высшего порядка, которое живет для того, чтобы мыслить, а не мыслить для того, чтобы жить, и которое расходует или употребляет свою физическую силу исключительно в интересах своей силы интеллектуальной. Сравнивали телеграфную сеть с нервной, а сеть железных дорог с кровеносной системами! Но нервы, нервные нити, кровеносные сосуды составляют часть организма, а разве железные телеграфные проволоки и рельсы и цепи вагонов составляют часть общества? Пусть нам покажут народы, у которых вместо наших металлических проводников электрические цепи из одного города в другой составляются из людей, держащихся за руки и стоящих по направлению этой линии, где вместо наших поездов с пассажирами и товарами люди тянутся из города в город длинными, непрерывными, переплетающимися между собой процессиями!

Если бы общества представляли собой организмы, то социальный прогресс сопровождался бы не только возрастанием дифференциации, но и возрастанием неравенства; демократическая тенденция к равенству во всяком обществе, достигшем известного уровня цивилизации, стала бы необъяснимой и могла бы истолковываться только как симптом социального упадка. Между тем очевидно, что это постепенное уравнивание и прогрессивное уподобление различных классов друг другу в языке, костюме, нравах, образовании, воспитании укрепляет истинную социальную связь между людьми одной и той же страны, тогда как там, где, в виде исключения расстояние и различие между классами увеличивается, регрессирует и цивилизация. Но с точки зрения нашей аналогии это становится понятным. В самом деле, хотя мозг и стоит выше всех других органов, но он отличается от них относительной однородностью своего состава и тем, что, несмотря на его извилины, несмотря на более или менее точное размещение его различных функций в каждой доле, все его бесчисленные элементы сходны между собою, как это доказывается быстротой и легкостью постоянного обмена сообщений между ними и их способностью, по-видимому, взаимно замещать друг друга<sup>53</sup>. Отметим также исключительное положение мозга

в теле. Все остальные органы употребляют все усилия на то, чтобы питать его. У животных, умерших от голода, общее исхудание достигает крайних пределов, но «вес мозга, — говорит Рише, — заметно не уменьшается». Таково же и человечество среди порабощенной природы.

Только общества животных, пчел и муравьев, например, до некоторой степени более всего заслуживают названия социальных организмов, так как только там отдельный индивидуум, движимый инстинктом, побуждающим его жертвовать собою на пользу всего общества, играет роль простого органа или простой клеточки и иерархическая субординация различных функций является там полной. Тело там так же построено из индивидов, как и голова. В некоторой степени сходны с ними древние общины, где господствует рабство. Но по мере того, как общества цивилизуются, они, по-видимому, дезорганизируются и их следует сравнивать не с организмом и даже не с отдельным органом, а с некоторого рода высшим психологическим механизмом; в самом деле, в них все более развивается эгоизм и изменчивая связь всего целого все менее и менее поддерживается духом самопожертвования, особенно самопожертвования бессознательного, и все более и более (но никогда не исключительно) зависит от равновесия или солидарности между симпатизирующими друг другу эгоизмами, подобно тому как цельность солнечной системы поддерживается равновесием и солидарностью молекулярных притяжений.

Во время войны современные нации в виде исключения также приобретают довольно ясно выраженный характер организма. Солдат дает себя убить за свой полк, полк жертвует собою для армии, армия жертвует собою для спасения страны, т. е. для торжества политической мысли, задуманной тем человеком или той группой людей, которые в настоящий момент воплощают в себе государство. Тогда строго применяется к делу закон возмездия, предполагающий тождественными между собою солдат одной и той же армии, граждан одной и той же нации и считающий всех ответственными за каждого из них. Попробуйте тогда заняться рассмотрением эквивалентности и взаимности пожертвований, сделанных солдатами или гражданами! Ни эта эквивалентность, ни эта взаимность тут ни при чем; они являются только словами,

сущность же заключается тут в органической, т. е. целесообразной солидарности. Но почему эта солидарность органическая? Потому, что в проявлении военной деятельности умственная и телесная стороны армии соединены между собой той связью однородности, которая характеризует живые, одушевленные существа. Орудия и силы, употребляемые главнокомандующим или министром, являются, по крайней мере большей частью, такими же людьми, как и он сам, подобно тому как в древности большая часть услуг, требуемых господином, доставлялась ему человеческой силой его рабов. Это будет низшее социальное состояние, от которого избавляются, постепенно заменяя энергию человеческих мускулов силами не человеческого происхождения — животными, растительными, физическими, механическими. Правда, с прогрессом военного искусства работа, выполнявшаяся раньше руками солдат, по-видимому, все больше и больше начинает выполняться также машинами — пушками или ружьями. Но в конце концов сегодня, как и вчера, личная храбрость, дисциплина, военные достоинства остаются единственно действительными силами, без которых ничего не может сделать никакая энергия взрывчатых веществ; сегодня, как и вчера, тело и кровь солдат являются основным веществом, первичными материалами, употребляющимися для военного производства или, лучше сказать, для военного разрушения. Таким образом, милитаризм приобретает поражающий нас характер органической солидарности именно потому, что он является регрессом. Прогресс же происходит по направлению к возрастающей «дезорганизации», являющейся основным условием наступления высшей гармонии.<sup>54</sup>

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Историческая последовательность логических состояний

В предыдущей главе речь шла главным образом об основных условиях, дающих социальному уму возможность сложиться, т. е. делающих возможным возникновение равновесия между желаниями и верованиями, между интересами и идеями. Это можно назвать, если угодно, статической социальной логикой. Но путем каких элементарных

процессов устанавливается это равновесие и переходит от своих низших форм к высшим? На этот вопрос отвечает логика динамическая, социальная диалектика, которой мы теперь специально займемся.

Дадим прежде всего схему, очень упрощенный набросок ее деятельности в сравнении с деятельностью индивидуальной логики.

Чтобы составить себе столь же полное, сколько и точное представление об индивидуальной или социальной логике и телеологии, мы должны взять два каких-нибудь суждения или два намерения *A* и *B* (объединенные в одном и том же уме или находящиеся в двух отдельных умах) и рассмотреть в отдельности все отношения — сначала нелогические и нетелеологические, затем антилогические или антителиологические и, наконец, логические или телеологические, — какие могут установиться между тем и другим. Мы увидим, что ряд этих отношений, перечисленных последовательно, в указанном порядке, выражает в известной и довольно значительной степени последовательность историческую. Мы увидим это еще яснее, если сверх психологической и социальной области мы откроем телеологии широкую возможность ее приложения в мире физическом и в мире живых существ путем допущения целей в природе, — я говорю не об одной какой-либо божественной цели, а о реальных целях бесчисленного множества элементарных деятельных сил. К несчастью, это средство или этот способ проверки неприменим или кажется неприменимым, когда дело касается логики.

## I

Начнем с положений нелогических и нетелеологических. Все они сводятся к одному, которому, полагаю, надлежит уступить первое место по причинам, которые я сейчас укажу. Итак положим:

1) *A* и *B* не подтверждают и не отрицают друг друга, не помогают и не мешают одно другому.

Очень трудно, по крайней мере во внешней природе, указать много примеров такого отношения именно потому, что, по нашему мнению, оно первично и, стало быть, отношение, следовавшее за ним, имело время покрыть его собою, оставив от него только там и сям существ-

вующие следы. Когда социологи, оглядываясь назад, восходят до того состояния войны между первыми группами людей, которое они считают первобытным и постоянным, когда психологи под слоем рациональных идей, установивших гармонию в образованных умах, замечают ту сумятицу противоречивых верований, из которой берет начало это совершенное согласие, то те и другие полагают, что достигли того пункта, с которого начинается изучаемая ими эволюция. Им кажется, как это кажется и всем, что борьба и противоречие везде и всюду являются первым словом, а между тем, может быть, они стоят только на втором плане. Возможно и даже вероятно, что разнородность элементов и явлений представляет собою нечто более первоначальное, нежели их столкновение между собою, которое предполагает уже известную степень сходства, полученного от начавшегося повторения, регулярности дисциплины. Что находим мы в основе умственной жизни в уме новорожденного? Простые, разнородные ощущения, налагающиеся друг на друга, еще не сталкиваясь и не противореча одно другому, так как они не вызывают еще никакого суждения. Это — царство чистого свойства, царство своеобразия нерационального и непревратимого. Когда элементы нарождающегося ума начинают приходить в столкновение, то это значит, что ощущения уже повторяются в образах и сравниваются между собою. Точно так же разве нельзя предположить, что первые группы людей, самопроизвольно зародившиеся без всякой связи, зависящей от родства или примера, раньше, чем начать бороться и поедать друг друга, долго жили совершенно чуждыми между собою, не вредя и не оказывая друг другу услуг, и не вступили ли они в эти убийственные столкновения только после того, как приобрели сходные потребности и вкусы, или после того, как узнали о сходстве своих потребностей и вкусов? Наверное, различные религии раньше, чем начать борьбу, приведшую их к слиянию или к большему или меньшему согласию, начали с того, что мирно жили рядом, индифферентно относясь к своей разнородной своеобразности. Точно так же следует заранее предположить, что борьба за существование не была первичным отношением между различными организмами, в среде которых позже должна была установиться гармония. Эта борьба, которую принимали

за начало, на самом деле представляет собою — и никогда не была ничем иным — только необходимый, но мимолетный переход от периода жизненной разнородности, когда первые самобытные и неродственные между собою по жизни создания сосуществовали рядом, не помогая и не мешая друг другу, к периоду естественной гармонии, когда соединившиеся в общества организмы оказывают или будут оказывать друг другу односторонние или взаимные услуги. Спустимся еще ниже, к химическим соединениям. Здесь первые начинания совершенно ускользают от нас, но причина этого та, что молекулы различных веществ представляют собой самые древние произведения природы, более древние даже, чем звездные системы, так как они предшествуют им во времени, ибо иначе как можно понять констатируемое спектроскопом сходство этих молекул в самых отдаленных от нас звездах? Итак, если прохождение через все три указанных периода является всеобщим и обязательным, то неудивительно, что наиболее древние произведения природы также наиболее далеки от своего начального фазиса. Но не позволительно ли предполагать, что в докосмические времена существовало много других исчезнувших теперь химических веществ, отличавшихся совсем иной разнородностью, нежели те, которые их пережили и к которым этот эпитет так часто неправильно прилагается? Мы, впрочем, даже не нуждаемся в этой гипотезе для того, чтобы утверждать, что различие, самобытность и непревратимость лежат в основе вещей. Откуда, если не из этого глубокого источника, может происходить то богатство разнообразия и неожиданностей, которое действительность разворачивает перед нашими глазами, несмотря на все сдерживающие их преграды, на все регулирующие их законы, несмотря на все налагаемые узы и нивелировки? Зачем существовала бы множественность, если бы было только неизменное и неорганизованное повторение единого? Какой смысл имело бы существование бесконечного множества атомов или монад, каких-либо отдельных и различных между собою деятелей, вырабатываемых Вселенной, если бы у каждого из них не было своего облика, своего отпечатка, своего оттенка?

Необходимо, однако, с самого начала сделать одно капитальное замечание, приложимое ко всему последующему. Когда я говорю, что



отношение разнородности, логической индифферентности является первоначальным и основным, то я не предполагаю становиться при этом на точку зрения абсолютного начала и конечной сущности вещей. Присущий всемирной эволюции характер повторяемости и периодичности позволяет нам принять за точку отправления момент зарождения всякого нового периода, несмотря на то, что в действительности он является моментом возрождения, т. е. продолжения предыдущего. Те элементы, которые я называю первыми, потому что, встретившись впервые, они открывают собою новый ряд борьбы и приспособлений, которые я скоро перечислю, могли бы с таким же правом быть названы конечными по отношению к тому предшествующему им ряду, который ими заканчивается.

Здесь, однако, представляется следующее затруднение: каким образом может родиться единство, если множественность различна? Возможен только один, но вполне защитимый ответ: каждый из этих всеобщих деятелей одушевлен стремлением управлять всеми остальными, стремлением устроить вселенную по своему вкусу. Каждый атом представляет собой вселенную в проекте. Отсюда сближающее их столкновение, борьба за преобладание, ибо из этих миллиардов проектированных вселенных только одна должна осуществиться в конце концов.

## II

Мы приходим таким образом к отношениям антилогическим и анти-телеологическим. Они бывают двух родов:

2) *А отрицает такое В, которое его не отрицает; А вредит такому В, которое ему не вредит;*

3) *А и В взаимно отрицают и взаимно вредят друг другу.*

Другими словами, несогласие бывает или односторонним или взаимным. Но прежде всего должно спросить себя — возможно ли просто одностороннее несогласие (выраженное во 2-м положении). Когда одно предложение заключает в себе отрицание другого, то не случается ли непременно всегда, что и второе заключает в себе отрицание первого? Когда какой-нибудь догмат отрицает научный закон

или научный факт, то разве этот факт или закон не отрицает этого догмата? Например, если повествование книги Бытия является опровержением некоторых открытий, то разве эти открытия, в свою очередь, не опровергают библейский рассказ? Подобным же образом, когда — что случается чаще — несколько ученых одновременно (потому что никогда не верят сильно в то, во что приходится верить только одному)<sup>55</sup> дают позитивное, но сверхъестественное объяснение некоторым явлениям природы — затмениям, бурям, грому, разве они сознают, что наносят смертельный удар религиозным верованиям? Нет, и они очень искренно протестуют против упрека в том, что они сколько-нибудь противоречат религии своей страны. Притом же, если бы даже они и признали это противоречие, то несоответствие между той суммой верования, какую они могли бы противопоставить догмату, и той, какую мог бы обрушить на них последний, таково, что первая величина была бы почти нулем сравнительно со второй. Между тем священники тотчас же начинают предавать их анафеме и употребляют все усилия, чтобы ясно указать противоречие между религией и новшеством. Это период костров. Когда же наконец и наука выставит на вид свои батареи, когда и она признает, что противоречит таким-то и таким-то догматам, и когда тот и другой лагеря начинают обмениваться выстрелами, которые уже раздаются не из одного только лагеря, как это было прежде, то это значит, что научные истины настолько распространились и укоренились в публике, что представляют собою сумму верования, почти равную той, какую располагают религиозные догматы. Какая борьба, какие междоусобия подымаются тогда в обществах! Наконец настает даже такой момент, когда ввиду продолжающегося ослабления религиозной веры происходит обмен ролями и когда защитники дискредитированного догмата в ответ на прямые нападения процветающей науки стараются доказать, что религия нисколько не противоречит науке. Может быть, будет уже слишком поздно говорить таким образом и, следовательно, будет необходимо, чтобы борьба шла своим путем, не имея другого возможного исхода, кроме победы одного и смерти другого из борющихся. Это приводит нас к формам логического согласия, о которых мы будем говорить вскоре. Быть может, я сделал

бы лучше, если бы вместо столкновений науки с религией я остановился на борьбе новой религии со старой. Фазы этой борьбы совершенно те же, но она переносит нас к гораздо более отдаленным от нас временам, когда она одна наполняла собою историю, так как при каждом завоевании религия победителя вытесняла религию побежденного, в промежутке между войнами в широких размерах действовал прозелитизм, происхождение которого отнюдь не относится к новейшему времени. Точно так же, когда чужеземные купцы вносят в страну патриархальных или феодальных нравов новые потребности вместе с новыми продуктами, то эти потребности, вначале слабые и считающиеся роскошью до тех пор, пока они не укрепятся путем распространения в массах, стараются только скромно занять место рядом с прежними потребностями, более глубокими и могущественными; никогда они не признаются, что стремятся вытеснить эти древние нравы, да если бы даже они и признались в этом, то они представляют собою слишком ничтожную часть общественного желания, чтобы быть для этих нравов сколько-нибудь заметной помехой; противодействие здесь настолько превосходило бы действие, что не было бы никакой действительной взаимности. Но эти уважаемые обычаи и привычки восстают против нововведений. Позже и эти последние, усиляясь, признают себя враждебными первым; отсюда вытекают бурные социальные перевороты. И даже, наоборот, когда новые вкусы и потребности подчинят себе уже почти все сердца, тогда обычаи прошлого, нашедшие убежище кое-где, в некоторых обломках старинных каст, в нескольких горных деревеньках, станут просить пощады ввиду своей безвредности, утверждая, что они ни в чем не мешают «прогрессу». Но *alea jacta est* — побежденный может сложить оружие, но, пока он жив, он все-таки считается врагом. Таким путем, как увидим дальше, и приходят к формам телеологического согласия.

Итак, резюмируя предыдущее, видим, что логическое и телеологическое несогласие, сначала одностороннее, затем взаимное, снова становится ко времени своего разрешения односторонним, но обыкновенно в противоположном смысле. Не всегда бывает так, потому что очень легко может случиться, например, что новые идеи или новые

потребности, побыв временно в моде, ослабевают и позволяют изгнать себя снова окрепшим верованиям и обычаям прошлого. Но если новое достигло такой степени силы, что может бороться со старым, то это последнее явление происходит очень редко, так как те самые причины, которые сделали его достаточно сильным для борьбы, должны обеспечить за ним с течением времени и победу. Итак, в нашем списке недостает одного номера, прибавим: 4) *В отрицает А, но А не отрицает В; В вредит А, но А не вредит В.*

Этот случай выражает собой последнюю часть всякой борьбы, когда победитель изгоняет и добивает побежденного, который бежит или не старается больше защищаться.

### III

Перейдем теперь к формам логического или телеологического согласия. Но прежде всего заметим, что не все элементы, которые мы видим соглашающимися между собою в душе или в обществе, или даже в природе, непременно прошли описанные уже состояния несогласия. Среди встречающихся друг с другом намерений или суждений, вожделений или ощущений всегда есть некоторое количество таких, которые сразу устанавливаются по одному направлению, и без достаточно крупного ядра таких счастливых встреч, таких прирожденных гармоний нельзя было бы понять, как можно было бы достичь гармоний, приобретенных при помощи долгого труда. Только с началом умственной или социальной организации сделался возможным какой-либо умственный или исторический прогресс. Все, что я хотел доказать, сводится к тому, что когда гармония устанавливается, то это происходит по направлениям, указываемым тем, что ей предшествует, или тем, что за ней следует. Выразимся точнее. Когда идея или новая цель появляются в уме или в нации, то эта идея или это стремление вначале находятся в состоянии логического или телеологического безразличия по отношению к идеям и потребностям, установившимся раньше. Только впоследствии обнаруживается, что она приносит им противоречие или подтверждение или, лучше сказать, одним приносит противоречие, а другим подтверждение. Когда она представляется в этом последнем

виде, мы видим, что она разом переходит из 1-го состояния в 5-е, 6-е и 7-е состояния, о которых сейчас будем говорить.

Укажем по этому поводу одно из наиболее неправильных решений обыкновенной логики. Логика считала своей обязанностью исследовать только тот случай, когда из двух сопоставляемых предложений одно заключается в другом. Обсуждая только таким образом понимаемый силлогизм, они, по-видимому, думают, что никогда не имеют права принять новое предложение раньше, нежели оно окажется подтвержденным другим предложением, уже имеющимся в уме. Какое странное требование! Для того, чтобы новая идея или новая цель были приняты умом или обществом, достаточно того, чтобы они не казались противоречащими или мешающими никакой другой идее или цели. Всякое положение в начале является гипотезой, все достоинство которой заключается в этом отрицательном преимуществе. Несмотря на этот недостаток поддержки со стороны более старых положений, очень часто вносимое положение встречает такой хороший прием, что когда его противоречие с одним из первых раскрывается, то между ними возникает борьба, в которой оно часто одерживает победу.

Теперь перечислим формы согласия. Вот они:

5) *А утверждает или помогает такому В, которое отрицает или мешает А;*

6) *А утверждает или помогает такому В, которое не отрицает или не мешает А;*

7) *А утверждает или помогает такому В, которое утверждает или помогает А.*

Представляется совершенно естественный переход от последней формы несогласия (случай 4-й) к первой форме согласия (случай 5-й). В самом деле, вообще недостаточно только победить врага, недостаточно уничтожить или обессилить его; можно сделать еще лучше, — его можно утилизировать, уничтожая его. Самый распространенный пример этого первого вида телеологического приспособления в мире живых существ представляет собою поедание побежденного организма организмом победившим, превращающим первый в свою добычу. Птица, попавшая в когти кошки, служит для

питания животного, которое ее убивает. В мире социальном такое же отношение устанавливается между антропофагом и пожираемым им пленником или врагом. Но ведь антропофагия является обычным следствием войн при начале развития почти всех цивилизаций. Первобытный человек является столько же охотником, сколько и каннибалом, а охота и каннибализм являются осуществлением нашего 5-го случая. Возвращаясь к миру живых существ, к которому, впрочем, уже привел нас последний пример, мы найдем, что 5-й случай представлен там в широких размерах в паразитизме, когда паразит является вредным для носящего и питающего его индивида, что, правда, случается не всегда. Быть может, это чаще всего встречающееся биологическое приспособление. Прибавим сюда первобытные формы семьи. Родители низшего порядка жертвуют собой для своего потомства; почти у всех таких животных оплодотворенное яичко является опасным внутренним паразитом матери; мы знаем, что даже у насекомых мать очень часто приносит себя в жертву своему еще не родившемуся потомству. Нам не трудно указать, что именно в социальном отношении соответствует этому семейному или внесемейному паразитизму: мы уже говорили о деспотизме, неизбежно являющемся колыбелью общества. Сначала устанавливается деспотизм домашний, где не отец отдает себя своим детям, как это происходит в природе, но, наоборот, дети преклоняют колени перед эксплуатирующим их отцом. Затем следует деспотизм политический, когда тысячи рабов лишаются жизни, истощенные гигантскими работами, предпринятыми по прихоти господина, и их услуги вознаграждаются ударами кнута, если они остались еще в живых. Еще и позже то же отношение очень часто осуществляется, когда изобретатель за неизмеримые благодеяния, оказанные им миру, получает только нападки, оскорбления и мучения. Вот с чего начинается прогресс! Я говорю об изобретениях, благоприятствующих сохранению и развитию нравов, обычаев и учреждений той страны, где они зарождаются; против тех изобретений, которые им противны, борьба ведется по праву и, как это само собою подразумевалось выше, они ведут не к социальной гармонии, а к социальному разногласию. Но часто случается, что самобытное общество, оттолкнув

от себя какое-нибудь промышленное новшество как враждебное ему в принципе, усваивает, монополизировать и обращает его на достижение своих целей, извращая его основной характер. Здесь опять исторически реализуется 5-й случай и представляется пример перехода, связывающего этот случай с предыдущим. Этот случай может реализоваться даже и психологически, так как одна цель может встретить в другой препятствие для себя, хотя и стала сама средством для достижения последней, не только тогда, когда обе они воплощены в двух различных индивидах. В сердце еще грубого и неразвитого человека гармония различных желаний начинает устанавливаться аналогичным путем. Варвар понимает внутреннее согласие между страстями только как суровый деспотизм какой-нибудь одной из них: военной храбрости, гордости, жажды мщения, религиозного фанатизма, и как подавление всех остальных. Даже если одна из подчиненных страстей, как например любовь к женщине, временно является на помощь наполняющей его сердце жажде мщения, то все же эта поддержка не мешает ему бороться с любовью как с недостойной его страстью. Такова первобытная мораль.

В отношении логическом, а не телеологическом уже, эта первая форма согласия представляется нам индивидуально каждый раз, когда молодой и невыработанный ум, начинающий устраивать некоторый порядок в своем хаосе, устанавливает в себе самом какой-нибудь верховный принцип, какой-нибудь полновластный предрассудок, особенно религиозный, — и ставит его над всеми остальными своими подчиненными и покоренными ему знаниями. Сколько бы эти последние ни содействовали для кажущегося или действительного подтверждения этого великого верования (подобно тому, как некоторые смутные понятия астрономии, физики, химии, по-видимому, подтверждали суеверия астрологии, алхимии и прорицания), господствующий предрассудок не перестает смотреть на них свысока и не перестает считать их ничтожными. Так начинается гармония интеллектуальная. Социально тот же вид гармонии устанавливается каждый раз, когда один человек во имя своих принципов признает правым другого, тогда как этот другой считает первого неправым во имя своих принципов. Это происходит в больших размерах, когда наука, прикованная к подножию алтаря,

старается установить новые аргументы в пользу тех догматов, которые отвечают ей анафемой. Это явление, все более и более редкое в наше время, было в различных, но по существу сходных формах очень обыкновенным в далеком прошлом. В древности боги побежденных общин всегда преклонялись перед богами общин-победительниц, которые третировали их с глубочайшим презрением; это значит, что догматы побежденного делают все возможное, чтобы показаться способными подтвердить догматы победителя, презрительно отталкивающие от себя эту унижительную помощь. С другой стороны, почти столь же важной, тем же путем устанавливалось и согласие суждений в первобытных цивилизациях. Нет ничего труднее согласовать, как гордости, ничто не противится сильнее социальному объединению. Но ведь гордость — это суждение, при помощи которого каждый оценивает себя высоко и считает себя выше своих ближних. После сражения победа уничтожает гордость побежденных и настолько же поднимает гордость победителей. Тогда побежденные, продолжая все-таки иметь высокое мнение о себе, начинают искренно восхищаться своими победителями, которые, с своей стороны, величественно презирают их. Этим восхищением первые подтверждали то высокое мнение, какое имели о себе вторые, а этим презрением последние опровергали уважение, какого первые еще считали себя заслуживающими. Так получает свое начало равновесие самолюбий и верований, а также интересов и страстей; хотя оно было и неполно, оно все-таки было довольно устойчиво и благодаря ему формировались и окрепли в отдаленные от нас времена первые сколько-нибудь обширные социальные группы, первые империи, как, например, в Ассирии и Египте.

Вторая форма согласия (случай 6-й) проявляется обыкновенно как уклонение от первой, смягчение которой она представляет. Обратимся сначала к телеологии; эксплуатирующий под влиянием услуг, получаемых им от эксплуатируемого, мало-помалу перестает худо обращаться с ним и соглашается не причинять ему ни добра, ни зла. Человек из охотника превращается в пастуха; сначала он ограничивался только тем, что убивал животных для своего пропитания, а потом он их приручает,



обращает себе на пользу их инстинкты, пьет их молоко, стрижет их шерсть и в вознаграждение за эти очевидные благодеяния оставляет им жизнь, по крайней мере, до тех пор, пока они могут быть ему таким образом полезными. Точно так же за антропофагией или за истреблением пленных путем употребления их на производство громадных и губительных работ следует рабство в том его виде, в каком знала его греческая и римская древность или даже и наше время, — род человеческого одомашнивания, когда пастух из-за собственных выгод заботливо печется если не об удобствах, то о сохранении в целости своего стада. То же отношение, но в другом новейшем смысле наблюдается в том случае, когда изобретатель или ученый, истинный, добровольный раб своей страны, не из покорности, а из самоотверженности служащий ее реальным и постоянным интересам или ее настоящему мимолетному желанию, оказывается настолько счастливым, что не получает в обмен за свои труды ни наказаний, ни наград, ни унижений, ни почестей и имеет возможность спокойно продолжать свою жизнь. В сфере психологии мы видим, что после того, как люди стали представлять себе внутреннее равновесие желаний как невыносимую тиранию одного из них над остальными, в душе их возникает новый тип, все еще суровый, но уже не столь жестокий, часто встречающийся в периоды полудивизации. Господствующая страсть, гуманизовавшись, начинает тогда относиться снисходительно и позволяет спокойно пастись у своих ног стаду менее важных желаний при условии, что они идут за ней к ее цели. Уравновешенные души предыдущего периода были круты совсем на другой манер. Начиная с этого одностороннего утилитаризма, мораль направляется по пути к взаимному утилитаризму будущего. В мире живых существ сюда относятся все те случаи паразитизма, когда паразит не приносит заметного вреда эксплуатируемому им индивиду. Какое количество неопасных микробов живет в нас! Совершенно естественно думать, что этот род безобидного паразитизма стремится к непрестанному развитию и, напротив, значение паразитизма вредного, именно в силу его вредоносности, все уменьшается. Бесконечное множество видов должно было погибнуть в великой зоологической борьбе, ослабленных и осуж-

денных на поражение теми микроскопическими животными, которые их пожирали и которые должны были исчезнуть вместе с ними. По той же причине те низшие формы воспроизведения, где зарождение и питание новорожденного влекут за собою смерть матери, отступают перед прогрессом высших форм. Семейный паразитизм также постепенно смягчается.

С логической точки зрения 6-й случай, о котором мы говорим, представлен в социологии прежде всего тем отношением, какое, как мы видели, надолго устанавливается между господствующей, всеми единодушно исповедуемой религией и религиями или науками подчиненными, укрощенными, которым первая позволяет спокойно возрастать при условии, что все они хором подтверждают ее собственную доктрину, а потом тем, не менее продолжительное время существовавшим отношением, какое устанавливается между самолюбием короля, непомерно разросшимся под влиянием хвалебных гимнов подданных, и самолюбием последних, питающихся гордостью своего властелина и поздравляющих себя с тем, что он их не презирает. В психологии выражение рассматриваемого случая доставляется односторонностью тех систематических умов, которые, наблюдая или думая, что наблюдают подтверждение своей точки зрения в известном числе фактов, более или менее подогнанных к их надобностям, нисколько не заботятся о проверке истинности самых этих фактов. В более низкой стадии мысли к тому же виду согласия относятся оптические иллюзии, представляющие собою систематические предвзятости глаза. Перейдем наконец к последнему случаю, т. е. к взаимной форме телеологического или логического согласия. От предыдущих случаев переходят через бесконечный ряд последовательных ступеней к той полной и конечной гармонии, к которой, как река к морю, направляется вся предыдущая эволюция. Два чуждых друг другу вида живых существ приведены в соприкосновение и призваны впредь жить рядом; после того, как один из них долгое время жил на счет другого, остававшегося беззащитным, этот последний наконец вооружается и защищается против первого, а затем и сам начинает извлекать также выгоды из этого соседства, делающегося одинаково выгодным для обоих; таким путем складываются

гармоничные фауна и флора. Подобным же образом, когда встречаются два племени, имеющие различное происхождение, сначала одно побеждает и подчиняет себе другое, которое, превратившись в низшую касту, затем снова постепенно эмансипируется путем ряда последовательных переходов, цепь которых разворачивается еще и теперь. Конечное положение, к которому, очевидно, направляется это движение вперед, представляет собою совершенную взаимность промышленной или политической помощи, оказываемой друг другу членами передового по цивилизации общества. Каждое повышение платы за физический и неприятный труд является новым шагом вперед к этому неосуществимому во всей его полноте совершенству. Идея ценности, а следовательно, и употребление монеты появились на свете именно для того, чтобы дать возможность проявиться этому стремлению к полной взаимности. Все, по необходимости, становится более и более продажным, потому что равенство взаимных услуг или обмениваемых продуктов, потребность в котором с каждым днем становится все более сильной и общей среди взаимно обменивающихся лиц, предполагает существование естественной или произвольной общей единицы измерения для этих услуг или продуктов, как бы ни были они разнородны. В психологии высшее моральное равновесие, как понимают его в наше цивилизованное время, представляет собой не моральное равновесие аскета или героя, мученика или стойка, даже не равновесие честного человека XVII века, но равновесие мудреца, который создал в себе не деспотическую или монархическую иерархию, а демократическую республику потребностей, страстей, желаний, живущих в его сердце вместе, на правах равенства, и оказывающих друг другу взаимную поддержку, что, разумеется, предполагает исключение опасных и необщественных наклонностей.

С логической точки зрения зрелище такой полной гармонии представляет нам индивидуально ум, в котором все идеи, обоснованные при помощи научных фактов, связаны в одну истинную систему или теорию, образуют собою переплетающуюся ткань взаимно подтверждающихся суждений; социально такое зрелище представляет нам нацию, в которой царит вежливость, это взаимное подтверждение

самолюбий (правда, только внешнее, но этого достаточно), оказывающих друг другу лестное внимание, и где господствует обмен сведений, так что каждый индивид почерпает в сведениях, получаемых от соседа, новое основание для веры в свои собственные идеи. Мы знаем, что придворная жизнь, где знатные люди льстили самолюбию короля, расширившаяся затем в жизнь салонов, где незначительные люди льстили самолюбию знатных — род односторонней вежливости — является началом, из которого произошла вежливость вообще — этот род взаимной лести; должно заметить также, что этот век доверчивости, т. е. одностороннего единогласия, когда народ сообразовал свои верования с верованиями своих господ и жрецов без взаимности, когда первый получал от последних наставления или сведения, ничего им не давая в обмен, всегда предшествует веку доверчивости взаимной, являющейся чем-то вроде внешнего единогласия. Равным образом можно заметить, что прежде, чем возвыситься до взаимно связанных, взаимно подтверждающихся идей, соединенных в группы и заслуживающих названия теорий, ученый должен был пройти через достаточное число метафизических систем, в которых на несколько малоизученных фактов возложена обязанность поддерживать собою общую формулу, не удастаивающую их даже и взгляда и являющуюся для них общей односторонней связью, хотя сама несколько не связана ими. В некоторых отношениях, как видим, последовательность случаев 5-го, 6-го и 7-го с их логической стороны напоминает собою последовательный ряд трех состояний Огюста Конта: теологического, метафизического и позитивного.

Последний случай, к которому мы теперь переходим, требует некоторого подразделения. Намерение *A* и намерение *B* взаимно оказывают друг другу услуги — потому ли, что *A* благоприятствует *B*, которое является в свою очередь благоприятным для первого, причем каждая из их двух целей является средством для достижения другой, или же потому, что *A* и *B*, оба вместе, являются благоприятными для достижения одной и той же цели, одинаково безразличной по отношению к ним обоим, которую мы назовем *C* и достижение которой требует соединенных усилий их обоих, так как она не может быть получена ни

одним из них отдельно от другого. Другими словами, здесь бывает или взаимная помощь или сотрудничество. Точно так же с логической точки зрения суждение *A* и суждение *B* взаимно подтверждаются или потому, что *A* влечет за собою признание *B* и обратно, или потому, что и *A* и *B* одинаково свидетельствуют в пользу предложения *C*, в котором они оба вместе заключаются. В первом предположении *A* и *B* только поддерживают друг друга, а во втором они направляются к одной идее, которая выше их.

Мы уже дали примеры взаимной помощи или взаимной поддержки и в социальном мире и в сфере индивидуального. Нам остается указать, что является в той и другой среде телеологическим сотрудничеством или логическим совпадением. В сущности говоря, в данных нами примерах это уже заключается. Когда сограждане продают или покупают друг у друга свои продукты и когда промышленность процветает, то это только взаимная помощь между ними; когда же граждане одной страны сражаются на одном и том же поле битвы, под начальством одного и того же предводителя, которому все одинаково повинуются, хотя и различным образом, или точно так же, когда эти граждане послушно повинуются одним и тем же законам и обычаям, являющимся выражением одного и того же национального идеала, охраняемого с религиозным уважением или с юношеским энтузиазмом, тогда перед нами уже сотрудничество. Но в какой стране и когда процветала промышленность, если в ней не царствовали патриотизм и законность? Когда всякое отдельное самолюбие питается теми похвалами, какие воздаются ему самолюбиями, соперничающими с ним, или когда каждый отдельный ученый заимствует у своих собратьев только факты, на которых он основывает свои тезисы, готовый, со своей стороны, оказать такую же поддержку обоснованию тезисов этих других ученых, часто противоречащих его собственным положениям, тогда бывает только взаимная помощь, оказываемая друг другу различными умами, верования и знания которых согласуются в среде нации. Когда же самолюбия всех членов нации согреваются в лучах общего восхищения, исходящих из одного и того же солнца, из одной и той же высокой и патриотической славы, возбуждающей их гордость, или когда различного рода

ученые — ботаники, зоологи, физики, экономисты и другие — все одушевлены в своих разнородных трудах одной и той же общей великой философской идеей, только что заблеставшей на горизонте, или все еще ярким светом склоняющегося к закату уважаемого догмата, тогда будет совпадение направления отдельных умов<sup>56</sup>. Но разве где-нибудь развивалась вежливость без господства славы и разве где-нибудь развивалась научная деятельность без вдохновения, получаемого со стороны системы или догмата?

Сотрудничество желаний и совпадение верований требуют отдельного исследования, и, как мы могли видеть, предыдущая глава представляет собою только развитие этого важнейшего случая. В этом заключается высшая степень, какой может достигнуть согласие суждений и намерений, это предел, к которому стремится всякая неполная гармония в своем усилии подняться выше по лестнице степеней согласия. Умственная и социальная жизнь становятся достойными этого имени только с того времени, когда скопление элементарных ощущений превращается в мозгу в самобытную систему, в преобразующий синтез, результат созидającego процесса объективирования, представляющий собою реалистическое проявление внешнего мира, и когда интересы и идеи племени или деревни обращаются все вместе к одной какой-нибудь цели или к одному общему всем воображаемому объекту, который направляет их в одну сторону и заставляет их почувствовать себя братьями. В самом деле, это очень важное обстоятельство реализуется в психологии теми понятиями о категориях, о которых столько говорят нам логики, а в социологии — созданиями, настолько аналогичными этим категориям, что они, мне кажется, заслуживают того же названия. Это значит, заметим между прочим, что присутствие категорий или того, чему я придал такое название, в уме или в обществе указывает на очень развитую уже логическую или телеологическую работу, на присутствие высшей гармонии, которой должны были предшествовать такие умственные или социальные состояния, когда категорий не было, т. е. когда не было идей материи, силы, пространства, времени, когда не было идеи о Боге, не было языка. Но мы указываем только для памяти на этот докатегорический период, в который нам нельзя

проникнуть, так как с ним не должно смешивать те социальные или психологические периоды, которые я приводил как пример предшествующих классических состояний. Во всех этих периодах согласия низшего порядка, о которых шла речь, являлись комбинированными с согласием высшего порядка, господствовавшим над первыми.

Найдем ли мы реализованной в природе эту конечную форму согласия? Да, но только в произведениях жизни, а не во взаимных отношениях между различными организмами, за исключением отношений социальных, свойственных человечеству. Солнечная система, например, не представляет собою общего тяготения отдельных частей к одной и той же цели, все в ней объясняется взаимным притяжением этих частей между собою и чудо состоит в том, что эта бесконечная противоположность сходных между собою целей разрешается самым величественным из подвижных равновесий. Но в организации, даже растительной, заключается чудо совсем другого, более возвышенного порядка. Клеточки растения как бы не удовлетворяются погоней за достижением своих мелких эгоистических целей и поддержанием добрых соседских отношений между собою, но как бы все вместе стремятся к одному и тому же ботаническому идеалу, не поддающемуся точному определению, но наверное заключающемуся не в том только, чтобы воспроизводить самого себя. Таким образом, жизнь, даже независимо от мысли, уже как бы представляет собой соперничество. И как явственно это проявляется по мере того, как по ее последовательным ступеням поднимаемся до человеческого мозга! Итак, жизнь, самое высокое и последнее произведение природы, является, кажется, только постепенной реализацией самого совершенного логического согласия, конечного члена нашего ряда.

Отметим в заключение вытекающее отсюда стремление к единству. Когда  $A$  и  $B$ , сходясь по направлению и сотрудничая, произвели  $C$ , то в то же самое время другие  $A$  и другие  $B$ , также сходясь по направлению и сотрудничая с своей стороны, произвели  $D$  или  $E$  или  $F$  и т. д. Тогда  $C$  и  $D$  или  $C$  и  $F$  вступают друг с другом в те же отношения, какие существовали между  $A$  и  $B$ , и приходят к произведению  $M$  или  $N$ , и т. д., до бесконечности, до тех пор, пока все не окажется синтезированным в  $Z$  — в едином и всеобщем принципе.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Законы изобретения

#### I

Задача социальной диалектики гораздо сложнее, нежели то позволяет предполагать предыдущая глава. Эта абстрактная схема указывает, правда, нам, какими последовательными состояниями разрешается противоречие или устанавливается согласие между двумя встретившимися между собою идеями или хотениями, но она не говорит нам, откуда они являются, каким образом и почему зарождаются и встречаются. Что же логического заключается в генеалогическом древе этих идей и этих хотений, этих последовательных открытий и изобретений? Каждая из них замещает собою другие или прибавляется к другим, и при помощи этого двойного приема замещения и накопления общества, как и индивиды, стараются удовлетворить не только свое стремление к равновесию, но и свое стремление к непрестанному возрастанию верования и желания. Эти две проблемы, трудные сами по себе и притом противоположные друг другу, порождают третью, заключающуюся в том, чтобы примирить обе первые. Если бы требовалось только привести к равновесию существующие в данный момент количества верования или силы желаний, то обществу довольно скоро пришлось бы застыть на одном месте. Но так как оно стремится в то же время более или менее увеличить размеры этих величин и этих сил, увеличивая их число и делая их разнообразнее, то для удовлетворения этой второй потребности возникают и логически должны возникнуть новые открытия, всегда приносимые извне: торговлей и войной из чужих стран или, так сказать, извне внутреннего как результат уединенных, в некотором смысле внесоциальных, индивидуальных усилий ученого и изобретателя; эти перемежающиеся приношения возмущают начавшее устанавливаться равновесие и снова ставят проблему дальнейшего уравнивания, но уже более сложную,



более трудную. Отсюда и проистекает то, что общества живут до тех пор, пока они прогрессируют.

Постоянная смена одной из этих проблем другой или постоянное их противоположение друг другу всюду встречаются нам в социологии: в лингвистике, где потребность в чистоте языка, влекущая за собой неподвижность грамматик и словарей, сменяется или борется с потребностью в неологизмах, в постоянном возрастании силы и выразительности, достигаемой обогащением словарей и усложнением грамматик; в религии, где систематизирующая, гармонизирующая работа теологов должна всегда начинаться снова и снова, благодаря постоянно появляющимся ересям и новшествах в доктринах, подобно ударам кнута, от времени до времени возбуждающим начинающую потухать горячность веры; в политике, где совершенная гармония властей, достигнутая при помощи расслабляющей централизации, разрушается зарождением или вторжением новых властей, вызывающим временную децентрализацию, которая является стимулом и совершенно естественно подготавливает пути для новой централизации, гораздо более могущественной, если не более притеснительной, нежели первая; то же самое и в законодательстве; то же в эстетике и в морали, где едва только успеет установиться согласие относительно правил поэзии или законов нравственности, считающихся совершенными, едва только закончится установление гармонии между суждениями и желаниями вкуса или нравственных правил и обязанностей, как тотчас стремление к более глубокой и высокой красоте и нравственности порождает новые причудливые *chefs-d'oeuvre* и новые смущающие добродетели; наконец, мы встречаем то же и в политической экономии, где едва только при помощи всеми признанной иерархии и организации труда успеют примириться между собою разнородные интересы и различные отрасли промышленности, как тотчас же новые ее отрасли и новые интересы возникают точно из-под земли и, оживляя ослабевший труд, дезорганизуя и разрушая все, вызывают кризис конкуренции и столкновений, подготавливающий грядущую реорганизацию по гораздо более широкому плану.

Впрочем, проблема равновесия должна быть разрешена, — конечно, только на короткое время, — раньше, нежели представится

в свою очередь проблема максимума. Идти можно только при условии, если раньше стали твердо на ноги. Статически социальная логика достигает своей цели, когда противоречие одного индивидуума другому уничтожено в данный момент. Только после этого она может стремиться удовлетворить себя динамически, стараясь, чтобы последовательные состояния общества, каждое из которых охватывает его целиком, по возможности не противоречили друг другу. Тем не менее это последнее противоречие — но никогда не первое — часто требуется для упорного и настойчивого стремления к социальной цели.

Есть еще одно усложнение социальной проблемы. Не только стремление к равновесию и стремление к максимуму мешают друг другу как собственно в логике, так и в телеологии, но еще как социальная логика и телеология, так логика и телеология индивидуальные взаимно сбивают друг друга с пути в своем параллельном течении и тянут иногда в разные стороны общество, страдающее от их разъединения. Так объясняются те очевидные и даже вопиющие противоречия, которые поражают всех наблюдателей и дают повод поверхностным умам говорить, что «человек — существо нелогичное». Возьмем, например, явление переживаний, в изобилии встречающихся в каждом социальном состоянии; не трудно заметить, до какой степени новый принцип часто противоречит старинной форме, служащей ему внешним одеянием или маской. Нам говорят, что у некоторых первобытных народов обмен прикрывается старинной формой грабежа, свадебный договор — формой похищения; третейский суд, который установился после судебного поединка и уничтожил его, заимствовал от него обряд подобия борьбы; Римская республика, заменив собою царскую власть, начала с того, что наделила своих двух консулов, или, лучше сказать, своих преторов, псевдоцарскими prerogativaми. Из всего этого некоторые считают себя вправе сделать следующее заключение: «тот, кто вздумает при помощи логики объяснить непостоянство человеческого рода, может обладать большой ученостью, но никогда ничего не поймет в истории».

Писатель, выражающийся таким образом, забывает, что он утилитарист и что принцип полезности, этот ключ к объяснению всего в мире, которым пользуются социологи его школы, в конце концов

представляет собой только телеологию, т. е. логику желания. Если ассоциацию людей могли сравнивать с организмом, то именно только в силу той внутренней целесообразности, которая путем взаимной помощи или совпадения функций делает последние настолько солидарными между собою, что они попеременно бывают одни для других целью и средством. Но если это так, то после организованных тел общества являются наиболее логичным из всего существующего в мире. Противоречия! Но ведь логика живет ими, так как она только и делает, что разрешает их; они являются душой прогресса, и вопрос заключается не в том, существуют ли они, многочисленны и велики ли они, а только в том, стремятся ли они или нет к уничтожению в силу потребности в согласии, интенсивность которой меняется вместе со временем и местом, и в том, не бывает ли эта потребность тем интенсивнее, чем общественнее и цивилизованнее данный народ. Существуют ли сомнения относительно этого? Не ясно ли, что хаос, историческая непоследовательность представляет собой то брожение, из которого с трудом вырабатываются такие чудесные и оригинальные системы идей и проявлений деятельности, проявлений деятельности или идей, как язык со своей всегда более или менее рациональной грамматикой, религия со своей зачаточной или усовершенствованной теологией, политическое устройство, кодекс или кодексы, являющиеся иногда воплощением самого разума, подобно *Corpus Juris* и т. д.? Дерево должно оценивать по его плодам, а общества — по их окончательным произведениям, а это они именно и есть. Что касается переживаний, то представляемые ими противоречия являются таковыми только с точки зрения согласия суждений; но таковы ли они с точки зрения согласия хотений? Я согласен с тем, что монархические формы, сохранившиеся в зарождающейся республике, заключают или кажутся заключающими в себе принцип, несогласный с принципом республиканским; но сохранение этих уважаемых форм, уважаемых по причине человеческой подражательности, не заключающей в себе, как мы знаем, ничего нелогичного, является — по крайней мере на время — лучшим средством для достижения республиканской цели, заключающейся в укреплении республики.

Это замечание относится ко всем другим примерам, какие нам противопоставляют, а также и ко всем тем гораздо более важным, которые могли бы нам противопоставить. Сколько отречений, сколько противоречивых изложений своих убеждений должен часто нагромоздить человек для торжества своего честолюбия, всегда неуклонно стремившегося к одной цели! Что справедливо относительно индивидов, справедливо и относительно обществ. Те общества, которые — как Спарта или Англия — в своих отношениях к окружающим социальным группам меньше других стесняются тем, что их уличат во лжи, являются наиболее цельными и компактными, а их коллективные намерения отличаются наибольшею традиционной определенностью и неуклонностью. Каждый раз, когда общество переменяет свой центр тяжести, в эпохи нравственных переворотов, появляются и логически должны появляться другие противоречия, гораздо более удручающие, хотя явственные, но никем не замечаемые. Афины после правления тридцати тиранов снова становятся демократией, но демократией плутократической. «Многочисленные слуги, — говорит Курциус, — роскошная упряжь, драгоценная одежда и утварь — вот чем гордились, и гордость богатых, как бы сильно она ни противоречила духу конституции, не только не осуждалась общественным мнением, но даже, наоборот, руководила массой и доставляла влияние и уважение». Общественное мнение в этом отношении явно противоречило конституции, кающемуся принципу тогдашнего общества, но оно весьма и весьма гармонизировало с действительным его принципом, которым была господствующая страсть к богатству. Всякая демократия, превращающаяся в плутократию, увидит или уже видит у себя такие аномалии.

Здесь собственно логика принесена в жертву телеологии. В других случаях, наоборот, логическое согласие достигается при помощи несогласия телеологического, как бывает, например, когда нация, желающая избежать противоречия со своими принципами, поступает противно своим очевидным интересам, отказывается от союза с еретическими державами или изгоняет трудолюбивых еретиков, уносящих с собою благосостояние нескольких провинций. Народу часто приходится выбирать между благами, проистекающими из воз-

растающего единомыслия умов, и благами, доставляемыми растущим сотрудничеством хотений, и его выбор, как это и должно быть логически, изменяется сообразно с мнением, составленным им об относительной важности этих двух великих благ. Итак, под многими кажущимися социальными нелогичностями скрывается реальная и глубокая логика и — мог бы я в свою очередь заключить — тот, кто хочет объяснять социальные факты без ее помощи, может сколько угодно собирать и нагромождать друг на друга всевозможные истории диких и варварских народов — он никогда не будет много смыслить в социологии<sup>57</sup>.

## II

Уничтожение противоречий чаще всего является только их перемещением, а последнее может происходить по двум противоположным направлениям: 1) подстановка одного суммарного противоречия, общего и широко захватывающего, но непостоянного и не компактного, вместо многочисленных и постоянных индивидуальных противоречий в деталях, или 2) обратная подстановка. Иначе говоря, в первом случае индивидуальная логика приносится в жертву логике социальной, а во втором последняя приносится в жертву первой. Что же лучше? По-видимому, здесь должно отделить собственно логику от телеологии и ответить, что пожертвование индивидуальной телеологией в пользу телеологии социальной действительно является прогрессом, но нельзя сказать того же о пожертвовании индивидуальной логикой в пользу логики социальной. Если бы мы уничтожили постоянные национальные войска, то через некоторое время граждане принуждены были бы сформировать местные милиции, или же при отсутствии последних им пришлось бы не выходить на улицу невооруженными; уничтожили бы войны между отдельными государствами только для того, чтобы заместить их частными войнами одного города с другим или одного пригорода с другим, как в средние века. Если бы разрушили укрепления пограничных городов, то вскоре города внутри страны должны были бы возобновить свои старинные ограды. Это было бы неоспоримым злом. Но когда разрушается какое-нибудь великое национальное *credo*, какой-нибудь господствующий катехизис, то

становится невозможной борьба между ним и другими культами и уничтожается источник кровавых религиозных раздоров; несмотря на то, что тотчас же начинают размножаться индивидуальные *credo*, маленькие индивидуальные философии, борющиеся между собой, все-таки даже в самых оживленных препирательствах, в самых резких полемиках, порождаемых этими разногласиями, нельзя видеть эквивалента тем потокам крови, пролитие которых они устранили. Такая победа индивидуальной логики над социальной бывает очень счастлива с точки зрения социального спокойствия.<sup>58</sup> Другие случаи труднее. Если в стране распадаются существующие в ней различные корпорации, синдикаты производителей или потребителей, то столкновения между этими организациями прекращаются, но их замещает собой нескончаемая сумятица мелких торговых сделок, представляющих собою то же самое, но размененное на мелкую монету. Имеется ли здесь в конце концов прогресс или упадок? Колебание в ответе вполне позволительно.

Как на исторический пример известного противоречия, плохо разрешенного и долгое время вновь возрождавшегося, укажем на борьбу духовной и светской власти по поводу инвеституры духовенства. Казалось бы, для разрешения конфликта достаточно точно отличать в епископе или священнике, которому пожалован церковный приход, духовное лицо, зависевшее только от папы, и собственника прихода, являвшегося в силу своей светской власти вассалом императора или его вассалов. Однако для принятия этого различия, при всей его простоте, потребовалось более ста лет; в действительности эта двойственность личностей в одном и том же индивидууме является фикцией, аналогичной тем, при помощи которых законоведы маскируют непоследовательность в законах. Тем не менее она была санкционирована вормским Конкордатом (1122 г.). Таким образом, если бы был положен конец кровавым столкновениям и сражениям, то все же остались бы существующими, быть может, даже умножились бы те бесчисленные волнения, какие проистекали из столкновения в одном и том же индивидууме двух различных, часто противоречивых властей, одновременно заявляющих свои права на него. Единственным правильным разрешением было бы или соединение обеих властей, светской и

духовной, в лице папы, причем император превратился бы в его вассала, как мечтали Григорий VII, Адриан IV и Иннокентий III, или соединение их в лице императора, к чему втайне стремилась наиболее радикальная фракция гибеллинов, или же, наконец, отказ духовенства от всех своих светских владений или их секуляризация, как того хотел Арнольд Брешианский<sup>59</sup>.

Из этих трех решений последнее одержало верх в большей части Европы. Но немногого не хватало для того, чтобы не восторжествовало первое, подобно тому, как в древней Японии и во всех азиатских теократиях; второе установилось в России и в Англии времен Генриха VIII, как и в Китае. Но многочисленность возможных исходов этой подлинной драмы не представляется исключительной; это факт, очень обыкновенный в истории. История представляет собой не одну почти прямую дорогу, а целую сеть дорог, чрезвычайно извилистых и сплошь усеянных перекрестками. Мы можем сделать еще более широкое обобщение: социальное развитие ничем не отличается в этом отношении от собственно истории, даже в самых, по-видимому, непрерывных и спокойных его проявлениях, подобных эволюции языка, права, религии, промышленности, правительственных форм, искусства, морали. На каждом шагу дорога, лежащая перед прогрессом, расходится по двум или по трем различным направлениям<sup>60</sup>, не всегда приводящим к одному и тому же конечному пункту, подобно разветвлениям реки в ее устье, но часто все более и более расходящимся, — конечно, только до известных пределов, до которых простирается эластичность человеческой натуры. Иллюзия узкого, единолинейного эволюционизма, которому, неизвестно каким образом, удалось заставить считать себя единственно правоверным видом трансформизма, именно и состоит в отрицании этой великой истины под предлогом детерминизма. Можно сколько угодно быть детерминистом и трансформистом и в то же время утверждать многочисленность возможных направлений развития и случайностей прошлого во всякой области социальных фактов и даже фактов природы. Для этого нет надобности предполагать вмешательство свободной воли, свободной прихоти человека или божества, выбирающего то, что ему нравится, среди всех этих идеальных направлений;

для этого достаточно верить в начальную разнородность и автономию элементов мира, которые заключают в себе скрытые свойства, до их реального проявления остающиеся неизвестными и непознаваемыми даже для беспредельного ума, и которые, реализуя их по присущим им законам и в момент, указанный этими же законами, вызывают из глубины бытия на поверхность в область явлений нечто действительно новое, что невозможно предвидеть заранее. Притом же, если даже устранить эту гипотезу, то все же разделение необходимого и случайного<sup>61</sup>, необходимого детерминизма и случайного детерминизма в другом, более ограниченном смысле, можно было бы обосновать на относительной независимости отдельных правильных серий причинной последовательности, правильность которых нарушается при встрече и столкновении или переплетении их между собою, после чего получает начало новая серия. В этом смысле можно также со всей справедливостью сказать, что случайное является источником или точкой исхода необходимого и что нет такого последовательного развития, которому не способствовали бы тысячи случайностей.

### III

Прежде, нежели идти дальше, я должен дать точное объяснение относительно этого понятия возможного, о котором только что шла речь и которое представляет основное значение, так как является существенным, но слишком мало признаваемым основанием всякого научного закона. Действительное может быть понимаемо только как случай возможного. Как бы мы ни объясняли факты: при помощи ли свойства, подобно Литтре, при помощи ли признаков, подобно Тэну, при помощи ли общеупотребительных терминов, сил или способностей, нам всегда придется допускать, что эти свойства, силы, способности, признаки, взаимные отношения которых между собою — изолированные путем абстракции и обобщенные при помощи наших формул, — называются законами, представляют собой источники не только реально существующих, но и условно возможных явлений. Раз даны эти скрытые основы, мы не можем утверждать действительную необходимость явлений, представляющих собой результат их встречи, не утверждая в



то же время необходимости других явлений, которые могли бы получиться, если бы произошли другие встречи, но которых, может быть, никогда не было и не будет. Заметим, что именно в самом принципе детерминизма, именно в этой идее необходимости, которая на поверхностный взгляд кажется как бы исключающей возможность того, чего нет, чего не было или не будет, — именно тут-то и почерпнет право на утверждение идея возможности, т. е. обусловленной необходимости и достоверности. Именно наблюдение связи между фактами, указание на их одинаковое воспроизведение при одинаковых условиях при существовании других, не наблюдавшихся условий. Именно потому, что мы сказали: «факт *A* связан с фактом *B*», мы делаем заключение: «Если факт *A* будет воспроизведен позже или в другом месте, то и факт *B* также воспроизведется»; это достоверно, хотя не достоверно то, что факт *A* будет воспроизведен в другом месте или позже. Я считаю эту достоверность неизмеримой интеллектуальной ценностью; разница между законом эмпирическим, вроде закона Бюде, и законом научным, вроде закона Ньютона, состоит именно в том, что второй обладает несметным скрытым содержанием и приложим даже к неосуществимому. Светозарная и глубокая истинность закона притяжения вытекает из того, что он применим не только ко всей совокупности планетных притяжений и пертурбаций, которые действительно существуют, но и ко всем тем, которые могли бы существовать во всей бесконечности времени и пространства. Подобно тому, как существующее в данный момент представляет собой бесконечно малую часть реального в прошлом, настоящем и будущем, так и это реальное представляет собой только бесконечно малую часть истинного.

Можно было бы сказать, что над жизнью и последовательным сцеплением реальностей существует безмолвная жизнь, мирное последовательное сцепление возможностей. Эта несметная толпа обусловленных достоверностей, которым никогда не удастся увидеть все различные, обуславливающие их элементы существующими одновременно, делает шаг вперед к своему реальному осуществлению каждый раз, когда появляется новый, входящий в это сложное обуславливающее целое элемент, или удаляется от этой реализации

каждый раз, когда уничтожается один из таких уже существующих элементов, и ничего нет беспокойнее судьбы этих теней, живущих в царстве пустоты. Построение системы зародышей явлений было химерой; построение системы связанных между собою возможностей является неоспоримой истиной. Дети, каких имел бы данный мужчина, если бы он женился на такой-то женщине, вместо того, чтобы жениться на другой, представляют собой возможности первой степени, дети, каких могли бы, в свою очередь, иметь эти последние от других реальных или возможных женщин, являются возможностями второй степени и т. д. Таким образом можно продолжать дедукцию без конца, так как достоверно, что законы жизни были бы приложимы к этим гипотетическим детям тысячной или миллионной степени так же, как они приложимы к нам. Идя в этом направлении, пришли бы к заключению, что невозможное представляет собой возможность в бесконечной степени. Другой пример: если бы сражение при Марафоне было проиграно Мильтиадом, то Греция была бы завоевана; это завоевание является возможностью первой степени. Вытеснение греческой цивилизации и греческого языка цивилизацией и языком персов, представляющее собою гипотетическое последствие этого завоевания, является возможностью второй степени и т. д. Наука может доставить нам много примеров, более поучительных. После того, как Кеплер формулировал свои три великих закона, открытие всемирного тяготения сделалось возможностью первой степени; такой же возможностью стало открытие электрического телеграфа после наблюдений Эрстедта и исследований Ампера, или открытие часов после сделанного Галилеем открытия изохронизма качаний маятника, или приложение алгебры к геометрии в некоторый определенный момент параллельного развития этих обеих наук. Строго говоря, открытие закона Ньютона и электрического телеграфа было возможно и до Кеплера или до Ампера, но это была возможность низшего порядка\*. Ампер и Кеплер перевели из второй или третьей степени в первую возможность этих двух

---

\* Математически (численно) следовало бы сказать высшего порядка. —  
Примеч. перев.

познаний астрономического и физического. Заметим, какое значение приписывают выдающиеся ученые этому переходу и даже точному времени этого события. По торжественному указанию самого Кеплера именно в 1618 г. принцип Ньютона становится зрелым и могущим проявиться. В тот день, когда один ученый настоящего столетия отметил характерные линии, видимые в световом спектре паров натрия, астрономия и оптика созрели для того плодотворного сопоставления их, которое было названо спектроскопией, для этого чудесного откровения внутреннего строения небесных тел. Таким образом, каждая наука представляет проницательному критику, изучающему ее историю, подобно Огюсту Конту, Курно, Литтре, особый момент зрелости для зарождения каждого из ее открытий. Этот момент зрелости и есть тот момент, когда произошел переход, о котором я только что говорил. Таким образом, каждый раз, когда какая-нибудь реальность, в особенности какое-нибудь открытие или изобретение, оказывается заглушенной или встречает помеху для своего осуществления, то вместе с нею всегда уничтожается и сопровождающая ее свита возможностей; но точно так же каждый раз, когда такая реальность рождается, она подвигает на шаг вперед свою свиту возможностей. Итак, можно сказать, что возможность подвигается вперед к осуществлению или отодвигается от него дальше и вообще находится в движении еще до этого осуществления.

Отсюда вытекает одна важная истина: всякое развитие состоит из последовательного ряда неудач, претерпеваемых или всеми различными зародышами, которым это развитие не дает развиваться, или же самим развивающимся существом, которое жертвует одной из своих скрытых способностей для каждой ступени реализации, для каждой степени специализации самого себя. Сколько зародышей, беспрестанно приносимых в жертву, приходится на один спасенный зародыш, согласно предположению панспермии! А борьба за существование и подбор! Несомненно, что недоразвившиеся зародыши представляют подавляющее большинство в этом мире. Но даже и те, которые находятся в привилегированном положении, являются жертвами: они необходимо должны уродовать себя собственными руками для того, чтобы подвинуться на шаг вперед<sup>62</sup>. Не представляет ли этот закон неудач, необходимо

сопровождающих всякое развитие, соображения, весьма способного сделать а priori неправдоподобным единойлинейное направление эволюции?

#### IV

Что справедливо относительно эволюции вообще, справедливо и в отдельности относительно эволюции обществ, а в каждом из них относительно эволюций лингвистической, религиозной, политической, экономической, эстетической, моральной, из совокупности которых и состоит эволюция общества. Столько же имеется здесь более или менее логически последовательных рядов изобретений, более или менее логически сгруппированных и соединенных между собою, и было бы одинаково ошибочно думать, что эти изобретения следуют друг за другом без всякого порядка или что они подчинены одному неизменному порядку или хотя бы даже одному нормальному порядку. Если мы хотим понять существующие изобретения и найти управляющие ими законы, то прежде всего следует никогда не упускать из виду бесконечное поле возможных изобретений. В действительности, в начале существования различных социальных групп это поле было особым образом сужено вследствие тирании основных, настоятельных потребностей организма, приблизительно одинаковых повсюду, удовлетворить которые необходимо было прежде всего и которые принуждали человеческий гений работать в одном и том же направлении с очень слабыми отклонениями. Отсюда почти неизбежное тогда появление некоторых открытий, подобных горшечному ремеслу, открытию огня, умению строить хижины, сшивать шкуры животных или умению ткать, и почти невозможность каких-либо стремлений к роскоши. Тем не менее всегда, даже в самом начале, оставалось некоторое место для проявления социальных особенностей, и эта область увеличивалась по мере того, как удовлетворение непосредственных органических потребностей давало больше места потребностям более искусственным, т. е. более социальным по существу, зарождению которых сами изобретатели способствовали больше, нежели внешние обстоятельства или расы. Стремление к далеким морским путешествиям, например, не имеющее в себе ничего первобытного, сделалось интенсивным в среде приморских народов

только после изобретения кораблей с килем и очень интенсивным только после изобретения компаса; одного только соседства с морем было мало для воспроизведения последнего; что же касается первых, то совершенно ясно, что этому судостроению должны были предшествовать сухопутные плотничьи сооружения, более легкие, которые также ничем не связаны с морем. Наконец, самая простая попытка плавания в выдолбленном стволе дерева могла произойти только после того, как были сфабрикованы металлические или кремниевые инструменты, пригодные для обработки дерева, а это изобретение не имеет в себе ничего специально морского.

Одно открытие всегда носит в себе другие открытия, но неизвестно появятся ли из него последние, а если появятся, то когда и в каком порядке. Открытие буссоли носило в себе открытие Америки и Океании в том смысле, что фактически невозможное без магнитной стрелки нахождение этого континента или этих архипелагов становится более или менее вероятным после ее открытия: очень мало вероятным через промежуток времени в 50 лет, немного более вероятным через промежуток в 2 или 3 столетия и очень вероятным или даже вполне достоверным через 1000 лет. Во всяком случае ясно видно, что из этих двух открытий первое должно было предшествовать второму. Но Флорида могла стать известной безразлично раньше или позже Бразилии, а Новая Каледония раньше или позже Новой Голландии. Открытие письма, очевидно, должно было предшествовать открытию книгопечатания; открытие арабских цифр было необходимо раньше успехов наших математиков. Прежде же всего, открытие членораздельной речи является условием *sine qua* поп для всяких других открытий. Несомненно, появление научных открытий подчинено известному порядку, который указал в общих чертах Огюст Конт, а Курно подтвердил и развил более подробно, и который можно было бы поставить как социологический принцип наряду с биологическим принципом последовательной зависимости признаков. Но чтобы там ни говорил Курно, разве открытие кровообращения не могло бы быть сделано как до, так и после открытия истинного характера дыхания и пищеварения?

Понимать эволюцию в каком бы то ни было разряде фактов как один последовательный ряд фазисов, зависящих исключительно друг от друга, как бесконечно повторяющийся без значительных вариаций цикл, было бы совершенно равносильно тому, если бы допускали возможность движений только по одному единственному направлению в пространстве, и свели бы таким образом последнее к одному измерению. Движение представляет собой только символическое изображение эволюции. Мы не можем понимать последнюю менее широко, нежели первое. Мы видим бесконечное поле Пространства-Времени открытым для бесконечного разнообразия, для чудесного множества форм движений, причем эта кажущаяся свобода нисколько не мешает их строгому разграничению, точному приложению законов механики, суммарным понятием и общей приложимостью которых, так сказать, является Пространство-Время, и, стало быть, мы должны а priori сказать — и это, по-видимому, вполне оправдывается наблюдением над фактами, — что законы логики, этой внутренней механики, открывают не менее широкий выход для неисчерпаемого разнообразия эволюций жизненных, психологических или социальных. Существует логика жизненная (представляющаяся нам чаще всего с своей телеологической стороны), совершенно так же, как есть логика умственная и социальная. Значит, если Пространство-Время является суммарной приложимостью механики, то с таким же правом можно сказать, что Жизнь, род пространства, в котором происходит всякое биологическое развитие, представляет собою суммарную приложимость жизненной логики, а Ум — род пространства, в котором происходит всякое психологическое и социальное развитие, — есть суммарная приложимость индивидуальной и социальной логики. Таковы три основные среды, из которых только у первой есть в нашей способности ощущения соответствующая ей форма, но это, однако, не значит, что две другие менее реальны. Электричество не менее реально, нежели свет, хотя у него и нет, подобно второму, своей специальной ноты в гамме наших чувств.

Нет ничего более противоречащего духу дарвинизма, если в него вдуматься, нежели гипотеза только одного возможного генеалогического дерева видов. Только с точки зрения предустановленности системы

органических преобразований, как понимает ее Негели, можно считать первый живой зародыш в эпоху возникновений жизни, заключающим в себе весь строй грядущих видов, притом только один этот строй, подобно тому, как в человеческом зародыше в скрытом состоянии заключается целиком будущий взрослый человек и притом исключительно один этот человек. Дарвин без прямого указания, но самым решительным образом опровергает такое представление, так как преобразования видов он объясняет чисто внешними причинами, давлением изменяющихся условий, которое принуждает организм постоянно все снова и снова приспосабливаться к этим условиям путем естественного подбора вместе с органическим соответствием частей (имманентная логика жизни), проявляющих свое действие над бесчисленными самопроизвольными вариациями. Но если бы даже согласились с Негели, что трансформизм видов обуславливается прежде всего внутренними причинами, то следует ли согласиться с ним и относительно единства программы жизни, осуществляемой по частям, кусок за куском, подобно плану архитектора? Нет, это даже было бы невозможно; Вейсман в возражение Негели указывает на тот основной факт, что каждый вид оказывается целиком, до самых мельчайших подробностей организации, удивительным образом приспособленным к тем обстоятельствам, среди которых ему приходится существовать, и если бы в силу требований, предъявляемых заранее установленным неизменным планом, он мог и должен был появиться в определенный момент и в определенном месте вечности, то эта предустановленная гармония была бы величайшим чудом. Но тем не менее Вейсман, по моему мнению, заблуждается, считая поэтому обязательным сохранить верность чисто внешним причинам дарвинистского эволюционизма. Тут возможна еще третья гипотеза, состоящая в том, что, допуская внутреннюю причину органического развития, предоставляют влиянию внешних обстоятельств направление этой скрытой силы в сторону тех или других возможных, условно необходимых видов, какие носит в себе вид, существующий в данный момент, и большая часть которых заранее осуждена на недоразвитие. Я охотно сравнил бы, хотя бы только в виде метафоры, затрату жизненного обновления, органической приспособляемости,

которая расходуется при появлении нового вида, с затратой гениальных изобретений, какая происходит в наших обществах, когда в этом начинает чувствоваться потребность. Изобретение и приспособление — это одно и то же. Ничто не напоминает нам в такой степени новоизобретенную машину, как заново созданный жизнью орган<sup>63</sup>.

## V

Во всяком случае достоверно то, что мы можем понять появление изобретения, только обратив внимание одновременно как на внутреннюю причину, на умственную работу гения, так и на причины внешние. Это значит, что должно различать законы изобретения логические и внелогические, подобно тому, как я это сделал в другом сочинении по отношению к подражанию. Что такое, в самом деле, гений, как не ум, поскольку он является замечательно изобретательным? А самый ум разве не представляет собой, как мы уже говорили, среду, в которой возникают все возможные логические (или нелогические) комбинации? Обратимся сначала к причинам внешним.

Они бывают двух родов: жизненные и социальные. Жизненные — это те, которые путем целого ряда счастливых встреч между собою произвели самый гений, эту высшую случайность<sup>64</sup>. Социальными причинами являются все те религиозные, экономические, политические, эстетические, лингвистические и другие влияния, которые зарождаются в силу подражательного заражения, происходящего сообразно законам подражания, и которые, соединяя в гениальном уме различные элементы будущего изобретения, направляют к последнему усилия гения и реализуют, но в то же время и специализируют эту способность гениальности. Гений — изобретение жизни, очень странное и чреватое поразительными социальными изобретениями, — является одновременно и самым высоким произведением жизни, высшим источником общества. В нем выражается деятельность не смутная и непрерывная, а, наоборот, перемежающаяся, отчетливо определенная и действительно важная; если мы захотим исследовать эту деятельность несколько глубже, то должны положить в основу всего разнородные, характерные и оригинальные элементы, без которых ничто не объясняется. Здесь



не место останавливаться на физиологических, а иногда и патологических условиях развития гениальности и на ее преувеличенной или дурно истолкованной связи с безумием<sup>65</sup>. Точно так же нам нет надобности останавливаться и на социальных условиях гениальности, которые, однако, также существуют, и де Кандолль в своей «Истории наук и ученых» перечисляет некоторые из наиболее замечательных. Мы должны обратиться к социальным условиям изобретения, считая гениальность существующей. Следует ли, например, включить в число условий, вообще благоприятствующих проявлению изобретательности, разделение на отдельные маленькие государства, подобные древним греческим городам или средневековым итальянским республикам, ввиду того, что появившиеся на свете и взлелеянные в этих тесных колыбелях, Провидением подготовленных для них, зародыши наук, искусств, ремесел потом распространяются оттуда в великих империях, в Македонии, империи Александра, Римской империи, в европейских монархиях, очень удобных для их развития и распространения, но не для создания? Два приведенных примера позволяют, по-видимому, ответить на этот вопрос утвердительно, но если всмотреться в дело ближе, то увидим, что здесь имелись налицо расы, удивительно одаренные от природы и притом получившие от предшествовавших им великих государств основные и побуждающие к движению вперед идеи, без которых они ничего не могли бы произвести. Греческие города унаследовали кое-что из архитектуры, скульптуры и письма, возникших в Египте или в Азии; итальянские города получили возродившиеся на заре новой истории искусства древнего Рима. Как не поразиться тем, что эти маленькие государства сделали столь мало успехов даже в военном искусстве, т. е. даже в той области, где их постоянные братоубийственные войны должны были предъявить изобретательному уму самые настоятельные требования. Афины существовали целые века при одном и том же вооружении, с одною и тою же стратегией. Истинные военные нововведения пришли со стороны тех варваров, которых так презирали эллины: македонская фаланга, римский легион, точно так же, как позже они вышли из Испании Карла V, из Пруссии Фридриха, из Франции Наполеона. Величайшим открытием нового

времени, открытием Нового Света, мы обязаны генуэзскому моряку, который мог выполнить его только благодаря колоссальной испанской империи. Никогда гений изобретательности не был таким блестящим, как в Европе настоящего столетия, и никогда не существовало такого общего стремления к централизации, к обширным агломерациям<sup>66</sup>.

Такой результат не должен нас удивлять, если примем в соображение, что всякая новая идея представляет собою только комбинацию прежних идей, появившихся в различных, часто очень удаленных одно от другого местах, что первым условием для их комбинирования является встреча их в уме, способном к такому комбинированию, и что чем более возрастание государств и расширение их границ облегчает подражательное распространение этих элементарных изобретений, исходящих каждое из места своего рождения, тем более шансов на то, что два таких луча подражания интерферировались в одном изобретательном или гениальном уме. Тот, кто одержим манией законодательства, может относительно этого формулировать несколько законов. Даны идея  $A$  и идея  $B$  и требуется отыскать степень вероятности идеи  $M$ , которая может получиться в результате их логического или телеологического соединения из числа многих идей  $M, N, O, P$ , также способных появиться отсюда. Ответ: 1. Появление идеи  $M$  тем вероятнее (при всех прочих одинаковых условиях, само собою разумеется), чем менее отдалены друг от друга те страны, в которых появились идеи  $A$  и  $B$ , чем легче сообщение между этими странами и чем больше давность их появления. Эта вероятность, выражаясь несколько смешным математическим языком, обратно пропорциональна квадратам расстояния и затруднительности сообщения между этими странами и прямо пропорциональна давности идей  $A$  и  $B$ . 2. Раз  $A$  и  $B$  начали распространяться в какой-нибудь нации, вероятность появления  $M$  тем более, чем многочисленнее эта нация. 3. Эта вероятность тем меньше, чем больше трудность.

Должен сознаться, что трудность изобретения — величина странная; тем не менее можно ли отрицать, что в этом понятии не кроется некоторая доля истинности? Между идеей, очень легкой для понимания, и идеей, очень трудной для понимания, огромное расстояние. Прекрасно знаю, что обыденный язык отказывает в названии изобретений или открытий комбинациям идей очень легких и сохраняет

его только для комбинаций более трудных. Однако самые простые идеи бывают часто самыми плодотворными. Нет ничего проще, как выражать абстрактные величины при помощи букв азбуки и в особенности выражать неизвестные величины буквами  $x$  или  $y$ , между тем, в этом заключается вся алгебра. Идея палки, рычага, колеса, идея бросить в поток воды ствол дерева, проложить дорогу по долине, акклиматизировать новое растение или приручить новое животное — все такие идеи могли самопроизвольно зародиться в уме, но тем не менее они преобразовали мир. Затем, незаметными переходами поднимаются от этих очень легких идей или от многих, еще более легких, к комбинациям более затруднительным, и было бы вовсе не философично видеть различие в характере там, где есть только различие в степени. Отметим теперь относительность этого различия. Такая-то художественная идея сама собою появится у грека, и потребуются века на то, чтобы она проникла в череп римлянина; такая-то юридическая идея легко зародится в уме римского патриция и никогда не придет на ум ученику Аристотеля или Платона. Следовательно, трудность, о которой мы говорим, представляет собою нечто относительное, зависящее от расы, или, лучше сказать, от нации, и прибавим также, от исторического момента. Сверх того, эта трудность бывает более или менее велика, смотря по тому, требуется ли для постижения идеи  $M$  большая или меньшая степень превосходства над средним уровнем ума, существующим, не говорю вообще, в данном народе, но в той его части, которая знает обе его идеи  $A$  и  $B$ . Уровень ума этой части, когда она является избранной, часто далеко превосходит средний уровень ума той толпы, из которой она вырастает. Например, в математике новооткрытая математическая теорема, будучи сопоставлена с другой, давно известной теоремой, тотчас же приводит к заключению, самопроизвольно появляющемуся в уме математиков. Это значит, что построение этого заключения чрезвычайно легко и некоторым образом фатально, так как оно требует только той средней степени умственных способностей, которая свойственна всем геометрам, знающим обе эти теоремы, хотя, впрочем, эта обыкновенная степень окажется очень высокой при сравнении ее со степенью умственных способностей публики вообще.

По поводу индивидуальностей, более или менее уклоняющихся от средней величины, припомним статистические данные Гальтона и других. Эти отклонения описывают волнообразную кривую, никогда не выходящую за известные пределы. Для этих исключений из правила существует некоторого рода правило. Такая-то раса, такая-то нация содержит в себе большее или меньшее число исключений и притом более или менее исключительных. Итак, если достижение идеи  $M$  требует умственных способностей, скольконибудь превосходящих тот высший уровень, до которого могут подняться избранные в каком-нибудь народе, которым известны идеи  $A$  и  $B$ , то очевидно, что оно там будет так же невозможно, как и в том случае, если бы  $A$  и  $B$  были им неизвестны.

Если постижение  $M$  требует умственной силы, очень редкой в среде тех, которые знают разом  $A$  и  $B$ , если число последних очень мало, если умы их очень мало различаются по своим размерам, — прибавлю еще, если умы их очень мало деятельны и самостоятельны, — то понадобится очень долгое время на то, чтобы постигли идею  $M$ . Этому случаю соответствует всякая начинающаяся цивилизация. Тогда случай играет неизмеримо большую роль и достаточно бывает случайного появления одного великого человека, чтобы значительно сократить продолжительность времени, о котором идет речь. Наоборот, если знание  $A$  и  $B$  очень распространено, если умы тех, кто их знает, очень различны по размерам, очень деятельны и независимы и если сила ума, потребная для постижения  $M$ , очень обыкновенна в их среде, то достаточно будет весьма короткого времени, чтобы пришли к этой идее. Этому случаю соответствуют зрелые и процветающие цивилизации. Здесь также случай, но случай злополучный, может вызвать увеличение продолжительности этого времени, подобно тому, как выше он мог сократить его. Но для того, чтобы увеличить его значительно, теперь было бы необходимо гораздо больше несчастливых обстоятельств, нежели было необходимо в предыдущем случае обстоятельств счастливых для его значительного сокращения. Вообще значение случая все уменьшается по мере того, как общества прогрессируют, и взаимное сцепление следующих друг за другом идей — не говорю фактов — все больше стремится в них к приобретению общего характера

фатальной последовательности, хотя при детальном рассмотрении все сохраняет вид случайности. Под регулирующим влиянием больших чисел случай из свободного работника превращается в верного слугу разума.

Но заметим тут же, что это справедливо только до некоторого определенного предела трудности изобретений, до некоторой ее степени, изменяющейся от народа к народу, от эпохи к эпохе. Но всегда настает момент, когда трудность открытия новых идей все растет и растет очень быстро, гораздо быстрее облегчения деятельности гения изобретательности под влиянием увеличения численности народонаселения и распространения наук в массах. Отсюда, несмотря на возрастание этих ресурсов, неизбежна остановка цивилизации рано или поздно. Знание идей *A* и *B* может быть как угодно широко распространено, может все больше и больше распространяться среди умов, очень независимых, очень неодинаковых и очень трудолюбивых; тем не менее, если идея *M* требует способностей, чрезвычайно редких даже в среде этих избранных, то должно пройти чрезвычайно много времени, пока эта идея не будет постигнута. Этот случай стремится сделаться всеобщим по мере того, как исчерпываются открытия малой или средней трудности и приходится обращаться к идеям, находящимся на высотах или глубинах, так сказать, зателескопических или замикроскопических. Следовательно, что касается этого третьего неба изобретения, то там роль индивидуальной случайности совсем не уменьшается, но может только увеличиваться, и она до самых последних стадий пути, по которому движутся общества, придает ему интерес, равный тому, какой возбуждают превратности их детства или молодости.

Может случиться — я не говорю, должно неизбежно случиться, — что знание *A* и *B* распространяется с каждым днем, благодаря распространению первоначального, среднего и высшего образования, но в то же время и именно в силу этого увеличения сходства, производимого распространением идей *A* и *B* в массах, умственные способности уравниваются, нивелируются, оригинальные особенности ступшевываются, несмотря на кажущееся увеличение независимости, маскирующей собою возрастание взаимного подражания; тогда невероятность появления идеи или время, потребное для ее появления, скорее увеличивается вследствие

этого нивелирования, а не уменьшается от всеобщего образования. Значит ли это, что я порицаю школьное просвещение даже с точки зрения этой гипотезы? Нисколько; в конце концов, в этой перспективе нет ничего страшного, и следует заметить, что те общества, которые достигли такого состояния, — например, Римская империя и Китай, — жили счастливо и мирно. Другая гипотеза представляет собою совершенную противоположность первой; она состоит в том, что люди, знающие *A* и *B*, очень малочисленны, но их способности весьма неодинаковы, так как они развились самостоятельно, на полной свободе, и их оригинальные особенности очень различны, так как чувство глубокого превосходства над окружающей средой, чуждой всем их размышлениям, предохранило их от опасности в чем-либо уподобиться ей. Тогда должно случиться, что в этой немногочисленной группе выдающихся людей даже самые важные открытия будут происходить быстрее, лихорадочнее, нежели в великой нации, составленной из образованных или начитанных посредственностей, играющих роль кустарника, который мешает расти строевому лесу. Таким исключительным, как мы видим, образом объясняется и быстрое обоснование геометрии или астрономии древними греками или не менее быстрый прогресс искусства живописи в итальянских республиках и фламандских общинах.

## VI

Мы затронули сейчас в самых общих чертах и очень неполно вопрос о внешних условиях, благоприятствующих или мешающих появлению изобретения. Но каковы те внутренние причины, которые дают жизнь какому-нибудь изобретению или губят его в уме гения для пользы какого-нибудь другого? Эти причины суть те верования и желания, принципы и цели, знания и хотения, которые изобретатель, правда, получил по большей части из окружающего его общества, но которые там встречались и перекрещивались совершенно бесплодно, тогда как в нем их совокупление впервые образовало собою плодотворное соединение. Не стремясь проникнуть в тайну этого одиночного мышления, этой таинственной работы, где получают начало истоки социальной реки, можно, однако, сказать, что эта работа заключается, во-первых, в

умственном противопоставлении друг другу суждений, которым верят неодинаково, или приемов деятельности, которых желают неодинаково и которые, будучи до сих пор связаны между собою, теперь впервые являются противоречивыми вполне или отчасти, и, во-вторых, в согласовании суждений или приемов деятельности, казавшихся до сих пор совершенно несвязными и теперь впервые представляющихся взаимно подтверждающимися или взаимно оказывающими друг другу помощь. В самом деле, у гения существует потребность разрушающей критики так же, как и потребность изобретательного создания, но первая бывает служебной по отношению ко второй; его критический ум разрушает привычные связи между идеями только для того, чтобы обогатить свое воображение полученными обломками и употребить их в дело. Характерно и существенно тут лишь то, что он первый ясно замечает присущее некоторым понятиям или некоторым действиям свойство противоречить или мешать друг другу и присущую некоторым другим понятиям или действиям возможность ассоциироваться таким образом, чтобы они взаимно подтверждались или помогали друг другу.

Это-то отношение взаимного или одностороннего подтверждения или сотрудничества, отрицания или препятствования и вызывает те союзы или соперничества подражаний в области социального, какие я пытался объяснить, формулируя логические законы подражания<sup>67</sup>. Но сознание этого отношения всегда остается здесь смутным и относительно бесплодным, в особенности сознание положительного отношения, тогда как отрицательное отношение, раз оно существует, часто ощущается всеми довольно ясно. Поэтому, хотя логические законы изобретения, как и логические законы подражания, разделяются на логические поединки и логические союзы, но сравнительное значение этих двух родов законов далеко не одинаково здесь и там. У логического союза изобретений смысл глубже и значение важнее, нежели у союза подражаний, т. е. изобретений, поскольку они вызывают подражание. Когда два потока подражаний сливаются и соединяются вместе, то это просто значит, что один из них помогает усилению другого: производство велосипедов способствовало усилению производства каучука и обратно; производство печатных станков подвинуло вперед производство бумаги

и обратно; распространение в массах одной отрасли науки, — например, акустики, — способствует распространению и другой отрасли, связанной с первой, как например оптики. В то же время, в силу самого этого распространения, потребность, какую удовлетворяет каждый из этих продуктов, усиливается у всех, кто ее ощущает, и вера в каждую из этих теорий укрепляется у всех, кому они известны. Но когда два изобретения соединяются как изобретения, то это значит, что появилось новое изобретение (или открытие), благодаря которому первые два утилизируются, причем одно служит средством для получения другого, служащего ему целью или является следствием другого, представляющего для него принцип, или же то и другое соединяются между собой параллельно как средства для достижения одной и той же цели, как следствия одного и того же принципа. Таким образом, соединились друг с другом оптика и акустика в тот день, когда в уме физика формулировалась волновая теория света, подобная теории звука, и соединились еще гораздо лучше в тот день, когда Спенсер возвел в аксиому ритмический характер всякого движения. Законы тяготения небесных тел и законы падения тел на земле соединились в уме Ньютона и породили там формулу всемирного притяжения, тесно связывающую их друг с другом и с собою. Идея неподвижной паровой машины и идея ручных тележек, передвигающихся по рельсам, соединились, когда идея локомотива показала, что первая может явиться на помощь второй и что обе вместе могут служить для достижения грандиозных целей, казавшихся до того совершенно чуждыми им, — для передвижения огромных масс из одного конца континента в другой. В механике, конечно, приводятся общие формулы, которые будто бы дают возможность изобретать по произволу всякого рода новые машины, подобно тому, как другие формулы действительно дают возможность строить всякого рода мосты. Но ведь необходимо еще, чтобы мысль о применении этих открытых механиками формул (если они и в самом деле представляют какое-нибудь значение) соединилась с идеей какого-нибудь некогда изобретенного приема деятельности, подобного ткацкому, шитью, письму и т. д., и до сих пор выполнявшегося при помощи ручного, а не механического труда<sup>68</sup>.



Таким образом, у всякой теории или машины, у всякого идейного или практического познания есть две стороны. Поскольку ей подражают и поскольку она распространяется, она своими союзами с другими теориями или машинами, рассматриваемыми с той же стороны, приводит только к взаимному усилению верований и потребностей по мере своего распространения. Поскольку она является изобретением, она, соединяясь с другими, рассматриваемыми с той же точки зрения, производит нечто поистине новое, часто поразительное и всегда более или менее неожиданное. Прибавим, что очень часто подражания вступают в союз именно потому, что соединение нескольких изобретений вызвало к жизни какое-нибудь новое изобретение. Так, изобретение велосипеда с резиновыми массивными шинами, потом с пустыми внутри, наконец, с пневматическими благоприятствовало производству каучука. Так, идея локомотива позволила производству паровых машин благоприятствовать производству рельс. Так, волновая теория света позволила оптике и акустике взаимно осветить и взаимно усилить друг друга. Но не всегда бывает так. Распространению велосипеда способствовало проведение новых дорог и распространение дорог, утрамбованных щебнем, известность некоторых городов с целебными водами, увеличение веры в целебные свойства последних приводит в результате к увеличению числа поездов по некоторым железнодорожным линиям и обратно, но в этих двух примерах мы не замечаем действия какого-нибудь нового изобретения. Итак, правильность нашего подразделения очевидна.

Как теперь поступает изобретательный ум для открытия логического или телеологического отношения между идеями, из которого строится новая идея? Действует ли он, руководствуясь только своей природной находчивостью или заимствует свои средства из какой-нибудь развитой науки, он все равно должен ощупью или со светочем в руке пробираться между множеством гипотез или проектов, последовательно испытываемых и устранимых, до тех пор, пока ему наконец не встретится гипотеза, которую можно проверить, или проект, который можно утилизировать. Руло в своей «Кинематике» несколько не склонен, конечно, отводить в изобретении слишком большое место гениальному воображению. Напротив, он не думает, чтобы изобретение существенно

отличалось от обыкновенного мышления, и я с ним согласен, потому что нет ни одной сколько-нибудь личной идеи, которая не была в некоторой степени изобретением. Он даже так мало склонен преувеличивать роль чудесного в подобных вещах, что считает свое сочинение способным значительно облегчить в будущем операцию изобретения в области машин и дать возможность некоторым образом изобретать по заказу. Но в сущности его формулы стремятся только доказать, что они заключают в себе все возможные комбинации элементов машин и, значит, между прочим и те, какие должно избрать, чтобы достигнуть поставленной себе цели, или, лучше сказать, чтобы при помощи имеющихся в распоряжении сил, из многих воображаемых нами движений и изменений форм, осуществить то определенное движение или определенное изменение формы, какое предварительно избрали как наиболее пригодное для достижения этой цели. Стало быть, эти формулы могут быть полезны только изобретательному уму<sup>69</sup>.

В действительности теория этого автора указывает грядущим изобретателям не один путь, а бесконечное множество путей, и единственным их преимуществом является то, что они прямолинейны, — ведут прямо к намеченной цели, раз эта цель открыта, тогда как пути, по которым шли изобретатели древности, были всегда извилисты и не вели прямо к цели. То же самое скажем и об алгебраических формулах, позволяющих решать бесконечное множество задач кратчайшим путем. То же самое скажем и о знаменитых канонах индукции, которые Стюарт Милль дает нам как формулы, способные облегчить и сократить открытие истины в какой угодно области любознательности подобно тому, как можно было бы представить себе общие методы, способные будто бы облегчить и сократить изобретение полезного в какой угодно области деятельности. У садоводов и скотоводов есть правила, как изменять какой-нибудь животный или растительный вид в том или другом отношении, как заставить его прогрессировать в дородности или в подвижности и быстроте, увеличивать или уменьшать его рост; Дарест укажет вам верно ведущие к цели приемы для получения какого угодно живого уroda, и даже, быть может, уroda, способного размножаться, который (кто знает?) ex abrupto явится создателем нового вида. Но, строго говоря, открытие,

как и изобретение, все еще остается секретом гения<sup>70</sup>. Во всем этом мы можем видеть только подтверждение того, что мы говорили только что об уме, рассматриваемом как некоторого рода пространство возможностей, состоящее из логических прямых и извилистых линий, из совершенных и несовершенных дедукций, существующих в неопределенном числе, подобно тому как пространство составлено из прямых и кривых линий. С этой точки зрения Воображение так же правильно будет называть Умом, как и Разум<sup>71</sup>.

Тем не менее очень важно констатировать, что существует прямолинейный ряд изобретений, аналогичный прямолинейному движению тел, что эта странная прямая линия идей способна заместить собою их извилистую линию и что в действительности это замещение, представляющее собою замечательный прогресс, происходит в наше время. «До настоящего времени, — говорит уже цитированный нами ученый, — общее развитие машины происходило до некоторой степени так, что его ясно не сознавали. Многие новейшие изобретения обнаруживают новый дух, особенный, изумительный гений, существенно отличающийся от того, какой преобладал в творениях механики прошлых времен. Основой прежних приемов является беспрестанное усовершенствование. Новейший прием, напротив, заключается в непосредственном построении нового и поэтому-то мы видим иногда, что с триумфом входят в практику машины, представляющие с самого начала высокую степень совершенства<sup>72</sup>. По-видимому, приближается время, когда и в области правительственных и экономических учреждений будут стремиться идти прямо к цели кратчайшими путями подобно тому, как это происходит в области машин. Не доказано, чтобы этому стремлению суждено было навсегда остаться тщетным, несмотря на его плачевные неудачи до настоящего времени. В сущности говоря, удивительно не то, что последовательный ряд промежуточных фазисов между каким-нибудь социальным состоянием, принятым за точку отправления, и другим социальным состоянием, избранным конечным пунктом, между данной мифологией и той религиозной верой, которая родится из нее, между спряжением латинского языка и спряжением языка французского, между трагедией Эсхила и трагедией Эврипида, между ваятелем

эгинской школы и ваятелем школы Фидия и т. д., может быть сокращен до определенного минимума подобно тому, как последовательный ряд местоположений движущегося тела между двумя точками может быть сокращаем до тех пор, пока линия его движения из кривой не превратится в прямую. Удивительна в сущности только реальность этого минимума в обоих случаях и его непреодолимое сопротивление всякому дальнейшему сокращению; удивительна невозможность для тела мгновенно переменить свое местоположение в одной точке на местоположение в другой, не будучи принужденным последовательно занимать все промежуточные точки; удивительна подобная же невозможность для ума сразу переменить одну форму мысли на другую, не будучи поставленным в необходимость пройти через различные формы мысли, которые, неизвестно почему и каким образом, являются промежуточными между ними. Только привычка заставляет нас находить это вполне естественным. Существуют расстояния психологические и физиологические, совершенно так же, как и пространство биологическое, устанавливающее обязательный и непреложный предел постепенным сокращениям, вносимым прогрессом жизни в последовательный ряд эмбрионального преобразования, в переход от яичка к взрослому животному, или прогрессом воспитания в переход от осязательных ощущений младенца к самым возвышенным понятиям философа или в переход от состояния дикости к состоянию цивилизации. Вот доказательство реальности Жизни, реальности Ума, если кто-нибудь станет ее оспаривать. Индивидуальный или социальный ум может переходить от одного понятия к другому, от одного чувствования к другому по бесконечному множеству путей, но среди них есть один, который является кратчайшим из всех, возможным для каждого ума, и можно даже утверждать, что для всех умов, каковы бы они ни были, существует в изучении математики необходимый ряд теорем, связывающий одну данную теорему с другой. Подобным же образом нельзя отрицать существование некоторого минимума внутреннего промежутка, отделяющего любовь от тщеславия, тщеславие от скупости, эпикуреизм от мистицизма. Чтобы перейти по отношению к одной и той же идее от утвердительного убеждения к отрицательному или чтобы по отношению

к одному и тому же объекту от сильного хотения перейти к сильному нехотению, должно последовательно перейти все степени уменьшающегося утверждения или хотения и затем подняться по всем степеням растущего отрицания или нехотения, хотя в конце концов необходимость этой градации ничем не оправдывается. Но бывает и еще лучше; почему для того, чтобы перейти от одного утверждения к другому утверждению же, от одного хотения к другому хотению же, причем утверждаются и желаются вещи различные, почему при этом часто бывает необходимо занимать другие умственные положения?

Если бы я привел для подтверждения этих соображений методы элементарного обучения, которые устанавливают пропорцию между характером сообщаемых ребенку понятий и сведений и его возрастом или расой, или если бы я согласился на неспособность некоторых рас возвыситься до научного понимания вселенной прежде, нежели они подымутся по менее крутому склону космогонических идей религии, подобной магометанской, то меня могли бы упрекнуть в том, что я смешиваю здесь требования умственного развития с требованиями рационального мышления. Но если даже говорить только о людях зрелых и цивилизованных, то разве не кажется, что Мэн-де-Биран не мог перейти от сенсационизма Кондильяка к мистицизму Фенелона, не пройдя через стоицизм Марка Аврелия? Лейбниц, который, как он сам говорит, начал с атомистического и унитарного материализма, пришел к построению своей также унитарной, но спиритуалистской системы монад, этих «духовных атомов», только после того, как прошел через поворотный пункт картезианского дуализма, и, по-видимому, если бы не было этого переходного состояния, то неизбежно явилось бы какое-нибудь другое. В самой идее эволюции уже заключается указываемая мною истина, и она несомненно лежала в основе мысли Огюста Конта, когда он формулировал свой закон трех состояний: теологического, метафизического и позитивного, через которые, по его мнению, должен последовательно проходить человеческий ум при всяком развитии. Впрочем, этот закон не точен и грешит, прежде всего, избытком простоты. У Курно мы находим точку зрения, выраженную в другой форме, гораздо более ясную, сложную и проницательную.

Рациональный порядок идей и фактов, какой искал этот великий ум во всю свою долгую жизнь, представляет собою не что иное, как совокупность тех психологических прямолинейностей, о которых я говорю. Но он дал им все еще слишком узкое приложение. Существует точно такой же рациональный порядок для заблуждений, как и для истин. Если между всеми относительными расположениями теорем геометрии, какие позволяет сделать их последовательная связь, существует одно, отличающееся от остальных своей чрезвычайной понятностью и удовлетворительностью, прямолинейным характером своей дедукции, то разве точно так же между всеми способами изложения догматов самой нелепой религии или мифов самой фантастической мифологии не существует комбинации пригоднее всех остальных для того, чтобы дать почувствовать основательность каждого из этих догматов или мифов? Это несомненно. Представляет ли эта комбинация точное воспроизведение исторического порядка появления этих догматов? Нет, почти никогда, точно так же, как земные или небесные массы почти никогда не движутся естественно по прямым линиям.

## VII

Я не хочу останавливаться на этих взглядах, но мне позволительно присоединить к ним одно замечание, осязательная истинность которого, без сомнения, встретит меньше противников. Что бы ни думали о прямолинейном последовательном ряде изобретений, но никто не откажется признать в большом числе случаев необратимость их последовательности<sup>73</sup>, как и необратимость ряда массы состояний ума и состояний социальных. Изобретения можно разделить на два класса: такие, которые, подтверждая или не отрицая друг друга, помогая или не мешая одно другому, могут одновременно существовать в одной и той же стране и бесконечно скопиться там, и такие, которые, отрицая или мешая одно другому, могут только замещать друг друга, раз они встретились в среде какого-нибудь народа. Первые, совместимые, хотя бы и часто появлялись в почти одинаковом порядке в двух различных и не сообщающихся между собою странах, тем не менее обратный порядок их последовательности остается понятным и возможным. Само

собой разумеется, что я оставляю в стороне те из них, которые, существуя одновременно, относятся друг к другу как элемент к телу, в состав которого он входит; очевидно, составное изобретение не могло предшествовать изобретениям составляющим, например, локомотив, колесо и применение пара. Я говорю о таких простых или сложных идеях, которые не заключаются одна в другой. Идея приручить человека — рабство, без сомнения, в некоторых странах предшествовала, а в других следовала за другой, несколько ей не противоречащей, — идеей приручения животных. В Америке предшествовала первая идея, так как рабство господствовало у племен краснокожих, не знавших еще ни одного домашнего животного, и у ацтеков, приручивших только собаку. В других местах мы видим, напротив, пастушеские племена без рабов. Что же касается изобретений, замещающих друг друга, то порядок их появления, вообще, бывает и должен быть необратимым. В самом деле, существует некоторое логическое или телеологическое основание, закон возможно меньшего усилия для получения возможно большего эффекта или стремление к более и более связанному и систематическому порядку, которое препятствует тому, чтобы в данном обществе ружье было изобретено раньше аркебуза, керосиновая лампа раньше смолистого факела, алфавитное письмо раньше письма иероглифического и т. д. Если рассматриваемое общество только что внезапно преобразовалось под влиянием какой-нибудь катастрофы, то такого рода аномалия может произойти, но только в качестве исключения, подтверждающего правило. Период большой политической анархии может, например, иметь своим последствием регрессивный переход от царственного правосудия к вендетте или к вине, от земледельческого образа жизни к пастушескому. Так и случилось в Испании, где во время долгой войны с маврами скотоводство беспрестанно разрасталось на счет земледелия в силу большей легкости охранять плоды его от разграбления.

Закон возможно меньшего усилия объясняет много случаев необратимости. В силу этого всеобщего, хотя неодинакового и изменчивого стремления происходит изучаемое лингвистами фонетическое смягчение, это замещение твердых и резких слогов — мягкими,

произношение которых легче и быстро распространяется, а также уменьшение размера — стремление превратить долгие слоги в короткие, никогда не допускающие удлинения коротких, как это ясно доказывается сравнением более древних латинских поэтов с поэтами позднейшего времени. Под влиянием этого стремления символы, изменяясь для того, чтобы распространяться шире и быстрее, все упрощаются, укорачиваются и сглаживаются, как это происходит также с формами судопроизводства, с приемами ремесла или с задачами искусств; по той же причине принесение в жертву животных заменило собою человеческие жертвоприношения, дары растительные, а затем только символические заменили животные жертвы. Точно так же колесница сменила собою паланкин, карета на рессорах сменила колесницу и локомотив заменил собою дилижанс. Влияние этого закона дает себя чувствовать даже в приемах наказания преступников или в способах взаимных притеснений политических партий. Таким образом, гильотина заменила собою обезглавление саблей или топором, а ограбление побежденного политически при помощи налогов, лишения политических прав, тысячи всякого рода законодательных средств заменили собою некогда применяемую грубую и не всегда легко выполнимую конфискацию имущества. Во Флоренции в XIV в. боровшиеся партии, пользовавшиеся и злоупотреблявшие сначала грабительскими и кровавыми проскрипциями, какие были известны еще классической древности, изобрели наконец *ammonizione*, прием, сделавший, как говорит Перренс в своей «Истории Флоренции», закон о подозрительных более действительным, смягчив его. Этот прием состоял в том, что если кто-нибудь подозревался в принадлежности к гибеллинам, например, то гвельфы в период своей власти заставляли его дать согласие не принимать никакой должности (получаемой по жребию) под страхом обвинения и наказания смертной казнью. «Таким образом, предварительное извещение должно было предшествовать осуждению, а затем не замедлило и совершенно заменить его собою, так как никто не осмеливался подвергнуться ему. Смягченная форма закрыла собою насилие и позволила ему впредь распространяться безнаказанно». То же самое название, *ammonizione*, дано в современной Италии судебному



предостережению, которое, распространяясь вширь, стремится, хотя и с гораздо меньшим успехом, заменить собою тюремное заключение и штраф.

Но существуют другие виды необратимости, к которым закон возможно меньшего усилия (т. е. основание телеологическое), по-видимому, неприменим и которые проистекают скорее, собственно, из логики. Примеры такой необратимости доставляет лингвистика, вообще изобилующая загадочными необратимостями. В последовательном ходе образования романских языков можно видеть, например, что твердое окончание глаголов мало-помалу превращается в окончание мягкое. Твердое окончание латинского языка часто переходит в мягкое в итальянском, провансальском, французском, еще чаще в испанском и португальском языках. Обратное никогда не было констатировано с достоверностью, и Диец смотрит на это как на «едва ли возможную» вещь. Приняла ли такое направление эволюция языков новолатинских народов под влиянием стремления экономизировать работу произношения и желания сделать выражение мысли более отчетливым и более живым? Нет, потому что именно твердое окончание является формой сокращенной, наиболее сильной и наиболее ясной. Более правдоподобно то, что различные случайные обстоятельства стали выводить из употребления твердое окончание еще в родоначальном языке, и затем это движение продолжалось в происшедших от него языках в силу той логики аналогичного действия, какая вообще присуща языку. Другой пример. Если закон «замещения» согласных, установленный Гриммом, получил свое название справедливо, если достоверно, что при переходе от гипотетического родоначального языка арийских языков к какой-нибудь группе последних, например, к германским языкам, всегда происходило изменение тонких звуков в придыхательные (*p* в *f*, *t* в *th*, *k* в *h*), придыхательных в средние (*f* в *b*, *th* в *d*, *h* в *g*) и средних в тонкие (*b* в *p*, *d* в *t*, *g* в *k*), но никогда не происходит изменения в обратном направлении, то это был бы прекрасный образец необратимости. Очевидно, фонетическое смягчение тут не причем; наоборот, из этих преобразований чаще всего должно было получаться увеличение твердости звуков, увеличение трудности произношения.

Прогресс от фетишизма к идолопоклонству необратим, так же как и переход от богов-животных к богам-людям, от зооморфизма к антропоморфизму или даже переход от богов-зверей к богам-домашним животным. Здесь, как и во всей религиозной эволюции, как видим, собственно логика комбинируется с телеологией, но первая играет преобладающую роль. Во всех высших религиях: в христианстве, буддизме, таоизме и пр., отшельники предшествуют монахам, влечение к отшельнической жизни предшествует влечению к жизни монастырской, но никогда не замечаем обратного. Почему же это? Потому что между мистическим индивидуализмом, между отшельничеством в том виде, в каком оно практиковалось первыми христианскими аскетами в уединении пустыни, и мистическим коммунизмом, монастырской жизнью, какой она являлась в обширных дисциплинированных монастырях средних веков с их иерархией и относительным комфортом, где разделение и организация труда достигали замечательной высоты, — между первым и вторым не только есть различие по относительной бедности или благосостоянию, но, прежде всего, существует разница между состоянием менее цельным и последовательным и состоянием более цельным и последовательным, с той систематизацией молитв и усилий, которое полнее удовлетворяет потребность ума в логике.

Вот еще один мало очевидный пример, заимствованный из эволюции философских проблем, ход которой вполне необратим. Замечено, что две великие философии, в которых сконцентрировалась и между которыми разделилась греческая философская мысль, а именно философия Платона и философия Аристотеля, являются обе попытками разрешить вопрос об общих свойствах<sup>74</sup>. Они решили его различно: Платон со своими идеями в смысле реализма, а Аристотель скорее в смысле номинализма. Тому, кто всмотрится в сущность того, что их занимало, не трудно будет заметить, вместе с Курно, что эти две великие школы, как, впрочем, почти все другие греческие умозрения, представляют собою проявление юной мысли, которая, помимо своего ведома, занимается только словами, думая, что занимается самыми вещами. Это некоторого рода высший грамматический анализ, раскопки, производимые в филологической почве с целью открыть сокровище,

по предположению, скрытое в словах, в этих таинственных знаках, все еще обладающих магической силой, служащих ключом или талисманом для познания Вселенной. В конце концов, это есть уже некоторый критицизм, подобный критицизму Канта, но не идущий дальше слов вместо того, чтобы заниматься воспринимаемыми нами вещами, как делает этот германский Аристотель и Платон. Но ведь само собою разумеется — и логическая причина этого очевидна — что этот, некоторым образом лингвистический критицизм, который должен был рассеять иллюзию чудодейственности, связанную с фантазмагорией слова, необходимо должен был явиться раньше научного критицизма Канта, излечившего наш разум от его догматизма. От первого наша мысль научилась относиться недоверчиво к обаянию слов, от второго — предохранять себя от оптических иллюзий, присущих самим восприятиям. Правда, античная философия занималась и реальностями; она заключала в себе зачатки научного обобщения, некоторые элементы наблюдения, но прежде всего она была размышлением о языке, ставшем сознательным и не доверявшем самому себе, а также размышлением о религии, начавшей сомневаться в своем собственном значении. Не следовало ли предварительно обсудить и привести к истинному значению эти две великие социальные категории, язык и религию, чтобы стала возможной ясная и свободная научная философия?

## VIII

Не только в философии, но и во всякой отрасли знаний между последовательными открытиями проблем существует та же связь, как и между последовательными открытиями их решений; известно, что последовательно изобретаемые потребности, порождаемые по большей части самым процессом их удовлетворения, часто берут начало одни в других. Но этот порядок бывает то обратимым, то необратимым. Мы не можем останавливаться на этих деталях. Заметим лучше, что в силу этого генеалогического дерева потребностей и проблем, как индивидуальных, так и социальных, есть некоторый необратимый порядок у различных изобретательностей, так же, как и у различных изобретений. Внимания и воображения гения перемещаются с течением времени по

направлению, соответствующему потребностям или проблемам данной эпохи, обращаясь сегодня к усовершенствованию языка или религии, завтра — архитектуры или эпической поэзии, послезавтра — музыки или драматической поэзии, или же основывая сегодня астрономию и геометрию, завтра — физику, послезавтра — биологию, затем социологию. В древней Греции различные категории перечисленных наук формировались или достигали зрелости в этом порядке и то же повторилось и в Европе в позднейшее время. Если имеем перед собою народ, подобный, например, французам в XVII в., очень сведущий в математике, то отсюда нельзя еще заключить, что он уже очень просвещенный в химии или в медицине, тогда как, если в этом народе существуют выдающиеся химики и физиологи, то можно быть уверенным, что в нем существуют (или что в нем существовали) перво-степенные геометры. На аналогичном же основании, если встречаем народ, обладающий хорошо построенным, гармоническим и весьма богатым в грамматическом отношении языком, каков, например, язык басков или некоторые американские наречия, то мы вовсе не можем быть уверенными, что этот народ сумел бы строить красивые здания или создавать прекрасные трагедии. В период до Гомера греческий язык был уже языком, достойным удивления; то же самое можно сказать о языках санскритском и кельтском, о древнегерманских и славянских языках, о персидском или еврейском, как бы далеко мы не восходили в их прошлое. Но одинаково ли справедливо противоположное утверждение? Если видим народ, обладающий развитой архитектурой и хорошей музыкой, то имеем ли право заключить отсюда, что он говорит или говорил на языке, обладающем известным грамматическим богатством? Я думаю, что да, если только его естественное развитие не было нарушено преждевременным или насильственным вторжением чужеземных искусств. Причина, заставляющая меня так думать, заключается в том, что задача умственного сообщения с окружающими людьми была первой социальной задачей, — так как задачи питания и самозащиты были поставлены еще в период досоциальный, — а потому вся находчивость первобытного человека должна была сосредоточиться на том ответе, какой необходимо было дать на это по-

велительное требование. Тогда-то и должно было наблюдаться, как это наблюдалось тысячи раз позже, что удовольствие говорить и говорить хорошо являлось таковым само по себе, независимо от его большой полезности, чем именно и объясняется в некотором роде эстетический характер порождаемой им особой страсти. Все находчивые и даровитые умы занимались этим исследованием подобно тому, как позже такие же избранные натуры в Греции всецело отдавались политике, как в XVI веке в Италии и Фландрии они воспылали страстью к живописи и скульптуре, как в наше время они отдают все свои силы плодотворному процветанию промышленности. Язык был для человека первым предметом искусства везде, где раса самопроизвольно порождала природных артистов; везде в других местах он был для него первой игрушкой или первой драгоценностью.

Хорошо знаю, что такая гипотеза противоречит всему, что тысячи раз говорили о тупости первобытного человека, о мнимой бессознательности его творчества, особенно по отношению к членораздельной речи. Несколько слов по этому поводу не будут излишним уклонением. Нам говорят, что доисторический человек должен был, подобно теперешним дикарям и детям, быть неспособным к вниманию<sup>75</sup>. Но забывают, что существует самопроизвольное внимание, весьма отличающееся, по Рибо, или даже находящееся в обратном отношении к вниманию, зависящему от нашей воли. Только внимание второго рода бывает слабо у умов ребяческих или неразвитых. Наоборот, внимание первого рода у таких умов очень сильно и упорно, как это показывает самое поверхностное наблюдение над детьми. У разумного ребенка почти всегда есть какая-нибудь преобладающая идея, какой-нибудь любимый предмет занятия, поглощающий все его внимание. На железнодорожном вокзале дитя не может оторвать глаз от локомотива; оно смотрит на него часами, анализирует его во всех подробностях, грезит им после и запечатлевает в себе его образ, довольно точный, чтобы рисовать его на своих учебниках. Иной мальчик смотрит и рисует только лошадей или велосипеды, или свою собаку, и все его вопросы, которые он задает своему отцу, относятся к тем же предметам. То же бывает и с дикарями, если станем судить о них по контрасту между их удивительным

невниманием в некоторых отношениях и их замечательной находчивостью в других отношениях. Они не обращают внимания на растения, пригодные для тканья или для получения масла, которыми легко было бы пользоваться для своих одежд, для питания или для освещения, но в то же время их ловкость, с какой они татуируются, управляют бумерангом, открывают растительные яды, подобные кураре, для отравления своих стрел, утилизируют раковины для украшения, и т. д. — их искусство во всем этом свидетельствует, что они внимательно и проникательно наблюдали все, что имеет отношение к войне, охоте и тщеславному украшению своего тела<sup>76</sup>. Что может быть грубее, нелепее тех суеверий, при помощи которых бóльшая часть народов пыталась объяснить создание и судьбы окружающей их вселенной, происхождение и судьбу человечества? Но есть ли что-нибудь остроумнее того сложного механизма, какой довольно часто представляет собою их язык, изобилующий выразительными и живописными оборотами, мелодическими созвучиями? Я заключаю отсюда, что доисторический человек, как и наши теперешние дикари и дети, в тех случаях, когда обладал природным умом, должен был самопроизвольно проявлять большое внимание по отношению к членораздельным звукам и, следовательно, быть очень хорошо одаренным, как для лингвистических изобретений, так и для лингвистического подражания<sup>77</sup>.

В настоящее время умение хорошо говорить является для большинства образованных людей только средством; но оно должно было вначале быть целью, как это замечается у смышленного ребенка, который чаще всего говорит для того, чтобы говорить. Благодаря этому множились, накапливались и координировались мелкие лингвистические изобретения, образуя зародыши грамматики. Мы видим, в самом деле, что всегда и везде в эпохи обновления или преобразования языка<sup>78</sup>, например во Франции в начале XVII века, в Италии в XIII веке, в Риме при Августе, лингвистическая работа была преднамеренной, обдуманной и страстной и что вопросы грамматики оказывали на все избранное интеллектуальное меньшинство такое же, сделавшееся позже непонятным чарующее влияние, какое оказывали на него в другое время вопросы телеологии, права или алгебры и геометрии. Мы можем

безбоязненно обобщить это замечание: как для индивидуального, так и для социального человека все, что теперь является привычкой и простым средством для удовлетворения хотения, вначале было также хотением и конечной целью<sup>79</sup>; все, что теперь является только простым, едва останавливающим сознание понятием — сказуемым предложения, — вначале было также предложением и прямым объектом сознания. Этот двойной принцип никогда не следует упускать из виду ни в психологии, ни в социологии. Он выражает собою то действительно необратимое изменение, какое происходит не при переходе от одного изобретения к другому, а в характере каждого изобретения, каково бы оно ни было. Очень поучительно таким образом заметить, что всякое изобретение само по себе вызывает к себе любовь и сосредоточивает на себе желания его творцов или его первых сторонников, ибо в человечестве не совершается ничего великого или даже только полезного без расточительных затрат рвения, веры, энтузиазма, любви, считающихся смешными в последующие времена, когда пользуются плодами этого. Я слышу звон колокола в далекой деревне и говорю себе, что это указывает на близость дождя; я вижу улетающую куропатку и говорю себе, что ее следует убить из моего ружья; эти две идеи: что этот звук исходит из отдаленной деревни и что данное зрительное ощущение вызвано птицей, находящейся на близком расстоянии от меня, являются в настоящее время простыми понятиями, непосредственно воспринимаемыми и служащими для образования следующих двух предложений: «слышный ясно звук этого далекого колокола является признаком дождя» и «я должен убить эту куропатку, находящуюся недалеко от меня». Но в то время, когда я был еще ребенком, в первый год моей жизни, единственное занятие моего ума, когда я смотрел или слушал, заключалось в том, что он составлял суждения о локализации, при помощи которых я связывал с таким-то зрительным ощущением возможность появления такого-то другого осязательного или мускульного ощущения. Долгое время я жил только такими суждениями и такими ясно сформулированными сознательными умозаключениями, мало-помалу переходившими в прямые восприятия, служащие материалами для построения других суждений и других умозаключений. Точно так же в

указаниях, даваемых географической картой какой-нибудь давно известной нам страны, мы видим теперь только понятия, которыми можно пользоваться в путешествии или при отправке письма или посылки, но эта карта была впервые составлена энтузиастом — географом, который, исследуя расстояния и положение каждого из этих городов или широту этих гор, не имел в то время никакой другой цели, кроме каждого из этих открытий. Я стою и сохраняю равновесие, не стараясь об этом, я регулярно передвигаю ноги при ходьбе, направляясь к какому-нибудь предмету, нисколько не задумываясь над этим; но когда я делал первый шаг, я очень хотел достигнуть такого равновесия, подобно велосипедисту, берущему первый урок, я очень сильно хотел ходить, только ходить, и напрасно усиливался достичь этого. Точно так же и в жизни народа бывают периоды, когда он удовлетворяется своими средствами передвижения и думает только о применении их к своим целям; уже приближается время, когда мы станем ценить локомотивы и пароходы только по тем услугам, какие они могут оказывать людям или будущим изобретателям, полководцам, которые будут пользоваться ими в своих военных планах, соперничающим между собою фабрикантам, которые будут пользоваться ими как оружием в своих беспощадных войнах друг с другом, социальным реформаторам, которые овладеют ими, чтобы перестроить промышленность на свой образец; но мы едва только вышли из эпохи, когда эти способы передвижения были страстно любимы сами по себе, когда железнодорожная горячка заставляла строить дороги, совершенно бесполезные и дорого стоившие, когда инженеры, чтобы удовлетворить желания населения, чтобы приобрести известность, принуждены были рыть тоннели даже в таких негористых странах, как Бельгия. Это была преобладающая идея, такая же, как героическое увлечение географическими открытиями в XV веке, как мания геометрических открытий во времена Пифагора или Архимеда, или даже во время Декарта. Какой моряк, повторяющий теперь путешествие Васко-де-Гамы, какой инженер, применяющий теперь теорему Архимеда, испытывает и понимает ту безумную радость, какую испытывали эти великие люди в тот момент, когда перед ними засияло решение их проблемы?



Было бы легко продолжить эти параллели, и я заключаю отсюда, что убеждение настоящего поколения, будто умственная жизнь прежних поколений была в сумме менее рассудительна, менее трудолюбива, менее сознательна, нежели их собственная жизнь, является только иллюзией и что такой же иллюзией является взгляд, считающий продуктом некоторого рода бессознательно изобретательного инстинкта или инертности великие богатства, завещанные нам нашими доисторическими предками: наши языки, наши первоначальные отрасли промышленности, наши основные религиозные, моральные и политические идеи. Только влияние привычки в индивидууме, только действие подражания в обществах производят превращение суждений в простые понятия и целей в простые средства. Вот почему оно неизбежно и необратимо.

Может, однако, показаться, что происходит обратное превращение в тех случаях, когда какое-нибудь полезное или считающееся таким учреждение — средство — превращается в простую игру, которую любят ради ее самой. Парижские милиционеры XIII века, вооруженные луком, очень полезные в свое время, являются в XVIII столетии только рыцарями Лука, годными лишь на то, чтобы парадировать в городских процессиях; древние паломничества все больше вырождаются в пиршества; башни, зубцы, бойницы древних замков превращаются в архитектурные украшения для их современных владельцев. Но здесь речь идет об изобретениях устаревших и, в сущности, уже потерявших значение и переживших самих себя, об архаических призраках, а не о молодых нарождающихся изобретениях, да и есть ли что-нибудь общее между привязанностью к этим анахронизмам, если не эстетической и благоговейной, то во всяком случае бесплодной, и обновляющим энтузиазмом по отношению к идеям будущего, той плодотворной страстью, которая, без сомнения, наполняла собою сердце первого изобретателя городской милиции, строителя первого укрепленного замка, первого горячо веровавшего пилигрима?

Социальное вырождение представляет собою явление гораздо более нормальное, — если только нормальное значит обычное, — нежели развитие цивилизации, так как мы никогда не видим, чтобы дикий народ цивилизовался самостоятельно, без побуждения извне, тогда как мы

почти постоянно наблюдаем, что народ цивилизованный опускается и вырождается сам собою по прошествии некоторого периода времени; это социальное вырождение заключается в постепенной потере изобретений и открытий подобно тому, как предшествовавшее ему развитие заключалось в их последовательном накоплении. Но является ли это распадение симметричной противоположностью, повторением той же самой эволюции, но в обратном порядке? Можно было бы думать, что так. Было бы заманчиво допустить, что с цивилизацией, являющейся в некотором роде социальной памятью, происходит то же, что и с памятью индивидуальной, которая, согласно закону, формулированному Рибо, уничтожается у старца путем последовательного ряда потерь, воспроизводящих в обратном порядке последовательность ее приобретений в молодости и зрелом возрасте. Но в действительности, как бы ни была справедлива эта формула по отношению к индивиду, должно заметить, что когда народ, поднявшийся на верхушку какой-нибудь волны цивилизации, начинает снова опускаться, то мы редко или даже никогда не видим, — во всяком случае никогда не видим без действия и давления извне, — чтобы такой народ прежде всего отказался от тех потребностей, которые считаются искусственными и приобретены последними, и от способов удовлетворения этих именно потребностей, — например от утонченных литературных и ораторских приемов, от светского легкомыслия, от обычаев вежливости, — и только затем уже от изобретений промежуточного характера, относящихся к довольно возвышенным религиозным обрядам и чувствам, и сохранил бы под конец из всего своего прежнего багажа только самое примитивное оружие или военные приемы и самые элементарные земледельческие орудия и знания. Наоборот, именно своими напоследок приобретенными вкусами, являющимися плодом его конечного падения, вырождающийся народ дорожит более всего; его упадок сказывается разом как в его увеличенной привязанности к искусственному, условному, недавно появившемуся и в сфере внесенного извне, и в области самопроизвольно выросшего внутри, так и в его постепенном отречении от земледелия и войны, от страстей и добродетелей, как сельских и воинственных, так и религиозных. Одним словом, вырождение народа походит на вырождение паразита, обусловливаемое благосостоянием,

доставшимся без труда и постепенно все сильнее и сильнее принижающим его перед его жертвой, которую он когда-то покорил, и под иго которой он, в свою очередь, не замедлит попасть; быть может, такому народу придется еще возделывать землю или сражаться, но уже против воли.

Вырождение класса или семьи происходит таким же образом, как и вырождение нации. Воспитанная для военных предприятий раса завоевателей, достигнув верха благосостояния, быстро изнеживается и приходит в упадок, и ее последние представители являются не суровыми земледельцами или дикими воинами, как их предки, а шутами и софистами, женщинами полусвета, людьми, выбитыми из колен, преступниками.

## IX

До сих пор мы занимались только созданием последовательных изобретений или порядком их появления и изменения. Но, в конце концов, не особенно важно, приходили ли они в том или другом порядке, создавались ли они в социальном уме тем или другим способом; существенно только то, что все они находятся там одновременно, что они концентрируются там в стройные, логические и устойчивые системы. Каким же образом достигается это быстрое или медленное установление гармонии?

Она устанавливается тем же способом, каким создается каждый из ее элементов, и в этом нет ничего странного. В самом деле, не является ли эта гармония элементарных изобретений, в свою очередь, только одним большим сложным изобретением, над построением которого, как и над построением большей части всех других изобретений, совместно работали многочисленные умы до тех пор, пока какой-нибудь отдельный ум не довершил его или не отметил его своею печатью. Она также получилась путем постоянной смены логических поединков и союзов, путем ассоциации исключающего и очищающего духа критики с объединяющим и укрепляющим гением синтеза. Тот и другой работают над образованием той связной группы принципов, какую по простетивии некоторого промежутка времени мы находим повсюду, не только в языке

под названием грамматики, но также в религии, науке, строе правительства, в законодательстве, морали, промышленности и искусств, где под разными названиями — катехизиса, теорий, конституции, основ права, правил нравственности, экономических законов, правил стихосложения — перед нами выступает, так сказать, религиозная, научная, правительственная, моральная, экономическая, эстетическая грамматика. Только благодаря установлению этой грамматики может потом неопределенно возрастать богатство словаря не только языка, но и всех прочих названных нами установлений. Я разумею под словарем собрание легендарных рассказов, соответствующих установленному догмату, фактов, объясняемых теорией, конституциональных законов и декретов, судебных решений, заводов и мастерских, способных к жизнедеятельности, произведений искусства, соответствующих формуле, — одним словом, сумму мелких изобретений, которые не ограничиваются тем, что только не противоречат друг другу, подобно другим, собранным раньше, но которые взаимно согласуются между собой, надевая на себя одну и ту же грамматическую ливрею подобно тому, как это делают все новые слова, вносимые в какой-нибудь язык.

Здесь должно отметить три периода. Первый — тот, который предшествует работе гармонизирования. Он, как и период, предшествующий изобретательному брожению, возникающему в уме изобретателя, характеризуется, так сказать, свободным притоком новых идей, редких и разбросанных там и сям в социальном уме, еще не пришедших в соприкосновение и потому еще ни в чем не мешающих и не помогающих друг другу, или, лучше сказать, не обнаруживающих еще заключающегося в них взаимного противоречия или подтверждения. Когда предстоит культивировать целый новый континент, колонисты, начинающие населять его, нисколько не стесняют друг друга. Когда предстоит создать целиком язык, религию, право и т. д., тогда первые находчивые и предприимчивые умы, отвечающие, как умеют, различным потребностям по мере их появления, могут работать свободно; тогда словесные знаки, какие они придумывают для обозначения различных предметов, мифологические рассказы, которыми они удовлетворяют различные виды любознательности, судебные решения, при помощи

которых они произвольно разрешают различные затруднения и т. д., нисколько не рискуют оказаться противоречащими друг другу. Так, например, решения Государственного совета при консулах и империи, еще задолго до появления хотя бы даже зачатков административного права, подготовленного именно скоплением таких решений, давали каждое в отдельности ответы на появлявшиеся каждый день новые задачи<sup>80</sup>. Многие дикие народы никогда не могли перейти за эту стадию во всех отношениях, кроме языка. Их мифология состоит из несвязанных между собою мифов, их политика из произвольных поступков начальника, их право из обычаев без связи и без объединяющего общего правила, их промышленность и их искусство — из нескольких рецептов. Довольно часто эти беспорядочно собранные элементы заключают в себе огромные противоречия, но никто их не замечает.

Второй период начинается тогда, когда начинают замечать эти противоречия и страдать от них или когда начинают замечать взаимные подтверждения между принятыми идеями и ощущать при этом удовольствие. Это желание установить согласие между разными желаниями, между различными верованиями, эта выгода, какую надеются получить от установления гармонии между выгодами и суждениями, обобщается и возрастает в известной мере тем сильнее, чем полнее оно удовлетворяется. Оно нигде не бывает так настоятельно, как в среде наиболее систематизированных наций. Для своего удовлетворения оно иногда приносит одну выгоду или один принцип в жертву другой выгоде или принципу, более сильному, противоречащему первому и заменяющему его собой, — жертвует, например, флексией относительно редкой для флексии более обыкновенной, догматом еретическим для догмата правоверного, феодальным правосудием для правосудия королевского, крупными вассалами для короля, парусными кораблями для пароходов или дилижансами для локомотивов, одной профессией для другой, одним классом для другого, классической трагедией для современной драмы. Иногда, подчиняя их одни другим, устанавливая иерархический порядок между ними, оно группирует, делает или заставляет сделаться солидарными несколько выгод, которые кажутся ему поддерживающими друг друга или стремящимися к одной и той же цели, несколько принципов,

которые оно подчиняет одному из них; таким образом, постоянно присоединяя в течение некоторого времени новые члены, образующие собою основание, строится грамматика, свод права, организация труда, и т. д., т. е. нечто вроде структурной формы, делающейся отныне почти неизменной, или рамки, почти неподвижной, но могущей вместить неопределенно растущее содержание.

Третий фазис тот, когда это содержание мало-помалу увеличивается, когда словарь обогащается, когда мартиролог религии растет, а ее теология или казуистика развивается, когда законодательные приложения права умножаются, когда администрация данной правительственной формы пополняется и совершенствуется, когда трагедии, картины, оперы, романы господствующего искусства размножаются.

Доказательством тому, что следует различать эти три периода и что они следуют в одном и том же необратимом порядке, служит то, что мы находим их снова в двух еще более сложных проявлениях деятельности социальной логики, так как в то самое время, когда организуются различные системы изобретений, эта неутомимая логика уже работает над систематизированием этих систем, над примирением и совокупным согласованием всех учреждений данной страны и всех групп людей, в которых последние воплощаются, всех этих организованных и живых сил, мастерских, милиций, монастырей, церквей, академий, ремесленных корпораций, школ искусства, над поглощением всех их диссонансов, над установлением высшей и действительно национальной гармонии под эгидой одной господствующей идеи и одного господствующего идеала. Затем, после того, как началось систематизирование этих систем, началась национализация этих ассоциаций, логика делает свое последнее усилие, стремится к построению систем наций, так сказать, систем третьей степени, к построению гигантских федераций или империй. Впрочем, эти три вида систематизации взаимно помогают друг другу; война, при жестокой помощи которой подготавливается третий вид, ускоряет согласование национальных учреждений, точно так же, как и самое формирование последних, и, обратно, концентрация сил данного государства увеличивает его завоевательные стремления. В недавно начавшем свое существование народе зачатки

формирующихся учреждений бывают рассеяны и чужды друг другу; местные наречия, обычаи, промыслы, религии существуют одновременно и никто не беспокоится об их несвязности, не думает о том, чтобы скомбинировать из них одно целое. Все эти обстоятельства начинают чувствовать себя враждебными или союзными друг другу только позднее; тогда при помощи междуусобных, поочередно то религиозных, то политических, то экономических войн, при помощи последовательного ряда взаимных приспособлений, один какой-нибудь язык низводит все остальные в провинциальные наречия, одна религия изгоняет все остальные, одно право вытесняет всякие другие права, один промышленный режим убивает устарелые формы промышленности, и все вместе в конце концов принимают хотя и странный, но явственный вид одной семьи; когда же из такого объединения получает начало новый тип цивилизации, то он вскоре начинает или отделять от себя колонии, в которых он повторяется и укрепляется, или служит примером для всякого рода подражаний, постоянно расширяющих сферу его влияния. Точно таким же образом, что видим мы при начале истории? Сначала, в очень далеком прошлом, трудно поддающемся исследованию, но все-таки отчасти выясненном, видим зачатки наций, посадов или деревень, подобно звездам на небе разбросанных по обширной невозддержанной территории на далеких расстояниях друг от друга<sup>81</sup>. Вначале между этими деревнями, посадками и общинами существовало не больше сношений, нежели между Францией и Японией в средние века, или между Римом и Китаем в древности. Но этот золотой век политики продолжался очень недолго; увеличившиеся общины, приблизившись друг к другу, вооружаются и вступают в борьбу или соединяются для борьбы с общим врагом, и период этой суровой и кровавой или наглой и предательской диалектики заканчивается только тогда, когда путем войн и союзов, завоеваний и присоединений создается постепенно обширная, мирная и упорядоченная империя, отдыхающая, наконец, в своем неоспоримом могуществе; тогда для нее остается только мирно развиваться в направлении, соответствующем ее собственному типу, как развивался в древности Египет фараонов или как развивается еще до нашего времени Срединная Империя. Таков закон нормального

развития наций, не принимая, конечно, в расчет тех военных катастроф, которые так часто прерывают его.

Отсюда, заметим между прочим, вытекает, что война, что бы о ней ни говорили, по природе своей не является вечной, что она представляет собой долгий кризис, чрез который необходимо пройти, — так сказать, критический, но несовершенный и преходящий метод международной аргументации, — и что настанет наконец день, когда храм Януса должен будет закрыться. Когда люди приходят к соглашению, то они уже более не спорят; притом же спор не единственное и даже не лучшее средство установить согласие. Новая идея, сама собою возникающая в уме одного из противников, приобретенное им новое сведение, могут оказаться гораздо более успешным средством. Сторонники теории истечения спорили без всякого результата со сторонниками теории волнения в физике до опыта Френеля. Из гипотез, объясняющих внезапное появление микроскопических животных в известных случаях, гипотеза самопроизвольного зарождения казалась гораздо правдоподобнее гипотезы панспермии, и защитники первой брали верх в споре, но несколько открытий Пастера положили конец последнему. Здесь, в науке, верховное значение проверенного открытия, пользующегося всеобщим доверием изобретения очевидно и признается всеми. Но оно не менее достоверно и повсюду, во всей совокупности социальной жизни, и, однако, оказывается непризнанным. Существенно в истории всегда уравнивание и увеличение количеств веры или сил желания, и историческим явлением должно называть всякий факт, вызывающий или порождающий новую форму равновесия или увеличения этих масс или сил. С этой точки зрения военные события несомненно заслуживают такого названия и, идет ли речь о междоусобной войне, об избирательной борьбе или о внешней войне, о войне, ведущейся для грабежа, порабощения, обогащения, или для религиозного обращения, или социального поглощения побежденного иностранца или побежденного соотечественника, — всякое сражение является одним из тех столкновений противопоставленных друг другу силлогизмов, о которых я говорил выше<sup>82</sup>. Из посылок, извлеченных из ее основной цели, сообразно с ее средствами или познаниями, нация или партия делает заключение: «я хочу этого», или «это верно». Другая



нация из других посылок выводит заключение: «я этого не хочу» или «это неверно». При всех остальных равных условиях, та армия, которая одушевлена более сильным убеждением или более сильной страстью, одерживает в конце концов верх и уничтожает или подчиняет себе более слабое убеждение или страсть.

Событие, как военное, так и всякое другое, представляет собой социальное умозаключение. Но существуют такие явления, которые видимы непосредственно, и такие, которые непосредственно невидимы, и эти последние — изобретения или открытия, не пользующиеся вначале известностью, противоречия или оппозиция какой-нибудь данной, установившейся системе идей и интересов, вначале глухие, а затем мало-помалу растущие и, наконец, вызывающие переворот, — бывают не менее важными<sup>83</sup>. Неизвестно, когда и кем изобретен компас, а между тем в тот день совершилось событие, которое должно было повести к развитию морской торговли, к процветанию Венеции, затем к открытию Нового Света и к перенесению на восток, через океан, европейской цивилизации, столь чудесно разросшейся и оторвавшейся от берегов Средиземного моря. Изобретение локомотива сделает для подготовки великой европейской федерации будущего больше всех завоеваний, всяких тройственных и четверных союзов. В подобном случае путем включения, а не прямого нападения робко входит нововведение в мир, который ему суждено вскоре радикально изменить; ничто не мешает, если угодно, назвать это эволюцией, но только с условием никогда не смешивать те две весьма различные вещи, которые понимаются под этим словом, — не смешивать естественное развитие зародыша с случайным уклонением от этого развития, вызванным внесением нового зародыша. Вот почему не верно, — повторяю снова, — что война должна существовать всегда.

Большая часть войн была несомненно менее неизбежна и менее спасительна для цивилизации, или более бедственна, нежели революции. Тем не менее — и отсюда можно извлечь аргумент *á fortiori* против вековечности милитаризма — не верно и то, что революции — эта другая великая драматическая форма социальной диалектики — должны еще вспыхивать от времени до времени, даже по достижении некоторого

определенного момента национального сплочения. Точно так же весьма сомнительно, что наиболее прославляемые из них были также и самыми благотворительными, а также, что без них или хотя бы без некоторых из них, т. е. при их замене развитием зародышей, которые они часто уничтожали, настоящее положение человечества было бы в конце концов менее счастливым. Достоверно ли, что вторжение варваров, величайшая из революций истории, действительно влило новую кровь в жилы одряхлевшей Европы, как это повторяют машинально? Оно только уничтожило и остановило на тысячу лет работу цивилизирующего воображения. Среди нагроможденных им обломков, среди пороков варварской испорченности, смешанных с римской развращенностью, жизненностью обладали только пережившие его остатки Рима и христианство, распространившееся также благодаря Риму. В этом отношении Фюстель-де-Куланж, за малыми исключениями, кажется ближе к истине, нежели его противники. Реформация сделала больше добра и меньше зла, хотя работы Янсена, так хорошо обоснованные при помощи документальных данных, заставляют сильно сомневаться в этом. Но ей же мы обязаны и католической контрреформацией Триентского собора — той неподвижной, янсенистской суровостью, которой должен был облечь себя католицизм, даже под руководством иезуитов, чтобы защищаться против своего сурового врага. Какой контраст с тем очаровательным католицизмом, каким он был до Лютера, правда, распутным и своевольным, но зато таким терпимым, щедрым и гостеприимным по отношению к научным новшествам: к философским вольностям, к неопаганизму гуманистов и поэтов! Если бы эта приятная христианская эволюция продолжалась до нашего времени, то разве мы были бы еще безнравственнее? Это далеко не достоверно, но, по всем вероятностям, у нас была бы вместо католицизма самая эстетическая и наименее стеснительная религия в мире, в которой вся наша наука и вся наша цивилизация вмещались бы так же свободно, как какая-нибудь академия или светское собрание в прекрасной готической зале с ее красивыми окнами. Можно ли назвать Реформацию матерью или бабкой Французской революции? Нет; философы-энциклопедисты происходят по прямой линии от Возрождения, через вызванные им славные научные

исследования XVII века (без всякого сомнения, запоздавшие на одно столетие под влиянием религиозных войн). Что же касается самой Французской революции, то для суждения о ней подождем, чтобы она окончилась. Пока же, ничего не предугадывая, даже после Тэна, скажем только, как общее правило, что всегда должно держаться настороже против головокружения, вызываемого видом этих великих исторических пропастей, против очарования совершившегося факта, против восторга, вызываемого успехом. То, смешанное с удивлением и страхом, с энтузиазмом и ужасом, суеверное впечатление, какое испытывают первобытные народы под влиянием атмосферных бурь, больших приливов, естественных катастроф, в высокой степени смягчается у народов цивилизованных. Но у них оно заменяется волнением в сущности такого же характера, не менее могущественным, не менее суеверным, какое они ощущают при наступлении великих социальных бурь, исторических переворотов. Между революционными легендами, — так как у каждого народа есть свои такие легенды, — и мифологическими рассказами, внушенными краснокожему разыгравшимся циклоном, расстояние не очень велико. Правда, без войн и без революций история была бы несколько бесцветна, но такая живописность стоит дорого. Выведем отсюда хоть только то заключение, что не следует прославлять их без меры. Они благотельны в той мере, в какой являются благоприятными для гения изобретательности, который производит перевороты без революции и одерживает победы без сражений.

## X

Но вернемся к нашей основной мысли. Из указанных нами трех периодов в процессе установления гармонии важнее всего рассмотреть второй, так как первый является только его прологом, а третий — эпилогом. Происходящее в этом периоде гармонизирующее брожение распадается на два последовательных фазиса, каково бы ни было брожение в среде все более и более сложных появляющихся систем. Несправедливо утверждали, что установление порядка среди всякого рода социальных фактов бывает вначале бессознательным делом и только позднее делается сознательным, что, например, язык или ремесло, даже искус-

ство или свод обычаев — не всегда осмеливаются присоединить сюда и религию — вначале создаются сами собой, бессознательно, и заканчиваются сознательно и обдуманно только гораздо позднее. Это настолько же несправедливо по отношению к этим группировкам изобретений, как и по отношению к самому производству изобретений. Наоборот, как было сказано выше, сознательное всегда переходит или стремится перейти в бессознательное — хотение в привычку, предложение в понятие. Истина, подмеченная, но дурно определенная в предыдущей неправильной формуле, заключается в следующем: в создании какого бы то ни было простого или сложного социального явления все бывает только деятельностью сознания и даже чаще всего деятельностью размышления и усилия, но вначале изобретение порождается медленно, как результат случайного или естественного сотрудничества многих работающих сознаний, каждое из которых ищет в своей области и приносит свой клочок соломы или травы для постройки одного общего гнезда; затем часто настает такой момент, когда эта работа целиком начинается и заканчивается в одном и том же уме, из которого в один прекрасный день внезапно появляется изобретение, подобно телефону, уже вполне усовершенствованное при своем появлении, как это заметил Рело относительно машин. Этот момент настает не всегда, но к нему всегда стремятся. Иначе говоря, первоначально все достигается при помощи собирательного сознания, а после все производится или стремится к тому, чтобы быть произведенным при помощи сознания единичного, или же, — если речь идет о том, как выполняется одно какое-нибудь дело, — подготавливается оно собирательным сознанием, а заканчивается сознанием единым. Как складывалось христианское вероучение? Прежде всего при помощи умственных усилий целой толпы правоверных, каждый из которых в своей изолированной церкви старался, как умел, примирить различные положения своей веры, а затем, после бесконечных, оставшихся неизвестными столкновений и нескольких громких случаев борьбы между этими тысячами различных Credos, путем торжества и неоспоримого преобладания одного из них — символа Афанасия. Как образуется какое-нибудь право? Вначале, когда еще нет никакого

законодательства, умы многочисленных судей последовательно работают над тем, чтобы прикрыть или устранить несогласие между отдельными существующими обычаями, и составляют таким образом в своем уме свои маленькие, частичные и специальные кодексы; позднее же, после многих пререканий, принуждает всех к повиновению деспотизм какого-нибудь знаменитого законодателя, исправившего и уложившего в систему всю эту работу веков или избравшего одну из этих частных юридических систем и возвысившего ее в положение общей системы права. Язык, менее счастливый — если это можно назвать счастьем, — нежели религия и право, еще никогда не достигал того фазиса, чтобы сделалось возможным появление единого законодателя, но он всегда стремится к этому и иногда даже почти достигает его. Греческий язык, как и всякий другой, сформировался сначала благодаря усилиям миллионов говоривших и тысяч ораторов, напрягавших свой ум в попытках лично для себя усовершенствовать, сделать более правильным и обогатить наречие своего племени. Каждый из них выработал таким образом свой стиль, выделил из общего национального языка свой особенный язык и при помощи последнего вносил свою маленькую долю содействия прогрессу первого. Позднее, у каждого наречия в свое время был свой знаменитый поэт, наложивший на него свой отпечаток, и все эти соединенные вместе диалекты были смешаны и слиты воедино великим Гомером, почти в такой же мере преобразовавшим греческий язык, в какой Солон преобразовал афинское право. Можно сказать, что язык становится культурным, когда он открыто вступает в тот фазис развития, идеальным пределом которого можно было бы считать единство сознания, если бы несколько смешная попытка ввести волапюк была предпринята с большим благоразумием. Таким классическим веком для французского языка была эра Паскаля, Корнеля или Расина, для итальянского — эра Данте, Цицерона и Вергилия для латинского. Переходным фазисом от сознания собирательного к единичному бывает сознание множественное, представителями которого в эволюции права, науки, религии, искусства является плеяда реформаторов, подобных знаменитым законоведам эпохи Антонинов, предшествовавших установлению Кодекса Юстиниана, или французским драматургам до

Корнеля. До сих пор развитие языка и даже развитие орфографии и просодии не могло перейти за этот фазис. После того времени, когда каждый писатель строил свою собственную орфографию и когда эти тысячи противоречивых орфографий оспаривали друг у друга литературное поле битвы, академическое собрание, коллективный законодатель, облечено властью издавать по этому предмету законы, обязательные для всех, и еще ни один писатель, как бы ни был велик его авторитет, не мог взять перевес над его решениями.

Как образуется правительство? Сначала путем взаимопомощи или соперничества между рассеянными в данной стране политическими и военными силами, которые все сознательно и обдуманно властолюбивы; позднее, путем концентрации этих сил в одних руках, в руках какого-нибудь Людовика XIV или Наполеона. Как образуется какой-нибудь вид ремесла — плотничье ремесло, столярное ремесло, каменщиков и т. д.? Сначала путем находчивости бесконечного числа плотников, столяров, каменщиков, каждый из которых знал немного секретов своего ремесла и комбинировал их по своему разумению, до тех пор, пока не явился какой-нибудь великий мастер плотничьего, столярного, каменного ремесла, который формулировал общие правила ремесла и стал служить примером для других. Как устанавливается промышленный режим? Точно таким же образом. Каждая мастерская сознает ту конкуренцию, которую она встречает со стороны других таких же мастерских, сознает также и то, что ей нужны некоторые другие, отличные от нее мастерские; отсюда тысячи сделок, тысячи группировок, которые считаются самопроизвольными, но от этого не становятся менее сознательными, и направлены к тому, чтобы по возможности лучше согласовать эти соперничающие стремления или сделать возможно плодотворнее согласие этих солидарных интересов; затем появляется какой-нибудь глава купеческого сословия, как это бывало в средние века, который приходит к мысли о возможности установить известный порядок среди всех этих сделок, скомбинировать в одно целое все эти частные группировки и подчинить одним и тем же правилам все корпорации данной страны. Современный мир еще ждет появления общей регламентации такого рода, заботливо вынашиваемой в настоящее время агитацией социалистов, из чего, однако, не следует,

чтобы она непременно должна была привести к осуществлению социалистской организации труда.

Мы видим, что и в области логических союзов наблюдается переход от собирательного сознания к единичному, точно так же как и в области логических поединков. В самом деле, с одной стороны сражения, вначале представлявшие собой совокупность отдельных столкновений, как это было еще во времена Гомера, позднее превратились в выполнение плана военачальника, с другой стороны, мы видим в Греции, например, множество союзных трактатов, заключаемых и распространяющихся от одного маленького посада к другому, от общины к общине, от округа к округу прежде, нежели появились или пытались появиться федерации, построенные по общему плану, как те, какие были задуманы или осуществлены Эпаминондом, Тимолеоном или Филиппом Македонским. По отношению своей международной политики Европа находится еще в первом фазисе, но по настоящему росту союзов чувствуется, что она стремится ко второму, ожидая, когда овладевшая ею неизмеримая потребность умиротворения путем федеративного объединения встретится со своим гением. Юная Америка, где все развивается ускоренным шагом, кажется, уже ближе нас к этому установлению связи между родственными нациями, которое задумал и к которому стремился государственный деятель.

Существует скверная привычка называть искусственным порядок, устанавливаемый единичным сознанием в какой бы то ни было категории социальных явлений: искусственны прочно установленные системы правил, введенные в языке каким-нибудь знаменитым грамматиком, вроде Вожея, искусственны законодательные кодексы, конституции, составляющие одно целое, теологические системы, и в особенности искусственны эти великие энциклопедические философии, возникшие в уме какого-нибудь Аристотеля, Декарта, Канта и соединяющие тысячи отдельных кусков наук в одно роскошное одеяние или покрывало истины, так как философия представляет собою только единично-сознательное состояние науки, следующее за состоянием раздробленности и разбросанности, за состоянием сознания собирательного;

наконец, по словам экономистов старой школы, искусственным является всякий порядок промышленности, который не произошел как бы сам из себя, всякая иерархия и дисциплина в среде различных производств, различных интересов, которые, будучи даже либеральными и до некоторой степени индивидуалистическими, тем не менее родились с первородным грехом, так как они выработаны научным путем в едином уме, утилизовавшем труд тысячи других умов, живших раньше... Но разве позволительно считать искусственным явление, столь всеобщее и представляющее необходимое последствие естественного закона?

## XI

Мы разъяснили последовательные фазисы и приемы социальной диалектики, работающей над увеличением верования и желания при помощи последовательных открытий и изобретений, а также над высшим уравниванием того и другого путем образования великих социальных систем. Нам остается сказать только несколько слов о возможных окончаниях этой работы. Смешать здесь обе логики и предъявить к логике социальной те требования, которые относятся исключительно к логике индивидуальной, составляет в этом случае глубокую и прискорбную ошибку. Единственным законным пределом логической работы в уме индивидуума, если она доводится до конца, является полное устранение противоречий. Его личная система идей и потребностей может считаться совершенной только в тот день, когда она уже не содержит в себе ни противоречивых положений, ни противоположных друг другу стремлений и интересов, да и то еще должно заметить, что это совершенство по отношению к индивидууму скорее играет роль подводной скалы, а не спасительной гавани; перестав противоречить самому себе, философ погружается в сон до тех пор по крайней мере, пока он не услышит противоречия со стороны другого, что в силу внутреннего отражения чужого верования заставит его, борясь с противником, бороться с самим собою в гораздо большей мере, чем он думает. Красота, жизнь, даже сила человека, — человека мысли или человека дела, — дается ему той маленькой, скрытой закваской бессознательных полупротиворечий, какие он находит в самом себе и



которые его незаметно возбуждают. Моралисты, аналитики, роющиеся в своей собственной мысли, несчастны и бессильны, потому что они опустили светоч сознания слишком глубоко в свое подземелье и лишили этот скрытый фермент всей его силы, не успев, однако, изгнать его окончательно. Вместе с иллюзией своей собственной гармонии они потеряли и то, что, быть может, составляет первое условие ее реальности. Во всяком случае, эта полная гармония без всяких заметных диссонансов представляет собою единственное положение устойчивого равновесия, на котором индивидуальный ум может остановиться и которое примиряется с требованием увеличения верования и желания. Два одновременно существующих в нем, в одном и том же уме, противоречивых и создаваемых таковыми суждения или намерения не могут прийти к равновесию, так как они взаимно разрушают друг друга, порождая обессиливающий скептицизм, если они обладают одинаковой силой, или более сильное уничтожает более слабое, если их сила неодинакова, и их одновременному существованию наступает конец. Равновесие, или, лучше сказать, согласие, может в нем установиться только для таких различных суждений или потребностей, которые, не относясь к одному и тому же предмету, взаимно дополняют и поддерживают друг друга или дают уму возможность отвлечься и отдохнуть, переходя от одних к другим, но никогда не бывают помехой друг для друга. Очевидно, что всякое противоречие в одном и том же уме, когда оно сознательно, представляет собою ослабление уверенности, с какой утверждается само победоносное положение, и того чувства удовлетворенности<sup>84</sup>, какое может доставить осуществление даже самого дорогого плана. Но не так обстоит дело относительно ума социального, составленного из многих отдельных умов. Заключающиеся в нем противоречия в отдельных умах, между суждениями и намерениями, образовавшимися у различных индивидов, могут существовать вместе неопределенно долго даже в том случае, когда они пользуются общей известностью, что является социальным эквивалентом сознательности. Даже и в этом случае они не всегда бывают причиной скептической и апатической анемии; результатом их чаще всего бывают, наоборот,

взаимное возбуждение, а не ослабление соперничающих религий, противоположных философий, конкурирующих промышленности и противоречащих интересов. При всем таком возбуждении эти убеждения и страсти, эти культы и интересы могут социально уравниваться, несмотря на горячность споров и пыль конкуренции, но только при наличности двух условий.

Первое заключается в том, что борющиеся силы должны в силу самой этой борьбы локализоваться, заключаться в почти неподвижные, непреодолимые юридические границы, что приводит к общераспространенной привычке терпимости и уступчивости; участь этих двух слов различна: одно восхваляется, другое позорится, но это не мешает им выражать идеи, неотделимые одна от другой. Но терпимости и уступчивости еще недостаточно, так как, предоставленные самим себе, они разделили бы общество на отдельные части, которые скоро стали бы чуждыми друг другу; они даже возможны только тогда, — и в этом заключается второе условие, — когда есть в наличности какая-нибудь важная группа истин, принятых всеми, стоящих над всеми этими нагроможденными обломками, когда есть один высший, общий всем идеал или намерение. Действительно, возможно, что силы веры, волнующиеся в среде общества, будут уважать или терпеть друг друга, если все они стремятся к поддержанию верховенства одной и той же священной книги, одной и той же системы наук, одних и тех же моральных догматов или, по крайней мере, одной и той же монархической веры, принципов одной и той же конституции; но если они освободились от этой общей подчиненности, то они неизбежно обратятся друг против друга, теологи, теоретики, публицисты, оскорбительно враждуя, открывая огонь по врагу, каждый из своей узкой цитадели. Это справедливо в особенности по отношению к этой важной отрасли национальных верований, по отношению к верованиям субъективным, к большей или меньшей вере каждого в самого себя. Самолюбия могут существовать рядом без слишком сильных столкновений, когда у них есть возможность развиваться в высоту в своем воображении и превратиться в благородную гордость под влиянием какого-нибудь

сильного коллективного удивления перед великим человеком или каким-нибудь великим олицетворением. Но когда эта национальная иллюзия рассеивается, самолюбия снова мельчают и, чувствуя свое основное взаимное противоречие, вытекающее из того, что каждый из нас считает себя выше своего соседа, фатально приходят к взаимному пренебрежению и презрению. Подобным же образом бродящие в обществе силы желания могут размежеваться без столкновений и более слабые могут примириться с своим положением, когда у всех них есть возможность распространяться вверх в форме какого-нибудь широкого общего стремления, подобного стремлению к объединению Германии, каким оно было до 1870 года, или стремлению к объединению Италии до 1860 года, подобного тому возрождению объединенного древнего эллинского мира, о котором мечтают современные греки Европы и Малой Азии, или панславизму, о котором мечтают русские, подобного всемирному господству Папы, о чем когда-то мечтали столько христиан-гельфов, или такому же господству императора, о чем мечтали столько гибеллинов, подобного, наконец, мечтам римлян о бессмертной славе Рима, евреев о пришествии Мессии, мечтам о мистическом Спасении, существовавшим всегда в религиозных сердцах, начиная с времен древнего Египта и т. д. Но если это высший путь исхода закрыт для этих сил желания, если эти разноцветные миражи чрезмерного патриотизма или интернационализма расплываются перед ними без остатка, если они не могут больше направляться к одному и тому же высшему объекту или реальному, но неделимому и способному объединить их, или воображаемому, гипотетическому, но способному делиться до бесконечности, представляющему собою нечто такое, чем все могут владеть, нисколько не мешая друг другу, то что тогда могут делать эти тщеславные люди, не имеющие никакого возвышенного занятия, как не смотреть завистливо друг на друга, ставить целью своих домогательств имущества других, озаглаживать собою начало нового царства ядовитой зависти и взаимных раздоров?

Итак, для решения социальной проблемы нет необходимости, чтобы всякое сознательное и ясное противоречие было устранено. Достаточно того, чтобы полемики и соперничества, всякого рода конкуренции не

ожесточались до такой степени, когда уничтожается всякое высокое религиозное или патриотическое, научное или гуманитарное единодушие мысли или чувства, достаточно, чтобы благодаря этому единодушию верховное положение занимали не раскол, презрение и зависть, а терпимость, гордость и почтительная к признанному праву уступчивость. Но если религиозная вера и патриотизм какой-нибудь страны уничтожены и не замещены ничем, если у него не осталось больше ничего от этого частного и самопроизвольного единодушия хотений и познаний, тогда для того, чтобы восстановить социальное равновесие, чтобы положить конец кровавым столкновениям интересов, самолюбий и принципов, необходимо было бы насильственно установить единодушие другого рода, полное и вынужденное, сокрушая при этом оппозиции, уничтожая противоречия, искореняя раскол и сопротивление, организуя большой национальный фаланстер наподобие полка или монастыря. Правда, было бы трудно создавать монастырь без веры и полк без патриотизма.

Мы указали те три единственно возможных состояния, которые обуславливаются во всяком обществе соприкосновением между верованиями и самолюбиями, с одной стороны, и интересами — с другой. Нет ни одного общества, где одно из этих состояний существовало бы в каждом из этих трех видов при полном отсутствии двух других, но нет также ни одного такого общества, где одно из них не было бы преобладающим и не давало бы тон всей совокупности национальной жизни.

Единодушие религиозное (или научное), терпимость, раскол.

Единодушие удивления, гордость, презрение.

Единодушие патриотическое (или, по крайней мере, моральное), уступчивость, зависть.

Сравнивая теперь эти три серии, заметим сродство, объединяющее термины, занимающее одинаковое положение в каждой из них. Народы, отличавшиеся своим патриотическим и моральным единодушием, — первобытные римляне, спартанцы, персы, испанцы XVI столетия и т. д., — вообще говоря, были не менее замечательны и по своему религиозному единодушию и по энтузиазму в каком-нибудь новом или традиционном удивлении; народы, действительно терпимые, — как,

например, в наше время, если верить Элизе Реклю, азиатские турки, а также бельгийцы, голландцы и даже современные испанцы, — являются в то же время покорными судьбе и гордыми, а народы, любящие спорить, в то же время завистливы и презирают других. Только первое из этих положений представляет собою положение равновесия устойчивого и подвижного в одно и то же время; второе является положением равновесия устойчивого, но неподвижного, которое одно только и знакомо истощенным или слабым народам. Что же касается третьего, то оно представляет собою состояние, часто необходимое, но всегда только переходное, состояние неуравновешенности и кризисов. Истории приходилось много раз осуществлять эти три различных решения (каждое из которых является не единственным) проблемы, какую ставили ей логика и телеология обществ.

## XII

Объяснимся точнее и укажем, каковы различные исходы логического поединка. Борьба за подражание между двумя изобретениями или также между двумя группами изобретений, являющаяся у них борьбой за существование, может закончиться пятью способами. 1) Одно насильственно или мирно уничтожает другое, которому перестают подражать. Это уничтожение бывает мирное, когда замена одной идеи другой происходит без принудительного обращения. В случае введения новой религии или нового языка, в случае новых политических убеждений, новых эстетических вкусов или каких-нибудь обычаев добровольное обращение является исключительным явлением. Нормальный прием, при помощи которого одна идея или одна форма деятельности заменяет собой другую, заключается не в том, чтобы искоренить эту последнюю из привычек тех, кто ее уже усвоил, а в том, чтобы не дать ей завладеть молодыми поколениями. Отец сохраняет свои старые верования, свои политические убеждения, покрой своего платья, своих любимых художников или писателей, тогда как его сын принимает модные идеи, одежду и чувства. Путем обобщения этого приема, особенно рекомендуемого вниманию государственных людей, социальное уничтожение того, что устарело, происходит без помех, без страданий.

2) Соппротивление, оказываемое нововведению обычаем, не всегда является безрезультатным, когда социальная логика требует уничтожения одряхлевшей старины, которой противоречит новшество. Тут часто происходит безобидный переход: форма вещи сохраняется, тогда как ее сущность исчезает. Это — явление переживаний, объясняющееся таким образом очень просто. 3) В подобном случае, если дело идет о новой религии, новой политической форме, новом законодательстве, новой поэзии, новом языке, вносимых в какую-нибудь страну завоевателями и проповедниками, иногда случается, что старая религия, старая политическая форма и т. д., стремясь избежать смерти, преклоняется перед новой и, втайне торжествуя, становится ее вассалом, а последняя удовлетворяется этим признанием своего преобладания. Боги побежденных общин, например, преклоняются перед богами победившей общины и такой ценою сохраняют неприкосновенными свои храмы. Такая развязка благоприятствует национальной жизнеспособности. 4) Новое, вытеснив старое, не может, однако, заставить его исчезнуть за пределами известной территории, из некоторых социальных слоев, где оно запирается, как в неприступной, а под конец даже и не атакуемой крепости. Так именно защищают свое существование некоторые выразительные провинциальные наречия, некоторые живописные суеверия и об этом не должно жалеть. 5) Появляется другое нововведение, которое, применяя для своих целей обе борющиеся между собою вещи и действительно или только по-видимому примиряя их, прекращает их борьбу, превратив ее в союз. Когда Жоржу Кювье показалось, что он нашел доказательство существования своим «переворотам земного шара», великая борьба между палеонтологами и библейским рассказом о сотворении мира на время приостановилась и их примирение казалось обеспеченным. Когда в каком-нибудь округе умирающие с голоду партии и классы из всех сил стараются уничтожить друг друга, открытие каменноугольных копей, обогащающее всех, устанавливает согласие между всеми. Когда страна раздирается внутренними неурядицами, открытие колонии или ее завоевание, для воинственного народа равносильное открытию, вызывает большой поток эмиграции, столь же умиротворяющий, сколько и обогащающий.

Сколько европейских войн и революций устранило или на несколько веков отдалило великое открытие Колумба! И какое значение представляют рядом с этим те мелкие колониальные столкновения, которые оно породило! Оно дало широкий исход вдаль для духа несогласия, алчности и бесчеловечности, который, имея возможность удовлетвориться над дикарями и на невозделанных территориях, перестал потрясать Европу с прежнею силой. От этого отчасти произошло смягчение военных нравов и прогресс международного права.

Что касается логического союза, то и у него есть несколько различных исходов, как мы видели, так как он в конце концов приходит или к всеобщему и насильственному единодушию умов, приведенных к согласию относительно какой-нибудь системы идей и хотений, — всегда, впрочем, более или менее согласных между собой, но несогласие которых остается незаметным, — или к единодушию, частичному и самопроизвольному. Нам нечего прибавить по этому предмету, но не бесполезно будет остановиться на один момент на рассмотрении той привилегии на построение систем, способных порождать это абсолютное или относительное единодушие, какою до сих пор пользовались, по-видимому, религии. Факт этот совершенно неоспорим, и даже особенно по отношению к единодушию моральному, если не патристическому, по отношению к культу одной и той же системы бесспорных обязанностей, требующих самопожертвования и заставляющих повиноваться себе. Понятие о рыцарской чести, заступающее иногда их место, берет свое начало отсюда. Какая же причина этой привилегии?

Причина ее лежит в том, что даже самые грубые религии, а тем более, конечно, религии возвышенные, вызывали ни с чем не сравнимый поток верования и самопожертвования вследствие того подъема, какой они сообщали духу подражания, и того пути, какой они указывали этому подражанию, рисуя ему образцы в виде живых и бессмертных, и не только бессмертных, но даже делающих других бессмертными, всезнающих, всемогущих божественных существ. С этой стороны они удивительно хорошо приспособлены к условиям социальной логики. Тот труд переработки, уподобления, расширения смысла по аналогии,

который был выполнен мусульманскими законоведами в первые века после геджры и результатом которого явилась внешняя исламизация множества учреждений и идей римского происхождения, чуждых исламу, — этот труд может служить прекрасной иллюстрацией для нашей мысли. В самом деле, этот коллективный труд имел целью и привел в результате к установлению связи между Кораном и жизнью Магомета и всем тем, в чем нуждалась мысль и деятельность мусульман для своего дальнейшего развития при возрастающем разнообразии и сложности новых условий их среды; все это связывалось с Кораном, со словом Пророка как с источником всех предписаний и всех истин и с жизнью Пророка как с источником всяких примеров. Таким образом сложилась целая система идей и деяний, ключом к которой служила книга *par excellence*, истолковываемая биографией ее автора, и обаятельная иллюзия, что все в ней возмещаемое и все в ней исповедуемое приказано и догматически установлено самим Аллахом<sup>85</sup>, представляет собою действительно волшебную иллюзию, вызываемую этим систематическим ансамблем. Истина, которой проникнут каждый правоверный, заключается в том, что нечестиво усваивать идею, не подтверждаемую Кораном, или сделать что-либо, не приказываемое Кораном и не указываемое поведением Учителя. В сумме этот *chef-d'oeuvre* социальной логики, который называют исламизацией, представляет собою совокупность идей, считающихся проистекающими из одного и того же высшего откровения, и совокупность поступков, считающихся проистекающими из одного и того же божественного приказания. Нечто иное представляет собою и христианизация всей средневековой цивилизации.

Основное положение всякого систематического ума, — безразлично, коллективного или индивидуального, — состоит в том, что существует такая формула или такая группа формул, которая заключает в себе подразумеваемое, скрытое от нас объяснение всей Вселенной и всякой обязанности, так что достаточно только твердо верить этим формулам, чтобы быть в состоянии разрешать все проблемы, чтобы быть уверенным, что всякое предложение и всякий поступок, согласные с этими догматами, истинны или хороши, а всякое предложение и всякий



поступок, противоречащие этим догматам, ложны или худы. Таким принципом для систематического ума в индивидуальном смысле этого слова, т. е. для ума философского, для ума Спенсера, например, будет сохранение силы. Верить в эту аксиому механики — значит для последователя Спенсера держать в руках ключ ко всему миру, как для мусульманина источник всякой истины заключается в словах и поступках Магомета. Однако разница между тем и другим очень глубока. Для того, чтобы составить коллективную систему, для того, чтобы систематизировать этот многоглавый ум, который называется народом, недостаточно одного только абстрактного математического, безличного и мертвого принципа, вполне достаточного для построения индивидуальной системы в философском уме; для этого необходимо нечто конкретное и живое, нечто личное и историческое — божественная книга, которую надо выучить наизусть, божественная жизнь, которой надо подражать. Отсюда следует, что если логика работает всегда одинаково, несмотря на различие ее применений, то приемы этой работы должны быть глубоко различны, смотря по тому, прилагается ли она к большим посылкам, представляющим собою священные тексты и более или менее легендарные деяния божественных личностей, или же этими посылками служат точно определенные принципы. Это до такой степени верно, что когда христианский, арабский, еврейский или буддистский теолог старается оправдать учреждения, постановления закона, обычаи, предрассудки, опираясь на основания, почерпнутые не из стихов Священного Писания, а из других положений, то он каждый раз навлекает на себя подозрение в рационализме. Этим хотят сказать, что он опирается на разум, на индивидуальную только логику.

Да и на самом деле легендарные факты и священные тексты представляют собою гораздо более удобные большие посылки, нежели теоремы механики: они позволяют ассимилировать с собою почти все, тогда как научные принципы существенно исключительны. Итак, великое социальное преимущество религиозных систем перед системами философскими заключается в том, что они гораздо эластичнее, гораздо легче приспособляются к разнообразию обстоятельств и расовых условий и отличаются замечательной способностью без всякого лицемерия

скрывать заключающиеся в них противоречия. Это различие в свою очередь объясняется следующей капитальной разницей. Для того, кто стремится только объединить свои собственные идеи, цель оказывается достигнутой, когда он выковал цепь или выткал сеть, состоящую из правильно выведенных предложений. Поступая таким образом, он производит работу философа, так как если он после этого начинает мечтать о распространении своей теории в других умах, то это стремление по своему характеру внефилософское, скорее апостольское. Но у человека, глубоко братолюбивого, живущего в ближнем и для ближнего, нисколько не желающего отделять свою личность от личности своих братьев, ни своего ума от ума своей общины, не явилась бы даже идея согласовать между собой только лично свои мысли или только лично свои поступки, а если бы она и явилась, то не удовлетворила бы его. Для его удовлетворения нужно, чтобы он чувствовал согласие между своими поступками и поступками этих последних, но какое же средство достигнуть этой цели, заставить звучать в унисон миллионы различных душ, может быть, проще, вернее, естественнее подражание одному и тому же общему Отцу, одному и тому же верховному, живому и божественному Примеру?

Мы знаем уже, что эти два вида ума противоположны друг другу, и нет ничего удивительного, что и их методы различны. Об этом можно судить, если сравнить работу одинокого размышления с работой, производимой собором (собором мусульманским или еврейским, так же как и христианским), внутренние муки сомнения и неуверенности с религиозными войнами и взаимными преследованиями правоверных и еретиков, чувственное восприятие, доставляющее первые данные философской системы, с священным откровением, играющим в социальном отношении ту же роль. Не представляется ли развитие философского ума, эгоистическая потребность прежде всего установить согласие с самим собою, мало беспокоясь о согласии между собою и своими соотечественниками, прямой противоположностью действительно социальному духу братства, заставляющему прежде всего желать согласия со своими ближними, со своей семьей, со своей страной. Не

представляется ли необходимым выбирать между развитием первого и развитием второго? Разве, в самом деле, каждый из них не развивается на счет другого? Разве не чувствуют сильнее других потребность быть согласными с окружающими именно те, которые меньше всех чувствуют потребность быть согласными с собою, и разве обратное не столь же очевидно? Как же, следовательно, надеяться на примирение когда-либо этих двух тенденций? А раз они кажутся непримиримыми, то как сомневаться, что социальная тенденция должна в конце концов восторжествовать?

По-видимому, так. Быть может, однако, тому, что мы называем научной истиной, суждено в ее дальнейшем развитии примирить эти два рода согласия; без сомнения, философские наклонности, несмотря на свой внешний эгоизм, имеют право на уважение только в силу их высшего характера, зависящего от того, что способность ума к философскому мышлению является условием *sine qua non* прогресса наук, а эти науки могут распространяться во всем человечестве, переходя даже такие границы, за которые не может переступить религия. Притом наука, кроме своей способности быть доказываемой и сообщаться всем народам, является плодом векового сотрудничества поколений ученых, представляя таким образом вдвойне настоящий *chef-d'oeuvre* социальной диалектики. В то же время, будучи свободна от всякого внутреннего противоречия и образовавшись под влиянием преобладающего стремления избежать последнего, представляет также *chef-d'oeuvre* индивидуальной логики. Она представляет собой синтез этих обеих логик и может рассчитывать на то, чтобы не уничтожить религии, а самой стать когда-нибудь верховной религией разума. Но что такое представляет собою синтез индивидуальной и социальной телеологий, синтез утилитаризма эгоистического и утилитаризма коллективного, т. е. морального? Есть только один такой синтез — это любовь. Это — дух сострадания, доброты, братства, единственный импульс справедливости, и незабвенной заслугой высших религий является то, что они еще до науки могущественно споспешествовали развитию этого духа в людях.

## XIII

Нам остается исследовать один важный вопрос. Было замечено, что несмотря на бесконечное разнообразие тех систем философии или морали, к каким приводит разработка индивидуальной логики и телеологии, все они разделяются на небольшое число основных категорий. Верно ли это? Если это верно, то происходит ли то же с теми результатами, к которым приводят логика и телеология коллективные?

Редко случается, чтобы человек доводил до конца теоретические выводы из данных его наблюдения и опыта. Но если случайно он оказывается крайним исключением в этом отношении, то, в конце концов, он всегда останавливается, подобно реке, впадающей в морской залив, на одной из немногочисленных великих систем, между которыми все время распределялась философская мысль, — на механизме или спиритуализме, на атомизме или монадизме, на креационизме или эволюционизме, на монизме или дуализме и т. д. Но не доставляют ли нам социального эквивалента этих великих типов индивидуальных решений основные типы языков и религий? Мне кажется, что так, но я высказываю такую догадку с некоторою неуверенностью, потому что классификация этого рода коллективных философий разработана гораздо менее классификации собственно философских систем. Тем не менее, не трудно убедиться, что существуют языки по темпераменту материалистические или позитивистские и языки спиритуалистические или мистические, что существуют, например, в семье семитских языков и такие, в которых чувствуется наивный реализм, повелительный догматизм, соединенный с узким субстанциализмом, и другие, подобные греческому языку, в которых как будто играет подвижная и гибкая, скептическая и номиналистская мысль, нисколько не обманывающаяся относительно своих вымыслов. Неоспоримо существуют также религии, насквозь пропитанные материализмом или спиритуализмом, оптимизмом или пессимизмом, фатализмом или либерализмом, теизмом или пантеизмом. Лучше сказать, один и тот же язык, точно так же как и одна и та же религия, могут в своем развитии пройти через несколько таких стадий, таких типов, таких временных приостановок; будучи

реалистическими и догматическими вначале, они могут позже стать номиналистскими и скептическими или от самого грубого материализма перейти к самому утонченному мистицизму. Но обратного совсем не замечается, ибо в обоих случаях можно усмотреть такие наклоны эволюции, по которым никогда не поднимаются.

Уму представляется на выбор столько же пар соперничающих друг с другом решений, сколько перед ним становится великих проблем. Значит ли это, что всегда может быть только два или четыре или вообще непременно четное число решений? Нет; на вопрос о том, как образовалась земля или каким образом появился человек на земле, можно ответить при помощи неопределенного числа различных космогоний или мифологий. Но почти всегда одно из этих представлений вырастает в данном народе и в данное время так высоко над всеми остальными, что основной вопрос заключается в том, должно ли оно быть принято, — да или нет. Отсюда проистекает неизбежное раздвоение. Кроме того, те представления, которые подвергаются рассмотрению, располагаются рядами по тем двум категориям объяснения, дуализм которых соответствует дуализму, какой мы чувствуем в самих себе. Мы чувствуем в себе внутреннюю силу — ум — и ее телесную точку приложения. Или, выражая эту двойственность иначе, мы чувствуем, что наше я загорается подобно электрической искре в точке встречи двух различных и сочетающихся течений, — с одной стороны, течения жизненного и физического, а с другой — социального, — первое, так сказать, гипопсихическое, а второе — гиперпсихическое. Поэтому, когда мы стараемся объяснить то, что лежит вне нас, — Вселенную, то представляем ее себе или 1) образовавшейся действием силы более или менее духовной и притом смешанного характера (первобытный анимизм, позднейший динамизм и т. д.), или совершенно однородною (монадология, философия воли Шопенгауэра, и т. д.), или же 2) построенной из чего-то вроде тела, что мы называем материей. Результатом этого является то, что между двумя крайними, одинаково радикальными или монистическими типами систем, объясняющих все или при помощи всемирного проявления одного ума

(монадология Лейбница, гегелевский идеализм, Шопенгауэр) или при помощи такого же проявления одного только тела (материализм), — между этими крайними типами помещается длинный ряд умеренных дуалистических систем, комбинирующих оба проявления, но отдающих первенствующую роль то одному, то другому из них (обыкновенный спиритуализм, картезианизм, спенсерианизм).

Таково основное раздвоение систем, образовавшихся при помощи индивидуальной логики. Подобным же образом системы, построенные социальной логикой, т. е. прежде всего религии, представляют собою антропоморфизм, объективирующий или ум или тело, или то и другое вместе, откуда и берет начало бесконечное разнообразие теологий и космогоний. Здесь радикальным монизмом является пантеизм, так как существуют два противоположных рода пантеизма: один материалистический и другой спиритуалистический. Первый представляет собою грубый или утонченный натурализм, населяющий свой пантеон воплощениями физических сил и от самых низших культов этого порядка поднимающийся до чудовищных представлений индусов, не изменяя своего существенного характера. Второй, поднимающийся от первобытного анимизма до самых возвышенных мистических религий, может быть подразделен на две ветви, в зависимости от того, проникнут ли этот мистицизм в большей степени идеей все выполняющей и все сотворяющей божественной мысли или идеей такой же воли. Креационизм, ведущий происхождение материи от Духа и мира от Бога, представляет собою прямую противоположность космогоническому эволюционизму, который считает дух происходящим из материи, божественное происходящим из естественного. Между этими двумя системами помещаются те культы, которые, принимая неоспоримым положение об основном дуализме естественного и божественного, телесного и духовного в жизни Вселенной, склонны искать объяснение реально существующего то в том, то в другом.

Но если наши систематические представления неизбежно должны быть или психоморфическими или соматоморфическими (прошу извинить мне эти новые и варварские термины), то эти два довольно смутных

основных типа могут реализоваться в большом разнообразии оригинальных систем. Какой бы вопрос ни предлагался индивидуальной или коллективной познавательной способности, он всегда сводится к следующему: «чему я теперь должен верить?». В этом заключается основная проблема. Для того, чтобы узнавать свою обязанность верования в каждом частном случае, каждый из нас обращается к самому себе и отыскивает свои наиболее твердые убеждения. Геометр и физик находят в себе в качестве верховных убеждений несколько законов физики или механики, и у них тотчас же является мысль искать у этих господствующих принципов то заключение, какое требуется от них. Человек набожный находит в себе веру в слова Магомета, Будды или Христа, в Священное Писание.

Точно так же в каждый момент своей практической жизни человек спрашивает себя: «что должен я делать?», т. е. «чего должен я желать?». Для того, чтобы раскрыть, в чем состоит эта обязанность желания и деятельности, он обращается к тому первенствующему желанию, которое обитает в глубине его души, — к любви, честолюбию, скупости, стремлению к спасению души или к желанию попасть в рай Магомета. Итак, характер наиболее сильных верований и наиболее сильных желаний, бывающих часто наименее сознательными именно вследствие того, что они наиболее глубоки, определяет собою систему суждений и систему деятельности, выбор между тем или другим из двух основных типов систем, той или другой характеристической разновидности избранного типа, выдвинувшейся условиями исторического момента. Как же образуются, укрепляются и устанавливаются эти первенствующие верования и желания? При посредстве ряда более или менее случайных восприятий, сочетающихся с врожденной склонностью к тому или другому порядку идей, при посредстве ряда внушений со стороны окружающей среды и особенно со стороны среды социальной, также совершенно случайных и сочетающихся с активными стремлениями характера, — иначе говоря, путем сочетания элемента объективного с встретившимся с ним элементом субъективным. Следует, однако, отметить здесь ту разницу, что участие, принимаемое объективным элементом в образовании первенствующих верований, далеко пре-

восходит роль элемента субъективного, тогда как значение последнего для образования первенствующих желаний очень велико. Поэтому-то человек, так же как и народ, высказывается и раскрывается гораздо вернее и гораздо глубже в своих поступках, нежели в своих идеях; в своих нравах, нежели в своих науках; в своей нравственности, нежели в своих догматах; в своем характере, нежели в своем уме.

Преобладающая страсть, самодержавно управляющая народом или человеком, может происходить, как и господствующая идея, или от тех телесных побуждений, которые продолжали бы существовать, хотя и ослабленные, даже тогда, когда социальная среда уже исчезла, или которые зарождались бы, по-видимому, даже в том случае, — это, впрочем, только обманчивая внешность, — если бы эта социальная среда никогда не существовала; или же она может происходить из тех по существу социальных влияний, появление которых вне общества заключало бы в себе противоречие. Возможно также — и это наиболее частый случай, — что она вытекает из обоих этих источников разом, но смотря по тому, заимствует ли она больше из первого или из второго, она характеризуется в обыденной речи, как чувственная или духовная по своей сущности. Итак, одно и то же основное подразделение прилагается повсюду, — идет ли речь об индивидах или о группах, о телеологических или моральных системах, или о системах логических или интеллектуальных. Есть только цели чувственного или духовного порядка, которые способны служить организующим принципом в формировании поведения отдельного человека, но не могут иметь такого значения, когда дело идет о народе. Есть индивиды, все стремления которых группируются и систематизируются вокруг стремления к алкоголю или к вкусовым наслаждениям, вокруг влечения к музыке или архитектуре и т. д., но нет цивилизаций, основною чертой которых было бы сосредоточение коллективной деятельности на удовлетворении пьянства или лакомства, или даже на любви к музыке и страсти к постройкам.

Существуют другие цели, объекты которых более широки или не серьезны и которые могут служить принципом, одушевляющим собою



поведение общества, точно так же как и личности. Бывали цивилизации, основной чертой которых служило сладострастие, влюбчивость, вежливость. Бывали также и такие, которые являлись по существу теологическими и религиозными, подобно Иудее, юридическими, подобно Риму, промышленными и деловыми, подобно Соединенным Штатам, эстетическими, подобно Афинам, или моральными, подобно Женеве. Быть может, в доисторическое время существовали и такие, которые были по существу филологическими, как ни сумасбродно такое предположение на первый взгляд. Известны были даже такие общества, господствующей страстью которых была, как у отдельных индивидов, игра, желание и удовольствие риска. Это желание и это удовольствие относятся к числу самых заразительных для человеческого сердца. Прибавим, что, идя вперед, цивилизация стремится скорее к тому, чтобы превратиться в аристократию высших страстей, нежели к тому, чтобы стать монархией, управляемой какой-нибудь одной единственной страстью.

Предшествующее подразделение сводится к тому, что существуют два больших класса благ: одни индивидуального характера, подобные удовольствиям, получаемым при помощи органов чувств, и другие чисто социального характера, подобные уважению, славе, чести. Первые, как и вторые, могут при своем всеобщем распространении сделаться главным объектом желаний какого-нибудь общества, хотя естественно, что только стремление ко вторым дает последнему полноту силы и цельности. Только тогда, когда большая часть его членов будет приведена к верховному культу благ, по существу своему социальных, общество ясно отделяется от этих членов, выступает из их среды как независимая от них личность и представляется им достойным того, чтобы жертвовать для него своими личными удовольствиями и жизнью. Впрочем, не все индивидуальные удовольствия чувственные; они бывают двух родов: одни, так сказать, подсоциальные, возникающие от физиологических отправлениях, другие — надсоциальные, представляющие собою окончательный расцвет нежной и утонченной психологической растительности, развивающейся в высшую любовь, в восторженную страсть

к истине, добру, справедливости, в эстетизм и мистицизм. Эти благородные порывы, самопроизвольно вырывающиеся из глубины некоторых избранных натур, вначале всегда являются исключением, но, как и самые грубые пороки, они в известные моменты истории способны распространяться, передаваясь от одного к другому, и, в конце концов, начинают определять собою общий тон в хоре социальных стремлений. Были известны цивилизации, по своим существенным чертам мистические, эстетические, моральные, точно так же как и эротические. Это наблюдалось во все времена; в самой отдаленной древности, какую только мы можем проследить в Египте, перед нами находится народ, одержимый, управляемый одною только заботой о своей загробной жизни. Можно ли сказать, что нормальная эволюция общества состоит в том, что они последовательно избирают такой основой, такой дающей тон страстью сначала какое-нибудь вожделение подсоциального порядка, затем стремление социального порядка, наконец, стремление надсоциальное? Нет; очень часто случается, что в процессе своих глубоких внутренних преобразований народы проходят вперед и через все три упомянутые сферы, то увлекаясь, то снова остывая к военной славе, к искусству, к истине, даже к комфорту; подпадая опять под власть честолюбия, после того как были переполнены любовью, или с высоты рыцарского мистицизма ниспадая обратно в самый низменный эпикуреизм. У законченной, определившейся цивилизации народа или федерации народов может быть какой угодно оттенок, это зависит от их этнического характера и исторических условий.

Можно сказать, что есть цивилизации, по природе своей устойчивые и неустойчивые, как и равновесия. У первенствующего желания народа объектом может быть или какой-нибудь иностранный продукт (иноземные невольницы, завоевание, внешняя слава, чужеземное искусство), или же продукт туземный (женщины своей страны, удивление или уважение к соотечественникам, местная респектабельность, национальное достоинство, национальное искусство). Но только желание *intra-muros* или *supra-muros* может распространяться у всех народов;

честолюбие же *extra-muros* может быть уделом только небольшого числа мелких воинственных народов-завоевателей. Нация, которая, как по отношению к славе и власти, так и по отношению к богатству и наслаждениям, довольствуется сама собой, которая порождает сама всю славу и все почести, в каких она нуждается, заключает в себе гармонию, хотя иногда и узкую, но всегда законченную и способную неопределенно разрастаться, нисколько не теряя своего совершенства. Нация, которая живет только аплодисментами иностранцев, иноземными завоеваниями, чужеземными удовольствиями и развратом, может некоторое время пользоваться внутренним согласием, благодаря этой самой эмиграции желания, но это согласие покупается ценой войны и победы и не может ни служить всеобщим примером, ни продолжаться всегда.

Подобно тому, как умы, как мы видели выше, распадаются на две категории относительно каждой теоретической проблемы, требующей ответа *да* или *нет* и на которую одни отвечают утвердительно, а другие отрицательно, так и характеры относительно каждой крупной потребности и каждого великого идеала, стремящегося обратить на себя хотение, разделяются на два класса в зависимости от того, что одни стремятся к этому объекту, а другие его отталкивают, или от того, что сила стремления к нему у одних бывает выше, а у других — ниже той определенной степени желания, которая — правильно или неправильно — считается нормальным и законным уровнем. Таким образом, у народов, как и у индивидов, можно различать характеристические пороки или добродетели: невоздержанность или умеренность, трусость или храбрость, скупость или щедрость, развращенность или целомудренность, или же пороки, противоположные или соответствующие друг другу: скупость или расточительность, трусость или буйность.

С самого начала своей эволюции каждая этническая группа, отдаваясь всецело тем обязательным занятиям, которые одинаковы или почти одинаковы у всех первобытных народов, проявляет свою основную наклонность, производит выбор между двумя ветвями основного раздвоения и в избранном направлении определяет свой оригинальный, только ей свойственный путь. Когда потребность в пище, питье и одежде

удовлетворена, то каждое племя пользуется ею при помощи тех же самых приемов удовлетворения этой потребности как первой ступенью для того, чтобы подняться по лестнице все более и более сложных и утонченных ощущений благосостояния, комфорта, наслаждения, или для того, чтобы возвыситься до порывов храбрости и патриотического воодушевления, а потом и до рыцарского мистицизма и художественного энтузиазма. Если оно ищет свое благо в направлении развития индивидуализма, то может предпочесть оргии без комфорта или комфорт без оргий, интенсивность грубых наслаждений или разнообразие наслаждений утонченных, а если оно пошло по пути развития общест-венности, то может стремиться прежде всего к уважению и славе, к семейной или индивидуальной чести, к значению, основанному на могуществе или богатстве. Психологи заметили, что связи между идеями у каждого из нас характеризуются определенной склонностью отдавать предпочтение образам, получаемым из какого-нибудь одного источника: зрительного, слухового или мускульного. Нет ли также и среди коллективностей типов зрительных, мускульных и слуховых? Гальтон думает, что они существуют, и имеет на то основание; страсть к процессиям, к военным смотрам, к празднествам, проявляющимся, видимо, для глаз, обнаруживает зрительный тип во Франции, например. Отсюда проистекает характеристическое различие направлений эволюций разных народов.

Вообще телеологическая разработка данных, получаемых в виде инстинктивно сложившихся отраслей промышленности или приобретенных изобретений, подобно логической разработке, приводит как для индивида, так и для общины к определенному числу видов деятельности, которые всегда можно различить с большей или меньшей точностью. Психологи дали нам много прекрасных исследований различия характеров среди людей<sup>86</sup>; они рассматривали таким образом с субъективной и индивидуальной точки зрения то, что нам надо было бы показать со стороны объективной и социальной. Различие между расами в социальном и историческом смысле этого слова очень близко соответствует различию характеров в том смысле, в каком оно понимается психоло-

гами. Под расами в этнологии следует понимать группы коллективных наклонностей, исторически сложившихся под влиянием способных размножаться уклонений от типа и случайных комбинаций, оказавшихся успешными, точно так же как в психологии под характерами разумеют группы индивидуальных наклонностей, соединившихся в силу случайностей браков в одном жизнеспособном индивидууме. Но характер и действительное поведение человека, подобно силе и ее проявлению, суть две различные вещи и, подобно типам характера, существуют и типы поведения, которые также можно классифицировать. Подобным же образом и бесчисленное множество исторических или доисторических рас сводится или может быть сведено к нескольким основным типам, но раса и цивилизация суть две различные вещи и существуют также типы цивилизации, т. е. коллективного поведения и деятельности, которые также надлежало бы классифицировать.

Я не предполагаю братья за эту задачу и ограничусь указанием, что важно здесь, чтобы эта классификация опиралась не на разграничение средств, употребляемых для достижения целей, а на разграничение самих этих целей. Цель, поставленная под давлением природных и наследственных побуждений характера, является относительно постоянным элементом цивилизации, тем, что в ней есть наиболее глубокого и жизненного; средство, доставляемое изменчивыми условиями ума и познания, является ее переменным и кратковременным элементом. Этого замечания достаточно, чтобы указать настоящее место спенсеровскому разделению обществ на промышленные и военные. Основной недостаток этого разделения заключается в том, что оно относится только к средствам, пущенным в дело для достижения социальной цели, какова бы последняя ни была. Это не значит, чтобы в качестве исключения война для войны или производство для производства не могли явиться верховным импульсом какого-нибудь общества; но это болезненные уклонения, и ни то, ни другое не заслуживают того, чтобы их приводить в качестве примера. Вообще воюют или работают, только имея в виду удовлетворить одно или несколько стремлений, и каков бы ни был идеал общества — наслаж-

дение, честолюбие или даже наука, — для его достижения оно может прибегнуть к работе или к войне. Между народами есть преданные наслаждению, трудолюбивые, а другие воинственные. Среди народов гордых и самолюбивых есть и такие, которые при помощи лихорадочной деятельности и промышленности стремятся удовлетворить свое национальное честолюбие; есть и другие — и это наиболее обыкновенный случай, — которые удовлетворяют его страстью к войнам. Некоторые народы, проникнутые нравственными и религиозными стремлениями, по существу своему миролюбивы и только с сожалением пускают в дело оружие; другие же в интересах своего религиозного или морального прозелитизма проявляют настоящий военный фанатизм, или, лучше сказать, надо заметить, что одно и то же общество, оставаясь все время верным своему стремлению по одному и тому же направлению, бывает поочередно воюющим или работающим, воинственным или промышленным. Египет, обыкновенно мистический и промышленный, становился время от времени, как например при Рамзесах, воинственным и завоевательным, нисколько не теряя при этом своего мистицизма; ислам, теперь миролюбивый, был когда-то глубоко воинственным. Афиняне, нация по преимуществу эстетическая, долгое время любили войну, так сказать, с художественной точки зрения; позднее, все так же оставаясь художниками, они, к сожалению, слишком возлюбили мир во что бы то ни стало. Никогда не существовало нации, более торговой и в настоящее время более миролюбивой, нежели Голландия; в XVII веке не было нации более воинственной. Но для чего увеличивать число примеров?

## **ВТОРАЯ ЧАСТЬ**



## **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ**





## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Язык

Я не имею в виду последовательно прилагать вышеизложенные принципы к детальному рассмотрению различных, отдельно друг от друга изучаемых сторон социальной жизни. Кроме того, что такой труд превышает мои силы, может быть, и читатель будет доволен, если я не буду слишком злоупотреблять его силами. Поэтому я ограничусь тем, что приведу в следующих главах очерк нескольких отдельных приложений вышеизложенных идей. В другой моей работе<sup>87</sup> я старался проверить их с юридической точки зрения и здесь не стану возвращаться к этой стороне дела. Я буду останавливаться более или менее подолгу только на их экономической, эстетической и моральной или, скорее, чувственной проверке и сделаю это в отдельных исследованиях, не ограничиваясь, впрочем, одним, строго определенным методом. Но прежде попытаемся с такой же свободой подвергнуть их проверке при помощи фактов лингвистического, а затем религиозного порядков.

Сожалею, что я не лингвист и, не будучи им, должен просить извинения, что осмелился затрагивать тайны науки, еще не вышедшей из периода брожения и столь же проблематичной и смутной в своих общих понятиях, сколько разработанной и точной в своих сложных деталях. Но с другой стороны, как трактовать о логике общества, не говоря ничего о языке, в котором она воплощается? Я тем более не могу этого сделать, что мой взгляд на социологию с особенною легкостью применяется к объяснению языка, его образования и его превращений<sup>88</sup>. Итак, если эту книгу будет читать филолог, то он будет иметь право посмеяться над каким-нибудь плохо выбранным примером, но с тем условием, чтобы он его исправил; тогда, я уверен, ему будет гораздо легче, чем мне самому, защитить мои положения.

Что язык представляет собой явление подражания, это, кажется, совершенно неоспоримо; его распространение сверху вниз, от высшего к низшему, как в среде нации, так и вне ее, его способ приобретать

иностранные слова в силу моды и их ассимилирование при помощи обычая, заразительность акцента, тирания его обычаев — все это достаточно показывает его в высшей степени подражательный характер<sup>89</sup>. Подражательным же является он прежде всего еще и в другом смысле, так как он состоит из слов, представляющих собою ассоциации зрительных, слуховых и двигательных образов, т. е. воспоминаний и привычек, и из фраз, представляющих собою сцепления идей, т. е. сложных образов. Но что же такое воспоминания и привычки, как не многократные формы подражания самому себе? Более возвышенною формой того же самого вида подражания является аналогичное отмеченное филологами на каждой странице их работ стремление, побуждающее каждого человека воспроизводить те склонения, спряжения, окончания, грамматические обороты, к которым он больше всего привык, и приводящее, в конце концов, к тому, что носит название упрощения грамматики и что вполне совместимо с ее усложнением путем последовательного обогащения новыми вкладами. Но тут уже можно видеть преобладающее значение логики в филологии. В самом деле, труды Полана в особенности показали нам<sup>90</sup>, что всякая ассоциация образов или идей вследствие сходства, контраста или смежности в пространстве или во времени, всегда представляет собою систематическую ассоциацию, сложившуюся под верховным управлением преследуемой цели. Изучение языка много способствует выяснению этого основного тезиса и в то же время его проверке и пополнению, так как, когда мы говорим, слова не приходят к нам длинной цепью, одно за другим, без причины, только в силу рутины, а являются перед нами такими или иными, смотря по тому, какую цель имеем в виду: убедить, утешить, оскорбить, заставить повиноваться, а также — и даже главным образом, — смотря по тому, какое суждение составили мы себе и сообразно с тем верованием, какое нас одушевляет или, иногда, какое мы симулируем.

Кроме того, когда мы говорим или слушаем, всегда только одно из многих значений каждого слова и один из многих образов, соединяемых с последним, кажутся нам соответствующим цели и самой идее данной фразы. Что же касается слуховых, зрительных и двигательных

образов, из сочетания которых составляется слово, то относительно них не только правильно будет сказать, как это было замечено, что пропорция между одними и другими чрезвычайно сильно варьирует, смотря по тому, принадлежит ли говорящий или слушающий к «типу зрительному, слуховому или двигательному», но я еще позволю себе прибавить, что эта пропорция меняется от одного момента к другому даже у одного и того же индивида, смотря по характеру преобладающей в нем идеи или стремления. Если дело идет об описании пейзажа, то индивидуум, принадлежащий к наиболее резко выраженному слуховому типу, будет думать о словах гораздо больше со стороны их картинности, нежели музыкальности.

Если бы действительно существовали законы единой эволюции, неизменного направления ее течения, не только определяющие, но и дающие единое, повсюду тождественное предопределение человеческих деяний, то следовало бы ожидать их открытия скорее всего в лингвистике. Не здесь ли, в силу того, что большие числа устраняют влияние случайного, бесконечное множество языков и диалектов, мертвых и живых, а в каждом наречии бесконечное множество слов, повторений слов всеми, кто говорил их в течение сотен веков, бесконечное множество вариаций и комбинаций слов, — должно было бы привести в результате к самому полному компенсированию мимолетных колебаний, к выделению из их среды самых точных общих законов, общих сходств последовательных фазисов во всех человеческих языках? Такая надежда, в самом деле, существовала довольно долго, но прогресс, этот поразительный прогресс филологических изысканий, заставил ее рассеяться. Между различными языками можно усмотреть только следующие сходства. 1) Сходства, которые проистекают от общего происхождения от одного и того же родоначального языка; такие сходства бывают подражательного характера, а потому они очень многочисленны; но если они дают возможность объединить в одну группу: здесь — различные арийские языки, там — различные семитские, далее — составить много других групп, то, с другой стороны, они позволяют найти только незначительные совпадения между различными такими группами, кроме сходств, к которым переходим

сейчас. 2) Сходства, производимые частыми позаимствованиями слов и выражений между двумя соседними или отдаленными друг от друга наречиями, которые приводились в плодотворное соприкосновение при помощи путешественников, военнопленных, эмигрантов. Каждый день открывают самые неожиданные и самые неправдоподобные аргументы сходства этого рода. 3) Остаются еще сходства не подражательные, которые могли бы представить, с одной стороны, грамматическая структура разнородных языков, а с другой — ряд одинаковых фазисов последовательного развития, какими, например, считались и даже теперь продолжают считаться выдающимися лингвистами фазисы односложности, агглютинации, флексий, а некоторые прибавляют еще и фазис аналитизма. Но истина заключается в том, что у каждого языка есть свой дух, свои оригинальные особенности, которые он проявляет как в последовательной преемственности своих состояний, так и в форме этих состояний в каждое мгновение. Если в них, как увидим дальше, и скрываются сходства, то только такие, которые должны получиться как результат требований логики в приложении к определенным потребностям человеческого организма, совершенно одинаковым для всех рас, и к определенным данным ощущений, совершенно одинаковым, каков бы ни был человеческий ум. В конце концов, если обратимся к деталям, то увидим только массу несходств между грамматиками, почти столь же многочисленных, как и несходства между словарями, а если сравним перемены, которым подвергались те языки, прошедшие которых нам известно, то будем поражены их разнообразием. 4) Можно было бы, однако, предположить, что эволюции языков, направляющиеся по различным путям, идут к одной общей цели, к одному, приблизительно одинаковому для всех окончательному состоянию, на котором остановится их развитие, подобно рекам одного и того же бассейна, впадающим в один и тот же залив. К несчастью, насколько нам известно, такого вопроса не рассматривалось, хотя эта гипотеза несомненно заслуживает рассмотрения. Это одинаковое тяготение в одну сторону представляется аргументом не менее правдоподобным, нежели пользующееся еще таким доверием тяготение всех религиозных эволюций к нашему монотеизму, всех эволюций семьи к нашей моногамии, всех эволюций в области

политики к нашей демократии или всех эволюций в области юридической к тому, что мы называем естественным правом; уж, наверное, оно гораздо правдоподобнее параллельного направления всех эволюций в каждой из этих областей. Но как бы то ни было, здесь не место приступать к исследованию этого предположения, — достаточно указать на него только мимоходом, чтобы заметили, что оно до сих пор ни на чем не обосновано.

Из указанных четырех видов сходства только третий заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Достоверно, что все наречия, даже и неродственные между собою, можно распределить на несколько явственно различных категорий, носящих названия односложности, агглютинации, флексирования, а также, быть может, сюда относится и аналитизм. Но что дает нам право думать, что эти категории, из которых по крайней мере три первые одновременно существовали с самой глубокой древности, как это с сожалением признал Лефевр, представляют собой последовательные фазисы, через которые проходил всякий язык, дошедший до конца своей эволюции? Разве мы найдем агглютинизм в прошлом языков флексирующих, как бы далеко ни заходили в глубь этого прошлого? Совсем нет. Найдем ли мы односложность, восходя к началу жизни языков агглютинирующих? Тоже нет. Мы видим только, что языки аналитические происходят от языков флексирующих или, лучше сказать, видим, что новолатинские языки — единственные, в которых аналитический характер ясно проявляется, — вместе с английским языком, приобретшим такой характер от этих последних<sup>91</sup>, происходят от латинского языка. Этот единственный пример именно в силу своей изолированности теряет всякое значение. Если потеря склонений и замена их предлогами в ущерб краткости речи должна считаться прогрессом<sup>92</sup>, то это преобразование должно было бы с течением цивилизации совершиться и в других разветвлениях арийского семейства — в немецком и особенно в польском языке, а также в греческом, между тем как в новогреческом языке нет даже следов такого изменения, и удивительно, что понадобился, наоборот, социальный регресс, вызванный вторжением варваров, для того, чтобы такое изменение произошло в выродившихся отростках

старого латинского ствола. Как ни разрослась и ни цивилизовалась Германия, но ее язык остается флексирующим; другое, еще более поразительное явление — это Китай, упорно в течение миллионов лет остающийся верным моносиллабическому строению своего языка, который, однако, развивался, но всегда сообразно своему собственному типу и которого было достаточно для удовлетворения потребностей пятисот миллионов людей, достигших такого высокого уровня в своей самобытной культуре. Нам говорят, правда, что языки коптский и берберский являются промежуточными между агглютинирующими и флексирующими, и отсюда выводят заключение, что они находятся в процессе перехода от первых к последним. Но следует признать, что этот переход совершается медленно, так как приходится согласиться, что они остаются в этом самом состоянии «со времен Фараонов», и неизвестно, каковы они были до этой эпохи. Если они сначала шли вперед, то почему же они потом остановились и стоят на месте в течение стольких веков? Разве может что-нибудь менее этого служить доказательством необходимости такого движения? Во всяком случае, весьма возможно, что один и тот же язык в излучениях своего развития последовательно пользовался всеми основными приемами словесного выражения: моносиллабизмом, агглютинизмом, флексиями и анализмом; но если бы даже это и было доказано, то оставалось бы доказать, что это всеобщее стремление и что движение в обратном порядке невозможно. До тех пор, пока этот необратимый и непреодолимый порядок остается в высшей степени сомнительным, до тех пор, как мне кажется, всего проще и естественнее смотреть на эти основные приемы, о которых идет речь, как на различные возможные решения, какие логически допускает лингвистическая проблема и из которых то или другое или какая-нибудь комбинация одного с другими, неизбежно должны представиться для мысли, ищущей своего словесного проявления. Отсюда происходят самопроизвольные совпадения, встречающиеся в этом отношении в неродственных между собою языках. Существуют ли языки, которые всегда были бы аналитического характера, как бы мы далеко ни восходили в их прошлое? Я этого не знаю. Но если бы это и было доказано, то в этом не было бы ничего

удивительного, если припомнить, что мы говорили о первобытной художественной разработке языка. Язык начал с того, что был произведением искусства, быть может, единственным произведением искусства первобытных людей, — и стремится превратиться в простое орудие. Это вполне соответствует тому превращению цели в средство, которое мы провозгласили законом. Переход же от склонения к употреблению предлогов способствует проявлению этой склонности сделать языки все менее и менее эстетичными и все более и более утилитарными, так как аналитизм представляет собою удобный и ясный способ выражения, но не обладает живописностью и красотой. Итак, необратимость перехода, о котором идет речь, была бы очень понятной с нашей точки зрения.

Все же очень маловероятно, чтобы никогда не происходило противоположное превращение. Без всякого сомнения, санскритские, греческие, немецкие, латинские и другие склонения и спряжения не образовались сами собою; они получились путем сокращения двух слов в одно; следовательно, им предшествовало состояние некоторым образом аналитическое, из которого они получились путем синтеза. В самом деле, разве возникновение таких случаев в древних языках труднее понять, нежели столько случаев сокращения двух слов в одно, примеры которых доставляют нам наши аналитические языки в изобилии и которые иногда как будто стремятся возратить их к синтетическому состоянию далекого прошлого? То сокращаются в одно слово существительное с членом (*soar lui* в валашском языке вместо *à lui soar*), то местоимение с союзом (*nella* вместо *in ella*, *тесо* вместо *con те*, *ау* вместо *à le*), то, наконец, название или глагол с местоимением (*padre tuo* вместо *padre mio*, *amalo* вместо *amar lo* и т. д.). Эти формы повсюду, где они образовались, основательно считаются более изящными и столь же ясными, как и те несокращенные формы, из которых они получились. Итак, надо сожалеть об утрате древнего склонения, затопленного волнами варварства. Разве в других отраслях социологии не считаются также прогрессивными те сокращения, которые соответствуют сокращениям лингвистическим: мифологическое сокращение, называемое синкретизмом, юридическое сокращение, производимое слиянием

различных обычаев в единый обычай и т. д.? Разве было бы прогрессом в литературе возвращение к перифразам и околичностям школы Делиля? Заменить форму *amaveram* формою *j'avais aimé*, или *à dome* формою *de la maison* именно и значит вернуть к многословию и околичностям. Неверно даже и то, что употребление глагола *avoir* в качестве вспомогательного является изобретением, принадлежащим той слабой творческой силе, какая присуща романским языкам. Диец сообщает, что уже Цицерон иногда говорил *habeo perspectum*, *habeo cognitum* в смысле *perspexi* и *cognovi*. Но ввиду редкости эта перифраза придавала только больше изящества тому месту, где она находилась, в силу своего контраста с обыкновенной формой. После же того, как откинули последнюю, обратились к первой только как к выходу из еще худшего положения. Предположите, что наши пути сообщения уничтожены, в силу ли небрежности содержания или вследствие какой-нибудь катастрофы с нашей цивилизацией, разрушенной динамитом; мало-помалу они стали бы заменяться целой сетью узких извилистых тропинок, значительно удлиняющих все пути. Именно это и восхваляется нам в лингвистике в подкрепление этого, будто бы последовательного и необратимого порядка сменяющих друг друга четырех главных филологических типов.

Но если сравнение грамматик, словарей и эволюций языков не устанавливает ни одного из тех произвольных сходств, какие желательно было в них видеть, то, с другой стороны, это сравнение делает очевидными все те сходства, которые вытекают из логической необходимости. Как собрания звуков словари различных семейств языков глубоко отличаются друг от друга, и нет оснований разыскивать, существует ли некоторый, очень скудный и весьма гадательный основной запас звукоподражаний, который мог бы служить всеобщим первичным ферментом, возбудившим это голосовое брожение; но они сходны друг с другом как собрания значений, заключающих в себе одни и те же элементарные понятия, извлеченные из тождественных восприятий. Еще глубже сходство между всеми грамматиками в том отношении, что для указания различия между основными частями суждения — подлежащим, связкой и сказуемым, они то воплощают их в различные слова —



существительное, глагол и прилагательное, то поочередно присваивают одному и тому же слову смысл наименования, глагола или прилагательного. Сходны они также и в том отношении, что у них есть особые обозначения для указания противоположности между утвердительным и отрицательным верованием, между положительным и отрицательным желанием. Точно так же у всех их есть особые знаки для вопроса и сомнения, для приказанья, просьбы, угрозы, запрещенья.

Заметим, в какой мере эти наивные и в то же время сложные трактаты народной логики — я разумею грамматики — оправдывают наш способ понимания логики вообще, пополняя указанные выше пробелы в писаниях логиков и уменьшая преувеличенное ими значение подразделений. Во всех языках, и особенно в цивилизованных, мы находим изобилие многочисленных тонких оттенков выражений, основательно считающихся очень важными для разграничения различных степеней той энергии, с какой что-либо отрицают или утверждают, приказывают или запрещают, желают или отвергают. Следует удивляться находчивости, обнаруживаемой в точном установлении тысяч этих оттенков различными способами, помощью бесконечного множества форм повелительного, сомнительного, сослагательного, желательного (*le dubitatif*) наклонений. Диец в своей «Грамматике романских языков» посвящает целую довольно большую главу свойственному им «методу отрицания», из которой можно видеть, в каком обилии тонких и искусных приемов проявилась их изобретательность, скудная в других отношениях. В этих языках есть полуотрицания и полные отрицания, усиления отрицания, удваивания и иногда утраивания. Они обладают также новыми способами утверждения, очень выразительными, как, например, этот французский оборот, для которого есть эквиваленты и в прочих родственных языках: «*c'est lui qui a fait cela*», — утверждение, обладающее совсем другою силою, нежели выражение: «*il a fait cela*». Зато в грамматиках нигде не проявляется первенствующее, основное, из ряда выходящее значение, приписываемое логиками разграничению общих и частных предложений. Частные или общие предложения трактуются одинаково, и переход от одних к другим постепенный. Впрочем, нет ничего удивительного, что у грамматических правил языка

есть так много общего с логическими правилами верования и желания, ибо язык представляет собою не только обозначение и тень этих состояний души, но является до известной степени самой их сущностью, их плотью и кровью. Нельзя ни думать, ни даже хотеть без того, чтобы не говорить, по крайней мере, внутри себя; наши утверждения составляют часть нашей веры, наши приказания — часть нашего хотения.

Подобно сходствам грамматическим, к которым мы еще вернемся ниже, и сходства в эволюциях разнородных языков именно таковы, какими следовало ожидать их в силу нашей точки зрения. Прежде всего, мне кажется, не подлежит сомнению, что то, что мы называем здесь эволюцией, представляет собой, как мы это часто говорили по отношению к эволюции вообще, перемежающееся усвоение мелких нововведений, от времени до времени прививающихся одни к другим, то присоединяясь, то замещая друг друга, и что результат этих постоянно умножающихся присоединений и замещений, производимых при помощи последовательного ряда логических операций, представляет собою систематическую ассоциацию этих бесчисленных мелких нововведений, сплотившихся в одну грамматику<sup>93</sup>. Кроме того, не подтверждается ли здесь вполне то, что мы много раз повторяли относительно тесной связи между случайным и необходимым. Нет ничего более произвольного и в то же время более рационального, чем языки. За исключением нескольких звукоподражательных слов, в которых смысл кажется более или менее естественно связанным со звуком, вообще не существует никакой естественной связи между произношением слов и их значением, и каждый словарь представляет собою не что иное, как собрание таких странностей; точно так же, что может быть случайнее предпочтения, оказываемого всяким языком некоторым определенным звукам, и его уклонения от некоторых других звуков? Почему мексиканец злоупотребляет звуком *ll* и почему согласные *r*, *b*, *d* неизвестны китайцам? Почему готский язык представляет ту странность, что, согласно Боппу, «он не терпит чистого *i* или *u* перед *h* или *g*, но всегда ставит букву *a* перед этими гласными»? Почему у каждого наречия есть не только свой словарь, но и свой особый алфавит? А «трилитерализм» семитов! Попытается ли кто-нибудь дать рациональное

оправдание этой необходимости в трех согласных для всех корней этого семейства языков — особенность, столь же характерная, как и постоянная, вроде четырехгранной формы стеблей губоцветных? Но сколько в языке, с этой стороны, есть неожиданного, непредвидимого и составляющего источник неисчерпаемых красот, где бьет ключом и играет глубокий источник всеобщей самобытности, проявляющейся в основе всего, настолько же язык с своей грамматической стороны упорядочен, правилен и последовательно дедуктивен, раз допущены эти случайные данные.

Кроме того, нет области, где бы лучше проявлялась бесконечность нереализованных возможностей и где они облекали бы реальные факты более обширной и более прозрачной атмосферой<sup>94</sup>. Как бы многочисленны ни были те, которые говорили на каком-нибудь языке в течение ряда веков, все-таки, умирая, этот язык всегда уносит с собою неизмеримо много невыраженного, а все живые и умершие языки составляют только бесконечно малую часть той совокупности языков, которые могли бы появиться на свет, но не появились. Сколько языков красивее и мелодичнее греческого и санскритского навсегда останутся в том же преддверии возможности, где покоятся также столько важных теорем, которых не узнает ни один геометр, столько гигантских дубов, столько блестящих красот, которые никогда не увидят света! Мы можем с уверенностью утверждать, что если бы Римская империя была еще обширнее, то образовались бы еще другие неолатинские языки; а раз это нереальное достоверно, то оно истинно, столь же истинно, как если бы оно было реально. Реальность и истинность — две разные вещи<sup>95</sup>.

Но, оставив в стороне эти общие перспективы, обратимся к некоторым подробностям, хотя бы и с риском заблудиться среди них. Лингвист изучает или изменения в звуке или изменения в смысле слов. Первыми занимались гораздо больше, чем вторыми, я не знаю почему; мне кажется, что понимание последних необходимо для объяснения первых, а противоположное справедливо гораздо менее. Если могло случиться, как это предполагает Бреаль, что фонетические изменения способствовали более легкому введению новых значений, то не позволительно ли предполагать также, что гораздо скорее изменения

в смысле вызывали изменения в звуках? Филологически душа создает для себя тело. Естественно, что слово несколько изменяется, произносится иным образом, когда начинает чувствоваться потребность прибавить абстрактное и общее значение к значению конкретному и частному или заменить последнее первым. Постоянство в смысле слова не удерживает ли его звук на пути облегчения произношения и удобных сокращений все то время, пока это постоянство сохраняется? По отношению к звукам, все то, смысл чего начинает забываться, стремится уничтожиться или отпасть<sup>96</sup>; этим можно объяснить себе потерю латинских окончаний в словах романских языков по мере того, как терялось чувство их ценности для данного случая. Что же касается той склонности, о которой я только что говорил, то она объясняется телеологическим законом наименьшего усилия; впрочем, ее следует пополнить ее противоположностью, фонетическим усилением, которое, в противность фонетическому смягчению, происходит тогда, когда надо ввести новый смысл или подчеркнуть выражение известного смысла. Пример фонетического усиления можно видеть в санскритском *gaupa* (перед *i* или *u* ставится *a* и эти две гласные переходят в *ai* и *au*), у которого есть свой эквивалент в большинстве других арийских языков. Эта вставочная буква представляет собою прибавку, обращающую на себя внимание. Здесь встречаем еще телеологическое соответствие между средством и целью.

Изменения по требованиям благозвучия с их столь переменчивыми законами, оказывающимися в таком полном противоречии между собою, когда мы переходим от одного языка к другому, соседнему с ним, меньше всего можно объяснять одними только требованиями, представляемыми ухом. Могут ли последние объяснить, почему в санскритском языке благозвучие требует вставки буквы *s* между буквою *l* на конце одного слога и *t* в начале следующего? Почему *abavanstatra* благозвучнее *abavantatra*? Латинский язык требует, чтобы между *m* и *t* или между *m* и *d* вставлялось *p*. Почему же, однако, приятнее произносить *sumptum*, *promptum*, *de mptum*, чем *sumtum*, *promtum*, *de mtum*? Итальянское ухо судит об этом обратно. Почему, спрашивает себя Дармштетер, древнегерманский язык потерял высшую мягкость, отголосок которой

слышится в готском языке IV века, и заменил ее тяжелой гармонией современного немецкого языка? Очень правдоподобно, что эти изменения явились в силу аналогии, — этой логики, свойственной языкам, этого духа подражания, вносимого человеком даже в его нововведения и изобретения, — обусловленной здесь привычкой слуха, сложившейся под влиянием нескольких удачных случаев. Законы замещения или, лучше сказать, эквивалентности согласных, формулированные Гриммом, констатируют тот факт, что *p* санскритского и классических языков превращается в *f* в языках германских (*pitar*, *pater*, *fadar*), а *f* превращается в *b* (*frater*, *brother*) и т. д. Нет ли здесь скорее случайностей, первобытных капризов вместо органических особенностей согласования, обобщенных путем заразительного действия аналогии?

Но, повторяю, что такое в сущности, как не побуждения логического характера, представляют собою эти вытекающие из аналогии побудительные причины, играющие столь важную роль как в процессе образования языков (особенно по упрощению грамматик), так и в формациях религиозных, юридических, политических, эстетических? Положим, что два фонетических навыка, две грамматические, религиозные, юридические и другие формы одинаково отвечают одной и той же потребности. Итак, один из них должен исчезнуть как не имеющий достаточного основания продолжать существование; вполне естественно и основательно, что за неимением противоположной побудительной причины выберут тот, который уже наиболее известен. Но иногда бывает видна и первичная причина выбора.

Бопп показал, что все разновидности глаголов в греческом, санскритском и других арийских языках сводятся к двум следующим типам: глаголы, оканчивающиеся на *mi* (или на *m* после отпадения *i*), как например, *didham*, *Eim*, *sum*, и глаголы, оканчивающиеся на *o* или *o*. Есть основания утверждать, что первый тип древнее и в известном периоде жизни языка он прилагался ко всем глаголам. Однако в настоящее время его представителями в различных наречиях остаются только несколько исключительных глаголов, которые становятся все более и более редкими. Что же случилось? Должно было непременно

произойти следующее. В один прекрасный день значение глагола случайно было придано слову, оканчивающемуся на *o* или *o*, и этот новый тип глагола введен был в язык незаметно для всех; мало-помалу его большее удобство или другие выгоды, которые теперь уже трудно оценить, заставили отдавать ему предпочтение, дали ему возможность все больше и больше захватывать владения его соперника, место которого он, таким образом, занял путем последовательного ряда логических поединков. Что касается логических соединений, то история языков представляет нам поразительные примеры этого при каждом новом грамматическом построении, порождаемом в особенности встречей корня с местоимением, результатом чего бывает новый падеж в склонении или новое лицо в спряжении. Часто эти союзы бывают очень плодотворны: возьмите, например, будущее время *aimer-ai* романских языков. Другие аналогичные примеры, не менее реальные, хотя и менее поразительные, доставляются нам в гораздо большем количестве каждый раз, когда даже в наши дни какой-нибудь корень соединяется с окончанием на *-изм* или на *-ист*, или какое-либо другое. Но вернемся к логическим поединкам. Часто случается, что борьба между двумя формами — например, склонения или спряжения — заканчивается не полным уничтожением, а только подчинением побежденной формы, соглашающейся играть второстепенную, служебную, вспомогательную роль. Именно таким образом глагол *sit* стал вспомогательным для *ато*.

В спряжении романских языков лингвисты различают, как мы уже говорили выше, флексии двух родов: одну, где ударение падает на слог корня, и другую, где ударение переносится на слог окончания. Первая основательно называется твердой, так как она сообщает сохраняющим ее сокращенным словам энергичный, нервный характер. Однако эволюция романских языков ведет к беспрестанному сужению области этой первой флексии, от которой остаются только обломки, и к постоянному расширению владений второй. На это нельзя смотреть как на прогресс. Было ли бы прогрессом, если бы прошедшее совершенное *je vis, je fis, je lus* (твердое окончание) ослабилось в *je v  sis, je faisais je legis*? (В латинском языке у *vidi, feci, legi* твердые

окончания, так как ударение падает на *vi*, *fe*, *le*, но во французском языке оно падало бы на окончание). Именно таким путем и прогрессировало большинство романских глаголов. Здесь есть только необходимость по аналогии, ибо подобно тому, как вода течет к выходу вниз, так и первое спряжение на *a*, уже в латинском языке считавшее за собой наибольшую часть глаголов, мало-помалу привлекло к себе все вновь созданные глаголы при их переходе из латинского языка к неолатинским наречиям. Но ему свойственна мягкая флексия... Поэтому-то Диец говорит, что это смягчение флексии, это обычное превращение твердой в мягкую и полное отсутствие обратного превращения «связано с хорошо известной потребностью объединения флексий», потребностью, которая в конце концов заключается в стремлении следовать наиболее сильному потоку подражания.

Но почему этот наиболее сильный поток, начинавший обрисовываться еще в латинском языке, установился и затем резко определился именно в указанном, а не в противоположном направлении? Ответ покажет, что необходимость по аналогии, о которой идет речь, в сущности представляет собою необходимость логическую и телеологическую. В самом деле, предположите, что масса латинского, а потом романского населения, состояла из писателей с сжатым и выразительным слогом, подобных Саллюстию и Тациту; несомненно, что стремление к кратким и сильным выражениям одержало бы там верх над стремлением к легким и ясным оборотам, и твердая флексия преобладала бы в сформированных этим народом языках. Итак, если произошло обратное, то потому, что для народов, говоривших на этих наречиях и вырабатывавших их, литературная забота о силе выразительности представляла очень мало значения в сравнении с прозаической потребностью в удобном и, так сказать, комфортабельном способе разговора, получаемом путем упрощения грамматики. Это замечание относится также к наблюдению над общей тенденцией языков, сформировавшись, становиться все менее и менее произведением искусства, как нам уже известно, и все более и более превращаться в орудие. Таким образом, можно думать, что каждый раз, когда по поводу какого-нибудь глагола, спряжение которого было еще колеблющимся

и плохо установившимся, народу приходилось делать выбор между твердой и мягкой формами, то бессознательно являлись два телеологических силлогизма: «Я хочу краткости прежде всего, говорили одни; я достиг бы ее при помощи твердой формы; следовательно, я должен предпочесть последнюю. Я хочу удобства прежде всего, говорят другие; мягкая форма легче запоминается в силу своего более симметричного и более правильного характера; следовательно, я должен брать эту форму». Прибавьте к этому, что в одно время с этими двумя соперничающими потребностями, из которых наиболее сильная одерживает верх, сталкиваются два суждения, также соперничающие между собою и выражающиеся в двух спорных логических силлогизмах. Отложив в сторону всякую потребность выразительности или удобства, одни считали более правильной и нормальной твердую форму, а другие — слабую, и эти суждения были заключениями следующих силлогизмов: «Правильность заключается в сообразовании со старинными правилами языка; раньше говорили *mors*, а не *mordu*, *rout*, а не *gotri* и т. д.; следовательно, правильная форма будет *mout*, а не *moulu*». «Правильность заключается в сообразовании с новыми правилами; теперь уже говорят *gotri*, а не *rout*, *mordu*, а не *mors*; следовательно, должно говорить *moulu*»<sup>97</sup>.

Я излагаю здесь в длинной фразе то, что явилось в мыслях говорящих в очень сокращенном виде. У тех и других могла быть одна и та же подразумеваемая большая посылка: «Правильность заключается в сообразовании с современными правилами», но одни думали только о примерах, подобных *résolu*, *fallu*, *voulu*, оправдывающих форму *moulu*, а другие — только о примерах, подобных *oint*, *teint*, *peint*, оправдывающих форму *mout*. Первые составили большинство, и этого было достаточно. Во всяком случае, надо заметить, что здесь имелись налицо в одно и то же время и деятельность логическая и деятельность телеологическая. Впрочем, совершенно ясно, что языки настолько же произведение верований, насколько и желаний.

Изменения в смысле слов, которые Дармштетер изучал с такой пронизательностью, в сущности сводятся, по его мнению, к двум типам: излучиванию и сцеплению. Излучивание смысла имеется «когда какой-



нибудь предмет сообщает свое название ряду других предметов, благодаря их общему одинаковому характеру». Например, «зуб дает свое название в силу сходства формы *зубцу* пилы, *зубчику* кружева и пр.». Мы скажем, что в этом случае имеется накопление изобретений вследствие того, что эти последовательно возникавшие в воображении обозначения не противоречат или не кажутся противоречащими друг другу. Имеется сцепление смысла, когда слово теряет свой первоначальный смысл, переходя к другому предмету, затем снова теряет свое второе значение, переходя к третьему предмету и т. д. *Polence* во французском языке последовательно обозначало: 1) власть, поддержку, 2) костыль и 3) виселицу (в форме костыля). Другими словами, происходило замещение этих различных значений одного другим, потому что они не могли долго существовать рядом вследствие того, что их противоречие было слишком велико или слишком сильно чувствовалось людьми. Но важно рассмотреть то элементарное для этого случая явление, какое происходит в уме говорящего, когда он в первый раз делает новое употребление из известного уже слова и стремится прибавить это неупотребительное значение к его обыкновенному смыслу. Я говорю: прибавить, а не заменить, так как эта замена никогда не является желательной для того, кто путем метафоры или как-нибудь иначе вводит новое значение. Это уже масса замечает несовместимость нового значения со старым, когда первое начинает распространяться и после быстрого полусознательного логического поединка производит выбор между тем и другим. Что же касается автора нововведения, то здесь мне припоминается одно очень верное замечание Мишеля Бреала, которое мне представляется лингвистическим подтверждением того, что я говорил о всеобщности логических соединений попарно в социальных явлениях всех порядков. Остановливаясь на ломаных или расходящихся лучами линиях, при помощи которых Дармштетер изображает двоякое развитие словесных значений, он замечает, что у этих сложных рисунков слаба степень точности, так как «тот, кто изобретает новый смысл, забывает в этот момент все предшествующие значения, за исключением только одного, так что ассоциации идей всегда происходят попарно», точно так же, как и противоречия между идеями.

Итак, в жизни слов, в извращениях их звуков, как и их значений, бывает только или борьба один на один, или союз между двумя. Слова, как и значения слов, только и делают, что беспрестанно борются из-за обладания подражанием или вступают в союз между собою; путем таких союзов и такой борьбы, когда она приводит к полной победе, появляются правила без исключений или монополии исключительного значения без синонимов, а когда победа неполная, появляются исключения или синонимы<sup>98</sup>. Когда слово, у которого вначале было родовое значение, как у французского, например, слова *chaire*, вытесняется в конце концов другим, как, например, словом *siège*, то часто бывает, как и в приведенном примере, что побежденному удастся сохраниться, подчинившись победившему и специализируясь по смыслу. У таких расширений или сужений значения, из родового превращающегося в видовое или обратно, есть эквиваленты в истории религии, права, моральных идей, когда, например, бог одного городка становится богом империи и делает вассальными некогда самодержавных богов многочисленных общин.

Перемещения смысла путем метафоры или контраста подобным же образом соответствуют тому случаю, когда какие-нибудь обряды, какие-нибудь приемы богослужения, представлявшие некогда значение полезности, сохраняются по символизму, или когда боги, низложенные каким-нибудь новым богом, сохраняют свое существование, превратившись в дьяволов... Но не очевидно ли, что эти лингвистические, юридические, религиозные или другие изменения путем возрастания сокращения или перемещения, вытекают все вместе из одной и той же причины, из распространительной способности подражания, управляемого общим стремлением к логическому согласию? В самом деле, когда какая-нибудь словесная, законодательная, религиозная или другая форма применяется к новым объектам, то это значит, что в огромном скоплении существующих форм, которые все более или менее соперничают или помогают друг другу, ей благоприятствует неожиданное возникновение распространяющихся путем подражания идей или потребностей, которым она может удовлетворить<sup>99</sup>. Наоборот, когда какая-нибудь форма становится более специальной или когда она

преобразовывается, то это значит, что она неудачнее борется со своими соперниками и покинута своими союзниками в силу противоречивых идей или потребностей, возникших и распространившихся в народе<sup>100</sup>.

Есть предположение, что окончания, флексии не всегда были, как учил Шлегель, подчиненными слогами, чем-то вроде прирожденных рабов, не имевших сами по себе значения, но что они вначале были независимыми словами, так же, как и корни, которые ими изменяются и дополняются. Если действительно произошел для них такой переход от свободы к рабству, то я скажу, что он объясняется общим превращением суждений в понятия и целей в средства. Слово, ставшее суффиксом, было раньше целым подразумеваемым предложением, подобно тому, как бывает таковым всякое слово (которое вначале, при своем появлении в уме дитяти, а, вероятно, также и при первоначальном зарождении его в уме его творца, было даже предложением, ясно высказанным), затем оно понизилось до степени, так сказать, простого прилагательного, простого сказуемого, которое, соединяясь с подлежащим, каким является корень, только помогает образованию предложения, скрытого в сложном слове, рождающемся из этого порабощающего соединения. В то же время это слово из цели само по себе превратилось в средство; оно лишилось основания быть индивидуальным.

Постоянная для всей совокупности языков необходимость в каждом слове слога с ударением — прибавлю даже, слова с ударением в каждой фразе — представляет еще одну черту, где проявляется существенно логическая природа речи. Как каждое слово для установления своей индивидуальности нуждается в твердом и более других многозначительном слоге, к которому прилегают остальные, так и в каждой фразе должно быть главное слово, которое служит центром тяжести внимания и голоса. При помощи ударения ясно выделяется главная часть слова, главная часть фразы, подчеркивается и выделяется из среды придаточных идей идея, господствующая над всеми другими идеями, содержащимися в фразе или даже заключенными в слове. Без господствующей идеи невозможна никакая систематизация.

Можно, однако, говорить очень правильно и в то же время очень нелогично. Казалось бы, поэтому, что нельзя смешивать грамматику с

логикой. Тем не менее верно и то, что грамматика, как и логика, представляет собою ограду, охраняющую ум от впадения в непоследовательность и противоречие. Но грамматическая правильность предохраняет ум от этого только на протяжении каждого предложения, рассматриваемого отдельно, требуя путем согласования прилагательного с существительным в роде и числе, согласования глагола с местоимением, управляемого слова с управляющим, согласования различных глаголов между собою, чтобы все эти различные части речи никогда не противоречили друг другу, а часто, чтобы они подтверждали одна другую. Впрочем, вообще связь между предложениями ускользает от нее, и тогда-то появляется логика как высшая грамматика, как грамматика, некоторым образом, второй степени, заключающая в себе первую и составляющая ее продолжение. Прибавим также, что, сообразуясь с правилами силлогизма, можно говорить страшные нелепости, точно так же как и говоря грамматически правильно. Самые законные соединения слов и фраз дают уродливые результаты, но уроды нисколько не нарушают законов наследственности. Тем не менее вполне справедливо, что общее стремление грамматики и логики заключается в том, чтобы научить нас правильно мыслить, и что в этом отношении их помощниками являются все последовательно зарождающиеся и развивающиеся науки. Язык, представляя собой собрание первых изобретений, есть в то же время и соединение первых открытий<sup>101</sup>. Каждое слово выражает какую-нибудь общую идею, предполагающую скопление сравнивавшихся между собой восприятий, сопоставляемых по их сходным сторонам. Но ведь в сущности и научный закон представляет собою то же самое. Явления можно формулировать в законах, схватываемых обобщающим умом, по той же причине, по какой все существа можно формулировать в словах, т. е. именно потому, что у явлений, как и у существ, есть такие стороны, в которых они повторяются. Слова отмечают повторения, рассматриваемые статически, а законы — повторения, рассматриваемые динамически. Если бы во Вселенной не существовало повторений, то не были бы возможны ни языки, ни науки. Науки представляют собою развитие, приложение, специализацию логики и языков, заключающих в себе всю совокупность

наук, а также и заблуждений, как находящихся в состоянии развития, так и только возможных.

Мне укажут, может быть, в возражение на плачевную неудачу языков, созданных искусственно, подобных волапоку, и являющихся, однако, единственными языками, где все правила без исключений, и где все выводится с совершенной правильностью. То же самое и относительно конституций, симметричных и специально составленных законодательств, искусственных и ученых регламентаций промышленности. Но почему это так? Именно потому, что логика — высшая потребность, которая как в языке, так и в праве, в религии, в промышленности, в искусстве распадается на две части, часто вступающие в борьбу между собою, и эта-то борьба и включает в себе во всякое время трудность, жизнь и интерес лингвистической, юридической, религиозной, экономической и художественной разработки. Если бы надо было только согласовать элементы какого-нибудь законодательства или какого-нибудь языка, какой-нибудь религии или промышленного режима так, чтобы сделать из них одно правильное и последовательное целое, то это было бы очень легко. Но в то самое время, когда усилия грамматиков и юристов, теологов и экономистов или, лучше сказать, когда усилия всего народа, сознательно или бессознательно, постоянно направлены на достижение этого внутреннего устройства, необходимо также, и притом в особенности, чтобы грамматики, законодательства, религии, организации труда приходили все в более и более совершенное согласие с тем обществом, которым они должны управлять. Это последнее согласование представляет собою также логическое устройство в специально телеологическом смысле этого слова. Но состояние общества, если охватить одним взглядом все идеи и стремления, сталкивающиеся в его среде, всегда бывает в известной мере нелогично и непоследовательно. Итак, для грамматики, как и для кодекса, как и для катехизиса, задача эволюции заключается в том, чтобы согласоваться с самим собой, поскольку это возможно делать, постоянно приспособляясь к обществу, которое никогда не согласуется в совершенстве с самим собою. Другими словами, она заключается в том, чтобы производить логическое с помощью нелогичного, рациональное с

помощью нерационального. Следовательно, опасность состоит в том, чтобы не жертвовать постоянно одним из этих стремлений для другого, и у грамматиков, как и у юристов, теологов, или в настоящее время у социалистов, есть резко выраженная склонность неправильно отдавать предпочтение первой, тогда как масса, по счастью, обладает противоположным стремлением<sup>102</sup>. Но довольно об этом, пора перейти к соображениям другого рода.

Гумплович, который, не будучи филологом, занимался лингвистикой<sup>103</sup>, высказал, по своему обыкновению, несколько лично ему принадлежащих взглядов по этому предмету. В них он доводит до утрировки тезис полигенизма. Что достоверно и что его справедливо поразило, — это то, что чем дальше мы восходим в прошедшее, тем большее число явственно различных языков встречаем мы в человечестве и тем чаще эти языки оказываются чрезвычайно богатыми. Но дает ли это основание утверждать, что «первобытное созидание языков совершалось в среде больших общин» и самопроизвольно в каждой из этих, очень многочисленных притом, общин? Эта недопустимая гипотеза для нас бесполезна. Весьма вероятно, что первая попытка членораздельной речи, с сильной примесью жестикуляции вначале, появилась в каком-нибудь одном племени, но своим примером и видом успехов, обусловленных этим нововведением, она не замедлила возбудить у других мысль в свою очередь изобрести аналогичные средства сообщения и познания. Отсюда этот удивительный полиглотизм у дикарей и варваров, эта необыкновенная раздробленность языка, распавшегося на бесконечное число наречий, перемешанных между собою, непонятных для двух соседних мест и часто даже таких, которых нельзя свести к общим типам. Этот факт, столь сильно поразивший Сайса<sup>104</sup>, можно объяснить также и удивительной гибкостью и заметной даже при непосредственном наблюдении подвижностью языка людей безграмотных. Пусть только какое-нибудь плодовитое племя покроет своими отпрысками обширную территорию, тотчас же его язык разделится и подразделится на наречия, до такой степени несходные между собою, что их почтут за не имеющие никакой родственной связи. Так, без сомнения, случилось в Америке; различия, наблюдаемые там между языками самых близких между собою

племен, настолько глубоки, по словам Уитнея и других лингвистов, что между ними существует «непримиримое разноречие»; это «вполне признанный факт». Существует «очень много групп, между знаками речи которых соответствий не больше, чем между знаками английского, венгерского и малайского языков. Эти неизмеримые различия существуют у соседних племен, по всей видимости, этнологически тождественных, как, например, группы алгонквинов, ирокезов и дакота». Но действительную ценность этой по внешности радикальной разнородности придает тот контраст, какой наблюдается между этой лингвистической раздробленностью краснокожих и не менее поразительным однообразием их мифологии. Несмотря на изолированность отдельных племен и национальностей, несмотря на разнообразие американских климатов, несмотря на неравенство развития и цивилизации у ацтека и у последнего из команчей, мы находим от одного конца Нового Света до другого один и тот же запас религиозных идей и обрядов, как это замечает Тиле ( «*Manuel de l'histoire des religions*»). «Миф о герое, обожаемом в качестве основателя, существует как у диких племен, так и у оседлых народов, и национальные герои всюду оказываются сходными между собою. Можно считать распространенными повсюду следующие обычаи: паровая баня, чтобы вызывать состояние экстаза, священная игра в мяч и колдование при помощи трещетки. У наиболее отдаленных друг от друга народов господствует обычай извлекать кровь из определенных частей тела, считающихся местопребыванием души, — обряд, который должен был заменить собою человеческие жертвоприношения». Очевидно, невозможно, чтобы народы, языки которых всегда были непонятны одни для других, заимствовали один у другого своих богов и свои обряды с такими мелкими подробностями. Эта широкая распространенность мифов предполагает почти равное ей филологическое рассеяние<sup>105</sup>, некоторое время сопровождавшее первую.

Гумплович не без основания удивляется богатству и часто поразительной красоте древних языков, на которых говорили грубые народы. Это удивление разделяли многие наблюдатели, начиная с человека, который мало чему удивлялся, — начиная с князя Бисмарка. Интер-

вьюированный одним журналистом, он сказал ему: «Необходимо сделать одно замечание, а именно, что русский народ весь целиком говорит на одном и том же языке, начиная от Крымского полуострова и до глубины Сибири<sup>106</sup>; там нет областных наречий. Я совершенно не понимаю, каким образом народ, занимающий такое громадное пространство и еще мало подвинувшийся в цивилизации, может с такой чистотой говорить на языке, грамматика которого так же запутана, так же исполнена тонкостей, как грамматика языка Демосфена или Фукидида». Удивление князя еще увеличилось бы, если бы ему сказали, что это факт скорее общий, нежели исключительный. Вот поэтому-то Гумплович и считает себя обязанным допустить, что первоначальное создание языка происходило «в среде больших общин»; прибавим также — общин цивилизованных. Это заключение, без всякого сомнения, очень смелое, и ему противоречит все, что нам известно о малой величине первобытных обществ и об их невежестве, но я не вижу средств избежать его, если не допустят вместе со мною, что изобретательное воображение человека родилось вместе с ним, что в доисторическое время оно было не настолько ниже нашего, как это можно было бы предположить по сравнению между познаниями наших доисторических предков и нашими, что оно много раз меняло направление, снова возвращаясь к одному и тому же месту в этих своих последовательных круговращениях, но гораздо менее меняло свою интенсивность и почти совсем не меняло свою производительность, благодаря огромному росту ресурсов, и что поскольку в настоящее время оно направлено на развитие наук и промышленности, а в прошлом на развитие религиозное или архитектурное, постольку же в то отдаленное время оно сосредоточивалось на создании и переделывании языков. Мне необходимо несколько остановиться на моем предположении относительно этого.

Никогда нельзя будет объяснить членораздельную речь, если не обратить должного внимания на изобретательность первобытных людей. Мы, цивилизованные люди, умеем выйти из трудного положения только при условии обладания самыми разнообразными ресурсами, но первобытный человек, а иногда даже и современный безграмотный крестьянин, удивительно ловок в изобретательности, в быстром пользовании



теми средствами, какие есть у него под руками, достигая хотя и очень неполных, но для настоящей минуты совершенно достаточных результатов. Он должен быть таковым под страхом во всякую минуту дня и ночи умереть с голода, с холода, под страхом попасть в зубы дикому зверю или под стрелу врага. Поэтому-то, когда этот человек почувствует настоятельную потребность передать своему союзнику идею, для которой у них еще не существует знака, ему гораздо легче, чем нам, заполнить этот пробел при помощи простых и в то же время ясных приемов, заключающихся, например, в том, что он берет здесь корень, там местоимение, соединяет их вместе и при помощи какого-нибудь жеста вкладывает в это соединение новый, долговечный и плодотворный дух<sup>107</sup>. Изобретательность, эта инстинктивная телеология, не представляет собою гениальности, но является ею в размене на мелкую монету для повседневного употребления, а именно эта мелкая монета и отвечает потребностям языков.

Коларийские племена Индии, не имеющие решительно ничего общего с арийскими расами, являются наиболее низкостоящими из всех известных племен; некоторые из них не знают даже глиняной посуды и употребления металлов. Тем не менее их язык богат, искусно составлен и изобилует оттенками в выражениях («*Les gaces et les langues*» Лефевра). То же самое замечание можно сделать отчасти и о дравидийском языке. По Заборовскому, дикари, которые кажутся неспособными сколько-нибудь усовершенствовать свое оружие и свою утварь, хотя ловко пользуются ими и упорно сохраняют их веками в одном и том же виде, при случае, однако, — и очень часто — изобретают новые слова. Доказательством этому служит то, что дикие языки меняются, видоизменяются, растут с большой быстротой, тогда как учреждения и нравы тех же самых народцев остаются без движения неопределенно долгое время. Заметим еще, что дикари, язык которых наиболее беден, легко научаются нашим цивилизованным языкам, хотя они совершенно неспособны усвоить себе нашу цивилизацию.

Некоторые лингвисты, затрудняясь примирить превосходство нашего социального состояния над состоянием первобытной Греции, доисторической Индии или Персии с эстетически низшим состоянием

наших языков сравнительно с языками этих стран, решались отрицать несравненную и роскошную красоту этих древних наречий. По их мнению, это роскошное изобилие не что иное, как бедность, мишурная роскошь, составленная из загромождающих и замедляющих *impedimenta*, тормозящих течение мысли. Но это значит закрывать глаза перед очевидностью. Должно только признать, как мы это уже сделали, что насколько языки приобрели в практической полезности, настолько они потеряли в поэтической красоте. Но это же свидетельствует о той любовной нежности, предметом которой был язык у наших предков, подобно тому, как позже право или телеология. Когда язык, находившийся еще в зачаточном состоянии, в значительной мере заключался в жестикуляции, — столько же, сколько и в словах, — он должен был представляться вступающим в жизнь народам самой занимательной игрой. Какой бывают гримасы для наших детей, а так как игра является одним из источников искусства, то неудивительно, что язык не замедлил сделаться самым совершенным художественным произведением социально развивающегося человека. Дикарь или варвар любит говорить и слушать самого себя, так как говорить — это почти единственное проявление его интеллектуальной деятельности; он удивляется этому проявлению и приписывает ему таинственную силу. Отсюда происходит это идолопоклонство языку, являющееся одним из первых суеверий и делающее понятной столь тесную связь между языком и религией. В глазах восточных гренландцев, являющихся, согласно новейшим датским исследованиям, наиболее отсталыми между всеми членами их расы, «человек состоит из трех частей: тела, души и имени». Имя поставлено на один уровень с душой и считается таким же бессмертным, как и она!<sup>108</sup> Какое великолепное доказательство мистического могущества, приписываемого словам первобытными людьми! Самая темнота языка на заре его появления должна была способствовать этому, и человечество тогда должно было находиться в таком положении, в каком оно было при появлении письма, когда умение читать и писать было редким и чудесным секретом. Как самое постоянное и самое настойчивое усилие умов надо было направлять к тому, чтобы говорить, так и самой большой интеллектуальной трудностью должно было являться понимание слова.

Всякий язык был ребусом, который надлежало разобрать, одни его понимали, а другие — и их было большинство — не понимали его. Этих последних, ввиду такой огромной и опасной низости развития, без сомнения, легко было обратить в рабство и, быть может, это была одна из крупных, незамеченных доселе причин древнего рабства. Несомненно, по крайней мере, что для понятливых избранников, для привилегированных, владевших словом, существовал большой соблазн злоупотреблять этим путем ассоциации и обмана. Следовательно, роль лжи должна была принять с этого времени огромные размеры, такие, как насилия и войны. Как бы то ни было, искусство угадывать метафоры, которыми необходимо должна была изобиловать речь, едва начинавшая лепетать, могло быть только чем-то весьма сходным с искусством предвещательного гадания — монополией небольшого числа гадателей, окруженных уважением к чудесному. Вся природа с ее странным и величественным видом казалась тогдашнему человеку великой и непрерывной метафорической или гиперболической речью, иероглифическими письменами, поставленными для отгадывания проницательности человеческого ума и доступными очень малому числу людей.

Не имеем ли мы права предполагать, что в некоторую доисторически древнюю эпоху аристократия многих высших рас — в Индии, в Египте, в Греции, даже в Италии и пр. с любовью и уже с умением отдавалась разработке языка, подобно тому, как позже она с увлечением работала над правом, военным искусством или политикой? Таким образом можно было бы объяснить совершенство многих древних наречий рядом с грубостью говоривших на них народов, за исключением аристократической части последних. В грамматиках прекрасных древних языков — санскритского, греческого и др. — содержится такая же изысканная сложность, утонченная и искусная метафизика, как и в *Corpus juris*. Классическая латынь, например, как и классическое римское право, годится только для римского патрициата. По-видимому, влияние последнего должно было вести борьбу, чтобы заставить плебеев и провинциалов низших классов усвоить этот язык. С того дня, когда власть ускользнула от римского сената, и культура начала падать,

исчезает и классическая латынь, уступая место упрощенной и испорченной латыни плебеев. Несомненно, что чем дальше мы восходим в прошедшее наших арийских языков, тем более сложную, богатую и обильную формами систему склонения и спряжения встречаем мы у них. При каждом преобразовании языка исчезает один или два падежа, так что из восьми падежей санскритского языка, которые сами представляют собою, как говорят, не что иное, как остатки доисторического, еще более богатого склонения, в современном французском языке остался только один падеж. Это значит, что в ту очень отдаленную эпоху, когда образовались наши индоевропейские языки, высшие классы, подающие пример прочим, отличались замечательно изощренным лингвистическим чувством. Я разумею под этим особое чутье — чутье к лингвистической истине — истине совершенно особого рода, подобно тому, как чутье к истине юридической — тоже истине совершенно своеобразной — называют юридическим чувством. Эти два чувства представляют собою, впрочем, только разновидности логического инстинкта.

Я часто указывал на проявляющийся в многочисленных формах как в нашу современную эпоху, так и в века господства подражания-моды контраст между увеличением однообразия в пространстве и дифференциацией во времени. По-видимому, одно вознаграждается другим. Иначе говоря, когда в силу подражательного распространения одной и той же формы цивилизации начинает исчезать разнообразие обычаев, костюмов, местных культов, местных промышленности и литератур, покрываемых и затопляемых этой формой, то и тот единый тип законодательства, религии, одежды, промышленности или искусства, который эта цивилизация поставила на место первых, начинает разнообразиться, все быстрее и быстрее дифференцироваться, тогда как различия, установившиеся прежде, были сравнительно неподвижны. Но мы прибавили, что этот контраст со временем должен прекратиться путем относительного закрепления обобщенного типа, стремящегося таким образом стать почти столь же устойчивым, сколько и однообразным. Взгляд, брошенный на сравнительную историю языков и на лингвистическую картину современного мира, может послужить к

оправданию этой надежды или этого опасения. В самом деле, языки составляют исключение из только что сформулированного правила об обратном отношении между пространством и продолжительностью. Чем более цивилизуется какой-нибудь континент, тем меньше становится число одновременно существующих на нем языков: никакая борьба не может быть смертоноснее борьбы за подражание между языками и горсть оставшихся в живых ничтожна сравнительно с огромной массой павших. Мы видим, что в прошлом человечество было раздроблено на кланы или поселки, говорящие каждый на своем языке, и так было в Европе и повсюду, а не в одной только Америке у краснокожих, а теперь мы быстро приближаемся к эпохе, когда три или четыре языка, как две или три религии, одна или две различные цивилизации поделят между собою человеческий род<sup>109</sup>. Но наблюдаем ли мы, чтобы эти языки-завоеватели, — испанский, английский, русский — я хотел бы также иметь возможность прибавить французский, — расплывающиеся по земному шару, как масляное пятно, становились бы в то же время все более изменяющимися? Нисколько. Напротив, как и религии, они так же становятся тверже и неподвижнее по мере своего распространения; французский язык, например, изменился теперь в течение трех веков меньше, нежели он изменялся в одно столетие в средние века. Раз вышли из состояния соперничества между различными диалектами, дробящими между собою какую-нибудь страну<sup>110</sup>, и один из них одержал верх, нет больше никакого основания, чтобы этот диалект, если он стал единым языком, закрепленным при помощи письма и литературной обработки, не сохранился неопределенно долго, расширяя от времени до времени свой словарь, но очень мало меняя свою грамматику и не вводя даже ни малейшего изменения в свою орфографию с целью ее упрощения. Закон подражания высшему должен сохранять и действительно сохраняет тот язык, на котором говорят высшие классы или вызывающая всеобщее восхищение столица великой империи, до тех пор пока эта столица или эти классы удерживаются у власти. Если бы не нашествие варваров, то в Европе до сих пор еще говорили бы повсюду на слегка измененном классическом латинском языке. Таким образом, хотя из всех социальных условий язык, эволюцию языка,

можно наиболее законно сравнивать с эволюцией животного или растения, тем не менее справедливо, что язык всегда умирает насильственно или, по крайней мере, под влиянием внешней причины, а не в силу той внутренней необходимости, какая, по-видимому, ведет к смерти всякий живой индивидуум<sup>111</sup>, если даже не всякий живой вид. Все социальные условия стремятся к окончательной устойчивости такого рода, какую наша временная склонность к европейским революциям тщетно заставляет нас отрицать, но которая представляет собою черту, присущую всякой законченной системе, и является той естественной пристанью, куда в силу этого направляется логический путь ума.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Религия

Религия, как и язык, представляет собою прежде всего продукт подражания. Не только очевидно, что она обыкновенно передается, как фамильное наследство, в силу обычая, но кроме того не менее достоверно и то, что она вначале распространялась во всякой стране в силу заразного, увлекающего влияния моды. В пример можно привести хотя бы Китай — нацию, славящуюся своей непобедимой привязанностью к своей старине, которая, однако, как известно, почти целиком обратилась в буддизм в один из первых веков нашей эры, а в XVII веке позволила христианской пропаганде иезуитов увлечь себя так сильно, что если бы не раздоры последних с доминиканцами, то вскоре весь пекинский двор и Небесная империя наверное приняли бы крещение.

Но, несмотря на смешения стольких мифологий и нелепость стольких догматов, религия представляет собою также произведение в высшей степени логичное, хотя это может показаться более спорным. Впрочем, она такова постольку, поскольку потребность в систематической координации проявляется в среде управляемых ею народов; но в этой степени она, как и язык, представляет собою нечто наиболее координирующее, — если не наиболее координированное с самого начала, — из всего, что мы встречаем у этих народов. В самом деле, она является вначале единственным правилом для их верований и

единственной уздой для их желаний, так что все прочие виды управления мыслью и действиями — наука и философия, право, мораль, искусство — можно рассматривать как ее последовательные ответвления. В то же время она не перестает стремиться к максимуму веры объективной и веры субъективной, к максимуму истины и уверенности и, при помощи отводящих каналов, какие она открывает желанию и надежде на посмертное удовлетворение, смягчает и низводит к минимуму неудовлетворенное желание. Без сомнения, если подумаем о религиозном состоянии какой-нибудь обширной империи, где недавно объединившиеся многочисленные национальности еще не успели прийти к объединению веры, например, о Римской империи до христианства или даже о современной Индии, то мы будем поражены противоречиями и дисгармонией этой беспорядочно перемешанной груды космогоний и теогоний. Но нужно рассмотреть каждый из этих местных культов в отдельности, каким он был до разрушения политических границ, раскрывшего его противоречие с соседними культами, заставив его войти с ними в сообщение. Мы тогда увидим, что всякая религия, даже первобытная, представляет собою, за отсутствием науки, довольно последовательное объяснение происхождения существующего и судеб человечества в мифической форме, и что ей, во всяком случае, удалось привести к согласию умы своих правоверных последователей относительно этих главнейших пунктов, даже если ей и не удалось установить согласие в уме каждого из них с самим собою. Моральная и умственная анархия появляется только из сопоставления различных религий, пришедших в соприкосновение и вступивших в борьбу, но эта анархия есть только переход к распространению высшей религии, в которой произойдет действительное объединение национальностей.

В религиях, как и языках, не осуществившееся бесконечно велико, несмотря на разнообразие и богатство осуществившегося. Как ни разнообразны известные религии, даже первобытные, многообразные в своей монотонности, как ни разнообразны последовательные ряды фазисов, по которым прошла каждая из них в противность мнимой формуле эволюции, по которой они все должны были бы проходить через один и тот же ряд положений, — несмотря на все это, сколько

могло бы родиться культов, которые, однако, не родились! А сколько было мертворожденных, сколько погибших до расцвета, быть может, удивительных и несравнимых среди всех этих ересей, кишаших в средневековой Италии, среди всех этих сект, еще и до настоящего дня зарождающихся на почве Индии или ислама, в сердце какого-нибудь неудавшегося Будды или Исайи, какого-нибудь мистика, духовидца, пророка! Сколько гипотез можно придумать, сколько догматов можно было бы формулировать в ответе на великие проблемы происхождения и конца! Чтобы объяснить замечательнейшие явления природы своей области — циклоны в Америке, северное сияние в других местах, движение солнца по небу и его заход в море повсюду — каждое племя придумывало свой мифологический рассказ, в котором действовала совершенно свободно детская логика аналогии, пробираясь сквозь ткань чудесных приключений, не заключающих в себе ничего невероятного для того, кто не знает границ естественного и пределов невозможного. Но как бы многочисленны ни были эти рассказы, все-таки те же самые явления могли бы внушить и другие; могли бы также быть замечены и другие, оставшиеся незамеченными явления, которые, в свою очередь, открывали бы новые пути мифологическому воображению.

Что может быть, например, загадочнее и поразительнее доступного всем зрелища этого неизменного беспорядка безгранично разбросанных по небесному своду звезд? Однако, насколько известно, ни один миф не пытался дать объяснение этой страшной тайне, если не считать одного довольно ребяческого американского мифа, записанного Альбертом Ревиллем. Этот столь поразительный вид звездного неба положительно заслуживал бы большого напряжения изобретательной любознательности наших предков.

Но если возможно бесконечное число религий, то осуществимы были только немногие их типы, типы великих систем догматов и обрядов. Таким же образом, несмотря на бесконечную многочисленность воображаемых живых видов, все они должны быть сведены, кажется, к нескольким разветвлениям (Агассиц, как и Кювье, допускал только четыре), являющимися необходимыми исходами биологической эволюции.

Под этой многоцветной, волнующейся поверхностью религий наименее изменчивым и самым устойчивым является то чувство, которое



вызывало существование всех религий и которое во всех их рождается путем слияния самых разноречивых эмоций в одну сложную характерную эмоцию, благодаря очень возвышенной внутренней температуре. Я назвал обожанием эту комбинацию сыновнего почтения с подобострастным испугом, это любовное удивление перед неизвестным, это созерцание невидимого, эту облагораживающую протрацию, когда душа в своей экзальтации доходит до полного пожертвования своей волей и своей мыслью поучению и приказанию другого, того другого, которого она, в конце концов, всегда ищет и находит в глубине самой себя... Хижина дикаря, даже пещера троглодита, как и самые роскошные из наших современных дворцов, должна была давать убежище женщинам и мужчинам, познавшим этот священный трепет в самых разнообразных формах, и нечего бояться, что он когда-нибудь безвозвратно исчезнет из человеческого сердца, ибо сегодня, как вчера, как третьего дня, и после появления науки, это чувство все еще оправдывается одиночеством человека, его бессилием и ничтожеством среди лицемерной или непроницаемой, угрожающей или индифферентной бесконечности.

В особенности угрожающей являлась она в глазах наших предков, которые населяли неизвестную природу врагами, наподобие окружающего свирепого человечества. Для нас она скорее безразлична, хотя не менее тягостна, и разве не верно, что сжимающая сердце мысль об этой бесконечной ледяной нечувствительности заставляет нас сожалеть о старинных иллюзиях враждебных божеств, сдерживаемых иллюзорными, симпатизирующими божествами? Для того, кто смотрит на Вселенную и душу глазами, излечившимися от первого опьянения знанием, тайна вещей остается существующей, еще достойной — и даже более, чем когда бы то ни было — обожания по своему непроницаемому величию, и если не по своей доброте, из которой, однако, берет начало наша собственная доброта, то по крайней мере по своей неисчерпаемой и невыразимой красоте, проявляющейся в самой борьбе и деятельности ее сил. Молитва может кончиться — обожание не кончится никогда.

Однако, если чувство, являющееся родоначальником религии, этот сложный металл, эта коринфская бронза сердца, не может никогда погибнуть, то пропорция его различных и противоречащих друг другу

элементов далеко не остается постоянной: здесь преобладает страх, там надежда или покорность, удивление или любовь. По мере того, как расширяется социальное поле и религия становится возвышеннее, обожание становится более нежным, превращается в набожность и мало-помалу вырабатывает свой лучший плод — дух сострадания, доброты, социального милосердия, который, чтобы сделаться сильным и плодотворным, должен был сначала быть духом братства, вытекающим из веры в одного общего отца. С самого начала человечества обожаящий должен был испытывать весьма различные впечатления, смотря по характеру объекта своего обожания и сообразно своему понятию о богах, которое не могло быть везде одинаковым. Прекрасно знаю, что религия, как и язык, вначале представляет собою всегда одушевление, постоянное олицетворение явлений природы. Но очень важно не смешивать в одном слове «анимизм» все виды духов, совершенно противоположных по своему характеру, — одни злые, а другие добрые, — или весьма различных по своему происхождению, — одни происходят от людей, а другие из природы<sup>112</sup>. Действительно, они далеко не все происходят от обожествленных предков или иностранцев, как это утверждает Спенсер в силу своего слишком узкого понимания анимизма, этого первобытного спиритизма; они исходят отовсюду: из звезд и из облаков, из гор и из вод, из диких зверей, змей, растений чудовищных или уродливых форм. А раз они так несходны между собою, то и приемы, служащие для того, чтобы успокоить или задобрить их, должны быть также очень разнообразны.

Впрочем, понятие об анимизме должно было неизбежно появиться в какой бы то ни было форме; я разумею здесь анимизм в самом широком смысле, анимизм бессмертных духов, населяющих окружающую природу и отличающихся от тех предметов, в которые они воплотились, хотя и не всегда отделимых от последних, что составляет уже последующую стадию. Инстинктивное отвращение к небытию, являющееся следствием желания жить, логически привело к утверждению посмертной жизни нашего я; это утверждение проявляется уже в кремниевый период в погребальных пиршествах пещерного человека<sup>113</sup>, а также и позднее, но в особенности в каменный период, в много-

значительном обычае меланезийцев, южных американцев, ацтеков, так же как и жителей центральной Франции, погребать мертвецов в таком положении, чтобы подбородок прикасался к коленям, т. е. в положении ребенка во чреве матери. Таким образом, говорит Гобле д'Альвиелла, на землю смотрели как на мать, а на смерть как на возрождение. Это поэтичное верование относит в далекое прошлое зарождение идеи метампсихоза и проливает неожиданный свет на психологию первобытного человека. Но раз бессмертие таким образом утверждалось по отношению к самому себе, то не требовала ли логика аналогии такого же утверждения и по отношению к другому, а затем и по отношению ко всему, что кажется детскому сознанию одушевленным? Таким образом, анимизм был необходимым последствием желания жить.

Представьте себе, сколько тоски и отчаяния должен был переживать какой-нибудь гениальный дикарь, случайно задумавшийся над своим положением как человека, сидя в празднично-дождливый день в своей холодной и дымной пещере. Куда бы он ни посмотрел, он видит только опасность и угрозу смерти, ядовитые зубы, отравленные стрелы, кровожадные когти; со всех сторон и все представляется ему в виде врага и врага смертельного — все, за исключением нескольких товарищей по несчастью, запертых вместе с ним в этой пещере, и его собаки, единственного животного, которое он успел приручить. Он неизбежно должен был пойти тогда по одному из этих двух противоположных направлений: или привычка видеть среди живых существ только убийц или добычу заставит его по аналогии думать, что все созданные им невидимые существа также злы, исполнены ненавистью и мстительностью, или, напротив, как потерпевший кораблекрушение в этом океане неумолимой и необъяснимой вражды, он в отчаянии призовет на помощь неизвестное, против всех этих злых животных и людей, против ядовитых растений и разрушительных бурь, станет придумывать и призывать толпу благосклонных, скрытых покровителей, интересующихся его судьбой, бодрствующих над ним в этом обширном мире, таинственно подающих ему знаки при приближении опасности и тотчас посылающих ему птичку, насекомое, какой-нибудь мелкий, но многозначительный факт для его предупреждения. В первом случае

главная задача заключается в том, чтобы отвратить гнев злых богов, успокоить и приручить их подобно тем величественным слонам, которых обожают, укрощая их, а приручить их можно при помощи тех же приемов, которые так успешно служат для приручения животных: им нужно доставлять постоянную и кровавую пищу, давать им есть то, что они сами едят так часто, — самого человека, какого-нибудь пленного врага. Жертва — это кормление богов; голодный дикарь должен предположить, что и сами его боги голодны. Всегда рассуждают по аналогии. Во втором случае трудность прежде всего заключается в том, чтобы истолковать знаки благоприятствующих божеств; отсюда проистекает преобладающее значение гадателей, предсказателей, оракулов. Таким образом, в жреце преобладает или жертвоприноситец, как это было в Мексике, или гадатель, как в классической древности. От жреца же, начиная с самого отдаленного времени, надо отличать колдуна<sup>114</sup>, который, являясь предшественником не предсказателя, а ученого, преждевременно стремится вырвать у природы ее тайны, стремится не успокоить или разгадать таинственные силы, а заставить их действовать согласно своему желанию, как наши инженеры принуждают действовать физические силы.

Впрочем, идет ли речь об успокоении, истолковании или утилизировании этих сил, выбором обрядового приема всегда руководит логическое рассуждение, и чаще всего по аналогии. Быть убежденным в том, что, заранее изображая символически желанное событие, мы помогаем его осуществлению или что, прокалывая сердце кого-нибудь на портрете, мы заставляем его умереть, значит рассуждать так же, как рассуждал египтянин времен Древнего царства, который в надгробной статуе видел эквивалент мумии с точки зрения грядущего воскресения. В том и в другом случае подразумеваемая большая посылка, по-видимому, состоит в том, что изображение составляет часть самого образца, как тень является частью тела. Поэтому за неимением тела берут тень и точно так же за неимением целого берут часть, так как и этот способ индукции также довольно употребителен. Отсюда проистекает раздвоение в направлении последовательных преобразований и смягчение человеческого жертвоприношения, когда

последнее начинает исчезать. В самом деле этот медленный прогресс достигается иногда путем замены действительного жертвоприношения его подобием или путем замены человеческой жертвы животным, более или менее похожим на человека, а в других случаях — путем замены убийства жертвы небольшим кровопусканием, тонзурой или надрезом. Здесь представляются два параллельных и разных пути эволюции. Точно так же и по отношению к колдовству: колдун преследует свои мрачные цели то путем поранения изображения, то при помощи пряди волос, отрезанных у самого лица, которым он занят. В конце концов, при отсутствии других данных аналогия бывает для невежды самой логичной руководящей нитью, совершенно так же, как при недостатке познаний, достаточных для определения того пути, какому лучше всего следовать в затруднительных случаях, которыми усеяна наша жизнь, даже люди, наименее склонные к рутине, обращаются к подражанию другим, заменяя им слишком сложный расчет вероятностей. Поэтому не следует удивляться доверию, какое дикари, как и дети, питают к индукции от подобного к подобному. Африканский дикарь замечает, например, что некоторые болезни передаются от одного к другому с огромной быстротой при простом соприкосновении: он заключает, что подобным же образом могут передаваться мгновенно, путем простого прикосновения<sup>115</sup>, и некоторые качества, некоторые добродетели: сила, мужество и ум. Мы считаем это смешным, но не должны ли мы скорее считать удивительным и жалким то, что существует мир, в котором болезнь заразительна, а здоровье нет?

Аргумент *post hoc ergo propter hoc*, в сущности опирающийся на аналогию, — так как если мы считаем предшествующий факт причиной последующего, то только потому, что мы полагаем, что там, где будет воспроизведен первый, будет воспроизведен вслед за ним и второй, — этот аргумент также широко участвовал в зарождении богов и мифов. Таким образом, говорит Гобле д'Альвиелла, объясняется то, что народы, столь отдаленные один от другого, как финны и краснокожие Америки, одинаково приписывали пению кукушки плодотворные весенние дожди, потому что первое предшествует второму. Как рождается фетиш? Самым рациональным образом, как бы очевидна ни была нелепость обожяемого

предмета: камня, кости, куска дерева. Вспомним, что в глазах первобытного человека вся природа представляет собою страшную тайну, ужасное непознаваемое; поэтому она вся божественна, настоящий народ богов, добрых и злых, богов — подданных и богов — начальников. Надо открыть добрых или начальствующих, и трудность состоит в том, чтобы сделать хороший выбор. Но особенно трудно выбирать: столько представляется одновременно звезд, деревьев, животных, камней! Что же тогда делает дикарь? Он поочередно употребляет два метода, научных по преимуществу: метод наблюдения и экспериментальный метод. Если он замечает, что произошло что-нибудь счастливое для него после того, как он дотронулся до какого-нибудь предмета, например, до одного из своих инструментов<sup>116</sup> или до раковины, он начнет думать, что этот предмет приносит ему счастье. Или же, «если один из нас, — говорил один негр путешественнику, — решил предпринять что-нибудь важное, то начинает искать бога, который будет ему покровительствовать, и берет для этого первое встретившееся ему живое существо, собаку, кошку или другое животное, или же камень, кусок дерева или другую вещь того же рода. Он тотчас же приносит новому богу подарок и дает торжественный обет вечно почитать его в случае успеха. Если он успевает в своем предприятии, то он открыл услужливого бога, которому он станет ежедневно доставлять свои приношения; в противном случае, новый бог будет оставлен, как инструмент, не имеющий цены». Фетишизм представляет собою вообще род экспериментального пантеизма. Рассуждение дикаря, без сомнения, ложно, но не менее ложно, как видим, рассуждение цивилизованного мифолога, судящего об умственной и нравственной грубости фетишиста по незначительности его фетиша, ибо разве именно неодушевленный или вульгарный характер предметов, избираемых для обоготворения, — черный камень Каабы, гермы Афин во времена Алкивиада и т. д. — не раскрывает перед нами наиболее полную спиритуализацию, обожествление Вселенной? Итак, нам не следует удивляться, находя подобные фетиши у наиболее высокорелигиозных народов.

При том же, где разница между фетишем и идолом, которые оба являются воплощением духа? Разницы нет никакой, если не считать,

во-первых, того, что понятие об идоле обыкновенно ассоциируется с мыслью о скульптурной форме, об изображении человека или живого существа, и, во-вторых, то, по привычке связываемое с первым, различие, что фетиш является идолом хижины, клана и, самое большее, племени, тогда как идол представляет собой фетиш общины или нации. Расширение социального поля обусловило это преобразование фетиша, грубого домашнего идола, в идола — художественного, национального фетиша.

Следует заметить, что человек — я разумею живого человека с плотью и кровью — бывает последним из тех объектов, какие дикарь придумывает обоготворять; однако, раз его боги избраны, он начинает представлять их все более и более по своему образу и подобию, так что переход от зооморфизма к антропоморфизму богов с последовательным течением цивилизации представляет собою один из наилучше установленных законов религиозной эволюции<sup>117</sup>. Боги-животные постепенно становятся богами-людьми и промежуточный переход дают нам сфинксы или другие египетские божества с человеческой головой на теле животного, или с животной головой на человеческом теле, или же в древнейших греческих божествах с женским лицом и маленькими коровьими рогами. Часто то животное, от которого происходит какой-нибудь бог: сова, бык, орел, мышь, превращается в его атрибут, когда заканчивается его постепенное очеловечение. Но почему же, можно спросить себя, человек не обоготворил сразу человека, чтобы избавить себя от труда постепенно очеловечивать своих богов? Истина заключается в том, что человек никогда не обожал человеческого даже в человеке, а обожал только сверхчеловечное. Вот почему дикари, устанавливающие культ стольких животных, даже самых мелких видов, обыкновенно воздерживаются от обожания обезьяны, именно потому, что она настолько походит на человека<sup>118</sup>, что обнаруживает превосходство последнего над нею. Это нижечеловеческое презирается, тогда падают на колени перед каким-нибудь хищным животным или даже перед каким-нибудь насекомым, у которого проявляется поразительная сила или ловкость, удивительный инстинкт, делающий его в некоторых отношениях выше человека. Как мог бы первобытный человек

не прийти к мысли о необыкновенном и таинственном могуществе при виде прыжков тигра<sup>119</sup>, при виде моментальной смерти от укушения змеи или при виде чудес улья? Но сверхчеловеческое представляет собою только возвеличение человеческого; итак, дикарь необходимо создает своих богов в основе по своему образу, но по образу психологическому, а не телесному. Он придает им не свои формы, а свои страсти, свой гнев, свои идеи. Этот начальный психоморфизм является постоянным элементом в понятии божества; он всегда существовал под различными фазисами зооморфизма и антропоморфизма и только более ясно проявляется в теологическом спиритуализме нового времени.

Теперь, почему же человек, создав сначала своих богов только по своему нравственному и умственному подобию, преобразил их также и по своему физическому образу? По двум причинам. Во-первых, по мере того, как он начинал превосходить животных силою, по мере того, как он все легче одерживал над ними победы<sup>120</sup> и приручал их в более широких размерах, они теряли свой престиж в его глазах. Без сомнения, приручение вначале должно было сопровождаться некоторого рода почтительной благодарностью к животному — благодетелю, к животному — покровителю, пришедшему на помощь человеку, и очень вероятно, что между пищей, даваемой корове, и жертвой, приносимой другим богам, вначале совсем не существовало того различия, какое обнаружилось позже. Самый культ, быть может, строился по образцу обычных приемов снабжения пищей. Но с течением времени стало ясно, что этот благодетель, этот божественный покровитель человека, в сущности был только его рабом. Поэтому-то в то время, как у инков в Америке, где одомашнение животных было почти неизвестно, культ животных был развит до такой степени, что связывался с культом светил, причем у каждого вида животных была на небе своя звезда — звезда-мать, — на нашем старом континенте мы находим только слабые остатки такого обожания; у нас люди заняли места животных на звездном небе. Во-вторых, по мере того, как расширялось социальное поле путем прогресса в подражательном уподоблении и территориальных завоеваний, становилась все настоятельнее необходимость — и мы знаем логическое основание этого — слить при помощи сближения



различных религий бесчисленные маленькие местные божества в несколько великих национальных божеств для того, чтобы закончить социальное объединение, и то противодействие, какое оказывал этому необходимому прогрессу партикуляризм отдельных культов, становилось все тягостнее. Но слить воедино отдельных богов-животных было гораздо труднее, нежели богов-людей, потому что первые заключают в себе очевидное противоречие, делающее невозможным их отождествление, тогда как для отождествления вторых этого не было. Это преимущество обеспечило за последними переживание в борьбе богов за существование или сделало необходимой метаморфозу богов-животных в богов-людей. Можно было бы сказать, что Сатурн италийцев и Хронос эллинов отличались друг от друга только по имени, но даже Александр Север отказался от намерения отождествить бога-кошку одной страны с богом-совой другой. Итак, социальная логика влекла к антропоморфизму. Но она влекла к нему только на время. Та же самая потребность религиозного объединения, продолжаясь дальше, благоприятствовала наступлению или торжеству чистого божественного спиритуализма, ибо, с одной стороны, человеческий образ никогда не присваивался богам иначе, как поэтически, и бесплодность этой поэзии не могла долго оставаться незамеченной, а с другой стороны, разнообразие человеческих рас было препятствием для неограниченного распространения божества с человеческим лицом.

Но вернемся к нашему предмету. Раз установлено, что все в природе одушевлено и божественно, психологически сходно с человеком, хотя и сверхчеловечно, то отсюда последовательно вытекает логическое преобразование метеоров, самых поразительных явлений природы, в мифы, т. е. в события, аналогичные событиям человеческой жизни, но только более странные. При виде дождя, молнии, урагана, хорошей погоды должен был возникать вопрос: какую борьбу или какой союз между духами означает это? А раз проблема была таким образом поставлена, то изобретательность первобытных людей принялась за ее разрешение путем многочисленных изобретений. Без всякого сомнения, не случайно, а преднамеренно «в большей части известных языков, — как говорит д'Альвиелла, — солнце и луна различаются в роде, что

позволяет сделать их мужем и женой». Заметим, что самые древние мифологические легенды, как и первичные темы эпоса или рисовального искусства, относятся скорее к битвам, нежели к союзам, но что постепенно божественные легенды, как и темы художественных произведений, начинают ставить на первый план рассказы о любви. Впрочем, было бы очевидным преувеличением считать метеорологию единственным источником мифологии; мы только что видели, что зоология дает ей не менее обильный материал, а скорее даже гораздо более обильный; в самом деле, если гром или ветер могли производить впечатление на наших диких предков, то вид готового пожрать их крокодила, удава или льва должен был произвести впечатление еще гораздо более сильное. Должно согласиться с Спенсером, чтобы отдать справедливость его преувеличенному эвгемеризму, что антропология также была одним из главных притоков великого потока обожествления; в современной Индии мы видим еще богов, восходящих на небеса из человеческой среды. Это начинается «культом родителей и умерших друзей, — говорит Ляйель, — затем наступает культ людей, пострадавших или благодетельствованных от божественного влияния святых или героев, относительно которых известно, что они были людьми; позже является культ полубогов и, в конце концов, культ могущественных божеств, не сохраняющих в себе ничего человеческого, за исключением своего имени или лица». Этот прогресс происходит вследствие распространения легковерия, которое естественно усиливается по мере своего распространения. В тот момент, когда земное происхождение позабыто, бог оказывается законченным.<sup>121</sup>

Как бы то ни было, надо признать, что первые религии по существу своему повествовательны и мало или совсем не догматичны. Народы-дети являются рассказчиками, а не обобщателями, и для них объяснить что-нибудь — значит рассказать историю по этому предмету. Выгодная сторона этого общего всем зарождающимся религиям характера заключается в том, что когда потребность социального объединения принуждает их к слиянию в случае встречи, то никогда не бывает особенно трудно согласовать все эти истории, рассказываемые различными племенами или общинами, которые стремятся к соеди-

нению<sup>122</sup>, так как отдельные рассказы могут не подтверждать друг друга, но никогда не могут противоречить один другому, как бы они ни были несходны между собою, и даже в том случае, когда они вышиты по одной и той же канве, при условии, что их приписывают одному и тому же божественному герою не одновременно, а последовательно. Вообще мифология со своими длинными повествованиями, со своими метаморфозами и генеалогиями богов, поочередно принимающих самые разнообразные животные, растительные или даже неодушевленные формы, со своими усилиями объяснить настоящее положение Вселенной при помощи событий прошедшего, — эта мифология представляет собою род детского трансформизма, приспособленного к уму народов-детей. Как и всякий эволюционизм, она заключает в себе существенно религиозный элемент — чувство глубокой родственности всех человеческих существ. Любознательное воображение, заставлявшее таким образом мысль дикаря преследовать великие проблемы, тем самым заставляло его выйти за предел его узкого социального горизонта и боролась с той исключительной симпатией, которая его связывала только с членами его клана или племени. Дух мифологии можно рассматривать как противоядие духу племени. Итак, с этого своего скромного начала религия уже стремилась к своей миссии всеобщего братства.

Какая логическая необходимость заключается в этом последовательном ряду ступеней, приведших от обожания фетишей, а позже идолов под открытым небом к открытому, потом к находящемуся под прикрытием, жертвеннику, а затем к храму, в котором жертвенник занимает небольшое место, а под конец даже очень небольшое? По А. Ревиллю, это «происхождение храма» можно очень хорошо проследить в Перу у юкасов, а также у евреев и у греков. Эта логическая, или, лучше сказать, телеологическая, необходимость представляет собой аналогию той самой необходимости, которая вела к последовательному появлению важнейших изобретений для того, чтобы все лучше и лучше удовлетворять потребность в убежище. Раз богам приписывались потребности человека, то и укрывать их, естественно, следовало тем же способом, каким пользовались их обожатели. Очень вероятно, что троглодиты помещали их в открытых пещерах, т. е. на открытом воздухе;

у фетиша пещерного человека, без сомнения, была своя собственная расщелина; у идола номадов была своя собственная палатка, как это доказывает киот Завета у евреев, а когда люди научились строить дома, благодаря открытию бронзы и железа, то и для богов стали строить деревянные, кирпичные или каменные дома. Сказанное относительно богов справедливо и по отношению к жертвенникам, если верно, что мысль о жертвоприношениях должна была зародиться всюду, где считали, что боги нуждаются в пище и питье. Это еще не все; потребность поддерживать веру в душах, укреплять и распространять ее — потребность столь же возбуждавшаяся, сколько и удовлетворявшаяся подражательной передачей верований, внушила, и должна была логически внушать повсюду, мысль строить крутом жертвенника обширные галереи или обширные закрытые здания, пригодные для проповеди, пения гимнов, для обожания сообщества. Последовательный ряд очень логичных и фатально неизбежных выводов объясняет нам, почему некоторые известные суеверия, колдовство, гадание по полету птиц или при помощи снов, оракул,<sup>123</sup> астрология зародились независимо у большей части народов в Перу и в Мексике, а также в Греции и Риме. Это были заблуждения необходимые, так как в том, что относится к необходимым изобретениям, не существует ничего, кроме истин.

Необходимые для чего? Для того, чтобы все полнее и полнее, в более социально широких размерах, удовлетворять эту настоящую потребность уверенности и безопасности, которая составляет общую цель Религии и Разума. Конечно, если посмотреть на религии, особенно на низшие культы, о которых я только что говорил, только с внешней стороны, то зрелище будет ужасно. Что мы увидим там? Жестокие или нелепые обряды, предсказателей, кромсающих куриц, или мексиканских жрецов, разрезающих человеческие груди, или ковчеги с какими-либо костями, несомые в торжественной процессии. Но какое представление получили бы мы о патриотизме, если бы посмотрели на него также с внешней стороны, если бы видели только поля битв, покрытые изуродованными и израненными людьми, или одушевленные манифестации перед знаменем, перед куском ткани, прикрепленным к длинному шесту? Здесь и там необходимо проникнуть в душу дейст-

вующих лиц и прочитать там тот великодушный пыл, который их одушевляет, а часто и вводит в заблуждение; необходимо определить, какую неизмеримую ценность представлял этот полученный от предков двойной завет, храбрость и набожность, жажда свободы и жажда спасения, — эти различные формы самопожертвования, которыми мы обязаны патриотизму и религии. Молодая жрица на острове Кипр, отдаваясь по требованию культа первому встречному в священных рощах, была столь же мало распутна, как не жестоки и наши солдаты, рубя врагов саблями в кавалерийской атаке. Она настолько же была не куртизанка, насколько они не убийцы и насколько мексиканский жрец не был палачом. Быть может, только когда освободишься от всех догматов своей материнской религии, и, однако, все еще чувствуешь ее живой в своем сердце, быть может, только тогда отдашь себе ясный отчет в том, что является ее интимной сущностью, ее глубоко лежащей основой, — в том чувстве скорби и сострадания, из которого она родилась и которое продолжает существовать и теперь.

Если принесение человеческих жертв представляется жестокостью, то не забудем, что это были или военнопленные — чужестранцы в социальном отношении, или преступники — чужестранцы, так сказать, внутренние, и что эту бесчеловечность объясняют крайняя узость социального поля в те времена и герметическая замкнутость той области, за пределами которой было позволительно все. Существует также еще одно, более существенное извинение. Ревиль в своей книге об американских религиях показывает, что хотя религия ацтеков и была бесконечно более жестокой и кровожадной, чем культ инков, у которых человеческие жертвы приносились только изредка, она все же была гораздо более способна к дальнейшему прогрессу и, конечно, достигла бы гораздо более высокого уровня моральной красоты и даже человечности, если бы ей дали время закончить свою эволюцию. Затем он обобщает это замечание: «Это не единственный случай, — говорит он, — что самая бесчеловечная религия заключает в себе, как видим, задатки развития гораздо более высокого, нежели то, какого может достигнуть другая современная ей религия, уже более доступная принципу гуманности». Однако именно этому принципу самые возвы-

шенные религии будут обязаны впоследствии своею мягкостью и своею привлекательной силой. Но, по-видимому, для того, чтобы приобрести всю свою религиозную ценность, этому принципу надо было выйти из того состояния духа, когда симпатией к человеку, которою вначале всецело жертвовали для первенствующего стремления к единению с божественным существом — единению, считавшемуся достигнутым, когда верные последователи едят мясо человеческих жертв, предаваясь антропофагии, которая по намерению является теофагией<sup>124</sup>, в силу ли того, что эти жертвы на время отождествляются с богом, которому они приносятся, или же потому, что этот бог считается принимающим участие в трапезе и его последователи становятся его сотрапезниками, — очень тесная интимная связь для всех стран, где существуют касты. Это весьма странно и представляет собою любопытный пример изворотов социальной диалектики. Тем не менее это достоверно. Не видим ли мы повсюду, как в психической жизни моральных избранников, которые первыми начинают чувствовать порывы живой и страстной сострадательности, так и в религиозной жизни народов, поднимающихся вслед за ними до культа гуманности, — не видим ли мы и тут и там, что период мистицизма, страстной любви к божествам, являющийся, быть может, галлюцинацией сердца, предшествует широкой и великодушной любви к людям? Разве сам Огюст Конт не считал себя обязанным обожествить любовь, чтобы заставить нас обратить эту любовь на человечество?

Логическая необходимость всегда более или менее толкала политеизм к монотеизму, как федерацию к централизации, раздробленность местных наречий, нравов, искусств к лингвистическому, моральному и художественному единству. Путем подражания понятие о божественном единстве распространялось сверху вниз. Вначале оно было только у какого-нибудь Сократа или Платона, а затем, при Августе, оно овладело всеми просвещенными умами и стало спускаться в народ, но с большим трудом до возникновения христианства. Одновременно со стремлением к такому распространению этого понятия, идея о Боге укреплялась и из простого мнения превращалась в сильную веру. Тогда зародилось христианское, или quasi-христианское благо-

чество, новое чувство постоянного присутствия и провидения Бога, психологическая комбинация смирения, самоотречения, послушания и глубокой и трогательной веры. Сенека и Эпиктет называют Бога Наш Отец и исповедуют свою совесть. Вера в бессмертие укореняется и становится такой живучей, какой она была в средние века: верят уже не в Елисейские поля, а в нравственное, мистическое небо. Полувверяющие люди, полуфилософы налагают на себя посты, воздержание, всякого рода умерщвление плоти.

Быстрое распространение и окончательное торжество христианства, начиная с III века, представляются разрешением великой проблемы социальной логики. Эта поставленная в III веке проблема заключалась скорее в максимуме, а не в равновесии верований, так как проблема равновесия была уже разрешена довольно удовлетворительным способом, получившим название синкретизма, благодаря слиянию национальностей, которое повело к широкому распространению провинциальных или римских божеств, к их взаимным встречам и довольно искусственному, но легко прививавшемуся их уподоблению друг другу. Пантеон, куда гостеприимно принимались всякие божества, латинские, греческие, египетские, восточные, символизировал собою это в высшей степени распространенное, возвышенное и слабое состояние ума, сделавшее возможным эту внешнюю гармонию и это мирное взаимное разграничение культов, до того чуждых или враждебных друг другу. Но если потребность уничтожить по крайней мере очевидные и враждебные противоречия между многочисленными верованиями, покрывавшими почву империи и, благодаря ей, начавшими обмениваться своими познаниями, казалась удовлетворенной, то, с другой стороны, — если не принимать в расчет христианства, — потребность в более задушевном веровании, в более сильной уверенности давала себя чувствовать все настоятельнее и оставалась все менее и менее удовлетворенной.

Это пробуждение религиозной жизни в конце II века и в начале III, уже при Антонинах и в особенности при Северах, поразило всех историков. Неутолимая жажда веры во что-нибудь духовное и бессмертное овладевает всеми высшими слоями общества и из года в

год, подобно наводнению, медленно подымается в их душах. Чем обуславливался этот религиозный прилив? Всеобщим умиротворением, которое с течением времени привело к тому, что высочайшие вершины были затоплены сначала злоупотреблением, а затем отвращением к чувственным, совершенно индивидуальным наслаждениям, и все более и более заставляло ценить такие истинно социальные удовольствия, как удовольствие чувствовать себя братьями, связанными общностью высоких надежд. Можно почти наверно предсказать, что повсюду, где война приостановится на одно или два столетия, повсюду, где установится прочный и, по-видимому, обеспеченный навсегда мир, там подобным же образом пробудится стремление к идеальному или мистическому. На это повелительное требование сознания людей пытались ответить путем неоплатоновского истолкования древних мифологий, одухотворить и морализировать мифы о Юпитере, Венере, Меркурии и Аполлоне, но такая попытка не удалась. Религиозный прилив все подымался<sup>125</sup>.

В это время появилось христианство, которое уже в течение двух столетий вырабатывалось во мраке и уже пережило несколько кризисов в своем развитии, подобно важному изобретению, стремящемуся к усовершенствованию, чтобы сделаться практически пригодным. Нельзя было даже и думать включить его в общий заурядный синкретизм, так как оно вместе с иудейской религией одно среди всех культов Востока отрицало существование других богов и частичную или даже второстепенную законность прочих религий. Оно не могло, подобно персидскому культу Митры, также спиритуалистского, высоко благородного божества, удовлетвориться признанием своего господства над низшими культами, не требуя их исчезновения. У него нет середины: оно должно уничтожить своих соперников или само быть уничтожено. Отсюда необходимость тех преследований, какие оно пережило, и того кровавого переворота, с какого началась его победа.

Эти два крупнейших факта: распространение возрастающей, неизмеримой потребности в духовном и нравственном убеждении и выработка веры, способной удовлетворить эту потребность, долго шли параллельно и независимо друг от друга. Но как только они встретились,



стало логически неизбежным, что они с силою соединятся друг с другом, что они вступят в энергичное взаимодействие. Когда появился этот новый элемент, спокойный языческий синкретизм, этот религиозный эквивалент нашего философского эклектизма по образцу Кузэна, сильно расстроился. Разрешение, данное им проблеме равновесия, оказалось ложным и призрачным. Надо было начинать снова, и тогда между новой идеей и каждым из остальных культов или, лучше сказать, между каждым из мифов, которые отрицались догматами первой, завязались логические поединки. Путем целого ряда стычек и правильных сражений приходят, наконец, к самой сильной и самой уравновешенной вере из всех, когда-либо существовавших.

Но посмотрим, как сформировались христианские догматы<sup>126</sup>. Четыре первых века нашей эры представляли собою шумное и иногда кровавое брожение двух логик, индивидуальной и социальной, стремящееся прийти к обоснованию и единству этих догматов. С одной стороны, надо было согласовать между собою противоположные элементы, какие должны были войти в состав доктрины: Ветхий Завет и Евангелие, Священное Писание в его целом и часть платоновой метафизики, еврейскую идею Мессии и греческую идею Слова, Божественную природу Христа и Его человеческую природу, свободу человеческой воли и Божеское предвидение или всемогущество. Трудные проблемы, которые подымали целые бури в голове каждого теолога, принимавшегося за их решение, страдавшего от этих противоречий и желавшего положить конец этим страданиям прежде всего для своего собственного спасения! Различных решений столько же, сколько и отцов: решения иудео-христиан, гностиков, Климента, Оригена, Ария, Афанасия и пр. С другой стороны, для каждого из этих более или менее правильных решений надо было прекратить противоречие между ним и соперничающими с ним решениями, дать ему возможность распространиться вместо них и основать Церковь взамен церквей. И та, и другая задача были выполнены, но с неодинаковым успехом: первая — несовершенно, потому что как ни изощрялся тонкий восточный ум в поразительной роскоши теологических изобретений, все-таки противоречие, присущее одновременным утверждениям

некоторых тезисов, — например, свобода человеческой воли и Божественное предвидение, — никогда не могло уничтожиться. Но настал такой момент, когда, утомившись кружиться в замкнутом кольце бессильных и обманчивых решений, покорились неизбежному и сказали себе: пусть будет так; это непонятно, но именно так и должно быть, чтобы это было божественно. Успокоили свой ум, построив над этими тайнами целое здание ясных и логичных дедукций, подобно тому как Кант и Спенсер построили свои системы, один на своих нуменах, а другой на своем Непознаваемом. Таким образом, индивидуальная логика в приложении к догматам имела успех только наполовину, и то путем геройского самоубийства. Напротив, логика социальная в пределах великого европейского общества одержала в этой области полную победу в средние века путем установления католицизма. Когда все ереси были уничтожены, все догматические разногласия устранены<sup>127</sup>, умы христиан перестали противоречить между собой и стали взаимно подтверждать один другого, хотя в каждом из них нельзя было изгнать некоторого скопления противоречивых идей и противоположных целей. Но больше уже не страдали от противоречий, которые носили в себе, видя, что и другие носят их с легким сердцем. Вследствие этого, такие противоречия, оставаясь подразумеваемыми и незамеченными, не могли привести к взаимной нейтрализации энергий, убеждений, присущих противоположным и одновременно утверждаемым идеям. В социальной логике это было признано давно. Правило религиозной терпимости, свободы совести, основывается на той истине, что нет необходимости устанавливать единство веры в государстве для того, чтобы заставить споспешествовать общему благу всю совокупность сил, появляющихся в индивидуальных верованиях граждан. Это споспешествование обеспечивается одинаково хорошо и тогда, когда верования граждан распадаются на разноречивые культы, при условии, чтобы последние не обнаруживали друг к другу ненависти или презрения. Соединение противоречивых, но не чувствующих себя таковыми или покоряющихся этому идей в одном и том же уме представляет собою психологический эквивалент того социального состояния, какое получается при мирном существовании различных религий и доктрин в одной и той же стране.

Хотя такая субъективная терпимость совсем не похвальна, несмотря на свое сходство с терпимостью объективной, которую восхваляют так сильно, но она все-таки отчасти извинительна.

Надо ли прибавлять, что если бы подобные телеологические умозрения производились впервые в настоящее время, то они столкнулись бы и были бы остановлены могучим препятствием, представляемым нашими науками, которые уничтожали иллюзию антропоцентрических предрассудков? Они указали нам место Земли во Вселенной и место человека в жизни Земли. Необходимо было не знать решительно ничего обо всем этом, необходима была твердая уверенность, что Земля единственная обитаемая планета во всей бесконечности небесного свода и что человек бесконечно выше всех других живых существ; нужно было слепо отрицать все, чему нас научили и что нам доказали астрономия, сравнительная биология и психология, чтобы признать естественным ассоциировать как логически связанные в понятии о едином Боге эти две идеи: идею Спасителя людей, или даже небольшой части людей, и идею Создателя Вселенной, взятой в целом. Правда, можно спросить себя: существовали ли бы без христианства наши науки или, по крайней мере, достигли ли бы они настоящей степени совершенства? Оно питало, оно зажгло и поддерживало в сердцах восторженную героическую любовь к истине, которой надо было только переменить свой объект, чтобы вырвать у природы ее тайны<sup>128</sup>, и без которой, быть может, не появились бы ни Коперник, ни Ньютон, ни Декарт, ни даже Дарвин. Несомненно то, что в тот момент, когда Евангелие явилось с предложением новой, питательной и сочной пищи, греческая мысль, принужденная уже в течение нескольких веков ограничиваться умозрениями, относящимися к «Диалогам» Платона или творениям Аристотеля, умирала от истощения. Эта непредвиденно доставленная пища вернула ей жизнь и силы для вящей пользы Запада.

Затем необходимо также спросить себя, не связано ли с тем же антропоцентрическим и противонаучным предрассудком и понятие о виновности, которое получено нами в наследство от религии прошлого, затем с удивительной силой преувеличения снова было закалено христианством и, даже будучи поразительным образом смягчено, все

еще остается основой нашей морали. Грех в первом пылу веры признали за падение души в мрачную бездонную пропасть, в бездну низшей животной жизни. Почему же это, как не потому, что нормальную душу считали стоящей на головокружительной высоте, которая называлась состоянием благодати? Раз каждый из нас является целью, на которую направлены взоры богов или бесчисленного количества обоготворенных духов, полубогов, героев, святых, которыми заполнено все пространство, то зрелище грехов, совершаемых последним из нас, является предметом негодования и срама для всего этого бесконечного и невидимого божественного населения, а не только для маленькой группы наших соотечественников или наших соседей. Итак, преступник теряет уважение не только в среде этой группы, — эта потеря простирается бесконечно<sup>129</sup>; но так как уже в наших уголовных кодексах обещающий характер преступлений соразмеряется с тяжестью тех наказаний, какие они влекут, и грех не может не быть высочайшей степенью бесчестия, так как он влечет за собой страшное наказание с неисчислимыми последствиями: презрение, ненависть всех святых и самого Бога, а у язычников презрение и ненависть всех богов и полубогов.

Поэтому никакие искупительные страдания, вроде поста с посыпанной пеплом головой и во власянице, удаления в пустыню, не были слишком большими жертвами, чтобы смыть этот позор; в суровости этих монашеских эпитимий энергично проявлялась человеческая гордость, гордость, уже угасшая, далекая от нашей, равная и подобная только той, какая широко проявлялась в древнем культе славы. Когда спартанский или афинский герой так легко жертвовал своею жизнью, чтобы завоевать некоторую известность в небольшой стране, то делал это так в уверенности, что весь мир, со всеми его невидимыми силами, устремит на него взоры, что эти великие зрители всего мира аплодируют ему, и эхо этих аплодисментов продолжится до бесконечности времен и пространств. Если мы удивляемся той страсти к славе, какую внушал классический героизм, то не меньше следует дивиться и той горячке искупления, какая влекла первых христиан к мученичеству или к отшельничеству. Она имеет даже больше права на удивление, так как

указывает, что понятие о всюду присутствующем божестве и сопровождающем его множестве полубогов стало особенно чистым и возвышенным. Древний герой создает богов, величайшим удовольствием которых является зрелище воинских подвигов, зрелище убийства врагов и взгляд которых никогда не проникал в глубину совести. Но первобытный христианин вкладывает в своего Бога и во всех ангельских духов или святых, населяющих, по его мнению, мир, более высокую заботу: занятый прежде всего нравственной чистотой, нравственной возвышенностью и силой, он думает, что и у этих высоких существ тот же идеал, и он рассчитывает на поддержку с их стороны в своих желаниях осуществить последний или на кару их презрения, когда он трусливо отворачивается от этого поистине небесного света. Как византийский император, сидя в закрытой ложе, присутствует при играх на ипподроме, так и Сам Бог с высоты своего престола и со своим сонмом небожителей с интересом наблюдают усилия души снискать награду за внутренний атлетизм. Небесный свод своими бесчисленными звездами представляет собою как бы Колизей, наполненный зрителями, восторженно приветствующими победителя и преследующими труса своими порицаниями. Какую славу, а также какой позор можно снискать здесь! Расстояние между высочайшею степенью величия и глубочайшею бездною низости, каких может достигнуть душа, без сомнения, значительно уменьшилось со времени этих веков веры. Но кто знает, не была ли эта иллюзия горделивого великодушия необходима для того, чтобы заложить в глубине наших сердец то инстинктивное отвращение к моральному злу, то внутреннее благоговение к моральной красоте, без каких мораль, ограничившаяся мелким расчетом полезностей и вероятностей, рассеялась бы в гигиене и уголовном кодексе?

Сходства между буддизмом и христианством были преувеличены. Представляет мало значения, до какой степени они подражательны<sup>130</sup>, но здесь есть кое-что поучительное и важное, особенно эта аналогия в ходе развития, которая, не будучи обусловлена подражанием, объясняется, однако, логическими законами подражания: буддизм отличается от браманизма, из которого он произошел, как и христианство от Моисеева закона, заменой наследственной передачи свя-

щенной власти свободным и индивидуальным выбором. Каста браминов, как и каста левитов, была заменена духовенством, обреченным на безбрачие<sup>131</sup>, набирающимся из всех классов безразлично, и в особенности нищенствующими монахами, до странности напоминающими католических францисканцев и знаменитых философов стоицизма времен империи, «этих нищенствующих монахов древности». Достоинно замечания, что эти три великие доктрины спасения в силу несомненно самопроизвольного совпадения пришли к тому, что стали искать всеобщее спасение в подавлении желаний, соединенном с неограниченной верой в Учителя. Вспомним конечную цель, к какой стремится, как мы сказали, социальная логика, а именно к максимуму устойчивого верования и к минимуму неудовлетворенного желания, и мы поймем, сколько законного и рационального в этих успехах обеих религий и философской секты<sup>132</sup>, благодаря которым человеческое совершенство стало заключаться в сильнейшем возбуждении веры, которой даже нельзя истолковать, и в укрощении желаний, неисполнимых и даже исполнимых.

Но эти две цели очень неодинаково преследуются учениками Христа и учениками Шакьямуни. Первые приписывают основное значение горячности веры — *justificati ex fide* — а вторые, как и стоики, с которыми они более сходны, — подавлению желания. Затем безграничное сострадание, породившее как христианский, так и буддистский порывы, обращается в одном случае на зло, причиняемое личным или унаследованным от предков грехом, а в другом — и на страдание настоящей жизни и на ужасную опасность грядущих возрождений. Христианское спасение представляет собой надежду на искупление, на прощение, на небесную награду, а спасение буддистское, чисто отрицательное в самом корне<sup>133</sup> представляет собой надежду на Нирвану, нечто вроде полной пустоты, являющейся спасительной остановкой круговорота переселений. Этот ужасный страх перед возрождением, это радостное облегчение при мысли, что уже более не возродишься, созданы как бы для того, чтобы изумлять западный мир, но это, однако, неосновательно. Для существа, находящегося на одной из нижних ступеней животной лестницы, эта вера в метампсихоз могла

бы быть успокоительной, так как у него гораздо больше шансов стать при возрождении выше, нежели ниже, но для человека, который знает или считает, что стоит на недостижимой высоте над животными, для человека, в особенности стоящего в первых рядах общества, принадлежащего к умственным избранникам, как Шакьямуни, например, чем для такого человека может быть возрождение, как не падением? Как бы то ни было, слишком очевидно, что ничто подобное этому оригинальному спасению не пугало тот мир, где проповедовал Иисус.

Другая особенность, еще более интересная. Буддизм, происшедший из в высшей степени пессимистического и атеистического представления о вещах у его основателя-философа, презиравшего всякие обряды, пришел к набожному политеизму, полному обрядов и легковерному по отношению к обещаниям посмертного блаженства. «Мало-помалу, — говорит Ревиль, — Будда был обоготворен. Бог, стоящий над браманистскими богами, он откладывал свое окончательное исчезновение в Нирване, чтобы продолжать свое покровительство (путем последовательных перевоплощений) и свои благодеяния человечеству. Некоторые из его учеников, самые выдающиеся, последовали за ним в этом восхождении к божескому достоинству и сотрудничали с ним в этой искупительной работе. Итак, буддизм превратился в новый политеизм».<sup>134</sup> Надо ли указывать, что ничего подобного этому превращению не замечается в развитии христианства? Прибавим, что перспективы Нирваны было недостаточно для возбуждения энтузиазма в народных массах даже в Индии и, конечно, тем более за пределами ее индийской колыбели; необходимо было услышать это слово в менее суровом, более привлекательном смысле, так что в Китае, например, Нирвана превратилась в настоящий рай. Отсюда видим, какое непреодолимое стремление заставляло до сих пор всякую религию под страхом исчезновения, какова бы ни была ее исходная точка, удовлетворить наконец при помощи идеи божества и идеи бессмертия<sup>135</sup> ту двойную потребность в истине и спокойной безопасности, в объективной и субъективной уверенности, которая так мучит человека.

Значит ли это, что провозглашение этих двух догматов будет всегда необходимо для всех религиозных творений будущего, если только

будущее даст их человечеству? Может быть, и нет. Потребность в истине все возрастает, а потребность в безопасности все больше ограничивается пределами земной жизни. Поистине, существенным в идее религии, как прекрасно показал Спенсер, является только глубокое и почтительное чувство всемирной тайны, утверждение ее непроницаемой непонятности, возведенное в степень первой истины. Мистики, эти лучшие деревья в религиозном лесу, были ясновидящими в этом отношении. Сходство всех этих вдохновенных во все времена и во всех религиях представляет собою действительно нечто поразительное. Я не говорю собственно об экстазе, который всегда одинаков, поскольку он является неврозом, — всегда представляет собой паталогическую пропасть, идущую бок о бок с этим подъемом вверх, подобно тому как сумасшествие идет бок о бок с гением, но в нее падают далеко не все. Прочитайте Плотина или св. Терезу, Марка Аврелия или Фенелона и вы увидите, что они совершенно согласуются с индусскими мистиками в описании их внутреннего состояния, их верховной приятной мягкости, которую они испытывают от отсутствия хотения, отдаваясь на волю божественного господина, предаваясь всецело созерцанию и устойчивому, абсолютному убеждению, нисколько не смущаемому желанием.

Нирвана в своем лучшем смысле не представляет собою ничего другого. Мистики Индии различают, подобно св. Терезе, несколько степеней молитвенного состояния, получивших различные названия. Кульминационным пунктом является уога — «соединение, при котором душа чувствует, что она находится в Боге и Бог находится в ней»<sup>136</sup>. Представляет ли, однако, совершенную иллюзию эта вера, общая стольким великим умам, не знавшим друг друга и почерпнувшим ее в собственном сознании? Не скажут ли скорее, что этот внутренний опыт разорвал в их глазах завесу заблуждений, находящуюся перед нашими глазами, иллюзию нашей безусловной самостоятельности и нашей совершенной реальности, мешающую нам чувствовать в самих себе действие способности к бесконечному разнообразию этой всемирной силы! Впрочем, как бы то ни было, призрачно или нет чувство этого сообладания моим я со стороны его внутреннего не-я, которого оно называет своим Богом, и обратно, это чувство представляет собою



странный источник любви, которое часто переносится на всю совокупность созданий. С каким лиризмом Плотин говорит об этом Боге своего сердца! «Еще не увидев Его, уже желаешь Его как благо, а когда видишь, то созерцаешь как прекрасное, бываешь исполнен страха и радости, бываешь поражен ужасом, который не волнует, любишь истинною любовью, чувствуешь страстные желания, улыбаешься с сожалением при мысли о другой любви и презираешь вещи, которые некогда считал такими прекрасными». Можно подумать, что эта страница написана св. Терезой<sup>137</sup>.

Когда мистик останавливается на этой ступени, можно сказать, что он только утонченный эгоист, весь ушедший, подобно нашим психологам декадентства, в любовное созерцание и слушание своего собственного сердца. Но часто его внутренние голоса и его внутренние радости увлекают его к плодотворному самопожертвованию по отношению к его братьям, к более широкому представлению о человеческой семье, к реформирующему идеалу. Тогда он становится апостолом, героем, марабутом, ясновидцем, пророком. Что такое пророчество? Мистицизм в действии, мистицизм, попавший, так сказать, на своего конька, или, лучше, на своего осла. В Израиле, в Исламе, в Индии, как и в Китае, как в Греции или в Риме, как даже в нашей Европе, пророки или герои — герои в карлейлевском смысле — сходятся в том, что все они вырастают внезапно из религиозной почвы или подпочвы их страны, представляют собою самые чистые ее ростки даже в том случае, когда они борются со своей религией и когда последняя проклинает их; они сходны между собой тем, что в своих стремлениях, несмотря на все их различия, направляются к нравственности, стоящей очень высоко над нравственностью их современников, к справедливости более человечной и созданной для очень широкой социальной области. Это сходство совершенно произвольное и очень поразительное, если вдуматься в него. Что в век космополитизма, экспансивной цивилизации, подобный нашему, гуманитарная идея воплощается в каком-нибудь мистике сен-симонизма, контизма, социализма, это можно объяснить себе без большого труда; но когда какой-нибудь Исайя в среде своего маленького еврейского племени уже мечтает о всемирном мире и

всемирной религии<sup>138</sup>, когда мы видим, что начиная с самой далекой древности в тесной индусской касте, в палатке араба во все времена вырастают герон-мечтатели, приносящие себя в жертву своему смутному, волнующему их предчувствию будущего, мы спрашиваем себя, откуда могло взяться у этих слабых изолнрованных созданий, затерянных в мире, полном вражды, это глубокое чувство гуманной симпатии, эта страстная потребность найти справедливость, если она существует, и создать ее, если ее нет? Знаю очень хорошо, что у этих страстей есть свой физиологический, даже патологический, если хотите, и во всяком случае жизненный источник; но разве это не доказывает, что жизнь в своей основе, несмотря на свою эгонстическую, несправедливую и убийственную внешность, быть может, вовсе не так слепа, не так индифферентна к добру и злу, как это кажется? Кто знает, нет ли в сущности вещей, кроме разума, также и доброты? Что бы мы ни думали об этом, но все же надо будет обратиться снова к сердцу, к тому, что лежит в его мирной глубине, если почувствуется потребность в религиозном обновлении старинной веры или в возбуждении совершенно новой веры. Но почувствуется ли эта потребность? В своей прекрасной, столь глубоко и невольно религиозной книге «L'Irreligion de l'avenir» Гюно держится противоположного мнения. Настанет день, думает он, когда вместо того, чтобы объединиться вокруг одного общего всем символа веры, все эмансипированные умы разделятся на столько философских систем, сколько будет существовать действительно мыслящих умов, и каждый из них составит свое собственное, часто гипотетическое представление о цели всех вещей и человека и выведет отсюда свою идею обязанности. Это было бы полным торжеством индивидуальной логики без всякого пожертвования со стороны чисто социальной логики. Правда, не легко было бы установить на таком зыбком фундаменте высшую нравственность, необходимость великих самопожертвований, но поэтический мыслитель сильно полагается в этом случае на то, что он называет удовольствием и красотой риска. Между несколькими прекрасными метафизическими гипотезами, которые все, строго говоря, недоказуемы, каждый выбрал бы ту или другую, руководствуясь более или менее шаткими вероятностями, и

радость, вызываемая отысканным таким образом решением, удовольствие поставить свою жизнь ставкой в этом благородном *aléa* были бы таковы, что, жертвуя собой, забывали бы о неуверенности, связанной с этим самопожертвованием.

Допустимо ли это по отношению ко всем, а не по отношению только к нескольким исключительным людям, подобным тому, кто говорит это? Нет. Огромной людской массе тем более нужно единодушие в ее веровании, чем менее доказуемо это верование; это единодушие заменяет ей доказательство. Итак, она пойдет в силу подражания — а это представляет способ поступать логически там, где посылки неудовлетворительны, — в сторону гипотезы, пользующейся наибольшим доверием, которая вследствие этого не замедлит превратиться в догмат. Кроме того, преданность долгу, представляющая собой первую потребность обществ, предполагает веру в Долг, а в Долг можно верить только с энергией, пропорциональной степени верования, степени вероятности, присущей принципам, из которых она выводится, как мы это знаем из нашего силлогистического анализа этой основной идеи. Итак, необходимо, чтобы эти принципы были приняты с усиленной убежденностью, а за недостатком доказательств последняя может явиться только в силу заразного действия среды.

Но остережемся пускаться в умозрения относительно будущего. Не станем спрашивать себя, не произойдет ли огромное повышение обаятельного значения научных истин, когда на время прервется цепь наших научных открытий, когда научные истины станут почти неподвижными, и притом именно благодаря этой неподвижности, этой остановке, подобно тому как поднялась бы цена золота, если бы истощились все его прииски. Не станем спрашивать себя, не может ли тогда под влиянием встречи этой веры в науку, или, лучше сказать, веры в эволюционистскую метафизику наук с некоторыми могучими стремлениями сердец, только симптомом которых, и не единственным, является социалистическая агитация, не может ли под влиянием этого произойти в течение современной жизни тот великий водоворот умов, который, распространяясь во все стороны, примет характер религии. Не станем спрашивать себя также, может ли эта последняя привиться

к христианскому дереву и особенно к старому католическому стволу. Спросим себя лучше, оставаясь в пределах нашего предмета, рождаются ли религии вообще смертными, подобно живым существам, предназначена ли при самом их рождении и им, подобно последним, или, по крайней мере, подобно многоклеточным организмам, фатальная необходимость умереть от старости даже при самых благоприятных условиях среды. По-видимому, нет. Все они умирают насильственную смертью; я подразумеваю под этим не одни только преследования, даже, главным образом, не их, а прежде всего столкновение с какой-нибудь новой доктриной, которая победоносно противоречит им в уме новых поколений. В конце концов, раз их догматическая грамматика закончена и установлена, они, подобно языкам, законченным и закрепленным при помощи письма, кажутся способными жить неопределенно долго. Они, по-видимому, не знают естественной смерти.

В сущности это значит, что их распадение, как и их эволюция, зависит от законов или случайностей изобретения. Их эволюция заключается, как мы это уже достаточно доказали, в усвоении новых идей<sup>139</sup>, которые включаются потому, что они больше прибавляют к установленному уже догмату, нежели отнимают от него. Когда эти идеи не прибавляют или не отнимают от догмата ничего прочного, когда они возникают на мгновение для того, чтобы тотчас же вновь исчезнуть, представляя собой нечто вроде накожных сыпей на некоторых старых культах, тогда нет ни прививки, ни усвоения, а следовательно, нет и эволюции. Таков характер того, что происходит с индусским браманизмом: он постоянно находится в смутном волнении, повторяясь и варьируясь, но никогда не изменяясь. Вдохновенные поклонники, от времени до времени появляющиеся там для провозглашения неожиданного откровения, только повторяют старое в новых словах или с новыми именами богов. Есть ли здесь развитие? Нет, так же, как нет его в вечном колебании волнующегося моря. Волнение — не деятельность. Только тогда, когда из среды этих бесплодных сект вырастет новый Будда, начнет развиваться старая индийская религия. Она, быть может, распадется, когда распространится по великому азиатскому полуострову европейское знание, столь очевидно противоречащее индусским

космогониям и теогониям, к которым оно несомненно не в состоянии будет привиться.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Сердце

#### I

Среди многочисленных и оригинальных комбинаций верования и желания нет ничего важнее и интереснее для изучения, чем чувствования сердца. Это потребности и ощущения совершенно особого рода, с которыми нечего делать экономисту, но которые тем не менее играют очень важную роль в человеческой жизни. Они открывают новое поле для приложения наших принципов социальной логики.

Еще недостаточно, если в обществе установится только гармония между тем, что составляет собственно идеи потребности или, лучше сказать невозможно, чтобы установилась гармония между ними, если в то же самое время не установится или не восстановится гармония между различными движениями сердца: состраданием, негодованием, удивлением, гневом, энтузиазмом, даже презрением и завистью между всякого рода симпатиями и антипатиями. Когда одна из этих струн не звучит более или звучит фальшиво, общество больно. Социальное сердце представляет собою музыкальный инструмент, который от времени до времени расстраивается и который еще много веков тому назад перестал бы издавать сколько-нибудь верные звуки, если бы не появлялся изредка какой-нибудь настройщик: апостол, основатель религии, великий народный или мистический реформатор. Как бы то ни было, устойчивое общество не представляет собою только ткани интересов, в которых солидарные между собою интересы численно и по силе преобладают над интересами, противоположными друг другу; оно представляет собой не одну только группу верований, в значительном большинстве согласных между собою, а является прежде всего тесным сплетением симпатий, к которым, конечно, могут примешиваться и антипатии, но только в качестве редкого исключения, по крайней мере в том, что касается взаимных отношений членов социальной группы, а не их отношений к чужестранцам.

Мимоходом сказать, рассматривая итоги революций, постоянно делают ошибку, упуская из виду эту точку зрения. Не только следует спросить себя, произвел ли один из этих кризисов столько же согласия между идеями, сколько он их разрушил; создал ли он столько же или более солидарности интересов, сколько он создал соперничества или вражды между ними, но необходимо также спросить себя, породил ли он столько же дружелюбных чувств, сколько он их уничтожил. Несомненно, что нет такого политического волнения или даже такого сколько-нибудь оживленного избирательного периода, непосредственным результатом которого не явился бы некоторый дефицит в чувствах благорасположения, т. е. социальное ослабление. Остается выяснить, представляет ли это всегда только преходящее зло, широко вознаграждающееся позже. Можно также спросить себя, стремится ли общество, предоставленное самому себе в промежутках между революционными кризисами, к обобщению дружеских отношений более, чем к размножению враждебных отношений. По-видимому, чем больше прогрессирует цивилизация обществ, тем сильнее возбуждается в них дух партийности, но он занимает место духа раздоров, сплетен, соперничества между отдельными семьями, который вызывает кровопролития в отсталых обществах, и в общем с точки зрения социального мира тут есть выигрыш.

Вообще, в силу какого-то бессознательного бентамизма склонны думать, что социальной целью по преимуществу является увеличение суммы наслаждений и уменьшение суммы страданий. Забывают только, что существуют различные наслаждения и различные страдания, что здесь качество важнее количества и что так как самое сильное удовольствие заключается в том, чтобы чувствовать себя любимым, а самое жестокое страдание — в том, чтобы чувствовать себя ненавидимым, то истинною целью общества является увеличение суммы чувств приязни и уменьшение суммы чувств ненависти. Посмотрим, какова здесь диалектика социальной логики.

Она всегда одна и та же: и здесь она работает над разрешением проблемы равновесия и проблемы максимума, соединенных вместе и, быть может, способных быть сведенными в одну проблему. Для нее

требуется: 1) согласовать, уравновесить между собою различные или даже противоречивые чувства, гармонизированные и образующие одну систему; 2) заменить менее устойчивые равновесия и системы равновесиями и системами более устойчивыми, непрерывно увеличивая пропорцию приятных чувств на счет неприятных, связанных с первыми. Скажем сейчас же, что эта вторая проблема беспрестанно разрешается самым общим из тех фактов, какие раскрывает перед нами история: постоянным увеличением социальной группы в ширину и глубину — в глубину — путем падения тех преград, которые разделяют классы, наложенные друг на друга слои, составляющие группу, а в ширину — путем уничтожения границ, разделяющих соседние группы, мало-помалу смешивающиеся и сливающиеся или присоединяющиеся к какому-нибудь государству-завоевателю. Это скорее стремление, нежели факт, но оно проявляется тем легче, несмотря на временные движения назад или остановки, чем свободнее действуют истинно жизненные силы общества. Оно всегда представлялось нам следствием законов подражания<sup>140</sup>. В другом сочинении мы доказали уже, что даже в те варварские и дикие времена, когда социальная группа сводилась к клану или к орде, взаимные отношения членов группы были замечательно сердечными и братскими, тогда как их отношения к чужестранцам были обыкновенно настолько же жестокими и зверскими, и мы имеем право заключить, что самая ясная и заметная черта морального прогресса состоит в расширении области сердца, идущем параллельно численному росту общества. По мере того, как первобытные семьи объединяются в племена, племена — в общины, общины — в государство и по мере того, как государства, увеличиваясь, становятся менее многочисленными, социальная система чувств разрастается, усложняется и в то же время укрепляется; она стремится установиться на максимуме любви и на минимуме ненависти.

## II

Но верно ли, однако, что в области чувств существует нечто, соответствующее социальным или индивидуальным системам идей и верований, социальным или индивидуальным системам намерений и

желаний? В этом нет сомнения. В общественном сердце, как в сердце отдельного человека, существует тесная солидарность между некоторыми симпатиями, предполагающими некоторые антипатии, между известными чувствами гордости, предполагающими известные чувства презрения и т. д. Эти системы, играющие огромную роль в истории, представляют собою решение, данное социальной логикой нашей первой проблеме. Мы знаем, что у чувств бывают две стороны: верования, с одной стороны, и желания — с другой. Они представляют собой суждения и хотения, скомбинированные в оригинальные впечатления, в высшие ощущения, объектом которых служат идеи, поступки, впечатления других личностей. Итак, между ними возможно соглашение двоякого рода: логическое или телеологическое, или то и другое одновременно. Иначе говоря, различные, существующие одновременно чувства бывают обязаны своею связью: 1) тому, что они подтверждают или не противоречат друг другу, и 2) тому, что они помогают или не противодействуют одно другому.

Может случиться, что два чувства помогают друг другу, хотя они противоречивы, или противодействуют одно другому, хотя взаимно подтверждаются. Например, когда в какой-нибудь монархической или демократической нации знатность происхождения, а также ордена или какие-нибудь почетные отличия, хотя бы, например, академические, с гордостью выставляются напоказ одними, а другие относятся к ним с насмешливой завистью, тогда тщеславие дворянства, или людей с отличиями, или академиков и внушаемая ими ироническая зависть находятся в телеологическом несогласии между собою, потому что, во-первых, эта насмешливая зависть последних препятствует гордости первых развернуться во всю ширину и обратно, а во-вторых, с точки зрения преследования одной общей цели их одновременное существование несколько вредит утилизации социальных сил. В самом деле, нация, в которой одновременно существует много подобных гордостей и завистей, очевидно, менее компактна, менее сильна в своей борьбе с внешним или внутренним врагом, нежели другая нация, в которой неизмеримая аристократическая или королевская гордость питается отражающим ее наивным и глубоким восхищением народа. Но, заметим,



эта гордость и эта зависть, о которых я говорю, если и находятся в утилитарном несогласии между собою, зато согласны логически, так как они обе заключают в себе — я не говорю, выражают словами, что будет совершенно другое, — вполне одинаковое суждение, утверждающее или признающее некоторое превосходство, связанное с обладанием известными титулами или орденами. Именно потому, что они таким образом взаимно подтверждаются, эта зависть способствует поддержанию той самой гордости, с которой она борется, увековечению того престижа, который ее возмущает. Тем не менее справедливо, что всюду, где существует такое логическое согласие одновременно с несогласием телеологическим или наоборот, равновесию чувств недостает устойчивости и оно требует такой их реформы, чтобы ироническая зависть сменилась действительным презрением или наивным восхищением<sup>141</sup>.

Подобным же образом, в утилитарном несогласии и в согласии логическом находятся между собою та зависть, которую какая-нибудь очень высокоцивилизованная нация вызывает у своей еще совсем некультурной соседки, и то презрение, которое первая чувствует по отношению к последней. Существовали ли бы одновременно логическое и телеологическое согласия, если бы презрение со стороны более просвещенной встречало в ответ удивление со стороны более отсталой, как это так часто случалось между греками и варварами. Еще гораздо лучше вдвойне согласуется гордость артиста, поэта, победоносного полководца с энтузиазмом его учеников, читателей или солдат; этот энтузиазм, как и эта гордость, громко провозглашают гениальность этого человека и этот энтузиазм, вдохновляющий того самого гения, который его возбуждает, помогает полному развитию этой гениальной гордости. Точно так же честолюбие монарха или трибуна, называется ли он Людовиком XIV, Наполеоном или Периклом, телеологически и логически согласуется с той восторженной преданностью, какая откликается ему в сердцах целого народа или целой армии, и все великое совершается в мире только при помощи этого ужасного и обманчивого согласия.

Нежное почтение, какое, согласно Гизо и другим историкам нравов, оказывала обыкновенно женщина своему мужу в средние века, и покровительственная нежность, какую она встречала в ответ, одновременно подтверждали друг друга и способствовали достижению как социальной, так и семейной цели. Они подтверждали друг друга, так как предполагали подразумевавшуюся веру в одну и ту же систему обязанностей и прав и в превосходство мужа над женой. Преданная привязанность вассала к своему сюзерену и заботливое покровительство сюзерена по отношению к вассалу представляли собою два чувства, в своем роде столь же соответственные и вспомогательные одно по отношению к другому, сколько и подтверждающие одно другое. Поселок XII столетия, расположенный вокруг замка, представлял собою с интеллектуальной точки зрения систему и соединение верований, резюмированных в катехизисе, с практической точки зрения — систему и гармонию интересов, хотя бы даже неравных, очень неравным между собою, но осуществляющих один и тот же социальный идеал, а с точки зрения морали — систематическое и гармоническое соединение чувств, именно, сотен или тысяч наследственных чувств преданности, направляющихся к властелину, и такого же количества покровительственных чувств, расходящихся от властелина по направлению к его маленькому народу; прибавим сюда общую вражду вассалов и сюзерена к тому или иному соседнему владению и недоверие ко всякому чужестранцу, даже христианину. Каждая из этих преданностей, каждое из этих чувств вражды и недоверия находило себе подкрепляющее подтверждение в сходных с ним окружающих его чувствах преданности, вражды и недоверия и их взаимное упрочение представляло собою гораздо более неодолимое препятствие для всякого внешнего нападения, чем всякие укрепления и всякие стены. Таково было по крайней мере идеальное, схематическое ленное поместье, редко осуществлявшееся действительными поместьями, но признаваемое всеми за идеал, к которому они стремились.

Позже, когда феодальная связь сначала соединялась с совершенно особенным и очень характерным чувством лоялизма, восторженной любви подданного к своему королю, а затем и совсем заменилась им,

перед нами является зрелище мира и социальной силы, далеко превосходящей предыдущую и произведенной одновременным логическим и утилитарным согласием этих миллионов чувств верно-подданности между собою и всех их вместе с любовью короля к его подданным, любовью, правда, гораздо чаще только высказываемой, нежели чувствуемой, но действительно существующей и иногда даже очень сильной в своей мимолетной самобытности, в сердце какого-нибудь Людовика IX или Людовика XII. Прибавим, что это согласие взаимных симпатий само всегда согласовалось подобным же образом с какой-нибудь коллективной антипатией к соседней нации: до сих пор еще не происходило ни одного полного национального объединения без национальной ненависти.

Система монархических чувств мало-помалу заменила собою систему чувств феодальных вследствие того, что первая отрицала, а вторая утверждала неограниченную власть господина и политическую независимость ленного владения, а также потому, что эти две системы взаимно мешали и противодействовали друг другу. Более сильная система более энергичных верований и желаний должна была уничтожить более слабую, не имея возможности подчинить ее себе без ее полного извращения.

### III

Какова система демократических чувств? Во времена господства демократии уничтожение если не самого первенства, то, по крайней мере, всех тех разграничений, которые его выказывают, дает тот прекрасный результат, что оно расширяет для каждого гражданина круг, где он, оставаясь в пределах приличия, может завязывать сношения и знакомства и избирать друзей. Поэтому бывает больше шансов на то, чтобы его дружеские отношения опирались на свободный личный выбор. Если чувства феодальной или quasi-феодальной верности, наследственной или пожизненной привязанности и традиционного покровительства начинают пропадать вследствие того, что они предполагают принятое и признанное неравенство, то, с другой стороны, чувства личной симпатии, более или менее поверхностной и скоропреходящей, но взаимной и легко

передающейся от одного к другому, все умножаются, и, можно сказать, что одно компенсируется другим, если не с точки зрения социального единения, то с точки зрения роста социального благоденствия; что же касается отношений между управляемыми и управляющими, то здесь-то и оказывается тот дефицит, который труднее всего пополнить. Здесь функция равенства не может уже поддерживаться, не получая бросающихся в глаза опровержений в силу очевидности противоречащих ей фактов. Слишком ясно, что тот, кто приказывает и издает законы, стоит выше тех, которые принуждены ему повиноваться. Как примирить это очевидное превосходство с провозглашаемым равенством? Одно из обычных средств достигать этого по внешности состоит в том, что повинуются начальникам только с ропотом, напоминая им о своей власти над ними, которая обнаружится при ближайшем голосовании. Другое заключается в том, что власть доверяется им только на очень короткое время с запрещением быть переизбираемыми, что, по-видимому, открывает для всех перспективу поочередной власти в силу быстрого обновления правительственного персонала, подобно тем французским провинциальным адвокатским корпорациям, где все адвокаты один за другим получают звание старшины. Еще один прием заключается в том, что забрасывают грязью общественных деятелей, приучают их к оскорблениям, к клевете, к насмешкам, заставляют их, насколько возможно, нискуплять свою многолетнюю власть продолжительным лишением общественного уважения. Таким образом поступали греки даже с Периклом и римляне со своими величайшими людьми. Но самым худшим решением проблемы бывает или кажется, что бывает, то, которое демократия, к несчастью, всегда открывает, пользуясь, однако, им только от времени до времени, и которое заключается в том, что на правительственные места возводятся тщательно подбираемые люди, лишенные всяких личных достоинств, без таланта, без характера, без собственного авторитета, без традиционного или индивидуального престижа, возвышение которых поэтому, будучи очевидно искусственным и условным, объясняется только прихотью избирателей. При таких условиях избирателю не приходится краснеть за себя перед избранным — ему, правда, приходится иногда краснеть за последнего,

но он доволен, что может смеяться над ним. Так продолжается до тех пор, пока из среды этих политических посредственностей и ничтожеств не появится внезапно великий полководец, великий трибун, настоящий государственный человек, вызывающий своими успехами удивление у всех этих подчинившихся ему мелких честолюбцев. Лучи его славы пронизывают туман парламентской сумятицы, рассеивают фикции равенства, повергают к его ногам весь поработенный народ, и он устанавливает свой деспотизм на тех обломках или призраках свободы, которые еще остались в живых.

Обыкновенный недостаток демократического режима состоит в том, что совсем нет середины между чрезвычайным доверием, оказываемым в качестве исключения некоторым представителям власти, и той мрачной недоверчивостью, жертвою которой бывает большая часть их. Эти чувства доверия или недоверия распространяются в обществе, как эпидемия, постепенно усиливаясь путем взаимного отражения стольких сходных доверий, стольких сходных подозрений. И те и другие находятся как в утилитарном, так и логическом согласии между собою, так как они взаимно подтверждают и помогают друг другу, а с другой точки зрения они не менее полно согласуются и с теми чувствами, какие им соответствуют обыкновенно в сердцах правящих. Слепой и восторженной послушности общества соответствует в человеке, вызывающем ее, большая самонадеянная вера, удивительная влюбленность в самого себя; когда вследствие простоватости народа увеличивается общественное доверие к нему, то его доверие к самому себе возрастает еще быстрее. Здесь есть логическое и даже в этом смысле телеологическое согласие. Но с другой точки, с точки зрения утилизирования этих соответствующих друг другу чувств для общественной пользы нет ничего опаснее этого соединения, нет ничего вреднее для достижения общей цели, чем взаимное возбуждение послушности этой самонадеянности и самонадеянности этой послушности. Здесь всегда есть логическое согласие, так как оба чувства заключают в себе веру в способности вождя, но нет согласия утилитарного.

Те же замечания приложимы и к довольно частой встрече двух других не менее соответственных чувств: болезненного недоверия

демократического общества к своему господину и страх, трусость, пошлость этого якобы господина, вносящего в число законов все приказания своих подчиненных. Здесь есть логическое согласие, так как это недоверие и этот страх одинаково заключают в себе суждение и слабости начальника; здесь есть также согласие телеологическое в том смысле, что это недоверие увеличивает этот страх, если даже еще этот страх не увеличивает недоверия; но, к несчастью, здесь есть еще несогласие в том другом смысле, что это соединение безумия с низостью ведет народ к гибели. Иногда начальник противопоставляет той иступленной подозрительности, объектом которой он бывает, мужественную и высокомерную гордость. Тогда является логическое и телеологическое несогласие во всех отношениях; поэтому здесь бывает полное отсутствие равновесия — состояние по существу переходное. Всякая гордость, не гнушающаяся под нивелирующим дуновением демократии, должна ожидать ее губительного серпа.

Отсюда следует, что демократический образ правления совсем не благоприятствует продолжительной силе власти. Поэтому такой режим существенно нуждается в мире, так как он больше всего должен избегать воинственных столкновений, где является необходимость в сильной и непререкаемой власти. Когда какое-нибудь общество в виде исключения демократизируется и одновременно с тем становится воинственным, такое совпадение представляет собою резкую аномалию, в которой заключается опасность нашего времени. Этот режим теряет свой природный характер, если случайно оказывается, что его установление, по-видимому, влечет за собою усиление патриотизма. Его высокая несравненная заслуга состоит в том, что он пригоден только для народов, уставших от победы и славы и презирающих их, успокоившийся патриотизм которых, все менее и менее находя себе пищи в ненависти или презрении к чужестранцам и, следовательно, все более и более заглушаясь, превращается в космополитизм. Остается выяснить, может ли такое интернациональное братство возникнуть или поддерживаться чем-нибудь иным, кроме великого военного завоевания, подобного, например, романизации древнего цивилизованного мира.

## IV

Это приводит нас к более обстоятельному изучению занимающего основное место в морали различия между взаимными чувствами членов социальной группы и их чувствами к посторонним группам. Каково логическое и телеологическое отношение между этими двумя видами чувств? Всюду и всегда замечается, что замкнутые нации, прежде чем познакомиться друг с другом, начинают со взаимного презрения, иногда даже ненависти. Эти взаимные чувства столько же противоречат, сколько и противодействуют друг другу: двойное несогласие, в котором надо искать первичную причину войн, служащих его выражением и в то же время способствующих его исчезновению путем приготовления будущего согласия, основанного или на взаимном уважении или на замене прежнего презрения страхом и завистью побежденного к победителю и на следующем за этим подражательном уподоблении. Зато в сердце каждого народа, взятого в отдельности, преувеличенное уважение к самому себе и невежественное презрение к своим соседям находятся в полном логическом и утилитарном согласии. Это соединение чувств, противоположных и в то же время солидарных между собою, составляет сильный патриотизм и все, что ослабляет или видоизменяет второе из этих чувств, уменьшает силу и частоту первого из них.

Поэтому самые чистые и самые сильные образцы патриотизма надо искать в маленьких эллинских или арабских общинах или, еще лучше, в племенах дикарей. В самом деле, там коллективная ненависть живуча, потому что у нее есть узкий и определенный объект, — соседнее племя или община, все члены которой известны каждому из своих традиционных врагов. Но когда позже община превращается в маленькое и затем в большое государство, тогда и объектом национальной антипатии становится соседнее или отдаленное маленькое или большое государство и невозможно, чтобы эта антипатия не ослабла, распространяясь таким образом на столь большое число людей, объединяемых издали в одном отвлеченном названии. Современная ненависть немцев к французам и обратно, кажущаяся нам столь сильной, очень слаба и холодна по сравнению с взаимной ненавистью двух племен краснокожих или двух греческих городов до персидских войн. Правда, что по той же причине

чувство гражданской солидарности должно ослабевать при возрастании числа граждан, и если смотреть на вещи поверхностно, то может действительно показаться, что приобретения цивилизации в этом отношении довольно проблематичны. Если прогресс заключается только в замене коллективной ненависти поселка или клана коллективной ненавистью города, кантона, нации, все более и более возрастающей, если в то время, как расширяется круг дружественных отношений к соотечественникам, расширяется также и поле патриотической враждебности, если первые ослабевают в одно время со вторым, то где же тут окончательный выигрыш? Вопрос очень тревожный, особенно в наше время. Не очевидно ли, что если национальное чувство теперь окрепло, то это произошло под влиянием развившихся национальных ненавистей? Не ясно ли, что для того, чтобы вернуть первое, несмотря на его возрастающую распространенность, к его первоначальной напряженности, пришлось бы вернуть также и последним их первобытную энергию, несмотря на их поразительное расширение, проявляющееся в наших гигантских вооружениях? В чем же состоит этот кошмар или это безумие? Цивилизация разрушила укрепления замков, затем укрепления городов, малых и больших, — это правда, но она заменила их длинною цепью крепостей, которыми унижены границы великих государств и на которые пошло больше камня, чем на все укрепления средних веков, взятых вместе. Она уничтожила бесчисленные мелкие феодальные милиции, но великие, все еще растущие постоянные армии, которые она вызвала на свет, уже многочисленнее всех прежних милиций, сложенных вместе... Если в этом заключаются все плоды человеческого труда, то к чему тогда гуманность, к чему наши европейские волнения? Или следует сказать, что мы избрали ложный путь и что единственным средством уменьшить долю враждебных чувств в мире является откровенное и лишенное предрассудков и угрызений совести стремление к постепенному ослаблению национального чувства?

Нет, история работает скорее над смягчением, а не над ослаблением этого чувства и ее работа не потеряна даром. Несмотря на параллельное, непрерывное расширение круга друзей и круга врагов вследствие увеличения государства, доля ненависти уменьшается, если не по объему,



то по силе. Если сравнить два ряда преобразований, происходящих с чувством дружелюбия, с одной стороны, и с чувством вражды, с другой — под влиянием этого увеличения, то мы прежде всего заметим одно существенное различие. Вначале объектами дружелюбия — я хочу сказать, чувств симпатии во всей их совокупности по отношению к согражданам — бывают только окружающие нас личности, лицо и голос которых нам знакомы; затем к ним прибавляются другие все в большем и большем районе, но всегда в кругу, центром которого являемся мы, и, приобретая новые области привязанностей, мы ничего не теряем в прежних, самых дорогих и жизненных. Все присущие древним сердечные чувства, даже самые старинные: любовь, семейная нежность, гостеприимство, даже привязанность слуг к господам и господ к слугам, вообще говоря, существуют до сих пор, несмотря на изменения формы, которые не мешают нам быть растроганными при чтении Гомера или Библии; появились еще и другие чувства: связи профессионального сотоварищества, феодальная или монархическая верность, демократическое «братство», гуманное сострадание. В процессе эволюции сердца произошло прибавление сердечных чувств. Обратно, в чувствах ненависти произошла замена. Объекты последних все беспрестанно отступали назад и в силу этого постоянного отступления большая часть старинных, наиболее ужасных и наиболее укоренившихся чувств ненависти исчезла или начинает исчезать: ненависть между соседями, семейная или наследственная ненависть, вендетта, даже расовая и религиозная ненависть, кастовая и классовая ненависть и, наконец, жестокая ненависть одного маленького народа к другому такому же. Ненависть, или, лучше сказать, соперничество между великими народами, заменившее собою все это, представляет ненависть на большом расстоянии, которая, подобно употребляемым этими народами дальнобойным орудиям, может причинить столько же вреда, но с бесконечно меньшей злостью и через все большие и большие промежутки. Если же оставить в стороне эти редкие исключения, то цивилизованный человек, как бы он ни был заражен милитаризмом, привыкает жить в атмосфере доброжелательности или вежливости, сделавшейся его естественной средой и представляющей резкий контраст

с обычной во всякое время жестокостью воинственных дикарей или даже с жестокостью, проявляемой миролюбивыми дикарями в военное время.

Этот окончательный выигрыш в доброте подтверждается фактом, который только этим и объясняется и который тщетно старались объяснить иначе. Можно заметить, что по мере того, как государства увеличиваются, войны становятся все реже и воинственные нравы смягчаются. Итальянский писатель Ваккаро много потрудился над разъяснением этого явления с своей точки зрения, но здесь-то и раскрывается несостоятельность этой точки зрения, еще очень распространенной и считающей, что самые высокие успехи общежитности вытекают из столкновения эгоизмов, что даже симпатия родилась из столкновения или встречи антипатий, вследствие чего становится совершенно необъяснимым не только усовершенствование, но даже образование обществ.

По его мнению, причины указанного факта таковы. Когда государства увеличились, то вследствие прогресса промышленных и коммерческих сношений насильственный разрыв последних в силу войны становится все более и более разорительным; война и победа стали причинять вред даже самому победителю. Люди дерутся все меньше и меньше просто вследствие того, что это все менее и менее выгодно, а когда они дерутся, то взаимно щадят друг друга по той же причине. Победоносная армия нашего времени еще хотела бы иметь возможность перерезать или обратить в рабство побежденных, но вследствие успехов земледелия «общая польза побуждает воюющих пощадить жизнь тех, кто обрабатывает землю». Таким образом, здесь есть только утилитарный расчет, который, впрочем, не помешал Лувуа опустошить Палатинат, как не устранил и много других военных ужасов и грабежей, как будто в эпоху великих агломераций борьба между двумя из них, если бы за ней следовало полное уничтожение крестьян побежденного народа, могла бы больше, чем в прошлое время, угрожать победителю опасностью умереть с голоду! Уж гораздо скорее можно было опасаться голода в подобном случае в первобытные времена, когда международная торговля еще не зародилась и когда трудности снабжения съестными

припасами были неизмеримо велики. Если даже допустить, — что отнюдь не достоверно, — что выгоды войн в дикие и варварские времена были значительнее, то ведь и риск войны был больше в той же пропорции. Каждый подвергался тем же самым опасностям, каким подвергал своего врага, и прежде, чем приступить к военным действиям, не могли не сказать себе, что пускаются в приключения, из которых, быть может, выйдут рабами, разоренными, скальпированными, дома будут сожжены, жены и дочери изнасилованы. Эта перспектива, наверное, несколько страшнее перспективы уплаты крупных военных издержек и тягости новых налогов, а потому должна была бы в силу утилитарного расчета способствовать тому, чтобы военные столкновения в прошлом были реже, чем в настоящее время. Война стоила первобытным людям меньше денег — это верно, но ведь они и были гораздо беднее. В настоящее время она стоит очень дорого, но в общем, имея в виду легкость кредита и займов, неизвестных нашим предкам, причиняемые ею издержки заставляют всю совокупность народонаселения страдать гораздо меньше. В былое время победитель, кроме голода, должен был серьезно опасаться еще и мора после каждой сколько-нибудь продолжительной войны.

Но верно ли, что выгоды счастливой войны стали малосущественными для победителя, что они сводятся теперь к пустым словам — слава, преобладание и т. д.? Если бы так и было, то разве не пустые слова обладают даром возбуждать страсти и увлекать за собою народ? Религиозные войны также часто предпринимались из-за слов и от этого были не менее ожесточенны и кровопролитны. Очевидно, слова — слава, победа, столь же экзальтируют наши цивилизованные народы, сколько мысль о грабеже возбуждает дикарей. Эти выгоды не теряют своей реальности, сделавшись бестелесными, и цивилизация заставляет ценить их все выше и выше. Сюда присоединяется еще обуславливаемое победой лучеиспускание подражания форм цивилизации, свойственной победителю, т. е. распространение вовне и развитие своего интимного и глубокого стремления со стороны всякого существа, как индивидуального, так и собирательного. Наконец, сюда надо прибавить открываемые ею для победоносной нации торговые рынки, пред-

писываемые ею трактаты, в которых она выговаривает себе львиную долю и которые стоят, наверно грабежей, и взятия в плен рабов согласно обычаям дагомийцев.

Все это указывает, что если бы здесь действовали только причины, приведенные Ваккаро, то смягчение и численное уменьшение войн параллельно с ростом наций было бы совершенно непонятно — было бы даже менее удивительно противоположное. Можно ли забывать, что первым последствием этого увеличения государств было то, что непостоянные, временные и недисциплинированные орды времен территориальной раздробленности заменились нашими организованными постоянными армиями? Разве развитие органа не развивает всегда потребности функционировать им? Итак, потребность употреблять в дело эти усовершенствованные военные организмы должна была бы, по-видимому, становиться с каждым днем все настоятельнее. Кроме того, ведь Ваккаро должен был бы постараться объяснить эти самые причины, которые он так некстати указал. Тогда он увидел бы, что принял причину за следствие. В самом деле, если земледелие прогрессировало, — что прежде всего предполагает прогресс безопасности и взаимного уважения к правам, — если национальная и международная торговля расширилась, если мирные, объединяющие людей интересы умножились, то все это произошло только потому, что область симпатий непрерывно расширялась, непрерывно распространялась путем нечувствительных, незаметных захватов в области антипатий, которая также все расширяется, но в то же время непрерывно отступает и удаляется, пока, быть может, когда-нибудь не исчезнет совершенно. В сущности, государства увеличивались только благодаря непрерывному действию этой господствующей причины — симпатии человека к человеку, объективным выражением которой является подражание, это постоянное, всемирное социальное явление.

## V

Следует исходить из этого основного стремления, присущего человеческому сердцу. Но помимо того, что оно всегда находится в борьбе с противоположным стремлением, оно может также проявляться,

подобно последнему, тысячью различных, последовательных и связанных между собою способов. Спросим себя, как объясняется эта эволюция сердца в обоих своих разветвлениях — в положительном и отрицательном, в благожелательном и враждебном, как зарождаются, растут, увядают и умирают те или другие виды чувств.

Здесь нельзя не признать господствующего, хотя и не прямого влияния религиозных идей. От фетишизма или анимизма с их бесчисленными формами, через последовательный ряд фазисов, которые не представляют ничего однородного, но могут быть сведены к определенному числу эволюционных типов, народы поднимаются до самого изощренного спиритуализма или идеализма высших религий. Здесь имеется столько же особых изобретений или открытий, которые глубоко запечатлевают в сердце народов свою собственную окраску. Скажу то же и о последовательной преемственности философских идей. Нет сомнения, что ряд каких-нибудь изобретений, даже политических, промышленных или художественных и уж, наверное, военных способствует, с своей стороны, установлению общественных чувств и преобразованию равновесия последних, возбуждая новые потребности или уничтожая старые. Обыкновенно говорят, что как только какое-нибудь новое чувство, например, чувство сыновнего уважения, супружеской верности, феодальной преданности, становится социально полезным, оно тотчас же появляется и распространяется. Это верно, но для чего оно полезно? Для укрепления социального строя, который является по крайней мере выражением как современных ему идей, так и современных ему потребностей. Итак, не следует торопиться видеть только интересы под изменяющимися привязанностями или ненавистями людей.

Верования действуют на сердце двумя способами. Прежде всего, какова бы ни была их природа, в силу одного только факта, что они распространены в известном районе, они не создают, а раздувают взаимную привязанность между всеми теми, кто принадлежит к одной и той же вере, и, стало быть, уменьшают симпатию этой группы к членам несогласных с нею групп, причем это уменьшение иногда доходит до открытой вражды. Во-вторых, смотря по их природе, они направляют

любовь или ненависть, удивление или презрение, сострадание или зависть в сторону той или другой части человечества. Тот, кто первый вообразил, что, поливая огонь очага напитком soma, можно увидеть в его пламени душу обоготворенного предка, установил очень живучую и тесную сердечную связь между всеми родственниками, совместно участвующими в совершении этого обряда домашнего культа, и даже установил более слабую и широкую связь благожелательства между всеми семьями, придерживающимися одной и той же семейной религии. Позже тот, кто придумал священный огонь общины по образцу огня семейного, распространил на сограждан взаимную любовь между родственниками, ослабленную и преобразованную, но все еще сильную. Вера в гипотезу о происхождении людей от одной пары, во всемирное родство людей между собою, в их братство, много помогала распространению гуманитарных чувств. Во многих отсталых странах идиоты являются предметом самых нежных забот, заметного предпочтения, потому что их недуг считается даром неба, сопровождаемым сверхъестественными добродетелями. В других местах при некоторых формах невроза проклинают несчастных, считая их одержимыми дьяволом.

Сердечная сторона общества, сторона чувств, тесно связана с их религиозной стороной, и та и другая представляет большое значение. Долгое время в среде первобытного клана или древней общины не видели никакой другой связи между людьми, кроме заботы об общей защите и общем нападении. Фюстель-де-Куланж неожиданно осветил эти социальные группы, указав роль общих верований, объединявших их членов у домашнего или общинного жертвенника, у могилы их предков. Но если бы этих людей собирал и связывал только расчет выгод или сходство суеверий, то каким образом их связь могла бы быть такой стойкой и трогательной, а их героизм таким высоким? Они любили друг друга, и эти благожелательные чувства, объединявшие их, были главным связующим звеном между их душами, хотя они и родились из тех верований и потребностей, которые им суждено было пережить.

Только нашему веку, когда общинная связь сильно ослабла в пользу усиления связи патриотической или филантропической, довелось сделать сухими и холодными, чисто утилитарными, взаимные отношения между

жителями одного и того же города. Но в классической древности, а также и во всем варварском и даже во всем цивилизованном мире, за исключением некоторых частей современной Европы, повсюду и всегда жители одного и того же города или поселка, в промежутках между их взаимными раздорами, чувствовали своего рода живую привязанность друг к другу и к своей общине, рассматриваемой как великая бессмертная семья. «Amor et religio erga cives universos», говорит одна надпись IV века. Такие выражения встречаются часто<sup>142</sup>. Эта почти братская привязанность поддерживалась, правда, благодаря коллективной негостеприимности общины, которая оказывалась враждебной по отношению к новым пришельцам. В настоящее время приезжий, поселившийся в каком-нибудь городе Франции, может сделаться муниципальным советником или мэром после шестимесячного пребывания, и коренной туземец находит это вполне естественным — он уже привык к этому. В древности «peregrinus, гражданин другого города той же провинции, не мог принимать участия в городском управлении, даже если он оставался в этой общине на постоянное жительство». Но в силу этого исключения пришельцев городское управление оставалось чистым и сильным: подобно старинным городам французских провинций, оно состояло из семей, соединенных друг с другом религиозными связями, общностью чувств, обязанностями, налагаемыми одним и тем же долгом и солидарностью интересов». Это была настоящая моральная личность.

Этому единению сердец нужна была большая сила, чтобы противостоять чувствам отвращения, зависти, презрения, возмущения, которые неизбежно должно было породить происшедшее во время империи разделение граждан на два очень неравных класса — *honestiores* и *humiliores*. Мысль о некотором роде братства, связующего их вместе, «всегда препятствовала аристократии провинциальных общин быть столь же заносчивой и непопулярной, какой она была в других странах». Это дворянство разорялось из-за своих общинных щедрот. Плиний Младший следовал только примеру себе подобных, основав в Коме, своей родине, библиотеку, школу, «благотворительное учреждение для бедных детей». По отношению к моему родному городу «у меня сердце

сына или отца», говорил он. Богатые и бедные находились в постоянных сношениях между собою «в силу покровительства и клиентства, через щедрые пожертвования, вследствие игр, зрелищ, упражнений, которые были общими для всех». «На семейные празднества, согласно Плинию, приглашали весь сенат города и даже многих из простого народа».

Поищите причину этой взаимной и исключительной благожелательности и вы найдете ее главным образом в древнем политеизме, который, давая каждому городу своего собственного бога, свою особенную божественную легенду, сгруппировал сердца вокруг его храма и как бы сделал для них запретными порывы космополитической филантропии. Этот приятный плод суеверных верований пережил их. То же произошло и со всеми ремесленными ассоциациями, со всеми этими корпорациями, которые вначале были братствами, глубоко проникнутыми религиозным духом. Никакая ассоциация или корпорация не могла остаться в живых, если ее члены не любили друг друга. Члены римских *collegia* сильно любили друг друга, как это видно из надписей. Их члены относились друг к другу, как братья. «*Pius in suos, pius in collegiam*», гласят эпитафии. В этих словах *pius, pietas* чувствуется горячность сердца древних. Когда одного из членов общества постигал пожар, какое-нибудь несчастье, все остальные делали складчину, чтобы помочь ему. Эти братства были по существу религиозными в духе средних веков, ибо религии, в особенности религии высшие, а в меньшей степени и в менее широких пределах и религии низшие, отличаются той мало замечавшейся до сих пор характерной чертой, что они вводят в социальный мир культуру сердца, бессознательную у одних, сознательно и искусно вырабатываемую у других. Выработка дружбы в особенности представляет собою искусство, которым занимались одни только религии. Они одни поняли необходимость, так сказать, приручать, направлять и дисциплинировать природные чувства человека. Они развили и придали желательную для них форму духу согласия в отношениях хозяина к работникам, господина к слугам, отца к детям. Это чувство систематически культивировалось при помощи частых собраний, обрядовых празднеств, процессий или паломничеств, так же как и при помощи взаимных услуг, как это доказывают архаические и



столь живучие братства, которые встречаются еще до сих пор там и сям в Бельгии <sup>143</sup>.

Правда, и культура ненависти и мести получила значительное развитие под влиянием религий прошлого. Установление вендетты представляет собою род культа ненависти. Отвращение к несогласно мыслящему, к нечистому, к языческому и язычнику заботливо поддерживалось среди правоверных всех времен. Но все больше и больше одерживало верх первое из этих двух противоположных, хотя и направляющихся к одной и той же цели искусств. В стареющих высших религиях постепенное ослабление веры влечет за собою быстрое уничтожение ненавидящего фанатизма и нетерпимости, но не влечет параллельного ослабления благожелательной солидарности, объединяющей правоверных. Их взаимная привязанность может поддерживаться и даже возрасти, в то время как их вера упадает, рассеивается и низводится почти только к словесной тени самой себя. Поэтому-то мы видим, что наиболее свободные, наиболее отрешившиеся от догматов умы остаются иногда всем сердцем привязанными к обществу правоверных. Раздувают ненависти теперь главным образом не религиозные секты, а секты политические, особенно политическая печать; ни проповедники лиги, ни монахи, побуждавшие некогда к крестовому походу против альбигойцев, никогда не вызывали столько раздоров, как наши современные социалистические или антисемитские публицисты, разжигающие народную ярость, — и следует признаться, не всегда без основания, — против евреев, банкиров и «буржуа».

## VI

В конце концов, религия производит такое могущественное действие на сердце народа только потому, что она является самым энергичным средством ассимиляции<sup>144</sup>, подобным же образом подражательной, между людьми различных цивилизаций. Итак, последнего объяснения извращений чувства надо искать окончательно в направлениях и законах подражания и в законах изобретения. Конечным продуктом подражания, как и религии, бывает, мне кажется, развитие чувства симпатии, но и первое, как и второе, довольно часто начинает с противоположного

действия. Момент, когда два дотоле индифферентных друг к другу народа начинают испытывать друг к другу антипатию, наступает тогда, когда они начинают взаимно подражать один другому. От глубокого несходства к полному сходству между двумя нациями существует тысяча промежуточных ступеней, и возможность самого сильного чувства антипатии связана с одною из этих ступеней — не с первой, и тем более не с последней в этом ряду. Мы, французы, никогда не дойдем до такой ненависти к неграм или китайцам, какую мы чувствовали к англичанам, нашим братьям по цивилизации. Несмотря на то, что войны римлян с германцами длились несколько веков, гораздо дольше, чем пунические войны, все же между Римом и варварами никогда не существовало действительной коллективной и обоюдной ненависти, которую можно было бы сравнить с ненавистью, загоревшейся между римлянами и карфагенянами как раз в ту эпоху, когда эти два великих соперника в борьбе за Средиземное море достигли одинакового уровня цивилизации. Спартанцы и афиняне больше ненавидели друг друга, чем греки и персы. Греки сражались с персами, но в сущности у них не было ненависти друг к другу, и даже в самый разгар персидских войн мы находим при дворе царя персов таких патриотов, как Фемистокл. Римляне долго сохраняли *tumultus gallicus*, традиционный ужас, внушенный им галлами, но они боялись последних, не чувствуя к ним отвращения, и как только Галлия была завоевана, между победителями и побежденными установилась самая глубокая и прочная симпатия.

В результате, национальная антипатия, по-видимому, предполагает как необходимый, но, недостаточный, однако, элемент, общность цивилизации, к которой одинаково причастны обе нации, ненавидящие друг друга потому, что они разногласят между собою в моральном отношении и в то же время являются сестрами в социальном.

Большая часть народов взаимно презируют друг друга прежде, нежели познакомятся между собою; когда они вступают в сношения, это взаимное презрение переходит в обоюдную ненависть или в зависть, с одной стороны, и в жалость — с другой, редко в симпатию<sup>145</sup>. Позже, когда вековое слияние сделает их сходными, эти дурные чувства стусеживаются в их взаимных отношениях, но при этом сообща

обращаются против какого-нибудь другого народа, находящегося вне этой группы, опять до тех пор, пока они не ассимилируют его с собой или не позволяют ему ассимилировать себя и т. д. Отсюда следует, что в пределах какого-нибудь континента, подобно Европе, где известное число очень несходных между собою вначале наций в течение веков работает над тем, чтобы походить друг на друга немного, затем все больше и больше, район антипатий и даже их интенсивность могут возрастать, но только до известного момента, после которого и то и другое начинают уменьшаться. Дарвинисты заметили, что чем более возрастает сходство между индивидами, тем сильнее становится жизненная и социальная конкуренция между ними. Развивая до конца это замечание, можно было бы сказать, что по ходу ассимиляции всех народов и всех классов цивилизованного мира нас должна ожидать в будущем какая-нибудь ужасная и чудовищная «борьба за существование», какой земля еще никогда не видывала. Но не забудем, что как борьба, так и союз для существования, даже более, чем борьба за существование, поддерживается сходствами; вступают в союзы и действительно любят друг друга только сходные между собою люди.

Кроме верований и выгод есть и еще нечто в этом очень сложном соединении, которое называется чувством: в нем есть ощущения, играющие здесь роль скрытой закваски. Несомненно, что не только в наши чувства любви, но даже в наши чувства дружбы и вражды входит некоторая доля не поддающегося анализу влечения или отвращения, внушаемого впечатлениями наших органов чувств. Влечение или отвращение, испытываемое друг к другу двумя различными расами при первом взгляде, еще до какого бы то ни было соприкосновения или столкновения не может быть объяснено иначе. Это замечание существенно важно и должно быть высказано раз навсегда<sup>146</sup>. Но не следует искать в этом основания для преувеличения влияния расы здесь. Это влияние часто бывает только совершенно поверхностным там, где оно кажется неоспоримым<sup>147</sup>. Каково, например, происхождение того глубокого отвращения, какое разделяет белых и негров в Соединенных Штатах и продолжается бесконечно в силу американского предрассудка против цветных людей? Расовый вопрос, скажут на это. Нисколько,

так как неизвестно, почему никакого отвращения того же характера, хотя бы даже и в меньшей степени, не существует у белых к краснокожим. Если черный отталкивается белым как существо низшего порядка, если даже одна капелька черной крови в жилах белого заставляет сторониться от него других белых, сходных с ним как физиологически, так и социально, то все это только потому, что негр был ввезен в Америку исключительно для того, чтобы быть там обращенным в рабство, что мысль о негре и мысль о рабе там нераздельно ассоциировались и чувство, сложившееся под влиянием этой ассоциации, осталось в силе даже после освобождения негров. Предположите, что открытие Америки произошло бы на два или три века позже — в такой период европейской цивилизации, который не позволил бы древнему учреждению рабства снова расцвести в Новом Свете; при этом предположении свободно высадившийся в Соединенных Штатах черный никогда не встретил бы там обычного теперь презрения, и у американцев не было бы никакого представления об этом столь сильном и в то же время столь неосновательном отвращении к едва заметно окрашенным мулатам — отвращении, на которое можно указать как на прекрасный пример той степени интенсивности, какой способно достигнуть чисто искусственное чувство, так как, несомненно, нет ничего менее естественного, менее врожденного, нежели это отвращение, испытываемое по отношению к людям, которые отличаются от вас только незаметным телным окрашиванием около ногтей. Однако нет такой естественной страсти, которая одержала бы верх над этим впечатлением отвращения. Предположите также, что колонисты Соединенных Штатов смогли бы обратить в рабство и укротить краснокожих вместо негров. В этом случае, без всякого сомнения, американский туземец или какие бы то ни было его метисы были бы объектом этого своеобразного чувства, жертвами которого служит теперь негр и его потомство.

Здесь мы видим важность исторических фактов и случайных причин. Мы увидели бы это еще гораздо лучше, если бы изучили историю какой-нибудь национальной ненависти, вроде, например, ненависти англичан и французов, римлян и карфагенян, византийцев и

арабов и т. д., с таким же старанием и так же детально, как романист натуралистической школы изучает историю какой-нибудь индивидуальной ненависти. По тому же самому методу можно было бы рассказать и проанализировать фазисы одной из тех национальных дружб, которые часто закрепляют между двумя союзными нациями связь из выгоды и присоединяются к этой связи, например, дружбы, какая была некогда у французов к полякам. К несчастью, — скажем мимоходом, — эта коллективная любовь одной нации к другой встречается гораздо реже и бывает гораздо менее живой, гораздо менее глубокой, а также гораздо менее бескорыстной, чем коллективная ненависть того же рода. В самом деле, нет ничего сильнее и ничего менее мотивированного с утилитарной точки зрения, чем эти ненависти народа к народу. Влияние внушения со стороны окружающих здесь очевидно. Наоборот, в своей индивидуальной форме способность ненавидеть, по счастью, менее развита или в среднем реже проявляется в действии, чем способность симпатизировать.

Как бы то ни было, каким образом зарождаются те существующие среди дикарей жестокие ненависти племени к племени, которые путешественники расположены считать вечными? Каким образом они вырастают? Каким образом они с течением времени угасают? Документов для ответа на эти вопросы у нас нет. Задачу эту трудно решить даже тогда, когда речь идет о народах цивилизованных. В самом деле, по каким историческим признакам можно узнать, увеличилась или уменьшилась национальная ненависть, какое-нибудь коллективное отвращение? По ожесточенности сражений во время войны, быть может. Но по чему можно узнать это в мирное время? Ненависть или презрение между индивидами объективно проявляется в стремлении физически отдалиться друг от друга. Этого признака нет между народами, скажут нам, так как они, подобно растениям, не могут перемещаться. Однако, большее или меньшее отвращение к соплеменникам между французами и англичанами в средние века, между патрициями и плебеями в Риме, между различными кастами в Индии — отвращение, подвергнувшееся очевидным изменениям в своей интенсивности с течением времени, может послужить для измерения выражающегося в нем чувства.

Отвращение не только к браку, но и к частым посещениям и близким встречам, а сверх того, к торговле и подражанию между собой, — так как торгуют и с врагами, так же как и подражают им, с целью взаимной эксплуатации<sup>148</sup>, — другими словами, более или менее настоятельная потребность в отдельных школах, отдельных гостиницах, отдельных каретах и вагонах является превосходным социологическим термометром. В числе прочих приложений, какие можно дать этому пробному камню, он показывает, что освобождение негров в Соединенных Штатах привело — надо надеяться, только на время — к тому, что сделало глубже, чем раньше, антипатию между черными и белыми<sup>149</sup>. В самом деле, физическое соединение обеих рас становится там все более и более редким, так как, с одной стороны, совсем не пользуются правом вступать в брак там, где это право существует, а с другой — внебрачные сношения между белыми и негритянками стали так же гораздо менее многочисленными с тех пор, как их перестала сближать печальная связь рабства. Число мулатов уменьшается, и их тип снова возвращается к типу негров.

Что касается всех веков, предшествующих нашему, то мы можем собрать только смутные и недостаточные сведения по интересующему нас предмету. Поэтому будет особенно интересно изучить изменения международных чувств, происходившие в течение нашего столетия. Здесь соотношение между причинами и следствиями можно обнаруживать на деле, и нам представится в полном освещении значение великих государственных людей, случайных побед или поражений и всякого рода событий. Ненависть между англичанами и французами пробудилась в начале революции только потому, что государственным людям Англии вздумалось вмешаться в наши дела, и, если эта ненависть постоянно возрастала в течение всего революционного периода и в продолжение эпопеи империи, если она ослабла несколько во время Реставрации и в особенности при июльском правительстве, то объяснение этих фазисов надо в значительной мере искать в Наполеоне, в Ватерлоо, у баррикад 1830 г. Зародилась ли бы ненависть между французами и немцами без Наполеона I, Наполеона III, Бисмарка? Повидимому, у взаимного отвращения между Южными и Северными

Штатами Северной Америки были более глубокие причины. Во всяком случае, прогресс этой вражды до войны за освобождение негров наблюдается очень легко. Приблизительно до 1850 г. Север и Юг жили в довольно хороших отношениях. Но мало-помалу одновременно с взаимной антипатией, вызванной различием в интересах, — так как фабричный Север требовал протекционизма, от которого отказывался земледельческий Юг, — пробудилась и зависть меркантильных янки Севера к аристократам Юга, давшим Союзу его самых великих граждан. «Между ними, — говорит Кл. Жанэ, — все больше и больше проявлялась резкая противоположность в характере». Возможно, что на эту зависть Юг отвечал высокомерным презрением. Отсюда явились резкость и свирепость ненависти, обнаружившаяся во время этой страшной братоубийственной войны в поджогах ферм и городов без всякой стратегической надобности, в ужасных избиениях пленников, а после войны — в угнетении побежденных.

Ненависть одного государства к другому, как мы сказали выше, смягчается по мере увеличения этих государств, несмотря на увеличение ее объекта. Историческое доказательство этому я нахожу в двух общих фактах. Первый, часто замечаемый, заключается в том, что когда среди множества маленьких государств, изолированных друг от друга, появляется большое государство с явными завоевательными намерениями, то ему никогда не бывает особенно трудно воспользоваться их взаимной ненавистью, чтобы поглотить их одно за другим. Такой случай представляют Македония и Рим, поглотившие Грецию по частям, благодаря разъединению греческих общин; такой случай представляет Рим еще в его долгих войнах с галльскими или германскими народами; такова политика нескольких германских императоров в их отношениях к итальянским республикам, проводящим время в ссорах; такова же политика Франции в Италии при Карле VIII, Людовике XII, Франциске I, Испании и Англии в Новом Свете в их борьбе с враждующими между собою племенами краснокожих, такова же, наконец, политика Ришелье и Наполеона в их отношениях к немецким княжествам. Не требовала ли, очевидно, выгода наций-карликов во всех этих случаях, чтобы они прекратили на время свои раздоры для отражения напа-

дающего гиганта? Как сильна и ожесточенна должна была быть их взаимная вражда, чтобы до такой степени ослепить их! Наши современные великие нации никогда не были так страстны, и как только какой-нибудь высший интерес требует их союза, они тотчас же заключают его, хотя бы на другой же день после войны между собой.

Второй, не менее общий хотя и менее замечаемый факт представляет собою та потребность, которая заставляет маленькие государства тотчас же становиться на сторону того или другого, как только между двумя из них возникает война, — как будто ненависть, сделавшись их обычным состоянием, превратилась для них в удовольствие. Когда, например, в VII веке до Р. Х. два города в Эвбее, Халкедон и Эретрия взялись за оружие, то мы с удивлением видим, что все острова Архипелага, один за другим, без всякой выгоды для себя, начинают всем сердцем принимать участие в этой вражде и превращают местное волнение во всеобщий пожар; со времени Троянской войны, — которая и сама представляет собою другой, еще более известный, пример того же явления, — Греция еще ни разу не волновалась так сильно, говорит Курциус. Позже таким же образом обобщилась и ссора Спарты с Афинами. Поищите ту горсть людей, которая была действительно заинтересована в кровавой сумятице Арманьяков и Бургиньонов, или гвельфов и гибеллинов или тех многочисленных по своим названиям партий, которые разделяли в средние века на две части население каждого из итальянских или французских городов, представлявших собою столько же отдельных маленьких государств, и вы увидите, что в основе этого неизмеримого брожения находится весьма немного дрожжей. Чем дальше мы заходим в варварские и дикие времена, тем непобедимее и свирепее представляется нам этот инстинкт страсти к борьбе из-за ненависти между народами или между классами. В своем «Народном правительстве» Семнер-Мэн рассказывает нам об австралийских племенах, которые проходят половину их континента, «чтобы прийти на помощь тем из сражающихся, которые носят такой же тотем, как они». «Две ирландские партии, вражда которых распространилась по всему острову, произошли, как говорят, из спора по поводу цвета какой-то коровы. В южной Индии непрерывный ряд опасных драк



вызывается соперничеством двух партий, каждая из которых знает о другой только то, что одни принадлежат к партии правой руки, а другие — к партии левой». Следует признать, что если современные политические партии какой-нибудь нации и воюют между собой, то делают это из-за гораздо более серьезных мотивов, и все-таки формы этой борьбы замечательно смягчились. Что же касается наших международных столкновений, то в них участвуют только заинтересованные стороны, а соседние нации пытаются примирить воюющих вместо того, чтобы без всякого повода самим ввязываться в войну, как это делают собаки целого квартала, как только слышат драку двух собачонок.

Одновременно с тем, как коллективные ненависти в своей совокупности теряют свою интенсивность<sup>150</sup>, они изменяют также и свою форму и получают различные специфические черты, так что бывает очень любопытно проследить эволюцию ненависти в различные эпохи и в различных сферах. Крестьянин ненавидит не так, как священник, профессор, журналист. После языка любви больше всего зависит от капризов моды язык вражды и презрения; сатирические приемы, которые нравятся одному поколению и способны смертельно уязвить свою жертву, кажутся скучными и безобидными следующему поколению. Остроты (понимая под ними слова и фразы, выражающие презрительную ненависть) быстро выходят из моды и совершенно не способны переходить из одной страны в другую; это отнюдь не предмет вывоза. Но не будем входить в подробности этого.

## VII

Займемся лучше социальными превращениями дружбы и других благожелательных чувств. Они также обуславливаются подражательным распространением религиозных идей и каких бы то ни было других изобретений, в особенности умножающих сношения между людьми и увеличивающих социальную область. Распространение христианства повсюду сопровождалось некоторого рода нежной благожелательностью, какая была совершенно неизвестна в древности и которую современный мир пытается заменить братством социалистической религии. Христианский дух придал тон характерным чувствам средних веков. Тогдашнее

христианское общество скреплялось не любовью и даже не дружбой, — которые, несмотря на все системы любви и рыцарства, играли там гораздо более второстепенную роль, чем у нас, — но следующими четырьмя родами привязанности существенно религиозной: чувством братства между верующими, чувством корпоративного сотоварищества между членами одной и той же профессии, чувством супружеской верности и чувством феодальной верноподданности. Два последних чувства опирались прежде всего на таинственную силу присяги. Все четыре чувства представляли собою связи личные, но те личности, которых они связывали, были личностями скорее в социальном, чем в физическом смысле слова. Христианин любил, или старался любить, или считал себя обязанным стараться любить христианина как такового, как собрат — своего собрата как такового, работник — своего хозяина или служитель — своего господина и обратно, жена — своего мужа как такового, вассал — своего сюзерена как такового, как бы ни были сильны чувства естественной антипатии между ними. Эта обязательная любовь часто нарушалась, но она считалась бессмертной и неразрушимой. Когда к ней присоединялась и естественная симпатия, то человеческое сердце давало единственный в своем роде, уже исчезнувший расцвет чудесных привязанностей.

Распространение цивилизующих приемов и в особенности приемов передвижения, столь сильно способствовавших усложнению городской жизни, бегству населения из деревень и влиянию примеров горожан на самих жителей деревни, глубоко изменило характер хороших отношений между различными классами людей. По мере того, как старинные наследственные и местные корпорации, в которые вступали, так сказать, при самом рождении, заменяются или стремятся заменить в силу прогресса сообщений корпорациями избирательными и всеобщими, открытыми для первого встречного специалиста, откуда бы он ни пришел, значительно изменились со стороны чувства и отношения собрата к собрату: друзей себе избирают еще среди своих братьев, но их любят в качестве друзей, избранных свободно, с гораздо более широкою возможностью выбора. В силу подобной же причины должны были изменить свой характер и отношения между господами и слугами, между хозяевами и рабочими.

Положение старинного слуги отличалось от современного своею большею устойчивостью и меньшим протяжением того окрестного пространства, откуда набирались слуги. Около всякого знатного дома жила не особенно многочисленная группа крестьянских семейств, доставлявших ему обыкновенно служанок и лакеев. Несколько поколений слуг сменяли таким образом друг друга у нескольких поколений господ. В настоящее время слуги, доставляемые в городах каким-нибудь бюро прислуги, набирающих их со всего света, остаются очень мало времени на одном и том же месте. Уже одна эта продолжительность времени старинной службы достаточно доказывает существование благожелательных чувств, без которых она была бы невозможна в отношениях слуг между собою, с одной стороны, и в отношениях между слугами и господином — с другой. Но есть и прямое доказательство этому в завещаниях наших предков, в которых, как это известно археологам, почти всегда фигурируют довольно значительные дары старинным слугам дома. Другое, еще более многозначительное обстоятельство: довольно часто слуги обоего пола избирались крестным отцом или матерью детей. Этим им доверяли некоторую духовную власть над последними. Зачем удивляться этому, когда мы знаем, что римляне времен империи также отечески относились к своим рабам? У них также было обыкновение оставлять им дары по завещанию. При Траяне одно лицо, имевшее звание консула, Дазумиас завещал своей кормилице «ферму, расположенную на косогоре, вместе с находящейся в доме мебелью»; одновременно с этим он освободил своих рабов и завещал каждому из них тысячу динариев. Он хочет, чтобы его вольноотпущенники были погребены в его собственной гробнице. Взамен того раб чаще всего бывал всем сердцем предан своему господину и иногда до самой смерти. Каким образом могли бы чувствовать друг к другу привязанность, равную по своей силе той, о которой свидетельствуют этот и столько других примеров, хозяева и работники, господа и слуги в Соединенных Штатах, где слуги никогда не остаются в одном и том же доме даже шесть месяцев и где рабочие меняют своих хозяев так же часто, как одежду? Мы часто видим, что хозяева там<sup>151</sup> заботятся о судьбе своих рабочих, взятых в их совокупности, и

приглашают эту совокупность разделить между собою часть их доходов или организуют для них благотворительные учреждения. Но во всем этом нет и следа сердечной благожелательности, личной привязанности. Зато это относительное охлаждение сердечных чувств вознаграждается их расширением. К христианскому братству не только присоединилось гуманное сострадание, но и значительно расширилась область чувства сотоварищества. Без сомнения, эти частые перемены господ, хозяев, товарищей и друзей, местопребываний и профессий обнаруживают меньшую стойкость привязанностей, но, с другой стороны, не доказывает ли эта легкость и быстрота, с какой завязываются новые дружеские отношения, что способность любить стала шире и гибче?

После любви, дружба более всех других чувств ощутила на себе влияние наших социальных преобразований. Она также сильно изменилась. На смену старинным группам друзей, складывавшимся под влиянием соседства в деревнях или сотоварищества, порожденного продолжительным сожительством и семейными традициями, являются новые непрочные группы, в которых передаваемая по наследству традиционная дружба не играет уже никакой роли и которые свободно состояются на несколько дней из людей, случайно встретившихся, под влиянием товарищества по профессии, политики или просто случая. Между двумя деревенскими соседями, выросшими и прожившими вместе всю жизнь, образуются неразрушимые сердечные связи, столь же глубокие, сколько и тесные. Совершенно другие отношения существуют между членами одного и того же клуба, между посетителями одного и того же ресторана или между членами ученого общества. Нет ничего легче завязать и порвать, нет ничего легковеснее и скоротечнее, нет, впрочем, и ничего занимательнее и комфортабельнее, чем дружба этого последнего рода. Дружба в так называемых отсталых сферах соединяет целые семьи ограниченной пространственно, но крепкой связью; она представляет собою нечто социальное, местное, наследственное. Дружба в сферах, называемых передовыми, связывает только индивидов, отделенных друг от друга очень большими расстояниями, но на очень короткое время; она представляет собою нечто индивидуальное, космополитическое, эфемерное. Здесь, как и в других случаях, время

послужило вознаграждением за пространство и то, что дружба потеряла в продолжительности, она выиграла в пространственном отношении. В сущности, обе эти системы дружбы существовали во всякое время, но первая беспрестанно отступает перед растущим распространением второй.

Дружба деревенская относится к городской — особенно в больших городах — так же, как супружеская любовь относится к свободной любви. Разбросанные среди полей соседи знают, насколько они нуждаются друг в друге, и в выборе близких людей никогда не позволяют себе руководствоваться только той степенью симпатии, какую они почувствовали к кому-нибудь при первом взгляде, но принимают в расчет множество всяких других оснований, вытекающих из приличия и в особенности из соседства, точно так же как если бы дело шло о женитьбе; как при выборе жены, так и в этом случае они обращают внимание не на внешние качества личности, а на ее глубже лежащие качества и на более важные достоинства, так как они знают, что эти тесные отношения должны будут продолжаться всегда, что опасно прерывать их и, следовательно, нужно хорошенько подумать раньше, чем завязывать их. В большом городе знают, что расстаться можно, как только захочешь, и очень легко найти кого-нибудь для замены потерянного друга. Там существует только затруднение от изобилия для выбора друзей из среды знакомых и выборе знакомых из среды незнакомцев. Поэтому-то там и стараются сблизиться, как только откроют друг в друге самую легкую, мимолетную привлекательность, и сторонятся от людей, часто гораздо более достойных уважения и привязанности, чем те искусники, которым позволяют завладеть собою, потому что в первых им не понравился их внешний вид, акцент или тон. Таким именно образом увлекаются любовницами, на которой никогда не захотели бы жениться. Итак, под давлением условий деревенской жизни дружба, в конце концов, должна быть, с одной стороны, менее добровольной, менее откровенной, быть может, и, наверное, более холодной в своих проявлениях, потому что в ней участвует вообще меньше живой и легкой симпатии, но, с другой стороны, она должна быть серьезнее и глубже, более духовной по своей природе. В деревне

друзей заводят не для одного только удовольствия, точно так же как женятся не только для забавы и не для нее именно. Итак, мы видим, что пропорциональное возрастание жизни городской на счет деревенской представляет собою настоящий переворот в человеческом сердце: оно делает его деятельность одновременно интенсивнее и подвижнее, увеличивает число расцветающих в нем скоропреходящих цветов и в то же время иссушает некоторые из его сильных корней. Предположите, что супружество исчезает и его заменяет свободная любовь: это эквивалентно тому изменению, какое вносится в дружбу переходом от деревенской жизни к городской.

Вот очень большой современный город; он по наружности очень прочен, очень стройно иерархичен, в нем изобилуют всякие дисциплинированные правления, хорошо управляемые заводы и фабрики; множество общих интересов связывает всех его жителей. Но пусть только явится горсть злоумышленников, пожелавшая навязать свое главенство этому двухмиллионному населению, и никто не противится, все покоряется. Почему же? Потому что между гражданами существуют только деловые отношения, между ними нет крепких сердечных связей. Предположим, что в какой-нибудь великой нации у каждого есть два друга, только два, но истинных, верных и неизменных. Эта нация, очевидно, будет сильнее, способнее противостоять всякому внешнему или внутреннему нападению на нее, чем нация, в которой ни у кого нет друзей, но где у каждого есть сто или тысяча поверхностных знакомств. Однако, на первый взгляд, последняя покажется гораздо общительнее, гораздо богаче первой всевозможными сокровищами благожелательности и доброты. Сила государства измеряется не числом, а прочностью личных привязанностей.

Значит ли это, что сконцентрирование обществ в городах дает в конечном результате дефицит в силе любви? Справедливо, мне кажется, как раз обратное. Прежде всего неоспоримо, что цивилизация в высшей степени благоприятствует любви в собственном смысле, и, если она стремится преобразовать самую любовь, стремится лишить ее неразлучной с нею ревности и придать ей характер общительности, то тем не менее справедливо и то, что цивилизация, дрессируя, так сказать,

любовь, распространяет ее с женской кокетливостью. С потребностями сердца происходит то же, что и со всеми другими: они распространяются и развиваются при виде предметов, пригодных для их удовлетворения. Цивилизация все сильнее раздувает в горожанине пламя потребностей в роскоши, доставляя ему возможность видеть различные предметы роскоши; точно так же, доставляя ему случаи видеть большое число красивых женщин и множество различных выдающихся людей, среди которых всегда находятся такие, которые соответствуют его вкусам, цивилизация сильно возбуждает в горожанине горячность любви и даже теплоту дружбы. В маленьком городке или в поселке по отношению к женской красоте или дружеской симпатии приходится довольствоваться тем, что находишь налицо; поэтому там редко встречается страстная любовь или горячая дружба. Вообще следует признать, что в деревнях, в силу такой бедности сердечных ресурсов, деревенские жители любят друг друга вне своей семьи, вообще говоря, довольно слабо, — разумеется, за некоторыми исключениями, и в этом заключается самая печальная сторона жизни первобытных людей. Самая прискорбная сторона цивилизованной жизни заключается в том, что она, к несчастью, прекрасно умеет подделывать дружбу или любовь и распространяет эти подделки. Но даже и тут она поступает согласно с социальной логикой. Огромное расстояние отделяет небольшое число любезных людей или красивых женщин, которые могут внушить любовь или дружбу, от того неизмеримого числа людей, которые чувствуют потребность в том или в другом. С этой точки зрения любовь является особенно обильным источником всяких раздоров; она размножает в среде общества противоположные и противоречивые чувства, сильные желания, наталкивающиеся на непобедимые сопротивления, чувства обожания, превращающиеся в чувства презрения. Кокетство с теми призрачными надеждами, какие оно порождает, кажется как бы нарочно изобретенным для установления равенства, хотя бы только кажущегося, между этим предложением и требованием любви, столь горестно несоизмеримыми друг с другом. Отсюда — его столь быстрый прогресс, благодаря городской и цивилизованной жизни. Оно является одним из самых распространенных приемов логического и телеологического

согласования, правда, чисто субъективного, но от этого не менее реального.

## VIII

Сама потребность веселиться, которую так непомерно развивает городская жизнь, является доказательством прогресса симпатии с течением цивилизации. Всякий раз, когда эта потребность — характеристическая черта развитой социальной жизни — достигает известной степени интенсивности и распространенности, она выражается в следующих всегда почти одинаковых формах, только с различными, хотя и характерными вариациями: страсть к зрелищам (цирк, ипподром, бой быков, трагедия, опера), роскошь стола и большие пиршества, балы, модные куртизанки и, наконец, утонченное искусство разговора и погоня за остроумием. Та страсть к салонной жизни, которую Тэн отметил во Франции при королевском правлении, не является только его особенностью, и классическая культура XVII века не представляет собою ни единственную, ни даже главную ее причину. Греция во времена своего упадка и Рим в период торжества ощущали ту же потребность в легком, веселом разговоре, но она проявлялась там в других формах, под открытым небом, а не в комнатах, между мужчинами, и не в дамских уборных, где тон дают дамы. В Риме составлялись сборники остроумия, в особенности приписываемых Цицерону. В Афинах при Филиппе «шутливое остроумие, — говорит Курциус, — сделалось искусством, у которого были свои виртуозы, особенно в кругу так называемых шестидесяти, собиравшихся в Циносарии. Царь Филипп, говорят, предлагал один талант за протокол их собраний». В отеле Рамбуйэ не дорожили эпитафиями.

Если поискать общий характер у всех этих различных проявлений потребности в увеселении, то увидим, что все они состоят из коллективных удовольствий, из наслаждений, главная прелесть которых для более или менее значительного числа вкушающих их лиц заключается в том, что они пользуются ими сообща. Это справедливо не только по отношению к пирам, театру и т. п., где это очевидно, но даже и по отношению к гетеризму, так как привлекательность известной



куртизанки заключается в том, что она в моде, т. е. представляет собою для всех гостеприимно накрытый стол. Эти «общественные» женщины, называют ли их флейтистками, как в классической древности, танцовщицами, как на Востоке, актрисами, как в Европе, обязаны своими успехами тому, что выставляют напоказ свою красоту и свои таланты в многочисленных собраниях, на пирах, в ресторанах, на сцене, а то, что они дают своим любовникам наедине, является или только следствием тех зрительных и слуховых наслаждений, которые они доставляют всем, или же получает свою особенную приятность от воспоминания об этом. Что же касается проституток низшего сорта, не обладающих никакими талантами для развлечения публики в совокупности, то они процветают только там, где актрисы и куртизанки с артистическим дарованием распространили любовь к женщине, как к развлечению. Они являются разменной монетой этих последних, их вульгаризацией для толпы. В самом деле, куртизанку варварских народов не следует смешивать с теми проститутками, хотя бы даже и самого низкого разбора, которых мы видим в наших больших городах в ярких туалетах и с поднятым кверху носом. О первой можно получить довольно верное представление по той арабской проститутке, какую можно наблюдать в наше время. Она нисколько не походит на наших «кокеток» — она совершенно противоположна им. Она не пирует, не пьет, никогда не смеется и боится шума. Можно было бы подумать, что это жрица, выполняющая обряд, — так она сосредоточенна и серьезна... Они по две или по три сидят перед своими дверьми, лениво опустившись на корточки и куря папироску. Они не разговаривают между собою. Менее шаловливых, чем эти женщины, нет нигде. По ним можно довольно точно представить себе тех еврейских куртизанок, которых Библия рисует нам сидящими на перекрестке дорог с закутанными лицами. И те и другие отвечают только физиологическим функциям, освященным религиозными обычаями или, по крайней мере, носящим на себе печать религиозной печали, печать священной фатальности. У них нет никакого отношения к потребности в развлечении.

Одна из особенностей цивилизованного человека состоит в том, что он любит говорить за всяким делом: он говорит при еде, говорит

работая, говорит, когда любит. От немой любви арабов и евреев так же далеко до нашей болтливой любви, как от молчаливого насыщения до шумного пира. Беседа является кругооборотом всемирной симпатии в наших самых эгоистических удовольствиях; она представляет тот многоцветный поток, который беспрестанно разнообразит монотонную сущность еды и любви при помощи отголосков общественных происшествий, общественных идей и чувств, эмоций, соответствующих данному моменту.

Отсюда мы видим, что потребность в увеселении является высоко социальной формой потребности в наслаждении,<sup>152</sup> и мы не удивляемся тому, что эта форма развивается вместе с цивилизацией на счет другой соответствующей ей индивидуальной формы. Этой последней, в тех случаях, когда хотят похвалить ее, вообще дают название потребности в счастье. Быть счастливым — значит ощущать наслаждения у себя дома, наедине с своей женой и детьми, за своим тесным и воздержным семейным столом, имея перед глазами только свои поля и свои стада. Таким образом понимаемое счастье справедливо противопоставляют увеселению. Но, несмотря на неблагоприятность, — хотя и справедливую во многих отношениях, — с какою моралисты относятся к последнему, они не должны забывать, что потребность в увеселении и в роскоши почти неизбежно связана с потребностью в искусстве — также социальной форме потребности в наслаждениях другого порядка.

Это не значит, что всякая цивилизация приходит необходимо к общераспространенной страсти к общественным развлечениям. Византийская цивилизация, несмотря на страсть Константинополя к играм на ристалище, и испанская, несмотря на бой быков, пришли со своими монархическими церемониальными дворами скорее к обрядовой и мистической пышности, лишенной всякой веселости. Но повсюду и всегда люди, цивилизуясь, испытывали все возрастающую страсть к празднествам, относительно которой страсть к общественным развлечениям является только одной из важных разновидностей. Что же такое празднества? Это тот властный прием, при помощи которого социальная логика чувств потопляет и разрешает все их частичные несогласия, частные враждебности, зависти, презрения, всякого рода

нравственные противодействия, превращая их в одно огромное созвучие, получающееся от периодического слияния всех этих второстепенных чувств в одно господствующее и более сильное чувство, в одну коллективную ненависть или любовь к какому-нибудь крупному объекту, которая дает тон всем сердцам и превращает их диссонансы в высшую гармонию. Таким образом, чем более размножаются в усложняющемся обществе эти диссонансы, тем более оно нуждается в частых и великолепных празднествах. Этим господствующим чувством, этой основной нотой общественного сердца может быть какая-нибудь национальная ненависть, которая возвеличивается и усиливается путем своего проявления в подвиге битв, в избиениях пленных, во всех тех кровавых и жестоких празднествах, которые так нравятся многим первобытным цивилизациям.

Этим чувством может быть также великая национальная любовь к какому-нибудь богу или человеку — национальное обожание или восхищение с религиозным, патриотическим или политическим оттенком. В празднествах египтян проявляется культ мертвых, первенствующая мистическая забота о погребении, поглощающая этих земледельцев-архитекторов, которые возделывают землю и строят, имея в виду грядущее воскресение, к которому единодушно направляются все их желания. В столь многочисленных эллинских празднествах, олимпийских, истмийских и других играх, в панатенейских процессиях, в триумфальном возвращении атлета-победителя и т. п., выражается живое восхищение силой, ловкостью, красотой и теми героями, в которых они воплощаются, уважение и любовь к богу или богине города, благочестие и патриотизм, слитые в одну комбинацию. У Рима есть свои триумфы полководцев, вступающих в Капитолий, свои апофеозы императоров, которые, подобно играм в цирке, прославляют любовь народа к славе, его жажду господства и завоевания. У средних веков есть свои канонизации святых, свои коронования королей, свои турниры, свои мощи, несомые в торжественных процессиях, — выражение рыцарского, феодального или монархического мистицизма этой эпохи. У нас есть наши патриотические, политические или гуманитарные празднества, погребение Виктора Гюго, возвращение останков Напо-

леона I, открытия памятников в честь великих писателей, великих художников, более или менее великих государственных людей. Мы никогда и нигде не найдем празднеств, которые не обладали бы способностью на время соединять в одно целое души, сливающиеся в одном господствующем чувстве, — кроме разве празднеств, установленных по приказу, подобных, например, празднику Высшего Существа во время французской революции, так как истинными празднествами были тогда революционные манифестации толпы.

Это единение сердец, производимое празднествами, необходимо для дополнения той гармонии интересов, над установлением которой работают ярмарки и рынки, Прогресс социальной жизни не заключается только в возрастающем усложнении желаний и потребностей, взаимно обменивающихся путем продажи продуктов, но ослабевающих в каждом сердце в отдельности по мере того, как они там умножаются; он не заключается даже в том только, что возрастает сложность идей, передаваемых от одного ума другому на великом рынке печати и пользующихся тем меньшею верой в каждом отдельном уме, чем они многочисленнее там. Он заключается также и прежде всего в возрастающей интенсивности некоторых желаний, некоторых идей, разделяемых всеми и чрезвычайно усиливающихся в каждом в отдельности под влиянием этого единодушия. Итак, с этой точки зрения празднества, главным образом религиозные или патриотические, годовщины, когда размышления всех в совокупности направляются на одни и те же воспоминания и устанавливается живое общение одинаковых чувств, — как, например, праздник Рождества или Пасхи у христиан, праздник Св. Людовика во Франции времен королей или олимпийские игры в Греции и праздник Минервы в Афинах, — имеют значение гораздо выше, чем ярмарки и рынки, на которых удовлетворяются мелкие вожеления, мелкие любопытства, но с которых крестьянин или рабочий уходит с новыми вожелениями и новыми любопытствами. Это, конечно, прекрасно при условии, что созданное таким образом социальное волнение побуждает социальную деятельность искать новых источников для его успокоения. А где же их можно открыть, как не в этих общих всем идеях, в этих единодушных чувствах, общественным выражением которых являются празднества?

## IX

С предметом этой главы можно связать один вопрос, который мы уже затронули раньше, но который заслуживает более основательного исследования, — вопрос об индивидуальной или коллективной гордости и о тех проблемах логики, которые он ставит. Эволюция гордости и самолюбия довольно тесно связана с эволюцией сердец.

Разъединяет ли людей гордость больше, чем она способствует их единению? Это зависит не только от ее силы, но и от ее характера. Гордость индивидуальная, когда она переходит за известную меру, разъединяет людей, а когда она обладает известным характером требовательности и предприимчивости, то приводит их к столкновению; гордость коллективная, даже и чрезмерная, каков бы ни был ее характер, связывает их в пределах их группы, порождая, правда, между коллективными гордостями различных групп глубокие несогласия, проявляющиеся в войнах или в мирном соревновании — смотря по роду этих гордостей. Обязанности социальной логики проистекают отсюда. Она должна была стремиться и действительно всегда работала над тем, чтобы над гордостями индивидуальными поставить какую-нибудь коллективную гордость, их согласующую, или чтобы превратить каждую индивидуальную гордость в комбинацию различного рода коллективных гордостей; она всегда работала также над тем, чтобы разнообразить формы коллективной гордости: семейную, гражданскую и патристическую гордость, религиозную и профессиональную гордость, чтобы доставить перевес тем из этих форм, которые могут усваиваться более обширными или более прочными группами, способными к более широкому распространению во времени или в пространстве.

Итак, бросим беглый взгляд на общую историю гордости. Очень грубые дикари, которым суждено навсегда остаться на самых низких ступенях социальной лестницы, относительно очень индифферентны к тому, что о них говорят или думают; они несколько не заботятся ни о славе, ни о чести, занятые единственно поисками пищи и питья. Таковы же неисправимо ленивые школьники, без чувства соревнования, без побуждений к деятельности, всегда последние в своем классе. Не недостаток ли самолюбия мешает главным образом тем и другим

подняться выше? Это вероятно. Среди дикарей те, у которых есть живая отзывчивость к общественному мнению и чести, которые предпочитают физическим наслаждениям удовольствие получать похвалы, которые составляют себе преувеличенное и, в наших глазах, смешное представление о своем мировом значении или о значении своей семьи и своего племени, которые хотят внушить это убеждение и прочим соседним, а потом и более удаленным от них семьям или племенам, хотя беспрестанно укреплять и в то же время распространять это убеждение, — эти дикари быстро переходят от полной дикости к варварству, подобно тем хорошим ученикам, которые с достаточной степенью способностей соединяют сильную дозу чувства соревнования.

Варварство, удовлетворяя их самолюбие, в то же время возбуждает его. Нет никого тщеславнее варвара. Относительно этого согласны между собою все летописцы нашествий на Римскую империю. В эпоху, не особенно далекую от нашего времени, и даже еще в настоящее время, эту черту нравов можно было наблюдать у народов, хотя и хорошо одаренных, но впавших в полуварварское состояние: у сицилийцев, корсиканцев, греков, арабов<sup>153</sup>. Но здесь начинает уже обрисовываться одно важное изменение. У дикарей самолюбие и гордость различных семей или различных кланов были приблизительно равносильны и вообще одинаково паразитально велики, являясь источником бесконечных войн; у варваров их неравенство все увеличивается под влиянием насилия, так как переход от дикости к варварству, от состояния разбросанности к состоянию относительной объединенности потребовал возникновения организации и иерархии. Следовательно, с этого времени в значительно увеличившейся социальной группе появляются семьи или кланы, самолюбия которых бывают сильно принижены в пользу сильно возросшего самолюбия некоторых других. По мере того, как это неравенство, вместе с неравенством классов, обозначается все сильнее, рабы, так же как и ремесленники, принижаются все более, тогда как воины и жрецы, короли и ленные владельцы возносятся до обоготворения после смерти.

В самом деле, чем гуще становится население, тем более возрастает в нем неравенство гордостей. В деревенской среде, где отдельные семьи

живут на некотором расстоянии одна от другой, у каждой из них есть своя гордость и ни одна из них не отличается от прочих чрезвычайно раздутым тщеславием, по крайней мере там, где феодальный режим не оставил своих следов<sup>154</sup>. Но в городах толпа, несмотря на свои возмущения, осуждена на относительно унижительное положение; обыкновенный человек во всякое мгновение и со всех сторон испытывает там ощущения своего ничтожества, тогда как то та, то другая выдающаяся личность, быстро достигающая блестящей известности, часто совершенно не соответствующей ее заслугам, поощряется к тому, чтобы безмерно раздувать свою гордость. В этом отношении деревенское и городское распределение гордости походит на деревенское и городское распределение богатства и власти.

Это соединение самолюбий, жестоко угнетаемых теми из своей среды, которые раздулись чрезмерно, представляет собою собрание противоречивых суждений — состояние, по существу нелогичное и неустойчивое. Как разрешится этот кризис? Проблема была бы неразрешима, если бы городская жизнь, создавая или обостряя это противоречие между индивидуальными самолюбиями, не возбуждала в то же время и не ставила бы над ними коллективные самолюбия, подтверждающие друг друга: гордость общинную прежде всего, заставляющую гордиться своим городом; гордость профессиональную, заставляющую гордиться своим ремеслом, своей корпорацией; гордость вероисповедную, заставляющую гордиться своей религией. Об этом мы еще поговорим. Но прежде всего в течение долгого исторического периода лучше всего их согласует другая форма коллективной гордости — восхищение. Последнее приятно, т. е. оно льстит сердцу того, кто восхищается, каждый раз, когда оно служит средством вызывать иллюзию присвоения себе того, чем он восхищается. Когда я восхищаюсь моим депутатом, моим профессором, моим другом, моим учеником, даже моим королем, мне кажется, что я делаю их моими в большей степени, чем раньше, а это увеличивает то наслаждение, которое я уже испытывал, восхищаясь ими; итак, существует взаимодействие между моим возросшим чувством собственности, делающим сильнее мое восхищение, и моим более сильным восхищением, которое,

по-видимому, увеличивает мое чувство обладания и значение моей личности, другими словами, чем более я присваиваю себе кого-нибудь, тем более я склонен восхищаться им и чем более я восхищаюсь им, тем более мне кажется, что я его присваиваю. Мы видим отсюда, насколько это решение проблемы о гордостях при помощи восхищения, о котором мы, впрочем, уже говорили в одной из предыдущих глав, связано с разрешением проблемы о сердцах при помощи симпатии.

Итак, самый смиренный подданный начинает страшно гордиться своим славным властелином; путем восхищения и симпатии, путем верности и лояльности он присваивает себе славу своего начальника. Прямая и непосредственная гордость заменяется, так сказать, «гордостью по доверенности». Так идут дела не только в продолжение всех фазисов варварства, но даже и в начале цивилизации, до эпохи, отмечаемой славой Рамзесов, Александров, Августов, Людовиков XIV, Екатерин II. Если даже и нет такого апогея торжества, то все же на пороге начинающейся или возрождающейся цивилизации, по-видимому, всегда замечается могущественный подъем гордостей, исходящий сверху, как, например, в греческих республиках, подобных Афинам времен Перикла, или в итальянских городах времен первого Возрождения, еще не сделавшихся монархическими, но уже подчиняющихся влиянию какого-нибудь главы партии, какого-нибудь Лаврентия Медичи.

В подобные моменты широкое разлитие в обществах высших гордостей становится столь очевидным, что Буркгардт нашел возможным считать итальянское Возрождение эрой зарождения и открытия идеи индивидуальной славы, индивидуальной чести — понимайте славы и чести одного господствующего индивидуума, воплощающего в себе славу и честь всех.

Это установление гармонии между самолюбиями всех при помощи восхищения кем-нибудь одним может длиться неопределенно долго там, где тот, кем восхищаются, стоит подобно перуанскому инке, китайскому императору, египетскому фараону, так высоко над своими поклонниками, что приводит в отчаяние зависть или даже не дает ей появиться, но, однако, при условии, чтобы индивидуальная гордость этого человека — тот живой пункт, где встречаются гордости всех остальных людей, сама



состояла из коллективных гордостей, для которых она была бы только блестящим синтезом. Это и бывает в тех случаях, когда монарх в особенности гордится не своими личными достоинствами, а своей расой, своим положением, своими королевскими обязанностями, своей религией, своей цивилизацией и, наконец, своим народом, в такой же степени, в какой его народ гордится им. Но если эти два условия не выполняются, как это обыкновенно и бывает, то гордость влюбленного в себя монарха способна служить скорее для возбуждения соперничества, чем для удовлетворения гордости низших. По его примеру, высокомерные приемы распространяются, спускаются от одного слоя к другому, становятся общими всем. Это тем более неизбежно, что развитие цивилизации ведет к умножению возможных форм восхищения, к созданию промышленного, финансового, художественного и поэтического величия и гипертрофирует таким образом все возрастающее число самолюбий, питающихся все более и более распространяющимися и повторяющимися восхвалениями. Вскоре вместо одной исполинской гордости, вызывающей единодушное восхищение, появляются миллионы меньших гордостей, взаимно унижающих друг друга.

Что же делать тогда? Монархическая фикция присвоения себе восхищения отжила свое время и не может больше держаться; ее заменяют демократической фикцией провозглашенного равенства, не обращая внимания на те опровержения, которые она встречает во всякое мгновение в появляющихся со всех сторон выдающихся людях, слава которых становится тем выше, чем более расширяется социальное поле, становится тем ослепительнее для массы так называемых равных между собою людей. Но в сущности одного — хотя бы даже единодушного — провозглашения этого обманчивого равенства далеко еще недостаточно для установления гармонии между несогласными друг с другом самолюбиями.

Гораздо действительнее их согласование при помощи тех других видов коллективной гордости, которые я назвал выше. Прежде всего, при помощи той гордости, которую я назову лингвистической. Всегда гордятся своим родным языком, гордятся даже своим местным наречием, которое становится все дороже нам по мере того, как оно сливается с

господствующим языком и исчезает. Тем больше восхваляют его красоты, чем более бывают одинокими в наслаждении ими, как бы в силу протеста против решения рока, осудившего это наречие на исчезновение. По противоположной причине тем более тщеславятся своим языком, чем более он распространен и чем сильнее распространяется с течением времени, чем больше число людей, говорящих на нем. Это коллективное тщеславие, становясь все более и более законным, составляет одну из самых приятных связей, соединяющих людей между собою, и стремится объединять их во все более и более крупные группы, по мере того, как цивилизация облегчает победы нескольким избранным языкам, высшим по развитию.

Затем следует вероисповедная гордость. Верующий всегда гордится своим культом, гордится тем, что он христианин, гордится тем, что он мусульманин, тем, что он еврей, и когда миллионы людей встречаются в одном и том же чувстве, в одном и том же суждении относительно превосходства их религии, то взаимное подтверждение их самолюбия в этом отношении до такой степени усиливает в каждом из них этот вид гордости, что самый смиренный раб чувствует себя поднятым до уровня своего господина. Это одна из самых широких триумфальных дорог социальной логики, одна из наиболее способных расширяться и удлиняться почти бесконечно. Вначале группа людей, связанных между собою этой гордостью, общей им всем, ограничиваясь пределами клана, позже — пределами общины, а затем, освободившись от границ, все более и более принимает интернациональный и всемирный характер. По мере того, как этот вид гордости распространялся, он очищался, освобождался от своего первоначального сурового презрения к несогласномыслящему и от этого только усилился.

Мы сказали также, что существует еще гордость профессиональная. Всякая корпорация приводит в результате к зарождению особого чувства своего достоинства. «Башмачные подмастерья в Лейпциге в XV веке, оскорбленные несколькими членами университета, вызвали на поединок докторов, лиценциатов, учителей и учеников высокого училища, чтобы поддержать свое право носить оружие и защитить свою профессиональную честь». Был найден даже вызов, отправленный одним поваром, его поваренком и его дочерьми графу Отто-де-Сомису (в 1479 г.)<sup>155</sup>.

Этот вид гордости, подобно предыдущим, способен к распространению за пределы кланов, общин, стран и, как и эти предыдущие, распространяясь, он изменяет свой оттенок и характер. Когда эти профессии были еще замкнутыми наследственными корпорациями, в них вступали только после того, как с детства научались уважать их, а раз попав туда, индивидуум, мало соприкасаясь с другими, чуждыми ему профессиями, набирался той коллективной гордости, которая была душою ее жизни. В этой гордости было много негостеприимства, много узкой исключительности, а в случае высших ремесел, либеральных профессий, много презрения к другим. Она начинает исчезать, когда режим замкнутых каст сменяется открытыми для всех, свободно избираемыми профессиями, но она исчезает только для того, чтобы снова появиться в преображенном виде, так как нельзя было бы, конечно, считать прогрессом, если бы люди в силу беспрестанных перемен своего ремесла, как это делается в Америке, и считая всякую деятельность только временной, стали ценить в той деятельности, которой они занимаются в данный момент, только те удовольствия или то вознаграждение, которое она дает. Но, к счастью, это не так; если интенсивность профессиональной гордости уменьшается в верхних слоях, если все менее и менее гордятся своею профессией чиновника, адвоката, судьи, врача, то она увеличивается и распространяется в нижних слоях народа, которые никогда не знали этой гордости в такой же степени и никогда не осмеливались выражать ее так сильно, что также способствует ее увеличению. В силу прогресса цивилизующей ассимиляции, все более увеличивающей единообразие промышленных продуктов различных стран, каждый ремесленник все больше и больше признает своими собратьями всех подобных ему ремесленников, живущих в соседних, а потом и в более отдаленных странах. Он радуется, что принадлежит к столь многочисленной международной корпорации, все более разрастающейся. Так как, кроме того, то же самое влияние цивилизующего поступательного движения умножает случаи соприкосновения между различными профессиями, то неизбежное чувство солидарности каждой из них со всеми другими все более и более умеряет стремление считать себя выше других и относиться к ним с презрением.

Итак, о профессиональной гордости, как и о гордости вероисповедной или даже филологической, мы можем сказать, что, распространяясь, она очищается и в силу этих обоих обстоятельств вместе развивается ее способность устанавливать гармонию между индивидуальными самолюбиями, которые зарождаются враждебными и противоречивыми.

Желательно было бы сказать то же и о гордости общинной. Она также изменилась и распространилась по мере того, как первобытные маленькие города или поселки увеличились и стали открытыми для всех, по мере того, как их население, сначала пополнявшееся исключительно путем наследственности, все больше привлекало чужеземную иммиграцию. Но, вообще говоря, она ничего не выиграла при этой перемене; та задушевность и нежность, которые примешивались к горделивому чувству гражданства в древности, заменились каким-то довольно-таки глупым тщеславием, которое прежде всего соразмеряется с числом жителей того города, в котором обитаешь. Но сколько бы ребяческого ни заключалось в этой привычке гордиться соразмерно с числом своих сограждан и, следовательно, чувствовать себя униженным, когда это число очень мало, она чрезвычайно распространена в наше время и представляет немалое значение в уменьшении населения деревень и маленьких городов в пользу увеличения больших. В самом деле, чем более распространяется этот особенный, чисто арифметический вид тщеславия, тем более стремится оно заглушить тот совершенно другой вид гордости — источник стольких случаев героизма в прошлом, в силу которого жители самого маленького поселка гордились своими предками в тени своей колокольни, в ограде своих старинных укреплений, где тесно переплетались извилистые улицы. Такая гордость мало-помалу сменилась чувством стыда за свою жизнь в «такой дыре». И с этим стыдом происходит то же самое, что и с порождающим его коллективным тщеславием: нет ничего заразительнее, ничто не может расти быстрее его под влиянием многочисленных сношений друг с другом и, как их следствия, обмена взаимными подтверждениями. Каждый житель маленького уездного городка читает в глазах своих сограждан, что они краснеют из-за необходимости жить там, и его смешной стыд увеличивается от этого. И вот, чтобы избавиться от него, а не из-за

одного только понятного расчета выгоды, он в один прекрасный день отправляется в «большие центры». Жительство в большом городе является для стремящихся туда деревенских жителей, или, по крайней мере, для большинства из них, чем-то вроде воображаемого благоужения.

Это тщеславие жить в большом городе не представляет собою чего-либо нового. Оно было известно в Римской империи. Оно проявляется даже у первых христиан в постепенно признаваемом превосходстве епископов метрополий, тех, которые обитали в наиболее важных городах, и, прежде всего, римского епископа. Последний сделался папой, подобно тому, как муниципальный совет Парижа стремится стать парламентом, главным образом в силу того предрассудка, который придает особый почет пребыванию в столицах. Однако, надо заметить, что в значении столиц в древности цифра народонаселения играла гораздо более второстепенную роль, чем в значении современных столиц. Это изменение происходит оттого, что провозглашаемый всеми принцип равенства людей кажется важнее их личных качеств. Из этого предполагаемого равенства логически вытекает превосходство более многочисленной их массы над массой менее многочисленной.

Патриотическая гордость, хотя и была вначале только увеличенной общинной или семейной гордостью, быстро отделяется от них по возрастающей сложности своих элементов и величии своих судеб. Община, как и семья, не может распространиться за пределы известного круга, не превратившись в нечто совершенно искусственное, но отечество может расширяться сколько угодно — оно ничего не теряет в своей реальности и только еще сильнее подчеркивает ее. Поэтому-то развитие патриотической гордости представляет собою постепенное приобретение и обогащение новыми элементами, без равнозначительных потерь. Являясь вначале расовой гордостью, гордостью историческими воспоминаниями и общими предками, патриотическая гордость никогда не теряет этого характера; она, наоборот, усиливает его путем накопления тех славных фактов, которыми она питается, и, когда отечество увеличивается и процветает, присоединяет сюда гордость его богатством, языком, просвещением и цивилизацией, а также гордость его численной

силой. Я не хочу сказать, что маленьким или уменьшившимся отечеством дорожат менее, но оно вызывает меньше гордости, по крайней мере, в такую эпоху, как наша, когда закон создается числом. Гордость английская, американская, русская, немецкая, французская являются гигантами патриотической гордости современной эпохи.

Заметим, что, поскольку чисто индивидуальные гордости противоречивы и непримиримы между собою, постольку же примиряются и даже подтверждают друг друга различные перечисленные выше виды коллективной гордости. Но для установления гармонии в своей среде они должны подчиниться иерархическому порядку. Гордость своею кровью и своим домом, гордость своим культом, своим ремеслом и своим отечеством отлично уживаются в одном и том же сердце, но при том условии, чтобы одна из них давала тон остальным, и, смотря по характеру этого основного тона, глубоко меняется и гармония целого. Рост государств и их централизация, по счастью, в результате подчинили общинную гордость патриотической, за исключением той ее части, которая относится к столице. Чем более централизовано государство, тем явственнее это подчинение, с указанным исключением. Житель Люттиха или Брюгге больше гордится тем, что он обитатель этих городов, чем тем, что он бельгиец, тогда как житель Бордо или даже Тулузы менее гордится тем, что он бордосец или тулузец, чем тем, что он француз, но я не уверен, что последний парижский уличный мальчишка больше гордится тем, что он француз, нежели тем, что он парижанин. Эта гордость столицами со временем будет не уничтожена, а сокращена и дисциплинирована, подобно тому, как это произошло — и притом даже, к сожалению, в излишней степени — с гордостью семейной — необходимой связью для каждого здорового социального устоя.

Но каким образом окажется возможным одновременное существование патриотических гордостей различных народов при таком возрастании и укреплении каждой из них в отдельности? Долгое время это было невозможно, да и теперь еще это является одной из самых тревожных проблем истории. Большим препятствием к федерации различных государств, уже ассимилировавшихся между собою в одной

общей цивилизации, является патриотическая гордость каждого из них, та глубокая уверенность, с какой каждое из них считает себя выше остальных. В конце концов эта трудность воспроизводит, только в больших размерах, то препятствие, с каким в прошлом каждого государства сталкивалась ассоциация семейств и различных классов, их слияние в одну общину, в одну нацию. Мы знаем, что произошло тогда: соперничали друг с другом два различных решения: одно состояло в том, чтобы сломить и унижить гордость большей части семей под давлением восхищения, вызываемого одной из них, и таким образом сделать возможным их совместное существование, другое заключалось в том, чтобы сделать взаимным восхищение, вначале одностороннее, при помощи вежливости, лицемерного и необходимого обмена комплиментами и знаками уважения. Два аналогичных решения до сих пор отвечали на проблему, поставленную самолюбиями наций: сначала война и победа, которая иногда, но не всегда принижает гордость побежденного перед гордостью победителя; затем дипломатия — эта вежливость государств. При помощи дипломатии национальные гордости привыкают управлять собою или маскировать себя, чтобы установить внешнее согласие между собою, точно так же как при помощи вежливости скрываются и льстят друг другу индивидуальные или семейные гордости.

Но все ли это и не придется ли нам вечно выбирать только между ужасами сражений и ложью трактатов, между воинственным зверством и дипломатическим двоедушием? Быть может, не надо отчаиваться, что увидим самые патриотические гордости преобразившимися так, чтобы сделалось возможным их мирное, искреннее и добровольное согласие. Не кажется ли, что, подвигаясь вперед в своем развитии, они стремятся к тому, чтобы отдать преобладание в себе одному элементу, в высшей степени способному сделать их общительными, — я говорю о все возрастающей гордости той европейской цивилизацией, которая является общим родовым богатством, если не общим делом, высших народов? Эта гордость стремится стать даже выше патриотизма, стремится породить некоторого рода чувство цивилизованной, гуманитарной соотечественности, которое распространяется среди избранных

всех стран. Гордость каждого из этих в высшей степени культурных индивидов представляет собой синтез тех различных видов коллективной гордости, о которых мы говорили, а разве в этом концерте уже не преобладает гордость своею культурностью, гордость своею принадлежностью к цивилизованному и цивилизирующему человечеству, своим умственным общением с миллионами умов, рассеянных по всем великим странам?

Спросим себя — не суждено ли гордости пойти на убыль, а быть может, и совсем исчезнуть во время старости и агонии обществ, после того, как она возрастет, преобразуясь, или преобразуется, для того, чтобы возрасти? Спросим себя, не износится ли самолюбие, даже патриотическое, под влиянием постоянного пользования им и постоянных его проявлений во всех направлениях? Несомненио, что всякая гордость, коллективная или не коллективная, представляет собою глубокую иллюзию и что умственный прогресс непрерывно работает над уничтожением заблуждений во всех возможных формах, даже самых почтенных и необходимых. Заблуждение, заключающееся в гордости, заблуждение ничтожного существа, которое верит в свою силу, соломинки, которая верит в свое важное значение, куклы, которая верит в свои достоинства и свое высокое Положение, — это заблуждение так же нелепо, как и все уничтоженные наукой мифологические заблуждения, и притом гораздо менее безобидно, нежели большая часть последних. Как бы то ни было, несомненно, что повсюду, где мы видим перед собою здоровое общество, мы замечаем в нем сильную коллективную гордость и что в тот день, когда ультрацивилизованный индивидум станет вообще скептически относиться к доброму имени, славе, репутации, даже чести, и будет дорожить только золотом и наслаждением, — в тот день социальное разложение будет близко. Но ничто не доказывает нам, что так должно случиться. Иллюзия, как субъективная, так и объективная, не стремится к уничтожению; она стремится только к тому, чтобы непрерывно обновляться, принимать новые, более связные и более гармонирующие между собою формы. Как вера и любовь, гордость есть нечто вечное.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Политическая экономия

#### I

Я сказал выше, что здесь я не предполагаю останавливаться на приложении моих идей к политике и морали. Но, прилагая их к политической экономии, — впрочем, довольно свободно и не стесняя себя никаким методическим порядком, — я отчасти заполню этот пробел. Хотя предмет этой науки составляет собственно часть человеческой деятельности, относящейся к промышленному труду, но она давно уже расширила и округлила свою область до такой степени, что включила туда всякие формы деятельности. Предшественники социологов — экономисты — старались захватить всю область последних и недостаточность их изуродованной социологии давала им чувствовать себя только в силу протеста со стороны социалистов, которые тоже являются преждевременными и одинаково неполными социологами. Заблуждение экономистов, скажем тут же, заключалось в том, что они создали только индивидуальную телеологию, ошибочно представив ее как телеологию социальную, как совершенно полную социальную телеологию, и в том, что они считали возможным создать последнюю, не заботясь о соображениях, извлекаемых из логики.

Последовательные захваты политической экономии очевидны. Припомните ее главные подразделения: производство, распределение, потребление богатств, и исследуйте каждое в отдельности. Вы увидите, что в сущности все три являются узурпациями: первое в области политической науки, второе в области юридической науки и третье в области морали. По отношению к производству я знаю, что экономисты либеральной школы восхваляют невмешательство государства, но советовать государству ретироваться, когда его присутствие является нескромностью и вредит его собственным целям, значит тем не менее говорить с авторитетом государственного человека и указывать правила разумной политики. Если бы политика, это высшее искусство, возымела

претензию сделаться в свою очередь наукой, — подобно педагогии, этому скромному искусству, которое вдруг вздумало раздуться до размеров верховной науки, — то она должна была бы формулировать причины, производящие национальное могущество, и элементы, входящие в его состав. Но в такое время, когда могущество кажется заключающимся в богатстве, как вид заключается в роде, лучшим средством достигнуть максимума власти будет, по-видимому, стремление к максимуму общего богатства. Впрочем, индивидуализм, либерализм был, кажется, не столько основною чертой, сколько преходящей случайностью, так сказать, детской болезнью нарождавшейся политической экономии, введенной в заблуждение лейбницеvским оптимизмом проповедника гармонии Бастиа и слепою верой в Провидение, делавшей предусмотрительность совершенно ненужной. Вырастая, она раскрывает свои социальные намерения; она создает политику во всем. В самом деле, над чем работает во всякое время великий министр, великий король, великий руководитель народов, как не над тем, чтобы направить производительные силы нации по пути, наиболее благоприятному для общественного обогащения? Разве не был Бисмарк самым главным производителем германского богатства в наше время? Дурная регламентация не должна помешать нам признать полезность и необходимость хорошей регламентации. Хотят того или нет, но всегда должны кончить сознательным и систематическим, т. е. в сущности политическим и правительственным координированием производительных сил. В самом деле, всякая конкуренция приводит в конце концов к более или менее замаскированной монополии, как это доказывает постепенное поглощение мелких промыслов большими компаниями и мелких коммерсантов большими магазинами. Среди людей, как и в море, киты поглощают мелкую рыбу, а не наоборот. Правда, в море мелкая рыба все-таки размножается, тогда как киты исчезают, но в мире людей нет ничего подобного. Всякая монополия, всякая концентрация труда в нескольких гигантских заводах неизбежно влечет за собою вмешательство государства и законодательства, если только сам гигант, выполняя обязанности государства в государстве, не окажется настолько благоразумным, чтобы регламентировать самого себя в законодательном

порядке, подобно тому, как это сделала бы всякая порядочная палата депутатов. Таким образом, искусство более или менее скромно управлять производством фатально должно входить в искусство правления.

Что касается распределения богатств, то очевидно, что эта глава политической экономии есть попросту целая наука об идеальном праве, интегральная формула правосудия. Здесь экономист объясняет законоведу то, чему последний должен был бы сам учить, а именно *raison d'être* права собственности, его желательные ограничения или расширения, своевременность предоставления неограниченного права завещания или ограничения права наследования, выгоды или неудобства права на труд или права на общественную помощь, выбор между правилом: «каждому по его потребностям» и правилом: «каждому по его заслугам», и т. д. Самые либеральные экономисты обращаются здесь к государству, хотя, правду сказать, я не вижу никакого разумного основания предпочитать государство распределяющее государству производящему, не вижу, почему бы не возвести в догмат свободу распределения, точно так же как свободу производства. Наконец, все что относится к потреблению, — к этой, надо сознаться, очень сокращенной и несодержательной главе, — то оно является, очевидно, только моральной проповедью, вытекающей из пуританства или осторожности, призывом к бережливости, воздержанности и умеренности в желаниях.

Таким образом, экономист вначале является государственным человеком и кончает тем, что превращается в законоведа и моралиста. Это значит, что над экономической наукой, в общем довольно узкой, находится экономическая точка зрения, приложимая ко всем отраслям человеческой деятельности. Какой отличительный характер этой точки зрения? Как надо исправить ее? Каковы ее пробелы и необходимые к ней дополнения? Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Экономическая точка зрения представляет собою один из способов понимания социальной телеологии — понимания, которое прилагается ко всему: к военным операциям и к административным отправлениям, к произведениям искусства и к делам благотворительности и которое стремится стать преобладающим в наш век подражания-моды с тем,

чтобы впоследствии снова ступеваться перед достаточно возмужавшим пониманием юридическим и моральным, когда возродится дух традиции. Скажем ли мы, что законовед и моралист занимаются главным образом подлежащими координированию между собою целями человека, тогда как экономист отдает предпочтение изучению средств, которые он называет ценностями? Это различие довольно основательное, но разница здесь только в степени внимания. Экономист не воздерживается от предписывания такой-то обязанности, от порицания такого-то мотива хотения. Мне кажется, что скорее всего характеристикой его точки зрения будет то, что он рассматривает человеческую деятельность с ее количественной, измеримой стороны, а не с ее качественных сторон, не имеющих общей меры, как рассматривают ее законовед и моралист. Законовед и моралист строго разграничивают как разнородные вещи, часто несоизмеримые между собою и подчиняющиеся особым законам, провозглашаемые ими права, бывшие первоначально особыми привилегиями, формулируемые ими обязанности, являющиеся освящением отдельных инстинктов и исторических обстоятельств, восхваляемые ими удовольствия и выгоды, представляющие собою подлинные свойства способности чувствовать. Своего рода аффективная сторона впечатлений, хотений, страстей, наслаждений и страданий скрывает от них тождественную основу этого многоцветного волнения; отсюда предпочтение юридическому воззрению на вещи в эпохи господства обычая, в особенности обычая первобытного, т. е. в эпохи разнородной раздробленности. Но экономист незаметно для самого себя утверждает, что под этим роскошным разнообразием скрывается одна и та же тождественная основа. Он резюмирует все в идее богатства, на которое он смотрит как на нечто однородное, способное к беспредельному возрастанию и подлежащее математическому суммированию. Если такое воззрение законно, то его распространенность и научное превосходство понятны. Но законно ли оно? Вот первый вопрос, который надо задать себе, и политическая экономия сделала ошибку, что обошла этот вопрос, не заметив его.

Итак, надо доказать то, что утверждают экономисты. Мы можем сделать это, показав, что богатство представляет собою воплощение

некоторой комбинации желания и верования (где желание играет главную роль), и напомнив то положение, что, во-первых, все наши страсти, все наши страдания и наслаждения представляют собою простые или сложные движения положительных или отрицательных желаний, подобно тому, как все наши ощущения и идеи представляют собою извлечения из суждений, из деяний веры, и, во-вторых, что как при различных состояниях одного и того же индивидуума, так и у различных индивидов, верование и желание не меняют своего характера и заключают в себе бесчисленные степени интенсивности, симметрично противоположные друг другу, и, следовательно, могут законно вычитаться или складываться. К несчастью, политическая экономия до сих пор не создала, где находится ее настоящая точка опоры.

Все предписания этой науки основываются на суждениях об общей более или менее значительной пользе; все ее формулы выражают, или предполагается, что выражают, отношение между особенными, одновременно возрастающими или уменьшающимися сущностями, которые рассматриваются ею как действительные количества: труд, кредит, капитал, ценность и т. д. Конечно, это не настоящие количества, но тем не менее, в них несомненно есть нечто количественное, и то же самое я сказал бы обо всем, что в обыденной речи рассматривается как нечто способное к уменьшению и увеличению, как нечто выше или ниже чего-нибудь другого. Итак, всякий раз, когда экономист бывает принужден употребить такие обычные выражения, как сокращение или расширение кредита, прогресс благосостояния и деятельности, и т. д., то или он говорит с тем, чтобы ничего не сказать, или же, не сознавая того, утверждает, что эти собрания или нагромождения вещей, по внешности самых разнородных (труд — собрание самых разнообразных мускульных или умственных усилий, капитал — собрание всякого рода запасов, кредит — собрание актов веры, и т. п.) представляют собою в сущности итоги однородных и сравнимых между собою вещей, итоги, которые надо подвести. В этом-то и заключается трудность. Какие это вещи? До сих пор на это отвечали: степени страдания или наслаждения, сопровождающие сгруппированные таким образом многообразные состояния ума. Таков неполный анализ утилитаристов.

Совершенно не замечая умственного и юридического элемента, который, однако, прямо бросается в глаза в кредите, и упорно стараясь видеть в безопасности только выгоду, которую можно свести к удовольствию, а в усилении — только более или менее сильное и продолжительное страдание, они думали, что альфа и омега, причина и цель политической экономии резюмируются в двух словах: страдание и наслаждение. Идеалом было бы получение максимума наслаждения с минимумом страдания.

Это представляет сильное искажение истины, которое не только ничего не объясняет, но все запутывает, так как в страданиях и наслаждениях, которые все своеобразны, преобладают качественные черты, не поддающиеся измерению. Но исследуем эти две идеи. Что наслаждение есть просто только свойство ощущения, поскольку оно желательно, а страдание — только свойство ощущения, поскольку оно избегается, — это можно считать очевидным. Продолжим анализ и, быть может, в страдании, физическом или моральном, и в наслаждении, также физическом или моральном, увидим постоянное и бессознательное, только попеременное повышение или понижение нашей веры в самих себя, в наше достоинство, в наше могущество, в наши физические или моральные, индивидуальные или социальные способности.

Итак, окончательно, вопрос заключается в том, действительно ли желание и вера представляют количественный характер. Если да, то экономическая наука возможна, если же нет, то ее вполне справедливо называют плохой литературой. Политическая экономия, скажем это еще раз, неизбежно, не бессознательно постулирует те самые положения, которые я устанавливаю и развитие которых составляет предмет этого сочинения.

Пока политическая экономия будет упорно обосновываться на двусмысленном понятии услуг, удовлетворений, представляющем, повторяю снова, желание и веру, скомбинированные с несходными между собою элементами ощущений, разнородность которых особенно резко выступает в этом понятии, до тех пор эта наука будет радикально неспособна к философскому развитию. Двусмысленность этой идеи услуги способствует продолжению спора между теоретической,

дедуктивной, обобщающей, унитарной школой экономистов, подобных Рикардо, Стюарту Миллю и большей части французов, и школой исторической, индуктивной и партикуляристической, которая то усиливается, то ослабевает, но никогда не может уничтожить своих соперников и не перестает с ними бороться. Почему происходит эта борьба? Потому что одни, сами того не зная или ясно не замечая, опираются на то, что обуславливает присутствие чего-то во всяком случае сравнимого, действительно тождественного, измеримого или в своей сущности поддающегося приблизительной оценке во всех самых разнообразных наслаждениях или страданиях: зрения, слуха или всякого другого чувства, физического или морального, откуда они получают право группировать в одно целое эти наслаждения и страдания, между тем как другие не без основания, по-видимому, восстают против этого и указывают на радикальное различие удовольствий или страданий, рассматриваемых как ощущения. Последние анализируют, например, слово «богатство», которое в политической экономии то же, что сила в механике, — основная вещь, производство, направление и потребление которой следует изучать. Но что такое богатство? Стада пастушеского народа, возделанная земля крестьянина, шкатулка скупца, гардероб женщины и т. д., — сколько предметов, столько и особых наслаждений без всякого отношения друг к другу, без общей меры, говорят они...

Если они правы, то политическая экономика основывается на *flatus vocis* или на основе, чуждой науке, так как науке не подлежит то, что качественно. Подобным образом, в этом случае надо согласиться с Курно, что общий знаменатель ценностей, — деньги, как металлические, так и бумажные, — совершенно фиктивен и условен. Но если, сообразуясь с нашей точкой зрения, отдать справедливость каждой из этих двух школ, то пойдем, почему первая осталась непобедимой, несмотря на эрудицию, остроумие и изощренный здравый смысл, какие проявила вторая. Однако она была бы еще гораздо сильнее, если бы сознавала свой истинный *raison d'être*, а именно теоретическую возможность измерять веру и желание. Я говорю «теоретическую», и этого достаточно для того, чтобы могла существовать экономическая наука. Но невозможность практического, удобного измерения верования

и желания, поддающихся измерению только в массе и с недостаточным приближением, всегда будет мешать этой науке окончательно установить, сформулироваться в точные и допускающие проверку законы.

Когда экономисты случайно опирались больше на идею желания, а не на идею услуги, то они делали из этого довольно жалкое употребление. Они, например, принимали за источник производства желание богатства. Желание богатств в политической экономии то же, что желание счастья в морали: чистая тавтология. Было бы равнозначно сказать желание желаемого, так как самый факт индивидуального желания возвышает состояние какой бы то ни было души до степени счастья, а самый факт общего желания возводит какой бы то ни было предмет или услугу на степень богатства. Еще следовало бы различать желание производить богатство — то, что называют трудом, — от желания приобретать его или сохранять, чтобы превращать его в личные удовлетворения, что называют потреблением.

## II

Впрочем, с нашей точки зрения пробелы политической экономии велики и очевидны, и мы не станем долго останавливаться на разборе этого. Нам достаточно будет отметить, что она забыла ту роль, какую играет подражание в занимающих ее фактах. Предположите, что какой-нибудь рынок составлен из весьма самобытных покупателей, у каждого из которых свои особые вкусы, потребности, своя личная манера оценивать предметы; например, предположите, что англичанин, китаец, индус, ирокез, араб, грек времен Перикла, египтянин эпохи Рамзеса и т. д. собрались вместе для взаимного обмена продуктами. Обмен был бы еще возможен, но не оценка в экономическом смысле этого слова. Последняя требует в качестве постулата известного сходства в потребностях и в оценках, что может получиться только при продолжительном действии подражания. Тот признанный факт, что вообще (но не всегда) на одном и том же рынке существует только одна цена, можно объяснить только таким образом; это исходный пункт Рикардо в его теории ренты, этом превосходном путеводном огне, хотя она узка и сильно нуждается в разъяснении, как я это только что показал. Почему



очень богатый покупатель, живущий в цивилизованной стране, нашел бы очень дурным, если бы захотели заставить его заплатить за то, что он получает, пропорционально цифре его дохода в соединении с силою его желания? Только потому, что он всю свою жизнь сравнивает себя с другими и берет их за образец, как в покупке, так и в продаже, — потому, что эта непреодолимая привычка заставляет его смотреть как на полную справедливость на это очень удобное, конечно, в практической жизни, но тем не менее, несомненно, несправедливое и нерациональное уподобление как на самую справедливость.

Знаменитый, столь пустой и неопределенный закон спроса и предложения ложен вследствие упущения из виду того же основного соображения. Когда какое-нибудь лицо, желающее купить данный предмет по такой-то цене, узнает, что другой хочет купить тот же предмет по такой же цене, то его личное желание тотчас же усиливается настолько, что он согласен был бы приобрести его по более высокой цене; а это другое лицо, узнав об этом, в свою очередь чувствует, что его желание возрастает и повышается та максимальная цена, какую он готов был бы заплатить. В этом возрастающем усилении желания купить, какое проявляется каждый день в горячности надбавок на аукционах, а также в преувеличенном желании продать в противоположном, но аналогичном случае, наблюдается явление взаимного попеременного и накапливающегося подражания, не объяснимое принципом индивидуальной выгоды, из которой экономисты хотят вывести все. Это взаимное живое влияние соперничающих вожелдений, несогласное с так называемой экономической аксиомой, и представляет собою все, что есть верного в сущности закона спроса и предложения. Кроме того, соперничают между собою не одни только различные желания купить или различные желания продать; забывают сказать нам, что первые влияют на вторые, и обратно. Но в каком направлении? Справедливо ли, что когда тот, кто спрашивает, замечает, что тот, кто предлагает, сильно хочет продать, то его желание купить уменьшается? Нисколько; правда, иногда при этом увеличивается его надежда купить по более низкой цене (его надежда, т. е. степень его верования относительно этой уступки в цене). Но несомненно, что цена не будет

понижена, если цены в магазине считаются неизменно установленными, а этот случай стремится стать всеобщим; желание приобретателя купить скорее симпатически возрастет, а не уменьшится от проявления желания продать. Спрос в этом случае, — как это известно всем приказчикам магазинов, — не только не обратно пропорционален предложению, но даже до известной степени прямо пропорционален ему. Предупредительные манеры продавцов, побуждения к потреблению, наконец объявления и рекламы, в которых без всяких недомолвок высказывается жгучее желание продать, редко остаются недействительными. Впрочем, довольно об этом так называемом законе, к которому не знаешь, с какого конца приступить, и с которым Курно первый расправился по справедливости<sup>156</sup>.

Если политическая экономия постулирует деятельность подражания, то в силу этого она, прежде всего, постулирует деятельность изобретения. Каждое ремесло, т. е. таланты, привычки и желания производства, каждая из потребностей, т. е. виды, привычки и желания потребления, общий результат которых она изучает под названием богатства, все это зародилось под влиянием какого-нибудь древнего или современного гения. Потребность курить, пить чай или водку, есть хлеб, ездить верхом или в карете, а также искусство производить табак, возделывать и обрабатывать чай, перегонять спирт, производить рожь, квасить тесто и печь его, ремесло шорника и каретника — все это имеет источником открытие свойств табака, чая, алкоголя, изобретение плуга и вообще земледелия, идею приручения лошади и столь удивительную идею езды верхом, столь простое и столь плодотворное изобретение колеса.

Изобретения бывают двух родов. Одни (литературные, художественные, иногда промышленные, например, кулинарные) дают человечеству новую комбинацию ощущений или образов, делающихся вскоре объектом особого желания. Драматурги создали влечение к театру; каждый драматический писатель создавал влечение к своему личному жанру. Другие (почти все промышленные: ткацкое ремесло, книгопечатание, фотография и т. д.), понижая цену, по какой они дают возможность предлагать уже известные предметы, удовлетворяющие

старинные потребности, делают эти предметы доступными многим людям, которые в противном случае никогда не стали бы думать об их приобретении. Следовательно, они порождают у этих людей соответствующие желания, не существовавшие у них раньше. Мы видим, что тем или другим способом первичной причиной экономического желания бывает изобретение. Я оставляю в стороне, как слишком элементарные, некоторые совершенно первобытные желания, подобные желанию видеть дневной свет или напиться воды из источника. Замечу еще здесь, что направление этих число физиологических желаний, т. е. их специфическое проявление во всякий данный момент, обуславливается социальным влиянием, разрешающимся в изобретениях. Предметы, какие я желаю видеть, открывая глаза, и которые я в самом деле вижу, указываются мне всеми учеными или художниками, идеи которых сформировали мой ум. Даже когда я хочу пить и притом пить чистую воду, то и тогда мое желание пить из стакана, а не из горсти представляет собою результат многих изобретений: металлов, стекла, гончарного круга и т. д.

Богатство представляет собою не только желание, но и веру<sup>157</sup>. В самом деле, полезность предмета или услуги, воплощаемое ими богатство, состоит в том, что они или вызывают доверие, гарантируют спокойствие (таково, например, действие закладной на недвижимое имение или прививки оспы) или дают сведения, сообщают какую-нибудь истину (таково действие книги или научной беседы), или же отвечают какому-нибудь желанию. Даже в последнем случае полезность этого предмета или этой услуги зависит: 1) от интенсивности того верования, с каким считают его способным удовлетворить потребность, осуществить хотение; 2) от интенсивности желания, предвидением которого является та потребность, о которой идет речь, или обдуманном выбором которого из среды других, признанных более слабыми, является то хотение, о котором идет речь. Эти два элемента так тесно связаны между собою в идее полезности, что уменьшение одного из них может компенсироваться увеличением другого. Два водолечебных курорта могут обладать равною полезностью, если один из них считается наверно излечивающим какую-нибудь легкую болезнь вроде горловых болезней,

а другой считается, хотя и не с полной уверенностью, имеющим некоторое влияние на более тяжелые болезни вроде хронического бронхита. Когда говорят, что прибыль предпринимателя является в некоторой части вознаграждением за риск, которому он подвергался, то этим признают законность подобной компенсации. Более сильное желание, возбуждаемое в сердце предпринимателя приманкой прибыли, значительно превышающей плату его рабочим, утешает его в том, что он не так уверен в своем успехе, как онн в получении своей платы.

Но изобретение является матерью как веры, так и желания. Открытия, которые заключаются в создании нового доверия или новых достоверностей, в увеличении социальной суммы веры, бывают по преимуществу открытиями научными; не забудем, однако, включить сюда идеи административные, законодательные, военные и судебные. Открытие причин в астрономии, физике, химии и биологии последовательно уничтожало нашу неуверенность в их областях и порождаемые этим сомнением суеверные ужасы. Наука успокоила нас таким образом, например, по отношению к затмениям и в то же время просветила нас новыми познаниями. Прибавим, что постепенное улучшение методов обучения позволило распространять блага этого высшего просвещения в среде все более низких и широких слоев общества. Но это производство только познаний, а не богатства, и политической экономии нет надобности заниматься прогрессом в этой области. Несколько более она интересуется прогрессом в следующих областях. Вековые успехи законодательства, администрации, вооружения, стратегии можно рассматривать как последовательный ряд настоящих изобретений, при помощи которых государство, эта великая компания взаимного всеобщего страхования, или создает новые виды неизвестных до того гарантий (например, почти полную уверенность в том, что не будешь убит ворами на больших дорогах, где бодрствует Св. Германдада; хартии или какие-нибудь договоры, которые гарантируют такой-то город или класс, такую-то профессию против произвола другого города или класса; личные гарантии, придуманные нашими современными членами законодательных собраний) или переносит и распространяет на более значительное число граждан некоторые виды

гарантий, уже дарованных их небольшому числу (например, распространение на Италию, а потом и на всю Римскую империю прав римского гражданства; освобождение крепостных в России; ночь 4-го августа, которая распространила на всех привилегии, превратившиеся в условия свободы; преобразование ограниченной подачи голосов в подачу, называемую всеобщей). Наконец, даже самые успехи промышленности являются производителями веры. Громоотвод — промышленное приложение научного открытия — представляет собою обеспечение от молнии — обеспечение, о котором не помышляли до Франклина. Пароходы, перевозящие хлеб из одного Света в другой, представляют собою обеспечение от голода. Нет ни одного нового усовершенствования в какой бы то ни было отрасли производства, которое не увеличивало бы уверенности в удовлетворении той потребности, какой она соответствует.

Одним словом, оба составных элемента полезности: верование и желание, одновременно порождаются или увеличиваются гением изобретательности. Итак, первичной причиной богатства бывает изобретение.

Если бы экономисты обратили внимание на этот высокий источник той многоводной реки, географами которой они себя называют, то они не сделали бы досадной ошибки, включая изобретение в труд, и избежали бы весьма многих бесполезных недоумений в определении капитала. Экономисты должны были бы заметить, что труд представляет собою группу сходных поступков, актов, повторяемых по сознательному или бессознательному примеру, поданному первым таким актом, который исходит никак не от самого работника, а от какого-нибудь древнего или современного, известного или неизвестного изобретателя. Крестьянин, обрабатывающий землю, проводя по ней параллельные борозды; виноградарь, посыпаящий серой или сульфатом свой виноградник; ткач, работающий своим челноком; кочегар на паровозе, бросающий через равные промежутки одну лопату угля за другой в огненную пасть очага, — все они при каждом своем усилии только и делают, что подражают кому-нибудь, а именно изобретателю или изобретателям плуга, посыпания виноградников серой или сульфатом, ткацкой машины, паровоза.

Итак, труд представляет собою только одну из отраслей подражания. Если бы на это обратили должное внимание, то никогда не было бы опасности забыть, что необходимым и неизбежным коррелятивом труда является не самый капитал, а изобретение, если только не считать последнее, — как это и следовало бы, — капиталом по преимуществу. Экономисты, упустив из виду идею изобретения, обезглавили свою науку. Иногда они включали эту идею в идею труда, как вид в род. Странный вид, без которого не мог бы существовать род! Отсюда такое множество ложных определений, которыми воспользовался социализм. Например, под одним и тем же термином «продукт» разумеют разом продукты, называемые материальными, и продукты, называемые не материальными, смешивая без разбора открытия и их распространение, создания искусства и их промышленные воспроизведения. Таким образом делают необъяснимой и ничем не оправдываемой художественную и литературную собственность.

«Труд, — говорят также, — представляет собою источник всякого богатства и всякой цивилизации». Такова та аксиома, которую с одобрения экономистов берут за исходную точку социалисты. Никому не приходит в голову оспаривать это, а раз это допущено, отсюда логически вытекает законность непомерных требований, предъявляемых «работниками». Единственный способ опровергнуть их или низвести до справедливых размеров заключается в том, чтобы выяснить капитальное значение изобретения в деле получения ценностей и богатств. Пусть кто-нибудь откроет прядильное вещество лучше хлопка, и все хлопковые мануфактуры потеряют девять десятых своей ценности. Пусть кто-нибудь откроет питательное вещество, которое по своим питательным качествам, по легкости производства и дешевизне было бы выше хлеба и картофеля, и вся хлебная торговля сведется к нулю, а относительная ценность земли подвергнется сильному изменению. Пусть кто-нибудь откроет более экономный способ отопления, и тотчас же будут обесценены все употребляющиеся теперь способы. Пусть кто-нибудь откроет новую форму красоты в поэзии, в музыке, в живописи, на сцене, и тотчас же все ее старые виды выйдут из моды и произведениями их адептов перестанут торговать совсем или почти совсем.

Нет земледельческой, промышленной, эстетической или какой-либо другой ценности, которая не находилась бы в полной зависимости от случайного открытия. Но, с другой стороны, от возможного открытия зависит также придание большой ценности тому, у чего ее совсем нет в настоящее время. Какую цену приобретает участок бесплодной земли в тот день, когда на нем случайно открывают залежи каолина!

Таков истинный источник ценности, и вот почему наиболее изобретательный класс общества, будь он даже самым праздным, имеет право на широкое участие в социальных благах, особенно если сообразить, что относительная праздность является необходимым условием свободы мысли и плодovitости воображения. Вот почему также капитал — этот другой идол экономистов, поклоняющихся ему, не понимая его, — никоим образом не представляет собой накопленного труда, по крайней мере по своему существу, но прежде всего является именно накоплением изобретений. Долго мучились над таким его определением, которое ясно разграничивало бы его от простых продуктов труда, как в том чувствовалась потребность. Те, кто были ближе к истине, говорили: это — часть продуктов, предназначенная для их воспроизведения. Вызывать воспроизведение — такова, в самом деле, высшая способность капитала, должным образом понимаемого. Но чему присуща эта способность? Продуктам или определенному виду продуктов? Нет, счастливым инициативам, память о которых сохранилась. Капитал — это традиция, социальная память, которая бывает для обществ тем же, чем является для живых существ наследственность — жизненная память, загадочная по самой природе своей. Что же касается продуктов, сберегаемых и отлагаемых в запас для облегчения получения новых экземпляров, сходных с образцами, какие были выработаны изобретателями, то они относятся к самым образцам — этим истинным социальным зародышам — так же, как семянодоли — эти простые запасы питательных веществ растительного посева — относятся к зародышу. Тем, которые стали бы держаться еще догмата постоянства прогресса, я заметил бы, что мое определение позволяет устранить самое опасное из возражений, на какое наталкивается их тезис: за великолепием Римской империи следуют средние

века. Весь накопленный за время империи труд: дороги, мосты, цирки, бани, водопроводы, библиотеки, — был уничтожен в эту эпоху, и если капитал представляет собою только труд, то несомненно, что человечество потеряло тогда свои воспроизводительные силы, — очевидное движение назад. Но это не представляет никакого значения, если капитал есть прежде всего, — если мне позволят так выразиться, — пакет зерен, без заметного ущерба сохранившийся в тиши нескольких монастырей в ожидании новых лучших дней и даже увеличившийся в течение этой долгой зимы на несколько драгоценных семян, из которых вырос новый мир.

Генри Джордж прав, указывая вместе с Стюартом Миллем, что богатство не может накапливаться в значительных размерах, что в действительности, когда мы думаем, что оно накапливается, оно только возобновляется, а потому опустошения, произведенные войной или землетрясением, исправляются с удивительной быстротой. Но если это справедливо, то не менее справедливо, что изобретения — эти родоначальники богатства — способны к безграничному накоплению. Итак, они не представляют собою продукта, подобно богатству. Прибавьте еще, что если они могут накапливаться, то они могут также заменять и уничтожать друг друга. Всякий переворот в обычаях, идеях и нравах производит в результате огромное уничтожение гениальных идей, ставших бесполезными, внезапно обесценившихся и заменяемых иногда приливом иноземных изобретений, которые нельзя считать прогрессом по отношению к первым. Это такая сторона вопроса, на которую не обращают внимания ни экономисты, ни социалисты. Стремление к полезному дополняется изгнанием бесполезного, так легко превращающегося в помеху и даже в преступление: таковы две стороны социального утилитаризма, этой медали, на которую вообще смотрят только с одной стороны.

Экономисты, делающие труд, т. е. одну из отраслей подражания, единственным деятелем социального прогресса, повторяют в социологии точку зрения Дарвина на биологию, считающего обыкновенную преемственность поколений единственным фактором жизненного прогресса. Подобно тому, как экономисты, как это легко можно было



видеть, не сознают здесь важной роли изобретения — этого пере-  
межающегося, многообразного источника непрерывного труда, так и  
Дарвин, по нашему мнению, неправ, упуская из виду преобладающее  
влияние чего-то неизвестного, которое находится, так сказать, в  
бесконечно малой тесной связи с живым элементом и относится или  
кажется относящимся к обыкновенным жизненным фактам так же, как  
какое-нибудь открытие относится к идеям, полученным от других, как  
проявление гения относится к рабочему дню. Другими словами, Дарвин  
хотел произвести нововведения жизни из самого накопления био-  
логических повторений, тогда как в нашей среде, в наших социальных  
организмах мы ясно видим, что повторения рождаются из нововведений,  
что промышленный труд рождается из научных теорий, а подража-  
ния — из изобретений. Его заблуждение аналогично заблуждению  
экономистов. Но очень важно точно различать то, что они смешивают.

Хотя несомненно, что изобретатель почти всегда много работает  
и что иногда работник сам что-нибудь открывает, но все-таки  
изобретатель отличается от работника характеристическими особен-  
ностями. Изобретатель — великое удовольствие, а работать всегда  
тягостно. Когда гениальный человек говорит *εὐρύχα*, все его пред-  
шествующее утомление превращается в ничто; в самом деле, сильно  
оно или слабо, продолжительно или кратковременно, оно не пред-  
ставляет никакого значения для ценности его открытия; для того  
денежного вознаграждения, которое он за него получит. Ему заплатят  
за его удовольствие, а не за страдания. Если бы он умер за минуту до  
этого счастливого чувства открытия, все страдания его исследований  
не имели бы никакой ценности. И цена его творения скорее про-  
порциональна силе его наслаждения, а не напряженности его труда.  
Не видеть в этом вине, которое я пью, в этом вагоне, в который я  
вхожу, в этой книге о происхождении видов, которую я перечитываю,  
не видеть во всем, что я потребляю, ничего, кроме плода человеческого  
труда, производимого в поте лица, — труда виноградаря, заводчика,  
типографа, — это значит стоять как на ложной, так и на безотрадной  
точке зрения; было бы точнее и вместе с тем отраднее видеть в этом  
воплощение восторженного энтузиазма Ноя или кого-либо другого,

Уатта, Стефенсона или Дарвина. Может показаться странным, что один человек так вознаграждается за свое счастье. Но счастье изобретателя несправедливо приблизительно в такой же мере, в какой красота бесполезна. Всякая отрасль труда, т. е. всякий вид справедливости, истекает из этой несправедливости, как всякая полезность связана с этой высшей бесполезностью.

Во-вторых, изобретать значит, заведомо или нет, жертвовать собою; работать значит, сознательно или бессознательно, преследовать свои выгоды. Изобретатель становится вещью, принадлежащей его неотступной идее, — она подчиняет его себе. Он преследует ее не потому, что раньше, чем пожелать ее, увидел в ней свое высшее благо, но, наоборот, она становится его высшим благом потому, что он стремится к ней. Напротив, работник, прежде чем начать работу, знает, к каким благам он стремится, и принимается за свою работу только как за средство их приобретения. Он пользуется идеей изобретателя, который сам находился у нее в подчинении. Но, скажут мне, разве личный интерес не бывает всегда побудительной причиной наших действий? Нет, если только не свести эту банальную аксиому к простой тавтологии, как это чаще всего и делается. Если под этим подразумевают, что желаемый предмет всегда представляется приятным, то я замечу, что данный предмет кажется приятным именно потому, что его желают, а это удивительное положение сводится к тому, что в сущности желают всегда того, чего желают. Но почему желают этого, а не другого? Всегда ли в силу личной выгоды? Никоим образом, так как личная выгода, если только хотят придать этому выражению верное значение, предполагает, что мы уже испытали много желаний, стремились ко многим вещам без малейшей заботы об этой выгоде. Можно сознательно или бессознательно стремиться к своим благам только после того, как мы облечем их в форму. Существует возраст, когда мы впервые раскидываем наши желания, как стрелы, по окружающему нас обширному миру; это тот возраст, когда мы начинаем ставить себе цели или облачаем в форму наши блага; затем наступает следующий возраст, когда, покончив с их созданием, мы начинаем преследовать их. Но изобретатель никогда не переходит за пределы первого из этих

возрастов. Это его отличительная черта. Работник быстро переходит во второй возраст, но изобретатель, — повторяю снова, — подчиняет свой постоянно возрастающий и остающийся неполным эгоизм и не может не подчинять его своему первоначальному бескорыстию. Для всех его расчетов данными служат его убеждения или его страсти, которые, будут ли они скопированы или зародились самопроизвольно, — живут им, а не для него<sup>158</sup>.

### III

Словом, первичными данными политической экономии являются промышленные изобретения, уже пущенные в ход. Ими произведено все то богатство, каким занимается эта наука; поэтому-то и так как подаваемые ею советы относятся к работникам, а не к изобретателям, так как ее утверждения почерпнуты в деятельности первых, а не во вдохновении вторых, можно сказать, что ее действительным предметом является не производство, а именно воспроизводство богатств. Другими словами, она попросту, сама того не подозревая, изучает только законы подражания с своей особой точки зрения. В самом деле, ничего нельзя объяснить экономически, не принимая в расчет подражательного распространения примеров — примеров воспроизводительных актов или потребляющих потребностей — в геометрической прогрессии, сверху вниз, в силу обычая или моды и т. д. Такого рода соображения должны были бы наполнить собою первую часть политической экономии, но она ограничивается только тем, что должно было бы составить ее вторую часть, — я хочу сказать, изучением ценности. Приступим к этому трудному исследованию, войдем в этот темный лабиринт, где путеводною нитью послужат нам принципы логики в том виде, в каком мы ее понимаем. Мы увидим, что экономисты сделали здесь ошибку, смешали то, что относится к индивидуальной телеологии, с тем, что касается телеологии социальной<sup>159</sup>, и недостаточно отличали телеологический поединок желаний, противодействующих друг другу, от телеологического сочетания желаний, помогающих одно другому.

Слово «богатство» было выше принято как синоним полезности. Полезен тот предмет или полезна та услуга, которые отвечают какому-

нибудь желанию, всегда создаваемому или точно определяемому, как мы знаем, каким-нибудь изобретением. Притом же, борется ли это желание с каким-нибудь другим желанием или нет, противодействует ли изобретению — родоначальнику этого желания какое-нибудь другое изобретение или нет, — это не касается понятия полезности. Когда то желание, которому отвечает какой-нибудь предмет или услуга, удовлетворяется только при условии пожертвования другим желанием, то его полезность получается не даром — она имеет стоимость; этот предмет или эта услуга стоят столько, во сколько они обошлись. Итак, я утверждаю, что в этом смысле ценность имеет значение телеологической дуэли, что я и докажу сейчас. Но я утверждаю также, что этот смысл не единственный, что существует еще другой, указываемый обыденным языком и оставленный без внимания экономистами. Если есть желания, мешающие друг другу, то есть и такие желания, которые взаимно помогают одно другому, а когда удовлетворение одного желания дает возможность лучше удовлетворить другое, то полезность предмета, отвечающего первому, не только нам ничего не стоит, но даже, напротив, имеет для нас ценность в силу увеличения полезности другого предмета, способного удовлетворить второе желание. В этом новом смысле, противоположном и дополнительном по отношению к первому, ценность означает телеологический союз. Будем тщательно различать ценность-борьбу и ценность-помощь, иначе говоря, цену вещей и силу их действия, уменьшение их полезности путем вычета других полезностей, приносимых им в жертву, и увеличение их полезности путем прибавления других, доставляемых ими полезностей.

Весь экономический прогресс состоит в постепенном замещении первого смысла вторым. Значит ли то, что цивилизация уменьшает столкновения желаний? Нисколько; она их размножает, умножая богатства, заставляющие сталкиваться в сердцах людей столько соперничающих вожелений, но она постоянно смягчает эти столкновения путем промышленных улучшений и понижения цен, а в то же время еще быстрее, чем столкновения, она умножает союзы между желаниями, увеличивая число видов деятельности и открывая новые рынки, заставляя непрестанно прогрессировать обмен, организацию

труда, сознательную или бессознательную ассоциацию. Но мы еще вернемся к этому впоследствии.

### Теория ценности

Заметим прежде всего, что ценность, рассматриваемую как столкновение или как взаимопомощь полезностей, можно понимать в двояком значении: в психологическом и экономическом. Займемся прежде ценностью-борьбой — ценностью в собственном смысле слова. Робинзон, колеблющийся между двумя доступными ему благами, которых он, однако, не может получить разом, например, между поимкой крупной рыбы и большого зайца, за приобретение одного из них должен заплатить отказом от другого. Если он колеблется между привлекательностью какого-нибудь блага и страхом перед каким-нибудь злом, например, между удовольствием убить тигра и страхом быть им растерзанным, то благо имеет для него ценность опасности зла. Итак, ценность обозначает результат столкновения между двумя или несколькими, сознательными или бессознательными, телеологическими силлогизмами, в каждом из которых большою посылкой служит испытываемая потребность, малой — суждение относительно средства ее удовлетворения, а заключением — обязанность приобрести или сохранить это средство. Речь идет о том, чтобы пожертвовать одной из этих обязанностей для другой. Чтобы от этого вполне индивидуального значения ценности (ценности-борьбы) перейти к обыкновенному ее значению, к какому приучил нас обмен, достаточно допустить, что те блага или то благо и то зло, между которыми колеблются, принадлежат двум различным личностям, членам одного и того же общества или одного и того же народа<sup>160</sup>. В этом случае стремление к благу, принадлежащему другому, вообще говоря, может удовлетвориться только путем обмена или, что сводится к тому же, путем покупки. Заметим, впрочем, что обмену предшествовал грабёж, обоюдной формой которого является обмен. Еще до появления какой бы то ни было ценности обмена, стада скота представляли ценность грабежа, когда эта добыча захватывалась у врага ценою ран и риска погибнуть. Итак, идея эквивалентности существовала еще до обмена, единственная заслуга

которого заключается в том, что он выяснил эту идею. В конце концов обмен представляет собою только коммерческое выражение разделения труда, — понимайте, — организации труда, т. е. подразумеваемой или очевидной, незамечаемой или очевидной ассоциации; он — только остроумный прием реального распределения богатств согласно желаниям членов ассоциации, прием очень древний и очень распространенный и, наверное, в настоящее время самый лучший, но совсем не единственно возможный. Есть и другой способ, как, например, раздача записок на получение хлеба, мяса, сахара и т. д., который, заменяя собою обмен в коммунистическом государстве, в этом конечном возврате к первобытному государству-семье, заставил бы потерять всякое значение вопрос о том, равноценны ли два таких-то продукта, и поставил бы на первое место вопрос о том, способствуют ли они достижению общей цели, сходятся ли они в своем стремлении к общему результату, к какому стремятся различные работники. Подобным образом в рядах армии, этого военного фаланстера, вопрос для каждого солдата или для каждого офицера заключается не в том, чтобы получать от других услуги в точности равные тем, какие он им оказывает, а в том, чтобы по возможности лучше способствовать, хотя бы и не в одинаковой мере, общей победе. Для идеального чиновника главной заботой должно быть не то, чтобы работать столько же, сколько и его коллеги, но чтобы выполнить порученное ему дело. Однако, сделавшись менее употребительной, идея эквивалентности отнюдь не перестала бы существовать в глубине умов (точно так же, как раньше, при господстве менового режима, проглядывала идея некоторой общности направления, сметного одновременного приспособления всех деятельности к некоторому коллективному идеалу, хотя и игравшая менее важную роль); доказательством этому служит то, что коммунизм, если станем судить о нем по его первым социалистическим ступеням, проявился в необыкновенном развитии статистики, в цифровой, все более и более точной и общей оценке всех продуктов и всех услуг в инвентаре национального богатства. Оценивать таким образом всякую вещь значит приписывать им ценность распределения или даже ценность обмена, это значит предполагать, что у них есть общая единица меры, что они способны быть эквива-

лентными, равными друг другу по ценности, а это значит, — повторяю, — что верования и желания, связанные со всеми этими вещами, представляют собою количества.

В теориях ценности, какие были составлены до сих пор, есть один важный класс ценностей, которыми занимались меньше всего на свете, хотя они играли и играют еще очень важную роль на войне и в деле наказания. Я говорю об эквивалентности ущербов знакомой умам, увы! — не менее эквивалентности услуг. Ценность грабежа предполагает в войне или в воре, оценивающим во что может ему обойтись добыча, внутреннее сопоставление искомой выгоды с риском, которому он подвергается. С другой стороны, когда воины сражаются между собою и когда общество честных людей воздаст преступнику часть того зла, какое он причинил ему, то даже в этом последнем случае мы видим, что сквозь самые сложные идеи справедливости и общественной пользы пробивается понятие об эквивалентности ущербов, без которого нельзя было бы объяснить ни военные репрессии, ни вендетту, ни уголовный кодекс какого бы то ни было народа. Пусть попробуют, если могут, оправдать эту ценность при помощи закона спроса и предложения или при помощи редкости в соединении с полезностью.

Вообще мы утверждаем, что все проблемы, относящиеся к ценности, сводятся к тому, чтобы привести к равновесию желания и верования, входящие в противопоставляемые друг другу телеологические силлогизмы. В коммунистическом обществе это было бы очевидно: почему такой-то билет на концерт считался бы стоящим ровно столько же или вдвое, втрое, вчетверо больше, чем такой-то билет на проезд по государственной железнодорожной линии, если не потому, что желание иметь тот или другой из них<sup>161</sup> бывает в среднем равным или вдвое, втрое, вчетверо большим в сердцах тех, кто испытывает оба эти желания разом? Поэтому достаточно было бы приезда известной певицы или недавнего несчастного случая на той железнодорожной линии, о которой идет речь, чтобы быстро повысить или понизить котировку каждого из этих предметов. Ясность рассуждения зависит здесь просто от того, что, согласно гипотезе, богатство всех людей было бы одинаково, т. е. оно было бы равно нулю или около того, и

от того, что — также согласно гипотезе — социальные сношения между индивидами стерли бы с них всякую оригинальность до такой степени, что сделали бы приблизительно одинаковой относительную интенсивность различных желаний у всех людей, испытывающих их одновременно. Если бы эти два условия были также хорошо выполнены в нашем меновом обществе, то наша точка зрения применялась бы к нему без малейшего затруднения. Но, как известно, доходы у нас очень неодинаковы и отнюдь не меньше неодинаковость прихотей и вожделений. Отсюда проистекает двойная причина осложнений, объясняющая кажущуюся неясность предмета. Попытаемся разъяснить этот пункт.

Предположим, что на одном из наших современных рынков у всех личностей, желающих приобрести некоторый продукт, состояния одинаковы и что желание приобрести этот продукт в каждом из них оказывается одинаковой относительной силы по сравнению с силой всех других их желаний. Отсюда следует, что каждый из них будет расположен для удовлетворения своего каприза заплатить, если это будет нужно, одну и ту же максимальную часть своего полного дохода, например, самое большое, 1000 франков. Почему же? Потому что желание, удовлетворяемое тем продуктом, о котором идет речь, все еще является наиболее сильным, но ненамного, среди всех различных желаний, удовлетворения которых возможно было бы достигнуть при помощи этой суммы и которыми приходится пожертвовать для одного из них при расходовании этих 1000 франков. Но если бы цена была выше, например 1100 франков, то выступили бы вперед более сильные желания и одержали бы верх над этим желанием. Итак, эта цена устанавливается путем внутренней борьбы, происходящей в сердце каждого, намеревающегося сделать покупку. Какое же значение представляет после этого, с точки зрения установления цены, число лиц, конкурирующих между собою (по крайней мере, если каждый из них соображается только со своими выгодами и не подвергается никакому заразительному иррациональному влиянию чужого желания)? Сотня ли их или миллион, но фабрикант, которого мы предположим пользующимся монополией для простоты вопроса, будет знать заранее, если ему известны эти обстоятельства, что он должен оценить свой продукт



в 1000 франков, — не больше, не меньше. Он будет производить больше или меньше, смотря по предполагаемому числу покупателей, но цена не будет меняться.

Итак, в этом случае соперничество между покупателями не играло бы никакой роли. В самом деле, само по себе оно нисколько не действует на цены, несмотря на противоположный предрассудок. Число тех, кто желает иметь какой-нибудь предмет, только косвенно влияет на его цену, увеличивая расстояние между наиболее высокими и наиболее низкими степенями богатства, между наиболее сильными и наиболее слабыми желаниями, оспаривающими этот предмет друг у друга, а также возбуждая дух соперничества и соревнования. Как бы ни было мало какое-нибудь государство, но если неравенство состояний в нем очень велико, то редкие предметы будут в нем цениться чрезвычайно высоко; с другой стороны, как бы обширна ни была какая-нибудь империя, но если условия жизни в ней подходят под один уровень, то чрезвычайная высота исключительных цен понижается в ней. Эта высота могла бы довольно точно служить мерою успехов общего нивелирования. Если старинные переплеты стоят 2000, 3000 или 4000 франков, то это указывает не на то, что существует целая толпа библиоманов, оспаривающих их друг у друга, но только на то, что есть несколько в высшей степени богатых библиоманов (быть может, только два), которые были бы поставлены в затруднение, если бы им не представилось случая издержать таким путем эту сумму на удовлетворение прихоти, столь же дорогой их сердцу или даже более, чем эта, при всей ее бесцельности и бессодержательности. Прежде чем решиться, любитель, дающий наибольшую цену, заставляет быстро проходить перед его глазами образы различных его прихотей, требующих удовлетворения; бессознательно он взвешивает их на чувствительных и невидимых весах своего сознания и находит, что все еще перетягивает стремление обладать этой очень малохудожественной редкостью<sup>162</sup>.

Если, как это хочет доказать Поль Леруа-Болье, наша социальная эволюция стремится к почти полному уравниванию положений и состояний, если, кроме того, исчезновение отличительных расовых и местных черт, регулируемое однообразие занятий и умножение путешествий должны

привести в конце концов к полному сходству стремлений, вкусов, даже прихотей, если, наконец, победа разума над страстями охладит или потушит пыл соревнования, жар конкуренции в покупках, то гипотеза, на которой я только что остановился, должна была бы осуществиться в будущем. Итак, влияние соперничества покупателей, хотя бы даже косвенное, было бы одною из тех причин, склоняющихся к упадку, которые должны быть в конце концов уничтожены прогрессом, и когда-нибудь настанет время, когда ясно проявится та, уже теперь достоверная истина, что ценность вещей определяется внутренним взвешиванием как желаний, так и верований, объекты которых притом совершенно разнородны.

Правда, сказать мимоходом, не следовало бы, быть может, особенно полагаться на эти прекрасные надежды. Легко доказать, что все великие обыденные экономические явления — понижение дохода с земли и вообще дохода от всех преимуществ промышленного или земледельческого положения в силу прогресса путей сообщения, понижение процента прибыли в силу меньшей производительности капитала, возвышение заработной платы и т. д. — стремятся к демократическому нивелированию условий состояния подобно тому, как легко доказать, что все обыкновенные геологические явления — размывание и подтачивание гор водою, возвышение долин и морского дна — способствуют выравниванию поверхности земли. Но и здесь и там не принимаются в расчет перемежающиеся толчки, которые внезапно поднимают новую гору или порождают какого-нибудь цезаря, основателя династии, опирающейся на устои быстро созданной аристократии. Между тем следует заметить, что горы, поднявшиеся позже других, бывают самые высокие. В конце концов то чувство, какое является душой и опорой всех аристократий, культ успеха, по-видимому, много не уменьшилось и неизвестно, что еще можно будет увидеть при первом взрыве славы и гордости. Затем примем в расчет, что характерною чертою прогрессирующей цивилизации является возрастающая легкость, с какою она позволяет одерживать быструю и полную победу каждому индивидуальному намерению, входящему в моду.

Возвращаясь к более низменным соображениям, укажем на то, что если процент прибыли понижается вследствие истощения прежних

изобретений, то ведь могут появиться новые великие открытия и привести нас снова к высокому проценту прежнего времени.

Итак, уравнивание положений и состояний вероятно менее всего; что же касается уравнивания желаний вследствие слияния рас и классов, то это уравнивание может быть только заменой нескольких резких цветов без промежуточных оттенков бесконечным разнообразием индивидуальных оттенков без резко разграниченных цветов. Впрочем, как бы то ни было, неравенство состояний и неодинаковость людей нисколько не мешают тому, чтобы устойчивая и нормальная цена всецело устанавливалась при помощи психологического соперничества желаний и верований, а не конкуренцией покупателей. Делается только труднее распознать это, как сейчас увидим.

Теперь посмотрим, как влияет конкуренция между владельцами, между продавцами на определение цен? Правда ли, что она стремится понизить их до крайних пределов, указываемых наименьшею стоимостью производства сходных между собою предметов, так, что этому пределу соответствует единственная устойчивая и нормальная цена, единственная справедливая цена? Нет. Без сомнения, при том предположении, что преимущества промышленного или земледельческого положения были бы уничтожены, что ни для какого продукта количество не было бы ограничено пределом, за который нельзя перейти, что производство всех продуктов могло бы расшириться с полнейшей эластичностью, без всякого относительного увеличения издержек, что таланты предпринимателей, искусство работников, средства и орудия производства были бы одинаковы и сходны между собою, что, наконец, все лучшие приемы производства тотчас разглашались бы и сообщались всем конкурентам, т. е., что все не только прежние, но и новейшие изобретения делаются общим достоянием, — при этом химерическом предположении соперничество производителей, доведенное до крайности, могло бы заставить цены понизиться почти до указанного предела. Но зачем предполагать, что столько невозможностей сделались сразу обыкновенным случаем? В тот момент, когда этот идеал экономистов кажется немного приблизившимся к нам, посмотрите на наши растущие большие магазины. Что значит, в конце концов, для покупателя большее

или меньшее количество труда, усилий, затраченных, сконденсированных в товаре? Эти усилия были желанием, которого больше нет. Уверенность в их полезности — источник этих усилий — была верованием, которого больше нет. Будем говорить о желании настоящем, единственно реальном, — о желании обладать некоторыми выгодами и о настоящей, единственно реальной уверенности в способности такой-то вещи осуществить эти выгоды. Вот источники ценности. В городе старые дома, выстроить которые стоило дешевле, продаются и отдаются в наем по такой же цене, как и новые, и даже дороже, если они расположены в более центральном квартале. Земли, обработка которых очень легка, продают свои продукты по той же цене, как и земли самые неблаго- дарные.

Разве цена перестает быть справедливой, когда она устанавливается получившим привилегию изобретателем, который один эксплуатирует свое изобретение? Несомненно, она может быть устойчивой, хотя и очень высокой сравнительно с издержками производства. Она становится устойчивой, как только делается хоть немного ниже цены соперников, которые, производя с большими издержками, не могли бы понизить свою цену без убытка. Разница между издержками фабриканта, обладающего патентом или привилегией или более ловкого, и издержками его конкурентов может быть очень большой. Торжествующий производитель, раз он освободился от своих противников, располагает всей этой разницей, чтобы самому установить свою цену, сообразуясь с законом своей выгоды. На что же он тогда обращает внимание? Подобно вышеупомянутому монополисту, он сообразуется тогда единственно с тем, что ему известно относительно богатства и его более или менее неравного распределения. Если бы все вкусы были совершенно сходны и все состояния совершенно одинаковы, то его цена не менялась бы, как бы обширен ни был его рынок, и как бы велика ни была цифра его клиентов. Ему достаточно было бы прочитать в каком-нибудь одном сердце относительную величину желаний последнего, чтобы узнать это во всех сердцах. Но так как состояния неравны, а вкусы неодинаковы, то его проницательность должна быть много- стороннее и сложнее. Если его производство ограничено, вроде,

например, производства вина, производства хлопчатобумажных изделий при недостатке хлопка и т. д., то он рассуждает или должен рассуждать следующим образом: «У меня есть для продажи тысяча предметов; мой рынок составляют сто тысяч человек, доход которых колеблется от тысячи франков до миллиона. Но моя цена должна быть единой, одинаковой для всех<sup>163</sup>, как богатых, так и бедных. Вот истинная несправедливость, несправедливость поразительная, но необходимая, обуславливаемая привычками и нравами. Почему не могу я отделять каждого богатого клиента, держать его в полном неведении относительно цены, по которой покупает тот же предмет его менее богатый или бедный сосед и установить для него особую цену? Самая высокая цена, какую он согласится дать, будет та, при которой его желание обладать моим предметом почти сравнялось бы с различными желаниями, какие он мог бы удовлетворить суммой, подлежащей израсходованию. В тот момент, когда он почти с сожалением покупает, в нем возникает борьба прихотей или потребностей и среди них прихоть или потребность в моем продукте оказывается немного сильнее всех остальных. К несчастью, повторяю, моя цена должна быть постоянной и притом такую, чтобы в тысяче сердец из ста тысяч упомянутая борьба окончилась в пользу частного желания, удовлетворяемого при помощи моего товара. Эта борьба будет действительно оживленной только у беднейших из этой тысячи; что же касается прочих, то чем они богаче, тем незначительнее будут те желания, в столкновение с которыми придет это желание, и тем легче будут лишения, — если только таковые будут, — обусловленные этой издержкой. Для них не существует затруднения; оценю ли я свой продукт на несколько копеек, на несколько рублей больше или меньше, они все равно не ускользнут от меня. Поэтому мне надо заботиться только о самых бедных среди той тысячи, которая мне нужна. Одержит ли еще у них верх или нет желание, соответствующее моему продукту, над другими желаниями, которые они могли бы удовлетворить, если я увеличу цену на эти несколько рублей или копеек? — вот вопрос».

В том случае, если дело идет о продукте, допускающем неограниченное производство, задача усложняется, так как она будет заключать

в себе два неизвестных, представляющих, впрочем, функции одно от другого, а именно: какое количество должен я производить и какую цену должен принять, чтобы получить наибольшую прибыль? Но данные остаются те же. Не следует никогда забывать, что желание купить какой-нибудь предмет есть в некотором роде остаток от вычитания, т. е. избыток желания обладать предметом над сожалением лишиться денег, которых он стоит. Здесь есть желание положительное и желание отрицательное, и второе частью нейтрализует первое — по крайней мере в течение некоторого времени, ибо после покупки издержанные деньги забываются в качестве отсутствующих, а вид предмета постоянно поддерживает желание обладать им и размеры этого желания обнаруживаются только теперь.

По отношению к какому-нибудь предмету, цена которого указана, публика разделяется на две части: люди, у которых склонность к этой вещи одерживает верх над привязанностью к ее цене, и люди, которые, наоборот, дорожат больше ее ценою, чем ею. Но понятно, что по ту и другую сторону от этой идеальной демаркационной линии можно было бы теоретически отметить бесконечное число переходов в сторону увеличения или уменьшения. В политической экономии обращают внимание только на тех, у кого одерживает верх желание приобретения. Следовало бы по меньшей мере сказать, что в зависимости от того, насколько преобладает это желание, предмет, о котором идет речь, стоит больше или меньше того, что за него заплачено. Это было бы новым значением слова «ценность». Обратно, принимая во внимание тех, кто не хочет покупать предмет, о котором идет речь, по цене, считаемой ими чересчур высокой, и кто отталкивает от себя мысль о покупке с большей или меньшей силой, я охотно прибавил бы, что тут есть элементы противоположности, допускающей столько же последовательных степеней, как и соответствующая ценность, и очень удобной для выяснения путем ее противоположения истинно количественного характера последней.

Выведем теперь заключение. Я уже достаточно говорил, — боюсь даже, что, быть может, даже слишком много, — чтобы показать, каким истинным соперничеством должны заниматься вкономисты-теоретики:

не соперничеством потребителей и производителей, а соперничеством различных желаний, а также верований в каждом отдельном потребителе. Свести в итоге все экономические проблемы, каковы бы они ни были, к относительному и силлогическому измерению желаний или верований — таков, повторяю, наш метод.

Выше я отказался от той, поистине неправдоподобной, хотя и столь дорогой экономистам гипотезы, что если бы все преимущества положения или какие-либо другие были устранены, то совершенно свободная конкуренция между фабрикантами действовала бы на цены понижающим образом. Но даже и при такой гипотезе разве не применима изложенная выше теория ценности в своих существенных чертах и следует ли думать, что в этом случае понижение цены дойдет до крайнего предела, указываемого стоимостью производства, или около того? Нет. Во-первых, раз мы уже пустились в предположения, почему не сделать и такого не менее допустимого предположения, что все производители, руководимые своими общими интересами, уговорятся удержаться от этого столь разорительного понижения? Тогда установится нечто вроде коллективной монополии и мы снова вернемся к вышеупомянутому случаю, когда производитель сам устанавливает цену своего продукта, сообразуясь с законом наибольшей прибыли для себя. Вместо одного производителя их будет 10, 100, 1000, обсуждающих между собой на основании силы наклонностей, до каких пор увеличение числа покупок, достигнутое путем уменьшения цены продаваемых предметов, будет производить увеличение чистой прибыли; с общего согласия, они остановят цену на этом пределе<sup>164</sup>.

Однако допустим все что угодно; предположим, что такого соглашения не произошло. До какого предела понизится сама по себе цена продукта? Она спустится не до размеров стоимости производства, а до той величины, когда прибыль производителей станет меньше (другими словами, менее желаемой), чем та прибыль, какую они могли бы получить, принявшись за какое-нибудь другое производство. Здесь соперничество желаний — это основание цены — происходит в сердцах производителей, а не потребителей. Но — за исключением этого — объяснение остается тем же.

Но если мое объяснение с совершенною очевидностью приложимо к вооружению, то разве есть какое-нибудь основание для него быть по существу менее приложимым к какому угодно другому товару?

Хотя вообще, как мы сказали, цена устанавливается фабрикантом, но иногда случается, что коммерсант, будучи вынужден продать в короткий срок и ликвидировать свое состояние, оказывается во власти публики. Потребитель тогда создает свою цену. Но он создает ее, всегда сообразуясь с моей точкой зрения, хотя сам того не подозревает. Он предлагает самую низкую цену, какую коммерсант мог бы предпочесть тому, чтобы не продавать товар, т. е. такую цену, что при малейшем ее уменьшении он уже перестал бы желать продажи.

Все это поистине в высшей степени просто и мне почти стыдно, что приходится излагать столь очевидные идеи. Но они, мне кажется, представляют ту выгоду, что освещают и упрощают предмет очень темный или очень затемненный.

Это определение устойчивой цены, истинной ценности вещей путем внутренних и незаметных измерений психологических количеств так хорошо соответствует природе вещей, что оно было бы необходимо даже при предположении осуществления наиболее полных социальных перемен, о каких только мечтают самые пламенные коммунисты. Возмущаются городской земельною рентой, огромностью арендной платы и надеются устранить такое положение вещей при помощи коммунизма. Но если бы государство было собственником всех домов в Париже, то, несмотря на самое сильное желание всех понизить вообще арендные платы и уравнять их в частности, оно не замедлило бы поднять их снова, чтобы поставить преграду приливу иностранцев и провинциалов, и сделало бы их снова неравными, чтобы воспрепятствовать всем парижанам стремиться в наиболее привлекательные кварталы. Будем ли мы эгоистичны или благожелательны, — все равно, когда речь идет о малом количестве вещей, желаемых большим числом людей, то достигнуть равенства в вещах, подлежащих дарению или продаже, и в кандидатах на подарок или на покупку можно только при помощи повышения цены или условий, на которых дарят. Предпочтут ли и найдут ли более справедливым, чтобы филантропическое государство по своему



произволу выбирало своего фаворита в среде тех многочисленных соискателей, которые стремились бы занять роскошное жилище по очень дешевой цене? Но как для жадных собственников, так и для бескорыстного государства тот предел, на каком остановится необходимое повышение цен или условий, лежит там, где перестает быть достаточным число кандидатов, считающих выгодным для себя принять их, взвесив предварительно свои различные желания и свои верования в полезность соответствующих предметов.

Формы и характер этого внутреннего взвешивания могут изменяться и давать несогласные результаты, но цены всегда определяются только этим взвешиванием. У людей с принципами, которых увлекают скорее их убеждения, а не страсти, желание купить складывается в тот момент, когда они убеждены в своей обязанности приобрести ту вещь, о которой идет речь, более, нежели в обязанности приобрести другие вещи той же цены. Гораздо чаще, когда колеблются в покупке, пускаются в сравнительную оценку дозы веры и желания, как это было сказано выше. Я спрашиваю себя, на сторону какой из двух промышленных акций, находящихся в продаже, следует склониться, когда одна из них приносит 4,75% дохода и очень солидна или кажется такой, а другая, солидность которой сомнительна, приносит от 7 до 8%. Тут надо привести к одной общей мере две разнородные величины, что было бы невозможно, если бы одна из них — вера — не представляла собою конец и начало другой, ее причину и ее исполнение.

Все предшествующее относится только к цене, которую я называл устойчивой и нормальной, и которую следовало бы, быть может, назвать естественной и вынужденной. Скажем теперь несколько слов о цене справедливой. Цена, заработная плата может быть устойчивой, не будучи справедливой, — все равно, устанавливается ли она продавцом или работником, покупщиком или хозяином. Когда же она становится справедливой? Бывает ли она всегда такой, когда определяется соглашением хотений путем свободного договора? Очень редко случается, чтобы осуществлялись условия этой совершенной свободы. Кроме того, если допустить, что они существуют, почему согласие двух хотений было бы способно сделать справедливую цену, которая без

этого была бы несправедливой? Итак, мы никогда не были бы вправе считать справедливой или несправедливой какую бы то ни было цену до договора, и моральное чувство публики, столь часто и столь энергично протестующее против несправедливости некоторых приятных требований, надо было бы признать химерой и ложью. Если, устранив понятие свободы, мы станем опираться на понятие равенства для установления справедливой цены, то, по-видимому, пойдем по более верной дороге, но впопыхах и ощупью, если только не примем мою точку зрения. Разумеется, не может быть и речи о цене, равной для всех; в этом отношении все наши современные цены были бы воплощенной справедливостью. Но говорят о цене, пропорциональной труду, или продукту, или потребностям: все величины очень странные, если их не разложить на составные части. Скажем лучше, что цена считается справедливой беспристрастным зрителем, когда обе договаривающиеся стороны находят равные, по его мнению, выгоды в том деле, о котором идет речь, т. е. когда они находят удовлетворение равных, хотя и несходных между собою желаний или равную уверенность позднейшего удовлетворения равных желаний или неравную уверенность удовлетворить неравные желания, но таким образом, чтобы большая уверенность уравнивалась меньшим желанием, а меньшая уверенность — большим желанием. Я не утверждаю, чтобы у зрителя, о котором идет речь, было сознание того психологического расчета, который я ему приписываю, но он его производит, сам того не подозревая<sup>165</sup>.

Например, в кузнице работают хозяин и работник, которые, положим, обладают одинаковым искусством и одинаковым рвением к работе; наш зритель найдет справедливой заработную плату, даваемую хозяином работнику, когда, сопоставляя ее с прибылью первого, ему покажется, что почти полная уверенность второго в возможность получить по этой цене слабую степень благосостояния уравнивает сомнительную надежду первого достигнуть большего достатка. Но если прибыль хозяина так же обеспечена, как и заработок работника, то он сочтет несправедливым, чтобы прибыль превышала заработную плату. Не так уже, разумеется, будет обстоять дело на большой фабрике, где предприниматель сам часто в такой же степени помогает произ-

водству своею предусмотрительностью и силою своей сообразительности, как и все работники, взятые вместе. Почему же? Потому что здесь понятие справедливости усложняется, не изменяя, впрочем, своего характера. Если может казаться справедливым, что покупатель какого-нибудь продукта или услуги находит в этой покупке выгоду, равную той, какую производитель или работник находит в ее продаже, то представляется также справедливым, чтобы проистекающие из продажи выгоды распределялись между сопроизводителями или соработниками пропорционально их участию в общем деле. Но разве это не значит, что страдания или опасения, избегнутые покупателем продукта, или наслаждения и уверенность, доставленные ему, представляют собою вещи, допускающие численную оценку, по крайней мере теоретически? Отрицайте это и требуемая пропорциональность станет химерической.

Если теперь перейти к распределению прибыли, то нам представляются два приема: один косвенный, единственно употребительный до сих пор — *саларнат*, как говорят социалисты, и другой, восхваляемый ими и заключающийся в непосредственном участии в прибылях. Раз всякий продукт оплачивается пропорционально той услуге, какую он оказывает, а не тому труду, какого он стоил, то, по-видимому, работник, производитель должен был бы получать вознаграждение, пропорциональное услуге, какую он оказал в действительности и которая обнаружится при продаже, а не труду его, будущий результат которого, — в какой бы степени он ни был полезен или бесполезен, — еще неизвестен. Но забывают, что у рабочего нет времени дожидаться продажи своего продукта и что участие в прибылях предполагает участие в убытках. Так как он не может подвергаться этому риску и требует уверенности в уплате, а не одной только ее вероятности, то он необходимо должен примириться с неудобствами обеспечения, в котором он нуждается и выгодами которого он пользуется. Вероятность возможности прибыли или убытка представляет собою роскошь, оставляемую для тех, чьи потребности, т. е. почти бесконечные и абсолютные желания, уже удовлетворены. Только меньшие желания — желания относительные — могут быть предметом полууверенности,

предметом относительного и слабого верования. Но желания полнотребные требуют и полной веры в свое непосредственное или близкое удовлетворение. Вот почему заработная плата все еще остается необходимостью и будет оставаться ею до тех пор, пока у большинства работников не будет денежных ресурсов в количестве, достаточном для того, чтобы позволить им дожидаться продажи продуктов их труда. Впрочем, заработная плата косвенно вообще всегда бывает пропорциональна или стремится быть пропорциональной прибылям. В областях виноградарства она повышалась до появления филлоксеры и понизилась после этого, хотя работа виноградарей осталась одинаково трудной. В этом случае, как и повсюду, рабочие участвовали не только в прибылях, но и в убытках, и так будет всегда, с тем двояким ограничением, что их участие в убытках не пойдет так далеко, чтобы затронуть минимальную заработную плату, неправильно называемую естественной, а их участие в прибылях не отразится на привилегии предпринимателя, который должен получать исключительную часть барыша, подвергаясь большому риску и имея, кроме того, полное право думать, что его труд самый производительный из всех. Без первого из этих ограничений никто не захотел бы быть рабочим, а без второго — никто не захотел бы быть предпринимателем. Это без труда объясняется возмещением желания верой и обратно, столько примеров которого я уже приводил.

Теперь видно, чем отличается вынужденная фатальная цена от справедливой и желательной цены. Первая, определяемая при помощи чистого эгоизма (согласно гипотезе отделенного от всякого бескорыстного чувства) продавца или покупателя, рабочего или хозяина, которые могут предписывать свой закон, представляет собою результат психологического взвешивания, где подлежащими уравниванию тягестями бывают количества верования или желания, расходуемые одним и тем же индивидом. Вторая, определяемая чистым бескорыстием воображаемого зрителя, получается путем приведения к равновесию количества веры и желания, присущих нескольким отдельным индивидам. Это решение задачи гораздо труднее предыдущего, так как здесь надо сопоставить и измерить не только разные ощущения или группы ощущений, но еще и испытываемые разными индивидуальностями, надо

разом перешагнуть через двойную пропасть: разность личностей и разность ощущений. Итак, не следует удивляться, если понятие о справедливой цене осталось неясным, несмотря на то, что оно было предметом усиленных исследований. Но было бы еще удивительнее, если бы, несмотря на эту неясность, оно не соответствовало ничему реальному. Если она действительно опирается на что-нибудь солидное, если сознание всего человечества не обманывает нас в этом отношении, то не может быть более могущественного аргумента в пользу нашей главной идеи.

Закончим замечанием, что экономический прогресс обществ беспрестанно увеличивает значение нашей чисто психологической точки зрения. Крупная промышленность, усовершенствованное производство должно предвидеть нужды будущего потребления, а не дожидаться терпеливо прямого заказа со стороны покупателя по привычке мелких фабрикантов. Итак, промышленный прогресс обязывает предпринимателя быть смелым, внимательно соображать мельчайшие степени своего верования в обширность и силу будущих желаний потребителя. Он должен тысячу раз подыматься и опускаться по той неизмеримой лестнице, какая идет от сомнения к положительной или отрицательной уверенности и у которой мелким фабрикантам известна только последняя ступень — совершенная уверенность. Если бы современный фабрикант потребовал полной уверенности, прежде чем решиться на производство, то его опередили бы его соперники так же легко, как отстал бы от своих коллег философ или даже ученый наших дней, возымевший такую же требовательность. Необходимо составлять гипотезы в философии, рассуждать индуктивно в науке, рисковать в торговле. Человек, ставящий конечной целью своей деятельности все большую и большую уверенность, должен во время этой деятельности довольствоваться все меньшею и меньшею уверенностью<sup>166</sup>.

Это еще не все. Прогрессивная промышленность отличается тем, что она не ограничивается удовлетворением и предупреждением общих потребностей, т. е. желаний, считающихся практически бесконечными, но работает также с целью отвечать неуверенным требованиям гораздо меньших желаний, все более и более легковесных, капризных и

переменчивых. С нравственностью и науками происходит то же, что и с промышленностью. Прогресс нравственности проявляется в возрастающей важности, приписываемой полуобязанностям, а прогресс науки — в возрастающем значении индуктивного метода. Школьнику нет надобности прислушиваться и останавливать свое внимание на степенях своего верования. Ему сообщают только вполне достоверные или считающиеся таковыми принципы; основанная на догадках часть человеческого знания, которая делает новые приобретения и расширяется, заботливо скрывается от него.

Наименее сильными желаниями бывают те, предвидеть которые труднее всего. Вследствие этого движение вперед цивилизации заставляет фабрикантов довольствоваться минимумом доверия к полезности предметов, какие должны отвечать минимуму желаний<sup>167</sup>.

Возрастающее распространение бумажных денег, мгновенно заимствующих всю свою ценность из проявления веры, подтверждает эти соображения<sup>168</sup>. Быть может, уже недалек тот день, когда не только в разных провинциях, но и в одном государстве за другим крупные банковые билеты окончательно разорвут последние узы номинальной подчиненности, связывающие их с драгоценными металлами, от которых они считаются получающими свою ценность. Тогда станет ясно, что доверие составляет один из источников ценности. В этом и заключается, быть может, причина того, почему порча монеты, столь часто производимая по невежеству в прежнее время, в силу того же невежества, поддерживавшего ту же веру в испорченную монету, не вызывала тогда с самого начала тех крупных и мгновенных неудобств, какие она вызвала бы теперь.

Как видим, наша теория ценности представляет собою только приложение нашей теории силлогизма. В другом сочинении<sup>169</sup> я набросал теорию обязанности, которая тесно связана с последней. Я не буду возвращаться к этому здесь и позволю себе отослать читателя к тому сочинению. Там указана тесная связь, а также и разграничения политической экономии и права. Прибавлю, что существуют степени обязательности, как и степени ценности, но юридическая обязанность обладает тем особым характером, что она всегда равна самой себе,

так как она, по своему определению, обязанность максимальная. Не следует забывать, что она входит как вид в более обширный род, который заключает в себе неюридические обязанности: моральный долг, долг приличия и вежливости, по отношению к которым не существует сомнения в большей или меньшей обязательности их исполнения.

#### IV

Во всем предыдущем речь шла только о ценности, понимаемой в смысле цены, стоимости желаний, вступивших в столкновение. Мы не отметили еще ясно различие, отделяющее здесь поединок индивидуальный от поединка социального. Раз ценность всегда представляет собою результат соперничества нескольких желаний, результат пожертвования некоторыми и торжества одного из них в глубине сознания, то, — могут мне сказать, — каким образом может она интересоваться социальную телеологию? Прежде всего я мог бы ответить, что желания, встречающиеся в сердце индивида, находятся там обыкновенно, — а с течением цивилизации все в большей и большей мере — в силу внесения их извне, в силу социального внушения, так что, если рассмотреть их истинные источники, то окажется, что эти воюющие между собою желания принадлежат различным индивидам, а именно первым зачинщикам, пустившим их в ход. Я мог бы прибавить, что условия пожертвования и триумфа, о которых идет речь, т. е. цена, с каждым днем становящаяся все более однообразной для всех, регулируется окружающим обществом и первыми творцами тех цен, которым среди множества других, удалось распространиться в публике. Это серьезные доводы, но они сводятся к указанию на то, что существуют взаимодействия подражания; они показывают социальную борьбу желаний только в состоянии тесного смешения с их индивидуальной борьбой. Напротив, их чисто социальная борьба проявляется перед нами в конкуренции, создаваемой между собой как продавцами, так и покупателями. Когда различные покупатели хотят приобрести один и тот же предмет или оспаривают один у другого предметы, число которых меньше их числа, то их желания тем сильнее противодействуют друг другу, чем больше возрастает их относительная сила под влиянием

их взаимного подражания. То же происходит и с продавцами. Отсюда проистекает до некоторой степени неизбежное, но тем не менее неприятное столкновение или борьба, которая повсюду, где она возникает, разрешается одним и тем же способом: принесением большинства соперников в жертву успеху тех, кто оказался в более благоприятных условиях.

Таким образом, конкуренция потребителей и производителей является в некотором роде внешним изображением внутренней конкуренции желаний потребления или производства<sup>170</sup>, а более или менее замаскированная монополия — монополия привилегированных покупателей или исключительных продавцов, — кладущая конец этой конкуренции, походит на то добровольное решение, каким каждый из нас уничтожает или разрешает свои колебания при покупке или при производстве. Аналогия продолжается, если мы заметим, что результатом как внутреннего, так и внешнего поединка является торжество более сильных желаний (или более сильных верований, или более сильных комбинаций уравненных желаний и верований) и принесение в жертву более слабых. По отношению к внутренним поединкам это очевидно, а по отношению к внешним поединкам это также справедливо. При равном богатстве набавляют цену настолько, чтобы получить оспариваемый предмет, те из конкурентов, которые больше всех желают его приобрести или больше всех убеждены в его полезности; среди же производителей успевают овладеть рынком, при прочих равных условиях, наиболее деятельные или способные, наиболее предприимчивые или наиболее доверчивые конкуренты<sup>171</sup>. В этом и заключается выгода с точки зрения нашей моральной арифметики, но эта выгода, как мы сейчас увидим, еще гораздо больше, если продолжать смотреть с той же точки зрения.

В самом деле, пора теперь посмотреть на ценность с другой, лучшей ее стороны, не как на частичную нейтрализацию (к счастью, только частичную) одной полезности другою, являющейся препятствием по отношению к первой, но как на комбинацию двух полезностей, взаимно укрепляющих друг друга. Если самой распространенной экономической формой телеологического поединка является конкуренция, то самой



распространенной экономической формой телеологического союза является обмен. Когда дама покупает шляпу у торговца модными товарами, то, как мы знаем, в сердце каждого из них происходит чисто психологическая борьба между желанием купить и сожалением лишиться ее цены или между желанием продать и сожалением лишиться шляпы, т. е. между полезностью покупки и полезностью не лишиться цены или между полезностью продажи и полезностью не лишаться шляпы, и у каждого из них одерживает верх более сильное желание, большая полезность. Но, кроме того, самый факт их торга устанавливает между ними социальное телеологическое согласие между желанием продать, присущим одному, и желанием купить, присущим другой; отношение же между этими двумя желаниями будет как раз отношение между средством и целью: первое желание осуществляется при помощи второго и обратно. Правда, стремление дамы обладать шляпой находится в противоречии с сожалением торговца лишиться ее точно так же, как желание последнего получить деньги противоречит сожалению первой лишиться их; это составляет двойное социальное несогласие. Но как мы знаем, здесь нет возмещения, так как желания — гармонические полезности далеко превосходят по силе желания — антагонистические полезности. Такова положительная выгода обмена с точки зрения социальной телеологии.

По этому поводу надо сделать несколько замечаний. Во-первых, эта выгода будет тем больше, чем справедливее обмен, т. е. чем больше приблизятся к идеалу справедливой цены. В самом деле, сумма обоих гармонических желаний будет тем выше, а сумма антагонистических желаний тем менее, чем равнее или менее неравными будут выгоды, какие найдут в своей сделке участники обмена, и обратно. Если какой-нибудь поставщик эксплуатирует особенную или мгновенную потребность, какую я ощущаю по отношению к его товару, и заставляет меня платить вдвое или втрое против того, что он стоит в среднем для других, то мое сожаление о деньгах, которых я лишаясь, будет гораздо сильнее, так же, как алчность продавца получить эту сумму; итак, антагонизм возрастет; наоборот, мое желание купить уменьшится, а если его желание продать увеличится, то не будет никакого возмещения, так что итог

будет меньше, и вот почему: как известно, из одной теоремы Лапласа следует, что при одном и том же богатстве наслаждение от получения прибыли не равнялось бы огорчению от равной ее потери. Это очевидно, если дело идет о большой сумме, например, в 20000 рублей, приобретенной или потерянной при состоянии в 40000 рублей. Потерявший видит свое состояние уменьшившимся наполовину, а приобретший видит свое состояние увеличившимся только на треть. Но ведь происходит то же явление, в различной только степени, как бы мала ни была эта сумма. Затем, всякое уменьшение средств дохода или капитала чувствуется как лишение известных, привычных и дорогих удовольствий, а всякое увеличение как перспектива неопределенных, новых или относительно безразличных удовольствий. Следовательно, будет ошибкой, если мы скажем, что у общественных интересов нет никакого отношения к финансовым катастрофам одних, возмещаемым обогащением других, и к справедливому или львиному распределению выгод обмена во всякого рода делах. В общем, справедливость представляет собою великий вековой путь прогрессирующей социальной пользы.

Во-вторых, чем более понижается цена предметов, тем больше увеличивается телеологическая выгода общества, а именно, по двум причинам: во-первых, потому что понижение цены делает этот предмет доступным для большого числа кошельков и настолько же увеличивает число обменов, каждый из которых представляет собою новое социальное благо; во-вторых, потому что в каждой из этих сделок антагонистические желания становятся слабее, чем были до того. Правда, одно из гармонирующих между собою желаний, продать и купить, также могло уменьшиться (желание продать), но только одно, и тут нет возмещения.

Итак, все, что понижает цену является новым шагом к телеологической организации интересов. Но что же понижает цены? Всякое распространяющееся новое изобретение или всякое новое распространение прежнего изобретения, всякая новая успешная ассоциация или всякое новое расширение ассоциации, существовавшей раньше, — все равно, будет ли это собственно ассоциация, определенная и узаконенная, или та свободная ассоциация, обыкновенно называемая разделением

труда, при помощи которой различные работники как бы сговорились производить известную совокупность предметов с экономией труда и издержек для каждого из них. Чем многочисленнее будут эти предметы, тем легче будет каждому из участников с выгодой обменивать их на другие, так как выбор между последними будет разнообразнее. В этом замечании можно узнать закон сбыта Ж. Б. Сэя. При каждом новом продукте, введенном свободной торговлей или подражанием иностранцам в круг прежних продуктов, эти последние получают некоторое увеличение полезности, обуславливаемое именно их частичным обесценением. Их ценность-стоимость обратно пропорциональна их ценности-потреблению. Если бы прогресс промышленности позволил пользоваться электрическим освещением за цену, почти равную нулю, то этот способ освещения превратился бы в богатство, подобное даровым полезностям, доставляемым природой; но будучи лишен почти всякой денежной ценности он не переставал бы обладать большой ценностью потребления, и эта ценность увеличивалась бы по мере того, как изобретались бы новые работы (например, фотографические), которые можно было бы выполнять ночью при свете, или новые зрелища для вечера. Таким же образом каждое новое изобретение, позволяющее утилизировать для новых целей воду, воздух и самые обыкновенные минералы, увеличивает их ценность в том же смысле, хотя и не придает им ни на одну копейку продажной ценности.

Я сравнил изобретение с ассоциацией. Действительно, их результаты совершенно сходны и мы не будем удивлены, если, продолжив до конца разбор их обоих, мы обнаружим, что вторая сводится к первому. Выясним этот пункт. Что такое изобретение? Счастливая встреча различных подражаний в одном и том же уме, т. е. остроумная идея, заключающаяся в установлении отношения средства к цели в двух прежних изобретениях, которые до того циркулировали отдельно в публике, независимые и чуждые друг другу, а с этого времени могут представляться связанными вместе и взаимно двигать друг друга вперед при помощи этой связи. Например, благодаря изобретению паровой машины прежняя идея поршневого насоса присоединилась к не менее старинной идее водяного пара, производство поршней получило новое

развитие под влиянием испарения воды при помощи теплоты и обратно. То же происходило при каждом усовершенствовании паровой машины, при каждом прибавочном изобретении, которым она обогащалась. Применение паровой машины к передвижению путем изобретения локомотива явилось приспособлением древнего изобретения колеса и колесницы к более новому изобретению паровой машины. С тех пор начали выделять гораздо больше экипажей, потому что паровая машина дала им новый спрос, и гораздо больше паровых машин, потому что вагоны доставили им новый вид употребления. Прибавим, что без железных или стальных рельсов локомотив не представлял бы большого значения. Итак, необходимо было, чтобы к нему присоединилась путем другого такого же телеологического усвоения идея рельса — изобретение, давно уже известное и эксплуатировавшееся в малых размерах на некоторых заводах для передвижения тележек. Это новое применение рельса, как известно, чрезвычайно развило его производство. Это еще не все: когда локомотив был таким образом выполнен, нужно было придумать проведение железных дорог с их виадуками и туннелями — старинные изобретения, не имевшие до того никакого отношения к перевозке пассажиров и теперь приспособленные к этому употреблению; нужно было придумать еще систему маневрирования на железнодорожных станциях: сколько новых идей, столько внесений старых приемов в группу приемов, подвергнутых систематизации. Словом, при каждом усложнении какого бы то ни было изобретения мы видим, что связи солидарности между различными отраслями производства крепнут, расширяются и разрастаются, так что в настоящее время в нашем примере почти все ремесла: каменщики, кузнецы, столяры, литейщики, землекопы и т. д. сотрудничают в общем деле постройки или содержания железной дороги, даже без всякой настоящей ассоциации между собою. Без сомнения, довольно часто случается, что вносимое новым изобретением усовершенствование представляет собою не усложнение, а относительное упрощение. Все-таки элементы, из которых оно составлено, представляют собою приемы, известные или открытые изобретателем раньше, и плодом этого телеологического союза является возрастание упрощенной таким образом промышленности.

Теперь посмотрим, что делает ассоциация. Как раз то же самое, что и изобретение. Последнее, заключается ли оно в усложнении или в упрощении, фатально ведет за собою и подготавливает первую. Когда оно заключается в усложнении, тогда это очевидно; в самом деле, в приведенном выше примере мы, почти сами того не замечая, перешли от собственно изобретения к собственно ассоциации, к организации железнодорожных компаний. Если же оно заключается в упрощении и, следовательно, в понижении стоимости того продукта, к которому относится, то оно распространяет привычку и потребность в нем в странах или классах, которые ее не знали, прибавляет этот продукт к числу тех, которые служат там для сбыта друг друга, и расширяет таким путем великую, скрытую и бесплотную ассоциацию производителей, которая при внимательном рассмотрении оказывается взаимной утилизацией промышленности и изобретений, неправильно считающихся независимыми. Впрочем, остроумная идея ассоциировать известным образом различных работников на заводе или солдат в армии и соединять их усилия, не способные достигнуть цели в рассеянном состоянии, сама эта идея может быть уподоблена изобретению. Идеи такого рода представляют собою довольно мелкие изобретения, — трудно только их осуществить, тогда как изобретения, носящие такие названия, гораздо труднее придумать, чем распространить. Но теоретически это различие не принимается в расчет. Результат, во всяком случае, будет один и тот же — это признанный всеми результат разделения труда и обмена, особенно обмена международного: сбережение труда. При помощи обмена потребление каждого предмета передается от того, кто желает его менее, к тому, кто желает его более, и прогресс обмена непрерывно увеличивает это различие; при помощи разделения труда производство каждого предмета переходит от того, кто производил бы его дольше и с большим трудом, к тому, кто производит его скорее и легче, и прогресс разделения труда не перестает увеличивать разницу. Итак, оба эти прогресса сотрудничают в одном и том же создании гармонии и являются в этом отношении пособниками гения изобретательности.

Подобно тому, как ассоциации, преследующие одну и ту же цель, стремятся слиться в одну или сократиться до одной вследствие

конкуренции, так и изобретения, относящиеся к одному и тому же ремеслу, стремятся одинаково обобщиться или уступить место одному из своей среды; когда это происходит, то торжествующее изобретение, так же как и победившая ассоциация, явственно проявляется как взаимная утилизация тех самых интересов, которые она вызвала. Больше того: если бы этот идеал концентрации был вполне осуществлен, то пережившие и победившие остальных изобретения стремились бы образовать группу при помощи обмена или даже и без него. В коммунистическом государстве разделение труда, ассоциация и изобретение не переставали бы приносить свои телеологические выгоды, вытекающие из постоянного превышения суммы желаний согласованных над несогласными между собою желаниями. Выгода объяснилась бы здесь непосредственно экономией труда, а не косвенно уменьшением цен.

Всякая ассоциация, сказать мимоходом, представляет собою род изобретения по той же причине, по какой всякая философская систематизация есть род открытия, всякое же изобретение представляет собою ассоциацию предшествующих изобретений по той же причине, по какой всякое открытие есть систематизация предшествующих открытий или, по меньшей мере, уже воспринятых и описанных наблюдений и опытов. Открывать не значит ли констатировать между двумя уже открытыми раньше явлениями связь причины со следствием, знака с обозначаемой вещью, свойства с веществом, т. е., во всяком случае, связь сказуемого с подлежащим и подлежащего со сказуемым<sup>172</sup>, подобно тому как изобретать значит устанавливать связь средства с целью для двух уже придуманных действий?

В окончательном выводе у ценности есть два смысла: смысл цены, предполагающей борьбу желаний и, прибавим, доверий, и смысл употребления, предполагающий взаимопомощь желаний и доверий. Вещь имеет ценность: 1) того, что стоит ее приобретение, и 2) того, что она позволяет приобрести, если ее обменять, или того, что она может произвести, если ее потратить<sup>173</sup>. Согласно закону сбыта, чем больше станет число и разнообразие тех других предметов, на которые эту вещь можно обменять, тем более увеличится ее ценность в этом втором смысле (в то время, как она уменьшится в первом). Так как обмен не

составляет собою ни единственного, ни даже главного способа употребления, какое допускает предмет, то надо дополнить этот закон, заметив, что чем более солидарны друг с другом различные виды потребления, связанные между собою стремлением к одной общей цели, тем больше будет ценность потребляемой (а уже не обмениваемой) вещи во втором смысле слова. Наиболее обыденный предмет, самая простая услуга ценится бесконечно дорого, когда она служит для достижения бесконечно сильно желаемой цели. Как дорога бывает во время сражения порция водки, возбуждающая пыл солдат и решающая победу! В этом замечании перед нами проявляется экономическая необходимость в высокой степени общей морализации. Мы сказали, кроме того, что в смысле цены ценность бывает или просто психологической и в этом случае выражается во внутреннем колебании между двумя благами, оканчивающемся принесением одного из них в жертву, и экономической, и в этом случае производится конкуренцией, приходящей к установлению монополии. Теперь можно с таким же правом сказать, что в смысле потребления ценность представляет подобное же разделение.

Психологически она соразмеряется со степенью целесообразности в поведении индивидуума, а экономически — со степенью сотрудничества ассоциированных деятельностей<sup>174</sup>. В самом деле, для человека, взятого в отдельности, какое-нибудь питательное вещество не только способно заглушить голод, а какое-нибудь питье утолить жажду, но они способны еще удовлетворить все потребности второй-степенной необходимости или роскоши и произвести все действия, все виды грубых или изощренных работ, какие постепенно появляются на свет вследствие утоления его жажды и голода. Чем длиннее и разнообразнее развертывается этот последовательный ряд, чем строже последовательная связь его отдельных частей, чем сильнее связанные и вспомоществуемые друг другом желания, тем больше будет ценность малейшего куска хлеба. Если дело идет о человеке методическом и расчетливом, деятельном и утонченном, но холодном, то всякое наслаждение, как бы незначительно оно ни было, если у него есть свое определенное место в сложном и правильном ряде его привычек,

равноценно всем прочим, которые нарушились бы от его отсутствия. Здесь цепь длинна и кольца склепаны прочно, но несмотря на все это, произведенная таким образом ценность не очень значительна ввиду слабой силы всех этих соединенных склонностей. У человека страстного, увлеченного женщиной или каким-нибудь видом славы, цепь часто бывает гораздо короче, и у связи отдельных актов меньше видимой или постоянной строгости, но как мощно то упорное желание, которое вдохновляет всю его жизнь, и сколько своей силы вкладывает оно во все мимолетные желания, намагничивая их своим прикосновением! Я не знаю, сколько стоила Ромео его шелковая лестница, но она для него имела ценность Джульетты. Страсть — это апогей индивидуальной целесообразности.

Что справедливо относительно индивидуума, справедливо и относительно обществ. Для того, чтобы достигнуть того результата, к какому они стремятся в течение столетий и к которому будут стремиться еще много столетий, для того, чтобы поднять до максимума ценность вещей, понимаемых в нашем втором смысле, — понижая в то же время до минимума их ценность-цену, — нациям будущего недостаточно будет усложнения потребностей, размножения числа обменов, даже приведения к солидарности всех видов труда и достижения сродства с тем почтенным автоматом, с тем мандарином или банкиром высшей расы, о котором я только что говорил. Пусть только подует вихрь страсти и взволнует все сердца, и эта тонкая ткань переплетающихся привычек или взаимно обменивающихся фантазий, быть может, разорвется, но зло будет не так велико, если только этот страстный энтузиазм, пришедший на смену лихорадочной промышленности, будет устойчив и если его объект не окажется столь же способным обмануть надежды, сколько и сконцентрировать их. К несчастью, несмотря на все усилия, очень трудно найти этот истинный всеобщий полюс народов, этот коллективный идеал, который, не будучи ни обманчивой религиозной иллюзией, ни смертоносной патриотической действительностью, обладал бы способностью возвышать и укреплять единение душ так же энергично, как религия и отечество. Прежние промышленные корпорации были прочны, потому что они представляли собою братство; у взаимопомощи принципом была



там кооперация с целью спасения души. В настоящее время рабочие синдикаты обязаны своею силой своим политическим стремлениям, а те великие национальные синдикаты, которые носят название Франции или Германии, России или Англии, обязаны своим процветанием своей страсти к патриотическому преобладанию. Так будет продолжаться до тех пор, пока будут существовать соперничающие между собою нации и классы. Но что же будет после этого? Когда преобладание какого-нибудь одного класса или одной нации будет прочно установлено, чего останется тогда хотеть, на что надеяться, к чему коллективно стремиться? Истощится ли тогда источник социального энтузиазма? Разве тогда ничто не будет казаться достойным того, что бы желать сообщать, что бы любить всем в совокупности, и надо ли будет тогда покориться измелчанию надежд и желаний, этому фатальному пути упадка? Колеблются ответить на это. Между тем, несомненно, что общество, как и отдельный человек, прежде всего нуждается в какой-нибудь великой любви, и если оно перестает любить что-нибудь больше своей жизни, то его жизнью не стоит и жить<sup>175</sup>.

## V

У маленького дитяти, которое учится ходить, малейшее действие требует усилия особого акта воли; малейший жест стоит ему дорого, труден для него, потому что стремления, желания его различных нервов и мускулов противодействуют друг другу вместо того, чтобы ассоциироваться. Но по мере того, как его нервы и мускулы становятся солидарными, то, что было раньше волевым у него, делается привычным. Это постепенное, бесконечно спасительное превращение воли в привычку, это превращение обсуждаемой и сознательной деятельности во вспомогательную и машинальную деятельность совершенно соответствует в социальном мире непрерывному переходу от трудного, раздробленного и тягостного производства к легкому, организованному и почти приятному производству — переходу от цены к бесплатности. Но мы знаем также, что как только акт, недавно еще бывший волевым, превращается в привычный, подобно произнесению слов, чтению букв или музыкальных нот, верховой езде и т. д., он тотчас же перестает

быть целью и является уже только просто средством, служащим для внутренней цели, для нового усилия, которое само заключается в тягостном столкновении внутренних стремлений. То же происходит и социально: ассоциации, эти некоторого рода социальные привычки, которым предшествовали промышленные конкуренции, — некоторого рода социальные усилия, из которых они произошли, — по-видимому, не приносят никакой другой пользы, кроме того, что служат орудием деятельности с целью поддержания какой-нибудь гигантской конкуренции нового рода, политической или национальной, избирательной или военной, и в некотором более широком смысле богатство, ставшее почти даровым или легко приобретаемым, преследуется не само по себе, а рассматривается только как средство производить какое-нибудь другое богатство, еще трудно получаемое и дорого стоящее. Спрашивается, в чем же заключалась бы выгода, если бы нельзя было представить себе конца этому возрождению борьбы и усилия постоянно уничтожаемых и постоянно возрождающихся? Даже великая любовь в конце концов будет только великим страданием, «великой суетностью и мукой ума». Нет ли другой, менее бурной гавани для общества?

Можно думать, что для человечества, как и для человека, у возраста сильных страстей есть свое время и что это время уже прошло. Об этом нельзя особенно жалеть. Без сомнения, социальная телеология будет от этого в убытке, но зато выиграет социальная логика и это будет к лучшему — ведь вследствие невозможности подпадать под влияние страстей становится очевиднее необходимость обеспеченности и просвещения, а также — осмеливаюсь сказать — еще новых и новых иллюзий. Доказанная бесполезность хотеть большего может только удвоить выгоду веры и знания.

Богатство стремится к тому, чтобы заставить смотреть на себя главным образом со стороны верования и с этой-то стороны оно и будет продолжать свое развитие, когда побледнеет его сторона желания. Это движение уже заметно. Почему жажда золота постоянно растет в наших обществах, все более и более освобождающихся от религиозных верований? Потому что у уверенности, доставляемой золотом его владельцу, есть два различных характера, которые заставляют его играть

экономически роль этих верований. В неопределенности таинственного содержания тех будущих наслаждений, какие обещают деньги, заключается некоторая кажущаяся бесконечность, неограниченная перспектива, без которой человек не может обойтись. Кроме того, деньги воплощают в себе общее и всем присущее верование — вещь, необходимая для общества. Чем однообразнее курс денег и чем легче перевозить их с места на место, тем больше распространяется внушаемое ими доверие и тем они становятся способнее заменить собою в известной степени и с точки зрения труда религиозные надежды в том их виде, какими они являются нам, например, в первые века нашей эры. Представим себе миссионера, проповедующего христианство в среде какого-нибудь ирландского или саксонского воинственного и праздного племени. В эти непредусмотрительные, не заботящиеся о будущем умы он вносит веру в посмертную жизнь и убеждение в том, что при помощи известных трудов, известных лишений или обрядов можно приобрести уверенность в удовлетворении неизвестных желаний во все продолжение этой загробной жизни. Приобрести уверенность или хоть вероятность в спасении души, достигнуть вечного спокойствия — такова была цель этих людей, не имевших раньше и понятия о спокойной безопасности. Отсюда постройка ими монастырей, церквей, больниц, отсюда — уменьшение числа войн и умножение мирного труда. Итак, для этих варваров надежда попасть на небо — это бесконечное и общее всем верование — явилась настоящим капиталом (в общеупотребительном смысле слова), капиталом, столь же плодотворным, каким было бы открытие золотоносной жилы их начальником, обещавшим раздать им превращенные в монету слитки в награду за их хорошее поведение.

Вера в золото может оказаться столь же обманчивой, как и всякая другая вера, и удовлетворения, каких ждут от него, могут ускользнуть. Но в ожидании этого спокойная уверенность, какую оно нам сулит, является продуктивной силой *sine qua non*, несмотря на то, окажется ли она оправданной или обманчивой. Вот почему все увеличивается жажда к золоту. Когда говорят, не задумываясь, повторяют, как эхо, один экономист за другим, что обязанность государства ограничивается доставлением гражданам безопасности, то, по-видимому, никто не

подозревает о той подавляющей тяжести, какую возлагают на него. Равносильно было бы сказать, что ему достаточно обогатить нас всех.

Итак, хотя жажда золота представляет собою желание, но ее возрастание указывает главным образом на возрастание доверия и веры. Впрочем, этот вид веры, связанный с деньгами, как и со всяким богатством представляет собою веру ограниченную и условную, подчиненную желанию, так как ее объектом является возможность будущего удовлетворения этого желания. Вера, предполагающая какое-нибудь право или какой-нибудь вид чести, уже несколько свободнее: объектом у нее бывает возможность суждений другого лица, т. е. верований, но верований, ограничивающихся некоторыми объектами чисто субъективного значения: ваши личные достоинства, одобрение, какого заслуживают ваши поступки в границах того, что называют вашим правом. Вера эмансипируется в действительности только путем научной культуры. У веры в какую-нибудь теорему объектом бывает возможность всех тех объективных уверенностей, какие эта теорема вызвала или будет вызывать в моем уме или в уме других людей.

Обладать деньгами значит быть уверенным, что при случае вам будут служить другие люди, что найдутся лица, сообразующиеся с вашими желаниями. Пользоваться уважением, соединенным с той законной гордостью, какую оно доставляет, значит быть уверенным, что при случае о вас будут хорошо судить другие люди, что найдутся лица, по крайней мере отчасти сходящиеся с вашим суждением о самом себе. Платить почестями, уважением, почтением значит платить мнениями, а не услугами. Но хотя такая плата отражается на финансах государства бесконечно меньше всякой другой, это не значит, чтобы она была неистощима. Раз источник уважения истощился, то найти его снова труднее, чем что-либо другое. Судя по живучести почетных учреждений, общества, кажется, чувствуют эту истину. Почетный Легион — единственное из всех созданий первой империи, которое никогда не испытало серьезного нападения, — более всего противоречит стремлению к равенству во Франции, по крайней мере по внешности. Что осталось там от старого режима? Французская Академия. Правда, когда свойственный временам господства обычая источник почета

проявляет признаки выхода из моды, под влиянием демократического нивелирования и уничтожения, то в силу тех же причин: развития сношений и прогресса ассимиляции, со всех сторон прибывают и выступают из берегов новые источники известности и почета. Итак, если стало меньше почета для распределения, то имеется бесконечно больше славы или тщеславия для распределения между всеми честолюбцами, оспаривающими друг у друга эту новую монету, в конце концов более благородную, чем золото.

Но обилие этого духовного минерала, гораздо быстрее изнашивающегося и ржавеющего, не может возмещать во всех отношениях большую редкость прежнего металла, несомненно более неизменного и более прочного. Большое число социальных услуг, и притом самых существенных, начиная с услуг родителей, воспитания детей, вознаграждается только уважением и в устойчивом обществе большая часть должностей должна быть привлекательна главным образом только в силу связанного с ними почета. Самые промышленные государства не составляют исключения. Посмотрите на Англию: сколько там чисто почетных должностей, не говоря уж о звании пэра и полномочии члена парламента! Возьмите какого угодно англичанина, отца семейства: если вы будете думать только об его отношениях к другим народам, к его иноземным покупателям на великом мировом рынке, то вы скажете, что он погружен единственно только в заботу о кредите и дебете; но подумайте о его отношениях к другим англичанам, т. е., во-первых, к его многочисленным детям, для которых он делает столько издержек без малейшей надежды на уплату, затем к его бедным, к многочисленным несчастным, получающим помощь от благотворительных обществ, членом которых он состоит, и вы признаете, что он лишает себя своего имущества на дары и благодеяния чаще, чем путем продажи и спекуляции. Итак, плата деньгами — повторяю снова — представляет собою только одну из форм вознаграждения, и притом не самую лучшую. Отец достаточно вознагражден за свои пожертвования почтительною благодарностью детей, подобно тому как настоящий ученый или чиновник достаточно вознаграждается за свои труды уважением сограждан. Но они нуждаются в этом вознаграждении. Итак, если (как

это часто случается в те эпохи, когда восхищенное подражание современникам одерживает верх над подражанием предкам) сыновняя непочтительность заметно возрастает, то при всех прочих равных условиях народонаселение будет стремиться к уменьшению, и это не последняя из сторон данного статистического вопроса по своей важности и заметности. Притом же зло будет еще больше, чем покажут цифры, потому что каждое общество живет самопожертвованием, а последнее, как и всякая другая сила, нуждается в упражнении для своего развития, и многочисленная семья, какую надо управлять, является великой школой самоотречения, местом ежедневного изучения того, как жертвовать собою в государстве. Ничто не может так широко раскрыть сердце, а раз оно раскрыто по отношению к детям, то ему легче стать таким и по отношению к другим. Когда сердце остается закрытым даже у домашнего очага, то как могло бы оно раскрыться вне его? Можно констатировать, что страны, где отеческие чувства развиты широко, бывают также и странами широкой филантропии и пылкого патриотизма.

Я знаю, что отец, ученый или должностное лицо, о которых я говорил, поскольку они являются собственниками виноградников или возделываемых земель, требует от тех, кому они отдают свое вино или хлеб, кое-чего другого, кроме одного уважения. Но разве это их положение, как собственников, является господствующей стороной их личности с социальной точки зрения? Конечно, нет. Было бы, конечно, желательно, чтобы все могло оплачиваться чувством симпатии и уважения, и надо стремиться к этому идеалу, а не к противоположному. При его свете видно, прогрессирует ли общество или приходит в упадок сообразно тому, приближается ли оно или удаляется от этого конечного пункта.

Итак, экономическая точка зрения исключительна и недостаточна; ее следует дополнить этической или эстетической точкой зрения, на которую мы только что стали, и — прибавим также — юридической точкой зрения, которая от них едва отличается. Что такое право и отчего даже нарушенное, даже лишенное санкции и силы право не представляет собою *flatus vocis*? Богатство представляет собою власть над действиями и желаниями другого лица даже тогда, когда его действия не согла-

суются с его суждениями одобрения или порицания. Богатство представляет собою гарантию законных или незаконных наслаждений, а право является гарантией действительного или недействительного одобрения. Если бы верования не были в большой степени независимы от желаний, если бы высказываемые или не высказываемые убеждения общества не были часто противоположны его выгодам, если бы всегда можно было верить так, как желал бы верить, то это различие между правом и силой, между правом и богатством не существовало бы и было бы непостижимо. В этом заключается его основа и причина его возникновения. Так как верование стоит выше желания, так как ум выше хотения и продолжает укрепляться еще долго после того, как хотение начало приходить в упадок, так как, сверх того, знание, опыт и наука являются конечным пределом деятельности, верховным и конечным приобретением жизни, то следует приписывать больше значения убеждению, чем факту, праву и чести больше, чем силе и деньгам; следует в особенности ценить обогащение из-за возвышения тех новых прав и новых почетных должностей, какие оно дает, а не наоборот, — ценить доступ к почетным должностям и завоевание новых прав из-за возможности более легкого обогащения.

Благодаря юридической точке зрения телеологические вопросы превращаются в логические проблемы, споры — в обсуждения и примирение интересов сводится к умозаключениям из принципов. Полезности преобразуются в истины. При этом выигрывают и ясность, и глубина. Законовед стремится к максимуму безопасности и справедливости, т. е. к порядку, который удовлетворял бы наш разум и предполагал бы если не максимум богатства, о котором мечтает экономист, то максимум счастья, принимаемый за цель моралистом.

Все это, однако, ничто по сравнению с полной эмансипацией социальной логики, освобождающейся от всякой телеологии, благодаря теоретическому просвещению общества, поглощенного догматами или занимающегося науками, которые в свою очередь устанавливают догматы. Наиболее обширное воспроизведение и наилучшее распределение познаний — я имею в виду познания высшие, предназначенные в настоящее время для кучки избранных, которая завтра превратится

в легион избранных, — составит для будущего гораздо более сильную заботу, чем забота о воспроизведении и распределении богатств, даже рассматриваемых с их обеспечивающей, почтенной и законной стороны. Будем надеяться, что после теперешней неистовой погони за богатством настанет время стремления к истине, которое будет тогда преобладать, потому что еще долго спустя после того, как в воздухе перестанут появляться огненные столпы новых могущественных идеалов, способных очаровывать волю людей, в умственном небе все еще будут открывать, благодаря усовершенствованию умственного телескопа, новые полярные звезды, способные помочь ориентированию умов.

Все ли это? Нет. Византийский мир кончил поглощением телеологии социальной логикой, полезности — социальной истиной в ее религиозной форме, но хотя он стоит гораздо выше своей славы и даже своей судьбы, он все-таки далеко не выполнил исторического завета, и это потому, что и индивидуальная, и социальная логика или телеология, разум или целесообразность подчинены чему-то такому, с чем они, по-видимому, борются, но чему на самом деле помогают, — чему-то, что не представляет собою ни верования, ни желания, но что предполагает всякое верование и всякое желание, что всякое проявление суждения и воли совершенствуется, развивает, разнообразит: чисто чувственному элементу, единому и неуловимому оттенку, называемому внутренним впечатлением или историческим характером, который, подобно бесполезному цветку, вырастает в среде полезностей и принципов, трудолюбиво оплодотворяющих друг друга, и который, тем не менее, является их конечным объяснением. В самом деле, если Вселенная построена из повторений и сходств, то для чего нужны ее монотонности и гармонии, как не для этой неисчерпаемой роскоши различий, которые возникают повсюду и всегда и без которых бесплодная правильность была бы только старческим переливанием из пустого в порожнее? Куда годилось бы это монотонное движение смены поколений без индивидуальных вариаций живых существ, эта монотонная деятельность воздушных или эфирных волнений, молекулярных или звездных колебаний, без всякого рода разнообразия метеорологического, астрономического, географического, химического, эта монотонная



деятельность подражания даже в самых благородных и рациональных цивилизациях и без художественной самобытности, без исторических новшеств каждого часа в каждой точке земли? Мои органы, мои отправления, мой специфический тип, изъятый из миллиардов экземпляров до меня, существуют для меня, для того, чтобы я мог появиться, а не я существую для того, чтобы воплотить их в себе; точно так же и мое правительство, мои законы, моя цивилизация представляют собою вещи, которые я как существо социальное присваиваю себе, чтобы социально развернуть свою природную индивидуальность, единую и своеобразную, и которые не имеют права подчинять меня себе дальше того предела, за которым они перестают служить мне таким образом. Отсюда вытекает основание думать, что, несмотря на подготавливающийся потоп социализма, индивидуалистический либерализм не погибнет и возродится в конце концов в более высоких формах. Количества существуют для качества, гармония — для различия, вечное — для мгновенного, а не наоборот. Действительность — это то, что существует только один раз и одно мгновение. Вот почему у искусства — скажем это наконец — есть совершенно особое место в жизни обществ, по крайней мере, при его окончательном расцвете.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### Искусство

#### I

Существуют изящные искусства, а также искусства не изящные, как, например, политика, по крайней мере в том виде, как ее понимает большинство политиков. Это значит, что у слова «искусство» есть два смысла. В своем широком значении оно охватывает все проявления человеческого воображения и находчивости, т. е. изобретение в тысяче его форм. В самом деле, в этом смысле все является искусством: грамматики и словари, догматы и обряды, даже научные теории и методы, так же как юридические обряды и приемы судопроизводства, приемы управления или промышленности. Нет ни одного промышленного продукта, орудия, машины, которые вначале не были бы

произведением искусства. Но среди всех этих продуктов искусства есть такие, которые квалифицируются художественными в другом смысле слова, который надо прежде всего точно установить. Подобно тому, как сформированное общество для удовлетворения своих обыденных потребностей, т. е. вытекающих почти всецело из естественного источника, обладает теми средствами деятельности, которые называются его промышленностью, в собственном смысле слова, так и для удовлетворения так называемых эстетических потребностей социального происхождения, если таковые есть, оно владеет теми в высшей степени социальными средствами наслаждения, которые называются особыми типами драгоценных украшений, чеканного оружия, памятников, музыкальных инструментов, поэзии. Что же характеризует эти высшие потребности?

Если бы мы приняли во внимание только искусство передовых эпох, то мы сказали бы, быть может, что оно служит для удовлетворения потребности в изобретательном или в выразительном изобретении. В самом деле, оно кажется в это время прежде всего выразительным или изобретательным, или тем и другим вместе, и из этих двух его особенностей наиболее существенной представляется вторая. Арабское искусство, в силу религиозных сомнений отказавшееся от живых изображений, невыразительно; оно только подражательно по отношению к самому себе, но в то же время оно изобретательно, пользуясь этими комбинированными подражаниями, и этого достаточно. Музыка, выражающая смутно, хотя и с силой, но изобретающая много, стоит выше скульптуры, которая, мало изобретая, выражает точно и мощно, поэзия, соединяющая эти оба качества, представляет собою верховное искусство. Однако даже в те времена, когда накопление всякого рода изобретений развило свыше меры новую потребность — потребность изобретать для самого процесса изобретения, и когда многочисленные открытия вызвали другую потребность — потребность открывать для самого процесса открывания, даже и тогда производству искусства, чтобы быть признанным прекрасным, недостаточно было отвечать этим двум наклонностям и быть фантастическим и оригинальным или документальным и поучительным. Что же касается до более древних

эпох, то какая-нибудь статуя или поэтическое произведение ценились тогда, несомненно, не по своей новизне, ни даже не по своей истинности, т. е. не по выражающейся в них находчивости или псевдонаучности. Сколько народов знали в области искусства только эпопею и архитектуру и в течение многих веков без устали повторяли одни и те же традиционные песни, одни и те же формы храмов, дворцов или могильных памятников, производящих сильное впечатление, хотя и невыразительных, и считавшихся прекрасными именно потому, что они не представляли ничего удивительного? Пять или шесть тысяч лет Египет строил и перестраивал с неисчерпаемой любовью свою пирамиду, свой массивный храм, свой обелиск. Халдея была не менее верна своей ступенчатой башне, своим декоративным темам, своим поставленным друг против друга львам, или Китай своим высоким, похожим на палатку крышам, в которых, быть может, сказывается пастушеское происхождение этого народа. Даже Греция, несмотря на свою любовь к нововведениям, отличающим ее от всех других исчезнувших наций, разве и она не копировала себя сотни раз с едва заметными вариациями? Разве не прошло пятьсот лет от той отдаленной эпохи (приблизительно XIII столетие до нашего летосчисления), когда проник в Грецию свет восточного искусства, и до VII столетия, когда пробудился ее собственный гений, — пятьсот лет, которые она провела в повторении задов за Востоком?

Вот что можно сказать относительно изобретения. Но, спрашивается, было ли выражение предметом искания? Да, часто, но все-таки никогда не для самого себя. Был ли выразителен египетский скульптор или живописец? Нет, он был скорее повествователен. Когда он в длинной процессии выстроенных в одну линию профилей вдоль своих барельефов, являвшихся продолжением и дополнением к его иероглифам, представлял легенды о богах или победы царей, то он задавался целью не столько выразить, заставить понять изваянное или нарисованное лицо, сколько заставить при помощи этого лица понять самого себя: прежде всего надо было запечатлеть в душе зрителя удивление перед царем или обожание по отношению к богу, укрепить это в свое время социальное и в высшей степени моральное чувство, этот принцип

национального единения и силы. Правда, статуи Древнего царства жизненны, как портреты; но разве это значит, что скульптор был реалистом? Никоим образом. Его внешний реализм обуславливался той глубоко религиозной и, стало быть, социальной целью, какую он преследовал. Для совершенного успокоения египтянина недостаточно было одного бальзамировщика, превращавшего мертвецов в мумии с целью сделать их способными воскреснуть в будущем; его набальзамированный труп мог быть уничтожен; для предупреждения этой-то роковой случайности скульптор и обязывался приготовить некоторое неразрушимое факсимиле, некоторый эквивалент тела, сделанный из самого твердого диорита или гранита, и в то же время, насколько возможно, схожий с ним.

Отсюда проистекает этот индивидуальный отпечаток именно на самых древних остатках искусства, поражающий современных художников; но для них было бы ошибочно искать здесь сходства с собою, даже хотя бы для того, чтобы увидеть в этом доказательство, что талант индивидуализации не является конечным пределом прогресса. Выразить индивидуальность не для наслаждения, восхищаться этим выражением, которое должно было вечно оставаться скрытым в глубине могилы, а для того, чтобы дать человеку гарантию против страха посмертного уничтожения, чтобы вполне успокоить его сердце, дав ему уверенность в достижении сверхъестественного блаженства, которое было общей заветной мечтой всех сынов Нила, взаимно сходявшихся в этом общем стремлении в области воображаемого, — такова была высокая миссия древнего скульптора, населившего столько некрополей. Хотя на первый взгляд и скромнее миссии того, кто высекал царственные или божественные барельефы, она была, однако, не менее благородной; та и другая одинаково способствовали величественной гармонии этого народа, устойчивого и счастливого, как его колоссы. Никто также не станет отрицать той банальной истины, что в Греции, в эпоху ее процветания, и на Западе, в средние века, искусство служило принципом социального согласования. Представьте себе греков, собравшихся слушать трагедию Софокла или какую-нибудь песню Гомера, французов XII века, собравшихся в готическом соборе, который на короткое время

божественной службы успокаивает и восхищает всех своим церковным пением, своими расписными окнами, своим очарованием, своими надеждами на райское блаженство, проявляющимися в пении, скульптуре, эмалиевых и живописных украшениях. Все, кончая афинским скульптором, сделавшим статую атлета — победителя в кулачном бою, и тем лирическим поэтом, который стремился увековечить имя этого триумфатора низшего порядка, работали в пользу патриотического дела, укрепляя национальную любовь к традиционной гимнастике, поддерживавшей здоровье и жизнерадостность, силу и военную дисциплину этой удивительной расы и удерживавшей ее от азиатский изнеженности.

Итак, во всех этих примерах, заимствованных от обществ, у которых было свое собственное искусство, последнее является перед нами содействующим обязанностям и направляющим к одному и тому же самому полюсу, или даже лучше сказать, в этих примерах этика проявляется только как высшая эстетика, как искусство хорошего и похвального поведения. Особенность искусства, а также и морали, заключается в том, чтобы искать и думать, что оно открыло некоторую божественную цель жизни, великую цель, достойную того, чтобы индивидуум приносился ей в жертву. Когда искусство является отделенным от морали, когда оно оказывается деятелем социального разложения, а не социальной гармонии, то это служит признаком того, что оно внесено извне, как это было в Риме времен Сципионов, как это было в Тире, Сидоне и во всех финикийских городах, как это, в сущности говоря, бывает у большей части народов, пассивно принимающих в себя посев продуктов чуждого искусства, не заставляя их выродиться в новое искусство; или же это служит признаком возрождения мертвой цивилизации, как то было во Франции в эпоху Возрождения. Тогда искусство бывает не морально и действует разлагающим образом, потому что оно приносит с собою свою цель, свое особое, коллективное и патриотическое — в месте его зарождения — стремление, которому оно сознательно или бессознательно отвечает и которое, сделавшись индивидуальной аномалией в своей новой среде, оказывается в противоречии с обычным и традиционным сердечным стремлением этой среды, совращаемой им с настоящего пути.

Какова была цель жизни гуманистов XV и XVI веков, оставшихся христианами под их заимствованным паганизмом? Они и сами не знали ничего достоверного об этом<sup>176</sup>; сегодня они мечтали только о том, чтобы заслужить небесное блаженство, завтра — только о том, чтобы достигнуть поэтической славы, и доступ в рай или триумфальный въезд в Капитолий поочередно казались им верхом счастья. Что же происходит обыкновенно при таких столкновениях между стремлениями? Искусство, само потерявшее направление, ограничивается тем, что старается нравиться и стремление к наслаждению становится его единственной целью; но даже и здесь сказывается его умиротворяющая способность, и организатор грядущего порядка, более широкого и более могущественного, чувствуется даже в возмутителе уже установленного порядка. В самом деле, то наслаждение, желание которого оно распространяет и усиливает, представляет собою наслаждение любви и симпатий — наслаждение непрерывным расширением круга своей симпатии и своей любви; это — наслаждение в высшей степени социальное, удваивающееся, когда оно с кем-нибудь разделяется: слушание музыки или пьесы, вызывающей аплодисменты, чтение знаменитого поэта, словом, это — эстетическое наслаждение, основанное на суждении вкуса, укрепляющееся в каждом по мере того, как оно повторяется всеми. Ясно, что существует логическое несогласие в том социальном состоянии, при котором мораль не доверяет искусству или последнее держит первую на некотором расстоянии от себя. Несогласие иногда происходит от того, что одно опережает другое. Возможно, в самом деле (так ли это в наше время?), что мораль продолжает опираться на устарелые догматы, в то время как искусство, предупреждая будущее, инстинктивно обращается к какому-нибудь более широкому или более глубокому представлению о цели жизни, которое послужит основанием для морали ближайшего будущего. Но во все действительно логические эпохи искусство было только переводчиком и пояснителем морали. В средние века святость была одновременно и высшей красотой и высшей нравственностью. Не возвратимся ли и мы к какой-нибудь высокой форме подобного согласования?

## II

Выше я считал за доказанное, что искусство является средством достигнуть некоторой цели и что суждение эстетического одобрения, в сущности, представляет собою суждение о телеологической сообразности. Однако, если поверить утонченным эстетикам, нарисовавшим в общих чертах его метафизику, то надо было бы признать, что у искусства нет другой цели, кроме самого себя. В этом случае у него, как и у морали, был бы свой категорический императив: искусство для искусства, как обязанность для обязанности. Иначе говоря, статуя, картина, памятник, поскольку они произведения искусства (а не насколько они — мебель или дом, само собою разумеется), были бы бесцельны. Если бы это было так, то оценки знатоков или публики относительно большей или меньшей красоты художественного произведения были бы совершенно произвольными, так как для них нельзя найти никакого другого основания, кроме степени напряженности и всеобщности той потребности, какой это произведение отвечает, и степени силы и правильности этого ответа. В самом деле, если мы бросим взгляд на искусство различных древних эпох, вместо того чтобы ограничиться только изучением искусства нашего времени, когда потребность, какой отвечает искусство, стала столь всеобщей и столь глубокой, что никто больше ясно не сознает ее, то мы без большого труда заметим, что у произведений искусства были исторически истинные цели, лежащие вне его, и цели, изменявшиеся от одной эпохи к другой. Если не обратить внимания на разграничения этих последовательных и различных целей, к которым стремился артист и которые всегда были плохо разграничены от других современных целей, то мы не будем иметь ни малейшего понятия о развитии какого-нибудь искусства и последовательности его фазисов; напрасно было бы искать решения этой задачи в каком-нибудь так называемом законе художественной эволюции. Когда какая-нибудь потребность, развитая исключительно теми самыми обстоятельствами, которые дают ей удовлетворение, становится очень сильной и очень распространенной в среде какого-нибудь народа или какого-нибудь поколения этого народа, то она

бессознательно овладевает также архитекторами, живописцами, поэтами и музыкантами. В эпоху теократии или в эпоху еще существенно религиозную, вследствие того что обилие мифов и легенд развивает в ней страсть к чудесному, художники и артисты лепят, поют и строят для поучения правоверных. Позже, когда вера уменьшается, хотя и остается еще живой, и благодаря смещению существующего порядка с зачатками свободы отчасти уступает место любви к пропорциональности во всем, когда в силу национальных побед и происшествий, вызвавших к жизни удивление, преобладающею стала не потребность молиться, а потребность удивляться и прославлять свою общину и своих великих людей, тогда-то и начинается тот классический период, когда отвечающее этому чувству произведение аристократического или монархического искусства блещет благородством или величием. Таковы произведения времен Рамзеса, Фидия, Августа, Людовика XIV. Затем, когда привычки благосостояния и взаимной симпатии, эклектизма и либерализма, порожденные продолжительным миром, торговлей и соприкосновением различных цивилизаций, разовьют особенно сильную жажду наслаждений и эмоций, могущих сообщаться от одного к другому, произведения искусства должны сделаться сладострастными, трогательными, забавными; это именно и произошло во Франции в XVII веке, в Греции во времена Лисиппа и Эврипида или даже уже во времена Праксителя. Наконец, когда, например, в нашу современную эпоху, необычайно быстрый рост науки — одной из ветвей социального дерева — сделал чрезвычайно живою и чрезвычайно распространенною потребность понимать, познавать и изучать, тогда неизбежно должна появиться школа искусства, именно реализм или натурализм, являющаяся свободным помощником или вольным застрельщиком науки, заключающаяся в маленьких открытиях мелких фактов, не имеющих значения, но являющихся тем не менее лакомством для любопытных, до тех пор пока не последует неизбежная мистическая или идеалистическая реакция, чтобы ответить на те потребности сердца, которых наука не удовлетворила.

Почему египетская скульптура, очень реалистическая и, со стороны исполнения, весьма индивидуалистическая во времена Древнего царства,



потом, в противность всем громогласно провозглашенным или только шепотом высказанным формулам эволюции искусства, становится постепенно идеальной и условной? Было ли это упадком, ослаблением силы выразительности? Нет, так как фивские колоссы или пышные историографические барельефы Карнака или Луксора нисколько не хуже выражают стремления художника этой эпохи, официального прославителя и рассказчика; прежде всего они передают идею могущества и величия фараонов, которой был преисполнен этот художник, они передают не хуже, чем статуи первых некрополей удовлетворяли суеверные или религиозные желания своих авторов. Это замечание заслуживало бы обобщения; несомненно, что всякое искусство по прошествии некоторого времени, в течение которого оно находится в состоянии обучения, — искусство, созревшее и сформировавшееся, подобно установившемуся виду животных, всегда представляет собою средство, в совершенстве приспособленное к своей цели.

Но эта цель, повторяю снова, менялась. По мере того, как, подобно Нилу после его разлития, понижалась вера египтян в те столь странные представления, которые составили себе их предки относительно богов с человеческой головой на теле животного или с головой животного на теле человека, все более и более уменьшалось могущество Озириса, Гу, Аммон-Ра как провиденциального источника благодетелей, к которому направлялись надежды народа, и его место все более и более замещало собою могущество фараонов; отсюда новое направление искусства, которое из религиозного становится монархическим. По мере того, как первобытные, столь грубые верования относительно местопребывания мертвых и загробной жизни становились слабее, первоначальная цель искусства — увековечить личность в виде будущей жизни уступала свое место этой цели, некогда второстепенной, а теперь сделавшейся главной, — увековечить для живых рассказ, воспоминания о деяниях умершего, о его подвигах, если дело идет о выдающейся личности.

Здесь проявляется действие одной совершенно особой причины, которая должна была заставить скульптуру принять более абстрактный

характер, обратить внимание на типическое, жертвуя индивидуальными деталями. Это упрощение, согласно Перро, обуславливалось именно продолжительным, постоянным и притом вполне доказанным влиянием иероглифического письма на искусство рисования. Привычка пользоваться чем-то вроде рисунков как словами повела к взгляду на настоящие рисунки как на нечто вроде слов, некоторых идеографических знаков прежде всего, больше говорящих уму, нежели чувству, скорее ясных, нежели прекрасных, или, лучше сказать, наиболее ценимая красота которых, кроме гиперболического величия обоготворения, заключалась в наибольшей степени светозарной ясности. Отсюда те условности, от которых никогда не был свободен и никогда не старался освободиться египетский рисунок. Знающего человека нельзя убедить в том, что художники, достаточно искусные, чтобы нарисовать известные нам тонкие силуэты, чтобы, когда им захочется, суметь воспроизвести с неподражаемым совершенством малейшие оттенки в чертах лица, когда они этого захотят, могли в течение многих тысячелетий не замечать, что они постоянно поворачивают грудь *en face*, тогда как, по нашему мнению, она должна быть повернута в профиль подобно голове и всему телу. Если они совершали эту предполагаемую ошибку, то только с полным знанием дела и потому, что они считали вид спереди более способным служить к характеристике груди, точно так же как считали вид в профиль более пригодным дать точное понятие о лице<sup>177</sup>. Они знали о перспективе, но пренебрегали ею, потому что, обращая на нее внимание, они не исполнили бы своей обязанности выставить все на первый план, на тот единственный план, который является фокусом ясности, наибольшей всевозможной отчетливости.

По той же причине египетский художник остерегался класть оттенки; его краски, часто не подражавшие природе<sup>178</sup> и всегда положенные совершенно гладко, предназначались только для выделения контуров, а также для удовлетворения потребности южных народов в полихромии или для того, чтобы дополнить вид празднества и торжества. Рисуя иногда синие или зеленые лица, они очень хорошо знали, что в природе не существует ничего подобного; им также было известно, что глаза, нарисованные *en face* на лице, изображенном в профиль,

противоречили природе. Французский художник, которому какой-нибудь государь заказывает картину, изображающую большое сражение, стремится представить глазу зрителя сразу все отдельные части этого великого целого и даже, до известной степени, те последовательные перипетии, из которых оно состояло. Эта свойственная его искусству условность заставляет его сгруппировать в своей картине то, что в действительности было разъединено, заставляет его видоизменять факты, чтобы приспособить их к своему бессознательно принятому основному плану. Предположите, что различные моменты этого сражения воспроизведены при помощи известного числа моментальных фотографических снимков; живопись тогда явится их условно-одновременным соединением. Обратно, ассирийский или египетский художник, которому поручили бы нарисовать битву, разложит ее на столько же отдельных, следующих одна за другой картин, сколько в ней было не только последовательных по времени фазисов, но даже и частей, частичных столкновений, происходивших одновременно. В этом ясно сказывается, что живопись и ваение этих древних народов представляли собою письмо. Каждая из их картин, или, лучше сказать, из их длинных лент повествовательных рисунков, представляла собою фразу, и совокупность этих фраз предназначалась для возбуждения в воображении зрителя суммарного интеллектуального, а не зрительного представления. Таким именно образом Вольтер нарисовал картину века Людовика XIV. Но все это не доказывает того, чтобы здесь не было искусства и притом великого искусства.

Китайская живопись также представляет в сущности графический характер. Рисовать в Китае значит — писать. Замечательно, что условности этого искусства жителей Небесной империи до странности напоминают условности египетской скульптуры и барельефов: головы, нарисованные в профиль с глазами en face, вертикальное расположение перспективных плоскостей вместо горизонтального и т. д. Но эти условности стали там настолько естественными и необходимыми для народа, что наши европейские портреты и картины, привезенные из Европы в Среднюю империю, вызвали единодушную критику<sup>179</sup>.

## III

Я, полагаю, имею уже право сделать еще раз то заключение, что искусство представляет собою важную отрасль социальной телеологии, является средством для достижения социальной цели и что характер этой цели во всякий момент истории определяется целью некоторых преобладающих в этот момент религиозных или иных изобретений, которые всегда могли бы или совсем не появиться в среде этого народа или появиться там раньше или позже и, быть может, погибнуть в борьбе с другими, заслуживающими предпочтения нововведениями. Например, религиозные идеи древних египтян удивительны по своей фетишистской грубости для народа, так далеко ушедшего вперед по пути цивилизации. Ничто не мешает предположить, что уже при первых царях могло бы и даже должно было бы сложиться менее дикое представление об условиях загробной жизни. При таком предположении искусство, не будучи более принужденным ограничиваться точным воспроизведением своих образцов и не обращаясь по преимуществу к материалам, наиболее твердым и наиболее сопротивляющимся резцу, несомненно изменило бы свой характер. Точно так же позволительно думать, что если бы гений изобретательности этого народа занялся сам разработкой тех зачатков фонетического письма, какие уже заключались в иероглифах, то он не преминул бы создать полный алфавит еще задолго до финикиян. Предположите это, и вы увидите, что так как иероглифическое письмо должно было бы в таком случае выйти из употребления, то искусство, избавившись от его влияния, быстро потеряло бы ту идеальную неуклонность, какую оно отличается<sup>180</sup>.

Но это замечание, которое, впрочем, настолько же приложимо к социальному определению потребностей всякого рода, как промышленных, так и эстетических, не говорит нам, что является существенным и характерным в последних. Спросим же себя, почему простые и непосредственные потребности в крове, одежде и пище делают недостойными названия предметов искусства те продукты, какие дают им удовлетворение. Прежде всего, можно сказать с известной степенью справедливости, что различие страдания и наслаждения служит основой для различия промышленности и искусства. Продукт

производства, удовлетворяющий простое желание устранить какое-нибудь страдание или неприятность, представляет собою предмет промышленности; как только он доставляет наслаждение, он становится роскошью, что представляет уже собою некоторый вид искусства. Дом, в котором нет ни малейшей роскоши, ограничивается тем, что защищает нас от холода и дождя; если же он роскошен, то доставляет нам наслаждение комфортом или удовлетворением нашего тщеславия. Подобным же образом, простое и примитивное правительство, которое довольствовалось бы тем, что защищало бы нас от воров и убийц или от внешних врагов, представляло бы собою такую же отрасль промышленности, как и всякая другая. Но если оно начинает заботиться о доставлении нам славы, национальной гордости, игр и празднеств, то оно становится художественной роскошью и обходится довольно дорого. Но это объяснение неполно и для того, чтобы сделать его удовлетворительным, было бы недостаточно прибавить, что то наслаждение, потребность в котором эстетична, есть наслаждение симпатическое, а не эгоистическое — социальное, а не индивидуальное. Выразим нашу мысль с большей полнотой, сказав, что если промышленный или правительственный прогресс способствует увеличению безопасности, уменьшению наших страхов и развязывает таким образом узы наших желаний, то одно только искусство дает крылья им и беспрестанно увеличивает сокровище наших гарантий безопасности и наших надежд. Христианская набожность, которая стремилась бы просто только к тому, чтобы избежать ада, представляла бы собою в некотором роде промышленный труд, но мистический пыл, ставящий своею целью небо, неизреченное лицезрение Бога, заключает в себе нечто эстетическое. Собственно говоря, искусство не освобождает, делает нечто лучшее — оно восхищает. Оно льстит и питает, оно согревает или воспаляет во всякую эпоху и у каждого народа его собственную иллюзию: рай за гробом, славу, наслаждение. Оно одно дает форму и тело той химере, какую живет народ, неопределенному и смутному объекту его энтузиазма. Оно одно точно определяет посмертное блаженство, народных идолов, богов, полубогов, божественные и царственные легенды. Оно одно украшает и прикрашивает предмет его любви, и можно было бы

сказать, что оно его увековечивает. Разве без него египтянин составил бы себе сколько-нибудь ясное представление о своем странном эллинизме и о своих божествах? Разве без него христианин мог бы мечтать о своем рае, о своих избранниках и о своих ангелах, а эллин о своем Олимпе и даже о своей общине? Разве не искусство запечатлевает эту общину своею печатью, навсегда закрепляющею ее в сердце гражданина? Вообразите себе Афины без Парфенона, представьте себе Грецию без Гомера?

Спенсер где-то связывает искусство с любовью, а любовь с моногамией. Но, во-первых, мы не видим, чтобы народы полигамические, как, например, арабы, эти первые образцы рыцарской вежливости, восхищались женской красотой меньше их моногамических соседей. Во-вторых, искусство способствовало возвращению, возвышению и облагорожению любви в гораздо большей мере, чем любовь способствовала развитию искусства. Слава великих людей и богов, т. е. нечто социальное, гораздо больше красоты женщин — нечто природно-естественное — влияла на ранние порывы искусства и поэзии, начиная с египетских, халдейских и ацтекских храмов и дворцов, до Дельфийского святилища и Собора Парижской Богоматери, начиная с поэмы Пентаура и псалмов Давида и кончая Илиадой. Тогда, когда, за неимением действительно самобытного искусства, являющегося одновременно предметом любви и творческим началом новой красоты, какой-нибудь народ эклектически усваивает чуждые ему искусства, причем их вдохновения от него ускользают или борются между собою, только тогда общая им всем тенденция сладострастия, хотя и второстепенная, придаточная для каждого из них, является единственной понятной ему и единственной им воспринимаемой; в этом-то, быть может, и заключается отчасти объяснение того чувственного направления, какое приняло гибридное искусство Финикии, а также, пожалуй, и направление нашей современной литературы. Естественные или все менее и менее искусственные красоты с течением времени выделяются из столкновений искусств, приблизительно подобно тому, как из вековых столкновений философии и религии выделяются естественные, научные истины. Но все же эти так называемые естественные красоты или

истины мы видим всегда только через окрашенные стекла очков моды и обычая, методов и предвзятых теорий. Но остановка искусства в культе наслаждений, как и остановка мысли в области чистой науки, всегда бывает только временной.

Притом же даже и здесь сказывается благодетельное, магическое влияние — белая магия искусства. Любовь, несомненно представляющая собой принцип индивидуальной телеологии, так как, пока она существует, она сосредоточивает на одной и той же цели все стремления, все поступки, все действия индивидуума, — любовь является источником раздоров между людьми, возмущающим обстоятельством, вносимым в социальное сотрудничество. Искусство же, даже порожденное любовью, всегда представляет собою причину, устанавливающую гармонию между людьми. Оно воспевае все, что кажется прекрасным, все, что возбуждае любовь; но воспевае, оно само возбуждае новую любовь, создает новую красоту, и, перенося на себя те желания, какие возбуждаются его объектами, оно властно согласует их между собою. Все те реально существующие предметы, которые вызывают желание: прекрасные страны, которых никогда не увидишь и о которых мечтаешь; красивые женщины, вызывающие сожаление о том, что ими не обладаешь; прекрасные охоты, дворцы, празднества, заставляющие вздыхать бедняка; историческое величие, унижающее плебея, — все это нарисовано, описано, прославлено искусством, и его произведения так прекрасны, что они не только не кажутся слабым отражением своих образцов, но, наоборот, кажется, что только эти произведения и представляют собой единственный *raison d'être* изображаемых им реальностей; за счастливым созерцанием или радостным созданием предметов искусства следует спокойная безропотность. Простонародная публика наполняет наши музеи, где она наслаждается зрелищем монархий или аристократий в их полном расцвете, и выходит оттуда менее расположенной к возмущению и ненависти. Чистое искусство заключается в обобщении любви к вещам, которых нельзя приобрести, и, следовательно, в примирении непримиримых желаний.

Искусство — это культ и развитие социально-прекрасного. Но что же такое прекрасное? Мы называем прекрасной какую-нибудь

простую и плодотворную формулу, ньютоновский закон притяжения или равнодействия сил; какое-нибудь открытие, богатое последствиями, предчувствуемыми и бесконечно накапливаемыми истинами, или какое-нибудь изобретение, допускающее приложения, полезность которых продолжается неопределенно долго, по-видимому, беспредельно<sup>181</sup>. Мы называем прекрасной какую-нибудь правильную геометрическую форму: эллипс, шар, даже прямую линию, потому что знание одного из ее элементов дает нам подразумеваемое знание всех остальных, или же потому, что она является направлением и дает представление о силе, которой ничто не препятствует, уверенной в самой себе и в своем развитии; мы называем прекрасным образ женщины, которая внезапно пробуждает в нас заснувшую веру в возможность необъятного блаженства, т. е. безграничного доверия к самому себе, к своим силам и к своей будущности. Не заключает ли в себе вид любимой женщины одновременно с глубоким волнением и безграничную перспективу глубокого, ни с чем не сравнимого спокойствия, внутренней полноты веры, полного успокоения всех наших вожделений, — перспективу, которую обещает нам обладание ею? Мы называем прекрасной славу, которая обеспечивает нам продолжение нашей умноженной в несколько раз жизни, благодаря которой вместе с внутренним свидетельством о нашем узком индивидуальном существовании нам дается уверенность в нашей внешней широкой и все возрастающей деятельности. Мы в меньшей степени называем прекрасным здоровье, которое, также в меньшей степени, свидетельствует о прогрессе или о прочности наших сил. Мы приветствуем названием прекрасного отечество, когда оно велико и сильно и дает гражданину горделивую уверенность, веру римлянина в свой вечный город. Одним словом, все, что открывает перед нашей потребностью доверия и веры неожиданный просвет, все, что могущественно способствует нашим поискам максимума верования, — все это мы называем прекрасным. Красота — это успокаивающая, укрепляющая истина. Точнее говоря, красота — это предчувствие будущей, неопределенной, полной истины или полезности и, кроме того, если дело идет о красоте в искусстве, то еще и истины или полезности коллективной.



## IV

Указывали, однако, и не без остроумия, что красота, к которой стремится искусство, представляла собою в прошлом полезность; можно было бы так же прибавить: истину, верование. Следует ли заменить вполне это определение предыдущим? Нет, так как оба они пополняют друг друга. Прекрасное — это призрак полезного, а также и его предварительное проявление — оно его альфа и омега. В самом деле, у искусства не только есть социальная цель, но для ее достижения оно употребляет и социальные средства, приемы, которым подчиняется самая свободная художественная фантазия, освященные типы или жанры, порождаемые традицией или модой, т. е. подражанием в двух его формах<sup>182</sup>.

Красота стрельчатого или крестового сводов для того, кто первый их открыл или первый приветствовал эти остроумные решения давнишней задачи религиозной архитектуры, заключалась в перспективе их неизмеримо обширного позднейшего применения<sup>183</sup>. Но настал впоследствии такой момент, когда, будучи даже бесполезными, как, например, в постройке укрепленных замков, они считались прекрасными по привычке, в силу традиционного суждения вкуса, постановления которого пережили свои преданные забвению причины<sup>184</sup>. Тем не менее это суждение несколько не изменило своего характера при этом и как вначале, так и потом оно постоянно выражало или предполагало веру, хотя и обманчивую, в настоящую или будущую полезность этих архитектурных приемов. Когда публика заметила или ей показалось, что она заметила свое заблуждение, красота стрельчатого свода исчезла до того дня, когда в нее снова поверили и стали утверждать ее снова и когда она снова ожила и поразила всех. В каждое мгновение в обществе необходимо иметь много таких совершенно готовых суждений, способных превратиться в эстетические понятия, а потом в эстетические чувства, в предубеждения, очень часто ошибочные, с которыми всегда должен считаться художник-творец, так как если бы он попытался, рискуя потерпеть поражение, идти им навстречу или даже если бы он пренебрег их примирением с теми новыми суждениями вкуса, которые он предполагает высказать, и внесением их в качестве элементов в ту

новую красоту, которую он приносит миру, то он не выполнил бы своей социальной миссии, заключающейся в том, чтобы обогащать, а не уменьшать, укреплять, а не ослаблять совокупность народной веры — общая цель социальной логики и эстетики и знак их родственности.

Повторяю, это значит, что традиционные типы и виды искусства представляют собою тот необходимый — необходимый логически — язык искусства, те слова, которыми оно не может не пользоваться, а известно, что самая новая мысль может только выиграть, пользуясь, поскольку возможно, наиболее старыми словами языка, наиболее звучными и ясными из всех остальных. Самобытность художника имеет право и возможность проявляться только при посредстве этих типов, передаваемых путем длинного ряда подражаний, подобно тому как индивидуальность живого существа может проявиться только под либрей своего естественного типа, этого наследства длинного ряда поколений. Справедливо также, что оно присваивает себе самые свои цепи и делает из них опору для себя. Можно сказать, мне кажется, по отношению к биологии, что индивидуальная вариация какого-нибудь вида почти всегда представляет собою новый вид в проекте; в самом деле, достаточно было бы преувеличить органическое стремление, выражением которого является эта вариация, чтобы в силу законов, управляющих соответствием роста и солидарностью развития различных органов, прийти к необходимости построения нового равновесия, независимо от того, будет ли оно жизненным или нет. Это только предположение, но несомненно, по крайней мере, что подобным же образом всякая художественная вариация старой темы представляет собою новую тему в проекте и в пробе, впрочем, часто уже сформулировавшуюся в уме ее автора полнее, чем он осмеливается сказать. Таким был первый стрельчатый свод, приведший к изменению римской церкви, или первый диалог между двумя лицами, скромно и робко появляющийся в одном хоре Вакха незадолго перед Эсхилом, или первая рифма, присоединенная к латинскому стиху, как фиоритура... Разве авторы этих, по-видимому, легких изменений нисколько не догадывались о том развитии, зародыш которого в них заключался? Во всяком случае, они стремились к нему, даже не замечая его. В тех мельчайших ново-

введениях, какие позволил себе в своих работах скромнейший из поэтов, музыкантов или рисовальщиков, можно было бы, хорошенько поискав, открыть какой-нибудь новый вид, какую-нибудь новую могущественную школу, достойную или недостойную успеха. Даже актер, не изменяя ни одного слова, повторяющий роль, уже издавна игранную и переигранную столькими другими актерами, пропитывает ее характеристической прелестью, характеристическим духом, вызывающим представление о иной роли, видоизмененной и переделанной согласно вкладываемым им в нее непредвиденным намерениям; если бы я не боялся утомить читателя своими рискованными гипотезами, то я охотно сравнил бы с этим актером, точно передающим свою роль, живого, нормального и банального индивида, монаду, с наибольшею правильною изображающею свой вид, но не отрекающеюся, однако, от своей собственной и неизгладимой сущности. Магическая сила искусства, а также и жизни, — так как жизнь и искусство тождественны, как это основательно показал Гюйо, — заключается в том, чтобы светозарно раскрывать нам основу вещей, и путем всеобщего повторения явлений заставлять резко обнаружиться для нас всеобщее различие элементов.

Прибавим, что красота моральная, как и красота художественная, оказывают примиряющее влияние. Прекрасный поступок — это такой, который сообразуясь с нравами эпохи, с типом чести, пользующимся всеобщим уважением, дает в то же время представление об ином, лучшем типе, лучшем в силу того, что он представляет пример, который, если бы ему последовали, дал бы социальному телу больше гарантий и коллективной силы, или же сделал бы полнее согласие между национальным поведением и национальной мыслью. Первый варвар, заменивший при богослужении человеческую жертву животной, внес только видоизменение в господствующий обычай, но у него было смутное предчувствие и стремление к еще гораздо более чистой морали, совершенно запрещающей кровавые жертвы. Бескровная жертва — это служба в храме, представлявшая вначале неизмеримый шаг вперед. От этого номинального подобия жертвоприношения до полного уничтожения самой идеи жертвоприношения в религии было уже недале-

ко. Читая еврейских пророков, чувствуешь, что их нравственные стремления, ставшие уже христианскими, далеко опережают их моральные предписания, оставшиеся еще еврейскими.

## V

Но вернемся к нашему предмету. Эта, как мы знаем, чисто логическая необходимость, заставляющая художника сообразоваться с привычками публики даже для того, чтобы реформировать эти самые привычки, позволит нам построить мост над глубокой расщелиной, считаемой довольно часто непроходимой и разделяющей, по-видимому, на две части великую область искусства. С одной стороны, существуют искусства подражательные (под этим разумеют и подражание природе), а именно скульптура, живопись, поэзия, и с другой стороны, музыка и архитектура, похваляющиеся тем, что они не подражательны. Истина, однако, заключается в том, что если два последних искусства и не подражают предметам природы, ограничиваются только выражением и удовлетворением естественных желаний и чувств, — что, конечно, не одно и то же, — то они сами принуждены подражать, воспроизводить мотивы, архитектурные или музыкальные формы и жанры, к которым привыкла их публика, совершенно так же, как живопись, ваяние и поэзия принуждены подражать и воспроизводить собственно не предметы природы, а условные типы (центавров, химер, ангелов, крылатых быков, сфинксов, голов, окруженных сиянием и т. д.), а среди естественных существ или явлений природы — тех, которых публика любит или отличает, тех, которых указывает художнику воспитание, обычай, мода: тигра или льва в Ассирии, лотос в Египте, акант в Греции; здесь слон предпочитается лошади, там ястреб орлу или жук пчеле. Как бы ни были разнообразны по положению тела и группировке греческие статуи, со статуэтками Танагры включительно, но припомните ли, чтобы вы видели среди них хоть одну, представляющую столь простую и столь общераспространенную со времени христианства группу матери, держащей своего ребенка на руках? В детях эти сладострастные скульпторы видели только крылатых амуров. Таким образом, во всякую эпоху существуют сюжеты, брать которые

художнику воспрещается, незаметно для него самого, и существуют другие сюжеты, брать которые он принужден. Живописцы нашей новой современной школы исповедуют некоторого рода анархизм, доведенный до крайности оригинальности индивидуализма; тем не менее они сами представляют лучший пример такого подчинения одному коллективному лозунгу, которое доходит до извращения чувства цвета и внушает им манию фиолетовых тонов. Впрочем, эта подчиненность в известной мере необходима. Предположите, что какой-нибудь поэт станет черпать свои образы или сюжеты своих поэмах или какой-нибудь художник станет искать модели и идеи своих картин в неизвестных для его публики фауне и флоре, в человеческом сердце, совершенно чуждом сердцу его публики, в философских или религиозных верованиях, о которых она никогда не слыхала! Итак, живописец, скульптор и литератор берут типы социальные или сделавшиеся таковыми, так как без социальной деятельности подражания в среде публики они не существовали бы — по крайней мере, поскольку они являются художественными; в этом отношении они несколько не отличаются от типов, какими пользуется архитектор или музыкант. Единственное различие между ними заключается в том, что для подражания, которое дает начало первым, чаще всего источником бывает открытие — открытие первого ученого или первого путешественника, заметившего и сделавшего известным какое-нибудь растение, животное, явление природы, тогда как для подражания, которое дает начало вторым, источником служит изобретение — изобретение первого архитектора, придумавшего фронтон, дорическую колонну или свод, первого музыканта, придумавшего церковное пение или правила гармонии<sup>185</sup>.

Объяснение этого различия заключается, я думаю, в той особенности внешней природы, что, будучи чрезвычайно богатой комбинациями цветов и неправильных линий, установившимися и повторяющимися комбинациями такого рода, способными вызывать интересные замечания и зрительные привычки у человека или народа, она, напротив, крайне бедна сколько-нибудь замечательными и устойчивыми комбинациями геометрических линий и звуков. Итак, чтобы удовлетворить вполне эстетические потребности слуха и зрения, необходимо было изобрести

эти последние, тогда как для первых почти всегда достаточно было только открыть и подметить их. Действительно, природа дает нам не только все оттенки цветов и все извилистые формы, которые нельзя формулировать геометрически и какие только можно себе представить, но еще и почти все, какие только можно вообразить, соединения и сложные сочетания этих элементов в бесконечном разнообразии живых существ, животных или растений, неровностей почвы или игры света и тени. Эти естественные типы, — рассматриваемые под тем углом и в том направлении, какое дают взгляду и уму воспитание и влияние окружающей человеческой среды, — останавливают на себе взгляд в силу своей интересности или устойчивости и в конце концов заполняют собою зрительную память до такой степени, что воображению, старающемуся избавиться от них, не оставляют другого выхода, кроме чудовищного нагромождения или группирования этих же самых существ природы.

Это, впрочем, не значит — скажем в скобках, — чтобы доставляемые нам природой комбинации были именно те, которые мы, независимо от их выражения, — этого результата индивидуальной или социальной привычки, — считаем наиболее прекрасными для нас, именно те, которые мы постарались бы изобрести, не будь их в природе. Живые формы казались бы нам столь же странными, столь же мало грациозными, какими нам кажутся буквы неизвестного нам письма, если бы мы не знали той органической гармонии, некоторого рода алфавитным выражением которой являются эти формы, и если бы мы не привыкли видеть их и слышать, как ими восторгаются. Но буквы, которыми мы пользуемся, выразительные и ясные для наших глаз, нисколько нас не поражают и их странность от нас ускользает; даже когда эти буквы написаны красивым, элегантным и в то же время характерным почерком, придающим этим навязанным нам значкам всю грацию и оригинальность, какую они допускают, письмо производит на наш глаз глубокое очарование, совершенно подобное тому могущественному удовольствию, какое доставляет нам вид форм тела нашей расы или наших знакомых, нарисованных хорошим художником, этим истинным каллиграфом природы.

Надо ли говорить еще, как мало дает нам природа уже скомбинированных ею элементов в области собственно звуков (не шумов), т. е. в области правильных серий одинаковых колебаний, и в области прямых или кривых, геометрически определенных линий? Там и сям несколько чистых нот, но никогда ни мелодий, ни гармоний, сколько-нибудь искусных; несколько почти прямых линий (горизонт на море), несколько приблизительно правильных кругов (радуга), но ничего такого, что походило бы на симметричное, правильное, гармоничное и однообразно повторяющееся соединение прямолинейных и круговых элементов. Постигнуть и выделить эти благородные согласования из глубины своей души, реализовать их в портиках и колоннадах, в песнях и симфониях составило трудную обязанность архитектора и музыканта. Притом же можно быть уверенным, что если бы лесные птицы, например, с колыбели наполняли наш слух звуками и модуляциями, равными по глубине, богатству и гениальности божественно разнообразным строениям живых существ, то и музыка сама необходимо была бы подражательным искусством, и сам Вагнер унизился бы до того, что стал бы копировать образцы, даваемые природой, совершенно так же, как Рафаэль или Тициан. Обратно, предположите на какой-нибудь планете, совершенно лишенной растений и животных, какого-нибудь Адама — художника, какого-нибудь Рубенса, стремящегося удовлетворить влечение своего призвания; не будет ли он принужден придумывать всякого рода арабески и расходовать свою творческую силу на декоративные темы, которые вскоре превратятся в специальные творения, любимые и бесконечно повторяемые им самим или его учениками? Таков и музыкант. Зброшенный в мир, бесплодный и неблагодарный по отношению к нему, как и по отношению к архитектору, он, подобно последнему, должен в конце концов сам создать основной материал своего искусства.

Совокупность предшествующих замечаний объясняет один легко замечаемый факт, кажущийся на первый взгляд очень странным. Уважение к традициям школ и к формам, завещанным прошлым искусства, гораздо строже требуется в искусствах, считающихся свободными: в музыке и архитектуре, чем в искусствах, называемых

подражательными, и именно потому, что первые подчинены узам другого рода, хотя и сходным по существу: они принуждены уважать формы, встречающиеся в природе. Что же касается последних, рассматриваемых в отдельности, то надо также заметить, что в них происходит некоторого рода колебание между культами традиционных и физических образов. Чем более, например, современная живопись ограничивается точным копированием действительности (по крайней мере той, на какой останавливает ее мода и какую указывает ей текущая наука), тем более она индивидуализируется и в известной степени освобождается, — впрочем, гораздо меньше, чем это обыкновенно думают, — от классических правил и схем. Обратно, чем более она делается традиционной, если так можно выразиться, тем более пренебрегает она согласованием с реальными существами. Выбор между этими двумя направлениями может зависеть от многих влияний. Таким образом, в нашу эпоху развития естественных наук и с каждым днем увеличивающейся и распространяющейся склонности публики к этим наукам, а также вытекающей отсюда общераспространенной привычки или моды останавливать свое внимание на природе, лучше наблюдать предметы и существа, созданные ею, и притом наблюдать их в очень большом количестве, — все это, не замечавшееся раньше, должно было сильно благоприятствовать реалистической, натуралистической тенденции искусств и литературы и послужить для них паллиативом против относительного истощения вдохновения. По отношению к искусствам, традиционалистским по существу, особенно по отношению к архитектуре, можно считать аналогичным явлением наблюдаемое в эпохи эклектизма и эрудиции, когда у архитектора есть под рукой столько искусственных типов, завещанных ему предшественниками, что он больше не тратит труда даже на их комбинирование и довольствуется тем, что делает сообразный своему желанию выбор. Эквивалентом натурализма здесь служит рабская точность этих подражаний сооружениям Возрождения, готической, помпейской или другой архитектуры — подражаний, в которых проявляется эрудиция, копирующая для того, чтобы копировать, и напускающая на себя также псевдонаучный вид. Но этот фазис только временный и прошедшее может



осведомить нас в этом отношении. Например, в словаре Violet-le-Duc'a есть карта, изображающая географическое распространение весьма различных типов колоколен во Франции с IX до XVI века<sup>186</sup>: можно было бы подумать, что это родственные и отличные друг от друга органические типы, распространившиеся из центра, где они были созданы. Между тем, каждый из этих типов был материалом, который свободно употребляли и разрабатывали пользовавшиеся им архитекторы, в то самое время как скульпторы XII и XIII столетий с любовью отделявали и вкладывали свою душу в формы тела человека и животных или растений окружающей страны, откуда почерпнули они первый материал для себя. Позже развилась мода копировать все, как эти типы, так и формы, — до того, что захотели стать натуральнее самой природы, более средневековыми, чем средние века, и, с одной стороны, пришли к извращенным изваяниям какого-то грязного реализма, чего-то вроде вывороченного наизнанку идеализма, а с другой, к соборам, загроможденным всеми признаками, свойственными готическому стилю, но преувеличенными и нагроможденными на слишком маленьком пространстве<sup>187</sup>.

## VI

В сумме, как по своей цели, так и по своим приемам искусство представляет собою нечто по существу социальное, в высшей степени пригодное для высшего примирения желаний и управления душами. Но такое смутное заключение не может быть достаточным для нас, и этот предмет настолько сложен, что мы просим читателя вернуться к нему, чтобы охватить его теснее и прийти к более точным понятиям. Все предыдущее, в сущности говоря, представляет собою только простое предисловие к тому, что последует.

Попытаемся прежде всего точнее установить различие между промышленностью и искусством. Здесь, как, впрочем, и повсюду (замечание, которое, по-видимому, ускользает от большей части эволюционистов и забвение которого отвращает от их доктрины многих лиц с ясным умом), непрерывность переходов не препятствует ясности разграничений. Непрерывность оттенков не только не препятствует

перемежаемости цветов, но даже предполагает ее. Хотя инженер, например, бывает всегда более или менее архитектором, а архитектор более или менее инженером и хотя самая архитектура всегда бывает только более или менее промышленным искусством, тем не менее справедливо, что у архитектора, как и у инженера, качества художника глубоко отличаются от качеств промышленника. По отношению как к искусству, так и к промышленности начнем с разграничения желаний потреблять от желаний производить. Поговорим о первых.

В самом утонченном обществе нет такого общественного желания, у которого источником не были бы отчасти естественные побуждения<sup>188</sup> и тем более нет ни одного, которое объяснялось бы только ими. В этом отношении между промышленностью и искусством существует различие только в степени, хотя и очень важное. Чисто природная потребность, сформированная исключительно инстинктом, унаследованным от предков, без всякого социального влияния примера, — такая потребность, например, как съесть что-нибудь питательное или выпить что-нибудь утоляющее жажду, в пределах, указываемых просто инстинктивными отвращениями или склонностями, — даже такая потребность может оказаться достаточной, чтобы разбудить находчивость первобытного дикаря, охотника или рыболова от природы, производящего все, что он потребляет, и потребляющего все, что производит. Но пока индивидуум работает таким образом только для себя, пока его неопределенные сами по себе потребности не специфицируются по воле внешних обстоятельств, до тех пор промышленность не зарождается и не может зародиться. Она предполагает обмен и, следовательно, более или менее всеобщее распространение некоторых освященных форм, выбранных в силу обычая из среды тысяч других форм, в каких могли бы проявиться естественные потребности. Итак, как мы уже выше сказали, промышленность невозможна до тех пор, пока подражание, порожденное некоторыми открытиями или изобретениями, не придаст известного однообразия естественным потребностям, сделав то, что, например, потребность в пище превращается здесь в желание есть хлеб, а в другом месте в желание есть рис, оленье или китовое мясо. Крупная же промышленность становится возможной

только начиная с того момента, когда это однообразие распространится по обширной области, благодаря моде, разрушающей местные преграды традиции по отношению к одежде, предметам роскоши и даже питательным веществам.

То же следует сказать и об искусстве, всегда предполагающем публику и художника: публику, желающую видеть или слышать пластические, музыкальные или литературные произведения, созданные сообразно с требованиями ее вкуса в данный момент, сформировавшимися и распространившимися под влиянием подражательного удивления перед древними мастерами, и художника, проникнутого этим общим вкусом более, чем он сам это думает, и старающегося в известной мере сообразоваться с ним даже при высказывании намерения реформировать его. Эти условия требуются не только обыкновенным искусством, но от них не может освободиться и наиболее индивидуалистическое искусство. Импрессионист, претендующий на полную свободу от всякого влияния школы, не занимался бы этим импрессионизмом, если бы это не было модно.

Все различие между искусством и промышленностью с этой точки зрения заключается в том, что те желания потреблять, которым отвечает произведение искусства, гораздо искусственнее других и являются результатом гораздо более продолжительной социальной выработки. Это различие в степени, для которого мы скоро найдем причину в различии по характеру, столь же очевидно, сколько и важно. Страсть слушать оперы Вагнера или читать поэзию парнасцев, очевидно, гораздо менее естественна, гораздо более деланная, нежели мания курить папиросы или носить черные шляпы. Здесь важен инстинктивный источник: потребность покрывать голову или принимать возбуждающие вещества, а его частное отклонение, обусловленное открытием табака и несколькими изобретениями производителей бумаги или шляп, представляется второстепенным; там же все заключается в этом отклонении, в этом вековом накоплении образцовых произведений, а источник представляет мало значения. Другими словами, главным здесь является вещество, а там — форма. Именно потому, что желания художественного потребления или, лучше сказать, художественного

созерцания, могут быть названы порождением изобретающего или открывающего воображения еще с большим правом, чем желания промышленного потребления, они не могли бы быть всецело удовлетворены теми самими изобретениями, которые их возбудили. Желания, которым служит промышленность, разукрашенные, правда, прихотью изобретателей, зарождаются самопроизвольно в среде природы и повторяются каждый день, оставаясь всегда одинаковыми, подобно проявляющимся в них периодическим потребностям, но те стремления, угодить которым старается искусство, связаны при помощи длинной цепи гениальных идей со смутными и притом не периодическими инстинктами и воспроизводятся только с видоизменениями. Удовлетворить их может только то самое воображение, которое их породило, и как таковые они остаются отчасти неопределенными до той минуты, когда они удовлетворяются. Входя в картинную галерею, мы желаем видеть картины, а не такую-то определенную картину, если только мы не хотим увидеть ее для того же, для чего слушаем в десятый раз одну и ту же партитуру, а именно, чтобы открыть в ней новые, до сих пор незамеченные красоты. Обратно, когда мы входим в магазин, мы почти всегда знаем, какой именно предмет нам нужен, и мы покупаем в сотый раз одни и те же галстуки, одни и те же сигары, одни и те же вина не для того, чтобы искать в них нового рода полезности, а только для того, чтобы потребовать от них те же самые услуги. Если мы в виде исключения входим в большой магазин, не зная точно, чего мы хотим, и намереваемся принять решение относительно покупки при виде разложенных товаров, то этот вид только будит в нас желание, отвечающее ему, но сформировавшееся заранее, или же, когда какая-нибудь ткань, какой-нибудь покрой платья соблазняют нас самой своей новизной, о которой мы не имели никакого понятия до того, как их увидели, то тогда действительно, кажется, в этой прихоти бывает нечто художественное.

Таким образом, желание промышленного потребления существует до своего объекта и, будучи точно определено некоторыми изобретениями прошлого, оно требует от своего объекта только их повторного появления; но желание художественного потребления ожидает своего

законченного выражения от самого своего объекта и требует от тех новых изобретений, которые должен дать ему этот объект, видоизменения старых изобретений. В самом деле, естественно, что у изобретенного желания, как и у его объекта, объектом бывает также сама потребность изобретать, ибо привычка к изобретению может только порождать и развивать склонность к нему. Не следует поэтому удивляться, что жажда нововведений в области искусства, очень слабая в начале истории, как мы показали выше, все укреплялась и развивалась по мере того, как накапливались *chefs-d'oeuvre* и обновляющие гениальные идеи. Мы вернемся к этому отличительному характеру художественного чувства, чтобы указать производимые им результаты, но раньше покажем его причину и его физиологическое объяснение.

Желания потреблять в промышленности всегда стремятся: или 1) к тому, чтобы материально поглотить или не утратить некоторые питательные или возбуждающие вещества какой бы то ни было формы, которые надо ассимилировать или сохранить ассимилированными элементами формы потребителя; или 2) к тому, чтобы материально поглотить или не утратить известные силы: теплоту, свет, электричество, произведенные или сохраняемые в целости при помощи стен и крыш, при помощи печей или одежд; или, наконец, 3) к тому, чтобы заставить действовать некоторые внешние, природные или искусственные, силы: падение воды, лошадь, быка, ветер, пар с целью произвести определенные перемещения или работы, которые стоили бы индивиду большой затраты его силы или веществ, входящих в состав его тела, если бы выполнять их при помощи одних только его органов, сберегаемых таким образом. Что касается желания быть вооруженным, по-видимому, не входящего в предыдущие категории, то я замечу, что, поскольку эти оружия оборонительные, они заключаются просто в особых одеждах, способных сохранять неприкосновенными, без всякой частичной или полной потери, массу и энергию тела, а поскольку они наступательные, они косвенно преследуют ту же цель, стремясь к смерти заклятого врага или к порабощению врага, делающегося рабом или данником и принуждаемого работать, избавляя от труда своего победителя, — от труда, т. е. от потери вещества или силы. Если же у войны велико-

душные или рыцарские цели, то можно сказать, что она ведется из любви к искусству. Словом, все орудия или продукты, и все услуги, которые промышленность предоставляет в распоряжение своего потребителя, можно рассматривать как дополнительные и произвольно построенные члены или функции, недостающие человеческому телу, но присоединенные и прилаженные к нему человеческим умом и отвечающие общей потребности питания, развитой и увеличенной влиянием этого же самого внешнего расширения организма.

Совершенно другими являются желания художественного потребления; здесь дело идет не о том, чтобы чувствовать себя выросшим или укрепленным или, по крайней мере, не уменьшенным и не ослабленным телесно; дело идет о том, чтобы увидеть себя отраженным во внешнем мире, прикрашенным<sup>189</sup> или характерно оттененным, благодаря краскам и формам, звукам и рифмам, которые одни только и имеют значение в созерцаемом нами произведении или в материи, употребленной в дело; затраченные же физические силы являются побочной вещью; дело идет о том, чтобы увидеть себя воспроизведенным в идеализированном виде, не с буквальной точностью, а с свободными и многочисленными вариациями, способными оживить, поразнообразить наслаждение обладать самим собою в таком фантастическом отражении — увидеть себя воспроизведенным на разные манеры: то в форме человеческого тела — скульптурой, то в торжественных или обыденных изображениях человеческой жизни — исторической или жанровой живописью, то в действительных или возможных судьбах человека — литературой и поэзией, то в богатстве и глубине человеческого чувства — музыкой. Даже когда художник рисует пейзажи или животных, и тогда он старается вызвать в своей публике воспоминания и эмоции, поставить перед ее глазами нечто принадлежащее ей же и надеется понравиться ей только при помощи такого воспроизведения. Даже когда он чеканит монету, — одна из самых старинных отраслей художественной промышленности, — он не только выгравировывает на ней изображения царей или легенд о богах, созданных по образу и подобию человека, но он должен еще различать две неодинаковые стороны: лицо и изнанку, ибо эта двойственность является основной в

нумизматике. Даже когда он воздвигает храмы или дворцы, он отражает в них человека не только в симметричности архитектурных форм, очевидно внушенной симметричностью живых одушевленных тел, частью которых является человек, но в особенности в простом, абстрактном характере этих чистых линий, в которых удивительным образом отражается, как в зеркале, то, что в человеке наиболее человечно — разум.

Смотреться таким образом, как в зеркало, в самого себя, умноженного и многообразного, идеализированного и преображенного; удивляться себе и любить себя — таково наслаждение, доставляемое искусством, как художнику, так и публике. Произведение искусства не представляет собою органа, прибавленного индивиду; оно является — да простят мне такое выражение — искусственной, воображаемой любовницей. Оно отвечает не потребности, а любви. Итак, искусство связано с инстинктом воспроизведения, но не в том смысле, как многие думали, подобно тому, как у промышленности корни находятся в физиологических функциях питания. Это не значит, что искусство вдохновляется исключительно любовью, несмотря на их глубокое сродство, которое все лучше и лучше чувствуется, но оно играет в социальном отношении ту же роль, что и любовь.

Хотя питание, возрастание можно было бы рассматривать как внутреннее воспроизведение, а воспроизведение как внешнее возрастание индивида, а также, несмотря на общее происхождение этих двух родов деятельности, тем не менее справедливо, что, будучи развиты, они противоположны друг другу. Одна представляет собою самый эгоизм в состоянии деятельности, и нечего удивляться, видя, что ее социальное продолжение, промышленность, сообщает цивилизациям, в которых она задает тон, в высшей степени утилитарный характер. Другая представляет собою первый зародыш симпатии, расцветом которого является искусство, а после мораль. Насколько потребности питания постоянны, правильны, периодичны и возрождаются сами собою, самопроизвольно, не нуждаясь в том, чтобы их вызывал вид предметов, способных служить к их удовлетворению, настолько же желания воспроизведения неправильны и зависят от вызывающих их встреч.

Эти перемежающиеся изменчивые желания, порождаемые открытием их объектов, называются любовью. Теперь можно объяснить себе, почему искусство жаждет беспрестанных новшеств или видоизменений. В нас нет ничего более установившегося, чем собственно потребности, и, наоборот, нет ничего эластичнее, нежели способность любить: достаточно, чтобы мы встретили на своем пути какую-нибудь женщину, чтобы в нас пробудились те сердечные вожделения, на какие мы недавно считали себя неспособными или от которых считали себя излеченными. Но разве любовь по существу не доверие и вера и, — даже в момент отчаяния, — не иллюзия полноты возможного счастья? Привилегией искусства как раз и является способность возбуждать в нас чувства, играющие в социальной жизни и логике точно такую же роль, какую играет любовь в индивидуальной жизни и логике. Художественное чувство — это коллективная любовь, гордящаяся тем, что она такова. Когда какой-нибудь человек влюблен в женщину, которая, как он знает, любима другими, он страдает от такого раздела; но каждый зритель, восхищающийся картиной, каждый слушатель, аплодирующий какой-нибудь поэме, доволен, если видит, что его удивление разделяется другими. Искусство — это социальное наслаждение, как любовь — наслаждение индивидуальное.

Другую чертою желания художественного потребления является то, что оно испытывается самим производителем. Художник старается угодить своему собственному вкусу, а не только вкусу своей публики. Являясь идеальным отцом своего произведения, он в то же время и его таинственный супруг, подобно зрителю или слушателю, вступающему с ним в некоторого рода духовный брачный союз при посредстве зрения и слуха, а не рук и осязания. Этого никогда не бывает в промышленности, где портной не шьет платья для того, чтобы носить их, и сапожник не делает башмаков для того, чтобы надевать их на свою ногу. Это замечание приводит нас к необходимости остановиться теперь немного на желаниях художественного или промышленного производства.



## VII

Сначала резюмируем предыдущее. Мы сказали, что в области промышленности у желаний производить объектом бывает удовлетворение уже заранее существующих желаний потребления, совершенно сформированных, как физически, так и социально, удовлетворение грубых или утонченных потребностей, ощущаемых публикой, а не производителем. В области искусства у этих желаний объектом бывает удовлетворение таких желаний потребления, точному определению и развитию которых помогает само художественное произведение, — удовлетворение не потребностей, а любви, существенно психологического и социального характера, которую испытывает как художник, так и публика. Это различие не мешает существованию одной глубокой аналогии, представляющей большое значение с точки зрения нашей логики. Как художественное, так и промышленное производство само по себе является, правда в очень неодинаковой степени, особым наслаждением, стремление к которому (как мы это уже знаем по отношению к промышленности) обладает привилегией объединять людей, а не разъединять их. Напротив, потребление разъединяет их даже в области искусства, хотя и бесконечно меньше, чем в области промышленности. Можно сказать, что люди оспаривают друг у друга билеты на концерт или хорошие места в театре, виды из окон на красивые сооружения или красивые картины, подобно тому, как они оспаривают друг у друга поля с хлебом, стада и дома. Но так как в наслаждение, испытываемое каждым от художественного потребления, входит значительная доля подобного же наслаждения, испытываемого другим, и так как вообще этот вид удовольствия удваивается от разделения, то эгоизм вожделений здесь особым образом умеряется симпатией наслаждений. Кроме того, желание художественного потребления включает в себе ту особенность, что оно гораздо живее, а удовольствие, его сопровождающее, гораздо сильнее у самого производителя, чем у простого знатока. В этом искусство глубоко отличается от промышленности. Отсюда вытекает, что художественное чувство стремится развиваться в тех же средах и в таких же размерах, как и художественная деятельность, тогда как потребности промыш-

ленного потребления могут прекрасно возрастать именно в стране лентяев или в классе празднующихся, отнюдь не будучи соединенными с соответствующим возрастанием промышленной деятельности. В области искусства значение различия между производством и потреблением все уменьшается, так как художественный прогресс стремится превратить каждого знатока в художника и каждого художника в знатока. В области промышленности оно становится с каждым днем все важнее, так как производитель и потребитель здесь все более и более отделяются друг от друга, и мы не видим, чтобы булочники работали для булочников, а каменщики для каменщиков, подобно тому, как мы видим, что музыканты сочиняют свои любимейшие произведения для музыкантов же, живописцы работают для живописцев же и поэты для поэтов.

Правда, всякая профессия, даже и промышленная, удерживает своих работников известным наслаждением, связанным с этим специальным трудом, но это наслаждение, облегчающее профессиональные обязанности и благоприятствующее социальному спокойствию, всегда заключает в себе нечто эстетическое, и мы уверены, что во всяком ремесле, где мы его встречаем, существует в различных дозах примесь искусства. Рабочий и в особенности примитивный работник находит в известной мере удовольствие в выделке деревянных башмаков и тесании камней, точно так же как и в художественном вырезании начальнических жезлов или епископских посохов; как бы ни опротивела ему его работа, очень редко случается, чтобы он не выполнял ее отчасти из любви к искусству, в силу остатка склонности к ней. Сердечная привязанность крестьян к сельскохозяйственным работам очевидна; у солдат часто видим военный энтузиазм. Подобное же зрелище представляли средневековые ремесленники, и теперь есть еще довольно много мастерских, где приятность работы является немалым вознаграждением за труд. Если бы такому примеру следовали повсюду, то это было бы идеалом общества. Разве это невозможно? Разве мечта Фурье о привлекательном труде только одно ребячество? Я этого не думаю. Во всяком случае, общество, где каждый начинает чувствовать отвращение к своей профессии, находится на пути к разложению, и, наоборот, страна

становится сильной и великой, когда каждый гражданин с постоянно возрастающим влечением отдается своей особенной задаче. Знаменитая гармония интересов, чересчур прославленная оптимистами, на самом деле является истиною только тогда, когда дело идет о привычках и вкусах, в силу которых работник, так сказать, бескорыстно интересуется своим трудом, рассматриваемым с художественной стороны.

К несчастью, по мере того, как растет промышленность, вооруженная своими могучими машинами, под влиянием которых делается машинальным и самый труд их служителей-рабочих, промышленные занятия теряют свой привлекательный характер, свойственный им в прошлом; профессиональные обязанности чувствуются уже только как страдания или неприятности, и эстетическая сторона ремесла исчезает. Что же мы видим тогда? Так называемая гармония интересов, как ее обыкновенно понимают, пропадает и раскрывает глубокую, ужасную вражду, грозящую нам беспощадными переворотами. Однако не существует ли средств исправить это положение? Да, они существуют. Если гигантские преобразования промышленности заставили труд потерять свою привлекательность, то они еще значительно уменьшили его утомительную тягость, заставляющую развивать мускулы на счет нервов и делающую человека животным. Лучше делать его машинальным, чем животногоподобным, ибо машина — произведение человека и произведение разумное, прежде всего. В самом деле, машинальная деятельность отлично примиряется с высоким духовным развитием, тогда как чрезмерно грубый и сильный человек неспособен к умственным усилиям. Прогресс машин притягивает население из деревень в города. Я знаю опасности этого движения, но вообще эта гипертрофия городов и анемия поселков, это развитие городской жизни на счет жизни деревенской не является ли развитием нервной системы на счет мускульной? Конечно, для художественного расцвета расы нет ничего благоприятнее этого капитального преобразования темпераментов. А так как промышленный прогресс в то же время оставляет работникам больше свободного времени, то мы видим, что в силу этих обеих своих сторон великая промышленность предвещает великому искусству новую неожиданную эру. Все, до возрастающей сухости работы включительно,

способствует той же цели. В самом деле, если некогда каждый создавал себе искусство из самого своего ремесла, так что не чувствовал никакой потребности в досуге, то теперь ремесла, сделавшиеся более неблагодарными, но также и менее обременительными, принуждают рабочего искать другие источники чисто эстетических наслаждений и дают ему досуг для этого. Итак, будучи вначале смешаны вместе, искусство и промышленность стремятся потом к независимому друг от друга расцвету; но в результате это сводится к тому же или, лучше сказать, это будет лучше, и умиротворяющее влияние искусства (когда рабочий, испытав его, будет предпочитать его алкоголизму) вызовет у всех решимость подчиняться сухому, но благотворному труду, заполняя промежутки между ним чистыми цветами искусства.

Итак, быть может, из самого излишества индустриализма получится средство против зла. Никогда доспехи рыцарей не были так сложны, как в тот момент, когда они становились бесполезными вследствие усовершенствования огнестрельного оружия в XVI веке. Быть может, с нашими сложными потребностями в роскоши случится то же, что случилось со сложным оборонительным оружием. Долгое время достаточно было каски; потом стала чувствоваться потребность защитить грудь, затем — потребность закрыть ноги, плечи, руки; отсюда получились налокотники, наколенники, перчатки и т. д., пока, наконец, все эти полезности не сделались очень неудобными вследствие своего веса еще раньше, чем они стали излишними вследствие усовершенствования аркебуза и пушки. Но человек защищался против внешних злоключений, против голода и жажды, против всяких препятствий, стоящих на пути осуществления его желаний, приблизительно так же, как он защищался против вражеских стрел и копий. Одна предосторожность порождала мысль о другой и т. д. до бесконечности. Удовлетворение этих столь сложных потребностей предполагает непрерывную деятельность бесчисленных заводов, фабрик, мануфактур, предполагает рабочее население, преданное своей бесконечной работе. Но не близко ли уже то время, когда появится на свете потребность в досуге и в эстетическом спокойствии ума, сделавшись сильнее всех этих нагроможденных друг на друга искусственных потребностей и

нанесет им поражение? Все великие цивилизации заканчиваются сильным расцветом искусства. Разве составит исключение из этого одна только наша цивилизация?

## VIII

Изучив характеристические различия, существующие между промышленностью и искусством с точки зрения свойственных им желаний потребления и производства, вернемся к отличительным чертам произведения искусства, рассматриваемого как таковое и постараемся вывести отсюда закон искусства, объяснение существования его последовательных фазисов и форм. Относительно последовательности его фазисов достаточно будет сказать несколько слов. Мы уже говорили, что потребности как потребления, так и производства, которым отвечает данное произведение, представляют собою нечто вроде искусственной любви, т. е. потребностей не периодических, а случайных, потребностей, которые не вырываются из сердца совершенно готовыми к погоне за их объектами, порождаются или заканчиваются этими самыми объектами и, будучи вызваны на свет непредвиденной встречей, требуют постоянных непредвиденностей для своего существования. Мы сказали также, что как предмет любви представляет собою существо, подобное самому любящему, но более прекрасное и более совершенное, в котором он учится лучше познавать и совершенствоваться, отражаясь в нем, так и произведение искусства всегда представляет собою зеркало, в котором проявляется и преобразается художник, а искусство является идеальным изображением своего общества. Эти две черты, взятые вместе, объясняют нам, почему всякое искусство в конце концов истощается и приходит в упадок, ибо вторая тесно ограничивает то поле, где можно удачно пожинать или собирать требуемое первой богатство вариаций. Всякое искусство растет и умирает так же и по той же причине, как и всякая любовь. Любовь, даже наиболее установившаяся, всегда беспокойна, потому что она по существу заключается в нарушении равновесия и породивший ее первоначальный толчок — волнующее появление неожиданной красоты — нуждается в воспроизведении путем целого ряда мелких открытий, при недостатке которых это счастливое

волнение быстро прекращается. Верность любви представляет собою только непрерывное непостоянство, ограничивающееся пределами одного объекта. Таково страстное поклонение какого-нибудь народа некоторым типам искусства, называемым классическими, с которыми он встретился под влиянием случайности гениальных идей и которые их соответствие с его национальным духом заставило его предпочесть всем другим. Но как ни укоренялся этот культ, тем не менее художники и писатели непременно должны бесконечно варьировать и усложнять эти священные темы. Публика театров или картинных выставок любит свой национальный театр, свою национальную живопись, только поскольку она находит там каждый день новое проявление какой-нибудь особенности; сам драматург, живописец страстно любит свое произведение в течение его создания только потому, что в каждое мгновение у него появляются новые идеи, новые гармоничные и оригинальные виньетки для его текста. Но скрытое в художественной теме или в женской красоте сокровище вариаций никогда не бывает неистощимым, а отсюда фатально происходит извращение вкуса, вырождение любви, несмотря на все бесполезные утонченности, к которым прибегают и тот и другая, чтобы оживить самих себя, — разве только возникнет новая любовь, возродятся вовремя из какого-нибудь могучего воображения новые формы искусства. Впрочем, любовь, беспрестанно меняющая свое направление, питающаяся все новыми и новыми объектами вместо того, чтобы стремиться к обновлению в одном и том же объекте, — такая любовь истощилась бы еще гораздо скорее и развила бы способность любить далеко не столь широко, как любовь постоянная. Подобным же образом и эстетический вкус не должен быть слишком изменчивым для достижения полного развития; он должен останавливать свое движение, чтобы вспахать и засеять свои владения.

Мы видим вместе с тем, почему жизнь промышленностей гораздо суровее жизни искусств. Они могут неопределенно долго распространяться в силу одного только подражания и существовать таким образом одним и тем же невозобновляющимся запасом прежних изобретений, а искусства — снова повторяю — не могли бы ни расти, ни даже существовать долго без постоянного оживления новыми изобретениями.

В течение тысячелетий все богатство Китая, Японии, Персии заключается в полученных по наследству первичных промышленных открытиях, которые они эксплуатируют, ничего к ним не прибавляя, и тем не менее в их труде нет заметного ослабления. Точно так же и в Европе ремесла ткача, булочника, седельщика, кузнеца и т. п. беспрестанно развиваются в течение веков без внесения в приемы предков каких бы то ни было важных усовершенствований. Даже в нашем веке, разве мы не видим, что сеть железных дорог из года в год растет и усложняется с необычайной быстротой, хотя в сумме этот способ передвижения остается, за малыми исключениями, таким же, каким он был 30 или 40 лет тому назад? Во всяком случае, внесенные в него видоизменения были только очень слабым стимулом в этой усиленной подражательной заразительности. Наоборот, посмотрите теперь, сколько явственных признаков истощения выказывают современные нашей эпохе отрасли искусства, даже такие, которые появились очень недавно, как, например, исторический роман, мелодрама, пейзажная живопись, музыка школы Россини, Гуно, Вагнера, не говоря уже о старых жанрах: о трагедии, религиозной живописи, лирической поэзии, эпосе, музыке XVIII столетия! Все более и более подражают учителям, переиздают основные изобретения, но вяло, без веры, без огня, потому что художественная идея тем менее совершенна, чем более она подражательна, и в этом ее отличие от идей промышленных; если, благодаря появлению новых слоев публики, присаживающихся к пиршеству искусства, делающемуся многолюднее, эти замаскированные переиздания могут сойти за оригинальные и получить чисто промышленный успех, то их истинно художественный успех делается все менее и менее заметным. Однако нельзя сказать, чтобы наши художники, наши литераторы, наши поэты перестали быть изобретательными. Они с большой роскошью воображения строят вариации к формам, созданным гением. Но, по-видимому, оживление искусства, достигаемое при помощи этих мелких изобретений, оказывается недостаточным, чтобы бороться с возрастающей холодностью избранной публики. Рост «художественного народонаселения» (производительного) как бы натапливается на преграду, указанную Мальтусом, подобно росту

населения вообще: он стремится идти быстрее, чем растет плодотворность воображения, — этой специальной почвы, обрабатываемой вышеупомянутым народонаселением. Можно спросить, какое моральное воздержание потребуется со временем, чтобы предупредить горестные последствия этого несогласия, чтобы предупредить недород воображения у художников и писателей.

Итак, осуждение на старость и на смерть — таков роковой приговор, тяготеющий над всеми формами искусства, такова грустная привилегия, отличающая его от промышленности и прочих социальных произведений, подобно тому как аналогичная привилегия характеризует живые существа и выделяет их из среды химических или астрономических существ, из среды молекул и звездных систем. Не играет ли искусство в социальном мире той же роли, какую жизнь играет в мире природы? Конечно, даже наилучшие установившиеся ремесла, правительства, религии гибнут, но это происходит вследствие какого-нибудь внешнего толчка, впрочем, неизбежно наступающего, раньше или позже, в силу соперничества нового ремесла, новой правительственной системы или религиозного догмата, считаемых заслуживающими предпочтения; сами они не заключают в себе причин своего скорого разрушения. Если же они кончают самоубийством, то только вследствие того, что, раз установившись, они захотели позволить себе роскошь изменений, всегда для них опасных, вместо того, чтобы ограничиваться однообразным и машинальным повторением. Но искусство не только умирает, оно еще и убивает себя, и существует оно некоторое время только при условии, что непрерывно разнообразит само себя. То же самое и относительно жизни. В то время, как светила тяготеют, а молекулы колеблются с невозмутимой регулярностью до каких-нибудь случайных встреч, которые, без сомнения, нарушают эту монотонную периодичность с течением времени, в то время, как даже органические типы, отвлеченно рассматриваемые<sup>190</sup> как подвижные равновесия подобного же рода, кажутся сами по себе не менее устойчивыми, не менее способными к неопределенно продолжительному существованию в неизменяющейся среде, живое существо с колыбели обречено на смерть, как будто его единственной целью существования являются оригинальные изменения,



вносимые им в мир, а потому оно принуждено постоянно обновляться, чтобы жить до тех пор, пока его оригинальность не придет к полному и быстрому истощению

Быть может, мне возразят, что произведения, называемые классическими, пользуются во всякой стране той привилегией, что они постоянно приобретают новый блеск после тех более сильных, но мимолетных светил, которые от времени до времени затмевают их. Я этого не отрицаю; этот факт мог бы заставить думать, что некоторые произведения в силу их особенного согласия с мало изменяющейся основой расы, нации или цивилизации можно сравнивать с некоторыми промышленными приемами, например, с производством хлеба или с постройкой стен, которым суждено оставаться вечно в употреблении, так как они в совершенстве отвечают первичным, очень простым и весьма постоянным потребностям, — или с некоторыми научными формулами и в особенности с ньютоновским законом притяжения, которые, выражая собою возможно совершенное приложение человеческого ума, человеческой речи к внешней действительности, подобным же образом предназначены к распространению путем прогресса образования до тех пор, пока будет существовать человеческий мозг со своими специфическими особенностями. Но это замечание не отнимает ничего от истинности указанного выше контраста между промышленностью и искусством. В самом деле, восхищение публики своим классическим искусством сохраняется юным и свежим в той мере (довольно слабой, впрочем), в какой оно искренно, только благодаря временному, но беспрестанно возобновляющемуся влечению к произведениям современности. Предположите, что после появления «Федры», «Мизантропа», «Телемака», «Характеров» Ла Брьюйера, «Волшебной флейты» художественная деятельность в области трагедий, комедий, опер, романов, моральных наблюдений вдруг иссякла; можно ли думать, что склонность к этим древним произведениям была бы тогда так же общераспространена, какова она теперь или какою она кажется? Конечно, нет. Далекие от того, чтобы вредить славе своих знаменитых предшественников, преемники этих великих художников поддерживали на жертвеннике их гробниц священный огонь неувядаемой славы. Они

в силу контраста придали им новый вид или осветили их новым светом. Именно в интересах классиков работали романтики и даже работают теперь натуралисты и символисты. Последние спасают первых от равнодушия к ним публики. Итак, необходимо было не менее тысячи трагических, комических, романических, литературных, музыкальных нововведений для предохранения старинных изобретений, даже и классических, в области этих различных искусств от быстрого и непоправимого истощения способности вызывать подражание себе. Но бывает ли то же самое с промышленными изобретениями? Никоем образом. Простой хлеб продолжал бы пользоваться тем же успехом, если бы не был изобретен сдобный хлеб. Вместо того, чтобы благоприятствовать распространению старинных приемов ткачества, передвижения, освещения и т. д. изобретение ткацкого станка, локомотива, керосиновой лампы или лампы с регулятором предало забвению это почтенное наследие прошлого.

В возражение мне могут еще указать на едва ли вечно продолжающееся существование некоторых очень древних форм искусства почти без всяких изменений в них. Я отметил выше эту черту египетского и халдейского искусства. Но теперь уже пора указать, что все эти первобытные искусства, включая сюда даже и греческое до довольно поздней эпохи, подобно нашему средневековому искусству, были очень устойчивыми комбинациями, но только комбинациями, в которые оказывалось заключенным искусство в собственном смысле слова и из которых оно могло освободиться только с течением времени. Вместо того, чтобы создать себе там свою собственную цель, соответствующую своей собственной сущности, оно преследовало цели, навязанные ему религией или политикой (прославлять бога или царя, увековечивать фигуру умершего ввиду загробной жизни), и почти вся его ценность заключалась в его высокой мистической или династической полезности и очень мало в его независимой прелести, ощущавшейся как бы украдкой. Чудная грация какой-нибудь Кибелы или даже Венеры очень мало значила для древнего ханжи. Итак, порабощенное и смешанное таким образом со священными национальными верованиями или учреждениями, искусство разделяло и их относительную непре-

ложность. Но оно стремилось освободиться, хотя, сделавшись свободным, оно снова старается опереться на что-либо более сильное. Эти религиозные или политические искусства древности можно сравнить с промышленными искусствами нашего времени, и они представляют для эстетика такой же предмет изучения. Надо, однако, выделить из этих различных комбинаций чистый художественный элемент и показать, что он такое. Это именно мы пытались сделать сейчас и попытаемся еще.

## IX

Итак, перейдем теперь к формам чистого искусства и к их объяснению. Скажем прежде всего, что какова бы ни была его форма, особенность произведения искусства заключается в том, что оно интересно. Продукт промышленности может случайно, непроизвольно оказаться интересным, но никогда цель производителя не заключается в том, чтобы возбуждать интерес своим произведением. Точно так же только случайно может оказаться, что вида последнего достаточно для ответа на те вопросы, которые он ставит уму. Вообще надо бывает разобрать машину, чтобы основательно понять ее. Сверх того, произведение промышленности не включает в себе другого интереса, кроме разрешения проблемы, даже в том случае, когда оно само отвечает возбуждаемому им любопытству; источник же интереса, свойственного произведению искусства, бывает сложнее. Последнее интересует, прежде всего, как разрешенная проблема, как побежденная трудность, а также и как верное и удачное выражение нас самих. В этом отношении можно сказать, что оно представляет собою игру, и что игры интересны подобным же образом. И действительно, игры вместе со сказками и другими фантастическими рассказами были первыми чистыми искусствами. Шахматы, одна из наиболее древних игр<sup>191</sup>, кроме заключающихся в них сюрпризов, представляют собою изображение войны, ряд осад, сражений между пехотой и кавалерией. То же следует сказать и относительно всех детских игр, этих упрощенных копирований борьбы между людьми. Известно, что четыре масти наших карт вначале выражали собою различные армии, так что игра в карты представляла

подражание сражениям. Изобразительный характер игр, правда, ступеньвается по мере развития искусств, но в ту очень далекую эпоху, когда они составляли искусство, этот характер был гораздо заметнее. Он даже слишком резко выступает в битвах гладиаторов. Искусство в действительности представляет собою игру, но игру, глубокую и серьезную, подобно любви. Можно указать четыре различных источника исторической эволюции изящных искусств: обряд, столь хорошо изученный Спенсером, культ (в особенности погребальный), украшение (мужское или женское) и игры. Нет такого искусства, в котором нельзя было бы легко заметить следы одного из этих происхождений, но наиболее достоверным, по моему мнению, является последнее. Поэтому всякий художественно одаренный народ был веселым и сладострастным еще в большей степени, чем формалистичным, мистичным или фатоватым. Искусство прежде всего порождается досугом и наслаждением. Оно представляет собой погоню за новыми и неожиданными чарами, какие душа отдельного человека или целое общество создает для самого себя для того, чтобы наслаждаться своею любовью к ним, или, лучше сказать, оно представляет собою погоню за тенью, какую оно само же отбрасывает в преображенном виде на лежащий перед ним путь. Понятно, что обманчивая пустота и суетность этой любви обуславливают собой дальнейшие поиски или сожаление эмансипировавшегося искусства о направлении его первых учителей, или же решение снова вернуться к этому направлению и добровольно сделаться мистическим, патриотическим или стать научным и промышленным, чтобы дать крепкую опору своей кажущейся слабости. Но эта лоза, быть может, более живуча, чем поддерживающий ее вяз, а этот плющ долговечнее той стены, по которой он вьется.

Всякое произведение искусства, сказали мы, вызывает интерес. Неправильно было бы спорить против этого, спрашивая, например, какого рода интерес вызывает красивый памятник, красивая оперная увертюра, статуя, пейзаж. Разве слушание этой увертюры, вид этой статуи, этого сооружения, картины, не интересуют, не возбуждают страстного любопытства живописца, композитора, поэта, архитектора почти в такой же степени и — как увидим далее, — в сущности

таким же образом, как театральное представление? Обуславливается это тем, что художники сознают, какие трудности удалось преодолеть их собрату в изучаемом им произведении. Они становятся на точку зрения тех проблем, какие он себе поставил, и присутствуют сначала при тягостной, а потом торжествующей работе его воображения; тогда они восхищаются. Это их восхищение представляет собою только внутреннее одобрение той прекрасной развязки, автором и героем которой является одновременно художник, их соперник. Я вхожу в храм и, не будучи причастным к искусству, хладнокровно, даже — правду сказать — бессмысленно, говорю: он очень красив. Если бы я жил в XVIII веке, то я нашел бы его очень безобразным — этого требовала мода. Кто же ввел в моду это неправильное суждение? Архитекторы, которые, глубоко изучив и поняв греческие и римские сооружения и заинтересовавшись в силу этого разрешаемыми в них специальными проблемами, прошли мимо сооружений средних веков, не удостоившись посмотреть на них, и сочли их недостойными внимания, почти так же, как предшественники Шампольона, привыкшие к нашему алфавиту, мимоходом указывали на незначительность и невозможность понимания иероглифов. Но после того, как новое поколение исследователей отыскало ключ к этим удивительным постройкам, когда узнали лучше анатомию их органов: сводов, откосов, розеток и т. д., когда и в них увидели новые ответы — и ответы гениальные — на новые задачи, поставленные потребностями их времени, ими начали восхищаться в свою очередь; и это заразительное восхищение, ибо оно было искренним, глубоким и мотивированным, является истинным источником того самопроизвольного и непредвзятого наслаждения, какое всякий испытывает теперь, смотря на великие произведения XII века, даже еще раньше, чем он их поймет.

Итак, в конце концов нам следует обратиться к этому источнику и вместо того, чтобы отыскивать какое-нибудь запутанное объяснение эстетического наслаждения, надо прежде всего объяснить его интересом, любопытством знающего и понимающего критика, который под произведением всегда видит процесс деятельности, под движением видит восприятие, под поэтической одой — вдохновение, который страстно

увлекается зрелищем борьбы художника с самим собою, с своими желаниями, побеждаемыми другими желаниями, со своими предрассудками, рассеиваемыми его познаниями, и который внутренне, подобно тому, как дамы аплодируют на турнире каждому смелому удару, восклицает: «браво» при каждой из этих побед. Итак, с философской, с эстетической точки зрения восхищение или отвращение публики к какому-нибудь произведению искусства не считается ни во что. Ее аплодисменты или ее свистки являются только бессознательным эхом представляющих совсем иное значение аплодисментов или свистков, какие и после здравого размышления, после трудолюбивого, любознательного и заинтересованного разбора приемов художника, его открытий, его изобретательности раздаются из какого-нибудь темного уголка мира, откуда смотрел какой-то неизвестный, свободный и внимательный зритель.

Следовательно, единство произведения искусства заключается попросту в сочетании вопроса с ответом, проблемы с ее решением, борьбы с победой. Всякая музыкальная или разговорная фраза представляет собой волну, у которой есть свой гребень и впадина, которая поднимается и опускается. Она составляет все, потому что сначала она возбуждает любопытство, а затем удовлетворяет его, потому что она представляет собою сначала нарушение, а затем восстановление внутреннего равновесия. Но во всяком искусстве все является фразой и волнами, и сама их совокупность представляет собою сложную волну, период. Где находим мы в живописи эти частичные цельности, эти элементарные единства, составляющие суммарное целое произведения искусства? Это очень просто; каждый отдельный предмет: дерево, животное, скала, река, человек или каждая группа одинаковых предметов, не явственных по отдельности, играет в картине такую же роль, как мотив в мелодии или строфа в стихотворении. В самом деле, каждое из этих существ или этих групп существ рисуется таким образом, чтобы оно привлекало внимание в известной степени и удовлетворяло бы его сполна в том размере, в каком оно было возбуждено. Вот почему самый простой силуэт какой-нибудь части эпизодического персонажа является в этом смысле частичным целым, случайной фразой, полной

самой по себе, хотя и второстепенной. По мере того, как живопись прогрессирует, она все лучше и лучше разграничивает перспективные плоскости, т. е. все больше расширяет и точнее определяет последовательность ступеней внимания, какими располагает и которые распределяет между различными частями своих произведений, подобно тому, как процесс языка устанавливает каждый день все более точные и обширные подразделения между главными и придаточными предложениями. У архитектуры есть также свои фразы; она ставит и должна ставить зрителю следующие вопросы: «что это такое? храм, дворец, казарма? Для чего оно пригодно?» Ответ должен быть написан на фасаде, на наружной форме здания, которая всегда разделяется на отдельные части, отверстия, капители, стволы колонн, карнизы и т. д. Но если симметрическая точность фраз здесь обозначена яснее, чем на картине, то, с другой стороны, их разнообразие бесконечно меньше. По своей несимметричности или замаскированной симметричности, по своему поучительному и разнообразному богатству живопись походит на хорошую прозу; архитектура скорее соответствовала бы стихотворному слогу. Что же касается скульптуры, то нет ничего проще ее; каждая статуя представляет собою одну отдельную фразу, отдельную мысль. Отсюда и происходит, быть может, относительная бесплодность этого искусства, подобная бесплодности афористического жанра, и их общее сопротивление всем усилиям, направленным к их обновлению.

Не будет ли злоупотреблением метафорой, скажут мне, сравнение женщины, несущей кувшин, в картине Пуссэна, или головки Корраджио с мотивом Моцарта? Нет, это вполне сравнимо. Предметы природы, изображенные художником, представляют собою — снова повторяю — вариации природных типов, тем, которых художник, правда, не изобрел, но которые он присваивает себе путем их варьирования, ибо они существуют единственно только для того, чтобы быть варьированными. Высшая заслуга музыканта заключается в том, что он создает свои собственные темы вместо того, чтобы ограничиться видоизменением внешних образцов. Из глубины своей души он извлекает эти идеальные создания, эти новые музыкальные виды, поражающие и восхищающие его слушателей так же сильно, как появление новой флоры восхищает

путешественника. Но и об этих темах правильно будет заметить, что их основной целью служат их собственные модуляции. Вот почему создавший их художник всегда говорит им: множитесь и плодитесь, и сам разнообразит эти темы, воспроизводя их несколько раз в одном и том же произведении. Разве неверно, что всякая красивая мелодия стремится быть повторяемой и возобновляемой подобно всякой живой форме? Разве это происходит не потому, что красивая мелодия, подобно органическому типу, представляет собою аккорд, особое возбуждение и успокоение желания, особое любопытство, сначала возбужденное и затем удовлетворенное?

## Х

Итак, всякое произведение искусства вызывает интерес; но вот интерес бывает двояким. Ода, элегия, какое-нибудь стихотворение заинтересовывает сначала в силу желания узнать, например, каким образом автор сумеет примирить требования избранного им ритма с требованиями своего сюжета, своей мысли. Но когда дело идет о повествовательной или драматической поэзии, то к этому второстепенному виду интереса — любопытству — присоединяется другой; я говорю об интересе, возбуждаемом столкновением страстей или верований, воплощенных в ее персонажах, и вопросом о том, как будет разрешена эта последняя трудность. Поискав хорошенько, мы найдем это подразделение даже в архитектуре, даже в музыке, когда эти искусства достигают того полного развития, к какому они стремятся с колыбели. Выразим это понятнее: всякое произведение искусства, говорим мы, заинтересовывает нас, во-первых, сначала постольку, поскольку, следя мысленно (если речь идет об искусствах графических) или в действительности (если речь идет о поэзии или музыке) за последовательным трудом артиста в процессе его создания, мы отдаем себе отчет в тех трудностях, какие он встретил и какие в конце концов победил; во-вторых, оно заинтересовывает нас постольку, поскольку изображенные в рассказе, драме или на рисунке персонажи или, — что сводится к тому же, — выраженные пейзажем или музыкальной пьесой общие состояния души<sup>192</sup>, раскрывают перед нами временное или кажущееся



противоречие, разрешившееся в конце концов в полный аккорд. Драматический, эпический или романтический персонаж представляет собою только индивидуализированное общее состояние души, воплощенную идею или страсть; следовательно, состояние души является некоторым образом персонажем в безличной форме. Таков смысл этой приблизительной тождественности, которую я мимоходом установил. С этой точки зрения, мы видим, что ни архитектура, ни музыка, ни пейзажная живопись, ни лирическая поэзия не лишены сами интереса второго рода и не низведены только к интересу первого рода. Но прибавим, что по многим причинам уже выраженное состояние души выигрывает, когда это выражение принимает вид индивидуального воплощения. Такое его выражение бывает яснее и сильнее, и его борьба с другими состояниями перестает быть просто психологической и становится социальной. Вот почему естественное развитие искусств почти фатально ведет к тому, что архитектура соединяется со стенною живописью или со скульптурой, музыка опирается на драму или комедию и производит оперу или оперетку, а поэзия не останавливается на лирике и переходит в драму, эпопею или роман. В самом деле, благодаря своим фрескам, своим мозаикам, своим окнам с живописью, своим скульптурным капителям, благодаря покрывающим его изображениям различных фигур, здание оказывается способным рассказать нечто и его живописные или скульптурные украшения должны рассказывать победоносную борьбу известных религиозных верований, известных политических намерений, смутное ощущение которых вызывают у зрителя уже одни его главные линии, уходящие в высоту или идущие горизонтально, ломанные или законченные, умоляющие или горделивые<sup>193</sup>. Подобным же образом либретто оперы или слова романа оказывают музыке услугу, передавая или дополняя ее собственную мысль.

Теперь спросим себя, отличаются ли друг от друга по существу два различаемые нами вида интереса. Из вышеизложенного можно догадаться, что никакой разницы нет. Но объяснимся яснее и полнее. Хотя техническое исполнение и вдохновляющая идея всегда бывают тесно связаны во всяком произведении искусства, но их можно распознать; первое заключается в чувстве избавления, какое испытывает

художник, освобождаясь от своих внутренних страданий, или в радостном чувстве художника, довольного тем, что он приложил к делу свои силы; вторая заключается в последовательно завязывающемся и разрешающемся столкновении между одушевленными существами (или между состояниями души) или в последовательно развивающемся сотрудничестве между ними. Но в том и другом случае побежденные страдания и трудности представляют собою или идеи, кажущиеся противоречивыми, или желания<sup>194</sup>, кажущиеся мешающими друг другу, а удовольствия проявляемой деятельности представляют собою идеи или страсти, которые взаимно подтверждают или помогают одна другой и которые вследствие этого ценятся высоко, удачно сближаясь, удачно следуя одна за другой в воображении художника или воплощаясь в его различных персонажах. Но художнику желательно раскрыть перед нами борьбу и столкновения между своими персонажами и в то же время он старается скрыть от нас все колебания, все внутренние перипетии, предшествовавшие тому чисто психологическому триумфу, продуктом которого является его произведение. Поэтому-то, вообще говоря, работа художника интересует нас больше как счастливое и непредвиденное сотрудничество, а не как тягостное столкновение идей и чувствований; а его сюжет интересует больше как столкновение, а не как сотрудничество<sup>195</sup>. Сотрудничество бывает обыкновенно только при развязке. Даже «Божественная комедия», представляющая так мало драматического интереса в своей совокупности, выкупает этот недостаток патетизмом своих рассказов или драм, какие она подробно развертывает перед нами, точно так же как и важностью своих поучительных, теологических или философских рассуждений, какие она вкладывает в уста Virgiliya или Беатриче, как ответов на задачи, как разрешение недоумений, волнующих душу поэта-путешественника. Кроме того, она также завладевает вами, представляя во всех своих трех частях ряд лиц, различным образом нечестивых, раскаивающихся или святых. Впрочем, это исключение почти единственное, хотя надо присоединить сюда вторую часть «Фауста», представляющую собою скорее фантастическую и историческую процессию или кавалькаду, нежели драму.

Причина того различия, о котором идет речь, заключается в том, что нам обыкновенно бывает неприятно смотреть на зрелище, представ-

ляемое душой, которая сама себе мешает, как на зрелище дурно направленного образчика человеческой природы, как на зрелище человека, неспособного к истинно человеческой жизни — к жизни социальной, тогда как зрелище душ, борющихся между собою, но остановившихся каждая в отдельности, хотя бы только в данный момент, на одной идее, на одной только страсти, как это должно происходить с социальной точки зрения с душой всякого человека, — такое зрелище представляет собою верное изображение человеческой жизни, жизни социальной в процессе ее деятельности, какой мы и желаем увидеть ее в волнующемся зеркале искусства. Я говорю: в процессе ее деятельности; в самом деле, эстетика отражает нам динамическую, а не статическую социальную логику, и, быть может, ничто лучше произведения искусства, достигшего полного расцвета, т. е. драмы, не раскрывает перед нами глубокой основы истории — истории религиозной, политической, военной и промышленной.

Остается, однако, объяснить *raison d'être* тех произведений искусства, которые представляют собою процессии, а не борьбу. По этому поводу я припоминаю основательное замечание о том, что литературные приемы Виктора Гюго сводились всего к двум: антитезе и перечислению. Нет ничего справедливее этого; но именно в этом, думается мне, великий поэт проявил всеобъемлющий характер своей поэзии, так как эти две стороны его таланта выражают два типа искусства, дополняющие друг друга. Заметим, что все исторические сочетания идей и страстей и личностей, в которых они воплощены, представляют собою борьбу или комбинации. Последние, являясь источниками открытий и изобретений, источниками плодотворной инициативы, могут происходить между неопределенным числом членов, а не между двумя только. Нет ни одной научной теории, которая не была бы последовательным сцеплением многочисленных опытов и наблюдений, взаимно подтверждающихся; нет ни одной мифологии или теологии, которая не представляла бы собою ряда родственных между собою божеств, выражающих одно и то же понятие о Вселенной, или ряда догматов, внушенных одним и тем же духом или одним и тем же намерением. Нет ни одного законодательства, которое не являлось бы

последовательно разросшимися на одном и том же политическом стволе разветвлениями юридических идей одинакового направления, питающихся одним и тем же соком. Наоборот, на поле битвы бывают всего только две армии, на выборах — только две партии, при художественном соперничестве борются всегда только две школы и т. д. Таким образом, и в истории, как и у Виктора Гюго, все бывает или перечислением или антитезой. С нашей точки зрения, это и понятно, ибо художественное перечисление представляет собою развитие победы, наступающее вслед за антитезой и борьбой. После битвы — триумф, горделивое и гармоничное обнаружение сил, освободившихся от покорения побежденного. Поэтому не следует удивляться, если видим, что торжествующие цивилизации и религии, спокойно пользующиеся своим могуществом, проявляют себя произведениями, носящими характер процессий, подобными трилогии Данта или второй части «Фауста», или фризам Парфенона.

Но вернемся к нашему предмету. Эволюция искусства начинается обыкновенно с эпоса, рассказа и заканчивается драмой. Между этими двумя предельными положениями, столь, впрочем, схожими между собою, зарождаются все различные его формы. Если, однако, верить Спенсеру, то все искусства, не исключая и письменной литературы (мимоходом сказать, весьма трудно поддающейся разграничению от устной литературы, от рапсодии и ораторского искусства) ведут свое происхождение от архитектуры, представляя собой только ее последовательные расчленения. Чтобы оценить эту правдоподобную точку зрения, заметим прежде всего, что Спенсер в нескольких местах основательно настаивает на том, что искусство при своем появлении представляет в высшей степени религиозный и правительственный характер. «Точно так же, как в Египте и Ассирии родственные между собою искусства, живопись и скульптура, были вначале связаны между собою и с их общим родоначальником — архитектурой, они были помощниками религии и правительства». Это несомненно, но ниже автор, по-видимому, думает, что ничего подобного мы не видим позже, после эмансипации искусств. Однако ясно видно, что они не долго наслаждаются своей свободой и торопятся связать себя с какой-нибудь новой силой. Сегодня

литература и изящные искусства прониклись научной и демократической модой по той же причине, по какой они вчера преклонялись перед философскими и аристократическими вкусами, а третьего дня натягивали на себя теологическую и роялистскую ливрею. В этом смысле искусства во всякое время участвовали во власти и в догмате, смотря по тому, служили ли они для координирования хотений или верований, и в силу этого они, разделяясь на две части, входят в область категории нашей статической социальной логики. В сущности, искусству суждено снова стать в конце концов тем, чем оно было вначале, — вещью, по существу, более религиозной, нежели правительственной. Настанет, может быть, день, когда поэзия, эта основа искусства, сделается окончательной религией человечества, т. е. преображающим сверхнаучным синтезом Вселенной.

Не следует ли отсюда, что ни в прошлом, ни в настоящем никогда не существовало более или менее развитых зародышей чистого и свободного искусства и что, даже подчиняясь чему-нибудь, как это постоянно делало искусство, оно не обладает своей собственной сущностью, позволяющей рассматривать его отдельно от церкви и государства? Вот что следует еще рассмотреть. Замечательно, что, начиная с самой далекой древности и притом даже у народов, находившихся под наиболее тяжелым традиционным игом своих жрецов и царей, мы видим процветающими не только разнообразные игры, воссоздающие или изображающие в идеализированном или карикатурном виде человеческую жизнь, но также поэзию народных эпических или сатирических песен, являющихся повествовательными даже тогда, когда они лирические. Мы видим, что у искусства при самом его зарождении было ясное сознание и прямое стремление к своей собственной цели, заключающейся в выражении человека или человеческого человеком же. Из этого-то скромного источника, а не из архитектуры и берут начало все наши искусства. В основе всех цивилизаций, всех художественных расцветов, по крайней мере всех тех, относительно которых есть сколько-нибудь определенные сведения, мы находим не здание, а книгу — книгу писанную, которая вначале была только устной, книгу священную или уважаемую, которая вначале была собранием более

или менее светских песен, гимнов, внушенных каким-нибудь индивидуальным случаем, подобных гимнам Давида или Ведам и, вероятно, гимнам Орфея. Разве не верно, что вся наша живопись, вся наша современная скульптура — прибавим также, вся наша музыка — берут начало не из готических или романских соборов, а из Библии или Евангелия, по отношению к которым наши первые картины и наши первые статуи играли роль как бы раскрашивания, отрывочного и многообразного воспроизведения из камня, из мрамора, из дерева, на полотне, а самые наши соборы, которые не появились бы на свет без этих двух книг, были только вольным переводом, поскольку они представляли собою произведения искусства, точно так же, как и первые попытки мелодии и гармонии, церковного пения и ораторий? Когда же, перед самым Возрождением, Библия и Евангелие перестали служить единственным источником искусства, то не потому ли, что появились другие книги, также вдохновлявшие, хотя и в меньшей степени, а именно сначала рыцарские романы, а потом вся классическая литература? Бургарт настаивает на том, что «в явлении возрождения умственное (т. е. литературное) движение предшествовало художественному движению» («La civilisation en Italie»). То же самое и в другие эпохи. «В Италии развитие культурности, существенным проявлением которой служит поэзия, всегда предшествует пластическому искусству и способствует его зарождению и развитию».

Это закон общий. Не очевидно ли, что все арабское искусство порождено Кораном, что все греческое искусство, от древнейшего дорического храма и до фриз Фидия, от Эсхила до Эврипида, порождено Гомером, этим удивительным компилятором более древних рапсодов, что все искусство Индии представляет собою эманацию ее гигантских поэм, ее гимнов Вед? Не можем ли мы прибавить, что все искусство Халдеи, породившее ассирийское искусство, очень правдоподобно объясняется священными книгами халдейских жрецов, некоторые отрывки из которых дошли до нас, и что, по всей вероятности, также религиозные верования египтян прежде, нежели они проявились в их статуях, в их монументальных силуэтах и пирамидах, сложились сначала в несколько поэм, ставших родоначальницами всего

их искусства.<sup>3</sup> Поэтому в следующем выводе Спенсера, мне кажется, больше остроумия, нежели истины: «Как бы странно ни показалось это, тем не менее справедливо, что у всех форм письменной речи, живописи и скульптуры есть одна общая причина в политико-религиозных украшениях древних храмов и дворцов». Даже будучи ограничен одними графическими искусствами, если оставить в стороне их литературные виды, порядок эволюции, указанный знаменитым английским философом, представляется очень спорным. Существуют, например, серьезные основания думать, что первые флорентийские картины были вызваны не видом мозаик и фресок, вделанных в стены религиозных или светских сооружений, как следовало бы быть по Спенсеру, а именно видом миниатюр, украшавших средневековые рукописи<sup>196</sup>. «Даже рисуя свои большие картины, — говорит Леруа-де-ла-Марш, — Джотто, Перуджино и Рафаэль как будто вспоминают те блестящие раскрашенные картинки, из которых они с детства почерпнули любовь к рисованию, перелистывая старые манускрипты своих церквей и библиотек». Первые флорентийские картины представляют собою увеличенные и отделенные от текста миниатюры, а сами миниатюры, прежде чем стать независимыми от текста эстампами, были просто фоном для заглавных букв; можно проследить различные степени этого преобразования<sup>197</sup>.

Не архитектура, а слово было первым из искусств. Всякое искусство исходит из слова, передаваемого устно или письменно. Очень хорошо доказали, что всякое письмо было вначале рисунком, подражанием природе; можно было так же хорошо доказать, что всякий рисунок вначале представлял собою письмо, и это объясняет нам даже тот одновременно утонченный и, согласно нашим современным представлениям, неправильный характер, какой представляют первобытные мексиканские или египетские гравюры. «Народы, которые выражают свои мысли при помощи картин, — говорит Гумбольдт, — правильности рисунка придают так же мало значения, как европейские ученые хорошему почерку своих рукописей». Когда эти ученые заботятся о своем почерке, они делают это скорее для того, чтобы сделать его выразительным, а не для того, чтобы он был элегантным; то же самое

можно сказать и относительно ацтекских или фараоновых художников, когда они стараются. Пойдем дальше. Легко было бы доказать, я думаю, что всякое слово вначале было в гораздо большей степени музыкальным подражанием природным звукам, чем криком боли или радости, было скорее звукоподражанием, чем междометием, и, наоборот, не была ли вначале всякая музыка речью в этом смысле? Следует только отметить поучительную разницу между двумя эволюциями, исходными точками которых являются рисунок — звукоподражание письменное и звукоподражание — изустный или музыкальный рисунок. В то время как рисунок, беспрестанно развиваясь вместе с цивилизацией, отдельно от письма, превращается в совокупность пластических искусств: в скульптуру и живопись (почему бы и не архитектуру также?) и представляется способным к бесконечно разнообразным вариациям, звукоподражание, отделившись от речи, останавливается в самом начале и представляется неспособным к прогрессу. Правда, я говорил, что музыка развивается, но музыка — искусство гораздо больше выразительное, чем подражательное. Вследствие этого она скорее акустический аналог архитектуры, а не живописи.

Какая же причина этого контраста? Прежде чем ответить, заметим, что как раз противоположного рода контраст проявляется перед нами в двух процессах развития искусства, связанных с предыдущими. В самом деле, слово, отделившееся от звукоподражания, дало начало особому искусству, самому благородному и плодотворному из всех — литературе, и именно тою своей стороной, которая наиболее случайна и произвольна в каждом наречии. Ну, а какому же искусству дало начало письмо как таковое, письмо алфавитное, отделившееся от рисунка? Каллиграфии, представляющей вообще такую незначительную эстетическую ценность. Причина этого контраста заключается, я думаю, в том, что я говорил выше о богатстве природы счастливыми сочетаниями линий в противоположность ее бедности музыкальными комбинациями звуков. Звукоподражание, музыкальный рисунок, не развивается, потому что ему не достает природных образцов; поэтическое же или литературное слово, эта изустная каллиграфия, развивается как раз по той же самой причине, т. е. потому, что акустическая фантазия человека,



будучи лишена таких получаемых извне образов, которые были бы выше характерной мелодии фраз и слогов, жадно подхватывает эти последние. Наоборот, рисунку пришлось развиваться в мире, столь богатом образцами для копирования, а каллиграфия должна была потерпеть неудачу в силу убогой странности свойственных ей красот по сравнению с красотами рисунка и форме живой или физической природы, которыми он питается.

## XI

Скажем поэтому, что язык, и прежде всего язык изустный, само собою разумеется, представляет собою принцип и пластическую субстанцию всякого искусства. Архитектура и музыка представляют собою два искусства, менее других проявляющие непосредственное происхождение из этого источника. Но, кажется, невозможно не допустить, что первое рифмованное слово должно было предшествовать первой песне и первому правильному и симметрическому построению, как бы мало художественно оно ни было по своей цели. Можно согласиться со Спенсером, что свободная отдельная статуя, предназначенная для того, чтобы быть видимой со всех сторон, выросла постепенно из барельефа, изваянного на стене дворца или храма. Но разве дворец или храм был построен не для того, чтобы укрывать первичный эквивалент статуи, более или менее грубо сделанного идола, или ковчег, или какой-нибудь другой бесформенный опыт изваяния, который существовал раньше архитектуры, а не был порожден ею и выражал религиозные идеи, уже распространившиеся при помощи поэзии?

Повествовательная поэзия, эпос, — таков сложный и смутный зародыш всякого художественного развития. Все остальное происходит отсюда путем расходящихся разветвлений. Первым музыкальным произведением был речитатив первой поэмы, — иначе говоря, ее выразительное изустное чтение. Первый танец представлял собою музыку, т. е. преувеличенную жестикуляцию. Первый ваятель только точно установил и с силой выразил черты богов или царей, в общих чертах набросанные поэтом, — первая картина только фиксировала и

придала жизнь его описаниям; первичная архитектура, первое сооружение, достойное такого названия, представляло собою только овеществление его самых сумасбродных грез или его самых высоких понятий и убежище для богов, воспеваемых им. Наконец, первая драма представляла собою только отрывок или эпизод из его рассказов, выделенный оттуда и переложенный в форму диалога, являясь в то же время последовательным развитием мимики хора, как это доказывает греческий театр.

Искусство должно было начаться рассказом и кончиться драмой именно потому, что человек прежде всего социален. Поэтому-то его первые рассказы отводят мало места индивидуальной психологии; в них есть только борьба между людьми, а потом соглашение между ними, сражения и мирные договоры или смерть. Если понимаемое таким образом эпическое сказание должно было предшествовать драме, то это, во-первых, объясняется более искусственным характером последней формы искусства и большей трудностью управлять ею, а, во-вторых, тем, что грубый и неразвитый человек более способен к действию, чем к слову. Преобладающее значение диалога, представляющего собою драматическое выражение человеческой жизни, стало возможным только в период уже развитой культуры. Форма рассказа отличается от формы драмы тем, что последняя рисует внутренние волнения личностей только при помощи разговоров между ними; если же она изолирует и рельефно выделяет эти волнения, то делает это при помощи монолога или хора по образцу греков — при помощи этих двух несовершенных органов, которые постепенно пропадают с развитием драматического искусства.

Что может быть неправдоподобнее театральной пьесы? Что может быть искусственнее тех условностей, на которых основан театр? Однако нет ничего интереснее, ничего, в чем бы лучше проявлялась сила искусства во всей его чистоте. Период временного индивидуализма, социального разложения в ожидании социальной реорганизации, период падения в область чистой психологии может, конечно, вернуть прежнюю силу романическому рассказу. Но даже в эти низменные эпохи художественное превосходство драмы проявляется в том, что мы каждый день видим, как достигшие успеха романы всходят на театральные

подмостки, чтобы вполне увенчать этот успех, тогда как никогда мы не видели обратного явления. Какой драматург вздумал бы переделать свою пьесу в роман, чтобы увеличить свою славу? Это превращение рассказа в драму, а не драмы в рассказ представляет собою постоянное явление во всех литературных эволюциях. Весь греческий театр вышел из недр Гомера, для всего театра Индии источником служат ее великие поэмы, наши первые мистерии представляли собою наивную переделку евангельских сказаний. Но пусть мне назовут эпопею, порожденную какой-нибудь трагедией!

Происходит это потому, что чистый диалог, отделенный от всякого другого элемента, владеет тем преимуществом, что он заставляет рельефно выступать логический — и притом социально-логический по преимуществу — факт, заключающийся в столкновении или сотрудничестве двух верований или двух желаний, воплощенных в двух отдельных личностях и в результате этой борьбы или этого сотрудничества. Он представляет собою самое чистое проявление социальной логики в процессе действия. Раз искусство, как мы знаем, представляет собою ответ на испытываемую человеком потребность увидеть свое отражение в своей собственной жизни — в своей человеческой и социальной жизни, то естественно, что высшее проявление искусства составляет драма. В самом деле, что такое история? Историю легко можно разложить на элементарные деяния в высшей степени разнообразных размеров, но все они сводятся к революции, за которой следует новый режим, к войне, за которой следует договор, к затруднению, за которым следует приспособление, к процессу, за которым следует судебное постановление, к спору, за которым следует вывод, — одним словом, к вопросу, за которым следует ответ. Точно так же и театральное произведение по существу состоит из завязки и развязки. Если же проанализируем ее внимательнее, то увидим, что завязка состоит из *да*, противопоставляемого отрицанию *нет*, или из тезиса, стоящего против своего антитезиса, или из нескольких таких пар, различным образом скомбинированных. Первые пьесы всегда представляют собою диалоги между двумя лицами. Мы увидим также, что и в театре или в эпопее, точно так же, как и в жизни, развязка всегда представляет

собою примирение после борьбы между желаниями или идеями. Но в жизни противоположные мнения или страсти, вообще говоря, приходят к соглашению только при помощи взаимных уступок, и та из них, которая восторжествовала, сама выходит из борьбы изуродованной, походя в этом на дикаря, который дрался на топорах с другим дикарем из-за пары серег и вышел победителем, но потерял в борьбе уши. Наоборот, в произведениях фантазии торжествующее хотение или убеждение торжествует вполне, а иногда в веселых или комических пьесах случается, что оба противника кончают тем, что остаются оба чрезвычайно довольными. В этом произведение искусства обнаруживает перед нами скрытый идеал человеческого желания и упреждает конец человеческой истории: полное осуществление всякого личного желания, обобщившегося без всяких урезок или пожертвований.

Но здесь необходимо различить трагедию от комедии<sup>198</sup>. В комедии столкновение между мнениями и интересами заканчивается обыкновенно взаимными объятиями противников, которых разделяло некоторое обстоятельство и которые, в конце концов, увидели его ничтожность. В трагедии подобное соглашение хотений и мыслей почти никогда не бывает возможным ввиду гораздо большей интенсивности желания и веры, которые одушевляют действующих в них лиц и пропитывают их до мозга костей. Поставленная задача, как очень удачно заметил Гегель, чаще всего не может разрешаться иначе, как подавлением одного из двух противоположных верований или одной из двух страстей, т. е. смертью одного из героев: или мученика вроде Полиевкта или честолюбца вроде Макбета. Итак, все различие между произведениями веселыми и произведениями суровыми сводится к различной степени действующих в них веры и желания. В самом деле, чтобы сделать серьезным легкомысленного человека или легкомысленным серьезного человека, достаточно немного прибавить или убавить у них убежденности и решимости в жизни. Например, молодая девушка хочет выйти замуж за молодого человека потому, что она считает его одаренным всеми достоинствами, а ее отец не хочет такого брака, потому что он уверен, что этот молодой человек преисполнен пороками. Но в конце концов отец принужден сознаться, что он ошибся, и соглашается на брак. Если

же он признает свою ошибку и переменяет свое мнение, то не происходит ли это потому, что в сущности его мнение о будущем зяте вовсе не было одной из основных идей его жизни, какой, например, была бы его религиозная вера в XVI веке или его политическая вера в конце XVIII? Не случилось ли это также потому, что его намерение помешать такому браку вовсе не было одной из основных глубоких целей его жизни, подобно тому, как поражение Англии было целью Наполеона I или подавление австрийского дома целью Ришелье? Представьте себе Полиевкта обращающимся в язычество в пятом действии или Макбета отказывающимся от всякого честолюбия в каком-нибудь мирном убежище! Человек биологически принужден отдаваться жизненному распространению того специфического типа или индивидуальной разновидности, воплощением которой он является. Но социально он воплощает в себе традиционное стремление или личное намерение, полученный от предков догмат или найденную им самим истину, и он также принужден всецело отдаваться их распространению в человечестве. Чем более возвышается он над биологическими требованиями, тем более подчиняет он свою жизненную обязанность обязанности социальной. Когда же он жертвует своими богами, своими принципами, своим отечеством для физической любви, он поступает противоположным образом и погружается обратно в низшую сферу жизни. Отсюда понятно, почему роль любви уменьшается по мере того, как мы поднимаемся в более высокие области искусства. В низших произведениях любовь представляет собою альфу и омегу, исходную и конечную точку, а в возвышенных и строгих произведениях искусства она является препятствием, которое надо преодолевать, подводной скалой, которую надо миновать. Высшим пунктом, какого может достигнуть социальный человек, является героическое самоотречение, заставляющее его жертвовать собой за свою веру или за свою мечту. Такова храбрость солдата или стойкость мученика. Нет ничего прекраснее, ничто не восхваляется единодушнее, но также нет ничего менее сообразного с утилитарной моралью. Трагические герои характеризуются этой верховной одухотворенностью. В этих чистых типах человечества не остается ничего животного и должен сиять со всей

своей силой дух, нечто по существу утверждающее и добровольное. Единственным *raison d'être* является для них увлекающая их цель или идея; они не могли бы пережить ее без противоречия.

Человек — существо социальное, привитое к существу биологическому; в нем больше нет ничего: что осталось бы от психологии, если отнять от нее физиологию (как сказал, кажется, Тэн), как не то, что прибавляет к ней социология? Следовательно, искусство — это отражение человека — поочередно делает позаимствования то из господствующих внушений его жизненных страстей, то из общественных стремлений. У него два полюса: любовь, с одной стороны, и с другой — политика и религия, гуманизм или наука. Оно эротично в первом случае, официально или религиозно, промышленно или натуралистично, гуманитарно или философично во втором. Но по мере того, как оно делается более возвышенным, оно становится более социальным и усиливаются в нем последние из указанных его черт. Но как бы ни было благородно то высшее стремление, какому оно повинует, ошибочно было бы думать, что оно когда-нибудь окончательно восторжествует над первым или даже что это первое будет все более и более ослабляться. Социальное, в конце концов, бывает и должно быть только преобразованием биологического, т. е. индивидуального, а так как ничто в такой степени не освещает, не придает красок и не разъясняет психологию индивида, как любовь, сделавшаяся социальной, так как ничего нельзя сравнить с теми, так сказать, светящимися родниками, какие вызывает из человеческого сердца любовь, ставшая социальной, то невозможно, чтобы искусство, поднимаясь на свои вершины, не чувствовало все усиливающегося желания пить из этого источника, не ощущало потребности все больше прибегать к этому средству очарования, чтобы получить прощение за свою высоту.

Заметим, что из двух частей, образующих произведение искусства (завязка и развязка, борьба и комбинация), вторая бывает существеннее, хотя в большинстве театральных пьес первая бывает развита гораздо полнее. Доказывается это тем, что развязка без самой пьесы, хотя и мало интересна, может составить полное целое; таковы произведения искусства, представляющие собою процессии, о которых я говорил

выше; в них артист подразумевает те исторические столкновения, из которых берет начало обрисовываемая им гармония; наоборот, преса без развязки — это неоконченная фраза, оставляющая ум неудовлетворенным. Подобным же образом, если вы читаете о результатах истории, хотя бы даже и без самой истории, то такое чтение, как, например, чтение поучительной книги Курно «*Marche des idées*» в наше время или, с более узкой точки зрения, чтение какого-нибудь популярного произведения удовлетворит ваш ум, хотя и не взволнует вас, и в такой картине может быть нечто в высшей степени художественное, хотя у исторического и в то же время догматического изложения какой-нибудь научной или правовой системы гораздо больше оснований претендовать на название произведения искусства. Но попробуйте читать историю того, что еще делается и еще не закончено, например, о споре между двумя астрономами о пятнах на солнце, между двумя теологами о каком-нибудь догмате, между двумя партиями относительно какого-нибудь политического вопроса, и, как бы ни был велик интерес возбужденной, но еще не разрешенной задачи, вы никогда не испытаете ничего похожего на то укрепляющее успокоение, какое оставляет после себя произведение искусства.

Можно указать еще и другие черты сходства между драмой и нашим объяснением истории, но не имеем ли мы уже права заключить отсюда, что из всех произведений человека произведение искусства является, быть может, самым логическим и самым телеологическим? В самом деле, оно не только представляет собою прекрасное средство для достижения великой и более или менее несознаваемой цели, лежащей в окружающем мире или находящейся внутри нас, — цели, которой оно всегда достигает (прибавим это, как лучший аргумент в пользу великой национальной или индивидуальной веры, которую оно выражает и делает осязательной); оно не только является, таким образом, побежденной трудностью, разрешенной задачей, возрастанием спокойной уверенности и истины, но, кроме того, элементы, входящие в его состав, изваянные, нарисованные, изображаемые на подмостках, воспеваемые им персонажи встречают также препятствия, которые они должны преодолеть, возбуждают сомнения, которые они должны выяснить,

имеют свои цели или свои верования, которым они должны доставить торжество, и эти персонажи также всегда достигают победы или окончательного примирения, представляющих собою конец всякой борьбы и развязку жизни.

## XII

Все ли это? Нет, я еще не сказал о том, что является наиболее существенным и характерным в социальной роли искусства, что создало эстетике ее особенное место вне логики и телеологии и выше их. Недостаточно сказать, что она заканчивает и увенчивает их, — она еще прибавляет к ним нечто бесконечно драгоценное.

Во-первых, она, как мы знаем, заканчивает их. Искусство, повторяем, представляет собою могучее средство согласования верований и желаний. Оно согласует желания, не заставляя каждое из них служить целям всех остальных, как это делает промышленность и торговля, нисколько не уменьшая несходства между ними: оно отождествляет, объединяет их в одну группу, в одно грандиозное целое, подобно тому, как это делает война; последняя достигает согласования национальных желаний ценою столкновения между нациями, тогда как искусство способствует федеративному объединению соседних народов даже тогда, когда оно представляет подражание борьбе, порождая общечеловеческий объект восхищения, новую красоту, быстро шагающую через самые высокие национальные преграды. Искусство — великий маг, великий очарователь змей души.

Но почему же это происходит? Потому что оно не ограничивается только внушением общих всем хотений и идей, а прежде всего запечатлевает в душе общие всем ощущения. Как мы сказали вначале, явления сознания не сводятся целиком к верованиям и желаниям, к суждениям и хотениям: в них всегда существует аффективный и дифференциальный элемент, играющий активную и основную роль в ощущениях в собственном смысле слова, и не менее глубоко, существенно, хотя и скрытно, действующий в тех высших ощущениях, которые носят название чувствований. Особенным и характерным свойством искусства является то, что оно управляет душами, захватывая их с этой



великой чувственной стороны. По отношению к управлению идеями и хотениями оно стоит вообще гораздо ниже религии и различных форм правительства: политики, права, морали. Но по отношению к воспитанию чувств и вкуса у него нет равного.

Характерной чертой искусства является то, что оно придает, так сказать, социальную всеобщность самым ощущениям людей в их наиболее неуловимых, наиболее индивидуальных оттенках. Каждый художник на лету подхватывает в своем сердце<sup>199</sup> какой-нибудь из этих быстро мелькающих оттенков, фиксирует и преподносит его публике, которая в силу обычного влияния заразительности копирует и часто усиливает его. Таким именно образом юмор Стерна или меланхолия Руссо распространились, омрачившись в то же время, и сообщили свой оттенок людям, часто меньше всего способным чувствовать их. Великие живописцы приучают нас видеть в природе те цвета и формы, которые они сами видят, и видеть их такими, какими они их видят. Великие музыканты переделывают наше ухо по своему образцу. Эжен Делакруа справедливо говорит в своем дневнике, что в самых обычных красотах природы всегда можно открыть что-нибудь новое и что, когда читают какое-нибудь прекрасное поэтическое произведение или смотрят на хорошую картину, то читателю или зрителю кажется, что они в первый раз слышат о соловье или о море «и обо всем, что их грубые органы оказываются способными почувствовать только после того, как кто-нибудь возьмет на себя труд сначала прочувствовать это для них». Именно в этом художник и является поистине изобретателем или, лучше сказать, открывателем. При каждом *chef-d'oeuvre* он прибавляет к чувствительности публики новое ощущение или новую вариацию ощущения. Было бы не трудно доказать, что вся ретина и барабанная перепонка жителей какого-нибудь большого города, подобного Парижу, созданы поколениями музыкантов, живописцев, скульпторов, архитекторов — этих бесчисленных сотрудников. При виде захода солнца, какого-нибудь пейзажа, выразительного жеста или движения, слушая какой-нибудь звук, они не чувствовали бы ничего того, что они чувствуют во всякое мгновение, или чувствовали бы это не так — не

так нежно, не так глубоко, если бы не существовали и не оставили после себя учеников те или другие великие маэстро. То же скажу я о сердце и вкусе публики: не представляю себе, какое участие принимали поэты и в особенности драматурги в образовании наших симпатических или антипатических чувствований. В так называемых преступлениях из-за страсти порывы более или менее искусственного негодования или волнения, охватывающие суд и обуславливающие самые скандальные оправдательные или даже обвинительные вердикты, являются попросту эхом тех декламаций, которые приводили в волнение уже несметное число театральных зал.

Обработывая таким образом клавиатуру нашей чувствительности, беспрестанно расширяя и совершенствуя ее, поэты и артисты накладывают на нашу естественную, природную, необработанную, различную в каждом из нас и по существу неспособную передаваться от одного к другому чувствительность — а отчасти и совсем заменяют ее — другую коллективную чувствительность, одинаковую для всех и в качестве таковой поддающуюся впечатлениям, получаемым от волнений социальной среды, так как она порождена этой последней<sup>200</sup>. Одним словом, великие художники дисциплинируют чувствительности, а следовательно, и воображения, заставляют их взаимно отражаться друг в друге и оживляться под влиянием этого взаимоотражения, в то время как великие основатели или реформаторы религии, ученые законодатели, государственные люди дисциплинируют умы и сердца, суждения и хотения.

Следовательно, искусство, понимаемое таким образом, занимает совершенно определенное и возвышенное положение. Подобно тому, как наука (вместе с религией или после нее) представляет собою социализацию верований, как мораль (вместе с государством или после него) представляет собою социализацию желаний, так и искусство есть социализация чистых ощущений, что не мешает ему быть также и отражением действующего и верующего человека; но вместе с тем оно является его отражением, как и отражением всей Вселенной, чтобы изощрять, обновлять, разнообразить и расширять поле индивидуальной

впечатлительности, ставшей социальной благодаря ему. Произведение искусства не стремится по существу к тому, чтобы доказать что-нибудь или чтобы сделать что-нибудь, оно стремится только растрогать, произвести на нас известное новое и одинаковое для всех впечатление.

Но это еще не все. Искусство не только социализирует ощущения, но оно гармонизирует их для того, чтобы социализировать, и гармонизирует при помощи приемов, не имеющих ничего сходного с приемами логики и телеологии. Не может быть и речи о логическом или утилитарном согласии между ощущениями, сравниваемыми как таковые, а не как агрегаты подразумеваемых под ними суждений и хотений, ибо они подтверждают друг друга столько же, сколько противоречат одно другому. Тем не менее, между ними существует взаимное сродство и отталкивание. В одной из предыдущих глав мы говорили о моральном прогрессе, который заключается в согласовании чувствований сердца и даже впечатлений органов чувств при помощи религиозных или национальных празднеств, но только поскольку эти чувствования и эти впечатления составлены из желаний и верований. Теперь речь идет о другом, и это другое, собственно говоря, не входит в рамки настоящей книги, так как искусство с этой его стороны оказывается чуждым социальной логике и телеологии; но как и эти последние, оно является могущественным фактором всемирного подражания.

Искусство проявлялось с самого начала уже в празднествах, умиротворяющее влияние которых мы восхваляли, и его действие возрастает в них с каждым поколением. В сущности там оно и родилось под влиянием настоящей потребности дополнить эти празднества, примешиваясь к ним. Уничтожьте мысленно торжество и религиозные церемонии (процессии, таинства Цереры и Бахуса, праздник Тела Господня в средние века, Пасху, Рождество Христово), триумфы и военные упражнения (вход в Капитолий, турниры, карусели) и спросите себя, было ли бы допустимо при такой гипотезе развитие архитектуры, скульптуры, танцев, эпической или драматической поэзии. Без всякого сомнения, первое здание, достойное такого имени — храм, — точно так же, как первая статуя — идол, — были сооружены в виду

празднества. Для празднества сформировался первый хореографический или музыкальный хор, была задумана первая драма. Все искусства вначале были большой декорацией, прежде второстепенной, а затем все более и более необходимой и чарующей, для этих великих религиозных или патриотических поминок, в которых она подчеркивала свойственный им характер мифологического или воинственного подражания. «С начала средних веков, — говорит Буркгард, — религиозные процессии стали служить предлогом к маскарадам: дети одевались ангелами, лицами из Страстей Господних и т. д. Проследите здесь последовательное сцепление идей. Необходимость замаскироваться, симулировать не свое лицо — это был первый зародыш изобразительного искусства, первая поэтическая фикция. Карнавал, зародившийся в Риме, представляет собою подражание античным римским триумфам, которые сами были подражанием победам. Таким образом, каждое празднество, даже самое, по-видимому, фривольное, представляет собою забытое воспоминание, изгладившийся из памяти остаток какого-нибудь общего великого деяния. В то же самое время, когда зарождавшееся искусство содействовало этой могучей ассоциации душ в одном великом воспоминании, в одной великой общей всем мечте, оно уже отвечало новой, пробуждающейся гораздо медленнее потребности».

В самом деле, ощущения, по-видимому, медленнее идей и хотений ассоциируются и уподобляются друг другу путем подражания. У детей можно наблюдать, как поздно пробуждается симпатия в собственном смысле этого слова; долгое время они кажутся нечувствительными к неприятностям и страданиям их лучших друзей. Наоборот, они очень рано сообщают друг другу свои вкусы, свои идеи, свои капризы. В своем «Происхождении человека» Дарвин приводит много примеров инстинкта общности у животных; он указывает нам собак, лошадей, обезьян, живущих стадами, соединяющихся для какого-нибудь коллективного предприятия, помогающих друг другу, понимающих крики или какие-нибудь знаки, которыми они извещают друг друга о приближении врага, и несмотря на то, он признает, что у этих животных,

по всей вероятности, нет сострадания одного к другому. Притом же здесь речь идет только о состояниях аффективных, поскольку они приятны или тягостны, т. е. заключающих в себе значительную долю желания. Что же касается аффектов, свободных от всякой примеси желания, то их передача от одного индивида другому довольно трудна и становится возможной в человеческих обществах только довольно поздно. Даже в этих последних чувство симпатии проявляется с силой, с полной сознательностью только долго спустя после великих проявлений веры или обязанности. Когда в каком-нибудь обществе начинают интересоваться тем, что чувствуют другие, начинают интересоваться их отдельными впечатлениями, всяким убеждением, всякою страстью, то это служит верным признаком того, что эстетическая жизнь становится там интенсивной. Отсюда следует, что уподобление и гармонизирование аффективных впечатлений, являющееся результатом развитого искусства, представляет собою род согласия, стоящего в известном смысле выше логического и телеологического согласия, выше науки и морали.

Когда выше я говорил, что драма представляет собою последнюю форму поэзии, то я еще не имел в виду чистого и свободного искусства, совершенно эмансипировавшегося и в сущности неспособного жить долго в этом состоянии независимости, но постоянно к нему стремящегося. Последнее не подчинилось бы обязанности воспроизводить столкновения и союзы между хотениями, игру человеческих страстей, обязанности служить развлечением для толпы. Оно захватывает отдельного индивида и тем сильнее очаровывает его. Оно изображает и преобразует зрелища физической и живой природы и ставит лицом к лицу с ними загнивающего им субъекта. В самом деле, географической среде, фауне или флоре, климату или почве какой-нибудь страны, ее небесам и пейзажам надо приписывать гораздо больше значения в образовании эстетических понятий и вкусов, художественных призваний, нежели в развитии догматов и теорий или даже экономических преобразований<sup>201</sup>. Пейзажная живопись или вообще живопись, более интересующаяся тонкими оттенками цветов, нежели точно определенными формами,

более останавливающаяся над впечатлением, нежели над выражением, ценимая как изысканная утонченность зрения, музыка, развивающаяся в направлении гармонии, считающаяся утонченной культурой слуха и, без сомнения, выразительная, но прежде всего производящая впечатление, наконец, лирическая поэзия, у которой нет уже ничего дидактического или ораторского, ничего поучающего или убеждающего, стремящаяся только к тому, чтобы схватить на лету в глубине души редкие наслаждения, страдания избранников, самые мимолетные оттенки чувства — одним словом, колоризм, гармонизм и лиризм — таков тройной венчальный цветок искусства, нежный и скоропреходящий. Без сомнения, эти три элемента всегда имелись налицо, перемешанные между собой в художественных проявлениях предыдущего порядка. Всюду и всегда, повторяю снова, целью искусства было скорее производить известного рода впечатление, нежели доказывать и убеждать. Но, в конце концов, искусство эмансипируется и обнаруживает свою специальную задачу, заключающуюся в развитии индивидуальных впечатлений, как в направлении более сложной самобытности, так одновременно и в направлении их наибольшей общности.

Эта разработка заключается в подборе гармонирующих впечатлений и в устранении впечатлений, дающих диссонанс, — в том, чтобы создать мир из этого хаоса. Но что такое эти эстетические согласия или несогласия между ощущениями? Это очень неясно. Здесь не может быть речи об отношениях между принципом и логическим следствием, между средством и целью, между утверждением и отрицанием, между целью и препятствием; очень трудно понять истинный характер этих отношений. Их таинственный источник — это источник самой жизни, но они вытекают из его сокровенной глубины. Отсюда прелесть и ценность искусства.

Эстетическое согласие или несогласие на своей низшей ступени проявляется в той гармонии или той несовместимости ощущений, которые нельзя удовлетворительно объяснить никакими соображениями полезности. Мы знаем, что дополнительные цвета сочетаются гармонически, что такие цвета, как желтый и зеленый, синий и фиолетовый,

как бы созданы для соединения, так же, как *do* и *re*, что такие-то архитектурные линии исключают такие-то другие линии. Заметим, что существуют две эстетики, подобные двум логикам и двум телеологиям, — эстетика индивидуальная и эстетика собственно социальная, и что первая, помимо нашего ведома, непрерывно, с самого нашего рождения работает в нас над тем, чтобы направить нашу чувствительность по пути наибольшего согласия или наименьшего несогласия между ощущениями, над тем, например, чтобы во всякое мгновение наше зрительное поле представляло более или менее удачное произведение инстинктивного искусства, действуя путем ослабления или усиления того или иного цвета, той или другой формы. Но что справедливо по отношению к ощущениям, — этим элементарным чувствованиям, справедливо и по отношению к чувствованиям — этим высшим ощущениям.

Есть такой род эмоций, например, мечтательность влюбленного, который удивительно гармонирует с продолжительным наслаждением красотами пейзажа, с любовью к лесам, скалам, к воде и совершенно несовместим с восторгами политического или военного честолюбия. Социальная эстетика, особенно в ее литературной форме, но также и в форме изящных искусств, усиливается произвести и распространить наилучшие из возможных комбинаций (наиболее жизненные и заразные) этих эмоций, этих впечатлений, этих сложных оттенков души. Каждый *chef-d'oeuvre* представляет собою одну из таких плодотворных комбинаций. Изящные искусства работают, без сомнения, над чувственным материалом, уже разработанным той внутренней и жизненной эстетикой, о которой мы только что говорили, и они заканчивают ее дело, но, благодаря своей выразительной силе, придают еще этому материалу ту способность передаваться другим, которой ему не хватало и которая дается ему чувством, получившим выражение. При каждом подъеме человеческого сердца на высоты мысли оно получает новые эмоции, а потому, как видим, научный прогресс и вообще развитие цивилизации влечет за собой постоянное обновление условий социальной эстетики, в то время как индивидуальная эстетика остается

на одном и том же месте, все более и более отодвигается на задний план и забывается.

Нет ничего, скажем в заключение, более бесполезного по внешности и более необходимого в действительности, нежели эта роскошь искусства. Она представляет собою то, что общество выработало наиболее изощренного, чаще всего социального и что дает ему возможность полнее всего вступать в общение с природой, с окружающей жизнью всего мира. Оно является утонченным созданием социального, получаемого путем усовершенствования природного. Вместе с тем оно, сохраняя свой вид полной индифферентности по отношению к моральному усилию, подготавливает пути для высшей нравственности, какой оно достигает, не добиваясь ее, и, может быть, именно потому, что оно совсем не стремится непосредственно к ней, подобно тому, как мы тем вернее достигаем счастья и здоровья, чем менее ставим их непосредственно целью нашего желания. Разве не верно, что существуют два рода нравственности? Первый, свойственный варварским, а также не вполне цивилизованным народам, исходит из чисто патристического, т. е. политического и воинственного принципа, которому подчиняется вся деятельность человека, как то было в Спарте и в Риме в древние времена. Мужество, воздержанность, послушание и повиновение начальникам — таковы главные добродетели. Второй, зародыш которого проглядывает с самых отдаленных времен в некоторых предписаниях, подобных, например, обязанности гостеприимства и даже вендетте, но который развивается только с течением времени, этот род нравственности вытекает из вдохновения, по существу своему эстетического, хотя и окрашенного вначале в религиозный оттенок. Разве спасение души у наиболее возвышенных представителей христианства не является вполне бескорыстным созерцанием божественной красоты? Даже идеальная грация гурий является у мусульман высшим блаженством; а честность, сообразование с законами чести, совсем не утилитарными, была, без сомнения, для «честного человека» XVII века новой красотой, которую надлежало реализовать в себе. В то время как наука испытывает истинное, искусство, в виде образцов



прекрасного, работает над созданием добра, точно определяет, олицетворяет и оживляет его. Прекрасно знаю, что ту красоту, какую оно создает для нас и предлагает нам любить, оно само все более и более заимствует у наиболее сладострастных созданий жизни, у очаровательных форм женщины или у восхитительных пейзажей. Но то опьяняющее нас питье, какое оно таким образом составляет для нас, не только отвращает нас от черной похлебки, но также делает нашу душу мягкой и милосердной, покорной судьбе, лишенной ненависти и зависти, способной упиваться моралью с ее самой благородной и чистой стороны.

Справедливо, значит, что произведение искусства первоначально считалось обладающим каким-то чудесным и священным характером; всякая статуя вначале была идолом, всякая медаль — амулетом, всякая картина — изображением, которым пользовались чародеи. Всякий монумент вначале был храмом, святым местом, верным убежищем, излечивающим все боли и предохраняющим от всяких опасностей. Всякая поэзия, всякая музыка была вначале гимном с чудесной и таинственной силой. Так будет и всегда, только под новыми формами.

## КОММЕНТАРИИ

Я назову только два примера этого, хотя и очень многозначительных. Дюркгейм, всецело поглощенный своей исходной точкой зрения, явственно недостаточность которой мы только что установили, очевидно, не может принять нашу, которую он, впрочем, понял, по-видимому, очень плохо. Но как раз в том примечании (*Revue philosophique*, mai 1894, p. 473), где он говорит о своих исследованиях, отдаливших его от нас, он пишет: «Всякому социальному деянию, без сомнения, подражают; оно имеет, как мы только что показали, стремление обобщиться, но это потому, что оно социальное». Большого я и не желаю. В самом тексте этой статьи, так же как и в других трудах этого писателя, проскальзывают аналогичные и еще более полные признания. В своей книге «Вырождение» Макс Нордау в качестве психиатра-ломброзиста начинает с того, что обсуждает довольно высоко объяснение социальных явлений, и в частности социальных болезней, причинами социального же порядка и именно «подражанием». Но через несколько страниц, когда он спрашивает, почему истерия, неврастения, вырождение, все модные нервные недуги встречаются так часто в наши дни, как он отвечает? Главной причиной, по его взглядам, является необыкновенное обилие изобретений, скопившихся в наш век, перевернув вверх дном все условия существования и удесатерив человеческое утомление. Вот, стало быть, и этот писатель оказался вынужденным, помимо своего ведома, прийти к моей точке зрения относительно важности изобретений, а следовательно, также и подражания. Ибо предположим, что изобретения, о которых он говорит, не приняты, не практикуются, им не подражают: разве они произвели бы малейшее ослабляющее действие на нервную систему наших современников? Значит, только заразительному, неистовому подражанию этим изобретениям должно быть приписано нервное истощение нашего века, если только это истощение существует. Этим последним примером я хочу показать, что моя точка зрения не только не противоречит данным нервной патологии, но, наоборот, позволяет мне пользоваться ими, пополняя их в то же время со своей стороны.

<sup>2</sup> Дельбеф в замечательной статье о метагеометрии оспаривал недавно эту абсолютную индифферентность реального пространства по отношению к природе его материального содержимого и сделал это свойство атрибутом абстрактного пространства, которым геометрия только и занимается. Надо ли, однако, добавлять, что эта идея глубокомысленного бельгийского ученого ни в чем не возвращает к суевериям предзнаменования?

<sup>3</sup> Так например, Бинз в своей книге о «Психологии умозаключения», в которой он пытался связать с теорией ассоциации логику, которая от нее ускользнула и которой одной только она, быть может, и соответствует, — когда он случайно вспомнил, что его могут упрекнуть в пренебрежении самым существенным пунктом, объяснением суждения и верования, тотчас же отвечает: «Верования, уверенность, согласие относятся к тем смутным, тонким и плохо определенным явлениям, которыми так изобилует психология». Конечно, он сказал бы то же и о желании. Вот насколько верно, что самая ясная и определенная вещь кажется неясной и даже бесформенной, если на нее не обращают внимания, и верно еще в большей степени, если эту вещь постоянно имеешь перед глазами.

<sup>4</sup> Скажу то же самое и о слове «слияние». Одно дело — слияние разнородных представлений, например, осязательного и зрительного, так сказать, взаимно проникающих друг в друга в идее единого целого, и другое дело — слияние образов сходных: последнее было бы смешение, а первое — принадлежность.

<sup>5</sup> Воспользуемся тут случаем отметить мимоходом могущественное действие суждения на самое ощущение даже в том, в чем оно кажется, на первый взгляд, наименее поддающимся суждению. Читая неразборчивое письмо, нам очень часто приходится встречать слова, которые можно прочесть различно. Только что, например, я прочитал в письме одного незнакомого мне лица слово *сагеау* без всякого усилия, совершенно пассивно, так что такое чтение показалось мне следствием специального ощущения; но после я заметил, что мог бы также хорошо прочесть *сапсап* или *сагсап*.

<sup>6</sup> Ясно, что учения публика с некоторого времени находится в периоде неслыханной доверчивости в этом отношении и что несколько лет тому назад доказательства, считающиеся теперь самыми сильными, были бы приняты пожатием плеч.

<sup>7</sup> Я употребляю это обиденное слово, лишив его, скажем раз навсегда, различных побочных значений, суживающих широту и общность его смысла. Мне было бы нетрудно произвести какой-нибудь неологизм, почерпнутый в греческом или латинском языке или даже в обоих разом, но у меня мало склонности к подобного рода изобретениям. Поэтому условимся, что верование означает здесь не веру в религиозном смысле, а только согласие ума с какой-нибудь мыслью.

<sup>8</sup> Во сне образы, которые мы ассоциируем, чрезвычайно слабы, что, однако, не мешает им вызывать иллюзии и страсти, часто очень сильные. Заметим тут, кстати, что самые старые ассоциации наиболее, по-видимому, нераздельные и автоматические: образ старого друга и его имя, наше родство с окружающими и т. д. оказываются разрушенными и из их разъединенных частей мы строим новые ассоциации, в которые

мы твердо верим, присваивая, например, Павлу лицо Ивана или считая братом совершенно чужого нам человека — такие вещи случались со мной довольно часто.

<sup>9</sup> Может быть, это отражение горя или удовольствия на веровании и придает, наоборот, последнему известный тон, подобно тому, как отражение верования на чувство окрашивает последнее.

<sup>10</sup> Молодость отличается от зрелого возраста умственно тем, что в молодом уме количество проблем превосходит количество решений, тогда как успокоившийся ум наполнен решениями, но у него почти нет вопросов.

<sup>11</sup> Не опускаясь ниже млекопитающих, разве мы не знаем, что не только низшие животные, но даже козы, овцы, быки и лошади предчувствуют землетрясения, т. е. обладают специальными ощущениями, отвечающими колебанию почвы, подземным шумам, которых мы не замечаем, которые показываются нам только нашими сейсмографами и микрофонами? Этот факт настолько известен (говорится в одной статье по этому предмету), что обитатели тех стран, где землетрясения случаются часто, имеют обыкновение внимательно следить за поведением домашних животных, чтобы заметить у них предчувствие сотрясения и приготовиться к опасности.

<sup>12</sup> То и другое всегда более или менее изменяется под влиянием социального действия и исторических причин.

<sup>13</sup> По этому предмету см. сочинения Рибо.

<sup>14</sup> Что касается затрат на национальные вооружения и на правосудие, то они употребляются на защиту национальных интересов, а потому на затраты первого рода следует смотреть не как на взаимно суммирующиеся, а как на такие, которые должны вычитаться один из других, только в том случае, когда мы составляем перечень богатств нескольких наций сразу.

<sup>15</sup> Это относится к общеутвердительному предложению; что же касается общеотрицательного, то его элементы будут: 1) то же, что и для общеутвердительного; 2) утверждение, что указанная связь между подлежащим и сказуемым была несколько раз констатирована как несуществующая; 3) отрицание возможности хотя бы один раз констатировать ее существование. Все это сводится к тому же, что и в тексте.

<sup>16</sup> Наиболее существенным в понятии «все» является возможная, т. е., повторяю это снова, условно достоверная многочисленность. Иногда даже все понятие целиком сводится только к этой многочисленности. Примером может служить только суждение, утверждающее, что в абсолютной пустоте всякое движение с известной скоростью продолжалось бы бесконечно с той же скоростью. Всем известно, что абсолютная пустота никогда не была и не будет наблюдаема.

<sup>17</sup> Я вполне соглашаюсь с Бинэ в том, что восприятие есть заключение рассуждения. Когда я познаю, что услышанный мною звук — звук колокола, то я

вспоминаю, что всякий звук с этим специальным тембром — звук колокола (первая посылка) и замечаю, что этот звук обладает этим специальным тембром (вторая посылка), откуда заключаю, что и настоящий звук — звук колокола.

18 Цезарь был плешив; на этой медали изображен Цезарь; следовательно, на этой медали изображена плешивая голова. Дезе умер в день битвы при Маренго; битва при Маренго произошла в 1800 г.; следовательно, Дезе умер в 1800 г.

19 Когда иновое ощущение вызывает сходный (впрочем, только очень смутно) с ним образ, является ли последний тогда в силу своей тонкости и хрупкости связанным и опирающимся на это ощущение? Нет, именно состояние, выраженное сильно, признает себя копией с предшествующего, выраженного слабо, и умственно подчиняется этому смутному образцу. Следовательно, не интенсивность ощущения или представления является действующим в этом суждении восприятия. Не следует ли скорее сказать, что слабовыраженному состоянию присуща сильная вера в его предшествовавшую реальность?

20 Отсюда вытекает, что ложь бывает двоякого рода: во-первых, что случается относительно довольно редко, когда говорят то, чего не думают, и во-вторых, что бывает очень часто в жизни и особенно в жизни политической, когда утверждают энергично то, относительно чего существует еще сомнение в мыслях. Очень мало встречается даже философов, которые, по примеру Курно, не ограничиваются точным изложением своих мыслей, но и стараются также внушить читателю ту именно степень доверия к ним, какую эти мысли вызывают у самих авторов.

21 Кандолль, доказывая научную несостоятельность женщин, еще не создавших никакого сколько-нибудь оригинального научного произведения, замечает, что они обладают «отвращением к сомнению, т. е. к тому состоянию ума, которым каждое исследование в науке, основанной на наблюдении, должно начинаться и которым оно часто оканчивается». В этом определении сомнение попросту представляет собой всю громадную лестницу низших степеней верования.

Достоверно, что посредствующие между интенсивным утверждением и таким же отрицанием степени верования представляют собой неустойчивые состояния, и устойчивыми являются только две противоположные крайности. Вот почему большинство людей, и прежде всего женщины, проходят через всю эту цепь умственных положений с такой быстротой, что совершенно не обращают на них внимания и не сохраняют о них никакого воспоминания. Но неустойчивость этих состояний и скорость, с какой их пробегает, не мешает тому, чтобы они составляли одну и ту же непрерывную лестницу с состояниями стойкими, на которых останавливаются подолгу, и представляли бы собой величины, однородные с последними. Вода, падающая из одного горного озера в другое, лежащее ниже, недолго остается в пути, и тем не менее уровни обоих озер совокупно со всеми

промежуточными уровнями воды представляют собой количественно непрерывную цепь высоты над уровнем моря; чтобы установить непрерывность и однородность этой цепи, надо воспользоваться барометром. К несчастью, нет психологического барометра. Если бы для измерения высот над уровнем моря у нас не было никаких других указаний, кроме горных потоков, быстрота и сила которых меняется в каждое мгновение и которые находятся в состоянии покоя только на двух противоположных концах своего пути, то нам было бы очень трудно прийти к мысли, что эти конечные положения и промежуток между ними представляют собой, в сущности, одно и то же. То же самое и с верованием. При допущении этой гипотезы неясность является следствием того, что мы заставляем одну определенной рода величину — движущую силу или скорость — выражать собою величину другого рода — высоту, и, конечно, она плохо справляется с этой задачей. Подобным же образом в психологии получаем сведения о степенях одного рода величины — верования — только при помощи степеней величины другого рода — желания (называемого в этом случае любознательностью), часто с весьма различной скоростью пробегающего свои степени. Отсюда и проистекает трудность принятия той психологической точки зрения, относительно которой я желал бы, чтобы она одержала верх, и которая мне представляется существенно необходимой для развития и освещения как социологии, так и психологии.

22 Излишне говорить, что я не принимаю на себя ответственности за эту якобы аксиому оптимистически настроенных экономистов. Мимоходом сказать, превосходство ввоза над вывозом, когда оно не кажущееся только и не объясняется различием в оценке одних и тех же товаров в отечественных и иностранных портах, может служить признаком обеднения богатых стран, а противоположное превосходство вывоза над ввозом — признаком обогащения стран бедных.

23 Заметим кстати, что во втором силлогизме, строго точном самом по себе, обе посылки представляют собою предложения частные, несмотря на правило: *nil sequitur geminis...* и т. д.

24 Или, в случае, подлежащем логике социальной, когда имеются налицо два археолога, противоречащих один другому, и оба совершенно уверены в своей правоте, тогда было бы полезно начать прения.

25 Другой пример. Изучение египетских памятников подало одному ученому повод думать, что осел был известен в Египте в самые отдаленные от нас времена и что он, без сомнения, родом из Африки, тогда как лошадь была туда ввезена (вероятно из Азии) только в пастушеский период. Изучение арийских языков заставило его думать, наоборот, что лошадь была известна уже первобытным арийцам, тогда как ослом они стали пользоваться только после своего расселения. С другой стороны, он, подобно почти всем филологам, уверен в том, что если название какого-либо предмета

заимствовано из чужого языка, то и этот предмет был взят у народа, говорящего на этом языке. Однажды, занимаясь своими исследованиями, он замечает, что название осла в различных арийских языках произведено от семитского корня. Отсюда он заключает, что он не ошибался, приписывая приручению осла семитское происхождение, и это новое подтверждение его догадки реагирует также и на общий принцип, которому он отныне будет верить сильнее, нежели когда-либо. То же было бы, если бы этот ученый открыл, что египетское название лошади (капа) этимологически связано с санскритским асга, что подтвердило бы его гипотезу азиатского и арийского происхождения одомашнивания этого животного.

26 Рибо в одной из своих прекрасных статей о воле, по-видимому, соглашается с тем, что «с внутренней психологической стороны» суждение не отличается от хотения, т. е. от выбора цели. «Этот выбор, — говорит он, — представляет собою практическое утверждение, суждение, которое я привожу в исполнение», так что, если оставить в стороне движение, которое сопутствует или следует за суждением-хотением в отличие от собственно суждения, то последнее должно было бы представляться сознанию слитым с первым. Я ничего не возражал бы против такого уподобления, если бы дело шло не о хотении, а о связанном с ним телеологическом суждении, т. е. о малой посылке и отчасти даже о заключении телеологического силлогизма. Эта малая посылка действительно представляет собою выбор, указание средства. Но что касается выбора цели, то он является суждением только при своем проявлении в словесной форме, от которой, однако, его можно освободить, нисколько не лишая его свойственного ему характера: «Я хочу сделать это» — здесь есть подлежащее, сказуемое и дополнение — предложение полное. Но самый акт постановки цели ни в коем случае не является предложением, он только отразился этой фразой в зеркале разума, в котором так охотно ищет свое изображение зарождающаяся воля социального человека. Это желание.

27 Когда в 1265 г. Карл Анжуйский, по предложению папы, совершал свою экспедицию в Сицилию, он видел в этом двойную выгоду: достигнуть спасения души и приобрести в то же время королевство; но несмотря, однако, на свою приятность, этот так называемый крестовый поход настолько же являлся в его глазах обязанностью, насколько казался ему просто выгодным делом.

28 Что в области индивидуальной логики соответствует успешным беседам и дипломатическим переговорам? Размышление, умственное обсуждение. Для того же, чтобы оно было возможным, необходимо, чтобы те идеи или хотения, между которыми мы колеблемся и от одной из которых мы, наконец, отказываемся, были предметом слабого верования или слабого желания. В противном случае, как увидим дальше, наступает безумие.

29 Прогресс цивилизации, согласно хорошо или дурно истолкованным статистическим данным, по-видимому, стремится к развитию безумия в индивидуумах и, согласно истории, — к уменьшению числа войн между обществами. Нет ли поэтому некоторого рода замещения социального безумия индивидуальным, причем второе растет на счет первого? Здесь не место изучать этот вопрос, но я думаю, что это обратное отношение — чистая иллюзия.

30 Я не говорю о тех детских умах, особенностью которых является то, что они усваивают идеи самого разнообразного происхождения, нисколько не думая об их согласовании между собою.

31 Может быть, самая большая польза, какую приносят нам религии, будет заключаться именно в том, что они дали начало этой идее и этой жажде истины, которая без них не существовала бы и в своем развитии стремится уничтожить то, что ее породило.

32 Наука вообще представляет собою только социальное развитие индивидуальной логики, разума, но не логики социальной, не «веры», как говорят теологи. Подобным же образом и позитивная мораль в том виде, в каком она стремится или предполагает установиться, представляет собой социальное развитие полезности, — не социальной, а индивидуальной, — хотения, а не «обязанности».

33 Приведем только одно доказательство: индивидуальные выгоды, чувствующиеся, к несчастью, все сильнее со дня на день, требуют рождения возможно меньшего числа детей, а интересы национальные, по крайней мере во Франции, требуют, чтобы их было много. Утилитаризму никогда не удастся разрешить это противоречие.

34 Вероятно, к установлению патриархального культа и власти пришла сначала одна какая-нибудь наиболее передовая семья и ее примеру должны были последовать и другие. Но можно думать, что многие семьи были не в состоянии последовать этому примеру, подобно тому, как встречаются умы, столь плохо развитые, что они способны только к смутному сложному ощущению своей личности. Естественный подбор устраняет всех этих отсталых.

35 Соображения и аналогии, приводимые ниже, носят несколько смелый характер, который может смутить некоторых читателей. Но хотя эти соображения и аналогии входят естественно в план настоящей книги, тем не менее их можно было бы исключить, не опровергая тем остального. Считаю благоразумным указать здесь на этот недостаток солидарности между тем, что является только догадкой, и тем, что есть доказанного и правдоподобного в наших идеях.



36 Надо в самом деле удивляться чудесному примиряющему могуществу Пространства и Времени. Не только локализованные этими двумя способами разнородные ощущения, свойственные одному состоянию индивидуального ума, приходят к согласию, путем ли устранения заключающихся в них противоречий (когда различные впечатления приписываются различным предметам) или путем подтверждения одних другими (когда впечатления различных чувств относятся к одному и тому же предмету), но, кроме того, и самые состояния ума, вызываемые таким образом у различных индивидов, всегда согласуются между собою, за исключением разве случаев болезненной аномалии, причем эти состояния или оказываются не противоречащими между собою (внутренние состояния людей, смотрящих на различные пейзажи) или подтверждают друг друга (внутренние состояния людей, смотрящих с различных пунктов на один и тот же пейзаж).

37 Каков бы он ни был притом, потому что важен здесь не характер видения, а его распространение; требуется общая вера, а не истинная.

38 Впрочем, как известно, деизм, этот реализм высшего порядка, никогда нельзя было колебать без опасности для социального строя. Если устранить гипотезу о божестве, то не останется ничего, что казалось бы, не скажу, достоверным, но обязательно достойным веры, что казалось бы, не скажу, добрым, но обязательно желательным. Все это существенно с точки зрения общества. Идея о материи в одно и то же время стеснительна и необходима в логике индивидуальной, точно так же, как идея о божестве в логике социальной, т. е. в политике. Вот почему наука, представляющая собою развитие индивидуальной логики обществом, но никак не развитие логики социальной, часто старается обойтись без понятия об атоме, но никогда не может от него избавиться, подобно тому, как цивилизация, представляющая собой развитие логики социальной, часто старается отбросить идею о Боге, но никогда этого не достигает. Но мы сказали выше, что в Европе социальная логика стремится к разрешению противоречий между ней и логикой индивидуальной путем подчинения себя этой последней; отсюда со временем, может быть, разовьется относительный атеизм будущих цивилизаций.

39 А именно Альбером Ревилем и Тайлором.

40 Подобно тому, как место есть не что иное, как воспоминание об исчезнувшем теле, а момент — воспоминание о прежнем исчезнувшем явлении.

41 Или же потому, что этот предмет отличался исключительным характером, как например, солнце, луна, звезды.

42 Не возражат ли мне, что мы знаем в наше время много диких племен, у которых почти совсем нет религиозных идей, несмотря на богатство и совершенство

их наречий? Но если верно, что язык представляет собою древний нанос, образованный религией, то такой факт не должен нас удивлять. В Малой Азии, например, существует много речек, очень маловодных, почти всегда пересыхающих, которые, однако, протекают по обширным и плодородным равнинам, и никто не сказал бы никогда, если бы для того не было неопровержимых доказательств, что эти равнины представляют собою просто скопления ила этих рек. Впрочем, внутренняя глубокая связь между мифологическим и филологическим исходными пунктами чувствуется всеми мифологами и всеми филологами. Эта связь вне сомнения. Но филологи пошли дальше и иногда желали видеть в мифах только болезнь, связанную с ростом языка; неудовлетворительность их точки зрения в этом отношении бросается в глаза. Но если признать эту неудовлетворительность, то придется волей-неволей производить слова из мифов, а не мифы из слов.

43 Относительно этого пункта я предлагаю обратиться к известным исследованиям Тэна в его книге «Об уме и познании».

44 Ко всякому языку можно в некоторой мере приложить глубокое замечание Курно, относящееся к языку алгебры: «В алгебре, — говорит он, — дело обстоит совершенно иначе, нежели в химических обозначениях, в которых нельзя найти ничего другого, кроме того, что мы сами туда вложили; совершенно напротив, нет ничего труднее для алгебраиста, нежели понять и затем объяснить другим те логические заключения, к которым, как бы против его воли, приводит его алгебранческий язык, заставляя переходить от изумления к изумлению; это язык, которому он не придает по желанию любую форму, но который организуется и развивается в силу собственных свойств, представляя собой пока еще скорее поле для открытий, нежели орудие исследования».

С языком алгебры, стало быть, происходит то же, что и с идеей пространства. Последняя тоже является полем открытий, в котором мы переходим от удивления к удивлению, и геометрия в этом отношении поразительно напоминает алгебру. Математик одинаково безразлично работает над геометрическими фигурами и над алгебранческими знаками.

Мне кажется, что отношение, установленное мною между пространством и языком, находит в этих соображениях серьезную поддержку. Если математик работает над геометрическими фигурами и алгебранческими знаками, то поэт или литератор живет в мире форм и фраз и как эти формы, так и фразы являются в его глазах открытиями.

Когда была открыта сафическая строфа, греческий язык несколько от этого не казался возросшим; казалось, что эта вновь открытая красота уже раньше являлась частью его неисчерпаемых богатств; точно так же, когда была изваяна Венера Медицейская, казалось, что пространство еще раньше заключало в себе, в виде возможности, эту прекрасную форму.

45 Sayce «Principes de philologie Comparée».

46 В сущности, это теория местных знаков Вундта и других психологов.

47 Тем не менее право, эта точно выраженная форма обычая, стремится к тому, чтобы стать объектом некоторого специального реализма. Человек средних веков, например, несомненно думал, что его права, его привилегии представляли собою нечто реально существующее вне его.

48 Среди проявлений власти существует некоторый класс, относительно которого нельзя отрицать, что он был источником обычаев, а именно таковы судебные решения. Семьер-Мэн производит обычай и закон из приговоров, внушенных свыше, более ранних по времени, нежели какое бы то ни было законодательство. В самом деле, всякий начальник в начале является судьей; но, кроме того, всякий судья, всякий старец или влиятельный человек, речи которого встречаются с уважением, становится начальником и принимает участие в политических совещаниях; право образуется или преобразовывается не только вследствие накопления судебных решений, но также, и притом в особенности, в силу последовательного ряда правительственных решений.

49 Всем известно до какой степени непонятна метафизика греков без некоторого знания греческого языка и насколько необходимо знать дух немецкого языка для понимания метафизики немецкой.

50 Редко случается, чтобы во главе какого бы то ни было великого проявления творчества не стояла чья-либо необъятная гордость, доходящая иногда даже до смешного. Гордость предшествует славе, являющейся в некотором роде только ее подражательным лучиспусканием. Если бы не безмерная гордость отца Фридриха Великого, разве был бы его сын так честолюбив и славен, и разве была бы Германия тем, что она представляет собою теперь? Все люди гениальной инициативы — Руссо, Наполеон, Гюго — отличались неизмеримой гордостью. Гордость королей или консулов во все времена являлась условием величия народов.

51 Полан в своей остроумной и интересной статье «Сознание у общества» совершенно справедливо считает основным правилом, что то социальное явление, которому соответствует психологическое явление сознания, должно быть обусловлено, подобно этому последнему, какой-либо помехой машинальному и бессознательному течению жизни по привычке. Но он ошибается, по моему мнению, когда предполагает, что эта помеха заключается в выполнении тех торжественных, периодических и заранее предвидимых, хотя и редких актов, которые сопровождаются обрядами. Разве обряд сам по себе не является только социальной привычкой, да еще одной из самых усыпительных? Нововведение, наоборот, рождается без всякой свиты обрядовых форм; конечно, всякий действительно из ряда вон выходящий почин, золотой гвоздик, к которому прикрепляется целая цепь событий, каким, например, представляется

объявление войны, военное предприятие, открытие нового континента, появление книги, производящей сенсацию, и т. д. — все это может случайно быть связанным с какою-нибудь торжественностью: например, согласно обычаю, служить благодарственный молебен после какого-нибудь блестящего подвига; но общее внимание возбуждается не этими торжественностями, не этой верностью старинным обычаям. Оно возбуждается теми отголосками, какие вызывает эта новость в народе; известность, знаменитость, слава — эти слова выражают различные степени того коллективного внимания, какое проявляется в беспорядочных группах, в оживленных разговорах; в массах, толпящихся вокруг продавцов газет, в неподготовленных, внезапных овадиях, но никак не в обрядах.

52 По этому предмету см. примечание к настоящей главе, служащее ей дополнением.

53 В этой главе, как до некоторой степени и во всей книге, я сравнивал социальное явление подражания с психологическим явлением воспоминания. Но для того, чтобы хорошо выяснилась правильность этого сравнения, необходимо точно определить и развить его в немногих словах. Близким эквивалентом подражания является, по моему мнению, не память собственно, а то, что Рибо называет воспроизведением и узнаванием воспоминаний. Под этой сознательной и прерывисто работающей памятью, являющейся в действительности, как мы сейчас увидим, скорее комбинированием, нежели воспроизведением образов, имеется род памяти бессознательной и непрерывно действующей, без которой невозможно объяснить себе первую. Она состоит не из неподвижных и инертных отпечатков, оставленных на мягкой мозговой массе, а из некоторого особого рода колебания, из пустой внутри формы, которая не исчезает только при условии ее постоянного повторения, приблизительно подобно тому, как видимая неподвижность солнечного луча скрывает под собою быстроту и мгновенность составляющих его воли, мириадами создаваемых, разрушаемых, вновь создаваемых и вновь разрушаемых в одно мгновение ока. Серая корка мозга, как показал Тэн, представляет собой по существу орган, повторяющий и умножающий нервные потрясения, которые передаются ему какой-нибудь точкой его внешней поверхности и из нее расходятся лучами во все стороны.

Какое-нибудь впечатление сообщается одному из элементов этой волнующейся среды — тотчас она отражается столькими же многочисленными и точными эхо, сколько имеется прочих элементов. Я уподобляю это отражение, это поверхностное распространение внесенных извне новостей, подражанию-моде. Оно сопровождается сознанием по той же причине, по какой подражание-мода сопровождается знаменитостью или по меньшей мере известностью и некоторого рода славой: социальное нововведение, заполнившее собой социальное поле, после быстрой победы над прогнанными соперниками встречало сопротивление своему счастливому стремлению стать всеобщим; точно так же и сознательная идея или образ должны

были бороться, чтобы достигнуть распространения по своему мозгу, ясное и простое выражение чего и представляет собой сознание. Это еще не все — его успех не полон, если, распространившись от клеточки к клеточке, этот образ не продолжает повторяться внутри каждой из них по мере того, как она обновляется при помощи питания (питание, как очень основательно высказал Рибо, является первичной основой органической памяти; точно так же наследственность, происхождение является первичной основой подражания). Это сохранение воспоминаний, которое под именем органической памяти играет такую большую роль в научной теории Рибо, не аналогично ли подражанию-обычаю? Все, что мы представляем себе, все, что мы думаем, стремится увековечиться в виде мозговых привычек подобно тому, как все, что пользуется известностью в наших обществах, — книги или драматические произведения, мануфактурные или иные продукты — стремится укорениться в виде национального обычая. Сознательное укрепляется при помощи бессознательного, шумная знаменитость — при помощи религиозного уважения.

С чем же сравним мы ту новую форму воспоминания, какая получается, когда образ, получившийся таким путем в сознании при помощи быстрой передачи от клеточки к клеточке и сохраненный путем повторения в каждой из них, воспроизводится в смысле, придаваемом этому слову Рибо, т.е. снова появляется в сознательном состоянии, как в первое мгновение своего существования? Я видел месяц тому назад миноносную лодку нового образца и с тех пор ни разу не думал о ней, но вдруг этот образ возникает у меня так же живо, как и в первый день. Мы знаем, невозможно допустить, чтобы этот образ, раз он изгладился, потом самопроизвольно обрисовался снова; нет ничего непонятнее такого чуда воскресения. Мы должны допустить, что в течение месяца я не переставал носить в себе все более и более ослабевший, но не исчезавший совершенно след нервного колебания, вызванного видом этого ужасного механизма. Если же образ, о котором идет речь, сегодня снова возникает перед моим сознанием, то это, без сомнения, произошло потому, что какое-нибудь обстоятельство просто усилило то колебание, о котором я говорил, подобно тому, как гармонический звук остается неслышимым до тех пор, пока какой-нибудь прибор, усилив его, не выделит его из среды остальных. Это обстоятельство, за исключением случаев патологической аномалии, всегда заключается в появлении нового впечатления или новой идеи, которая, соединяясь с вызванным воспоминанием, придает ему особую напряженность. Как видим, эта ассоциация является действительным соединением, так как старое воспоминание сливается с вновь полученным образом, и с этого времени такая ассоциация, сделавшаяся сложным воспоминанием, составленным из воспоминаний относительно простых, приобретает сама наклонность внутренне повторяться. Если это так и если следует верить всему тому, что говорят нам относительно этого ассоциационисты, то я вправе сказать, что так называемое воспроизведение образов, в действительности являющееся их скоплением, представляет собою психологический

эквивалент изобретения. Изобретение, как мы знаем, ведет за собою новый род подражания, подобно тому, как новая идея или восприятие ведет за собою новый род воспоминания; но, тем не менее, первое всегда представляет собою столкновение и complexus различных предшествовавших подражаний, особым образом оживившихся под влиянием этой счастливой встречи. Действительно, мы увидим дальше, в главе о политической экономии, что результатом промышленного изобретения, например, является открытие новых рынков для производства всех видов труда, остроумной комбинацией которых является это изобретение, точно так же, как результат ассоциации образов заключается в укреплении каждого из этих образов. При этом мы увидим, что промышленное изобретение эквивалентно промышленной ассоциации, и мы лучше поймем точность термина «ассоциация», выбранного для выражения аналогичного, по моим взглядам, психологического явления. Не будем забывать, что всякое из относительно элементарных воспоминаний, синтезом которых является новая идея, вначале само представляло собою синтез еще более простых воспоминаний, и мы должны будем отдать справедливость Рибо, когда он действительно обращает внимание на то, что по своему существенному характеру воспоминание есть динамическая ассоциация нервных элементов.

Болезни памяти, так хорошо изученные этим психологом, сильно напоминают болезни подражания, значение которых, по-видимому, никем не замечается, хотя явления, которые я так называю, основательно интересуют экономиста, политика и историка, но только под другими названиями. Существуют амнезия и гипермнезия — болезненное угнетение и болезненное возбуждение памяти. Временная полная амнезия, какую она бывает, например, при эпилептическом головокружении, соответствует военным катастрофам или эпидемиям (чума во Флоренции, голод, землетрясения), которые на время прекращают в трудящейся среде всякую промышленную деятельность, уничтожают всякого рода подражание. Такой же характер носят внезапные революционные перерывы в народных традициях. Если бы такая амнезия продлилась долгое время, то наступила бы смерть. Продолжительной может быть только частная амнезия. Ее можно сравнить с такими бичами, как болезнь шелковичных червей или филлоксеры, которые обрушиваются на одну отрасль промышленности и уничтожают ее на время или навсегда. Если нервное вещество не разрушено или, по крайней мере, если те видоизменения нервов, из которых составляется органическое клише образа, не уничтожены, то память может быть приостановленной, не будучи уничтоженной. Этот случай напоминает собой военный погром, следствием которого является приостановка промышленной деятельности, причем, однако, остаются в живых и не теряют своих способностей ни искусные работники, ею занимающиеся, ни инженеры, способные управлять и вновь организовать ее. Не следует смешивать амнезию, забывчивость болезненную, с забывчивостью нормальной. Последний вид забывчивости является основным условием памяти: мы представляем себе что

бы то ни было, только забывая на время все образы, соперничающие и враждебные с тем, который мы фиксируем, но в этом случае их забывают только потому, что с выгодой замещают их другими, ибо как раз те состояния сознания, которые взаимно исключают или которые наиболее резко исключают друг друга, обладают одним и тем же качественным характером (т.е. берут начало в одном и том же чувстве — например, зрении, слухе и т. д.), причем более сильное вытесняет более слабое. Герберт Спенсер говорит по этому поводу в своей «Психологии»: «Вкус того, что мы едим, очень мало мешает нам оживить в нашей мысли человека, которого мы видели вчера... Но звуки, которые мы слышим в настоящий момент, стремятся совершенно исключить из сознания другие звуки, о которых мы хотим думать; зрительные ощущения сильно мешают зрительным идеям, особенно идеям, сходным с ними по своей силе или цвету». Точно так же первым условием образования всякой новой привычки является выход чего-нибудь из употребления: бронзовые топоры могли войти во всеобщее употребление, только уничтожив искусство приготовления топоров каменных; но нужно ли говорить, что эти последние были замещены с такою же выгодой, с какой аркебуз был замещен мушкетом и дилижанс локомотивом? В «Законах подражания» я пытался по поводу того, что я называл логическим поединком, формулировать законы этого прекращения подражания подобно тому, как Милль пытался в одном месте исследовать законы забывчивости.

Общая гипермнезия аналогична тем лихорадочным случаям общего перепроизводства, какие вызываются время от времени преувеличенными размерами кредита и влекут за собою убийственные крахи. Частичная гипермнезия походит на частные увлечения, которые ограничиваются отдельными отраслями промышленности, как например, проведение новых железных дорог. Точно так же не должно смешивать такие болезненные чрезмерные возбуждения, порождаемые химерическими надеждами, с нормальными возбуждениями подражания или памяти. Нет ничего болезненного в том, что какое-нибудь воспоминание получает даже исключительно высокую степень интенсивности под влиянием ассоциировавшегося с ним восприятия или что деятельность какой-нибудь отрасли промышленности становится даже лихорадочно напряженной под влиянием открытия, раскрывающего перед ней новое применение.

Согласно Рибо, уничтожение воспоминаний совершается в порядке, прямо противоположном ходу их образования. Воспоминания, относящиеся к недавнему, как менее устойчивые разрушаются прежде воспоминаний более старых. В той мере, в какой этот закон справедлив, он соответствует закону, управляющему падением искусства и промышленности в среде цивилизованного общества, под влиянием национальных бедствий начинающего снова впадать в варварство. Меньше других поддаются уничтожению те ремесла, которые глубже всех укоренились в привычках народа, т. е. вообще говоря, но не всегда, наиболее старые. Наиболее же

возвышенные профессии, соответствующие новейшим потребностям роскоши, уничтожаются прежде всех.

Достаточно ли всего сказанного, чтобы убедить читателя, что я не играю только словами, уподобляя память подражанию?

<sup>54</sup> Метафора органического общества, столь подробно изложенная во втором томе «Социологии» Герберта Спенсера, — которая, впрочем, была принята только условно и, кажется, потом была отвергнута, — была снова взята, выяснена и как будто подтверждена Рене Вормсом в его докторской диссертации под заглавием «Организм и общество». Доводя до крайних пределов это предложение, до его sumptus ясности и точности, он, как и Новиков в своей столь интересной книге «Социальное сознание и воля», способствует тому, что избавляет от него науку и не замалчивает ни одного из возражений, каким оно подвергалось. Этот вопрос довольно подробно обсуждался и на последнем Конгрессе социологов, который собирався в Париже в 1897 г.

<sup>55</sup> В «Воспоминаниях» Токвиля я нахожу очень типичный пример того, как мало мы сами верим в наши самые правильные идеи, если только нам одним приходится верить им. 28 января 1848 г. Токвиль произнес в палате депутатов речь, которую можно считать образцом точных и категорических политических предвидений. В ней нет ни одного лишнего слова; значение грядущих событий указано без малейшего преувеличения, это — речь спокойного провидца. И вот автор с удивительной искренностью рассказывает нам, что его друзья, члены оппозиции, хотя и аплодировали ему из верности партийному духу, но не верили ни одному слову из его мрачных предсказаний, и признается, что даже он сам был только слабо уверен в справедливости того, что говорил, хотя очень ясно видел доводы и их последовательную связь, поддерживавшие излагаемое им мнение.

<sup>56</sup> Отношение между двумя видами одного и того же рода, являющееся основой силлогизма, есть отношение совпадения. Стало быть все, что я говорил в предыдущей главе об индивидуальных или социальных силлогизмах, относится и к настоящим соображениям.

<sup>57</sup> Надо прибавить, что потребность в логической координации испытывалась различными народами, по-видимому, в очень одинаковой степени. Это становится заметным, если просмотреть их различные пантеоны, иногда приведенные в строго иерархический порядок, иногда бессвязные и беспорядочные, их законодательства, столь редко кодифицированные и представляющие собой весь последовательный ряд ступеней от полнейшего беспорядка базара до совершенного порядка благоустроенной библиотеки, наконец, их грамматики, всегда более или менее изобилующие исключениями и неправильностями. Но все-таки нельзя отрицать той непрерывной работы, которая производится даже самыми нелогичными народами с целью примирить



эти диссонансы и внести систему в этот беспорядок. В качестве примера такого разительного противоречия я мог бы указать на то, что происходило в Соединенных Штатах при их основании, когда граждане новой республики узаконили рабство негров и торговлю рабами в 1787 г., в то самое время, когда сами добились своей свободы, провозгласив права человека. Но и здесь кажущаяся нелогичность прекрасно объясняется утилитарной логикой. В основе самых резких кажущихся несообразностей, какие только представляет нам история, мы найдем в действительности логику — стоит только хорошенько поискать.

В XI веке Петр Дамиенский доказал при помощи ученых вычислений, что бичевание плеткой является самым выгодным для грешника способом искупления: он вычислил, что 15000 ударов, какие можно нанести себе в течение 6 дней, эквивалентны целой сотне лет поста. Это открытие чрезвычайно логично привело к эпидемии бичующихся, которая, на первый взгляд, кажется каким-то коллективным безумием. Раз бичевание было признано самым удобным приемом искупления, мода тотчас ухватилась за него и распространила его по всей Европе. С этим развлечением произошло то же, что случается и теперь с каким-нибудь новым напитком или новым лекарством, часто даже опасным или совершенно химерическим, на которые набрасываются миллионы доверчивых людей.

58 В хорошо дисциплинированных организациях, в полку солдат или в монастыре, считают, однако, высшим благом прямо противоположный результат; поэтому-то единство верования и единодушие достигается и поддерживается там только при помощи той необходимости противоречить себе и опровергать на словах свои внутренние чувства, в какую часто ставится там индивидуум.

59 Позже борьба за инвеституру прикрывает собою борьбу между Германией, стремящейся подчинить себе Италию, и Италией, старающейся отстоять свою независимость. Таким образом, борьба в принципе телеологическая сменилась ложно возродившейся в ней борьбой, по существу своему логической. Во Флоренции слово «гвельф» долгое время значило демократ; к середине же XIV столетия оно стало значить аристократ. Волнения чомпи в 1378 г., говорит Перран, «связаны с борьбой между Ricci и Albizzi, продолжавшей собой, извратив смысл слов, старинную борьбу гвельфов с гибеллинами». Когда гибеллины были побеждены, гвельфы распались на белых и черных, затем черные, восторжествовав, снова разделились на части... Дух несогласия — это бессмертный Протей.

60 Например, переход от письма графического к письму алфавитному считается одним из наилучше установленных законов развития, между тем китайское письмо не превратилось в алфавитное; то же самое и во всех странах, в которых говорят на наречии, состоящем из односложных слов, где один и тот же звук принимает весьма различные значения, смотря по тому, каким тоном он произносится, какое

место он занимает в фразе. Итак, развитие китайского письма должно было происходить по другому направлению и, стало быть, от идеографизма идут несколько направлений эволюции, а не одно только.

61 Это именно и сделал Курно в своем глубокомысленном оправдании идеи случайности.

62 Поражения и бедствия, которыми сплошь усеяна история, являются пустяками сравнительно со столькими разрушениями, столькими другими катастрофами, которых не видят, но которые от этого были не менее тягостны. Сколько разбито планов, близких к осуществлению! Сколько подкошено надежд! Если бы могли видеть или только представить себе то, что составляет изнанку истории, представить себе движение невыраженного и неосуществленного между всеми людьми одного какого-нибудь поколения, бесплодное течение этой невидимой толпы идей, верований, намерений, стремлений, шепотом сообщавшихся, не имея возможности проявиться действием и даже не всегда в словах, то мы были бы поражены всем, что погибает, не проявляясь, даже у наиболее привилегированных. Редко случается, чтобы в борьбе даже победителю не приходилось неизбежно отказаться в некоторой степени от своих обширнейших проектов, не было бы какого-нибудь большого недочета, который не изуродовал бы его триумфа. Если крестовые походы являются великой неудавшейся попыткой сделать христианской святую землю, то и арабы не лучше успели осуществить свою мечту подчинить исламу Европу и мир; как стремлениям мусульман были подрезаны крылья Карлом Мартелом, так и грандиозная мечта Бонапарта завоевать Азию и зайти Европе в тыл рушилась под стенами Акры, и одной этой неудачи было достаточно для того, чтобы омрачить в его глазах блеск всего этого похода в Египет. Магомет II водрузил полумесяц над Константинополем — какая удача! Да, но он мечтал пойти на Рим, даже на Париж, пользуясь бессмысленными распрями между христианскими государями, и его грандиозное намерение умерло вместе с ним. Приходится искренно пожалеть всех завоевателей. Бедный Цезарь, не могший победить парфяни! Бедный Александр, не успевший основать ничего прочного. Бедный Карл Великий, не сумевший ни выгнать мусульман из Испании, ни вытеснить норманнов, ни восстановить во всей ее целостности Римскую империю! Бедный Наполеон, уже готовый к своей экспедиции в Англию и не могший сделать этого после Трафальгара! Я спрашиваю себя, не были ли в сущности самыми несчастными из людей эти великие победители, бывшие еще большими мечтателями. Их изнанка, объясняющая собою всю их наружную сторону, заключается в этой прекрасной грезе о всемирной монархии, которую они в течение веков передавали один другому, тщетно, но упорно и постоянно, подобно отравленному и опьяняющему кубку, и которую, быть может, осуществит далекое будущее.

<sup>63</sup> Не существует ни одного социального учреждения, которое не было бы связано с каким-нибудь органом нашего тела и не являлось бы его социальным последствием. Членораздельная речь с ее древними или новейшими продолжениями, с письмом, книгопечатанием, телеграфом, телефоном представляет собой только дальнейшее развитие крика и жеста гортани и различных частей тела, поскольку они являются средством выражения и сообщения. Колесница, экипаж, локомотив, сеть дорог или рельсовых путей представляют собою только продолжение ног. Живопись и музыка — развитие зрения и слуха. Религия и наука являются проявлением деятельности и дальнейшим расширением передней части мозга, политика — задней. Здесь мы всюду видим, что последовательные ряды социальных изобретений (лингвистических, промышленных, научных, художественных и пр.) являются просто только последствием тех жизненных изменений, которые дали начало органам. Потребности продолжают собой функции, мысли продолжают собою ощущения, ритм стихов является продолжением ритма дыхания. В своей «Умственной эволюции у животных» Romanes доказывает, что систематическое усложнение ассоциации идей идет параллельно с систематическим усложнением ассоциации движений, т. е. развитие нервной утонченности идет параллельно такому же развитию мускулов. Но, по мнению автора, в тот момент, когда сюда присоединяется развитие социальное, этот параллелизм прекращается или поддерживается во второй из сравниваемых им систем только искусственно; в самом деле, к мускулу присоединяется тогда машина и избавляет его от некоторых остроумных приспособлений движения, реализуя их гораздо более практическим и менее утомительным образом. Какие мышцы, какие руки были бы способны к тем проявлениям силы или ловкости, какие выполняются ткацким станком, телеграфом, локомотивом? Но симметрия, которую Romanes считает таким образом нарушению, снова без труда восстанавливается, если заметим, что подобным же образом и интеллектуальные способности под влиянием цивилизации получают, как и способности двигательные, внешние прибавления, искусственные продолжения, какими являются книги и другие средства мнемотехники, избавляющие мозг от необходимости организовать в самом себе самые сложные группы идей.

<sup>64</sup> Действительно, до тех пор, пока сперматозоиды и яйцеклетка будут встречаться друг с другом, не догадываясь об этом предварительно и не извещая друг друга еще на некотором расстоянии о том, что они соединятся, пока это соединение будет происходить без предварительного разумного выбора со стороны каждого из них и пока из этого слепого случайного совокутления будут рождаться индивидуальные особенности, причем некоторые из них окажутся гениальными и явятся в истории человеческого прогресса источниками капитальных открытий или изобретений, до тех пор можно будет считать, что роль случайного в социологии значительна, находится вне сравнения.

<sup>65</sup> Превосходные замечания по этому поводу можно найти в книге Полана «О Характере». Он говорит: «Может быть, преувеличивают недостаток уравновешенности у людей выдающихся и, обратно, преувеличивают уравновешенность посредственностей и глупцов».

<sup>66</sup> Только изобретение музыкальных нот и нашей системы письменного счисления сделало возможным развитие музыки и математики в новейшие эпохи и позволило им превзойти неизмеримо своих учителей греков, несмотря на их выдающиеся способности к музыке и отвлеченным наукам. Весьма вероятно, что если бы Греция представляла собой великую нацию, мирную, объединенную и могущественную, где математики и музыканты могли бы вступать в более обширные и многочисленные взаимные сношения, то эти два изобретения, столь простые и столь важные в одно и то же время, не преминули бы представиться греческому уму.

<sup>67</sup> См. «Законы подражания», гл. V.

<sup>68</sup> *Мануфактура* — ручное производство естественно предшествовала *машинофактуре* — машинному производству.

<sup>69</sup> «Машина, — говорит Руло, — представляет собой совокупность прочных тел, расположенных таким образом, чтобы заставить действовать механические или природные силы, производя при этом определенные движения». Изучение этих специальных расположений и составляет науку о машинах. Существенно, чтобы «в машине движущиеся тела не могли производить движений, отличных от тех, какие имеются в виду». Отсюда вытекает необходимость вставлять одно тело в другое или по крайней мере укреплять одно тело при помощи другого; отсюда берут начало те пары кинематических элементов, какие анализ находит в основе всякого механизма: винт и его гайка, блок и его веревка, клин и его щель и т. д. Соединим различным образом эти пары и может случиться, что результат окажется весьма различным от условий, вызвавших его. Получится новая пара, элементы которой будут сами парами, и т. д. Отсюда можно видеть обширность поля, открытого воображению... Руло признает, впрочем, что все кинематические теории, принятые до него, никогда не приводили к построению хотя бы одного нового механизма.

<sup>70</sup> Все, что может, вообще говоря, сделать логик, — это подвергнуть теоретическому или практическому исследованию и проверке гениальную идею, когда она уже создана. Заметим в самом деле, что изобретение, как и открытие, в начале представляет собой догадку. Новая машина до ее промышленного применения походит на научную гипотезу, еще не проверенную на фактах. Но средство испытания одно и то же в обоих случаях: и здесь и там должно обратиться к наблюдению и опыту. Когда локомотив был изобретен, первый машинист всходил на него и, заставляя

его ходить по рельсам, доказывает, что он соответствует своему назначению: доказательство путем опыта. С другой стороны, народ видит и констатирует это движение: доказательство наблюдением. Именно таким же образом были проверены и законы Гей-Люссака или Бертолле. Поэтому я не могу допустить, что логика действия и логика мысли «подчинены различным правилам», как это мимоходом указывает Эспинас в своей глубоко философской «Истории экономических доктрин». Та и другая в сущности сводятся не к законам Стюарта Милля, а именно к старинной теории силлогизма, которая скрыто лежит в основе этих преувеличенно расхваленных канонов, поскольку они действительно основательны, как это глубоко справедливо, по моему мнению, доказал Ренувье. Не забудем только, что силлогизм познания, который только один и изучался до сих пор, должен быть пополнен силлогизмом действия, о котором мы уже так часто говорили.

71 Если бы знали все возможные или действительно существующие изобретения, то очень вероятно, что они казались бы систематически расположенными в несколько правильных рядов, подобно тому, как располагаются химические тела по некоторым пользующимся доверием теориям. Только пробелы несущественного, напоминающие собою море, изрезывающее берега континента, придают такой живописный вид существующим изобретениям.

72 Сравните медленное усовершенствование колес древних колесниц, которые сначала были сплошными и целиком сделанными из дерева, затем представляли колесо со спицами, скрепленное железными гвоздями, наконец стали снабжаться железным ободом, с той степенью совершенства, с какой сразу явился телефон, или с той быстротой, с какой происходило усовершенствование велосипеда.

73 Я уже развил эту точку зрения и привел различные примеры необратимости, которых я не воспроизвожу здесь, в моих «Законах подражания», гл. VIII. Прошу читателя обратиться туда. Кроме того, я затронул этот предмет мимоходом в моей «Philosophie pénale» и в «Transformations du Droit».

74 Я рассматриваю здесь этих великих людей только как метафизиков. С другой точки зрения они являются учеными — первый как геометр, а второй как натуралист и даже социолог.

75 Так как, говорят нам, дикари не могут «следить четверть часа за рассуждением». Охотно верю: не могут следить за рассуждениями, которых не понимают и не могут понять!

76 Этот доисторический человек, которого многие антропологи рисуют нам ярким утилитаристом или свирепым воином, всегда сражающимся, всегда поглощенным своими заботами о пище, должен был представлять собою прежде всего настоящего павлина по своей непомерной суетности, вечно раздувающего свой хвост, вечно

занятого самоукрашением при помощи всяких перьев и раковин, большого лакомку, очень шумливого и болтливого, чрезвычайно щекотливого относительно своей чести и при всем том вообще миролюбивого.

77 Один итальянский писатель на основании исследования одного черепа из Неандертала предполагает, что ввиду тяжести его челюсти этот человек был лишен способности речи... Это еще не самый удивительный образец антропологических догадок.

78 Ибо само собою разумеется, что гений изобретательности обращался к языку не только при самом начале образования обществ. Вначале он должен был только относиться к нему с большим рвением ввиду отсутствия других предметов, способных отвлекать его. Дух изобретательности находится в непрерывном движении и часто возвращается к одним и тем же точкам, что, однако, не мешает ему отчасти обладать необратимым направленным движением, подобным направлению часовых стрелок.

79 Поэтому-то в политике все, что вначале было актом власти, становится административной привычкой, и прогресс состоит в том, чтобы все больше и больше вести дела правления и все меньше и меньше управлять. Все, что теперь во Франции простое делопроизводство: собиранье налогов, почта, уголовное и гражданское правосудие и т. д., вначале было правительственной деятельностью в собственном смысле слова. Мы видим, что с течением времени верховная власть сама отнимает у себя некоторые из своих прямых функций и предоставляет нижшим властям, действующим машинально и регулярно, подобно нашим нервным ганглиозным узлам, заботиться об удовлетворении ее воли, превратившейся, повторяю, в привычку.

80 Это формирование административного права в нашем веке и на наших глазах является прекрасным примером того, как вообще формировалось в прошлом всякое право, всякий свод правил. Сочинение Горну, профессора административного права в Тулузе, вполне освещает этот вопрос.

81 Задача небесной механики, по-видимому, менее подвинулась вперед, нежели задача социальной логики. Каждая солнечная система, — если о них судить по нашей, — замечательным образом уравновешена и объединена, но их совокупность такого состояния еще не достигла или кажется, что не достигла. Если бы когда-нибудь чудовищно громадные расстояния между звездами начали уменьшаться и неизмеримые пустыни пространства стали бы заполняться, какие гигантские перевороты увидело бы тогда небо раньше, нежели в этом хаосе зародился бы новый порядок! Пока же небеса представляют зрелище полнейшей анархии.

82 См. первую главу.

83 Индивидуальное умозаключение может быть ошибочным, хотя бы оно и было логичным, в силу того, что не появится в уме полезная идея. Умозаключение

социальное — событие, считающееся таковым, — может быть на самом деле историческим заблуждением, хотя оно тоже логично, также в силу того, что не сделано вовремя открытия. Порох, открытый на восемь столетий раньше, спас бы римскую цивилизацию от погромов варваров.

84 То есть чувства удовлетворенного желания. Взаимное противодействие между одновременно преследуемыми целями не уменьшает интенсивности желания, с каким преследуется каждая из них, что было бы благом, если бы это противодействие не уменьшало возможности их удовлетворения.

85 См. по этому поводу «Etudes sur le Droit musulman» Саваса-Паши.

86 Рибо и Полаи во Франции.

87 «Les Transformations du droit».

88 Поэтому-то я не мог не посвятить несколько страниц жизни языка в «Законах подражания» и в «Transformations du droit». Я не стану здесь повторять содержащиеся там рассуждения и отсылаю к ним читателя.

89 Следовало бы изучить изменяющуюся по величине и изменяющуюся от одного языка к другому способность различных согласных, гласных и слогов вызывать подражание. Не потому ли слоги с ударением наиболее устойчивы и почти бесконечно долговечны, что им легче подражать? Бывает ли более или менее самих слов заразительна для подражания та особенная манера произношения, которая называется акцентом?

90 См. его «Activité mentale», где эта истина, мне кажется, доказана вполне. Я упрекаю его только в том, что он смешивает две различные, хотя и связанные между собой вещи: системы чисто логические и системы телеологические. Правду сказать, он имеет в виду только эти последние и целесообразность представляет собой единственную допускаемую им логику.

91 Таково мнение самого Лефевра: «Что избавило его (англо-саксонский язык) от его грамматики и сложных флексий? Только прилив французского духа и французской крови сделал английский язык тем, что он есть, и почти вполне освободил его от германских вычурностей».

92 Лефевр не может не признать, что в числе других неудобств романские языки, «отрешившись от склонения, утратили понятие о корне, теме и окончании слов».

93 Вместе с другими известными лингвистами Лефевр несколько раз утверждал, что язык — продукт изобретения. «Индоевропейское спряжение, — говорит он в одном месте, — следует рассматривать во всей его совокупности как удивительную постройку, как не имеющий себе равного памятник того, что называют бессоз-

нательным и коллективным гением, так как не имеют возможности определить роль индивидуума, который первый пустил в обращение ту или другую форму, принятую его семьей и его племенем, а затем усвоенную соседними племенами и измененную при передаче от одного к другому. Начиная с животного крика, соответствующего данной породе, не существует такого изменения в звуке и в соответствующем ему смысле, которое не представляло бы собою вначале изданного каким-нибудь индивидом звука, принятого, скопированного и понятого сначала двумя или тремя другими, а потом сотнями и тысячами других людей. Это, думаю, факт, не подлежащий сомнению, хотя он никогда не мог и не может быть констатирован («*Les Races et les Langues*»). Такого же мнения и Бреаль: «Между актом народной деятельности, внезапно создающим название для новой идеи, и актом деятельности ученого, изобретающего обозначение для вновь открытого научного явления, существует разница только по отношению к скорости получения результата и напряженности усилия, но нет разницы в характере проявления деятельности. Вся история языка представляет собою последовательный ряд более или менее обдуманных усилий». Изобретение и подражание нигде не являются столь близкими, столь тесно сплетающимися, столь нераздельными, как в языке. Нигде гений изобретательности не проявляется свободнее, нигде он не возбуждает удивления более оригинальными созданиями и нигде в то же время не подчиняется более покорно давлению предшествующих изобретений. Именно здесь изобретение меньше всего походит на таковое и, быть может, именно здесь оно наиболее реально, наиболее плодотворно, хотя и остается безымянным, что, однако, не мешает ему быть индивидуальным.

<sup>94</sup> Из 952 латинских и 517 греческих слов, которые офранцузил Рабле, пережили его не больше 20 (*patriotique, steruscule, indigène*). Почему же этого не случилось с остальными? Какое сказывается здесь, как и везде, расточительное изобилие изобретений, не вызвавших подражания, погибших зародышей!

<sup>95</sup> Никакой язык, даже самый богатый, не дает отдельных знаков для всех распознаваемых отношений, которые можно было бы обозначить. Например, предлоги составляют часть речи, предназначаемую главным образом, как это справедливо замечает Дельбеф (в брошюре «*Les prépositions en grec*»), для выражения пространственных отношений. Их употребление вне этой области бывает только метафорическое и с натяжками в отношении их смысла, часто при злоупотреблении этим. «Для того, чтобы дать сведения о месте предмета, необходимо, чтобы мы его сопоставили с местом, считающимся известным, как, например, с домом. Таким образом, предмет будет внутри или вне дома. Если он находится вне, то он может быть прямо напротив или по соседству. Отсюда три предлога *ἐν, πρὸς, παρὰ*, выражающие нахождение внутри, смежность и нахождение вие». Далее, «у дома есть правая и левая стороны, верх и низ и т. д. Следовательно, каждый из этих трех предлогов мог бы произвести шесть видоизменений: внутри направо, внутри налево,



внутри вверх, внутри вниз и т. д., напротив направо, напротив налево». Но на самом деле число вариаций оказывается недостаточным даже в греческом языке. Прежде всего, «недостает вариаций для обозначений направо и налево. Затем, хотя есть *ἐπί* и *ὑπέρ*, соответствующие *πρός* и *πέρα*, то есть только *ὄπισθεν* для нахождения внизу, *μετά* для нахождения позади, *πρό* и *ἄντι* для нахождения спереди, причем два последних различаются тем, что *πρό* значит перед, а *ἄντι* — напротив».

Самобытность языков заключается в том, что каждый из них произвел свой специальный выбор и свои собственные сокращения во всей совокупности выражимых отношений, сообразуясь при этом с характером того, что называют «духом языка», — выражение, очень хорошо обозначающее тот свойственный языку поток стремлений, который, подобно реке, образующейся и питающейся слиянием отдельных ручейков, образуется и поддерживается тысячами исторических обстоятельств, откуда берут начало источники примеров. Один очень ученый грамматик, живший до начала сравнительного изучения индоевропейских языков, Готфрид Герман, написал весьма замечательную грамматику, где он доказывал при помощи аргументов, вытекающих из природы человеческого ума, что «не может существовать склонения, полнее латинского». Но как раз в то время, когда он выпустил свою книгу, «в Европе появились первые санскритские грамматики и можно было убедиться, что в языке Индии восемь падежей, в противность всем доводам, вытекающим из философии Канта» (Michel Breal).

96 «Двойственное число, — говорят Бопп, — как и средний род, с течением времени теряется (во всем семействе индоевропейских языков) по мере того, как смягчается живость концепции». Примечание это служит, кроме того, поддержкой для нашей гипотезы о замечательной интенсивности внимания и лингвистического понимания первобытных людей.

97 Еще пример: следует ли говорить *paquis* или *pus*? С одной стороны — *connaître* — *conni*, *lire* — *lu*, *croître* — *crû*, а с другой — *venir* — *vesi* (пример плох, потому что все это неправильные глаголы).

98 Существует также, как мы сказали в другом месте, много юридических синонимов, какими являются двойственности, указанные Виолле, — судопроизводства, одно по обычному праву, а другое по римскому, — выполняющие вдвойне одно и то же назначение; подобным же образом есть синонимы мифологические, божественные двойни, а сколько двойней экономических — продуктов, исполняющих одинаковое назначение! И везде соперничество, этот логический поединок, работает над их устранением, над установлением монополии.

99 Например, в Англии, говорят Хэдлен, «уставы железных дорог были вначале почти целиком скопированы с уставов относительно каналов. Образцов было изобилие».

100 Эти строки заимствованы автором из его книги «Transformations du droit».

101 Поэтому можно заметить, что знаменитый закон трех состояний (теологического, метафизического и позитивного), положенный Огюстом Коитом в основу последовательности исторической эволюции всякой группы наук или знаний, грешит, по меньшей мере, своею недостаточностью, не говоря о других его слабых сторонах, так как в исследованиях всякого порядка вначале, даже еще до теологического состояния, существовало состояние лингвистическое, от которого, впрочем, состояние метафизическое существенно не отличается.

102 Еще заимствование из «Transformations du droit».

103 См. его «Борьбу рас». Никто больше его не признавал важности случайного в филологии. «Совпадение звука с понятием — дело случая», говорит он, согласно Лацарусу Гейгеру. «Существуют целые группы (лингвистического) развития, которые, кажется, вызваны только случайностью». Мы видели, с какой поправкой следует принимать эти предположения. Ошибка автора заключается в том, что он не принимает в расчет подражания и его законов. Они объяснили бы ему много фактов, которые без них он извращает.

104 «Основа сравнительной филологии».

105 Впрочем, в американских языках есть одна общая черта — их полисинтетизм. Однако он отсутствует у некоторых из них, в которых он замещен изолирующим или агглютинирующим типом.

106 Крайняя распространенность русского языка, в противоположность крайней раздробленности американских языков, объясняется тем, что в России ничто не препятствовало бесконечному подражательному распространению, так как вся страна состоит из равнины, а политическое единство установилось в ней очень рано.

107 Хотите ли, чтобы я привел один из тысячи примеров этого? Я заимствую его из перигорского наречия. Когда-то все крыши в этой стране делались из плоских камней, которые назывались *lo teoulo* — слово женского рода. Когда распространилось обыкновение покрывать крыши черепицей, как называли эти новые материалы? Очень просто, сделав мужской род от старого названия, — *lou teoulé*. Это прием общий и очень удобный. В этом наречии имеется, таким образом, много слов, у каждого из которых два рода, относящиеся к двум разным, но сходным между собою предметам. Между прочим, я постоянно замечал, что из этих двух предметов более крупным, более объемистым является тот, которому присвоен женский род (примеры: *lou sooi* — монета в 5 сантимов и *lo sooiro* — монета в 10 сантимов; *lou sto* — дыра и *lo stoso* — пещера; *lou sac* — мешок и *lo saquo* — котомка; *lou gos* — скала вообще и *lo goquo* — большая обитаемая скала;

*lou téoulé* — черепица и *lo téoulo* — плоский камень гораздо больших размеров, и т. д.). Если бы эти особенности представились нам не в областных наречиях, историческое происхождение которых нам известно, а в языках дикарей, относительно которых нам позволено делать всякие гипотезы, то весьма вероятно, что теоретики якобы первобытного и всеобщего матриархата не преминули бы увидеть в этом постоянном обращении в женский род слова, выражающего более важный предмет, филологическое подтверждение их основного положения. Я же, к несчастью, могу в этом видеть только остроумное средство утилизировать оба рода и распространение при помощи аналогии выбора, сначала случайного, приписывать женскому роду наиболее важное значение. Притом же население французских деревень с тех пор, как существуют областные наречия, всегда смотрело на женщину как на одно из самых низких существ.

108 На островах Тихого океана все слова, в которых содержится слог, тождественный с одним из слогов, входящих в имя государя, уничтожаются и изменяются.

109 «Учащение путешествий, — говорит Рошер, — вызвало склонности к некоторым провинциальным костюмам, но это не мешает тому, что оно же бессознательно способствует их выходу из употребления».

То же замечание приложимо и к столь, впрочем, понятной склонности к некоторым провинциальным наречиям, обладающим иногда столь очаровательным изяществом, точно так же как и ко всем особенностям местных обычаев, костюмов, прав, нравов. Самое внимательное, какое им оказывают и какое их временно освещает, стремится разложить их, подобно тем помпейским трупам, которые распадаются пылью при прикосновении.

110 Как итальянские диалекты до римского завоевания, французские до установления королевской власти, германские до Лютера и т. д.

111 Да и то еще, может быть, возможно допустить вместе с Вейсманом существование действительно бессмертных животных и растений.

112 В Южной Америке, согласно Ревиллю, господствовал анимизм природный, а в Северной преобладал скорее анимизм предков.

Не следует смешивать тотем краснокожего, представляющий собою действительно божественный дух, хотя и воплощенный в животное, с фетишем негра, представляющим собой какой-нибудь дух под какой угодно формой.

113 Эти погребальные обряды были повсюду; «они предполагают одновременно, — говорит д'Альвиелла, — верование в воскресение и мысль, что будущая жизнь будет

повторением жизни настоящей», т. е. представления об этой жизни составлялись очень различно соответственно широте, климату и условиям жизни.

114 По этому предмету см. обстоятельные «Исследования религиозных обычаев Крайнего Востока» Ляйеля.

115 «Когда доктор Смит, — сообщает А. Ревиль, — посетил кафрского вождя Мунеле-Касса, то заметил, что вождь с особенной настойчивостью поглаживал пальцами его табакерку. Таким способом Мунеле-Касси рассчитывал усвоить себе могущественные достоинства, которыми он восхищался в белом докторе».

116 «Даже еще и теперь, — говорит Гoble д'Альвиелла (в цитированной выше книге), — работник в Индии обожает свои инструменты: рыбаки — свою сеть, писец — свой стилет...»

117 См. «Mythology» Андрию Ланга.

118 Они даже преувеличивают это сходство путем рассуждения по аналогии. Они думают, что обезьяна умеет говорить, как и человек, и не делает этого только из лени, потому что если бы она говорила, то ее заставили бы работать, как раба.

119 В Индии не обожают кошку потому, что там есть тигр, который производит совершенно иное впечатление (Ляйель). Кошку обоготворяют, как в Египте, без сомнения, только за неимением тигра или льва, когда все эти большие кошки оказываются истребленными в какой-нибудь стране.

120 Этому периоду принадлежат столь многочисленные мифы, относящиеся к борьбе между героем и чудовищем (Геркулес и Какус, Индра и Витра, Аполлон и Пифон, Зигфрид и Змей, Эдип и Сфинкс и пр.). Очень неосновательно пытались объяснить все эти мифы, исходя из убеждения, что в этих сверхъестественных сражениях доисторические народы олицетворяли не свою непрерывную борьбу с колоссальными животными, в среду которых они были заброшены, а борьбу солнца с облаками. Многие из этих мифов представляют собою варьированные повторения одной и той же темы, и это замечание приложимо также и к другим родам мифов, ибо существуют мифологические корни подобно корням филологическим. «По мере того, как восходим к началу арийских культов, — говорит Мишель Бреаль, — видим, что число первобытных богов сокращается; есть боги второстепенные, как и боги производные». Создают новых богов для того, чтобы заставить их повторить великие деяния старых. Это доказывает, что мифологическое изобретение, точно так же как и изобретение лингвистическое, тесно связано с подражанием. Заметим, что усиленная забота и обожание животных должны были по своему ослаблению привести к басне. Нет ничего естественнее очеловечения животных в шутку, после того как их

обожествляли всерьез. Нет даже ничего естественнее соединения этих двух стремлений, смех над тем, что вызывает страх, или насмешки над тем, что обожают. Поэтому-то басня очень древнего происхождения. Она берет начало, по крайней мере, в царствование Рамзеса III, по Сайсу, и «у романа Лисы есть свой аналог у кафров».

121 Подобным же образом в тот момент, когда сложившиеся в силу частых опытов правила поведения, вытекающие из полезности или симпатии, окрепли до такой степени, что самое их происхождение забывается, они преобразовываются в нравственные обязанности.

122 Среди религиозных изобретений, которые могут скрыть противоречия между культами, желающими слиться в один, нет ничего более удобного и более действительного, нежели индусская теория перевоплощений, божественных метампсихозов. «В сущности браманизм представляет собой религию компромисса, — говорит нам Семнер-Мэн (Sumner-Maine «Histoire du Droit»). — Он так же легко примиряется с древними формами культа, как и с новыми, как только они становятся достаточно преобладающими, и включает их в себя, усваивая божество, находящееся в моде, как новое воплощение Вишну или Шивы.

123 Очень трудно, однако, объяснить себе гадание по осмотру внутренностей жертв, которое самопроизвольно зародилось как в Америке, так и в Старом Свете. А. Ревилья предполагает, что так как жертва считалась временно отождествляющейся с богом, которому она приносится, то предполагали проникнуть в тайны одного, рассматривая внутренности другой. Это возможно точно так же, как возможно и то, что, съедая жертву после ее принесения, думали усвоить себе при помощи этого акта теофагии свойства бога. Разве не думали, что, съедая убитого на войне неприятельского вождя, приобретут его храбрость или хитрость? Впрочем, сходства в обрядах культа самопроизвольно возникшие в Старом и Новом Свете, были преувеличены. Здесь и там было известно нечто вроде крещения и нечто вроде исповеди, и это уже довольно замечательно. Но девы солнца у инков существенно отличались от весталок тем, что первые были посвящены солнцу и составляли настоящий гарем к услугам царя или его семьи. Если одна из этих дев, считавшихся таковыми до тех пор, пока они отдавались только сынам солнца, преступала свой обет относительной девственности, то ее не замуровывали в стену, как весталку, а закапывали в землю живой, чтобы скрыть ее от негодующих глаз солнца. Мексиканский *teocalli* по внешности походит на египетскую пирамиду, но последняя представляет гробницу, которая заключает в своих недрах мумию, а первый является жертвенником с жертвенным камнем на своей вершине.

124 Или же, когда речь идет о богине, то единения с нею можно достигнуть путем любовного сближения с одной из ее жриц.

<sup>125</sup> Эта потребность открыть в самых первобытных текстах спиритуалистический и монотеистический смысл была общераспространенной в ту эпоху. Евреи — особенно Филон — толковали подобным образом Библию, стоики и александрийцы классическую мифологию, и даже египетские жрецы толковали подобным образом своих богов-животных. На Востоке это получило имя Гиоса, и манихизм, из которого берут начало средневековые «чистые» и «катары», был связан с гностицизмом (см. по этому поводу прекрасную книгу Дени «Histoire des idées morales»). Но в общем это движение, по-видимому, было скорее широким, нежели глубоким, и, вероятно, не появившись христианство, этот прилив мало-помалу снова опустился бы, оставив за собою только несколько обычаев и несколько прекрасных правил поведения. Греко-римский мир, по мнению Ревилля, впал бы постепенно в состояние ума, очень сходное с тем, в каком застыла Небесная империя. «Удивительно, — прибавляет он, — сколько китайщины видим мы при дворце Северов и в том блестящем кружке, который в III веке собрался около выдающихся женщин этого императорского дома. Здесь был тот же поверхностный синкретизм, та же забота об этикете и обрядах, та же суеверная слабость, соединенная с красивыми отвлеченными положениями относительно добродетели, чистоты, правосудия и регулярности в управлении людьми. Пифагор переходит в состояние западного Будды. Странствующий Аполлоний Тнанский представляет собою бессмертного, выдающегося таоиста».

<sup>126</sup> Я очень хотел бы видеть, каким образом Лорна с своею обычною находчивостью или какой-нибудь другой социолог той же школы попытался бы объяснить при помощи исключительно образования христианских догматов, последовательный ряд ересей и их борьбу, всю эту кровь, пролитую из-за различия на одну йоту между отдельными доктринами.

<sup>127</sup> Известно какую ценой. «По мере хода вперед истории, — говорит Гарнак, — догмат всегда пожирал своих собственных предков», которые поочередно предавали друг друга отлучению. В этом отношении история догматов походит на историю революций. В этом сказывается неизбежный результат коллективной логики, когда она действует с силой и бесстрашием.

<sup>128</sup> Дьюба Реймон несколько лет тому назад в одной из своих речей высказал такое мнение.

<sup>129</sup> Отсюда вытекает та еще до сих пор встречающаяся мысль, имеющаяся даже у Канта, но ничем не оправдываемая в эпоху всеобщего атеизма (хотя в нем не сознаются), что если бы на земле остались только два человека и один из них убил бы другого, то преступление убийцы заслуживало бы наказания, несмотря на то, что не существовало бы больше никакого общества, заинтересованного в

наложении этого наказания. В то время, когда образовалось такое понятие, верили, что предполагаемый убийца, о котором идет речь, должен будет считаться с великим высшим обществом. Итак, наказуемость всегда опирается на реальное или предполагаемое общественное мнение.

<sup>130</sup> Сходства между Буддой и основателем янизма, между Буддой и Кришной, очевидно, подражательны, а между Буддой и Христом нет. Но какое странное сходство между Христом и Кришной! Колокол и четки были заимствованы христианством у буддизма.

<sup>131</sup> Индусский гуру походит на католического духовника.

<sup>132</sup> Или, лучше сказать, всех великих религий, потому что исланизм также не составляет исключения в этом отношении.

<sup>133</sup> Зато это спасение коллективное. «Иди, Пурна, — говорит Шакьямуни одному из своих учеников, — освобожденный освобождай; переправившийся на другой берег переправляй других; утешенный утешай; достигший полной Нирваны помогай достигнуть ее другим» (Burnouf «Introduction à l'histoire du bouddhisme»). Таким же образом христианские избранники, спасшись сами, работают для спасения своих братьев.

<sup>134</sup> По Бюрнуфу, есть, «так сказать, три буддизма: буддизм простых сутра, в котором проявляется только Будда-человек — Шакьямуни; буддизм высших сутра и магайанов, в котором рядом с Буддой-человеком встречаются и другие легендарные Будды и Бодхисатвы, и, наконец, буддизм таутров, в котором над этими двумя элементами поместился культ женских божеств шиваизма. Надо было бы, вероятно, прибавить и четвертый». Какое отношение между этим развитием буддизма и развитием или, лучше сказать, развитиями христианства? И здесь, как и там, «исток истории догматов очень многочисленны», — говорит Гарнак.

<sup>135</sup> Китайский таоизм придумал эликсиры долгой жизни и бессмертия. Чудеса всяких религий всегда состояли главным образом в исцелениях, и эта терапевтическая сила, приписываемая святости, представляет собой не последнюю из ее привлекательностей.

<sup>136</sup> Barth «Les religions de l'Inde».

<sup>137</sup> Сравните с подражанием: «Dilata me in amore, ut discam interiori cordis ore degustare quam suave sit amare et in amore liquefieri et natare». В одном шиваистском сборнике (цитированном Бартом) читаем: «Злые думают, что Бог и любовь не одно и то же, и никто не видит, что они одно. Если бы все люди знали, что Бог и любовь одно и то же, то они жили бы в мире между собою».

138 «В течение века, следовавшего после Илиа, явилась в мире новость: Бог сделался орудием морали» (Дармштетер «Les Prophètes»). Я желал бы сделать несколько замечаний относительно этой мысли, заимствованной в одном из выдающихся произведений нашей литературы о религии.

Только что цитированный знаменитый ученый утверждает, что пророки, так сказать, морализировали Бога Израиля, подобно тому, как другие историки приписывают греческим философам — Платону, Аристотелю — и александрийцам морализирование эллинских богов... Здесь и там проявляется одна и та же обманчивая мысль, что чувства справедливости и любви были в один прекрасный день изобретены и впервые пущены в обращение в мир.

Нет, не в этом заключалась новость, внесенная пророками в Израиле, философами в Греции. Она состояла просто (и этого уже много) в расширении поля, пределами которого ограничивались до них благодать и справедливость богов, подобно человеческой благодати и справедливости, для которых первые были идеальным выражением. Если доказано, а я думаю, что доказательство стало очевидно, что во взаимных отношениях членов первобытной группы царствовали равенство и дух братства, то как предполагать, чтобы боги-пары, местные боги данной социальной группы, не были совсем нравственны и человечны, не были покровителями сердечных и нравственных чувств, какие были необходимы для прочной связи этого маленького общества?

Итак, надо думать, что с самых отдаленных времен своего появления идея о Боге была связана с идеей о нравственности, но сначала нравственности узкой, ограничивающейся исключительно очень маленьким кружком людей. Является вдохновлений, очень великодушный человек и создает бога, общего для большого числа этих раздробленных групп; естественно, он представляет себе этого бога как бога справедливого и доброго, но только его справедливость и благодать выше, чем у домашних богов, по амплитуде, а не по природе... Вот и вся новость, но она значительна.

Возможно ли допустить, чтобы эти люди, какими бы вдохновленными их ни считали, первые придумали нравственных богов? Но если и допустить это предположение, плохо согласующееся со столь слабой умственной изобретательностью варваров, то каким образом это понятие о божественной нравственности встретило бы столь поразительный успех, столь громкий и продолжительный отголосок в сознании израильтян, если бы там уже не было его в зародыше, т. е. в форме привычки израильтян, как и всех других народов, смотреть на местных богов своей семьи, своего шатра, прежде всего, как на богов-покровителей нравственных отношений между обитателями одного и того же класса?

Итак, можно быть уверенными — и это нам подтверждает удивительный дух солидарности, господствующий в очень древних семьях — можно быть



уверенными, что задолго до того, как Амос сказал о национальном Боге иудеев, об Иегове: «Что Ему ваши всесождения и ваши приношения тучных телят? Прочь от Него с шумом ваших гимнов, но пусть правосудие бьет ключом, как вода, и справедливость, как неиссякаемая река», задолго до того, как Осия приписал тому же Иегове «ревность любви, а не гордость», задолго до того, как Исайя, еще больше расширяя понятие об этом великом Боге и делая Его из национального, каким он был, всемирным, приписал Ему следующие слова: «На что Мне множество ваших жертв? Очиститесь! Уберите с Моих глаз свои злые дела! Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите справедливости!» Задолго, раньше всех этих превысших проповедников существовали в тесноте и темноте внутренности тысяч шатров, тысяч домов скромные, оставшиеся неизвестными пророки, которые, видя, что их братья поддерживают жиром и маслом священный огонь очага или носят пищу на могилу-жертвенник обоготворенного предка, домашнего бога, и в то же время сражаются одни с другими, крадут друг у друга жеи и обманывают друг друга, говорили им: «Зачем эти номинальные приношения, это масло, этот жир, этот священный огонь? Если вы хотите быть приятными вашему божественному Отцу, который любит вас всех и хочет, чтобы вы были добры между собой, как братья, любите и уважайте друг друга и никогда не нарушайте справедливости между собой!»

Всегда существовали такие восторженные и великодушные люди, которые в своих стремлениях к братству, к расширению моральной и социальной области опережали понятия своего времени, может быть, потому, что благодаря своей более живой впечатлительности, они могли чувствовать глубокое сходство и сродство между теми фракциями человечества, которые их современники считали чуждыми и враждебными. Секта циников в древности уже постигала братство между греками и варварами, так же как и между свободными людьми и рабами. В средние века *fraticelles*, эти просветленные францисканцы, мечтали о мире и единении «не только между христианами, — говорил один из них, Риеци, — но и между христианами и сарацинами, которых милость Святого Духа просветит под руководством одного и того же пастыря».

139 Так как это само по себе очевидно, то я не указывал, что эта религиозная эволюция путем усвоения представляет собою последовательный ряд логических соединений (между двумя противоположными толкованиями Священного Писания, например, или между старым и вновь введенным догматом) и логических союзов (между некоторыми христианскими и некоторыми платоновскими идеями, например). Можно также легко констатировать тут то превращение суждений в понятия и целей в средства, о котором я часто говорил. Каждый новый догмат утверждается с силой, провозглашается всеми; он становится центральным фокусом религиозного воззрения на вещи; поэтому-то в Ведах каждый бог, к которому обращаются, заставляет

забывать о всех остальных или отодвигает их на второй план. Сколько догматов, для установления которых пролиты потоки крови при бесконечных пререканиях, когда они по очереди то утверждались, то отрицались с крайней энергией, представляют теперь только простые, не высказывающиеся, а только подразумеваемые идеи, мирно покоящиеся в глубине умов! Подобным же образом каждый новый обряд представляет сам по себе цель, всякий новый прием благочестия делается центром культа, а затем уступает свое место другому.

140 См. об этом «Законы подражания» и «Philosophie pénale», а в особенности «Transformations du Droit».

141 Прекрасный пример глубокого и продолжительного противоречия между чувствами и идеями народа представляет нам история Флоренции. В течение нескольких веков флорентийские вельможи, магнаты, считались народом за врагов общества, за разбойников, которых оскорбляли и которым удивлялись, которым показывали презрение и которых в сущности боялись; их постоянно побеждали, но они никогда не падали духом. Против них издаются ужасные постановления 1294 года, представляющие собой последнее слово терроризма, и все же они не перестают внушать страх. Их угнетают штрафами и налогами, их разоряют по сто раз и все-таки они остаются богатыми. Их осыпают унижениями, уничтожают их дворцы; им запрещают носить даже оборонительное оружие; им закрывают доступ почти ко всем общественным должностям; им отказывают в названии честных людей; в списки лиц их класса официально вносятся люди из простого народа, уличенные в воровстве, убийстве, кровосмешении: возведение в дворянство равносильно лишению гражданских прав. Несмотря на все это, эти иадмеинные парии сохраняют до конца республики такое обаяние, что тайное стремление *porolo grasso*, разбогатевшего горожанина, состоит в том, чтобы породниться семьей с кем-нибудь из этих прокаженных, из этих отлученных от общества. Несмотря на все поражения, на все унижения, они оставались вельможами в этом промышленном и экономном городе, где их воинственная храбрость и расточительная роскошь останавливали на себе взгляды и завистливое удивление всех. Никогда не обнаруживалось очевиднее, что между тем социальным превосходством, в которое верят, и тем, какого желают, лежит целая пропасть. Превосходство, о котором сейчас говорили, было очень мало желательным и совершенно отвергалось всеми, но в него верили и его невольно подтверждала самая зависть тех плебеев, которые его позорили. Последние чувствовали это до такой степени, что при случае брали в пример низвергнутую аристократию. В 1378 году, во время знаменитого волнения чомпи, в котором можно видеть в миниатюре картину многих гораздо более знаменитых революций, что делают прежде всего эти подонки народа, поднявшиеся против зажиточных людей и буржуа? Они организуются в обширные *consorteria*, в тесные ассоциации семей и родствен-

ников, в демократический клан наподобие дворянских *consorteria*. А как проявляют они свое торжество в дни своего полнейшего неистовства? Они создают рыцарей! Впрочем, даже гораздо позже, во времена итальянского Возрождения, несмотря на уравнивание классов, «бешеная страсть к отличиям, — говорит Бургардт, — идет рука об руку с любовью к культуре и страстью к искусствам; все хотят обладать званием рыцаря; это становится модой, манией, распространеннейшей в особенности сильно, когда этот титул, которого добивались, потерял даже тень значения».

142 См. «Histoire des Romains» Дюрюи.

143 См. по этому поводу очень документальную работу Вандервельда «Les Associations professionnelles».

144 В самом деле, различие между христианской, мусульманской и буддистской цивилизациями образовалось благодаря подражанию различным образцам: в первом случае Христу, во втором Магомету, там Будде. Надо отметить, что великое разделение цивилизаций соответствует разделению высших и прозелитских религий.

145 Иногда оно переходит в склононость друг к другу. Таков случай с Японией, долго презиравшей, потом глубоко ненавидевшей европейцев, а затем пристрастившейся к Европе.

146 Например, французы и итальянцы, французы и испанцы воевали друг с другом в XV, XVI, XVII веках, так же как французы и англичане. Однако соседи французов в Италии и Испании никогда не были в действительности антипатичными последним, как их соседи по ту сторону Ла-Манша.

147 Антипатия между дорийцами и ионийцами, играющая столь важную роль в истории Греции, скорее социального происхождения, нежели физического. Часто ее источником является демократическая зависть или аристократическая спесь. Она существовала не всегда. Поэзия Феогниса, согласно Курциусу, указывает, что в его время «не существовало антагонизма между дорийской и ионийской кровью».

148 Можно указать, какие различия представляет дух подражания, смотря по тому, проявляется ли он между друзьями или врагами. Врага антипатичный народ копирует добровольно и по расчету, в некоторых чисто внешних отношениях; заимствуют у него его стратегию или его оружие, считающееся лучшим, но никогда не заимствуют ни его идей, ни его чувств. Своим соседям бессознательно и глубоко подражают только тогда, когда они симпатичны, точно так же как только тогда подпадают влиянию их верований, их потребностей и нравов, а затем усваивают их одежду и их украшения. Распространение французского языка в России представляет именно такой характер; немецкий язык изучается во французских школах только по принуждению.

149 «Социальное разделение обеих рас, — говорит Кл. Жанэ в своей прекрасной книге о Соединенных Штатах, — увеличивается по мере того, как они становятся более независимыми друг от друга в экономическом отношении».

150 Значит ли это, что значение чувства все уменьшается в жизни народов? Нет, оно только преобразовывается. Что оно не уменьшается, это доказывается тем, что, как замечает Новиков в своем последнем произведении, самое крупное дело современной Европы — эльзас-лотарингский вопрос — является «вопросом чувства». Взаимная ненависть между немцами и французами составляет моральную язву, которую XIX век завещает XX и которой почти достаточно, чтобы парализовать на время влияние огромного числа важных открытий, собранных за сто лет непрерывной деятельности научного и промышленного гения. Правда, изобретение машин, переход от живого орудия к орудию неодоушевленному, от лошади к локомотиву, от быка к паровой машине и т. д. повели к уничтожению существовавшего некогда чувства привязанности ездока к своей лошади или погонщика к его быкам, но одновременно с этим та же причина породила фабрики, заводы, крупную промышленность, и среди этих громадных скоплений рабочих, трудившихся некогда вполне изолированно один от другого, развились совершенно новые чувства товарищества, как и между нашими постоянно возрастающими армиями. С первого взгляда можно было бы подумать, что наша машинность уничтожила значение психологического и морального элемента. На смену тем чудовищным животным, которых уничтожали доисторические геркулесы, гений изобретательности произвел на свет новых чудовищ, стальных мамонтов, рост, сила и ловкость которых все возрастают.

Они бывают двоякого рода: военные и промышленные; в то время, как прогресс первых гигантских пушек, броненосцев, миноносков, игольчатых ружей уменьшает значение, приписывавшееся некогда личной храбрости и ловкости солдата, прогресс вторых все более и более обесценивает понятливость и изобретательность рабочего. Это в известной мере справедливо, но, с другой стороны, не даст ли постоянное увеличение армий того хорошего результата, — представляющего, правда, плохое вознаграждение за такое несчастье, — что необходимо вызывает все более и более тесные товарищеские отношения между людьми одного и того же чина и между различными иерархическими ступенями? Если отношения рабочих к их хозяевам далеко не повсюду столь доброжелательны, как отношения между солдатами и их начальниками, то это, быть может, только временное зло, вознаграждающееся более тесным единением рабочих между собою.

151 В своей «Американской жизни» де Рузье указывает на одного из крупных промышленников Союза, на «крупного мельника из Миннеаполиса».

152 «Главными наслаждениями народа являются коллективные удовольствия. По мере того, как индивид выделяется из плебейской толпы и подымается над нею, он ощущает все большую потребность в личных, только для него одного созданных наслаждениях» (Журнал Гонкуров). Это утверждение странно; я думаю, что истина заключается как раз в противоположном.

Самое живое наслаждение человека толпы, стоящего на низшей ступени, заключается в том, чтобы жадно есть и пить одному. Те редкие случаи, когда крестьяне собираются вместе: жатва, уборка винограда, попойки, представляют собой или совместную работу или старинные религиозные празднества, на которых вначале присутствовали по обязанности и на которые продолжают ходить по обычаю, без особенного общего всем удовольствия. Но, цивилизуясь, человек начинает стремиться к изысканным многолюдным обедам, к балам, к светским собраниям, к театру, к избирательным волнениям, ко всему, что отрывает его от животной, по существу изолирующей жизни и приводит к жизни социальной. Даже когда в качестве дилетанта-мизантропа он смакует картины, гравюры, книги, по уточенной хитроумной психологии, его наслаждение бывает не так лично, не так исключительно индивидуально, как могло бы показаться, ибо скрытой основой этого наслаждения является мысль, что когда-нибудь этому тонкому эстетическому, остающемуся до сих пор изолированным в своих особенных вкусах, удастся распространить их другим, заставить разделить их с собою сначала своих учеников, а потом целую растущую школу. Гонкуры наслаждались так живо своим художественным XVIII веком на свой образец только потому, что они верили в свое эстетическое апостольство; их удовольствие было интенсивным только тогда, когда им казалось, что оно должно стать когда-нибудь всеобщим.

153 См. Alonzi «Maffia» Paul Bourde, «En Corse» Элизе Реклю и др.

154 Так как феодальный режим не только не составляет исключения из этого правила, а даже подтверждает его. Гуще всего были населены и, следовательно, отличались более сложной иерархией укрепленные бургы XIII столетия.

155 «L'Allemagne» par Jean Jannsen.

156 См. «Principes de la théorie des richesses», глава «Loi de la demande».

157 Это не значит, что все ишши познания — богатства и что экономисты правы, славя эти две идеи в одну вторую. Если всякое познание, всякое сведение, приобретенное в семье или из ремесла, при помощи школьного обучения или из беседы, можно рассматривать как особого рода богатство, то точно так же и всякое богатство можно рассматривать как результат познания: какое производство было бы возможно без знания секретов ремесла? Конечно, эти две вещи — познания и

продукты — тесно связаны между собою, но доказательством тому, что они весьма различны, служит то, что одна может возрастать в то время, как другая уменьшается. Профессиональное образование работников или директоров какого-нибудь завода может возрастать в то время, как их производительная деятельность падает. Сравнение между производством богатств и производством познаний могло бы представить интерес. Можно было бы также в педагогии исследовать вкратце различные факторы производства познаний. Подобно тому как экономисты различают труд, землю и капитал, педагоги могли бы различать трудолюбие и понятливость ученика и знания учителя. Правду говоря, эти рассуждения не представили бы большой пользы. Прежде всего, первым условием хорошего обучения — раз выполнены психологические условия относительно учителя и ученика — является хорошая школьная программа, а программа предполагает систему идей, какой-нибудь символ веры. Подобным же образом, первым условием хорошего экономического производства является какая-нибудь система морали, относительно которой все согласны между собою. Моральная система — это программа промышленного производства, т. е. потребления, так как то и другое солидарны между собою.

158 Эта глава, как я и должен был ожидать, привела в дурное настроение некоторых экономистов. Я был, однако, глубоко вознагражден за их нападки той поддержкой, какую оказал большей части моих мыслей относительно экономической роли изобретения и подражания, относительно теории ценности Шарль Жид в своих «*Principes d'économie politique*» — книга, столь быстро сделавшаяся классической. Мне было также приятно встретить одобрение со стороны Поля Леруа-Болье вместе с замечаниями, на которые я должен ответить. В IV томе своего большого труда «*Traité théorique et pratique d'économie politique*», появившегося вскоре после выхода первого издания моей «Социальной логики», он указывает точки соприкосновения между нашими идеями, а именно он пишет: «Первопричиной богатства, как прекрасно говорит Тард, является изобретение, но он должен был бы присоединить сюда также стремление к комбинированию, представляющее собою один из наиболее распространенных его видов»... Я позволю себе заметить моему знаменитому критику, что в своей книге я явственно поставил рядом изобретение и ассоциацию, которая представляет собою одну из самых важных форм стремления к комбинированию, и что я довольно обстоятельно развил это сравнение. Кроме того, я говорил несколько раз, повторял, что изобретение сводится вообще к комбинации частичных подражаний. Леруа-Болье говорит несколько далее: «Философы обыкновенно почерпают слабые познания по политической экономии из какого-нибудь поверхностного руководства или из писаний более или менее известных борзописцев, не знакомых с современным действительным состоянием науки. Тард высказывает очень удачные мысли о ценности и советует экономистам

принять их; он будет удивлен, когда узнает, что эти идеи стали за последние десять лет общепринятыми в Австрии, Германии, Америке, Англии и у некоторых французских писателей, которые, будучи хорошими наблюдателями, следят также и за тем, что делается за границей». Это замечание, как он дальше объясняет, проистекает из моего понимания ценности, и он цитирует то место, где я говорю: «Свести, в последнем счете, все экономические проблемы, каковы бы они ни были, к относительному силлогическому сравнению желаний и верований, — вот в чем заключается наш метод». — «Все это сказано очень остроумно, — прибавляет Леруа-Болье, — но — повторяем — этот метод стал за последние 10 лет вполне обычным в новейшей политической экономии». Но если справедливо, что этот метод стал за указанное время до такой степени общепринятым за границей, то я могу только порадоваться этому и благодарю моего ученого критика, что он мне это сообщил, так как еще гораздо раньше, а именно в сентябре и октябре 1881 г., в двух статьях под названием «*La psychologie et économie politique*» я в первый раз изложил несколько мыслей, воспроизведенных в настоящей главе, местами даже буквально, и повторенных мною потом в 1888 г. в другой форме в статье «*Les deux sens de la valeur*». Я могу также указать на другую статью, которую я напечатал лет 12 тому назад под заглавием: «*Darwinisme naturel et Darwinisme social*» как на содержащую также развитие моих идей относительно различия между трудом, подражанием и изобретением. Леруа-Болье этого не знал, я в этом убежден, и это доказывает, что если философы — социологи и психологи — не всегда в курсе того, что со своей обычной плодovitостью пишут экономисты, то и обратно, экономисты не всегда читают социологов и психологов. Во всяком случае, у французских научных журналов есть много читателей в Германии, Австрии, Англии и во многих других странах, даже гораздо больше, чем во Франции, и у меня есть основание утверждать, что напечатанные мною в 1881 г. статьи не прошли незамеченными. При своем появлении, и даже позже, в 1888 г., они представляли собою совершенную новость и в качестве таковой были отмечены Жидом в первом издании его вышеупомянутого сочинения. Его-то, я думаю, не станут упрекать в незнании действительного современного состояния науки. Наконец, несмотря на авторитет ученого профессора, я хотел бы высказать некоторое сомнение относительно столь быстрого и всеобщего распространения, какое он приписывает каждой из развиваемых в настоящей главе идей. Я с трудом могу поверить, чтобы даже в настоящий момент экономические проблемы сводились повсюду в Европе к «силлогическому сравнению желаний и верований». Наоборот, исключение веры из числа элементов ценности представляется мне всеобщим, и это громадный пробел. Лучше ли признаются силлогический характер формирования заключения-ценности в нас или характер логического поединка, присущий встрече противоречащих друг другу заключений? Не знаю.

159 Индивидуальная телеология до такой степени отлична от телеологии социальной, что часто последняя возрастает на счет первой. В грубом обществе, говорит Стюарт Милль, человек, хорошо одаренный от природы, может делать гораздо больше вещей (чем цивилизованный человек); он гораздо легче приспосабливает средства к цели, гораздо способнее выводит себя и других из непредвиденных затруднений, чем 99 сотых людей, знакомых только с тем, что называют цивилизованной жизнью. «Но по мере того, как люди теряют качества дикарей, они становятся более способными к дисциплине, к выполнению планов, установленных заранее и относительно которых не спрашивали их совета, или к подчинению своих индивидуальных прихотей заранее установленному решению и к отдельному выполнению той доли работы, которая предназначена им в общем труде. Цивилизованного человека характеризует ассоциация в труде, — способность, которая, подобно всем прочим способностям, увеличивается от практики».

160 Указанное различие не представляет ничего существенного. Вот, например, молодой римлянин, владеющий красивой рабыней и хорошей лошадью; страсть к верховой езде одерживает в нем верх над любовью. Можно сказать, что его лошадь дорого ему стоит, так как он платит за нее своей любовницей, которую он совершенно покидает. Отличается ли этот случай по существу от того, когда он, обладая только рабыней, а не лошадью, увидел бы последнюю у своего друга, пожелал бы приобрести ее и выменял бы ее на свою рабыню?

161 Я опускаю здесь для простоты элемент верования, т. е. большего или меньшего доверия к выгоде того или другого билета.

162 В Риме, в эпоху империи, любовь римской аристократии к павлинам и голубям возвысила до 2 руб. цену павлиньего яйца и до 100 руб. цену отборного голубя, тогда как хлеб ценился очень низко. Это лучше всего доказывает неравенство состояний в том обществе. Пусть попробуют приложить сюда теорию, объясняющую ценность комбинацией двух идей: редкости и полезности. Здесь обе эти идеи сливаются в одну, как и для стольких других предметов роскоши; в самом деле, полезность павлина и редких голубей для классов, покупающих их по такой высокой цене, заключается именно в их редкости. Кроме того, ценится главным образом не их редкость, так как есть много еще более редких вещей, которых совсем не оспаривают друг у друга. Из всех редких вещей поток моды обозначил и выделил для богачей этих двух птиц, а для самой этой моды истоком послужил пример какого-нибудь вельможи, какого-нибудь победоносного полководца, который первый начал коллекционировать этих птиц и которому постепенно начали подражать.

163 Сделаем некоторые оговорки по поводу этого несправедливого и необходимого однообразия цен. Оно существует только постольку, поскольку различные покупатели сообщаются между собой и испытывают потребность подражать друг другу. Во многих



курортах существуют две цены: одна для приезжих и другая для местных обывателей. Когда финикийцы разъезжали вдоль побережья Средиземного моря, продавая чаши, стеклянные изделия, пурпуровые ткани, предметы ассирийского или финикийского искусства, и старались сбыть весь этот груз различным народам, которые не знали друг друга и были далеко неодинаково богаты, то весьма вероятно, что их цены (я разумею их цены натурой, так как они не знали монеты) далеко не были постоянными, подобно ценам наших больших магазинов. Их требования изменялись, возрастая вдвое, вчетверо или вдесятеро, смотря по богатству их клиентов и тому желанию купить, какое они читали в их взглядах. В средние века установилось нечто вроде прейскуранта для выкупа пленных. Впрочем, бывали исключительные выкупы, не входившие в тариф: выкуп короля Иоанна, Бертрана дю-Геклена и позже — Фраициска I.

164 Наша теория находит очевидное подтверждение в деле вооружения. Цена, по какой продают какому-нибудь правительству партию ружей, снарядов, броненосцев и т. п., зависит: от относительной величины потребности этого правительства в вооружении по сравнению с другими одновременными его потребностями; от большего или меньшего доверия, питаемого этим правительством к силе действия этого орудия и, наконец, от состояния средств его бюджета или его кредита. Сверх того, ясно, что эта ценность порождается тем изобретением, от которого получило начало это оружие, и достаточно какого-нибудь нового изобретения, признаваемого предпочтительным, чтобы почти совершенно обесценить все прежние образцы, все прежние типы кораблей и т. д.; если я говорю только почти, то это потому, что, в конце концов, новое изобретение всегда только уменьшает полезность предшествующих изобретений и отнимает у них превосходство, польза же этих последних остается в памяти у публики, и она может прибегнуть к ним в случае необходимости, если бы была принуждена к этому чрезмерными требованиями нового изобретателя. Если бы изобретатель химических спичек захотел продавать их слишком дорого, то люди продолжали бы пользоваться огнем.

165 Когда мы говорим, что в цивилизованной стране большая вероятность слабейшего наказания равнозначна как наказуемость меньшей вероятности большего наказания, то мы становимся на ту же точку зрения.

166 Успехи статистики, будучи приложены к различного рода потребностям во всем их объеме, могут впоследствии служить основанием для расчета промышленных вероятностей и уменьшить их рискованность. Заметим мимоходом, что если бы это когда-нибудь случилось, то каждый был бы уверен, что действительное производство соответствует будущим потребностям, а потому ценность всех продуктов увеличилась бы при том же размере производства в силу одного только влияния статистики.

167 Уже давно различные слухи относительно политических событий или социальных движений начали влиять на ценность вещей, уменьшая или увеличивая

не их настоящую полезность, а доверие к их будущей полезности или к прочности последней. Например, в начале XVI столетия, немного спустя после восстания Лютера, начали говорить о созыве собора. Папа и его двор противились этой мысли, потому что такое собрание, говорит Филиппсон, «должно было бы уничтожить много злоупотреблений, которые были источниками стольких доходов для римского двора. При первом упоминании о созыве собора цена всех продажных должностей курии значительно понизилась». Наши биржевые волнения бывают точно такого же характера.

168 «Все здание нашей неизмеримой коммерции, — говорит Стэнли Джевонс, — опирается на то предположение, что, по всей вероятности, торговцы и другие клиенты банков никогда не испытывают внезапной и одновременной надобности потребовать хотя бы только одну двадцатую часть всего количества денег в золоте, какое они имеют право получить по своему требованию во всякое мгновение в те часы, когда банки открыты». Итак, очень сильная вероятность, т. е. очень сильное верование, вот основание коммерции.

169 «*Les Transformations du Droit*», 2-е издание, глава об «Обязанностях».

170 Эти последние (желания производить) борются между собою индивидуально каждый раз, когда мы колеблемся между двумя работами, между двумя способностями, между двумя направлениями деятельности, каждое из которых требует отказа от другого, ибо то, что зовут развитием человека, представляет собою не что иное, как последовательный ряд неудач, часто горестных и всегда тягостных.

171 Могут сказать, что наше сравнение грешит в том отношении, что внутренняя конкуренция желаний обыкновенно возникает между желаниями, обращенными на различные, разнородные предметы, тогда как внешняя конкуренция, как между производителями, так и между потребителями приводит в столкновение желания одинакового характера. Когда я колеблюсь купить часы, то я думаю о вызываемых этой издержкой пожертвованиях другими предметами, о лишении себя какой-то хорошей книги, какого-то ковра, столового сервиза и т. д. Но когда, стремясь приобрести эти часы на аукционе, я вступаю в конкуренцию с другими лицами, тогда их желание бывает сходно с моим. Во всяком случае, это различие только кажущееся. С одной стороны, когда я решаюсь купить часы, то я отказываюсь не только от возможности купить книгу или ковер, а также от возможности купить какие-то другие часы, более или менее похожие на эти, которые некоторое время соперничали в моем уме с теми, которые я предпочел. С другой стороны, с продавцами часов соперничают не одни только продавцы часов же, а также и торговцы мебелью, ювелиры и т. д. — одним словом, продавцы всех предметов, какие могут привлечь к себе деньги покупателей в ущерб часам.

172 Т. е. утверждение одной из этих вещей предполагает и подкрепляет утверждение другой.

173 Подобно ценности продуктов, у истинности идей как в индивидуальном, так и в социальном смысле слова есть два различных значения. Степень истинности означает то силу ее сопротивления противоречивым идеям или, что сводится к тому же, силу ее распространения путем последовательной победы над последними, то ее плодотворность, ее объем, ее способность ассимилироваться с различными идеями или вступать с ними в союз. Подумайте о том увеличении истинности, каким пользуется идея каждый раз, когда появляется новая подтверждающая ее идея. Это соответствует увеличению ценности (ценности — союза), каким пользуется промышленный продукт, когда перед ним открывается новое назначение путем создания другого предмета, в производство которого он входит.

174 Экономисты, восхваляющие одновременно и без разбора конкуренцию и разделение труда, оказываются, сами того не зная, гегельянцами, стоящими одновременно и за и против. Конкуренция, телеологический поединок, — это противоположение труда труду же, а так называемое разделение труда, в действительности же телеологический союз — это комбинация труда нескольких лиц. Без сомнения, обе эти операции одновременны и должны быть таковыми, как мы это знаем из предыдущей главы, но одна должна уменьшаться непрерывно или по крайней мере пропорционально другой, второй из них, которая непрерывно развивается. Притом же конкуренция возбуждается изобретениями, подобно тому как они же все теснее скрепляют организацию труда; но конкуренция, возбужденная новым и достойным предпочтения изобретением против тех, кто эксплуатирует прежнее изобретение, стремится заставить исчезнуть последнее.

175 Всемирные выставки с этой точки зрения замечательны тем, что они впервые, по-видимому, дают на время другую общую цель, кроме войны, народам одной и той же цивилизации, разделенным на различные государства. В средние века единственным проявлением сотрудничества между христианскими нациями были крестовые походы, подобно тому как персидские войны были единственным проявлением сотрудничества между эллинами. В настоящее время прекрасная и гигантская выставка напоказ всех своих продуктов является от времени до времени великим мирным проявлением сотрудничества современных государств. Когда она оказывается успешной, то доставляет ее инициатору столько же славы, сколько некогда приносила великая победа... Но этим начинают уже утомляться...

176 Поэтому-то они и отличались такою развращенностью и ирелигиозностью (вещь очень важная в ту эпоху), которые стоили им глубокого презрения, обрушившегося на них в XVI веке, после их предыдущей славы. «Древние, —

говорит Буркгардт, — вредили их нравственности, не сообщая им своей; древность даже в религиозных вопросах действовала на них своею скептической и отрицательною стороною, так как не могло быть серьезной речи об усвоении политеизма прошлого». Мы видим из этого примера — и это замечание имеет капитальную важность в истории — что историческое столкновение между идеями — причина, почему сердца теряют свое направление, — заключается не в борьбе двух доктрин, двух утверждений, а в борьбе нового ощущения с тем старым утверждением, которому оно противоплагается.

177 Этот в высшей степени описательный, повествовательный и объяснительный характер зарождающегося искусства проявляется еще в панорамных видах, где изображения различных сторон одного и того же пейзажа или одного и того же действия положены на одну и ту же плоскость, чтобы каждое из них можно было бы видеть целиком. Художник, рисуя это, так же мало думал точно изобразить природу, как мало заблуждался относительно точности своих рисунков художник средних веков, рисовавший декорации к мистериям, где он на одной и той же картине помещал Вифлеемские ясли, пустыню бегства в Египет, Голгофу, небо и ад. Этот последний пример показывает нам продолжительность процветания такой условности, употребляемой до новейших времен.

178 То же самое встречаем часто и в самых изысканных миниатюрных старых рукописях средних веков, где, как говорит Леруа-де-ла-Марш, можно видеть иногда борзых собак розового или голубого цвета.

179 См. «L'art chinois» Палеолога.

180 Все эти молодые живописцы, наполняющие французские музеи или восторгающиеся природою среди полей и испытывающие будто бы такое живое чувство врожденного призвания к своему искусству, были бы очень удивлены, если бы им сообщили, что они никогда не вздумали бы мазать полотно и растирать краски без гения Джотто, — этого скромного источника, из которого берет начало современная живопись, — и без безумного предприятия Карла VIII, которое вызвало у французов склонность подражать итальянцам. Они ответят, что если бы не явился Джотто, то аналогичную роль исполнил бы какой-нибудь другой великий реформатор; не будь Карла VIII, осталась бы торговля с Италией, которая с течением времени привела бы к возникновению сношений между нами и художниками этой страны. Но эквивалент Джотто мог бы заставить ожидать себя еще столетие и был бы, вероятно, отличен от него; коммерческие же сношения потребовали бы целые века, чтобы вызвать во Франции распространение лучей подражания итальянскому искусству, что экспедиция царственного авантюриста произвела в несколько лет. Отсюда следует, что в этом случае наши молодые художники, быть может, еще не

были бы затронуты запоздалой волной подражательного поветрия, о котором идет речь. Правда, французская живопись почти неизбежно родилась бы из развития миниатюрного украшения рукописей, что отчасти произошло, но тогда ее эволюция была бы иной.

181 Высшая степень полезности какой-нибудь вещи заключается в том, чтобы вызывать новые различные полезности, а высшая степень истинности какой-нибудь идеи заключается в том, чтобы быть источником новых истин. Поэтому-то мы чаще всего называем просто полезным изобретение, которое считаем способным распространиться прочным образом путем подражания, а истинной — такую идею, которую считаем только способной продолжительное время распространяться в умах, тогда как эпитет «прекрасный» сохраняем для такой идеи, которую считаем способной дать возможность открыть другие идеи, и для такого изобретения, которое считаем плодотворным по отношению к дальнейшим изобретениям.

182 Орнаментальная живопись Египта, говорит Перро, подтверждает воззрение Семнера на происхождение украшения. «Этот писатель первый показал, что корзинщик, ткач и горшечник, разрабатывая первичные материалы, относящиеся к их ремеслу, произвели при помощи одних только технических приемов комбинации линий, красок, рисунков, которыми воспользовался орнаментщик, когда ему пришлось украшать стены, карнизы и потолки зданий». Таким образом, вначале колонна явилась подражанием деревянному столбу, а каменная кладка — постройкам из дерева, или, лучше сказать, новый художник подражал своим предшественникам по необходимости, в силу чисто логической по существу потребности в аналогах.

183 Идея крестового свода заключалась в том, чтобы придумать комбинации двух коробковых сводов (полумиридрических), перпендикулярных друг к другу и проникающих друг через друга. Неоценимая его выгода заключается в том, что давление коробкового свода действует на всем протяжении стен, тогда как давление крестового свода сосредоточивается на одном небольшом месте, которое легко сделать прочным при помощи контрафорса.

184 Деспотизм мисии окружающей среды, быть может, никогда не действует так повелительно на индивида, как в образовании его эстетических суждений, а следовательно, и его эстетических наслаждений. Все наши восторги в этом отношении навеяны на нас без нашего ведома, как и все наши негодования в моральных вопросах.

185 Тем не менее можно утверждать, — и я не имею намерения разрешать здесь этот вопрос, — что творения искусства представляют собою не только изобретения, но именно настоящие открытия и что созданная поэтом или живописцем новая красота существовала еще до этого ее проявления. Но в сущности это значит, что у той эстетической потребности, какой отвечает эта красота и которая отчасти

порождается прежними творениями искусства, есть глубокий источник в человеческом сердце. Я этого не отрицаю.

186 Заметим, что вначале колокольня была главным образом предназначена для того, чтобы защищать вход в церковь против норманнов или других осаждающих, а служить для подвешивания колоколов было только второстепенным назначением. Затем это второстепенное назначение постепенно превратилось в главное.

187 Эволюция письма, берущего начало от рисунка, является как раз противоположной той художественной эволюции, которая в наше время привела к реализму. О письме, как и об архитектуре, можно было бы сказать, что оно не представляет собою подражательного искусства. Но точнее будет сказать, что оно уже не является им больше. Вначале оно было точным изображением предметов и действий, выражаемых ими, потом изображением упрощенным и все больше и больше искажавшимся. По мере же того, как оно становилось иероглифическим и освобождалось от подражания предметам и действиям, оно все более покорно подчинялось подражанию сокращенным и условным начертаниям. Наконец, настал момент, когда оно созрело для своего фонетического преобразования. С фактами этого порядка можно сопоставить контраст между правом квиритов, приходящим в упадок в Риме по мере того, как растет там преторианское право. Последнее брало за образец потребности человеческой природы — типы, в некотором роде лежащие вне права и навязанные искусству юриста извне; право же квиритов являлось буквальным согласованием с юридическими типами прошлого. В течение известного нам исторического периода мы видим последнее отступающим перед первым, но очень вероятно, что в течение некоторого неизвестного нам периода, задолго предшествовавшего преторианскому праву, когда право квиритов только формировалось, оно само должно было, разрастаясь, оттеснить привычки варварской жизни, более сообразные с физиологическими наклонностями и естественными потребностями расы.

188 Без сомнения, социальное внушение только сообщает нашим природным наклонностям свое направление, изменяющееся в зависимости от страны и эпохи, но без этого направления, которое одно позволяет им реализоваться, они были бы только бессильными стремлениями. Когда проанализируем очень подробно какую-нибудь потребность, кажущуюся природной, мы замечаем чаще всего, что она не была бы тем, что она есть без окружающего общества. Ленорман сообщает нам, например, что в XVI веке в Италии, среди тех, кто желал иметь свой портрет, существовала мода делать их в форме медальонов из бронзы или другого металла, «как у нас в XVII веке существовала мода на портреты, гравированные грабштихом», или как в Египте в древности мечтали об обладании своей статуей из гранита, как в другие эпохи существовала страсть заказывать портреты, сделанные масляными

красками. Не следует торопиться утверждать, что каково бы ни было различие между этими модами, все они выражают одну и ту же природную потребность, а именно потребность закрепить воспоминание о своих телесных чертах, ибо такая потребность есть не что иное, как одно из тех социальных проявлений, в которых сказывается и в то же время реализуется смутная потребность — действительно на этот раз первобытная, но очень смутная и неопределенная — индивидуального самосохранения. Эта потребность удовлетворяется или тщетно стремится к удовлетворению то стремлением к славе, как у древних, то многочисленным потомством, как в Израиле, то продолжением жизни, благодаря гниению, и т. д.

189 Прикрашенным, ибо поэтому-то художник и выбирает во всякую эпоху своею моделью то, чему он больше всего удивляется. Таким образом мы объясняем себе, почему греческое искусство, старея, обращается предпочтительно к скульптурному и живописному воспроизведению юношеских форм, а в поэзии к изображению юношеской страсти. Наоборот, в своей первой молодости священное и благоговейное искусство воспевало, рисовало и высекало обыкновенно только почтенные фигуры божественных старцев.

190 Орудия, приемы промышленности выходят из употребления и заменяются другими, но потребности, которым они отвечают, существуют всегда: потребность питаться, одеваться, потребность в крове и т. д. Напротив, высшие и искусственные потребности, действительно социальные, которым отвечает искусство, приходят и исчезают, но художественные типы остаются и служат потом другим целям. В этом отношении искусство также походит на жизнь.

191 Древность игр поразительна. Со времени Среднего царства в Египте известны не только шахматы, но также шашки, кубарь, куклы, картонные плясуны, мячи; прибавим сюда же музыку и танцы, так как связь между искусствами и играми здесь очевидна.

192 Очень хорошо было сказано, что пейзаж (нарисованный) представляет собою некоторое состояние души; прибавим, состояние сложное, в котором легко различить несколько состояний, и пейзаж, если он удачен, выражает счастливое соглашение последних, гармонию после психологической борьбы. То же и относительно всякой прекрасной музыкальной пьесы.

193 За отсутствием изображений людей и животных, запрещенных Кораном, для арабских зданий явилась потребность ввести в число их декоративных сюжетов значительное количество надписей, заимствованных из их священной книги.

194 Например, затруднение того из архитекторов, который впервые поставил себе и разрешил задачу крестового свода, явилось вследствие того, что он хотел

получить нечто (широкий каменный свод, служащий потолком для церкви) и ему до сделанного им открытия казалось, что это нечто представляло такие последствия, которых он не хотел (боковое давление по всей длине стены и необходимость делать их чрезмерно толстыми).

Итак, хотение и нехотение боролись в его уме, так же как утверждение боролось с отрицанием, ибо он то верил, то не верил, что можно построить такой широкий свод, не делая стены очень толстыми. Не является ли такая двойная нерешительность маленькой внутренней драмой, в которой художник представляет собою всех героев разом?

195 Это особенно справедливо по отношению к литературным произведениям, ибо у картин и барельефов сюжетом бывают процессия, жертвоприношения богам, игры (сотрудничество единогласных хотений и умов) почти так же часто, как и битвы, поединки, драматические положения, кораблекрушения. Поэтому-то картина или скульптурное произведение бывают всегда гораздо менее интересны по своему сюжету, нежели роман или театральная пьеса.

196 Отсылаю читателя к книге Леруа-де-ла-Марша «*Miniature et les manuscrits*».

197 Вот образец того, как фабрикуются в социологии и других науках «законы эволюции». Краснокожие, по-видимому, строят колонны-памятники; одни из них гладкие, другие несут на себе составленный из линий рисунок, где можно смутно рассмотреть портрет человека, в честь которого колонна построена, и третий, наконец, более или менее грубо изваяны по образу и подобию этого человека. Отсюда один выдающийся итальянский социолог поспешил сделать догадку, что «статуя малопомалу, путем нечувствительных видоизменений произошла из колонны».

По-видимому, достоверно, что такое происхождение действительно наблюдалось в некоторых странах, но в других странах статуя отделилась от стены храма путем все большей и большей выпуклости барельефов, которые все менее и менее связывались с самой стеной. Это-то ее происхождение Спенсер и обобщает слишком широко в своих «основных началах».

В конце концов все-таки остается вопросом, не могли ли промышленные или художественные усилия прийти к построению статуй какими-нибудь еще другими, более длинными или короткими путями. Что мешает нам предположить, считать в высшей степени правдоподобным, что первобытные дикари, подобно нашим детям, забавлялись иногда, вылепляя из грязи, глины или снега приблизительные изображения животных или человека и что таким именно образом появилась у них мысль выделывать большие статуи из глины, потом из дерева, камня или мрамора, когда распространилось употребление бронзы или железа?... Не представляется ли вероятным также предположение, что первоначально или исключительно вовсе не потребность в увековечении памяти или обозначении заставила придумать и построить



серьезную статую (вслед за статуей, сделанной для забавы, за статуей детской и маленькой), но, наоборот, скорее потребность в сохранении или воскрешении лиц, вызванная религиозным верованием.<sup>2</sup> Фактически достоверно, что как бы далеко мы ни заглядывали в прошлое Египта, мы не откроем там никаких фазисов процесса преобразования, какой придумал Ферреро или Спенсер, и что статуя там не только не была преемницей барельефа и колонны, но, наоборот, скорее предшествовала им, ибо самые реалистические и наиболее жизненные статуи относятся к эпохе Древнего царства, когда, как мы знаем, они происходили из суеверия, заставлявшего видеть в сохранении тела в мумиях или, за неимением мумии, в воспроизведении тела с помощью статуи, необходимое условие загробного воскресения. Здесь, как мы видим, статуя произошла из мумии, если уж и за что не хотим, чтобы она получила начало из скульптурных опытов детей.

Не обобщить ли и нам, в свою очередь, этот «закон эволюции», и не позабавиться ли также отыскиванием посредствующих ступеней (которые мы нашли бы без всякого сомнения) между мумией и статуей? Никким образом.

Важнее заметить, что статуи бывают различные, смотря по роду их происхождения, что существует статуя напоминающая и статуя, так сказать, воскресительная, не считая вымышленных статуй и т. д.

Не заключим ли из всего этого, что нет никакой возможной формулы художественной эволюции? Конечно, нет. Прежде всего повторим здесь то, что мы сказали раньше относительно необратимого порядка некоторых изобретений. Если бы существовала только необратимость промышленных изобретений, то и тогда искусство могло бы почувствовать ее. Например, первые греческие и, вероятно, египетские или другие статуи были сделаны из дерева, позже — из камня, мрамора и еще позже — из бронзы. Это соответствует общему закону, заставляющему пользоваться сначала материалами живыми или бывшими некогда живыми, а потом минеральными веществами.

Нужно сделать и более поучительные замечания. Разве мы не видим, что во всякой оригинальной литературе (не в Риме, ибо его литература заимствована) процветание стихотворства предшествовало процветанию прозы? В Греции эта последняя сформировалась — от Фукидида до Исократы — только задолго спустя после поэзии. Этот факт можно сопоставить со следующим другим фактом, вытекающим из аналогичной причины: трагедия повсюду развивалась раньше комедии.

<sup>198</sup> Заметим тут, кстати, что через всю область искусства, во всех его отделах, проходит резкое различие между печалью и весельем. Существует литература печальная — или серьезная — и литература веселая; существует музыка печальная и музыка веселая (оперы и оперетки); существует живопись печальная, или серьезная, и живопись веселая, или легкая; хотя трудно проследить это подразделение в скульптуре и архитектуре, но тем не менее оно существует и там. Не представляют

ли благородные статуи Греции совершенную антитезу статуэткам Танагры, точно так же, как величественные храмы и дворцы веселым дачным постройкам наших курортов и фантастическим зданиям наших выставок?

199 В самом деле, эстетические открытия скорее субъективны, нежели объективны. Когда говорят, что Руссо в середине XVIII века открыл красоты пейзажа, не замечаемые никем до него, то правильнее было бы сказать, что он открыл в самом себе особенную, живую и любовную манеру чувствовать природу, наслаждаться самим собою в одиночестве среди полей и что раскрывшемуся перед ним, подходившему к характеру его гения впечатлению удалось распространиться путем подражания.

200 Социальная потребность ходить согласно вместе породила танцы (и марширование). Социальная потребность одинаково дышать и особенно одинаково испытывать одни и те же акустические ощущения дала начало музыкальному и поэтическому ритму. Социальная потребность плакать, смеяться, негодовать, волиоваться — одним словом, чувствовать в унисон друг с другом — вызвала как первые поэмы, так и первые мнимические телодвижения.

201 Искусство мощно привязывает человека к земле и в этом отношении деятельно способствует социальному миру. Ко всем тем важным доводам, какие приводит Гюйо в своей «*Intelligence d l'Avenir*» в пользу любви к природе и распространения в народе любви к красоте природы, надо прибавить еще и тот, что развитие этого чувства не вызывает никакого противоречия между умами или между сердцами, из которого могло бы вырасти социальное несогласие. Наоборот, любовь к одной и той же стране, наслаждение ее красотою, ее специфической живописностью является глубокой связью между соотечественниками.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	3
--------------------------	---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПРИНЦИПЫ

<b>ГЛАВА ПЕРВАЯ. Индивидуальная логика</b> .....	17
--	----

Верование, желание и первичное ощущение — единственные психологические элементы. — Верование и желание — единственные силы и единственные количества душ. — Психологическая и социологическая важность их роли. — Социальная жизнь, рассматриваемая как меняющееся распределение определенного количества верования и желания по различным каналам языка, религии, науки, промышленности, права и т. д. — Распределение, регулируемое логикой и телеологией. Инвентарь просвещения и инвентарь национальных богатств. — Громадный пробел в школьной логике: полное невнимание к степеням верования. Прочие недостатки обыкновенной теории силлогизма. — Общее суждение. — Новая теория силлогизма. — Четыре типа суждений. — Пары силлогизмов и их борьба. — Плодотворность исправленного таким образом силлогизма. — Телеологический силлогизм, логика действия. — Долг — заключение. — Нация, сложный силлогизм, система и план. — Большие и малые посылки и заключения национальных силлогизмов. — Необходимость больших агломераций. — Дуализм и взаимное пополнение двух логик, индивидуальной и социальной. — Логический темперамент различных человеческих рас. — Логические непоследовательности. — Исторически получаемое согласие обеих логик и обеих телеологий. — Его двойная возможная форма.

<b>ГЛАВА ВТОРАЯ. Социальный ум</b> .....	112
--	-----

Аналогии между психологией личностей и психологией обществ. — Одинаковые пути образования, одинаковая основная двойственность, одинаковое приведение к сходным категориям. — Пространство-Время и Материя-Сила. — Язык и религия, необходимые разрешения чувствуемых противоречий. — Индивидуальная оппозиция удовольствия и страдания, социальная оппозиция добра и зла. — Необходимость идеи божества. — Религии — создания разума. — Язык — социальное пространство для идей. — Другие аналогии

между умственным и социальным. — Привычка и обычай. — Социальная абулия. — Долг, социальное хотение. — Социальное сознание. — Вежливость и слава. — Слава и подражание, сознание и память. — Беспорядочные последствия состояний сознания и исторических фактов, но гармонический характер их суммированных продуктов: грамматики, кодекса, теологий, науки и т. д. — Критика идеи социального организма.

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Историческая последовательность**

### **логических состояний ..... 159**

Схематическое изображение всех логических или телеологических положений, допускаемых умственно или социально, двумя одновременно присутствующими суждениями или намерениями, и обычных последствий этих различных положений.

## **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Законы изобретения ..... 178**

Проблема равновесия верований (или желаний) и проблемы максимума верования (или удовлетворенного желания). — Смесь и столкновение этих двух проблем; отсюда иррациональная внешность обществ. — Ответ на одно возражение. — Перемещение противоречий. — Борьба папы с Империей: логическое затруднение с тремя возможными решениями. — Неосуществившиеся возможности. — Положительный и неоспоримый характер этого понятия. — Различение разных степеней возможности. — Развитие путем неудач. — Бесконечное поле возможных изобретений. — Соединение зародышей идей. — Гипотеза прямолинейного развития, оспариваемая дарвинизмом. — Вейсман и Нэгели. — Происхождение изобретения. — Гений. — Его внешние и внутренние условия. — Внешние: жизненные или социальные. — Три формулы относительно этого предмета. — Трудность изобретения. — Внешние: логический поединок и логическое единение, работа критическая и работа воображения. — Разница между логикой подражания и логикой изобретения. — Формула Рело. — Идея прямой линии, приложения к серии последовательных изобретений. — Обратимые и необратимые ряды изобретений лингвистических, научных, мифологических и т. д. — Всеобщее превращение суждения в понятие и цели в средство. — Социальное вырождение. — Сплочение и согласование изобретений в коллективном уме. — Три периода, подлежащие рассмотрению: хаос, организация, развитие. — Войны и революции как трагические методы социальной диалектики, не необходимые и не вечные. — Анализ второго периода: закон перехода от множественного сознания к единичному сознанию.

За различными фазами и проявлениями диалектики ее различные исходы. — Оппозиция между индивидуальной логикой, которая требует полного исключения противоречий у одного индивида, и логикой социальной, которая отлично мирится с противоречиями различных индивидов. — Три единственно возможных состояния равновесия верований, интересов и самолюбий. — Различные исходы логического поединка и логического союза. — Системы религиозные и системы философские. — Попытка суммарной классификации цивилизаций, системы систем.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ

### ГЛАВА ПЯТАЯ. Язык ..... 259

Языки — нечто в высшей степени подражательное и логическое. — Их многолинейная эволюция. — Четыре рода сходств между различными языками. — Переход, быть может, обратимый, от склонения к аналитическим приемам грамматики — трактаты народной логики, сходной с нашей. — Эволюция путем включения небольших последовательных нововведений, координирующихся малопомалу. — Важная роль случайности и тесная связь случайного с рациональным. Изменения звуков и изменение смысла. — Закон Дармштетера. — Примеры логических поединков и союзов: сильные и слабые флексии. — Причины сложного совершенствования стольких древних языков. — Лингвистическая изобретательность первобытных людей. — Обратное отношение между дифференциацией во времени и дифференциацией в пространстве.

### ГЛАВА ШЕСТАЯ. Религия ..... 288

Религия, как и язык, нечто подражательное и логическое. Порождающее ее чувство. Его сложность; его постоянство. — Логическая необходимость анимизма. — Обряды, порожденные рассуждением. — Фетиши, порожденные экспериментальным методом. — Почему боги-животные вначале и боги-люди затем. — Метеоры и мифы. Происхождение храма. — Объяснение человеческих жертвоприношений. — Проблема социальной логики, решением которой является христианство во времена Римской империи. — Причины его распространения. — Антропоцентрический предрассудок. — Происхождение идеи греха и греховности. — Ценимость духовного атлетизма. — Буддизм и христианство. — Мистики и пророки. — Религия будущего.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Сердце ..... 319

Истинная социальная цель: увеличение суммы чувства любви, уменьшение суммы чувства ненависти. — Постепенный рост социального сердца. — Логические противоречия и подтверждения, телеологические столкновения и взаимопомощь чувств. — Может случиться, что они сталкиваются, подтверждая друг друга, или содействуют одно другому, взаимно противореча. — Примеры. — Чувства монархические, феодальные, демократические. — Взаимные чувства членов одной и той же социальной группы и их чувства к иностранцу: основное различие. — Патриотизм. — Параллельное расширение круга друзей и врагов путем роста государства. — Где тут выигрыш? — Ответ. — Смягчение патриотизма и воинственных нравов. — Каким образом рождаются, растут и приходят в упадок коллективные чувства. — Культура дружбы и вражды в религиях. — Вендетта. — Национальная ненависть, ее причина, ее разнообразие, ее прочность. — Она уменьшается по мере того, как ее предмет увеличивается. — Социальное преобразование дружбы и прочих симпатизирующих чувств. — Охлаждение сердечности, вознаграждаемое иногда его расширением. — Дружба городская и дружба деревенская. — Цивилизация и любовь. — Кокетство. — Возрастающая потребность в увеселениях и особенно в празднествах. — Преступные празднества. — Национальные и исторические разнообразия в празднествах.

Эволюция чувств самолюбия и гордости. — Гордость индивидуальная и гордость коллективная. Различные формы последней: гордость вероисповедная, профессиональная, даже лингвистическая; гордость семейная, земляческая, патриотическая. — Вежливость и дипломатия.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Политическая экономия ..... 371

Экономисты — предшественники социологов. — Узурпация политической экономии в областях политики, права и морали. — Ее особый характер: рассмотрение человеческой деятельности с ее количественной стороны. — Двусмысленное понятие услуг. — Пробелы в политической экономии. — Забвение роли подражания, которое она бессознательно предполагает. — Забвение роли изобретения, которое она также постулирует. — Изобретение, родоначальник верования и желания, двух элементов полезности и богатства. — Ошибка смещения изобретения с трудом, который представляет собою только подражание. Радикальное различие между ними. — Теория ценности. — Критика и изложение. — Двойной смысл ценности, ценность — цена и ценность — потребление. — Иссле-

дование первого значения. — Изобретение в сравнении с ассоциацией. — Обратное отношение между двумя значениями ценности. Богатство — верование и богатство — желание. — Будущность первого, которое должно расти на счет второго.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Искусство ..... 427

Искусства и изящные искусства. — Искусство — важная отрасль социальной телеологии. — Реализм египетской скульптуры времен Древней империи; необходимые условности ввиду неимения желаемых рисунков; письмо — род рисунка; рисунок — род письма. — Повествовательные историографические картины. — Различие между промышленностью и искусством. — Красота — предчувствие полезности или будущей истины, неопределенной и коллективной. — Логическая необходимость традиционных типов и жанров. — Согласность прекрасного, моральная или эстетическая. — Пропасть, считающаяся непроходимой, между искусствами, называемыми подражательными, и остальными (музыка и архитектура). — Мост через нее. — Объяснение этого различия. — Почему искусства, считающиеся свободными, еще более традиционны, нежели остальные. Другие более точные различия между промышленностью и искусством. — Желание производить и желание потреблять в том и другом. — Потребность питания и воспроизведения. — Производство искусства отвечает на желание, порожденное открытием его предмета. — Эстетическая сторона всех ремесел, древние ремесленники. — Ее исчезновение и замещение. — Промышленное искусство. — Искусство, как любовь, осуждено на старость и смерть, промышленность — нет. На чем держится долговечность классических произведений.

Чистое искусство. — Его характерный интерес. — Два рода интереса. — Тот и другой порождены положением и решением логической проблемы. — Сюжет произведения искусства: борьба или процессии. — Эволюция искусства от эпоса к драме, а не обратно. — Критика Спенсера. — Книга, а не здание, было началом. — Театр — концентрированное выражение логики и истории. Еще более существенный характер искусства: оно делает социальными самые ощущения, заменяет нашу природную, некультуриврованную, несообщительную чувствительность коллективной чувствительностью, одинаковой для всех, дисциплинированной. — Согласует ощущения, ассимилируя их.

## КОММЕНТАРИИ ..... 500

Габриель Тард

## **Социальная логика**

Перевод М. Цейтлин

Художественный редактор В. Шаркунов

Технический редактор С. Смоляков

Корректор: А. Строева

Сдано в набор 10.03.96. Подписано в печать 4.06.96. Формат 60X88/16

Бумага писче-бланочная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 35. Уч.-изд. л. 36,25. Тираж 5000 экз. Заказ № 1027

Издательство "Социально-психологический центр"  
"Служба доверия". Лицензия ЛР № 064247

Отпечатано в АООТ «Типография "Правда"».  
191126, Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 14.



В СЕРИИ  
“БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ”  
В 1996 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Я. СТЮАРТ, В. ДЖОЙНС

## СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ

Перевод с английского Д. Касьянов

Эта книга впервые на русском языке дает полное представление о теории и практике современного транзактного анализа.

Построенный на конкретных упражнениях материал будет интересен как специалистам в областях психологии, медицины, психотерапии и социологии, так и широкому кругу читателей.